

БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



АЛЕКСАНДР
СЕРАФИМОВИЧ
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ





АЛЕКСАНДР
СЕРАФИМОВИЧ

*Ж*ЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

Роман



ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

*М*ОРСКАЯ ДУША

Рассказы

*З*ЕЛЕНый ЛУЧ

Повесть



МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1979

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.	Дехтерев Б. А.	Мотяшов И. П.
Алексеев С. П.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Коржев Г. М.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Барто А. Л.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Благой Д. Д.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Верейский О. Г.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Виноградов А. А.	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гамзатов Расул	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
Гончар Олесь	Михалков С. В.	Шолохов М. А.

*

Вступительная статья
АРКАДИЯ ПЕРВЕНЦЕВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома
А. А. ПАРАМОНОВА

С 70803—234 Подп. изд.
М101(03)79

© Состав. Вступительная статья. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

ВЕЛИЧИЕ ПРАВДЫ

СЛОВО О СЕРАФИМОВИЧЕ И СОБОЛЕВЕ

Общественное мнение уже давно признало «Железный поток» А. С. Серафимовича и «Зеленый луч» и «Морская душа» Л. С. Соболева классическими произведениями советской художественной прозы. Наряду с превосходной, образцовой формой эти произведения проникнуты оптимизмом, верой в человека, преклонением перед его мужеством, героизмом и великой любовью к Родине. Произведения, созданные этими писателями, являются памятниками высокого человеческого духа.

«Железный поток» выдержал полувековую проверку временем, «Зеленый луч» и «Морская душа» — почти сорокалетнюю. Ничто в них не устарело. По-прежнему кипуче бурлит жизнь, перед глазами встают живые образы; ты любишь их, они сладостно пронзают тебя, показывают образец поведения, зовут к умножению поступков, освещенных светом подлинного гуманизма. Нельзя равнодушно, не впитывая каждое слово, читать эти прекрасные книги.

Что держит эти произведения на гребне времени, что дает им силу выдержать столь сложную проверку, не устареть, не уйти в небытие, не покрыться прахом забвения?

Прежде всего — п р а в д а. Правда о человеческом мужестве, страданиях, радостях; правда настоящей жизни, без прикрас и подделок, заставляющая в унисон с повествованием биться сердца читателей. К тому же эстетическое наслаждение доставляет само изложение — сурово-пленительное, предельно простое и ясное и всегда совершенно доходчивое до любого человека.

Позволю себе рассказать здесь о них обоих — моих современниках, писателях, с которыми пришлось делить общие заботы, печали и радости. С чувством глубокого уважения, признательности и благодарности принимаюсь за свое краткое правдивое слово.

Скажу в первую очередь о Серафимовиче — этом великом певце революции, творце эпических произведений, нашем незабвенном радетеле и примерном учителе.

Александр Серафимович Серафимович по месту рождения относится к жителям Войска Донского, к земле, прославленной такими вольнолюбцами, народными вожаками, как Емельян Пугачев и Степан Разин. Сравнительно небольшая станица Нижне-Курмоярская была родиной будущего писателя-революционера. Когда началась русско-турецкая война за освобождение братьев-болгар от владычества Оттоманской Порты, Серафимовичу было четырнадцать лет, так что он был свидетелем того, как уходили на Балканы в 1877 году краснолампасные казаки, отважные, лихие. Отец Серафимовича служил казначеем кавалерийского казачьего полка. Умер он молодым, скоропостижно, когда Александр еще был гимназистом.

После смерти отца-кормильца наступила непреходящая бедность. Крохи к существованию зарабатывал и молодой Александр, учившийся в гимназии станицы Усть-Медведицкой, куда они переехали из Нижне-Курмоярской.

Усть-Медведицкая, крупная по тому времени станица, расположена на крутом правобережье Дона. Широкое движение полноводной реки, песчаные берега, левобережная лесистая полоса с пернатой дичью и своеобразной красотой пленили юношу и оставили незабываемый след в его памяти. Сам Александр Серафимович считал, что лучшего и более спокойного места и не найти, и потому до последних лет жизни старался как можно дольше жить в станице, находил в ней отдых и вдохновение. Недаром родная станица писателя была переименована Советским правительством в город Серафимович.

Только благодаря слезно выхлопотанной матерью — Раисой Александровной — войсковой стипендии Александр Попов (подлинная фамилия Серафимовича) получил возможность продолжить образование. Он был принят на физико-математический факультет Петербургского университета. Многие студенты уни-

верситета были революционно настроены, создавали кружки, в которых изучали «Капитал» Маркса, участвовали в революционном движении. Именно здесь начало складываться мировоззрение Серафимовича, он научился разбираться в жизни, принял теорию классовой борьбы.

В то время в Петербурге жил и активно действовал известный болгарский революционер-марксист Василь Коларов вместе со своей супругой, в девичестве Живковой. Серафимович вошел в кружок Коларова и в этом кружке сблизился и подружился с Александром Ульяновым — старшим братом Владимира Ильича Ленина.

Александр Ульянов, как известно, входил в группу молодежи, находившуюся под сильным влиянием марксизма, но понимавшую политическую борьбу в заговорщическо-террористическом духе. Покушение на Александра III, отца последнего царя России, потерпело неудачу. Александр Ульянов и его товарищи были казнены.

Серафимович глубоко переживал казнь Александра Ульянова, негодовал. Его протестующий голос и прокламации по поводу жестокой расправы над революционерами стали известны царской охранке, и будущего писателя выслали из Петербурга, не дав сдать университетский государственный экзамен. В далекой Мезени, за Полярным кругом, близ Ледовитого океана, Александр Серафимович, можно сказать, завершает свое революционное образование и успешно сдает экзамен на подлинного революционного борца.

Там, в далекой северной ссылке, Серафимовичу посчастливилось близко познакомиться с известным организатором стачки орехово-зுவевских ткачей Петром Моисеенко. Моисеенко исключительно благотворно влиял на молодого Серафимовича, помогая постигать глубину учения Маркса. Ежедневное общение с ссыльными революционерами, участие в общем деле помогли Серафимовичу в окончательном выборе жизненного пути, заложили крепкий фундамент его мировоззрения.

Двадцати шести лет от роду Серафимович написал свой первый, ставший широкоизвестным рассказ «На льдине». Тяжелая жизнь рыбаков-поморов, драматическая коллизия были столь выпукло выписаны молодым литератором, что привлекли к его имени внимание читателей и прогрессивных писателей тогдашней России. В нем увидели яркий, самородный талант.

Успех рассказа «На льдине» заставил поверить в себя и самого автора, окрылил его.

После окончания ссылки, препровожденный в родную станицу под гласный надзор полиции, Александр Серафимович занялся репортерской работой, выступал в газетах Ростова, Ма-

риуполя, Новочеркасска. Газетная «поденка» была необходима для хлеба насущного. Литературным творчеством он занимался, вырывая время у сна. Накопившиеся жизненные наблюдения легли в основу будущих произведений писателя. Именно о тех людях труда, с которыми ему приходилось тесно общаться во время своих разъездов по краю, писал он правдивые, честные рассказы, посылал их в столичные и московские журналы. Его заметили такие известные писатели-демократы, как Владимир Короленко, Глеб Успенский... Они высоко оценили творчество молодого писателя, помогли ему, и это дало возможность Александру Серафимовичу переехать в Москву, войти в содружество и с такими писателями, как Бунин, Леонид Андреев, Телешов, Скиталец. Сам Горький обратил на него внимание и буквально заставил сотрудничать в известных сборниках «Знание», представлявших в ту пору самое передовое в литературе. Лев Толстой следил за литературной работой Серафимовича и высоко оценил один из рассказов талантливого писателя — «Песни».

Серафимович вначале не был романистом. Он писал рассказы, очерки, революционные листовки и агитки. Все они отличались ясным, выразительным языком, понятным широким массам читателей. Возьмем хотя бы полный негодующего драматизма рассказ очевидца о том, как царские опричники из Семеновского полка расправлялись с восставшими рабочими Пресни. (Рассказ «На Пресне».) Несмотря на жестокую цензуру этот рассказ увидел свет и народ узнал правду о героической Пресне.

И вот в 1912 году появляется в печати первый роман писателя «Город в степи» — о строительстве железной дороги на юге. В романе с беспощадной суровостью раскрывается мерзкая роль буржуазных либералов, во всей наготе изображена капиталистическая эксплуатация трудового человека, в полный голос сказано, сколь велико значение организации рабочего класса.

Первую империалистическую войну Александр Серафимович справедливо воспринял как пролог к революции. Этому помогло то, что, будучи военным корреспондентом и лично бывая на фронтах, в блиндажах и землянках, среди солдатской массы, он понял империалистическую сущность войны, видел, какие потрясающие тяготы несет она народу, познал настроение рядового солдата. Свои наблюдения, подчас в завуалированной форме из-за цензурных рогаток, он доносил до читателя.

Октябрьскую революцию Серафимович принял без всяких сомнений и без малейших колебаний и сразу же пошел сотрудничать с большевиками. Он вступил в Коммунистическую партию, стал деятельным участником строительства нового мира. Агитатор, пропагандист, сотрудник первых Советов, редактор журналов, автор воззваний, пламенных листовок, военный кор-

респондент на фронтах гражданской войны — таким был писатель-большевик Серафимович. Все больше и больше становится он популярным, активно работающим писателем, принципиально отвергающим всякие модернистские ухищрения, твердо стоящим на позициях действенного социалистического реализма.

У Александра Серафимовича двое сыновей — старший Анатолий и младший Игорь. В стране идет гражданская война. Анатолий, верный своему гражданскому долгу, отправляется на фронт. Отец окрыляет его своими мудрыми наказами-письмами. В одном из боев Анатолий геройски погибает. Серафимович горестно переживает гибель любимого сына. Мария Ильинична Ульянова, сестра Владимира Ильича, с которой Александр Серафимович был близок по работе, утешает его в горе, рассказывает Владимиру Ильичу о трагедии, постигшей писателя. Владимир Ильич пишет Серафимовичу письмо, которое нельзя читать без волнения.

«Товарищу Серафимовичу¹
21/V. 1920.

Дорогой товарищ!

Сестра только что передала мне о страшном несчастье, которое на Вас обрушилось. Позвольте мне крепко, крепко пожать Вам руку и пожелать бодрости и твердости духа. Я крайне сожалею, что мне не удалось осуществить свое желание почаще видаться и поближе познакомиться с Вами. Но Ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как *нужна* рабочим и всем нам Ваша работа и как необходима для Вас твердость теперь, чтобы перебороть тяжелое настроение и *заставить* себя вернуться к работе. Простите, что пишу наскоро. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш Ленин».

Ленинские слова глубоко тронули душу Серафимовича. Он держал в подрагивающих руках письмо Ленина, и вся жизнь встала перед ним. И прежде всего картины общения с сыном, его юношеская восторженность, проявившаяся в особенности в те дни, когда они были вместе в незабываемом пути по Кавказу, по дороге между Новороссийском и Туапсе. Встал в памяти горный плацдарм, весь его фон, вся его природа.

«Перед самой империалистической войной,— писал Александр Серафимович впоследствии в статье «Из истории «Желез-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Том 51, с. 198—199.

ного потока», — с сыном Анатолием шли мы по водоразделу Кавказского хребта. Громадой подымался он над морем, над степями, — здесь, у Новороссийска, было его начало.

Серые скалы, зубастые ущелья, а вдали под самым небом не то блестящие летние облака, не то ослепительные снеговые вершины...

...Слева, в недостижимой глубине, толпились голубые стада лесистых предгорий, а за ними неохватимо уходили кубанские степи.

Мы стояли безмолвно на узком, метра в два, перешейке и не могли оторваться, точно карта мира раскрылась перед нами.

Потом опять пошли. Узенький перешеек остался позади. Пропали синие предгорья, пропали далекие кубанские степи. Пропала безмерная недвижная синева моря. Кругом опять скалы, рододендроны, чинары; хребет снова могуче раздвинул исполинские плечи»¹.

Вспомнил: сын был тогда рядом. И обоих ошеломило это видение: серые скалы, нагнувшиеся над бездонными провалами, откуда мглисто всплывает рокот невидимого потока; белеющие снеговые маковки, и по ним синие тени — непроходимые леса, где жителями лишь зверь да птица. И подумал: все это, как чаша, требует от него, писателя, наполнения.

«Чем? — почти исступленно спрашивал себя писатель. — Какое содержание я волею в это незабываемое видение?»

Этот вопрос обращен к самому себе, к сердцу, наполненному горькой думой о погибшем сыне.

«Хожу ли по ободранным улицам, спотыкаюсь ли молча в сугробах под обвисшими трамвайными проводами или в непроходимом махорочном дыму сижу на собрании, — то и дело мне слух и зрение застилает: синеют горы, белеют снеговые маковки, и без конца и краю набегают зеленовато-сквозные валы, ослепительно заворачиваясь пеной»².

— Вы думали об Анатолии, о сыне, о нем — молодом, впечатлительном. Ведь вы смотрели тогда в четыре глаза, видение Кавказа и моря воспринималось вами вместе, сообща, так ведь, Александр Серафимович?

Я спрашивал его об этом, стараясь проникнуть в его душевный мир, в источники вдохновения, в предысторию создания того великого произведения, которое получило название — эпопея «Железный поток».

— Да, думал о сыне. — Глаза его увлажнились.

¹ А. С е р а ф и м о в и ч. Из истории «Железного потока». М., «Дет. лит.», 1977, с. 182—183.

² Там же, с. 183—184.

— Наполнение грозного кавказского пейзажа Вы нашли позже?

— После встречи с таманцами, происшедшей случайно в Москве у моего друга украинца, коммуниста Сокирко, меня озарило. Я увидел тот человеческий материал, который должен наполнить удивительный пейзаж, виденный нами в «четыре глаза», и понял, что может быть памятью о сыне...

— И ответили Владимиру Ильичу тем, что перебороли тяжелое настроение и заставили себя вернуться к работе.

— Я не думал об этом,— после долгой паузы сказал Александр Серафимович,— но подсознательно, вероятно, да, пожалуй, определенно это было так. Я принялся за эпопею вскоре после ленинских строк, обращенных ко мне. Мария Ильинична говорила Владимиру Ильичу о моей работе, книга вышла в год смерти Ленина, он не успел ее прочитать, она чуть-чуть запоздала с изданием...

Разговор происходил на даче Серафимовича в Переделкине.

Мы сидели в его кабинете. Перед окном была уже разбита клумба, стены пахли свежей сосной, на столе и даже на полу лежали груды книг.

Серафимович начал писать «Железный поток» в начале 1921 года, а в 1924 году книга вышла из печати. Он работал над ней упорно, по многу раз переделывал отдельные куски. Писал, как говорит он сам, разбросанно. «Не так, чтоб с начала, с первой главы начал и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал хвост, последнюю сцену митинга. Меня мучил этот конец — митинг. Стояла передо мной эта баба Горпина такой, какой она выросла. В заключительной сцене для меня сконцентрировался весь смысл вещи. Она, эта сцена, необыкновенно ярко горела у меня в мозгу»¹.

Кстати о Горпине, в лице которой, по словам самого писателя, он сосредоточил основную идею перерождения под влиянием революции крестьянской бедняцкой массы. Серафимович называет этот тип собирательным, сделанным на материале, который был у него раньше, и для описания похода таманцев он внес его в ткань произведения.

Мы помним знаменитый самовар бабки Горпины и первый разговор с Алексеем Приходько, ординарцем Кожуха, любезным другом Анки, красивой целомудренной девушки.

«Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свой глаз; будешь помирать, щоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь

¹ А. С е р а ф и м о в и ч. Из истории «Железного потока». М., «Дет. лит.», 1977, с. 191.

усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думают? И що буде Совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропаде мий самовар!»

Это первый разговор, разговор, так сказать, несознательной крестьянки, для которой ее самовар дороже всего на свете.

И вот тот же самовар, «вплетенный в ткань» произведения, в сцене заключительного митинга, когда люди Таманского похода соединились с частями Красной гвардии. С повозки-трибуны митинга Горпина закричала:

«Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинули. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинули. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо усю жисть горбы гнулы та радости не знали...»

В скупых, немногословных эпизодах писатель убедительно, в художественном образе, показывает, как и крестьянство приходило к революции, как изменялись и изменились люди, назвавшие Советскую власть своей властью.

Наша беседа затянулась. Интересуюсь тем, как писатель собирал материал для «Железного потока». Я работал тогда над книгой «Над Кубанью», и мне хотелось поподробнее познать мастерство маститого автора.

— Как все же получилось у Вас с самоваром? — спросил я.

— Э, батенька, вы все хотите знать, все доподлинно, как сапоги тачают...— Серафимович подмигнул мне.— Знаете, мне пришлось вновь поехать в описываемые места, чтобы освежить в памяти материал, детальней всмотреться в пейзаж, побеседовать с участниками похода, а их было достаточно. В станице (Александр Серафимович называл либо Поповическую либо Полтавскую, точно не помню) остановился я на ночлег у пожилой пары. Вечерком мои хозяева согрели самовар и заварили чай вместе с какой-то пахучей травкой. Я обратил внимание на самовар. Он был «баташевской» продукции, с медалями, старательно начищенный, но почему-то измятый. Я спросил, где это так измяли такую отличную вещь. И вот хозяйка словоохотливо рассказала мне историю этого самовара. Оказывается, этот самый латунный самовар они прихватили в поход, и он сопровождал их до самой Невинномысской. Ему, конечно, немало досталось, потому и погнули. «Маты у мене вмерла, а самовар доси как память». И старуха любовно погладила его горячий бок... От этого самовара и пошла, пожалуй, Горпина.

Таманская армия, как чуть позже была она названа и как проходила по армейским диспозициям, была сформирована из многих отрядов и групп, организованных в отдельных станицах как на Тамани, так и по линии побережных приазовских станиц вплоть до города Ейска. Белые, выйдя из Мечетинской и захва-

тив Тихорецкую, достигли Екатеринодара и, таким образом, отрезали отряды от основных сил армии Кубано-Черноморской республики. Красногвардейские отряды оказались в окружении. Состояли они из иногородних, казачьей бедноты и пришлого с Украины народа, бежавшего от немецкой оккупации. Отряды имели своих вожаков, не подчинялись единому руководству, воевали по принципу обороны только своих станиц и вначале были действительно неорганизованны, самовольны. Сплотиться их заставила крайняя необходимость, смертельная опасность, нависшая над ними. Объединить, организовать их было нелегко, для этого потребовалась воистину железная воля талантливого вожака. Таким по замыслу писателя вполне справедливо был назван подлинно эпический герой массы Кожух.

Писатель смело пошел на типизацию этого образа. В нем обобщен не только Епифан Ковтюх, но также смелый и стойкий матрос Матвеев, позже предательски расстрелянный авантюристом Сорокиным.

Кожух своей непреклонной волей заставил десятки тысяч людей — строевые части и беженцев, избрать единственный путь отхода, минуя Новороссийск, через Туапсе на Белореченскую. Жесткие слова «иттить надо, иттить и иттить», прямо-таки сомнамбулически повторяемые Кожухом, который поставил своей целью спасти массы от погрома и смерти, действительно производились человеком небольшого роста, крепким, как камень, с отлитым словно из темной меди замкнутым лицом, с полуутопленными серыми глазами и «ржавым» голосом. Именно в этом образе легко узнать Епифана Ювича Ковтюха — партизанского руководителя. Я знал Ковтюха и его двух братьев, они останавливались в Пятигорске на квартире у моего родного «дяди Саши» Первенцева и ушли в астраханские степи с моими двоюродными братьями Иваном и Николаем. У меня не было никакого внутреннего противоборства в отношении литературного перевоплощения Ковтюха в Кожуха. Это был верный писательский ход, необходимый и правомерный.

Что еще сказать о «Железном потоке»?

Превосходно откована булатная сталь этого эпического произведения. Полвека в непрерывном сражении — и ни одной выщерблины. Не каждой книге суждено выдержать столь суровое испытание временем, найти добрый отзвук в сердцах сменяющихся поколений, остаться вечно молодой, необходимой, вызывающей чувство доверия и любви к ее автору...

Александр Серафимович пришел к «Железному», будучи уже сложившимся профессиональным писателем.

Его произведения, как уже говорилось, были не только замечены, но и горячо одобрены Толстым и Горьким, Короленко и Успенским.

Зорко вглядывался Серафимович в глубины народной жизни, выбирал с мудрой последовательностью образы и характеры. В поисках прекрасного он внимательно вслушивался, вдумывался, запоминал, отбрасывал все лишнее. Мне приходилось неоднократно наблюдать его в беседе. Он наклонялся к тебе, сутулился, тяжелые кисти рук лежали на коленях, глаза чуткие, пристальные, пытливые, и только — на тебя, никуда больше. Казалось, он не просто слушал, но и читал твою душу, ощупывал, проверял, отыскивал то, что собеседник не мог полностью выразить словами. Сам говорил мало. Но — поразительное явление! — уходя от него, ты уносил ворох мыслей, огромный запас впечатлений. Ты досказывал за него, превращал его жесты, пожатие руки, прищур глаз, улыбку и даже дыхание в нечто вполне вещественное, осязаемое. И главное — ощущал надежное, ободряющее.

Он никогда не подавлял своим авторитетом, не позировал, не кичился, не торопился тебя спровадить. Иные объясняли это тем, что у него не было должностей, ему некуда, мол, спешить, его не ждали какие-либо важные служебные заседания... О нет, отнюдь не в этом дело! У него была величайшая из должностей на земле: он был Писатель и Человек. Навстречу ему распахивались сердца людей. Мог ли он написать «Железный поток», будучи самоуверенным, торопливым, надменным?..

Епифан Иович Ковтюх, человек героической и трагической судьбы, много и доверительно беседовал с Серафимовичем. Кроме первой встречи у Сокирко, когда они проговорили до утра, были еще свидания. Писатель пытливо изучал этого человека, его характер, волю, видел его в соломенном брыле и опорках во главе темпераментной, взбудораженной массы. Таким и только таким должен быть человек, сумевший взять в крепкие руки стихию, осилить ураган.

Серафимович не ограничился только беседами с Ковтюхом, он встречался с участниками похода, испытывал их, разбирался в полученных сведениях с разных сторон, устраивал перекрестные «допросы», пользовался записками и дневниками. Но главное направление своего повествования он определял сам, и здесь у него была ясная цель — показать, как стихийная и подчас даже анархическая масса в конце концов подчиняется твердому большевистскому руководству, понимает свою роль и ответственность и из многочисленных ручейков превращается в железный, целеустремленный поток.

Как впоследствии и Фадеев в «Разгроме», Серафимович сумел отыскать героическое в поражении, подвести логически обоснованный победный итог, зиждущийся на доверии масс к партии, к ее организующей, несокрушимой воле.

Благотворно заразителен мужественный пример Серафимо-

вича. Так, Всеволод Вишневский с присущей ему бойцовой страстью поразил ревнителей литературных канонов, назвав свою пьесу «Оптимистической трагедией». Ведь в его пьесе также действует поначалу нестойкая, полуанархическая матросская масса, позже прозревающая и делом доказывающая преданность революции.

«Товарищи! — произносит в «Железном потоке» здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, с хриповато-осипшим голосом, в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь. — Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

А ведь трудно доставалась писателю эта покаянная речь матроса на митинге, завершающем эпопею. Не сразу он подошел к ней. Пришлось подробно расспросить участников, как же повели себя в конце концов матросы, поняли или нет Кожуха, повинились ли перед громадой за свои ошибки, продиктованные даже не злым умыслом, а разудалой стихийной силой. Вспомните, так повела себя масса и у Вишневского, фактически следовавшего по стопам патриарха нашей советской литературы.

Еще раз обратим внимание на то, что писатель шел по линии наибольшего сопротивления, создавая образы действующих лиц. Мне и нашему постановочному коллективу, два года работавшему над экранизацией «Железного потока», стали ясными емкость и обширность разных характеров, обрисованных, казалось бы, скупыми строчками текста.

Подумайте, к примеру, над тем, сколь значительна такая символическая пара, как Степан и его жена в драматическом эпизоде гибели ребенка! Или — лирические Приходько и Анна. И несколько не комична Горпина и ее муж, старый крестьянин, «здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта». А как трогательны его слова на митинге в конце перенесенных мучений, они открывают душу простых тружеников:

«— Побилы коняку, сдох!.. Все потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным, — и заревел стоеросовым голосом: — Не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестьянская власть. Без нэи мы дохлятина, як та пададь пид тыном, воняемо... — и заплакал скупыми слезами».

Каждый образ у Серафимовича продуман, скуп и вместе с

тем емко обрисован, выражен действием, каждое слово хватает за душу, выражает глубокую мысль.

«Железный поток» — сгусток революционного оптимизма: его герои — идеал для подражания и самосовершенствования. Принципы, заложенные в этом замечательном произведении, и ныне действенны. Такие книги вселяют бодрость, пронзительную сыновью благодарность к подвигам дедов и отцов, желание быть лучше и отзывчивей, идти на любые испытания во имя великой цели.

*

Соболев писатель-маринист. Его творческая стихия — море. Люди, связанные с морем, его герои. Любовь писателя к морю началась еще в ранней юности и прошла через всю его жизнь.

Он родился вдали от морей и океанов, в Сибири, в том краю, где шумно вытекала из Байкала широкая и буйная Ангара. Но ведь и Байкал это тоже море — огромное, только пресноводное, и не случайно в детстве Байкал, как и Ангара, пленил впечатлительное сердце мальчика. Не раз предпринимал он путешествия по широким просторам загадочного озера, по его лесистым, девственным берегам.

Позже, уже будучи писателем, Леонид Сергеевич приезжал в родной Иркутск, бродил по его улицам, вспоминал свое детство. И не печалился, что исчезли кварталы, некогда застроенные домами с резными наличниками чисто кержацкого типа, что на их месте поднялись современные здания, что река, перепоясанная телом плотины, усмирена и дает в окрест, новым заводам, поселкам и селам, электрическую энергию, что на месте тайги возник город Ангарск, которого раньше не было и в помине. Не минул он родного Иркутска, когда перед своим семидесятилетием проследовал до Владивостока, чтобы сесть на судно, отправляющееся в героический Вьетнам. Он жадно всматривался в многочисленные скалы-островки Хайфона, видел мужество народа, боровшегося за свою свободу и независимость. В тамошнем приморском люде он узнавал тех, кто повторял подвиги его соотечественников моряков-героев с открытой морской душой.

Детство Леонида Сергеевича прошло в трудовой небогатой семье артиллерийского офицера, участника русско-турецкой войны 1877—78 годов. После окончания этой войны, принесшей освобождение братьям-болгарам, отец Сергей Филиппович вернулся из Болгарии и поселился в сибирском городе Иркутске. Здесь в 1898 году родился сын Леонид. Отставной капитан вернулся к своей профессии — в свое время он окончил Межевой

(горный) корпус — и стал землеотводчиком на золотоносных приисках.

У Леонида Сергеевича были сестра Людмила и старший брат Александр, мечтавший о море и заразивший этой мечтой его самого. Попав в Петербургский Морской корпус, Александр буквально сманил Леонида пойти по пути, избранному им самим. Вначале Леонид учится в Третьем Александровском кадетском корпусе, затем — в Морском корпусе. Александр, окончив в 1913 году Морской корпус, уходит в заграничное плавание, потом, произведенный в мичманы из гардемарин, назначается командиром орудийной башни линкора, приписанного к Кронштадту.

Это дало возможность Леониду, учившемуся в Петербурге, часто посещать Кронштадт, а во время отпусков и жить там вместе с братом.

Так крепость Кронштадт — морская база Балтийского флота — стала вторым местом после Иркутска, которая навсегда полюбилась молодому человеку.

Если мы ретроспективным взглядом окинем прошлое Кронштадта — этой славной морской крепости, ни разу за всю свою историю не сданную врагу, — то сможем назвать целую плеяду знаменитых моряков, воспитанных здесь. И среди них — председатель Центробалта П. Е. Дыбенко, матрос с линкора «Павел Первый», на котором нес службу и старший брат Соболева Александр Сергеевич.

Не могу не сказать и о своих личных впечатлениях от каждого посещения Кронштадта. Он навевает благоговейный трепет, вселяет в душу оптимистический настрой — еще сильнее познаешь величие нашей морской державы.

В Кронштадте вы сразу же, на первом причальном пирсе, увидите гордый памятник основателю крепости Петру I, увидите дома, построенные в те далекие времена, окантованный красным кирпичом бассейн квадратной бухты, действующие доки, собор и площадь с памятником адмиралу русского флота Макарову с вычеканенными его словами: «Помни войну». И вы ощутите, какую мощь обрел Кронштадт за годы Советской власти.

Не удивительно, что Кронштадт пленил сердце молодого Леонида Соболева. Здесь он становится настоящим моряком.

В семнадцатом году комендором носового орудия на эскадренном миноносце «Забайкалец» он участвует в знаменитом Моонзундском бою с кайзеровскими немцами, решившими прорваться к революционному Петрограду.

Братья Соболевы переходят на сторону пролетарской революции. Леонид Сергеевич вступает добровольцем во флотскую

Красную гвардию, становится вахтенным начальником на миноносце «Орфей», находившемся в Гельсингфорсе, откуда по ленинскому слову совершается зимний переход кораблей в Кронштадт. Ледовым походом будет названа эта эпопея, когда по тяжелому льду, пробиваясь сквозь торосы и ледяные поля, с обмерзшими мачтами и такелажем, шли наши воистину героические корабли. За этот переход на эсминце «Орфей» с поврежденными винтами Леонид Соболев был награжден орденом Красного Знамени.

На Балтийском флоте началась для Соболева гражданская война. Он участвует в подавлении Кронштадского мятежа; 18 августа 1919 года отражал атаки английских торпедных катеров. После гражданской войны служит в морских пограничных частях, в бригаде траления, становится штурманом линкора «Октябрьская революция», а в 1922 году совершает на военном корабле дальний заграничный поход.

Десятилетие после гражданской войны не прошло даром для Леонида Сергеевича. В эти годы он формируется как писатель. Выступает с небольшими рассказами, очерками, юморесками из флотской жизни, находит своего благодарного читателя. Одновременно он тянется к литературной среде, вначале как бы невзначай, робко, приглядываясь к самым различным литературным группам и группкам, а затем вступает в серьезное и зрелое литературное объединение Красной Армии и Флота (Локаф).

Именно Локаф воспитал Соболева как настоящего советского литератора, поставившего своей целью участвовать в создании, вопреки всяческим кривляниям и фрондерскому пустозвонству, подлинной литературы. Ленинградский Локаф имел свой боевой журнал «Залп», в котором активно сотрудничал Соболев. Нельзя не вспомнить, что первыми литературными товарищами Соболева были Всеволод Вишневский, А. А. Новиков-Прибой, Борис Лавренев, Адам Дмитриев, Николай Мамин, Владимир Кнехт.

Широкоизвестный роман «Капитальный ремонт», поставивший писателя в ряды первых романистов нашей страны, был закончен Соболевым в начале тридцатых годов. Автор этого превосходного романа, оргсекретарь Ленинградско-Балтийского отделения Локафа, Соболев участвует в Первом съезде советских писателей, замечен Алексеем Максимовичем Горьким, избирается в руководящие органы Союза писателей.

Середина тридцатых годов. Внимание Соболева приковано к одной из наших бурно развивающихся республик — Казахстану. Он буквально исколесил всю эту огромную по территории и интереснейшую во всех отношениях республику, неоднократно писал о ней в газетах и журналах и, увлеченный творчеством выдаю-

щегося писателя Казахстана Мухтара Ауэзова, переводит его знаменитый роман «Абай» и совместно с автором пишет трагедию на эту же тему.

Мне довелось познакомиться с Леонидом Сергеевичем еще в 1939 году. Он привлекал внимание даже своей внешностью. Молодой, русоволосый, он выделялся своим высоким ростом, отличным телосложением, пронзательными умными голубыми глазами.

Он был общительным собеседником. Мы, молодежь, внимали ему с наслаждением, ценили его за талант, за прямоту суждений, старались следовать его советам. Будучи беспартийным, Соболев свято поддерживал партийную линию, никогда не отступал и не изменял ей, был подлинным беспартийным большевиком в самом высоком понимании этого слова.

Глубоко понимая обстановку в мире, он предвидел неизбежность схватки с фашизмом. Он говорил, что надо готовиться к войне, которую, несмотря на наши мирные устремления, фашизм обязательно развяжет.

Война не застала Соболева врасплох. У него уже был готов мундир и пистолет, выдавшая виды морская фуражка с прозеленевшим «крабом» и вечное перо с записной книжкой. В первый день вероломного нападения гитлеровских полчищ он пришел в «Правду» и получил командировочное предписание немедленно прибыть в Таллин, где группировались корабли Балтийского флота.

В первый же день прибытия на базу он легко вошел в круг насущных боевых вопросов — ведь у него уже был опыт фронтовой работы в боях с белофиннами. Вместе с Вишневским, плечом к плечу, они участвуют в большой организаторской работе, их добрые советы помогают готовиться к быстро надвигающимся боям.

Соболев — писатель, старый военный моряк, когда-то служивший в Ревеле (так до революции назывался Таллин), во флотской среде принят с радушием. Он может, казалось, без всяких усилий воодушевить моряков, используя свой жизненный опыт и веселый нрав, мобилизовать людей на нужное дело своим словом, рассказами о прошлом героического флота... Он твердо знает главное — ~~защитники~~ моряки не подведут, не сдрейфят перед врагом, они беззаветно преданы красному знамени, будут до последней капли крови защищать свободу и независимость любимой Родины.

Оптимизмом наполнены таллинские корреспонденции Соболева.

И он не ошибался в своих оценках. Чего-то ждал только один переход из Таллина, осуществленный флотом! Чего-то сродни Ледовому походу в Кронштадт было в этом переходе.

Соболев продолжает работать в составе бригады при штабе Северо-Западного фронта. К его авторитетному мнению и советам прислушиваются в Военном Совете Ленинградского военного округа. Неумный, прямой, откровенный, он становится необходимым всем. Задушевно расстаются с ним военные друзья, когда его по настойчивым просьбам отпускают в героически сражающуюся Одессу, на самый крайний фланг Южного фронта.

Одесса осаждена. Обвод обороны прижат своими крыльями к морю. Нет никакой отдушины для связи с фронтом по сухопутью. В Одессе отчаянно смело сражаются знаменитая 25-я Чапаевская дивизия, возглавляемая известным полководцем генералом Иваном Ефимовичем Петровым, прославленные своей дерзновенной смелостью Первый и Третий морские полки, сформированные из корабельных составов, вынужденных сойти на берег. «Черная смерть», «Черные дьяволы» — как прозвали матросов враги — дерутся отчаянно храбро и умело. Вспоминается матросский лозунг, провозглашенный после жестокой расправы гитлеровцев с ранеными, взятыми в плен: «Матросы в плен не сдаются, в плен не берут».

Соболев совершил переход из Севастополя в Одессу на вспомогательном крейсере и сразу же попал в боевое крещение. Безоблачное сентябрьское небо и ранний южный рассвет застали крейсер в районе действия неприятельской дальнобойной артиллерии. Ведя непрерывный артиллерийский огонь, успешно маневрируя, крейсер прорвался к пирсам и стал разгружать привезенных красноармейцев, оружие, боеприпасы. Соболев с присущим ему бойцовским темпераментом, казалось, дышал атмосферой боя. Его не пугали близкие разрывы снарядов, водяные смерчи, вскипавшие вокруг корабля. Он стоял все время на мостике, не прятался под броневую защиту, работал на своем посту, улучая минуту, чтобы вносить в записную книжку свои наблюдения.

В Одессе он не оставлял без внимания ни одной мелочи. Это отличало его. Он старался большую часть времени быть с рядовыми бойцами, в редких случаях бывал в штабе, и, пожалуй, только для того, чтобы передать очередную корреспонденцию. Именно в Одессе зародился его знаменитый цикл рассказов «Морская душа». Название это подразумевало не просто морскую тельняшку, символ морской души. Оно было гораздо шире и значительнее. Писатель раскрыл именно морскую душу людей — беззаветных патриотов, внешне простых, незаметных, но внутренне эпически благородных в своем непреклонном мужестве.

Соболев пишет: «Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело

в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический».

А дальше он четко, весомо, художественно цельно разъясняет, что именно означает этот «новый смысл, глубокий и героический».

Нельзя удержаться, чтобы не процитировать определение морской души, данное самим писателем:

«Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаля, презрение к смерти, давняя матросская ярость, люта я ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действительно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку, то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне, они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы».

Матрос, у которого молодое лицо горело яростным восторгом атаки, безудержно смело вливается в первые ряды атакующих,

с наганом в руке убивает нескольких фашистов, овладевает пулеметом и гибнет. Фамилия его неизвестна. Он «Федя с наганом», и его «сине-белые полосы тельняшки» рассказали, что он моряк.

Очень короткая новелла, но вся она пронизана экспрессией, ясным видением обстановки, мужеством.

Такие новеллы, как «Последний доклад», «На старых стенах», «Привычное дело», «И миномет бил», и другие показывают подвиг без всяких прикрас, показывают подвиг как привычное и нужное дело, когда у бойца чувство страха начисто отступает перед чувством долга. Вспомните: рулевой Щербаха, уже смертельно раненный, стоял у штурвала и вывел катер из огня; семьдесят четыре моряка под убийственным огнем противника держали старый форт, чтобы все корабли успели уйти из бухты; неизвестный моряк заменил раненого командира танка, и пошел танк «утюжить» врага; неравный бой вели три разведчика — Колесник, Абражук и Хастян — и использовали неприятельский миномет, хотя одному оторвало ногу, второму руку, и третий, «неразличимо перемазанный кровью и землей», довольно весело сказал подоспевшим товарищам: «Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!»

Действительно, сила морской души — это стремление к победе!

«Морская душа» фактически начата была писателем еще в сороковом году на фронте во время боев с белофиннами. К этому времени относятся рассказ «Крошка» — теплый, лирико-героический, посвященный серому битюгу Крошке и его «флагманскому конюху» штурманскому электрику Савкину, и рассказ о Новом годе на подводной лодке Щ-000 («Своевременно или несколько позже»), рассказ о переходе подо льдом подводной лодки, который мог драматически окончиться, но завершился благополучно («Грузинские сказки»), замечательный по настроению и точный по фактуре рассказ «Топовый узел». В этом последнем рассказе прослеживается судьба портового буксира полуледокольного типа и его бессменного капитана Григория Прохорыча. Буксир «Мощный», переименованный в КП-16 в начале кампании, добросовестно и неутомимо служил флоту, перевозя на корабли людей, оружие, продовольствие, снаряды, пока в одной из операций не попал на ледяное поле, которое неумолимо, по воле течения, несло его к батареям врага. Григорий Прохорыч, видя, что КП-16 может попасть в плен, приказывает открыть кингстоны и затопить корабль, а сам выбирается на лед, где его настигает шрапнельная пуля. Он пал, пережив свой корабль на две с половиной минуты...

С осени сорок первого года Соболев в Одессе. Писатель на-

ходится непосредственно в частях, обороняющих город. Он остается верен себе, и самые первые его впечатления и записи относятся прежде всего к морякам.

Но вот он попадает в Первый морской полк к прославленному командиру его — полковнику Осипову. Два батальона захватили посадку близ колхоза Ильичевка. Писатель видит, как целая дивизия врага не может сдвинуть ни на шаг эти батальоны. Полковник Осипов пробирается к своим бойцам и вдохновляет их. Вражеские атаки застывают у окопов моряков горами трупов, наваленных друг на друга. Две недели одна за другой накатываются волны атакующих и разбиваются о твердость и мужество краснофлотцев.

И писатель в своих фронтовых записках «Черная туча» пишет:

«Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах — везде, куда посылали их революционный народ и партия; как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам».

Перу писателя принадлежат правдивые рассказы о разведчиках-моряках, о летчиках, о девушках-медсестрах, о знаменитой разведчице Тане, о подвиге матроса Колобанова в прифронтовом лесу и о многих других. И зачастую в этих рассказах возникает рефрен о тельняшке, являющейся как бы символом морской души.

Повесть «Зеленый луч» помечена автором «1943—1953». Чем объяснить, что повесть писалась так долго? На это можно ответить, исходя лишь из личных предположений.

Писатель начал набрасывать эту повесть еще в начале сорок третьего года в Геленджике. Посвящена она морякам сторожевых катеров — этих сравнительно небольших юрких суденышек, сыгравших большую роль во время боевых действий на Черноморском театре. База сторожевиков была недалеко от Новороссийска, на Тонком мысу, в Геленджикской бухте. Являлась прифронтовой.

Новороссийск в то время частично был занят противником. Командовал дивизионом известный военный моряк Николай Иванович Сипягин, с которым Соболев был близок и с которым мне тесно пришлось подружиться несколько позже — за два месяца до штурма Новороссийска. Но Сипягина нельзя считать прообразом главного героя повести «Зеленый луч» — командира катера 0944 лейтенанта Решетникова, хотя отдельные сипягинские черты в нем и присутствуют.

Если вспомнить предысторию Алексея Решетникова, его детство, заочную влюбленность в море, приезд старшего брата Ни-

колая — курсанта Военно-морского училища имени Фрунзе, — их шлюпочные походы на озере и, наконец, юношескую клятву в вельботе, шедшем под военно-морским флагом, его желание непременно попасть в морское училище, то, несомненно, истоки всего этого были в детстве самого Соболева. Фамилию Решетников писатель дал герою в честь своего учителя — ссыльного студента Александра Сергеевича Решетникова.

Вполне естественно и то, что писатель изменил обстановку, перенес действие из родного Иркутска на Алтай, в животноводческий совхоз, то есть в места, близко изученные Соболевым в бытность его в Казахстане.

Первый вариант повести, очевидно, не удовлетворил писателя. История с пришедшим на корабль новым командиром, вместо погибшего, хмурое присматривание команды ко всему новому и признание этого нового после того, как командир совершил что-то необычное, было уже в литературе о морях.

И здесь мне хочется рассказать об истории с зеленым лучом. О том, что, по-моему, заразило писателя, заставило его подчинить начатый и скомпонованный материал новой глубокой мысли. Уже после войны, году в пятидесятом, мы встретили с Соболевым писателя Евгения Юнга (Михейкина). Юнга был настоящим морячиной, давно получившим звание капитана первого ранга, человеком, еще до войны обошедшим на торговых судах много стран, в том числе и тропических. Вот Юнга-то вдохновенно, с жаром и рассказал о зеленом луче, о морях, которые на тропиках видели зеленый луч и придавали ему особое, загадочно-символическое значение.

Леонид Сергеевич услышал про зеленый луч и прямо-таки преобразился. Он нашел ту романтическую идею, которой жил, которую искал и обязательно должен был найти, ибо она отвечала его творческой сущности.

И вот появилась его повесть. Юнга разыскал меня, показал заглавие, смущенно улыбнулся и сказал: «Вот что значит истинный писатель. Увидел зеленый луч и создал повесть».

Соболев, конечно, не просто описал зеленый луч. О нем говорят, его стараются увидеть, упоминание о нем встречается несколько раз в тексте. И все же суть не в рассказе о зеленом луче, а в детальном описании взаимоотношений членов команды катера, введение читателя во внутренний мир молодого командира Решетникова и боцмана Хазова, служебные и просто человеческие связи Решетникова с командованием, с командиром дивизиона Владыкиным, майором Лунниковым, в котором узнается Цезарь Кунников, хотя действия Лунникова сужены и дело не доведено до возглавленной Кунниковым десантной операции на знаменитую Малую землю. Лунников возглавляет группу разведчиков, выполняющих важное государственное задание. Мы

расстаемся с ним на берегу бухты Непонятной, в Крыму, куда он был доставлен на шлюпке-шестерке, спущенной с подошедшего к месту высадки катера 0944.

Последние страницы повести посвящены возвращению шестерки с боцманом Хазовым и матросом Артюшиным, сложными перипетиями на их обратном пути, закончившимися притоплением шлюпки и достижением вплавь борта катера, поджидавшего их и светившего им зеленым лучом сигнального фонаря-ратьера.

«Выключить зеленый луч!» — так заканчивается эта замечательная, психологически тонко выверенная повесть, ставшая одним из значительных произведений советской литературы.

Соболев и в «Капитальном ремонте» и в последующих своих произведениях пишет о флоте, о людях флота, столь хорошо знакомых ему. Будучи обычно непосредственным участником описываемых им событий, он, как говорится, плавает в материале, как рыба в воде. Его невозможно упрекнуть в незнании деталей, ни в чем не проглядывает ни тени поверхностной скорописи.

«Я пишу о том, что знаю хорошо, что испытал на своей шкуре», — частенько говорил Соболев. И в этих словах была истинная правда.

Двенадцать лет Леонид Сергеевич Соболев был председателем правления Союза писателей РСФСР. Работал неутомимо, с присущим ему творческим горением. К нему тянулись и зрелые писатели, видя в нем доброго друга, сотоварища по творческому труду, и еще не окрепшая молодежь, знавшая, что в нем всегда найдет мудрого советчика, учителя. Литераторы нашей многонациональной страны находили в нем своего верного радетеля. Свою работу в Союзе писателей он вел всегда с подъемом, весело, любил острую шутку. Никому не давал вешать нос. Он буквально носился по стране, бывал во многих местах, по его инициативе устраивались на местах писательские пленумы и конференции. Мне пришлось работать с ним плечо к плечу все это время и воочию видеть его энтузиазм, деловитость, общедоступность.

«Я должен быть приближен к ним, а не они ко мне. Ведь сила-то в массах, товарищи. Люди требуют неусыпного внимания, отзывчивости, крепкого плеча и обнадеживающего голоса» — таковы были его слова, и они никогда не расходились с делом.

«...Глаза его по-прежнему неотрывно следили за уходящим солнцем. Затаив дыхание он подстерегал тот миг, когда верхний край его окончательно уйдет в воду и оттуда, быть может, вырвется тот удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет, более яркий, чем зелень весенней травы или изумруда, и который появляется так редко, что моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удастся

поймать то кратчайшее мгновение, когда вспыхивает над морем знаменитый зеленый луч, ослепительный, как само счастье, и памятный на всю жизнь, как оно» — так говорит писатель о молодом Решетникове, выполнявшем важное задание Родины.

Да, жизнь Леонида Соболева воспринимается нами тоже как заветный луч, вспыхнувший и не погасший, луч, несущий удовлетворение и счастье каждому, кто соприкасается с талантливым творчеством этого выдающегося писателя нашего времени.

А р к а д и й П е р в е н ц е в

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ



*Ж*ЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК *Роман*



I

В неоглядно-знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переделки, охрипшие забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане, — и там несмолкаемо тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать — не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче дымящимися киззяками?

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице — только каза́чки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Каза́чки поглядывают в хатах в оконца

на Содом и Гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

II

Выделяясь из коровьего мычания, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..

— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

— До ветряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами,— и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятишки шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками,— и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненные штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка Воробьев, с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз! Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!..

— Пошел к черту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!

— Ня ннадо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно сризав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стерво ты конячее... А-а! Корова була, та дви пары быкив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой, — каждый кричал свое, не слушая:

— Да я б теперь с хлебом был, коли б убрал.

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

— Через вас же! Вы же, сволочи, завели, вы сманули! Все дома сидели, хозяйство було, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем!

— Знамо, завели, — густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куда же мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не слышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, коли так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всех сторон навалилось. Одно-го часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хибя ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погонь? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

— Що правда, то правда,— загудело в мечущемся шуме,— наш!

Высокий, в матроске, наконец, выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями, по самую шейку вбежал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдохнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы,— и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам собачья смерть!

— Бей их! Не оставляй для приплоду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другий скаче!

— Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покотившись на задние ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную

голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубалы козаки!..

— Ой, лишенько мени!..

— Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. По-над балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты — все было в пятнах крови, — своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно восковая желтизна и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди и сейчас же поднялся и стоял над ним, опустив голову:

— Сынку... сыне мий!..

— Вмер, — сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

— Славянская станица пиднялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И за́раз поперед церкви на площади в каждой станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тилько 6 до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости, — стариков, старух — всих под одну. Воны кажут, вси большевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Переперечицы...

— Знаемо! — загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся, — повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы тягают, из скирдов цилии ящики со снарядами, с патронами, — всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца, ни краю. Орудия мают. Чисто сказались. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата в армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носившую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

— Стой!.. Куды?! Назад!..

— Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзади — всё смерть. Энти вон, — он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени, — може, сегодняшнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так дóбре. Зáраз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны! — опять дружно отдалось в бескрайной узкожелтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

— Так куды мы идэмо? Чего шукаты... Это ж разорение: все бросилы — и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебины всих?

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим — не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдады, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы и посейчас пашуть.

— Та це кулачье ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишаты начнуть.

— Кому пахаты-то пойдэмо?! — закричали тонкими голосами бабы. — Опять же козакам та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

— Уходи, бисова душа, поки цел.

— Бей его! Свои продают...

А борода:

— Та вы послушайте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухаты нэма чого! Одно слово — хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчите, граждане!

— Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их:

— Товарищи, бросьте, — треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь, и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а!

И покатилося, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни

было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широко застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке,— по шее спускались ленточки,— молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-али в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно-задумчивой степью, и с старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут,— как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас... святой боже, святой крепкий...— и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...вы отда-а-ли все, что мог-ли, за не-его...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышно густой гул шагов да —

...святой крепкий, святой бессмертный...

...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей,— памятники над богатеями казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом,— а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол, и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чего ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого все образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, ссволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоем за Советскую власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты. И, когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания,— не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной, без стекла лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черными извивами — громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие не отрываясь все лазят по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светло-колючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полупшепотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

— Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..

— С солдатами ничего не поделаешь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки изрубят.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Какой черт — не грянет, коли кругом пожаром все пылает!

— Ну, пойдн, расскажи им.

— А я говорю — Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

— О Новороссийске не может быть и речи, — сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый, — у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения, — и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда — значит окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни ездн, было все то же: налево, не пуская, синее синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, ры-

же-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы,— как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли перознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их больше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Где спасение?

— Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там — на Святой Крест, а там — в Россию уйдем...

— Умная голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

— А я говорю, к главным силам пробиваться...

— Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

— Я говорю. Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погода сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета — и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

— Товарищ Приходько,— разжал челюсти Кожух,— пойдите узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянutom бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извините, товарищ, совершенно недопустимо... — перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху: все это — выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он — с военным образованием и давнишний революционер, — совершенно недопустимо вести армию в таком состоянии, это значит — погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связы-

вают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии — пусть идут, куда хотят, или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли:

«У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела, — почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы захотели? — голосом ржавого железа заговорил Кожух. — У каждого солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство, — та разве ж он покинет их? Коли будем сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Иттить надо, иттить и иттить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а иттить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут каждый день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

— Завтра выступать... с рассветом.

И думал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло:

«Дураку закон не писан».

IV

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять — упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься — повозки; густо несется храп и залиvistое сонное дыхание, и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь — не тополь и не колокольня; присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило?

— Кто идет?

— Свой.

— Кто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

— Командир роты.— И, нагнувшись, шепотом: — «Лафет».

— Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— «Коновязь»,— и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок — солдаты с женами; а под плетнями — тайный смех, задавленные взвизги — с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, каналы. Все вино у казаков небось вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачье!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десятков патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

— Ты, Анка?

— А ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп — отец спит.

— Долго мы будем проклаждаться?

— Скоро,— и пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом опять — мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слышать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка неизвестной девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

— Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

— Во-острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Станный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филин.

— Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И, чтобы отодрать их, думает:

«Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается, — и опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой, с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

— Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмивающий смехок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возьме? Хтось такой?

— Я, бабо.

— А-а, Алешенька. Це ты? Ни спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастья выпьем. Чуе мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а після того — заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Що ж таке балшавики думают: усе добро оставили. Як замуж мене за старика отдавали, мамо и каже: от тоби самовар, береги ёго, як свой глаз; будешь помирать, щоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А тепер усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думают? И що буде Совитска власть робиты? Та нэхай ця власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилу блукаем, як неприкайные. Яка ж вона Совитска власть, як не може ничего для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашени. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такий. О, боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

— Э-э, бабо, що скулить,— с того добра нэ будэ.

Опять пыхнул папирсой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь,— трудно. Два сына на турецком фронте легли; два тут в армии под ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала,— родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он — не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услышала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель.

— Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту,— шумит река,— покрестилась:

— Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь,— стоит, молчит, как нету ее, и сама вся тут...

— Балшавики в бога не верють. Шо ж, мабуть, знають, свое делают: пришли, усе сразу як повалялы. Ахвицера, помещики утекли швидко. От козаки озверинились... Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють. Опять же свои, не басурманы... Як бы пораньше объявились, не було б цией проклятой войны, живы были б мои сыночки. У Туретчине сплать... И откуда ции балшавики взялись? Кажуть, у Москви народились, а которы кажуть, у Германин,— германьский царь породил та на Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб над той землей робылы на себе, а не на козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воны мий само... спл... сплать... сы... сыно... доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову,— должно быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Вввв-ва» и «уа-вва-ва...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, на́, на́! Та що ж ты нэ берэш? От як мы умием — головой верть, та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но, наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, який сердитый! Як мамкину сиську тискает рученятками. А ноготки, як бумага папиросна... Дай поцелую каждый пальчик: раз! та ще два! та три!.. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловік будэ. А мамка будэ старенька тай беззуба, а сын скаже: «Ну, старá, садись до стола, буду тебе кашей тай саламатой годуваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. Фу-у... не трожь, пусти... спать хóчу...

— Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты неповоротливый! От я тобі сына кладу. Таскай ёго, сынку, за нос та за губу,— от так! от так! Батько твий не нагуляв еще бороды соби и усив, так ты ёго за губу, за губу таскай!

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тобі с бабой возиться, будемо мужиковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид мене моря пущаешь?

А мать смеется неизъяснимо радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь? Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

V

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та-та...

— Куды?! куды?! стой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

— Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...бумм! бумм!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...тра-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам построшки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

— Иде наша рота?.. иде наша рота?..

А за ним, истошно голая, простоволосая расхристанная баба:

— Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-тррра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков тысяч, и неумирающий шум реки, и разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоня их, заслоня померкший шум реки, грохот, треск, скрип поднимающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое, — как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суется, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается ружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

— Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не

допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках, и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «Добре, хлопьята, добре!..» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Добре, хлопьята, добре...»

Яростно наседают казаки.

Но, когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» — он пожелтел, как лимон, — идет бой промеж обозных и беженцев... Кожух бросился туда.

Перед мостом — свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромах, храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети. Тра-та-та... — из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой!.. стой! — хрипучим, с железным лязгом голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет... — прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту

и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы, отчаянно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, улицы, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Все уже дуга, все теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост. Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов, мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли, шагов с десятков, между цепями. Стихло,— берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют — несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

— Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-звериному злобный голос из казачьей цепи:

— Бачь! та це ж ты, Хвонка!! Ах ты, ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвонка:

— Це ты, Ванька?! Ах ты, ммать ттвою, байстриук скажений!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились

вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украински песни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

— Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

— Хто?! Я бандит?! А ты що ж, куркуль поганый... Батько твій мало драл с народу шкуру с живого и с мертвого... И ты такой же павук!..

— Хто?! Я — павук?! Ось тобі!! — откинул винтовку, размахнулся — рраз!

Сразу у Хвонки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвонка — рраз!

— На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу — и ну молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом. Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет, — как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гаком — и нестерпимый, неслыханный до толе матерный рев над ворочавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять, — на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих и несло нестерпимым сивушным перегаром.

— А-а, с...сволочи!.. — кричали солдаты. — Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

— Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!.. — кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях — носы раздавливали, и опять без конца били кулаками куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая — не продыхнешь — матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... всё — исступленный мордобой, всё — исступленный матерный рев. Никто не заметил — стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга,

кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга:

— Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

— Ты, Миколка? А я думав — козак. Що ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тобі сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

— Та що ж ты на мени еддишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

— Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав? Тильки матюкается, як скаженный, а я думав — солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла наконец подлая матерная ругань, и стало слышно: шумит река да бесконечно барабанит досками мост — нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны: на лохматых черных папах белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы, — ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленным железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы... —

густо, сильно отдаваясь в садах, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину!

Каза́чки встречают, высматривают каждая своего, — бросает-

ся радостно или вдруг заломит руки, заголосит, покрывая песни, а старая мать забьется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда только они повывели, ведь не видать было все время; бегут и кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

— А у нас красные бычки збили.

— А я одному с самострела глаз вышиб, — он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суется каза́чки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарово.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа, — рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки.

Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров, — поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры, с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронье растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего не известно. Только объявились неведомые большевики, и — точно у всех с глаз бельма слизнуло — вдруг все увидели то, что века не видали, но века чувствовали: офицерье, генералитет, заседателей, атаманов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять сыновей на службу: а три, четыре сына — каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие, — вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый: всё дадут, оденут с головы до ног. И казацкая масса

постепенно беднела, разорялась и расслоялась: слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты, — за хлебом идут, грóши везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы: верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете, — зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных — и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет, — а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

«Найкращий край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

«Та нэма ж им конца, и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкар, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем — изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами круторогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом, — все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, побеги выбросила, глядь, уже дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны, — да разве перечесть! И все — громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце — и засыпается страна невиданным урожаем:

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа — и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтора-два года назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда, страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезали из болот, из камышей скрюченные, пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев — черкесы, — кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей, — нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

— На-кось! съешь фигу,— землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя «иногородние». Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, ввалили на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе,— платят казакам тою же монетой: «куркуль» (кулак), «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откуп, много держат казацкой земли в аренде, держат батраков из своей же, иногородней, бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба,—ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блещут выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде: и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, ино-

родные — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только *граждане*. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия, — и все это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уж Советская власть. А на Кубань уже налетели рабочие из городов, матросы с потопленных кораблей, и от них все вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай все больше и больше.

— Ну, як же ж нам пахаты?! Треба землю делить, а то время упустишь, — сказали иногородние казакам.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки — «куркули», «каклуки», «пугачи».

— Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние — «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварила каша веселая в марте восемнадцатого года; стали

расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицера кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепка, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого — заплали глаза. У этого нос здоровенный сливой. У этого запеклись скулы, — ни одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сопатку я-ак кокну, — он так ноги и задрал.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж..., а он, сволочь, ка-ак тятнет за...

— Го-го-го! ха-ха-ха!.. — зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?

— Та що ж, як выпилы, — виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза:

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшли до ближней станицы, найшли у земли закопани в саду двадцать пять бочонков, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построили нас тай кажут: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур». Ну, вони дали каждому по две бутылки, мы выпилы, — а йисты не позволилы, щоб душой забрало. Мы и кинулись, а винтовки мешають.

— Э-э, ссволочи!! — подскочил солдат. — Як свыньи, — и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

— Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежды, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом — бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против Советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок, — и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день, каждый день ждут — вот-вот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться», — а оно все дальше, все запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны, поблескивают на солнце зеркала, качаются между подушек детские головенки, и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков — все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текущий поток хоть как-нибудь организовать, — командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки либо орут срамные песни, — «это вам не старый прижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и, как сжатая пружина, теснит грудь: если навалится казачье, все лягут под шашками. Одна надежда — глянет смерть, и все, как вчера,

дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно! И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные Советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Все это перебывавшиеся с хлеба на квас иногородние, все это трудовой люд, для которого приход Советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство, и хозяйственные казаки их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки, — нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве — фронтовики, в сердца которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки, — стройно, в порядке, среди текущего разброда.

Мотают головами хорошие кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дома бросили все: хаты, скотину, домашность, — хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папхе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! На вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее — на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду, — ведь он — кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча, куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно — ни кола, ни двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он — великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в до-

лину, — турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава — рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человеческая кровь может бежать в полколена, — но это была турецкая кровь и забывалась.

За невиданную храбрость его послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры! Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена, — царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавочные мальчики. И он — спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков, — офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебоборб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это — как в кровавом тумане, а возле — идти-то надо, идти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей идти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопаётся. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются, — офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно, — а больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных, — овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное та-

таканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть, и ад со всех сторон», а он, как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой; недаром — украинец, и череп насунулся на самые глаза — маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раско-ряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль, — и в боях и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает, — добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлебобобов, от солдат, — от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раско-ряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра...»

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное, — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но — когда сделалось явным — простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми, желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмущившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный

угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров,— не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах — Советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «классы, классовая борьба, классовые отношения», но глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью — офицерье,— теперь оказалось крохотным пустяком перед ощущением, перед этим чувством неизмеримой классовой борьбы, офицерье — только жалкие лакеи помещика и буржуа.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи,— хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить,— нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимнастике, в старой, обвислой соломенной шляпе, опорках — так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли — закипела Кубань, и Советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фыркания и бесконечных облаков пыли.

VIII

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией

выстрелы, крики, смятение. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды,— тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей,— кадеты и казаки никому не дадут пощады, ни старому, ни малому,— все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И, когда усилилась оружейная пальба, вдруг вспыхнуло:

— Спасайся, кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — ненадолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

— Единственное спасение — перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами итти в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

— Если попробуешь выступить, открою по тебе огонь,— сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами,— надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила — десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромаждая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

IX

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завести глаза — стали меркнуть звезды; проступили дальние лесистые отроги, в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны

выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно огромной стеной, что от ее синей густоты поголубли у всех глаза.

— О, бачь, море!

— А чого ж воно стиною стоить?

— Це придется лизти через стину.

— А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

— Хиба ж не чул, як Моисей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як посуху?

— А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чеботы, так щоб не размочило.

— Треба попа, вин зараз усе смаракуе.

— Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаются руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты, — немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками — турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются всё новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково поражает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мотаются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми на уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другой — сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

— Бачь, море опять лягло.

— А ты думав, воно так и буде стиною стоять? То с горы воно обманывало. А то як же бы по йому йиздितы?

— Эй, Гараська, теперь пропали твои чеботы, наскрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие, в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

— Все одно нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, отцеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди, обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно остановилось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала; все так же торопливо, иноходью трусили озабоченные коровы; ухватившись за повозки, мелькая ножонками, семенили ребятишки; взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей, — и от рядов шел густой, размашистый дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженных повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые — полосками — ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожek, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашенные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесyтом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый

клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попало под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик торопливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилося в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок сбмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырывая и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молско. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы — меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза и пошло ломаться и перекатываться по горам, а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь — повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать — этого требовал порядок, но другие этого не сме- ли делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ноготок, люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали

рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его густо повалили громадные черные клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и...

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось; мучительно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетью смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся оружием и через минуту пропали за гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам появились мертвецы. Восковые, с черно провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении — к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размахисто перекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

— Пи-ить... ии-ить... пи-и-ить,— тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

— Постой, Митя... Куда ты?.. Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не звери же они.

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов все вылезает, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементные заводы и шоссе... А по шоссе уторопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы,— уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, грязно обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих

возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

— Братцы!.. братцы... товарищи!..

Несутся отовсюду то охрипые, то срывающиеся голоса, то пронзительно звонко слышно у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный, я — раненый, товарищи!..

— И я — не тифозный... товарищи!

— И я — не тифозный...

— И я...

— И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватая его за единственную ногу и всовывает в арбу на головы отчаянно завизжавших детей...

— Та цю! Схаменыся, дитей передувив! — кричит баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Рóдные мои, та всих бы забрали, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадэте вы з нами, и жалко вас... — Бабы сморкаются и вытирают прямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Матть вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Матть вашу так!! Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, неутихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колышющиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе, — виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят: мимо без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыха, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но, когда от усталости разгибают спины, по шоссе, послушно изгибаясь по извилинам берега, все идут и идут, и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, и земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — все идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

— Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути, и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И все шли и шли.

— Он нас загоняет, — глухо стало всплывать по колонне.

— А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без козаков все с натуги пропадем. Вон уже пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

— Чего вы смотрите на него! — кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды, — не видите, свое гнет. Али не был он офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо ослепительно сверкает море. И все идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделяют свои части на остановку и пойдут самостоятельно. Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна все идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держидерево — в этой пустыне нет лесов, — растаскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

XI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму, баба Горпина. Возле на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огня, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась; кому вона достанется? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — кнута николи не просив. Старик, иди снідаць.

Из-под свиты хрипло:

— Нэ хо́чу.

— Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь, — що ж, тебе на руках нести тоди?

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура. И девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

— Та отдай же, треба похорониты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

— Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

— Як каменная.

— Та уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

— Та шо з ей балакаты,— узять, тай квит.

— Зараза. Як же ж так можно! Треба похорониты.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг,— слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем; и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

— Куса-аться!..

— Та чертяка з ей — уси зубы у руку загнала.

Мужики отступают. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. По-немногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

— И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик!

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та сёрденько, та отдай же ёго, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть ёго. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пиджидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитына та понятлива, така разумна!..

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

— Тссс...

— Анка! Анка!..— доносится от костра,— що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты побигла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы все приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят. Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

— Треба за Степаном послаты, а то вин сгниє у нєи на руках, черви заведуться.

— Та вже ж послалы.

— Микитка хромою побиг.

XII

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек,— целый оркестр зазвучит струнно-упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди — особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красно колеблющийся круг костра,— отъевшиеся, бронзовые, в черно болтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги — любезные балуются. Подобрав цветные юбки, на корточках готовят на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, сардины, шема, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, звоном, разухабистым смехом, бранью, перекликаками, неожиданно стройными, струнно-звнящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спевшийся, дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? все можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

— Товарищи!

— Есть.

— Отдавай концы.

— Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмого колена!..

— Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетку поте...

Голос перехватился.

— Товарищи, на каком мы тут основании?.. Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи — это эксплуатация трудового народа. Враги и эксплуататоры...

— Бей их, так-растак!..

И дружно и стройно:

Сме-ело, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-е-м в борь-бе-е...

XIII

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует; большой черный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.

— Та так,— говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся огонь, рассказывает,— пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажут: «Ройте». А кругом пулеметы, два орудия, козак с винтовками. Ну, энти, небоги, роют, кидают лопатами. Молодые всё, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачут. Ахвицеры ходють с левольверами! Которые нешвыдко лопатами кидают, стреляють ему у животи, щоб довго мучився. Энти роют соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вздыхает. Ахвицеры: «Мовчать вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то знают.

Стоят вокруг, красно освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые, внимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глаз. И кажется: кроме одного — никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок, кроваво порубанный. А за ним другой соскочил, ухо к груди: «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держидерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту,— и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду ста-

рые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

— Дуже дивчину мучили, ой як мурдовалы! Козаки, цила сотня... один за одним сгнушались над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лижало. Всих порубили — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всех до одного умертвили. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. Я — не тифозный, я — раненый...» — не меркнуше стоит перед глазами.

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху мать засекли плетьюми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали, — молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице.

— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывели на пристань, привязалы каменюки до шеи тай стали спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза, — ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

— А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замрут клубком. Всё дочиста видать, — вот чудно.

Прислушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу,плыли стройные струнные звуки.

— Матросня! — сказал кто-то.

— А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжуть, та айда у море.

— Як же ж то можно,— людэй у мешках топить...— печально проговорил заветренный, степной голос, помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал: — Мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь,— з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.

— В России Совитска власть.

— У Москви-и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробилы по станицам, землю казала отбирать.

— Совесть привезлы, а буржуев геть.

— Та хибя ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном работае, а на маслбойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

— Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, поднялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в притороченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зъихав?.. Назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

— Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойихав до Кожуха докладать,— все чисто у козаков знае.

— Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то», — и йиде дальше; баба попадеться, шашкой голову снесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Де мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

— Диты чим провинилысь, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

— Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каж-

дый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с нёба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит,—торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо поймал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой, буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Расперетак вас!.. Сидите тут — кашу жрете, а что революция гинет, вам начхать... Сволочи!.. Буржуи!..

— Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух?! Подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас, растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились:

— Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли наизготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, прошедший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами кашу, постучал ложкой, отряхая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляються! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас, растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У козаков награбили.

— Як награбили? За усэ платилы.

— Та у них грошей — хочь купайся.

— Все корабли обобрали.

— Та що ж пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

— К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всех дочиста пид самый корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп, — торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос, — тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывся поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав, — никто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

— О, бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорят, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жили соби, у каждого було и хлеб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю, пийшлы за ахвицером неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер! Такий же, як и мы с тобою.

— А почему Совитска власть подмоги ниякой не дае?

Сидят собі у Москви, грають, а нам хлѣбать, що воны зава-
рылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослаблен-
ные расстоянием голоса, шум — матросы бушевали, — так и шли
от костра к костру, от части к части.

XV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть кост-
ры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный
бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темно-
ту — звучно жуют лошади.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных непо-
движных повозок, а где возможно, бежит сбоку шоссе, перепры-
гивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой,
такой же неузнаваемо черный, припадая на одну ногу. Возле
повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в тем-
ноте быстро удаляющиеся фигуры.

— Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпійны...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опу-
скается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут,
перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко по-
водя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть под чернеющими го-
рами, выстрел. Одинокое и ненужно, в виду этого покоя, мирного
звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался в тем-
ноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще
чудился, не растаял. Двое побежали еще быстрее.

Раз, раз, раз!.. Все там же, справа под горами. Даже среди
темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья.
Да вдруг пулемет, сам за собою не поспевая: та-та-та!.. и еще
немного, договаривая недосказанное: та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один
торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных
пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

— Эй, Грицько, слышь... та слышь ты!

— Отчепысь!

— Та слышь ты, — козаки!

— Фуу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подо-
шел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами,
чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз!..

Тоненькие, как булабочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

— А, мать их суку! спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорезится! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь — до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробіте, так тильки патроны потратите, и квит — а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше.— И закричал: — Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

— Що?

— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

— Та тут же, дэ стоите, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

— Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут,— на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

— Перший раз заплакала.

— Легше буде.

— Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

— Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрепощивая. Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держидерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли...

— Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горlinkа обвила шею руками.

— Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

— Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи видны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок, солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогах, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый потный человеческий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынувшим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот,— тычет адъютант в сороконожку,— с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непроходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долежут. Иттить треба з усней силы.

— Жрать нечего.

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз вси придуть,— шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграли мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та...— где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в столовой, казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода все на лицах у них высовывалось углами.

— Що там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем,— сказал другой заветренным, сиповатым голосом.— Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно растилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо идти такими переходами,— этак и армию погубить невольно...

— Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! — гаркнул полковник, как будто скомандовал.— На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно,— сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал — настал наконец момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии.

— ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно быть совсем иное, — нас каждую минуту могут перерезать.

— Да приведись до меня, — запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске, с серебряным кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни, — приведись до меня, будь я от козачков, зараз налетел бы з ущелья, черк! — и орудия нэма, поминай как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов, — что же мы — орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате, — маленькие тонко-колющие глазки Кожуха ждали, — только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая.

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Дослужился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры — говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с все так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый, глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая, глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстроились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столо-

вую через широко распахнутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они всё больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только — было их много, и все одинаковы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят сигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, наливается тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

— Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — дыря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться каждую минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря, — там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добратсья. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там — наши главные силы, наше спасение. Надо иттить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Иттить, иттить, иттить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни пыты, ни исты, тильки бежать з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечи?

— Есть,— сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь смотревших на Кожуха, то гасли — и все мгновенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

— Товарищ Кожух,— заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал,— мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно... просим!..— поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же вам отказуваться,— сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась,— як вас выбрала громада.

Блестящими глазами молча смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

— Добре, товарищи. Ставлю одно непременно условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказання — расстрел. Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться...

— Мы и так всегда...— на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух,— хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой,— гаркнуло за запахнутыми черными окнами, только никто там не слышал.

— К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказання... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами сигарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Каждый, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять кусиных сынов, хочь командир, хочь солдат, одинаково!..— опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно — не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух,— проговорил он,— вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях иттить...

Кожух глядел на него неподвижно каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажут, треба убить Кожуха...

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины

тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Иттить наискорейше. Останавливаться тильки, щоб людям напиться и лошадей напоить. В каждом ущелье выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте иттить с нами, нехай с теми колоннами идти.

— Слухаю.

— Захватите пулеметы и колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назад, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега и умерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма, — забытый огарок не зевал.

XVIII

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры:

слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами, прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

— Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них тайное соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили, — накось, выкуси! ишь, чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас, разэтак!

— Так вы чого лаетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но, когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорить. Чого ж балшевики нам не помогают? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмоги не шлють — об себе тильки думают.

Из чернеющего даже среди темноты ущелья точно так же слышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходящей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорванно дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобровый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее.

— Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами, — сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать», — и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж в конце концов что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я — Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну, да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше, — не стоять же на месте и не идти назад, к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за Кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет, — загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставляю подчиниться, я заставляю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтоб с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому

проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет,— говорили командиры,— и в ус не дует на все ваши приказы.

— Да что вы с ним поделаете,— добродушно смеялся Смолокуров,— я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

— Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух — ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

— Хорошо, я его сокращу!.. Я сокращу!..

— Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссеиной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через Дофиновку,— тут старая дорога через горы, и будет короче.

— Послать немедленно приказ Кожуху,— загремел Смолокуров,— чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше, и был недосыгаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

— Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию,— ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частям — отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

— Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе,— нахмурился Смолокуров.

И опять шумными, беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

XIX

Как всегда, в Кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоника, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы.

Ре-вуть, сто-гнуть, го-о-ры хви-и-ли
В си-не-сень-ким мо-о-ри...
Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки
В ту-рец-кий не-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли ночи разлилась нудьга,— тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицера, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

В си-не-сень-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо. И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады,— тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин,— еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно — на камнях, на свален-

ных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

— Хтось дыше,— сказал кто-то.

— А вот кажут, все это бог сделал.

— А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь,— куда компас повернул, туда и приедешь?

— А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются всё новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и все резко, отчетливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов и, как проклятие, брань, густая матерная брань...

Все подняли головы, повернули...

— Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, матть их так!

— Там матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

— Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

— Куды вам?! — загородили дорогу винтовками два часовых.

— Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли наизготовку:

— Стрелять будем!

— Што вам надо? — голос Кожуха.

— А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиант. Что же нам — с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят, горят два волчьих огонька.

— Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем

никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали все революции, — кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших полторы тысячи легло, офицерье живыми в землю закопали, а...

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

— Нам, борцам, глаза колоть!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи огоньки не обманешь, — видят, все видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен, — ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

XX

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным, — свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, поднимаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри; все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держидерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье

медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скалами сакли. Среди девственных лесов попадались маленькие площадки кукурузы либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жильё зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах — все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячьи головенки, натягивают построжки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неумолимо приходят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребяташки, раненые, кто может, сбегают под откос, сдергивают на берегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбегу кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверканье, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон, — берег осмыслился.

Море — нечеловечески огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегаящими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе.

Все жметя к узкому белому полотну — единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят, — пусто, безлюдно, заброшенно.

В местечке коричневые греки с большими носами, чернослизовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

— Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не спрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск — действительно нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком, отодвинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделались, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им все хлопцы, и хоть жалко было, ну, да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо не останавливаясь.

— Жрать охота, — говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

— ...бло-ха...ха-ха!.. бло-ха... — Чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...».

А одна пластинка запела: «Бо-оже, цар-ря храни...»

Кругом загалдели...

— Мать его в куру совсем!..

— Надень его себе на!..

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

— Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще белые и глядят на шоссе.

— Мабудь, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

— Що таке?! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливоносящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммфон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

— Геть назад!.. стрелять будемо!.. Щоб вы подошли тут до разу!..

— ...Вам говорить... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелів.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

— Кожух звелів, щоб п'ять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаєте, драться не даєте.

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

— Вы уйдете, а мы останемся, — спокинете нас.

— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же б'ються. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаєте, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Стопились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами; бьют копытом под пузо. Сквозь листву синее море. Но все видят только кусок шоссе,

загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают сигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво поднимаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозы и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, и на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от других повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссе канавы.

В белесо крутящихся клубках неся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рять их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части, — ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел:

Уй-ми-и-тесъ, вол-не-ния стра-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли, как попало, по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие, нестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни взад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле незрелой кукурузы — где-нибудь под берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладони, выбирают сырое зерно — и в рот, и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания, — привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотными частями, и всё вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги. Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними — узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа, — мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подби-

рают, расправляют на колене и крутят сигарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у половины по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно оружие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

— Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами. Знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

— ...от козаков мы оторвались, — горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие? Це грузины-меньшевики, а меньшевики — одна цена с кадетами, однаково еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить Совитску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей Совитской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это — гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

— Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все, как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем — это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая поводья, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них, — и они дружно гаркнули:

— Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое оружие, наполняя ущелье, скалы, горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и в ужасе, прижав уши, вытянув шеи, с кроваво раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные дико разрастав-

шимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили. Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

— Урра-а-а!!! — пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

XXIII

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок — тянет холодком, а внизу, на шоссе, — жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору неумолчно течет все в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего — одни повозки, а там — поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!..

И на третьей:

— Та цытте вы! Дэ ии узаты?.. Чи на стину лизты? Ба-чишь, стины?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

— Ма-а-мо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-ис-лицы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.



— Цыц! пропасти на вас нету! Когда только подохнете, усю душу повтягалы! — и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

— Ма-амо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому роту и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

— Не хóчу! Не хó-очу!

Матери в остервенении колотят.

— Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом, — там окопы противника, и шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали, — места живого не осталось; солдаты отхлынули назад за скалы. Для Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развернуться негде, один путь — шоссе, а там — смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое, — но что? Нужен какой-то иной подход, — но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

— Товарищ Кожух!

Кожух подымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

— Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше, — всех перебьет Грузия. Зараз мы были, как сказать, на разведке... добровольцами.

Кожух, так же не спуская глаз:

— Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

— И вот те Христос, это лесной дух,— лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

— Хиба ж тут шинки, чи що! — подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой.— В лиси одни дерева, бильш ничо́го.

— Говори дело.

— Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочатся в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями — духан. Мы подползли — четверо грузин вино пьют, шашлык едят; известно: грузины — пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас, растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели,— не ждали. Мы еще одного прикололи, а энтото связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны,— жалованье большое получают,— а вина и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.

Другой покачнулся, шагнул к Кожуху, икнул:

— Та нэхай воно сказыться, це зилье прокляте... Нэхай мени сковородить на сторону усю морду, колы я хочь нюхнул ёго. Нэхай вывернэ мени усю требуху...

— К делу.

— Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остатнего грузина приволокли сюды, и духанщика, чтобы не распространял. Опять же встрели пять мужчинов с бабами и с девками,— здешние с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, всё бросили, до нас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немыслимо. Тропинки они все знают, как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойти можно.

— Где они?

— Здеся.

Подходит командир батальона.

— Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

— Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

— Та що ж,— говорит внимательно слушавший солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке,— що ж, с головой... А есть

каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно скобчить зайцами с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие, — и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти, колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями, да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» — стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

— Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках папахи:

— Будет исполнено, товарищ Кожух, — и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по камням к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И опять, помолчав, уронил:

— Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

— Слушаем, товарищ Кожух.

— Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко, как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели, не спуская глаз, на Кожуха, — у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо видели — из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требую-

щих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбираты: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси, как один...— он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — Колы вси, как один, ударимо, тоди дорога открыта до наших!

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:

— Як один!!! Або пробьемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последние уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала. Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

XXIV

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженьях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал, — попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывавшиеся в море, — да, все, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, *мало* их не пустить — их надо истребить. И у него уже составлен план: отправить пароходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутайсом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой за девчонкой, за гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...») ...но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но, когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и благо родного народа, — он беспощаден, и эти поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полосу шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью вершины и слышит тишину, мирную тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепногo сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа, — все это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех, — от солдат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и, когда он стройно ходит, чувствует — носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

— Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...» Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

— Ужин?

— Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подво-

за — солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал: все встали.

— Прошу,— сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и все в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Нина, и на руках у нее маленький Серго. Когда он уходил, Серго долго смотрел на него черносливыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слюнями лицо. И эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию,— очень хорошо... В России,

говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается... Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слышал?

Все налито тяжестью, все неподвижно и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

— Нина, ты?.. А Серго?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый, провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в ином расположении звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» — да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из провала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе — ах!.. но не от того, а от другого ужаса: в напряженно предрассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть скатившихся... Они все повышались; показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

— Вперед!.. в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески-раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в ясном рассвете солдаты. Сзади, наседа, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, неся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он неся ногами, с такой же быстротой — нет, не через мозг, а через все тело — несло:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек, мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то — жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко сзади, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это — штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь — жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на па-

роходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев, и неслось: кррак!.. кррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немymi окнами, летел на край города, туда, где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весной цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий эной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко позади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ними покотился такой же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку,— калитки и ворота были наглухо закрыты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было все равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расселась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — все они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной и, когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет, вокруг собора засела грузинская рота и героически умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях — все повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

— Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови, — буйно-радостно раскатывается:

— Урра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдерживают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клёш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Гребите!

— Причаливай-ай!

— Кро-ой!!

— Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмаленную рубаху, растопырил за рукава и загоготал во все горло:

— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться? Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

— Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

— Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходило.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул:

— Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельеовое отделение, вытащил картон, — в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, шо таке?

Но Хведору было не до того, — он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

— Хлопьята, гляньте! Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

— Та це ж бабьи портки!

А Опанас мрачно:

— А що ж, баба нэ чоловик?

— Як же ты будешь шагать, — разризано, усе видать, и тони́на.

— А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел.

— Правда. То-то, дурни, штани з яко́й тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка все, что там было, и стал молча надевать одни за другими, — шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь

спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица, — кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпех стало, — рассыпались кто куда.

XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, все так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю кто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Кто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали — пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

— Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог каждому, кто взял хоть нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан, штаны висели клочьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

— У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания — никто не тронулся... И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного

осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котел, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Всё!

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленные рубахи, дамские кофточки, лифчики, сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

— Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас»? Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что вносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот этих, которые так покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но, если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертайте назад до козак, до офицеров», — его бы подняли на штыки.

И опять ржавый Кожухов голос разнесся над лежавшими:
— Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмальные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни рождаются близко и далеко гаснут;

зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры!..

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены, — из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, царица небесная, що ж воно таке? Йшлы, йшлы, йшлы, аничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-задумчивый:

...Возь-ми сво-ю жи-и-ин-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

— Що ж воно таке... — это баба Горпина. — Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хоть вона наскрозь прокипит.

— Во!.. — говорит солдат, протягивая к костру красно-озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Що з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал... А чого ты мовчишь, як колода?..

...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-бач-ный... —

продолжал свою песню солдатик, да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно-озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделявала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

— И все были люди, и у каждого — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтобы разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

— Что такое?

— Шо таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

— Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватывал из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

— У кустах спрятался,— все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат.— Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а наши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел,— чего такое черное? Думал — камень, хватить рукой, а это — он. Ну мы его в приклады.

— Коли его, так его, растак!..— подбежал маленький солдат со штыком наперевес.

— Постой... погоди...— загомонили кругом,— надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди — и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

— Та ты хто такой? Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чего под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такой?

— Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел

командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

— В расход!

— Пойдем,— преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.

— Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

— В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкшими раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

— Мы лесом як продирались, тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем,— день настане, всих расстреляють...

— Ни туды ни суды,— засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворились, сукины дети, що сплять; зараз начнут поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков — обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся...

— А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы до верху, осталось сажени дви, прямо стиною: нияк не можно, ни взад, ни вперед,— затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устроив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягались до самого верху.

— А у нас цельный взвод захлебнулся в мори. Скачем, як зайцы с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду — и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

— Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается, — шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая масляно-черные построжки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество всякого военного добра — полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки — всего хоть засыпся. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы — у каждого по двести, по триста патронов у пояса, бодро шагают в веселых горячих облаках белой пыли, и кучами носятся свykшиеся с походом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании:

Чи-и у шин-кар-ки-и ма-ло го-рил-ки,
Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...

Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссейными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность — ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои.

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою тай
бу-дем пить, ве-е-се-ли-и-ться...
То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег. Море вста-

ло голубой стеной и постепенно закрылось обступившими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жильё зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обозом стояло:

— Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лицами, похожими на птичьи клювы, вытянув шеи, смотрели воспаленными глазами на уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босыми ногами около повозок, — им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса редели, наконец остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелин, громады каменных обвалов. Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались, дико, разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно бушующее небо или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

— Помоги-ите!

— Ра-а-туйте!.. конец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

— Ма-а-мо!.. ма-а-мо!.. та-а-ту!..

Им казалось — они отчаянно кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубцы нависших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно: неподвижны косые полосы воды в воздухе,

неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове и бледные синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все неподвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно-мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья, леса, провалы, — люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки, — больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лошадей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра, чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

— Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

— На ночлег не останавливаться, иттить безостановочно, день и ночь иттить!

— Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли — хочь листьями кормили, а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

— Иттить безостановочно! Будем останавливаться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха: молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянувших назад повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют

расщелины. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громохання, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом на десятки верст скрипуче-ревушем движении.

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподавимый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным исступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но все их напряжение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный, бесчисленный скрип колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много — одного, двух, самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвижную, живые лошади — мертвую, живые дети — живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный, бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... нэ дойду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя кви-точка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый, беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будэш мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадроны, насильно тянут за повод еле ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ни одной не было,— все укромно прилипли под повозками к дрожинам,— теперь носятся тучами.

— Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы, що збили чуже мясо, вси хвосты спустили. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

— Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б... бб... б... и... бби... мм, бим, бб... о — бим-бом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... клоуны... артисты сме-ха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке притороченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

С секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными голосами, то необыкновенно тонкими — как будто щекотали мальчишек, то по-бычьему — и все дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины; хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уж не могли остановиться.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами стали хохотать в тон хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, са-

ми не зная чему, — тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо пока- тился по рядам в тыл.

— Та чого воны покатываются? якого им биса? — и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

— От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

— Що такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

— А черт их знает! Сказались. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону на- гайкой.

— Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание по- бежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубцы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

— Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

XXXI

— Сколько их?

— Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

— Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдер- нутый лошадыю к гриве — лошадь с мокрыми боками азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом — мутно-крас- ные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

— Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

— Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

— Сверток с шоссе туда есть?

— Есть.

— Козаков не видать?

— Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорить, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роют.

Кожух поиграл желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

— Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо *них* все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

— Крюк большой... падают люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно идти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять — пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почерневшее от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

— Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся валом серовато-белые облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и неоглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящихся облаках — чуялось — движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатила, и за ней покатило нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пудемент.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно — утомленно, бес-толково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно-сожженные лица мутно отсвечивают капавшим потом.

Ни говора, ни смеха,—тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

— Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними,—теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и в воспаленные лица солдат исступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессиленные, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшимися ртами, и выются мухи.

Кубанец, натываясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом скомандовал:

— По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, слышали и, все удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса:

— Батальон, стой!.. Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко, едва уловимо подержалось и мягко погасло:

— ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя. Потом разом наполнилась многочисленным сморканием; откашли-

вали набившуюся пыль; поминали матерей; крутили из листьев и травы цигарки,— и медленно оседающая пыль открывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солнцем лежали, вытянувшись на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

— Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..

Никто не шевельнулся, не тронулся: так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груды камней, налитых зноем.

— Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли вразброд по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя, изнеможенно поднимаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

— Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

— Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегает на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные, и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

— Мабуть, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

— Голова!.. В лиси тобі перину сготовили, растягайся.

— Та пышок с каймаком напеклы.

— С маслом...

— Со смитаной...

— С мэдом...

— Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке,— и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу,— сердито сплюнул тягучую слюну:

— Та цытьте вы, собаки... замолчить!

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

— Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадут варэникив,— будут вид тебе морды воротить.

— Го-го-го... Хо-хо-хо...

— Хлопцы, а ей-бо, должно, днёвка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите,— грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш... пш... вы уда-ли-лись...
пш... пш... ве-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:

А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»

Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти:
«Лав-рении-ки, лав-рении-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

...Ва-ре-ники!.. ва-ре-ни-ки!..
...Ку-у-да-а, ку-у-да... ве-ес-ны-ы мо-ей зла-тые дни-и...

— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.

— Хлопцы, а наш батька дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от ёго.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда,— думает Кожух,— встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшш...
...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

— Що таке? .що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...».

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихвativшую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизлогreenые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, расселось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

— Батальон, сто-ой!.. Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голову солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

— Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова:

— Товарищи,— и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной,— от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам».— И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить — не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад... Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напряжились жилы на шее, и глаза, красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

— Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили,— солнце убило. Прошли немного, повалился еще один, потом два.

— Двуколку!

Команда:

— Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать,— все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре...— из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь.— Так по семьдесят верстов будемо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И, когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратно встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искорками мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

— Накройсь!..

Идут всё быстрее, всё размашистее, тяжелыми ровными ря-

дами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков,— есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все, как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Синё затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

— Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукуются:

— Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И все становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо все бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, и чудится кругом неизвестная, таинственная, смутная равнина, на которой все возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробылы з ими!.. Та зверюки... Та скажени... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бросается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется:

— ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша сила, дэ ж ваше слово ласкаве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется:

— Та чого ж воны наробылы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты,

шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

— Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

XXXII

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов,— и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать, так быстро они бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства — золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок,— очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются,— всё, все богатства, все драгоценности, всё неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звонит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казачки выносят

своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

— Вы же нам хочь одного балшевика приведите напоказ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

— Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки и пить и лихо рубиться.

Вдали бело за клубились гигантские облака пыли.

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

— Эх, и рубанем же!

— Урра-а!..

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись, и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки поднимают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст, — одно спасение: кони у них мореные.

Пролетели казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшен, и опять погнажи; много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по переле-скам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы днем: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось все меньше и меньше, все слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды,



рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайней степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

...В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания, — привыкли. Только когда смолкло, показались с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми, измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремяна, за поводья:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

— Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых, — матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых, — бьются на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

— Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а... а не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой, — вскочил поп как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу, — книзу разошлась, как на обруче, — такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

— Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

— Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

— Бачь — и дьякона пригналы и дьяка.

— Дьякон дуже гарный: пузо, як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

— Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-атый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушено всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят сурово, с черными, исхудалыми лицами — им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь — она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу:

— Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом, — вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу, — в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

— Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

XXXIII

Ночь поглотила громаду степи и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне, — там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сереющих казацких окопов, потрясаяще ухали орудия. Не жалея снарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

— А-а-а... — злорадно говорили казацкие артиллеристы, — за шкуру берет... — подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить, — все на местах, все над самой рекой, а под шестисажженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда все это началось.

Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже ухитрились вымерить, — река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть, — ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа, на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста: железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку, — достаточно им насыпали, — ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушая вместе с казаками шум несущейся воды, и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала прозрачнеть. Разморенно предрасветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу, — не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой посыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей — было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк иступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачена батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — все проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах, — захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали, — нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметающимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

— Чого же кричишь, як ризаная? От у мене аккурат як твоя дочка, трехлетка... В щебенъ закопалы там, у горах,— та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась кучка железнодорожников.

— Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услышал вас, высадил окно совсем с рамой, в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

— Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

— Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так буває?

— Господа завсегда так: дохтура велать.

— От гады! И сплять, як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших среди напряжения к спасению подымалось подавляемое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу занимали главные большевистские силы; казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами, те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы,— другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды?

— Та за попом.

— Та ммать его за ногу, вашего попа!..

— А як же ж! Хиба без попа?

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забрали.

— Шо ж оркестр? Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса ёго глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинска честь.

— Оркестр! оркестр!..

— Попа!.. попа!..

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!..

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдатки:

— Оркестр! оркестр!

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны; всё новые и новые прибывают казачьи сотни, — темнеет кругом Кожуха, темнеет все гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо уходить! Надо уходить, еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а Кожух... стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает, не боеспособны они; если предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги — все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха, как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, и в подтверждение, тяжело потрясая и степь и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками, — а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, все нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн все нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух

бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не идут дальше — ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо, как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

— Я на часок ляжу, но, ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где он, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание, — день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело, — значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услышал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку — пригодились грузинские телефоны.

— Я — командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

— Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

— Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

— Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

— Держитесь, вам говорят! В резерве — ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром, что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево, — прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

— Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

— Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в крошечном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где

чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос,— хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко зло-радно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...»

Но это только доля секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

— Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Все те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а сажений на пятьдесят темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли, где как попало, и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди сгустки людей, все ближе и ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя как рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись бегут, винтовки наперевес.

Кожух:

— Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редая. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики; казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью был Кожух. Прислали парламентаря. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжело отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слышать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться — всем погибнуть; пробиться — задним колоннам погибнуть.

XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи — повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон, — засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетела, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса, — сгусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатила она к лагерю, вырастая, и покатилося с нею, вырастая, все то же полное смертельной тоски: ра-а-а!..

Все головы, сколько их ни было, — и людей и животных, — повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все слышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары.

...А-а-аа!..

Между колесами, оглоблями, кострами заматались голоса, полные обреченности:

— Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, наострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попало под руку,— кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли, все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

— Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно произвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, привстав на стремяна, зорко всматривались в черно-накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов — без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах,— много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин, и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях

врага,— все выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполнял потемневшую ночь грозный рев:

— Смерть!!

Когда увидали, что не было этому ни конца ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли — подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании решено в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтобы успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых окопы неприятеля, но так, чтобы не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон: смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму,— скверно. Ни одного выстрела, а в прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он,— тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

— Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

— От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

— Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал; слышно — шумит река, и за окнами темь.

— Во письмо. Генерал Покровский... дюже уж матюкал мене...— И застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его, растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

«...Ты, мерзавец, мать твою... опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, бандит, что тебе и твоим босьякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4—5 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку».

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха екнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось».

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

— Товарищ Кожух,— говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица,— вторая колонна подходит!..

Неестественно ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а он, Кожух, среди тысячи смертей, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся воронными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станцию.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; черная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

— Здорово, братушка,— сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха.— Хочешь чаю?

Кожух сказал:

— Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.

— Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

— Да потому, что не пришли,— добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях человека.

— Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

— «Почему, почему»! Започемукал,— густым красивым басом сказал тот.— Потому что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

— Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

— Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства,— теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

— Пойдемте.

— Одну минутку,— поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско: — Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас вырежут».

— Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

— Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчье, там мы можем,— самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье, как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

— Товарищ Кожух,— дружески сказал начальник штаба,— сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо сказал адъютанту:

— Оставайтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбrehать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле, длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И, хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначались прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» — мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколотая ночь, можно будет передохнуть от этого утробно-потрясающего грохота. Но все то же багровое мигание, тот же тяжело отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно:

окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских батальонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «босьякам» дорогу.

XXXVII

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громяхают спешащие орудия. В клубках пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты гуле бесконечно тянутся обозы. Идут у чужих повозок, торопливо вспыхивая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почерневших лицах блестят сухим блеском навеки невыплаканные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится за край повозки костлявыми руками,— но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И все это: и бесконечный скрип в облаках торопливо поднимающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мух — все это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов — все одно и то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

— Были, да ушли. Еще позавчера были да заспешили, засуетились, поднялись все и ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры — обозы цепляли осями.

Все, все говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками, — но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. По-прежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий, бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась, — угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем изнемогая.

Казачки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах — ненависть. А когда уходят, с удивлением смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же — впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

— Добре!.. Обожглись... — говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

— Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Иттить и иттить! На ночлег не больше трех часов!..

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громяют орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездной россыпью ночную темноту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

— Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжести перекладывать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, иттить и иттить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых хлебов степь. И по-прежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково казачки:

— Были, да ушли,—вчера были.

Глядят с тоской — да, все то же: похолоделые костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

— Взрывают мосты... уходят и взрывают после себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом шепчет спекшимися губами:

— Мосты рушат. Уходят и мосты по себе рушат.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

— Мосты рвут... уходят вид нас, рвут мосты...

И — когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зияют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщепленные сваи, — дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

— Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепка. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и по-прежнему все глаза туда, где все та же недосыгаемая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

— Товарищи, от нас наши уходить з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

— Мы ничего не понимаем.

— Уходить, рвут мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падают десятками. Люди выбиваются, отстают, а отсталых козаки всех порубают. Пока мы им учебу дали, козаки боятся,

расступаются, все их части генералы отводят с нашей дороги. Но все одно мы в железном кольце, и, если так долго буде, оно нас задушит,— патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал отдельно, пропуская сквозь зубы слова:

— Треба прорваться. Если послать кавалерийскую часть — кони у нас плохие, не выдержать гоньбы, козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и наваляться на нас со всех сторон. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

— Кто охотник?

Поднялся молодой.

— Товарищ Селиванов, возьмите двоих солдат, берите машину и гайда! Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходят? На гибель нас, что ли?

Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата — с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрытанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

XXXVIII

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетаая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченная солома.

Казачки качают головами:

— Должно, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено не-

сущийся автомобиль,— первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посверлит воздух вдали, растает, и все.

Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженно смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженно ловят несущуюся навстречу дорогу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

— На-аши!

— Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос:

— Наши! наши!! вон!..

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

— Уррра-а-а!!

Навстречу ехал большой разъезд,— на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова екнуло: «Свой... от своих...» И он мальчишески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свой!.. свой!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

— Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрытали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

— Свой!.. свой!..— орали четыре человеческих глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстрела из садов, и стреляя на скаку.

— Убьют...— сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

— Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

— Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды их растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли.

«Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло — отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда, в свою очередь, посыпали отборной руганью:

— Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас, так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

— Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

— Ды как же,— виновато заговорили те, садясь на лошадей,— на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь!

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

— Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не поспеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

— Перебейте, так их, растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице — на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в тринку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

— ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

— Вот документы,— и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предреженно стал рассматривать. Начальник отдельно сказал, не спуская глаз:

— У нас совершенно противоположные сведения.

— Позвольте,— все лицо и лоб Селиванова налились кровью,— так вы нас... вы нас принимаете...

— У нас совершенно иные сведения,— спокойно и настойчиво сказал тот, все так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз,— у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита, до единого человека.

В комнате стало тихо.

В распахнутые окна из-за церкви доносилась густая брань и пьяные солдатские голоса.

«А у них — разложение...» — со странным удовлетворением подумал Селиванов.

— Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с неимоверными усилиями, после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

— Никита,— сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, обвисшими по сторонам усами.

— Что?

— Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал читать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предреженность своего и всех присутствующих мнения.

«ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сообщается, что с моря, с туапсинского направления, идет неисчислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русских пленных, вернувшихся из Германии, и моряков. Они превосходно вооружены, множество орудий, припасов и везут с собою массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и всё сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков».

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя отдельно:

— И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, все так же стоя, стал читать:

«Ввиду этого приказываю: продолжить безостановочное отступление. Рвать за собой мосты, уничтожать все средства переправы, лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей».

Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.

— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдете перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

— Кушайте, родимые.

— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Да что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами,— у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно поднимаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею поднимаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Все ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков; из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, все пропало...»

XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат все глотает,— не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чувствуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и — «тпру-у, стой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!.. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча: уляжется — опять только темь.

— По-сле-едний но-неш-ни-ий... — сонно, с усталой улыбкой. Отчего не спится?

Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес. — Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.

А никого не видно — черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долгожданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля,— целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда, и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка,— похозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром,— вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резнуло, все трое повернули головы: в полосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матерщинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды («Эх, револьвер куды!..»):

— За мной!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро-пронизывающее:

— Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь то-ропливо-хриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор. Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков,—с той стороны ждали.

— Бей ахвицерье!.. подымай на штыки!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

— Попались, сволочи!.. Коли на месте!..

— Беспременно в штаб — там допросить... пятки поджарим...

— Бей зараз!..

— В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха; он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.

Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза.

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

— Шо ж вы, сбесились?!

— Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходят, сказывают: двоих ахвицерьев открыли, шпиёны козацкие. Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажут, выгоним ахвицерьев, а вы караульте позад забора. Як вони зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить,—там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь...

Кожух спокойно:

— В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.

— Пойдем чай пить,—сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь.—Поставить караул!

— Слушаем.

XL

Кавказское солнце — даром что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры,— но отчего, как по нитке, молчаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки, и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звука, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми, обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босьяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рванными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошметку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы йшли, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провьянту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И, хоть знали это — сами все вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов, — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилося в сердце, впилося и задрожало:

— Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море:

— ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цый муки?.. за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за Совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них бильш ничего...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупое поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ...за крестьянскую и рабочую...

«Так вон оно що! так вот за що мы бились, падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты, — кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку, — та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, нэхай же батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене,— отбивалась локтями старая и цепко лезла — никак ее не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы та радости не знали. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то от неизбежного горя, не то от смутной, самой ей непонятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь,— здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос:

— Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост, кажут, дэсят годив, а ему два-адцать три!.. Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам.

— Боже ж мий милий! Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчи мене замуж узяв, мовчи любив, мовчи бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай ёго, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

— Побилы коняку, сдох!.. Всё потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным.— И заревел стоеросовым голосом: — Не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестьянская власть. Без нэи мы дохлятина, як та пададь пид тыном, воняемо...— и заплакал скупыми слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

— Га-а-а!.. Це ж наша громада-а! наша ридна власть!..
Нэхай живе... бувай здорова, Совитска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастья?!» — огненно обожгло в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!..— нестерпимо-радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей.— Так от за вищо мы голоднии, холоднии, замучении, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами,— нет, не забыть им никогда голодно оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух.

И покатилося до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урра-а! урра-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; несли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой,— не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!.. Пидемо за им на край свита... Будемо биться за Совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у мени ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел. А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении...»

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепетали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина все ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали, глазами, и лицо железное, и стиснутые челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили все кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней — Кожух.

Здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку, махнул лентами, и хриповато-осипший голос, — в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь, — разнесся до самых краев:

— Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

Такими же просоленными морскими голосами гаркнула матросская братва:

— Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал — и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропа! — всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

— Уррра-а-а-а-а нашему батькови!.. уррра-а-а-а-а...

Когда опять поставили на повозку, Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылись. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим голосом:

— Хто старое помяне, того по потылице.

— Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. Урра-а-а!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он не скажет, так все рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

— Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже наби́лы, у Сибирь побиглы.

— Паны сызнову заворушились, землю им отдай.

— Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

— Яка така?

— Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный, як рак вареный.

— Буде брехать.

— Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нэма,— вси красноармейцами прозываются.

— Мабуть, и нам красни штани выдадут?

— И дуже, балакають, строго — дисциплина.

— Тай куды душей, як у нас: як батько схотив всыпать пид шкуру вси, як взнузданий, стали ходить. Гля: як идуть в шеренге — аж як по нитке. А по станицам проходили, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что, отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере, — но то самое, что творили там, в России, в мировом, — творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало

ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блещут в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка,— тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

1924 г.



ЛЕОНИД СОБОЛЕВ



МОРСКАЯ ДУША
Рассказы,
ЗЕЛЕНый ЛУЧ
Повести

МОРСКАЯ ДУША



*Неизменному другу — О. И.,
как всегда*

МОРЯ И ОКЕАНЫ

I

Степь уходила вдаль, обширная и ровная, как море. Желто-зеленая и плоская ее гладь упиралась в синее жаркое небо, отмечая горизонт безупречной линией, которая присуща только морю.

Но воздух был сух, и море было далеко.

Мы были в северо-восточном углу Казахстана, у самой китайской границы, почти в центре Европейско-Азиатского материка. Степи, пустыни, горы, поля, холмы, джунгли, тундры — невообразимые пространства земли, поросшей зеленью, лесами или просто голый, — отделяли нас от какого-либо моря: три с половиной тысячи километров было до Балтийского моря, столько же — до Черного и до Японского, две с половиной тысячи — до Каспийского на севере и до Индийского океана на юге. Даже Каспий — это внутреннее, родное степям море — и тот плескался где-то в двух с половиной тысячах километров. Самой обширной аквато-

рией была здесь запруда арыка у мельницы. В ней мы только что выкупались, соблюдая очередь: водное это пространство могло одновременно вместить не более пяти пионеров (или трех пионеров и одного писателя).

Тем удивительнее, казалось, была тема нашего разговора. Здесь, в равновеликом удалении от морей, мы разговаривали о Военно-Морском Флоте, о типах кораблей, о войне на море, а также о расцветке сигнальных флагов.

Беседа началась, конечно, с метрополитена, потом по ассоциации с большим городом свернула на Ленинград, и тут рассудительный Миша, сын пограничника, взглянул в корень.

— А у вас ведь тоже близко граница. Она по морю идет, да? Как вы ее там защищаете?

Пионер, выросший у границы, не мог не задать этого конкретного и беспокойного вопроса, услышав про город, находящийся вблизи границы. Сын пограничника, он угадал ту напряженность, в которой непрерывно пребывал долгие годы весь Краснознаменный Балтийский флот. Граница была тогда действительно близко. Слишком близко...

Неподалеку от огромного города Советской страны граница бежала в тревожных шорохах кустов, в невнятной тени деревьев, по непроходимым как будто финским болотам — и обрывалась в воду... Море! Как оно манит всех, кто боится шороха кустов, кто за каждым деревом чует пристальный взгляд пограничника и черный кружок трехлинейного дула, останавливающий всякое движение. Море — бесшумная, не сохраняющая следов, удобная, гладкая вода, в которой исчезает граница!..

Но в этой воде, как большой восклицательный знак, возникает длинный и узкий остров. Молчаливое многоточие фортов возле него выразительно подтверждает это немое предостережение. Невидимые на воде, четко очерчены на картах круги обстрела орудий, и стыки их тонких линий проводят по морю ту же непроходимую черту, которая на земле зовется границей. Верно и твердо они ведут ее до другого берега и передают опять в шорох кустов, в тень деревьев, в обрывы и в болота — и в пристальный взгляд пограничников.

Если вечером смотреть из Кронштадта в сторону Ленинграда, там дрожит в небе непрекращающимся северным сиянием огромное зарево огней. Синие молнии двух тысяч трамвайных дуг, непрестанно выключаемый и зажигаемый свет в сотнях тысяч квартир, огненные отблески цехов вечерней смены, мчащиеся лучи автомобильных фар, окна театров и Домов культуры, вспыхивающие в антрактах, — все эти незаметные в отдельности изменения света, сливаясь, заставляют зарево работающего и одновременно отдыхающего города действительно дрожать в ночном небе живым дыханием сильного и счастливого гиганта.

Взглянешь в сторону моря — там тихо и черно. Только неустанно и равномерно мигают маяки, а зимой — смутная белая гладь. И что в этой черноте или за невнятной этой белесоватостью — неизвестно. Но внезапно резким, как взмах хлыста (и, кажется, даже свистящим), световым ударом прорезает черноту неба и моря голубой узкий конус прожектора. Прорежет, задрожит, замрет — и поползет, ощупывая ясным своим взором каждую волну, каждую льдину, каждый сугроб... И тогда, обернувшись опять на трепетное зарево города Ленина, всем сердцем ощутишь благодарность к нашим военным огням, узким, быстрым и разящим, как дальние и верные мечи.

Граница была слишком близко.

Сколько-то лет назад в белесоватой мгле бежала по льду обыкновенная собака. Голубой меч прожектора ударил ее в бок. Люди от такого удара обычно падают в снег ничком, ожидая спасительной темноты. Собака же бежала дальше, помахивая хвостом, — веселое, милое и невинное существо. Но часовой на форту вскинул винтовку и выстрелил.

Собачку сволокли на форт и внимательно осмотрели, ибо часовой-краснофлотец сообщил, что собачку эту он давно заметил: то в Ленинград бежит, то на тот берег. И нашли в ошейнике собачки письма — содержания отнюдь не любовного. Разводящий не поленился после этой находки смотаться на пост к часовому и подтвердить, что догадки его оказались справедливыми... И продолжал краснофлотец маленького флота стоять на посту, лицом к белесой мгле, а за спиной его продолжал гореть живым заревом, полнеба озаряя, богатый и сильный советский город.

Через много лет, в декабре 1939 года, на уютной даче в Райволе мы нашли следы этой собачки: протоколы, документы и копии писем диверсантам и шпионам в Ленинграде и их донесения оттуда. Здесь был центр контрреволюционной антисоветской организации — под боком у второй столицы Советского Союза, в расстоянии двух часов собачьего бега.

Граница была слишком близко. Из невинных «дачных мест» — Териоки, Оллила, Куоккала — можно было наблюдать всю жизнь и боевую учебу Балтийского флота. Отсюда можно было готовить новый удар в самое сердце Красного флота — удар по Кронштадту, подобный тому, какой был нанесен 18 августа 1919 года.

В то лето обыкновенный календарь, висевший в моей каюте на «Андрее Первозванном» и с трогательной во время гражданской войны педантичностью сообщавший дни поминовения святых и данные о фазах луны, имел еще особую кронштадтскую рубрику. Вот записи на его листках:

«Июнь, 18. 5 самолетов, разведка.

22. На рассвете — налет. Бомба за «Андреем» на стенке и несколько в городе. Пожар сторожки.

Июль, 7. Была разведка. Без бомб.

23. Бросали по гавани. Мимо.

29. Несколько гидропланов. Бомбы на паровом заводе и в гавани у кораблей.

30. Летали, очевидно, разведка.

31. То же.

Август, 1 (воскресенье). На рассвете тревога. Бомбы легли в гавани и на улицах. К вечеру — повторение, в Летнем саду убито 11 и ранено 12 — было гулянье с музыкой.

2. Бросали по гавани. Все мимо.

3. Разбудили утром бомбами. Теперь новость — к вечеру вылетают из заката, в лучах солнца, но бомбят плохо — все в воду.

4. Бомбы в гавани и у доков.

5. Опять бенедикс: утром и вечером. Бросали по кораблям, по докам и заводу.

6. Удивительно: чудесная погода, а самолетов не было.

7. Отработали вчерашнее: три налета. Много бомб, опять у завода и доков. Наверное, целят в подлодки.

8. Мотались на вельботе на южный берег за картошкой. Обменял штаны на три пуда. На обратном пути — шторм, едва дошли. Огромный дым над Кронштадтом, оказалось — горит Лесная биржа. Горела всю ночь. Самолетов не было — шторм; биржу, очевидно, подожгли.

9. Дежурил на зенитной батарее. Два налета, бомбы падали в гавань, а на нас сыпались стаканы шрапнели эсминцев.

10. Кидались. В гавань и в город.

11. Гавань и город — 9 бомб.

12. То же — 8.

14. Два налета. Гавань и доки. Попадание в пневматическую трубу у Алексеевского дока — свист и смерч песка, пока не выключили воздух.

15. Кидали по гавани и докам. Смотрел пробоину в палубе «Зари Свободы», — вероятно, полупудовая бомба...»

Такая тренировка могла приучить самую боязливую кронштадтскую старушку, торгующую семечками и подозрительными лепешками, оставаться на насиженном пенёчке в Петровском парке и не срываться с него с причитаниями и воплем при басистом гуде в синей выси над головой. Так оно и стало в действительности.

Шестнадцатого и семнадцатого августа налетов не было, хотя солнечные дни особенно настораживали внимание сигнальщиков.

Впрочем, на «Андрее» воздушную тревогу сыграли. Но причиной ее оказался крохотный паучок, прельстившийся полдневной тишиной и повисший на паутинке в двух дюймах от стекол подзорной трубы, направленной на запад. Случай, может быть, пустяковый. Но он ясно показывает, как были напряжены ожиданием неминуемого налета нервы сигнальщиков. Днем сигнальщикам приходилось до слез напрягать зрение, на рассвете — до боли в ушах напрягать слух: в рассветной мгле самолеты обнаруживались по гудению в высоте (звукоуловителей тогда еще не было).

Такое гуденье в бледном небе и разбудило Кронштадт в три часа сорок пять минут 18 августа. Небо гудело от края до края. Прерывистые линии светящихся пуль пронизывали его во всех направлениях. Лучи прожекторов, бесполезные уже в рассветном сумраке, лихорадочно метались в облаках.

Бледная неясность рассвета, томительное гуденье скрытых в небе самолетов, звонкое тьяканье орудий, перебивающих друг друга, огненные столбы свистящих бомб, разрывающихся в городе, в гавани, на воде и на стенках, самая внезапность и мощь этой невидимой атаки были зрелищем диким, фантастическим и волнующим.

Глаз не успевал следить за разрывами бомб. Сознание не успевало отмечать последовательность событий. И, как всегда в жестоком бою, время исчезло: не то оно остановилось, не то мчалось в бешеном темпе. Казалось, все происходило сразу: ослепительно и взмывающе ударил в грудь теплый воздух, а в глаза — белый свет бомбы, взорвавшейся в двух саженях за нашей кормой; тяжело ухнул где-то справа, за стенкой гавани, — и за белыми трубами учебного судна «Океан» поднялся огромный столб воды, а когда он сел, далеко за ним, прямо на воде, встало ровное и высокое пламя, и кровавый столб его осветил спокойную воду. Но понять, почему на рейде, прямо на воде, стоит, полыхая, огонь, стоит и не оседает, — помешало шелканье неизвестно откуда направленных пуль, тарахтевших по броне боевой рубки. Старший помощник кинулся за рубку, увлекая нас под ее броневую защиту.

По темной воде гавани, в неверных отблесках рассвета, залпов и взрывов, с необычайной скоростью скользил неуловимых очертаний предмет — необъяснимый, чудовищно быстрый на поворотах. С него-то и летели к нам пули, непрерывным дождем стучавшие по броне рубки. «Гидроплан!» — крикнул кто-то, и дула орудий резко опустились вниз, ловя «предмет», чертом вьющийся в тридцати саженях от них.

И тут надо добрым словом помянуть Льва Михайловича Галлера — командира «Андрея Первозванного». Спокойствие не изменило ему и в этой неразберихе невиданной атаки. Он рва-

нул к казематам орудий, перебежав под ливнем пуль, и крикнул: «Не стрелять! Заградители!» — и крикнул вовремя: в горячке боя готовы были удариться в воду снаряды, а ударившись — неминуемо отскочить от нее рикошетом и попасть в стоящие в том углу гавани заградители, до палуб набитые минами...

Рядом с мостиком вдруг всплеснул широкий столб воды, и «Андрей» тяжело содрогнулся. Глухо рокоча, вода полилась в развороченную в броне дыру, и на линкоре забили колокола водяной тревоги.

Все это произошло как бы мгновенно. Фантастичность этой ночи взрывов, залпов и непонятного пламени, стоящего прямо на воде, усиливалась этим необъяснимым быстрым предметом, скользящим по гавани. В эти мгновения можно было предполагать самые невероятные вещи. И мысль согласилась с догадкой, кинутый кем-то среди взрывов: гидроплан! Гидроплан, самолет, снабженный поплавками, спустился в гавань — гидроплан, вооруженный торпедой!

Но это, как узнали мы позже, был один из ворвавшихся в гавань быстроходных торпедных катеров — новое, рожденное в конце империалистической войны оружие, еще неизвестное нам. Восемь таких катеров были приведены в Териоки, на финский берег, нависающий над Петроградом, в тылу его морской крепости Кронштадта. Восемь минут требовалось на перелет самолетов от Бьорке до Кронштадта и двадцать — на переход катеров из Териок до Кронштадтской гавани. Граница была слишком близко, заманчиво близко, чтобы не использовать такой близости.

Не зная этого нового оружия, мы могли воспринимать события этой ночи только так, как мы их и приняли: всем казалось, что враг только в воздухе, что все эти взрывы и пули сыплются не иначе как сверху. Мы слишком привыкли связывать следствие — взрыв — всегда с одной и той же причиной: с воздушным налетом. Так и на этот раз никому не пришло в голову называть быстрый предмет на воде иначе как «гидроплан», и врага мы могли искать только в воздухе.

Тем более замечательно, что на эскадронном миноносце «Гавриил», стоявшем на рейде в сторожевом охранении ворот гавани, подумали об иной причине взрыва.

«Гавриил» с вечера вышел из гавани и стал на якорь на рейде против ворот. Услышав на рассвете, как и все, гуденье внезапно появившихся над гаванью самолетов, — более того, ведя сам бой с двумя из них, — «Гавриил» сумел, однако, обнаружить катера и уничтожить часть их.

Кто именно из военморов «Гавриила» различил в неверной мгле рассвета два катера, с необычайной, изумляющей быстротой

мчавшихся от Петрограда к гавани, осталось для истории неизвестным. Эта поразительная внимательность в горячей обстановке внезапного боя с самолетами, ценная тем более, что замеченный неприятель появился со стороны Петрограда, с тыла, откуда его менее всего можно было ожидать,—эта поистине сторожевая служба наполовину сорвала задуманный противником план, обусловленный заманчивой близостью границы.

А план был таков. Семь торпедных катеров, обогнув остров Котлин с востока, подойдя вплотную к Петрограду, должны были появиться в гавани в момент разгара воздушной атаки самолетов, вылетевших из Бьорке. Торпеды катеров предназначались всему боевому ядру, остаткам Балтийского флота, притиснутого к самым стенкам Кронштадта: линкору «Петропавловск» (ныне «Марат»); линкору «Андрей Первозванный», подавившему в июне своим артогнем восставший форт Красную Горку; подводным лодкам, стоявшим у борта своей базы — старого крейсера «Память Азова», легендарного корабля революции, поднявшего в 1906 году в Ревеле знамя восстания; сторожевому эсминцу у ворот — в данном случае «Гавриилу»; крейсеру «Рюрик». Две торпеды предназначены были для ворот обоих больших кронштадтских доков, с тем чтобы лишить возможности отремонтировать подорванные линейные корабли.

Проскочив незначительное расстояние от Териок до Лахты, катера повернули на Кронштадт. Они появились точно вовремя, когда на гавань летели бомбы. Но «Гавриил» испортил им все дело.

Орудия его мгновенно открыли огонь по загадочным, не виданным еще катерам, и один из них сразу же выпустил в «Гавриила» торпеду. Она прошла мимо миноносца и ударилась в выступающий угол стенки гавани. Взрыв ее совпал со взрывом снаряда «Гавриила», попавшего в катер. Тот запылал высоким огнем (вспыхнувший бензин и легкая фанера его корпуса и бросили на воду тот кровавый светящийся столб, который мы видели из гавани).

В это же время мимо «Гавриила», наполовину высунувшись из воды, с огромной скоростью промчались вдоль стенки гавани еще два катера прямо в ворота, обдавая непрерывной пулеметной струей стенку «Гавриила», брандвахту ворот и ее старика сторожа, выскочившего на шум. Катера прорвались в гавань — и «Гавриил» не мог их более обстреливать из опасения попасть в свои корабли. Со стороны Петрограда выскочили еще три катера, направляясь в гавань. Этих «Гавриил» смог взять в оборот. Он засыпал их снарядами и заставил повернуть обратно в Териоки.

Ворвавшиеся в гавань катера, непрерывно стреляя из пуле-

метов, описали молниеносную дугу по гавани и выпустили свои торпеды: одну в «Петропавловск» (она попала в «Андрея»), одну в базу подводок — «Память Азова» (от которой, по счастью, подводки вечером отошли) и одну мимо — в стенку. Так же стремительно, как влетели, они ринулись к выходу, вздымая носами шипящие буруны белой пены.

Но ворота уже ждали их возвращения: на узкую полосу воды между гранитными стенками пристально смотрели кормовые орудия «Гавриила»...

Отстреливаясь от самолетов, сдерживая носовыми орудиями натиск второго отряда катеров и отгоняя их от ворот, «Гавриил» ждал, когда ворвавшиеся в гавань катера выскочат на рейд, где его снаряды не причинят вреда своим кораблям. Он навел кормовые орудия на ворота и ждал.

Вылетели из ворот катера — легкие, узкие, стремительные, разгоряченные кажущейся победой, — и столбами встала вокруг них вода, завизжали осколки, затрещала фанера корпусов, вспыхнул бензин, и, заревев высоко вскидывающимся пламенем, закачались кострами на воде еще два катера...

План противника сорвался. Вместо уничтожения четырех боевых кораблей, трех подводок и разрушения доков — катера подорвали только старый крейсер «Память Азова» и линкор «Андрей Первозванный», который к вечеру уже стоял в не тронутым торпедой доке. Удар в сердце Красного флота, обусловленный близостью границы, не привел к тем результатам, которых ожидали белогвардейцы: дорога на Питер была по-прежнему закрыта.

По всей западноевропейской равнине, от Мурмана до Крыма, извиваясь в непрерывном движении и дымясь кровью, сжималось тугое кольцо блокады. Фронтов было столько, сколько разных держав и белых генералов наступало на изнемогающую в голоде и войнах Советскую Россию. И на одном из фронтов, на севере, отбивался, стиснув зубы, огромный и голодный, упорный и страстный город, которому потом дадут великое имя Ленина. На морских подступах к нему, такой же голодный, без нефти и угля, такой же упорный и страстный Балтийский флот сохранял свою последнюю опору — Кронштадт.

Кронштадт! Это короткое гроыхающее слово, подобное залпу орудий, гудело в те дни над Финским заливом.

В те дни Кронштадт вновь обрел свой грозный смысл ключа к столице, который был вложен в него при его создании. Как будто снова вернулись давно забытые времена, когда форты его отбрасывали немудрыми ядрами своих чугунных пушек шведские фрегаты. Только тогда к нему подходили отдельные корабли, а теперь его блокировала огромная эскадра интервентов.

Но каждый матрос на каждом корабле и каждый красноармеец на каждом форту держал в своем сердце короткое и упорное слово: **н а д о**.

Н а д о было стоять здесь, в узкой полосе неглубокой воды, бессонным и нелицемерным стражем изнемогающего Петрограда.

Н а д о было принять на себя и сдержать натиск армий и эскадр, стремящихся к Петрограду.

Н а д о было рассчитывать каждый пуд угля, каждое ведро нефти, каждую мину заграждения, каждую торпеду, каждый снаряд и каждого человека, рассчитывать скупое и мудро, ибо все это подходило к концу.

И Кронштадт выполнял это **н а д о** просто, твердо и буднично.

Он высылал в море корабли с половинным числом команды, потому что другая половина на конях или в окопах дралась уже где-нибудь под Царицыном. Он собирал для кораблей, хромающих на оба винта, последнюю угольную пыль, выметенную вместе с землей из опустошенных угольных складов. Он обедал — после напряженного суточного боевого похода или после бессонной работы на заводе — блюдцем пшенной каши. Он без удивления провожал мигающими взорами своих маяков подводные лодки, идущие во льду на разведку Ревельского рейда, лодки, шипящие, как примусы, и текущие, как решето, державшиеся на воде и в воде непонятно как — одним упорством. Он ежедневно отстреливался от самолетов, швыряющих бомбы в его гавани, доки, улицы и сады. Он открывал ворота своих рейдов для миноносцев, которые ночью, в шторм, без огней и маяков носились полным ходом по сомнительным проходам между своими и чужими минными заграждениями, и встречал их на рассвете гудками завода и мастерских, где голодные люди голыми руками обтачивали боевую сталь. Он делал все это — необыкновенный город-корабль, город-лагерь, крепость революции и сердце флота.

Упершись спиной в Морской канал, Кронштадт стоял в конце узкогорлого залива, вглядываясь в него и в близкие берега, кишевшие армиями, надвигавшимися на Петроград, и время от времени напрягал все силы, нанося врагам чувствительные удары. Форты и флот стали реальной угрозой интервентам. Форты и флот сплелись в нераздельный клубок, который непрерывно перекатывался по берегам и воде Финского залива, внося расстройство в тугое кольцо блокады. Форты и флот приобрели общее наименование — Кронштадт. Уничтожить флот — мешали форты. Уничтожить форты — мешал флот.

За четырнадцать месяцев, которые эскадра интервентов провела в Финском заливе, Красный Балтийский флот имел не меньше двенадцати боев с вражескими кораблями, и каждый раз при значительном превосходстве неприятельских сил. Так, 10 мая 1919 года эсминец «Гавриил» в течение часа вел бой с ч е т ы р ь-

м я контрминоносцами. 31 мая эсминец «Азард» в бою с семью контрминоносцами навел их под огонь линкора «Петропавловск», 24 июля подлодка «Пантера» атаковала две подлодки противника, осенью кронштадтские форты отгоняли своим огнем монитор с пятнадцатидюймовой артиллерией.

Два крейсера, два миноносца, два тральщика, один заградитель, три торпедных катера, одна подводная лодка — вот список кораблей эскадры интервентов, которые Балтийский флот и форты Кронштадта оставили на дне Финского залива на память о тысяча девятьсот девятнадцатом годе — пятом годе непрерывной войны, которая могла сломить кого угодно, но не смогла истощить бессмертные силы освобожденного народа, тысячекратно увеличенные жизненной силой революции.

Каждая строчка, каждая буква этой огненной эпопеи Балтийского флота живет, дышит и стоит над миром неодолимой страстью к победе во имя освобождения от векового гнета. Каждая ее страница сурово напоминает нам голосами погибших за наше дело родных товарищей наших, балтийских моряков:

— Ты не забыл? Ты помнишь?

Мы не забыли. Мы помним. Мы учим нашу флотскую молодежь, краснофлотцев и командиров новых сильных кораблей, подводных лодок и самолетов, как биться за наше великое дело, за родину нашу, с той же великой страстью, с тем же огненным восторгом, с каким дралось орлиное племя девятнадцатого года.

И Кронштадт — гроыхающее короткое слово, подобное залпу орудий, — двадцать лет стоял перед городом Ленина, стиснутый близкими — слишком близкими! — границами.

И если десятилетнего пионера, выросшего далеко от всяких морей, но на самой пограничной линии, встревожила эта близость границы к огромному городу, так как же тревожила она Краснознаменный Балтийский флот в течение долгих двадцати лет?

Простившись с пионерами, мы продолжали свой маршрут. Через час мы вышли из машины возле одиноко стоящего в степи здания с вышкой. И здесь я увидел то, что обусловило закономерность Мишиного вопроса: мутный и узкий ручей.

На том берегу его женщина, присев на корточки, мыла турсуки — кожаные мешки для кумыса. Мальчик, ровесник Миши, тащил к ней бычью шкуру, сгибаясь под непосильной тяжестью. Широкое смуглое его лицо ничем не отличалось от широкоскулых лиц казахских пионеров, с которыми мы только что расстались. Но это был ребенок, лишенный детства, — эмбрион нищего пастуха чужих стад, печальная личинка будущего раба синьцзянских скотоводов: ручей, пробежавший между нами, был пограничным.

Со странным, совсем новым чувством смотрел я на этот крохотный отрезок знакомой черты — границы. Я привык видеть ее иной. Тысячи раз в Финском заливе (где едва одна десятая водного пространства принадлежала Балтфлоту) я отмечал на карте треугольник обсервации рядом с ее прерывистым пунктиром. Ее невидимую линию, грозившую дипломатическими осложнениями, я научился отыскивать на гладкой воде на глаз — по расстоянию до чужого берега. И, может быть, потому, что тот — балтийский — участок морской границы Советского Союза был доверен нам, и потому, может быть, что все внимание поглощал именно он, — остальные советские моря как-то не ощущались в прямой и непрерывной связи с этой пунктирной линией, бегущей по карте между Териоками и Кронштадтом, между островом Сескар и Лужской губой.

Понадобилось забраться в самый центр Евразийского материка, чтобы здесь — где воды было меньше, чем в питьевой цистерне эсминца, и где чужой «берег» был всего в пятнадцати шагах, — наиболее остро ощутить единство советских морей, нанизанных, подобно гигантским бусам, на крепкую непрерывную нить советской границы. И в мутных струях пограничного ручья почудились мне капли их тяжелой соленой воды — изумрудной, синей, аметистовой, желтоватой, лазурной, опаловой.

Ручей бежал влево, на север. Я знал, что через пять километров граница сползет с его русла в летучие сухие пески, что она вскарабкается потом на зеленые склоны Алтая, черкнет по сияющему снегу его «белков», перекинется на Саянский хребет и, пробежав по многоводным рекам, с разбегу ринется в теплые воды Японского моря.

Я знал, что справа, на юге, эта нить в трех километрах от нас тоже покинет ручей, уйдет в степи, к холмам Тарбагатай, взбежит по ледяным ступеням Тянь-Шаня на Памир — Крышу мира — и скатится с нее в самый подвал, странное море, лежащее ниже уровня моря, — в Каспий. Я знал и то, что трижды еще прервется потом ее бег по сухой земле — обширным Черным морем, узким Финским заливом, круглой чашей Ладоги, — пока она не скользнет с Кольского полуострова в прохладное Баренцево море. И тогда, вплавь по воде многочисленных северных морей — детей Ледовитого океана, то и дело отпихивая налетающие полярные льды, она сомкнется сама с собой, один только раз вынырнув на мгновение, чтобы пересечь узкий язык Сахалина.

Двенадцати морям и трем озерам вручили мы честь хранить в своих водах неприкосновенность советской границы. Сорок три тысячи километров береговой черты доверены водам советских морей.

Как же можно было в мутных струях степного пограничного

ручья не угадать тяжелых, блестящих капель этих морей, стекающих сюда по замкнутой кривой, больше двух третей которой проходит по соленой воде, жаркой, теплой, холодной и ледяной?

И здесь пора поговорить о некоторых особенностях соленой воды.

Когда звездолет будущего, свистя, вырвется за стратосферу и межпланетные путники где-нибудь возле Луны глянут на земной шар, — вернее всего, он покажется им гигантской каплей воды, повисшей в темном космическом пространстве.

Вода обволакивает пленкой остывающую нашу планету, и островами торчат из нее материки. Изрезывая их заливами, океаны через узкие щели проливов входят в самую глубь суши, останавливаясь перед крутыми склонами горных хребтов. И самые реки, поблескивающие в зигзагах растрескавшихся материков, кажутся щупальцами напирających на сушу океанов.

Этот слой воды, заливающий земной шар, довелось мне увидеть впервые тринадцатилетним мальчиком. Вода, предложенная мне судьбой для осмотра, была третьесортной — пресной и мелкой: это была сестрорецкая заводь Финского залива, безжизненная, лишенная могучего дыхания океанов — приливов и отливов. Но фантазия, вспученная крепкими дрожжами морских романов, немедленно преобразила эту пресную воду. Задержав дыхание, я всматривался в горизонт, стиснутый берегами и загороженный островом Котлин, видя только то, что мечтал увидеть, — дорогу в мир. Нетерпеливо отбрасывая Котлин с его кронштадтскими трубами и куполом Морского собора, воображение мое спеша стремилось по этой глади из узкой трубы Финского залива, через путаный коридор Бельтов, вдаль, вперед — в океан! Вот наконец она — дорога в Америку, в Индию, Австралию, в страстно желаемый, чудесный мир «Фрегата «Паллады», в мир выученного наизусть «Путешествия вокруг света на «Коршуне»! Море, разъединяющее земли и соединяющее народы, море — путь цивилизации, море — поприще великолепных побед!.. Я наклонился и ладонью погладил эту волшебную воду, в которой плавали материки и моя неминуемая слава.

Через восемь лет, дежуря на противокатерной батарее на стенке Военного угла Кронштадтской гавани, я разглядывал эту же воду с совершенно иным чувством.

Эта ровная гладь, кишащая минами, позеленевшими в воде за четыре года войны, по-прежнему уводила воображение вдаль — в океаны. Они, и точно, «соединяли народы» в единомудушном стремлении поскорее оторвать от гигантского тела Советской России колонии. По океанам и по всем морям, где только были советские берега, шли мониторы, подлодки и крейсера европейских держав, волоча на буксире прыгающие на волне

торпедные катера, шли линкоры, эсминцы, крейсера, шли транспорты с оружием, продовольствием, войсками, везя этот товар белогвардейским правительствам в обмен на лес, зерно, уголь. В уродливом преломлении войны исполнилась мечта первого российского европейца, засвидетельствованная поэтом:

Сюда, по новым им волнам,
Все флаги в гости будут к нам...

Военные корабли под разнообразными флагами деловито сворачивали из океанов в лабиринт Каттегата и Бельтов, стремясь в Биорке, в Ревель, в Гельсингфорс — поближе к Петрограду и его промышленности.

Военные корабли огибали Скандинавию, выходя к Белому морю, к Мурманску — к рыбе и лесу.

Военные корабли протискивались через раскупоренные с таким трудом Дарданеллы в Черное море — к Одессе, к Батуми, Крыму — к зерну, углю, нефти.

Военные корабли отдавали якоря на Владивостокском рейде, поближе к сибирской магистрали, которая, как насос, могла выкачать богатства Сибири.

Весь мир, казалось, торопился не пропустить грандиозной распродажи страны, которой задешево торговали десятки белогвардейских правительств. Новые Колумбы и Магелланы шли водружать свои флаги на беззащитных берегах, везя в трюмах вместо традиционных бус и зеркал солдатские штаны и оружие, благо цена на эти товары после окончания мировой войны катастрофически упала. С опытностью громил, орудующих в покинутой хозяевами квартире, интервенты вязали в узлы сетей мурманскую рыбу; взламывали крепкие сибирские сундуки, набитые золотом и мехами; торопясь и расплескивая через край, сливали в поместительные бидоны трюмов бакинскую нефть; набивали мешки украинским зерном; уводили из портов мертвые корабли; расчетливо грабили склады.

Флоты и флотилии Советского государства голодали. Расшатанные за четыре года походов корабли и издерганные за четыре года войны люди мерили свой паек одинаковыми мерами: уголь и хлеб — четвертками фунта, селедочный суп и нефть — тарелками, снаряды и воблу — штуками. Балтийский флот превратился в Балтийский «дот»¹ из нескольких кораблей. Миноносцы, поднятые на поплавки, перетаскивались буксирами по каналам с Балтики на Волгу и в Каспий. Подводные лодки, на которых, по теперешним нашим понятиям, опасно погрузиться даже в гавани, лазали подо льдом в глубокую разведку, ухитряясь топить вражеские крейсера.

¹ «Дот» — действующий отряд.

Сытые флоты интервентов, в изобилии снабженные боеприпасами, сжимали кольцо блокады. Вот уже прижат спиной к последней опоре — Кронштадту — Балтийский флот. Вот уже заперты на двенадцатифутовом рейде Астрахани немногие корабли Каспия. Вот уже эсминец «Керчь» топит у Новороссийска родные свои корабли, и вода, поднятая в небо взрывами, падает в Черное море крупными каплями, тяжелыми и страшными, как матросские слезы... Вот нет уже у страны Белого моря, и на Приморье стоят на рейдах японские корабли...

Будто сами моря и океаны выступили из берегов, затопляя собой Советскую страну: так хлынули в нее со всех сторон, где она граничила с морем, армии интервентов.

Враждебные океаны вливаются в моря, заливают советскую землю, выбрасывая в пене прибоя армии, пушки, шпионов, правительства, консервы и танки. Все меньше и меньше становится сжимающийся остров, в центре которого — Москва. География летит к черту. По Донбассу, сшибаясь в двенадцатибалльном шторме гражданской войны, ходят валы двух морей — Черного и Балтийского; на гребнях черноморских волн — офицерские фуражки, на балтийских — бескозырки матросов. Уголь, уголь! Уголь — спасение Кронштадту, Питеру, стране, революции!.. Тихий океан, выходя из узких берегов сибирской магистрали, заливает Сибирь... Холодно в Питере от ледяных валов Белого моря, и, вздуваясь, захватывают серые плоские волны Финского залива Петергоф, Гатчину, Детское Село...

Понятия странно смешиваются и путаются. Страна мечется в тифозном голодном бреде кольцевых фронтов, выплескивая в историю героические видения, поражающие и необычайные. Матросы — верхом на конях бьются в зеленой степи, морские корабли — ходят по рекам. Полевые трехдюймовки, изумляясь непонятым морским командам, бьют по кораблям с покачивающихся барж, а морские орудия стреляют с площадок бронепоездов по пехотным цепям, отсчитывая дистанцию по привычке на кабельтовы. Кронштадтские форты, до судороги сворачивая прицелы, стреляют себе за спину, в тыл, по обходным группам белоэстонцев, а где-то на Волге уже записана в вахтенный журнал небывалая в истории военно-морского искусства атака кавалерии на миноносец. Линейный корабль «Андрей Первозванный» двое суток громит с моря Красную Горку — форт, выстроенный для поддержки в бою линейных кораблей.

Так, ломая традиции морской войны, Красный флот, в самих боях отыскивая новые правила боя, бился эсминцами на реках, матросами — в степи, подлодками — во льдах, линкорами — в гавани, пока в гигантском напряжении сил республика не остано-

вила валы катящихся на нее океанов и пока моря не отступили к своим естественным бассейнам.

Разрушенные заводы, голые поля, истоптанные пастбища одни за другими показывались из-под отступающих океанов. Остров Москвы обсыхал, расширяясь в пространстве. Корабли интервентов, захваченные отливной волной, дрейфовали из Балтики, оставив одну шестую часть своих семидесяти двух вымпелов на неглубоком дне Финского залива. Французская эскадра, потрепанная штормом восстания, уходила от Одессы, и скоро вслед за ней, увлекаемая неудержимым отливом, скатилась с крутых отрогов Крыма мутная врангелевская волна: с Перекопа дул пронзительный, с ног сшибающий норд. В радуге нефтяных пятен вошел в свои берега Каспий, вновь отделившись от Черного моря Кавказским хребтом, и, наконец, последним отступил от Приморья Тихий океан вместе с японскими крейсерами.

Моря вновь стали советскими. И к израненным, разграбленным их берегам медленно начала приливать восстанавливающаяся жизненная сила республики.

II

Была осень 1922 года. Впервые на зеленые просторы Балтики был вынесен советский военно-морской флаг. Балтика встретила его десятибалльным штормом. Трое суток она раскачивала и сотрясала ударами волн все десять тысяч тонн «Океана», сбивая его с курса.

Мы не изменили ни курса, ни намерений. Мы пронесли наш юный флаг до самой Кильской бухты, показали чужим кораблям и берегам его мятежное пламя и возвращались обратно по при-смирившему враждебному морю. И вот у мыса Мэн, спускающего в зеленые воды ослепительные меловые утесы, мы начали валиться набок.

На четвертые сутки похода корабль стал медленно крениться на правый борт, удивляя этим всех, кто был на мостике: чтобы свалить огромное тело «Океана», требовался не тот легкий вечерний бриз, который дул от Швеции. Но кренометр в штурманской рубке второй уже час продолжал отклоняться от вертикали с неприятной безудержностью. Когда он показал шесть с половиной градусов, на мостик поднялся вызванный командиром старший механик. По старческим его щекам катились капли пота, и узловатые матросские пальцы дрожали в бессильной ярости.

Балтика все-таки взяла свое: шторм поднял в трюмах всю грязь, накопившуюся там за время многолетней летаргии корабля, и она забила перепускные помпы. Вода в котлы пошла только из цистерн одного левого борта, и корабль получил крен, увели-

чивавшийся тем больше, чем больше воды брали котлы. Перекачать воду и выровнять крен оказалось невозможным.

Крен этот опасности не представлял. Торговые корабли порой и не с таким креном бродят по морям, напоминая собой лихо заломленную шапку на подвыпившем матросе. Но в Петрограде, у моста Лейтенанта Шмидта, занимая собой добрую половину Невы, лежал на боку такой же огромный корабль — «Народоволец», оборвавший швартовы и перевернувшийся, когда вся вода из левых цистерн была небрежно и неумело израсходована. И этот призрак встал в кочегарках «Океана». Шторм, разболтавший грязь в трюмах, расшевелил и людскую накипь: кто-то в кочегарке стал убеждать остальных не перегружать уголь из верхних ям правого борта, что могло выправить крен: все равно, мол, перевернемся... Люди, не видавшие ранее моря, но часто видевшие «Народовольца», упали духом. Вот почему старший механик, отслуживший всю службу машинистом того же самого «Океана», дрожал от ярости и ругался, как может ругаться старый балтийский матрос.

Поход пришлось прервать. Мы стали на якорь под шведским берегом, и девять машинистов, таких же балтийских матросов, вместе со стариком механиком всю ночь перебирали донки, очищали с них липкую грязь, перекачали потом воду с борта на борт и выпрямили этим корабль. Он снялся с якоря в два часа дня, а в пять мы приняли радио о том, что комсомол взял шефство над флотом, и о том, что «Океан» получает новое имя — «Комсомолец».

Из семисот военных моряков «Океана» хорошо если семьдесят бывали ранее в море. Балтийские матросы — матросы семнадцатого года — давно покинули корабли для бронепоездов и море для степей, сменив двенадцатидюймовые орудия на трехлинейные винтовки и условные лошадиные силы машин — на реальных мохнатых коней Первой Конной. Те, кто остался в живых, строили Советскую власть в городах, только что отбитых у белых, немногие из них учились в академиях, вернулись на флот комиссарами. Балтийский флот терял свои жизненные силы. Вялое белокровие год-два назад ослабило его гнойным фурункулом кронштадтского эсеровско-меньшевистского восстания.

Истощенный, недвижимый, исхудавший, Балтийский флот требовал свежей волны здоровой крови, чтобы жить и расти вместе с оправляющейся страной. Комсомол был призван дать ему новых людей, заменить ими тех, кто трусил в кочегарках «Океана», тех, кто безразлично сторожил в гавани недвигающиеся корабли.

Комсомольцы пришли на флот.

Он встретил их сурово. Горячую романтику «солнечных рей»

он с места окатил холодной водой. Буквально — потому что в разрушенных, стылых и грязных Дерябинских казармах, что на Васильевском острове, кипятку в бане не оказалось. Секретари уездных и губернских комитетов комсомола (ниже «сельского масштаба» комсомольцев во флот не отбирали), ежась, но весело вымылись в холодной воде, приняв это за первое «оморячивание». Потом повалились на голые топчаны спать (коек тоже не оказалось) — «казбеки» в своих черкесках; тверяки все, как один, в белых заячьих шапках, подаренных губернским комитетом для трудной флотской службы; рязанцы, сибиряки, северяне, петроградцы, москвичи — в полушубках, в валенках, в тулупах — две с половиной тысячи отборных комсомольцев со всей страны. На местах их провожали, как на фронт, и долго еще, как на фронт, посылали подарки: папиросы, сахар, мыло, блокнот и письмо от организации — все это в кисете, сшитом чьими-то девичьими руками. Кисетов у иных к весне набралось до сорока штук.

Комсомольцев остригли (не без боя), одели в бушлаты, сквозь сукно которых свободно просвечивала даже пятисвечовая лампа, обули в картонные ботинки образца 1921 года и разослали по экипажам и по военно-морским школам.

Там их встретили иронически. «Шефский подарочек» — так называли их те, кого они пришли оздоравливать, а кое-кого и сменять. Так звали их в экипажах матросы-инструкторы, отсидевшие всю гражданскую войну в тылу. Так звали их старики боцмана, никак не мирившиеся с новым и непонятным типом «новобранца» — разговорчивого, самостоятельного, въедливого до неполадок, с места заявляющего о том, что он пришел «оздоравливать флот». Так звали их и многие из командного состава, побаивавшиеся их политического превосходства над собой.

Больной флот мстил им, чем мог. Он мстил сложной терминологией, которой их не обучили в экипаже, где инструкторы занимали все их время бесконечными приборками и чисткой картошки и откуда они вынесли единственное морское слово — «гальюн». Он мстил отмирающими «традициями» — татуировкой, семиэтажным матом, клешем в шестьдесят сантиметров, мстил влиянием «жоржиков» и «иванморов», мстил и прямым издевательством тех, кому на смену пришли эти комсомольцы. В кубриках экипажа старые инструкторы, осмотрев только что вымытый линолеум, украшали его презрительным плевком: «Разве так палубу драют! Мыть еще раз!» Старшины из унтеров заставляли чистить свои ботинки, включая эту операцию во всемогущую «приборку». «Жоржики» вводили комсомольцев на Лиговку — и не отсюда ли в комсомольский обиход вошли дурно пахнущие слова: шамать, топать, братуха, коробка (корабль) и прочие, украшавшие когда-то литературу о комсомольцах?

Весной, пройдя строевую подготовку в экипаже и разбившись по школам, комсомольцы впервые увидели корабли. Какие корабли!.. Из всего Балтийского флота плавало несколько миноносцев, учебное судно «Комсомолец» и линкор «Марат». Остальные «плавали» преимущественно по закону Архимеда, то есть лишь теряя в своем весе столько, сколько весил вытесненный ими объем мутной воды Кронштадтской гавани,— без всякой возможности передвижения.

«Морская практика» началась с чистки трюмов. Из всех тяжелых работ на корабле это одна из самых неприятных и грязных, заслуженно рассматривавшаяся в царском флоте как вполне равноценная замена карцера или гауптвахты. В трюмах «Марата» геологические напластования многолетней грязи являли собой спрессованную историю флота со времен семнадцатого года. Ледовый поход восемнадцатого года был представлен остатками сахара и белой муки, вывезенных из складов Гельсингфорса. Девятнадцатый год отложил машинное масло боевых походов. Двадцатый — сгнившую мерзлую картошку и капусту продовольственных отрядов. Все это спаялось ржавчиной всех годов в плотный слой, прилипший к металлу корабля. Комсомольцы отбивали его ударами ломов. И тогда из-под пробитой корки, твердой, как броня, в спертый воздух трюмов подымались спиртовые пары разложения. Комсомольцев выносили из трюмов пьяными.

Вместе с этой очисткой трюмов возрождающегося Красного флота — запущенных трюмов, вынудивших «Океан» прекратить первый поход по Балтийскому морю,— комсомольцы должны были очистить и личный состав флота от той ржавчины, которая осталась еще с царских времен и спаялась с гнилой слизью «клешниковской» психологии, доведшей флот до позора кронштадтского восстания. И пробитая корка ложнофлотских «традиций» испускала ядовитые пары, отравляя комсомольцев-моряков. «Старички» приучали их к щегольству сверхматерной брани, накалывали им татуировки, доказывали несомненную выгоду уменья «попсиховать» с командиром и учили гордиться гауптвахтой — как орденом, венерической болезнью — как доблестью, отлыниванием от работ — как геройством. Худший слой военных моряков защищался, как мог, от свежей струи, ворвавшейся во все уголки быта и службы и несшей с собой новые понятия о дисциплине, работе и учебе.

Секретари уездных и губернских комитетов комсомола очищали трюмы, драили палубу, стояли вахты, чистили картошку, заменяли на политчасах политруков, учились артиллерии, машинному делу, гребле, теребили старых моряков, вытягивая из них знания и опыт, и бредили по ночам страшными морскими словами: «клюз», «комингс», «бейдевинд», «гинце-кливер-леер-лапа». Кое-кто поддавался отраве «старичков» и посидел на гаупт-

вахте. Кое-кто в отчаянии кидал на стол комиссара свой комсомольский билет. Но спайка, стойкость, энергия комсомольцев взяли свое.

Им пришлось бороться и с недоверием комсостава, и с замкнутостью старых специалистов, ревниво оберегавших профессиональные тайны, и (кое-где) с близорукостью комиссаров, не разглядевших, что в этой молодой волне — спасение флота, и со сложной терминологией, и с морской болезнью, и со своим собственным самолюбием, которое порой получало очень сильные уколы.

Они завоевывали флот, как неизвестную страну. Здесь, на кораблях, они нашли наконец себе союзников. Это были военкомы, старики боцмана (оценившие все-таки их неистребимую, но какую-то непривычную любовь к флоту), лучшая часть командиров и коммунисты-военморы. Партия большевиков, начав возрождать флот, сделала ставку на комсомол — и не ошиблась.

И если вспомнить комсомольцев тех годов, вырывающих на гребных гонках призы у старых матросов, комсомольцев, впервые берущих в руки точное штурманское оружие — секстан и хронометр, комсомольцев, впервые стреляющих из огромных орудий, — прежде всего на память приходит то волевое устремление, которое было присуще им. Командиры из этих комсомольцев резко отличались от кадровых командиров — в большинстве своем усталых, безразличных, надорванных многими годами войны и болезней флота. Краснофлотцы-комсомольцы совсем не походили на краснофлотцев прежних наборов. Они принесли с собой на флот дисциплинированность, четкость мыслей и поступков, организованность времени, комсомольскую спайку, энергию, жажду работы и хорошее настроение уверенных в себе людей. Они пришли на разрушенный, усталый флот с мечтой о могучем советском военном флоте, с романтикой «солнечных рей», с песней «По всем океанам развеем мы красное знамя труда» — и история, творимая ими вместе с миллионными массами советского народа, осуществила эту мечту, которая тогда, в трюме «Марата», казалась только мечтой.

Они — адмиралы Советского Военно-Морского Флота — стоят сейчас на мостиках новых крейсеров, они — инженеры — строят теперь гигантские линкоры, они — подводники — создали в ледяной воде Финского залива и Баренцева моря легенды о советских подводных лодках. Это они положили начало новым кадрам флота, они — «шефский подарок» Ленинского комсомола флоту социалистической родины, — подарок, с которого история сняла иронические кавычки, выбросив их в мусор вместе с людьми, придумавшими их.

III

В мае 1921 года мы вышли на пробу машин. Весна выдалась на редкость солнечная и теплая, нагретый над морем воздух дрожал на горизонте, приподымая острова и искажая очертания маяков. Финский залив был пустынен: под серебряной его гладью угрюмо и опасно толпились стада мин, и только кое-где в этом обманчивом просторе были проложены узкие улицы, огражденные частоколами вешек. Это были протраленные фарватеры, и по ним, строго придерживаясь вех, опасаясь уклониться хоть на полкабельтова, шел наш эсминец. Кроме него, в море было только четыре тральщика. Они медленно и деловито утюжили залив, похожий более на суп с клецками, прокладывая в минном поле новый переулочек, которому штурмана-острословы уже дали наименование: «Бьоркский тупик».

У острова Сескар, на углу «Кронштадтского проспекта» и «Лужского переулка», мы встретили пароход. Это был обыкновенный грузовой пароход под голландским флагом, но мы удивились ему, как морскому змею: до сих пор из иностранцев нам доводилось видеть только одни военные корабли.

Пароход шел прямо на нас — аккуратно по самой середине протраленного фарватера, как по ниточке, всем своим видом показывая, что готов скорее стукнуться с нами, чем рискнуть отклониться хотя бы на метр к страшным вехам. Мы вежливо положили руля и дали ему дорогу, прижавшись бортом к линии вех. Так в узком переулке, расходясь, грузовики наезжают колесами на панель. Пароход благодарно отсалютовал флагом, и мы хором прочли на его борту невиданную надпись: «Alexandre Polder — Rotterdam». Он пошел дальше, косясь выпученными в ужасе иллюминаторами на взрывчатую воду за линией вех и с не меньшим страхом всматриваясь в возникающий на горизонте легендарный Кронштадт. Это был первый иностранный пароход, появившийся в наших водах за семь лет войны и интервенции, — первый из десятков тысяч, которые потом приходили в Ленинград, наполняя густой синей краской выцветшие за эти годы диаграммы грузовых потоков по Финскому заливу.

Дорогу торговым кораблям открыли тральщики Краснознаменного Балтийского флота. В первые годы возрождения Красного флота эти маленькие трудолюбивые корабли расчищали будущему флоту место для учений и тренировок. Они начали эту титаническую работу весной 1921 года и закончили в 1924 году. С самой ранней весны до поздней осени тральщики в любую погоду выходили на работу — нудную, незаметную и опасную. Впрягшись в трал, они попарно тащили под водой его тяжелый стальной трос, подвешенный к буйкам, задыхаясь старенькими своими котлами, отплевываясь от волны, цепко хватаясь пелен-

гаторами за маяки и приметные места на берегу, чтобы проложить следующий галс точно рядом с протральной уже полосой. Они уходили в море, как рыбаки, на целые недели, не возвращаясь в гавань и во время штормов. А штормы для них были не сладки: кораблики были маленькие, ветхие, некоторые — как «Березина», «Шексна» и «Буй» — просто колесные, вроде речных, и недаром в те дни сложена была про них ласковая песенка:

Буйка с Змейкой, ежели не потонут,
Доплывут, доплывут!

Тральщики не хватало, а молодая Советская страна требовала скорейшего открытия плавания по Финскому заливу торговых кораблей. И тральщиками стали все сколько-нибудь пригодные для этого корабли: буксиры, катера, паровые яхты и даже миноносцы. Этим на долю выпало «контрольное траление»: заведя трал, они быстро носились по необследованным районам, с удивительным спокойствием, удивительным, ибо их осадка, глубокая осадка миноносцев, не давала им никакой гарантии не стукнуть по mine собственным форштевнем раньше, чем ее обнаружит волочащийся сзади трал. Это небезопасное занятие считалось нормальным и обычным, и в этой школе воспитывались из молодежи новые кадры молодого флота.

Тральщики проводили за тралами первые советские торговые корабли, привозившие необходимые для восстанавливаемой промышленности республики машины и материалы. Краснознаменный Балтийский флот с честью возвращал торговому советскому флоту свой долг срока тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Тогда — в апреле — тяжелые льды закрывали Гельсингфорскую гавань и тяжелые шаги маннергеймовских отрядов звучали у самой гавани. Финская революция была задавлена интервентами, и Балтийский флот лишался своей базы. Корабли надо было спасти, надо было вывести их через льды в Кронштадт. Без машин, почти без топлива балтийцы уводили корабли — все, которые хоть как-нибудь могли двигаться. Линкоры и крейсера, миноносцы и подлодки шли по пробитой ледоколом «Ермак» ледяной дороге.

Но мы двигаться не могли: на «Орфее», эскадренном миноносце, был погнут левый гребной вал, а в правой турбине была «капуста» — лопатки ее были смяты осенней аварией. Мы стояли в Южной гавани Гельсингфорса, в центре города, и смотрели на уходившие своим ходом корабли Балтийского флота. До 12 апреля мы не знали, каким образом удастся нам спасти наш корабль от напора призванных финской буржуазией германских войск под командованием генерала Маннергейма. Часть команды перешла на «Стерегающий»: на нем было лишь четыре человека, но машины кое-как вертелись. Ушел на наших глазах и «Стерегу-

щий» — медленно, малым ходом, едва расталкивая разбитые кораблями льдины.

Утром 12 апреля в городе затрещали выстрелы финских белогвардейцев. Возле миноносца высился портовый кран. На верхней его площадке простым глазом, без бинокля, были видны пять фигур финнов-рабочих с красными повязками на рукавах, среди них — одна женщина. Они прильнули к решетчатым фермам крана, сжимая в руках револьверы. На Торгет-плац появились перебегающие фигуры с винтовками. Они стреляли по окнам, по подворотням, оттесняя в переулки рабочие отряды финских красногвардейцев. Тогда с крана началась редкая, но точная стрельба. Невольные свидетели, скованные условиями мирного договора, мы лишь смотрели, как на Торгет-плац падали один за другим люди с белыми повязками, одетые в добротные штатские пальто. Наступающие стали прятаться от этого точного огня за фонтан посреди Торговой площади. Потом откуда-то появился пулемет и застрекотал по крану. Он стучал долго — видимо, патронов жалеть не приходилось, — и лишь когда на кране прекратилось всякое шевеление, туда поднялись трое с белыми повязками. Они сбросили с крана тела убитых красногвардейцев и — последним — раненого. Падая с двадцатиметровой высоты, он кричал, пока не ударился о мостовую, и крик этот я помню и теперь.

Его крик был подхвачен густым и хриплым гудком. Мы оглянулись — к нам подходил грязный пузатый транспорт под советским флагом.

Такие корабли в старое время имели в военном флоте презрительное наименование «бандура». Их еще звали «купцами» или «транспортюгами». И вот такая «бандура» с парадным ходом в шесть узлов подошла к изящному и стройному, но обезноженному миноносцу. Человек в немыслимой лохматой робе кинул к нам на бак бросательный конец. Тонкая его змейка привела к нашим кнехтам шестидюймовый трос, «бандура» дала ход, и Гельсингфорс стал медленно отходить вместе с белофиннами, которые уже посматривали на одинокий советский миноносец...

Двенадцать долгих и трудных суток мы шли на буксире «Бурлака». Он раздвигал своим широким пузом разбитые «Ермаком» льды, спасая собственными бортами тонкие и изящные обводы военного корабля. Я не видал потом нигде этого транспорта. Но навсегда осталась в моей памяти его широкая и грязная корма...

В ледовом походе торговый флот оказал военному неоценимую услугу. Его ледоколы «Ермак», «Аванс» и другие разбили лед для прохода линейных кораблей, крейсеров, эсминцев. За крепкими корпусами транспортов «Люси», «Бурлака», «Иже», «Веди» и десятков других пробились сквозь лед миноносцы и подводные лодки. Позже, в годы гражданской войны, моряки

торгового флота подводили к нашим бортам уголь и нефть, брали от нас боевые мины, загромождая ими свою привыкшую к мирным грузам палубу, и кидали их на путях противника. Они принимали от нас длинные стволы орудий и ставили их на свои речные буксиры и баржи. Торговые моряки, незаметно для себя приучившись воевать, оставались на Красном флоте командирами и комиссарами.

И эпопея траления Финского залива, тяжелый и опасный труд военных моряков, — это лишь честная отдача долга кораблями военными кораблям торговым. Свободно и безопасно они пошли из Ленинграда во все концы земного шара, с каждым годом все более и более насыщая ровным алым цветом советского флага пестрое смешение флагов на оживившемся Финском заливе.

Есть такой морской обычай — салютовать флагом. Удивительно, до какой степени выразителен этот морской поклон и как эволюция его иллюстрирует путь, пройденный нашей страной за период мирного строительства.

Иностранные корабли, начавшие посещать Ленинградский порт, салютовали флагом далеко не всегда. Финский крест на белом поле или желто-красная неразбериха скандинавов чрезвычайно неохотно и медленно отделялись от клотиков, как бы раздумывая, стоит ли: на рейде болтались лишь скромные тральщики, грязные от непосильного труда.

Но уже в следующие годы, проходя по этому же рейду мимо медленно оживающей «Парижской коммуны», вставшей рядом с «Маратом», гости раскланивались более оживленно и приветливо с каждым из линкоров в отдельности. А в 1927 году бригаде линкоров, громившей у Сескара щиты двенадцатидюймовыми снарядами, повстречался германский транспорт: он стремительно спустил флаг до самого фальшборта — и долго шел так, вздрагивая при каждом залпе.

Как надменно реяли эти флаги у растерзанных советских берегов в девятнадцатом году! Каким гулким пушечным басом покрикивали эти корабли на наши города и деревни! И как хотели бы они вновь прийти к советским берегам, переполненным несметными богатствами, которые мы добыли в нашей стране за эти годы!

Но моря, омывающие советские берега, изменили состав воды. Советские моря насыщены металлом. У страны, ставшей металлической, самая вода стала стальной. Четыре флота создали на этой воде новую береговую черту, не подчиняющуюся географии.

Ничто не зависит до такой степени от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия находятся в прямой зависимости от данной степени развития производства и средств сообщения.

Энгельс

...Степь. Желтая трава. Сухой жар высокого солнца (это он делает желтыми травы и смуглыми — человеческие лица). Сотни лет никто не смел задерживаться в мертвенных просторах Шаульдера. Караваны проходили здесь, изнемогая, от колодца к колодцу. Эти места носили трагическое имя «Су-сагны», что значит в переводе «тоска по воде».

В начале тридцатых годов тридцать шесть кочевников-казахов начали рыть эту сухую степь. Мутная вода Арыси наполнила канал шириной в пять метров и длиной в тридцать один километр и растеклась по ней тонкими жилками арыков. Спасительная влага преобразила степь. Кирпичные дома стали у новых хлопковых полей, шесть тысяч кочевников осели на рожденной ими самими земле. У просторной школы колхоза «Кзыл Туркестан», в аллее молодых тополей, уже дающих тень, мы увидели веселую гурьбу казахских пионеров, пускавших по мутной воде арыка какие-то немыслимые кораблики.

Я выбрал самого маленького из них, лет девяти, и спросил у него через переводчика сперва, как его зовут («Магавья», — ответил он), а потом — знает ли он, что такое Красный флот?

Подняв голову, он всмотрелся в беркута, описывавшего круги над степью, потом, надумав, сказал короткую фразу, блеснув белыми зубами на широком и смуглом лице. Мне перевели: «Красная Армия — это сторож нашего колхоза». Я повторил вопрос, добиваясь услышать от него именно о Красном флоте. Еще шире улыбнувшись и хитро подмигнув (мол, не обманешь!), он ответил переводчику и рассмеялся.

— Он говорит, что это одно и то же... Только не на лошадях, а на пароходах, — сказал переводчик.

Разговор оборвался — нас позвали «закусить». Мы пили кумыс и вздыхали над жирными грудками бешбармака. Но когда мы вновь сели в машину и степь распахнула передо мной свой простор, я задумался над ответом маленького Магавьи.

Разговор происходил возле города Туркестана, на прямой дороге к Ташкенту, Самарканду, Бухаре. Здесь десятки лет тому назад шли в Среднюю Азию скобелевские и кауфманские отряды

тамбовских и рязанских мужиков, одетых в белые рубахи и кепи с назатыльниками. Беркут, долговечная птица, ширявший кругами над головой Магавьи, был, может быть, одним из тех, что клевали продырявленные солдатскими пулями казахские, туркменские, узбекские тела, отмечавшие путь царской армии. И здесь девятилетний представитель национальности, не так давно считавшейся полудикой, не только знает о существовании никогда не виданных им кораблей Красного флота, но и доверяет этим «парходам» защиту собственной жизни. Вот оно — ясное ощущение интернациональной сущности Красной Армии и Флота!

Степь бежала мимо, постепенно зеленея (мы приближались к реке), и уже какие-то необычайно ярко-голубые птицы низко, у самых фар, пересекали наш путь. Ровный бег машины, рокот мотора, сосредоточенное молчание Исахана, шофера-казаха, недавно поменявшего верблюжий недоуздок на штурвал руля, располагали к размышлениям.

Примечательно было то, что это детское сознание не только владело уже чисто абстрактными понятиями, но и способно было выразить их на своем родном языке, в форме конкретной и образной. Магавья мог бы ответить заученной в школе фразой: «Часовой наших границ». Но он нашел свою формулировку: «Сторож нашего колхоза», именно этого колхоза, «Кзыл Туркестан», дающего мальчику сытое детство, грамоту, будущность.

Эта способность мыслить рождена в Магавье новыми условиями его жизни. Его отец, пастух-кочевник, имел в его возрасте считанное количество понятий, касающихся скота, еды и нищеты. Изменения в стране, перемены байской системы хозяйства на колхозную, самый канал, проведенный кочевниками и помогший им осесть, жить вместо юрты в доме, иметь для детей школу — вот что стояло за ответом Магавьи.

Я думал еще и о том, что «оперативное задание» Магавьи Военно-Морскому Флоту доказывает уже развившуюся в этом ребенке любовь к своему колхозу, к своей стране, которая нуждается в защите и которая, следовательно, дает ему счастье (ибо защищать причину несчастья — нет надобности).

Для этого детского ума, оперирующего тем, что он видит вокруг себя, социалистической родиной оказался этот колхоз, который создал для него новую жизнь. Для ума, способного к обобщениям, эта социалистическая родина принимает очертания Казахстана, очертания Союза Советских Республик, сроднившего десятки освобожденных национальностей в великой задаче: сделать человека действительно человеком.

Так на дне ответа пионера лежала великая идея нашей эпохи — идея пролетарского гуманизма.

Во имя этой великой идеи — торжества человеческой жизни в коллективе, победившем силы природы и сломавшем уродую-

щие человека общественные отношения, которые были построены на эксплуатации человека человеком, на духовном и материальном рабстве,— гибли дорогие товарищи наши, балтийские моряки, на эсминцах «Гавриил», «Константин» и «Свобода», на бронепоездах, на речных буксирах, гибли на Волге, на Балтике, на Черном море, в Приморье. И во имя этой великой идеи четыре военно-морских флота и несколько флотилий на морях, океанах, озерах и реках...

Тут машина внезапно кинулась в сторону и запрыгала по ссохшимся колеям. Желтый комочек метнулся перед колесами и исчез в жесткой траве. Я сбоку вопросительно посмотрел на Исахана.

— Суслик,— сказал он, выводя машину на дорогу.

Поведение его показалось мне удивительным.

— Ну так что? Черепах же давишь?

— Черепаху интересно. Видал, как лопается? Суслик — нехорошо.

— Примета, что ли, какая?

— Зачем примета, наши казахи ловят, за границу идет. Зачем шкурку портить? Шкурка денег стоит...

Желтый комочек был сусликом-песчаником, знаменитым казахским зверьком, которого ловят в степях в количестве трех миллионов штук ежегодно; и я вспомнил, сколько золота приносит стране этот зверек. Машина, вздрогнув, попала в колею, Исахан прибавил газу, и в дорожное раздумье вошли огромные богатства Казахстана...

Военные корабли, как известно, построены из металлов, стреляют бездымным порохом и кормятся углем и нефтью. Где-то за горизонтом, в невидимом продолжении расстилавшейся передо мной степи, лежали под сухой и ровной ее гладью цветные металлы, железная руда, нефть и уголь, а в колхозе маленького Магавьи я оставил хлопок, выросший на ее поверхности, а чуть к югу — в степи росли волшебные корни тау-сагыза, пропитанные натуральным каучуком. Здесь, в Казахстане, была создана третья угольная база Союза — Караганда, здесь находилось Второе Баку — Эмба. Уголь и нефть, без которых голодали наши корабли в гражданской войне, шли теперь из Казахстана в количествах неисчислимых. Здесь строился Балхашский медный комбинат, отсюда — из Чимкента и Риддера — текли в Советский Союз тысячи тонн свинца, здесь были никель, вольфрам, цинк.

Все основные элементы, из которых создается боевой корабль, которыми он питается, которыми он стреляет, находились здесь, в этой степи, безмерно удаленной от какого бы то ни было моря, но теснейше связанной с морем и с кораблями Военно-Морского Флота. Все эти элементы не могли появиться на свет, пока не изменилась политическая и экономическая структура страны,

пока эта страна не вошла в социалистический союз республик.

Вызванные к жизни волей освобожденного народа, эти элементы смогли создать и средства собственной защиты. Две пятилетки, насытившие страну металлом, дали жизнь современным нашим кораблям. Металл в военном своем воплощении вынес оборону берегов далеко в море, создал под водой непроходимые рифы мин и подлодок.

И тогда настало время с трибуны сессии Верховного Совета сказать те слова, о которых мечтали комсомольцы двадцатых годов, которых ждали старики боцмана, отдавшие всю жизнь флоту, — слова о создании могучего Военно-Морского Флота Советского Союза. Под горячую мечту была подведена металлическая база.

Новые крейсера, быстро и далеко стреляющие, несут по водам советских морей бессмертные имена великих людей социализма. Новые миноносцы приняли гордые названия героических кораблей русского флота. Но мог ли старый «Стерегающий», кто до последнего снаряда отбивался от японцев и затопил себя, чтобы не сдаться, мечтать о той сказочной скорости, с какой мчатся по волнам новые советские эсминцы? Подводные лодки плотной, неprovоротной стаей бродят теперь в тех местах, где когда-то сдерживали врага одинокие лодки девятнадцатого года «Пантера» и «Рысь».

Эти линейные корабли, эти крейсера, миноносцы, подлодки, торпедные катера, авианосцы строила и строит вся Советская страна. Сотни заводов в разных ее концах строят турбины, электромеханизмы, создают вооружение, тянут проволоку для проводов и обволакивают ее изоляцией из советского каучука, перерабатывают хлопок в порох. Огромные запасы нефти и угля создаются в предвидении того, что в нужный момент их потребуют военные корабли. И даже такая далекая от морей страна, как Казахстан, двинулась всей своей степью и всеми горными хребтами к флотским базам, неся военным кораблям сыпучие груды угля, озера нефти, горы металлов.

«Вооруженные силы страны являются ярким отражением политических и экономических особенностей данного государственного строя» (Энгельс).

С каждым годом нам все легче воспитывать краснофлотцев из рабочей молодежи и колхозников, все легче обучать их сложному и трудному военно-морскому делу. С заводов истроек приходят готовые машинисты, с электростанций — готовые электрики, из колхозов — с тракторов и комбайнов — готовые мотористы, с торгового флота — готовые рулевые, с рыбных промыслов — готовые боцмана.

В отличие от армий флотов всего мира и всех эпох, эти советские моряки защищают действительно свою родину, где нахо-

дятся лично им принадлежащие социалистические богатства, и свою политическую систему, которая на базе этих богатств создала им и миллионам людей свободное, сытое, содержательное и счастливое существование.

Четыре военно-морских флота — Краснознаменный Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный, составленные из нужного количества мощных боевых машин, плавающих на воде и под водой, летающих по воздуху и стреляющих с береговых крепостей, охраняют моря и океаны Советской страны. И если взглянуть на командиров, комиссаров и краснофлотцев четырех флотов, то в памяти встанут два поколения: матросы революции и комсомольцы первого призыва. Это они спасли Красный флот в ледовом походе, это они отстояли его в боях гражданской войны — и это они положили начало могучему Военно-Морскому Флоту Советского Союза.

1936—1939

ПЕРСТНИ

Пообедав, сытости не ощутили. Политой холодным подсолнечным маслом пшенной каши пришлось по пяти столовых ложек на человека. Оттого, что ели ее с больших фарфоровых тарелок, украшенных императорским гербом и андреевским флагом, сытнее она не стала. Зашумев стульями, встали из-за стола и разбрелись по кают-компаний.

Она хранила еще комфортабельную роскошь былых дней. Кресла-слоны, пухлые и огромные, важной толпой обступили круглый стол, потерявший уже темно-синюю бархатную свою скатерть. Зеркальные грани аквариума, безводного и пустого, уныло пускали на подволок чахоточных, малоподвижных зайчиков. Рояль блестел черной своей крышкой, привыкшей отражать золото погон и пуговиц. Ноты на нем, в голубых атласных переплетах с флюгаркой корабля на корешке, пронесли сквозь оба года революции вечную страсть Кармен, чистую любовь Маргариты и греховную томительность ресторанных танго. Старший инженер-механик Бржевский откинул голову на спинку кресла, отыскивая ямку, к которой его седой затылок привык за последние шесть лет.

— Юрочка, приступайте к вашим обязанностям,— сказал он с тем отеческим добродушием, которое было признано всеми: Бржевский, старейший член кают-компаний, теперь принял на себя почетную обязанность председателя ее, с тех пор как в «старшие офицеры» неожиданно выскочил бойкий прапорщик по адмиралтейству, позволявший вставать из-за стола без спроса.

Шалавин подошел к нему с огромным стаканом в руках.

Такие стаканы, сделанные из бутылок, были почти у всех бывших офицеров линейного корабля. От безделья и полной непонятности, что с собой делать, кают-компания периодически охватывалась эпидемиями массового подражательства. Стоило второму артиллеристу, неизвестно почему, сделать себе стакан

из бутылки, как все начали лихорадочно отыскивать бутылки и обрезать их ниткой, смоченной в бензине, изошряясь в причудливости форм и размеров. Победителем вышел младший штурман линкора Юрий Шалавин. Его стакан, сработанный из аптекарской склянки, которую он выменял у старшего врача за два крахмальных воротника, вмещал ровно литр и требовал восемь ложек сахара. Сахара, впрочем, хватало: недавно с Украины вернулся продотряд, потеряв одного матроса убитым и двух ранеными, и общим собранием линкора было решено раздать на руки по пуду сахара и по две сотни яиц.

Это тотчас породило новую эпидемию: гоголь-моголь.

Ежедневно после обеда из всех кресел раздавался дробный стук вилок, сбивающих белки, и жужжанье растирающих желтки ложек. Крутили все, кроме «женатиков», свезших яйца и сахар домой. Эти сидели возле крутивших и без усталости рассказывали анекдоты, надеясь на деликатность: казенный обед, как сказано, не насыщал. В героях нынче ходил командир второй роты Стронский, свободно съедавший гоголь-моголь из восьми яиц.

— Нечего играть, Мстислав Казимирович,— сказал Юрий лениво.— «Новых я песен совсем не «игрю», старые же ж надоело...» И вообще все надоело. Скюшно чивой-то. Приспнуть, что ли, минуточек триста?..

Бржевский набил прокуренную английскую трубку махоркой. В махорку он подбавлял сушеный вишневый лист, и от этого она приобретала острый и сладкий аромат и горела в трубке, как дрова: с треском и взрывами.

— Да,— сказал он значительно,— скучная жизнь пошла... А вы все же сыграйте... Вот это.

Сквозь жужжанье и перестук вилок полонез загремел пышными и четкими аккордами. Играл Шалавин хорошо, с блеском.

Бржевский откинулся в кресле, и выпуклые его глаза медленно прикрылись сухими, стареющими веками: скучная жизнь, это правда — жизнь в постоянном страхе, подавляемом гордостью, жизнь, полная ежеминутных компромиссов, замалчиваний, оскорблений, неверных ожиданий, нерадующих надежд на какие-то перемены. Корабль бесполезен, как бревно, машины молчат. Матросов нет — есть холопы, наглые враги, упивающиеся властью. Вчера комиссар приказал выдать бензин, с таким трудом вырванный из порта, каким-то делегатам какого-то экспедиционного отряда. Не в бензине дело, черт с ним, пусть все сгорит вместе с бензином и с портом! Дело в унижении. В усмешечке машинного содержателя: «комиссар приказал...» В Питер съездить (все же — берег!) — и тут унижение: увольнительный билет, как матросу второй статьи. Да и в чем поедешь? В пальто, на плечах которого черные невыцветшие следы от царских погон, а на рукавах — такие же, чуть побледнее, следы от

керенских нашивок, как двойная каинова печать: бывший капитан второго ранга, бывший механик — короче, бывший Мстислав Бржевский... Да, раз в жизни он ошибся, но ошибся жестоко и непоправимо: надо было прошлой весной оптироваться, принять польское подданство. Вот мичман Мей оптировался же в Эстонию, а Постников — в Лифляндию... Подумаешь, нашлись латыши и эстонцы! А он — кровный поляк и католик — поленился найти документы, как-то не выбрался из Кронштадта, пропустил время — старость, старость, потеря чутья!.. А теперь — война сразу со всеми новыми и старыми государствами, и оптация лопнула...

Полонез резко оборвался, и в тишине неживого корабля опять с бесполезной деловитостью застучали вилки. Бржевский открыл глаза. Шалавин, упершись локтями в клавиатуру, читал газетный лист, как-то попавший в Шопена. Газета была позавчерашней, по серой грубой бумаге тянулся через всю страницу лозунг:

*ОТДАДИМ ПРОЛЕТАРСКИМ ДЕТЯМ ОСАЖДЕННОГО ПИТЕРА
ЧЕТВЕРТЬ ФУНТА ХЛЕБА*

— Играйте, Юрий Васильевич, — сказал Бржевский, морщась. — Хлеб уже урезали на весь август, и вопрос исчерпан...

— Кстати, насчет хлеба, — слышался голос из соседнего кресла. — Шалавин, вы собираетесь платить по старым векселям?

Юрий, не оборачиваясь, покраснел и стал ненужно перелистывать ноты. Голос принадлежал командиру второй роты Стронскому, а долг был действительно двухмесячной давности. Он относился к тому — увы, безвозвратному — времени, когда Юрий сам был «хлебным королем». Тогда, в спешке экстренных переводов командного состава, вызванных восстанием на Красной Горке, провизионка штурманских классов выдала Юрию месячный паек хлеба мукой и забыла оговорить это в пищевом аттестате. На линкоре же, готовившемся к бою с изменившим фортом, было не до формальностей. Таким образом, тридцать шесть фунтов муки неожиданно свалились с неба, как наследство американского дядюшки, и Шалавин стал жить хорошо. За двенадцать фунтов он приобрел тут же в Кронштадте велосипед — совсем хороший велосипед, только без насоса. Фунтов десять ушло на блины с артиллеристами, располагавшими пушечным салом, вполне годным для смазывания сковороды, если его перетопить с луком и лавровым листом. Остальные же запасы перешли к Стронскому.

Стронский, бывший мичман гвардейского экипажа, попавший на линкор еще до Юрия, принес с собой в кают-компанию тот особый душок, которым отличались миноносцы, зимовавшие

в Петрограде. Он первый ввел в обиход нагловатую формулу: «за соответствующее вознаграждение». Всякого рода одолжения, оказываемые друг другу офицерами в порядке приятельской услуги, с появлением Стронского приобрели коммерческую базу. Сперва формулой этой пользовались с шуточкой, с улыбочкой, а со временем она вошла в быт расчетливо и жестоко. Шалавин, располагавший, как ему казалось, неограниченным капиталом, не раз и не два ленился выходить на вахту в дождь или ночью на «собаку», и Стронский стоял за него «за соответствующее вознаграждение»: полфунта муки за вахту, полтора — за караул. Тариф казался приемлемым, и все шло прекрасно, пока однажды, после большого блинного кутежа, Юрий не проснулся банкротом. Пришлось понемногу урезать от себя хлеб и выплачивать Стронскому. Теперь же с отдачей четвертки детям из пайка оставалось только три четверти фунта, и из них платить долг было никак невозможно.

Самое обидное во всем этом было то, что Шалавин отлично знал, какое употребление делает из его хлеба Стронский: достаточно было взглянуть на его накрахмаленный китель (единственный в кают-компани), чтобы понять, что этот хлеб идет прачке, — для личного питания Стронский имел особые источники.

— Ну, ну, вы, Гарпагон, — сказал Юрий с неудающейся жизнерадостностью. — Мне же самому жрать нечего! Потерпите... Или хотите: отдам натурой, согласен на две «собаки» и одну дневную. В дождь.

— Ата́нде-с, Юрочка, гоните хлеб, — отрезал Стронский равнодушно.

Шалавин не знал, куда деваться. Сейчас Стронский станет нагло утверждать, что он сам голодает и что он не пудель — стоять за других вахты. Юрий приготовился к крупному разговору, решив высказать наконец Стронскому, что ему известно, сколько кур и масла получает тот с матросов в благодарность за просрочку отпуска, и что очень стыдно (недостойно!) грабить своих же товарищей по кают-компани, но, на счастье, к роялю подошел трюмный механик Басов, ходивший нынче в «сахарных королях», ибо в поездке с продотрядом он сумел, сверх розданного, запастись сахаром в количестве изрядном.

— Штурманец, кататься поедете? — спросил он деловито.

— Нет, — сказал Юрий, радуясь перемене разговора, — ветер чертов, с колес сшибает.

— Жаль... А я хотел попросить вас яиц купить.

— Неужто все слопали? — изумился Юрий.

— Долго ли. Домой полсотни свез. А с этого обеда в животе мировая скорбь. Смотались бы, а?

— За соответствующее вознаграждение, — сказал Юрий, улыбаясь.

— Само собой. Беру в пай: харч мой, доставка ваша. Заметано?

— Пойдите, — сказал Юрий, поворачиваясь к Стронскому. — Алло, вы, мироед! Идет сахар за хлеб?

Стронский подумал.

— По шесть ложек за вахту, — сказал он твердо и поспешно добавил: — С горбом.

Начался торг. Спорили долго, со вкусом, в крик. Смеялись, остряли, отворачивали полу кителя и хлопали на ней по рукам, божились, кричали: «Себе дороже!» или: «Помилуйте, овес-то ныне почем?» И со стороны это казалось веселой забавой, игрой в рынок.

Но кончилась эта шутовская торговля вполне реально, сложной банковской операцией: Шалавин привозит яйца и обязуется сделать еще один рейс по требованию Басова (но не в дождь!) и за это получает десять ложек сахара, переходящих Стронскому в погашение вскседа вместе с хлебом младшего минера, который подошел к бирже в поисках желающих отстоять за него вахту и тут же нанял на это Шалавина. Басов отсчитал четыреста рублей и передал их Юрию на десяток яиц, попросив купить их не у той бабы, что сидит у самых Петроградских ворот, а у рябой, что ближе к госпиталю. Юрий зашел в каюту, захватил портфель и пошел искать по кораблю старшего офицера, чтобы спросить разрешения сойти на часок на берег.

В этом не было никакой нужды, потому что давно уже все члены кают-компании уходили на соседние корабли или в Кроунштадт без спроса, ни в грош не ставя прапорщика по адмиралтейству. Но Шалавину правилось всем своим поведением подчеркивать, что он никак не может отвыкнуть от постулков и слов, якобы ставших его второй натурой. Именно поэтому он называл прапорщика «старшим офицером», неизменно приподымал над головой фуражку, всходя по трапу на палубу, обнажал голову при спуске и подъеме флага, гонял на вахте от правого трапа шлюпку, если в ней не было командира или «старшего офицера». Поэтому же в Петрограде он надевал под пальто флотский сюртук с блестящими обручами мичманских нашивок и, играя портсигаром с эмалевым андреевским флагом, тоном приглушенной скорби жаловался знакомым дамам, в частности хорошенькой Аглае Петровне, что флот гибнет и что им — флотским офицерам — служить все труднее и флота уже не спасти.

Все это было липой — и скорбь, и традиции, и самый сюртук, который Шалавин весной выменял у бывшего мичмана Ливрона за пуд картошки. «Флотским офицером» ему быть не удалось, ибо полтора года назад Морское училище без лишнего шума развалилось. В один мартовский день те из гардемарин, которые за это время не смылись к Каледину на юг или к Миллеру на

север, вышли на набережную с буханкой хлеба и фунтом масла, отпущенными комитетом на первое время, и разделились на две неравные части: бóльшая подалась по семьям, где их через родных пристроили по продкомиссиям, по службам или по университетам — доучиваться, а меньшая, бездомная и не имеющая в Петрограде теток, скромно пошла по судовым комитетам «наниматься в бывшие офицеры». Так нанялся и Шалавин на эсминец, откуда его сразу же направили в штурманский класс. Но война не дала доучиться и тут, и он стал младшим штурманом линкора, впервые попав на настоящий корабль. И здесь, подавая командиру рапорт о приеме штурманского имущества, он с гордостью подписал: «б. мичман Ю. Шалавин», видя в этой явной лжи необходимый пароль и пропуск в тесный круг «благородного общества офицеров», как именовалась в морском уставе кают-компания. Ему казалось, что он нашел наконец свое место в жизни, ясность и отдых от всеобщей непонятности, продолжавшейся второй год.

Но ни ясности, ни отдыха в этом «тесном кругу» не обнаружилось. Все шло в пропасть, треща и кренясь. Флотская служба, о которой он мечтал и до которой наконец дорвался, разваливалась на глазах, и было совершенно непонятно, кому подражать и за кого держаться. Офицеры старательно избегали всяких серьезных разговоров, но было видно, что почти каждый из них что-то понял и что-то решил глубоко внутри себя, но не допускал до своих тайных и скрытых мыслей Шалавина, несмотря на то что тот всеми силами старался доказать им, что он «свой» и, ей-богу, «бывший». С затаенной ревностью он следил, как Бржевский звал к себе в каюту Стронского и они часами там о чем-то говорили. Впрочем, с той же завистью он смотрел, как просто и весело обращается с матросами младший инженер-механик Луковский, которого Бржевский с презрительной улыбкой называл: «Наш большевичок», — но ни Бржевский, ни Луковский с ним всерьез не говорили и не шептались. В этом мирке, прочно сложившемся еще до его прибытия и теперь разваливающимся, он был совершенно один. Поэтому он и хватался с отчаянием за «традиции», как за падающие стены, чтобы хоть и упасть в бездну, но упасть не одному.

И если бы нашелся человек, который показал бы Шалавину какой-нибудь определенный и ясный путь — все равно какой, — он ринулся бы за ними очертя голову, безразлично куда: на белогвардейские корабли в Мурманск или в экспедиционный матросский отряд на Волгу, только бы уйти от этой неясности, от полной неизвестности, что же делать с самим собой, — вот с этим веселым, молодым, сильным Юрочкой Шалавиным, желающим жить, а не недоумевать. Но офицеры отмалчивались, прикрываясь анекдотами и шуточками, как броней, а идти к Луков-

скому и с ним вместе — к матросам Шалавин не мог: улыбочка Бржевского была страшнее всего, ибо она означала приговор. И хотя Юрий отлично понимал, что Бржевский всего-навсего сухой и неумный стареющий фат, но что-то в осанке его, в ровном ироническом тоне, в небрежном презрении ко всему, что творится вокруг, в красивом и, как казалось Юрию, измученном лице невольно влекло к себе и заставляло сочинять из Бржевского романтическую фигуру последнего хранителя офицерской чести. И в разговорах с ним Юрий всегда старался держаться такого же иронического и спокойного тона. Так и сейчас, встретившись с ним в коридоре, Шалавин спросил:

— Не из комитета, Мстислав Казимирович? Старшой там не митингует с матросиками?

— В комитет не ходок и вам, мичман, не советую, — ответил Бржевский так, что Юрий вспыхнул. — А вы на бережишко? Валитесь, юноша, самостийно, корабль без вас не утонет.

Оба они прекрасно знали, что никакого комитета нет уже больше полугода, но сказать «бюро коллектива» для Шалавина означало — не выдержать небрежного тона «бывшего офицера», знающего только свои компасы и не интересующегося никакой политикой, а для Бржевского — признать, что для него есть какая-то разница между комитетом и бюро коллектива: не все ли равно, как называется сборище матросов, захвативших власть на корабле?

И оба они, пересмеиваясь с некоторой, впрочем, натянутостью, прошли мимо дверей кондукторской кают-компания, где до появления на флоте комиссаров помещался судовой комитет, а теперь — бюро коллектива, деятельность которого каждый из них представлял себе по-разному.

Бржевский ненавидел эту дверь, как очаг неизлечимой болезни, охватившей страну и флот, и каждый раз, проходя мимо этой двери, чувствовал противный заячий страх, не прекращающийся два с лишним года, — страх, который нельзя было прикрыть ни иронией, ни остротами. Шалавину же бюро коллектива представлялось чем-то вроде кабинета инспектора классов в училище, куда вызывали перадивых, чтобы читать нудные нравоучения или просто раздолбать по первое число и отправить в карцер. Самому ему здесь бывать еще не приходилось, но выражение лица, с которым выходили отсюда или от комиссара бывшие офицеры, вполне подтверждало эту смутную догадку. Поэтому и теперь он с некоторой опаской проскочил мимо этой двери, как бы ожидая, что оттуда выглянет суровое матросское лицо и грозно спросит: «А ну-ка, военмор Шалавин, предъявите шлюпочный компас номер ноль тридцать четыре!» — и тогда придется сознаться, что компас этот однажды под веселую руку он побеспокоил и разведенный спирт, в котором плавают картушка, употре-

бил для цели, штурманскому делу чуждой: распил вместе со вторым артиллеристом под блины... В сотый раз Шалавин поклялся себе, что в ближайшую же поездку в Петроград он купит там стакан спирту, чтобы подлить его в хранящуюся сейчас в компасе обыкновенную воду, и, внезапно покинув Бржевского, юркнул в первый попавшийся люк, чтобы выскочить на палубу.

В бюро коллектива было сейчас полно народу, но никто не собирался допытываться, что случилось с компасом № 034, как опасался того Шалавин, и никто не ставил на повестку дня вопрос, как бы почувствительнее унижить старшего механика, как думал это Бржевский. Здесь решались дела важнее и значительнее: корабль оставался без угля.

В тот самый послеобеденный час, когда в кают-компании бывшие офицеры деятельно стучали вилками, сбивая гоголь-моголь, матросы собрались в бюро коллектива, чтобы подумать о том, о чем должны были думать бывшие офицеры: как и где найти угля, чтобы тренироваться в управлении орудиями, чтобы проветривать вентиляцией погреба с боезапасом, чтобы держать корабль в боевой готовности, и если уж нельзя ходить по морю, то хоть стрелять из гавани. И хотя уголь прямо касался Бржевского, но думал об этом не он — старший инженер-механик, и не Шалавин, который так жаждал боевых походов на первом своем боевом корабле, и не артиллерист Стронский, занятый сейчас вовсе не мыслью о вентиляции погребов, а о том, как бы скрыть от комиссара опоздание комендора Попова, который, подлец, надул и просрочил уже семь суток отпуска, а не пять, как договаривался «за соответствующее вознаграждение». И все те образованные и обученные командовать люди, которые по-своему искренне были убеждены, что флот гибнет и все разваливается, так и не зашли в бюро коллектива помочь матросам в деле, касающемся корабля и всего флота: одни — из прямой ненависти, другие — из злорадства, третьи — из ложного самолюбия, боясь, что их холодно спросят: «А что вам здесь нужно?», четвертые — из глубокого и усталого безразличия ко всему, пятые — потому, что предполагали, будто в «коллективе» только выдумывают лозунги, спорят о революции в Мексике и устанавливают очередность отпусков для команды. Из тридцати шести бывших офицеров линкора в кондукторской кают-компании было сейчас только двое: тот, кого Бржевский презрительно называл «наш большевичок», — механик Луковский, и командир линкора — скромный и молчаливый человек, бывший старший лейтенант.

Перед обедом он был в штабе флота, где ему сказали, что уголь, шедший в адрес Кронштадта, был по распоряжению Москвы оставлен в Петрограде для Путиловского завода, получившего срочный заказ для нужд фронта (которого — он так и не разобрался). Флоту же предлагалось пока обходиться собствен-

ными ресурсами, что означало просто стоянку в гавани. Ему предложили прекратить пары, включить корабль в городскую электросеть и подумать, нельзя ли варить обед на стенке в походных кухнях на дровах. Командир пытался сказать, что в городской сети ток переменный и что тогда придется отказаться от вентиляции погребов с боезапасом и от артиллерийских учений, и попросил разрешения держать под парами хоть один котел для динамо-машины. Но начальник оперативной части замахал руками и сказал, что уголь нужен и для фортов, и для водокачки, и для завода, что все кронштадтское топливо подсчитано штабом до фунта угля и до ведра нефти и что тратить его будут только для неотложных операций миноносцев. Потом он спросил, не собирается ли командир к семье, и любезно предложил пойти вместе с ним на штабном катере прямо в Петроград, потому что на пароходе по случаю воскресенья будет, наверное, ужасная теснота. Впрочем, в четыре часа, если этот собачий ветер не разведет сильной волны, пойдет на другом катере начальник штаба, который, конечно, не откажет прихватить с собой командира линкора.

Командир хотел было с горечью сказать, что если б поднять на стенку все восемь штабных катеров и прекратить это роскошное катанье штаба, то линкору вполне хватило бы угля на один котел, но, по привычке своей к скромности, промолчал и пошел на корабль. Зато здесь, увидев у трапа катер номер два, он сейчас же приказал прекратить на нем пары, чем вызвал крайнее неудовольствие пяти-шести принаряженных по-городскому матросов, дожидавшихся у трапа помощника командира, который собирался на этом катере прямо в Ораниенбаум. Один из них, гладкий и бойкий парень с выпущенным из-под фуражки чубом, ловко припомаженным на лбу, догнал командира.

— Товарищ командир, куда ж с такими вещами? — сказал он, показывая на два чемодана. — На Усть-Рогатке долмат застопорит, ему пропуск подавай, а пока комиссара найдешь, пока что, так и пароход уйдет...

Командир посмотрел на чемоданы. Они были большие и, видимо, тяжелые. Но уголь, уголь?..

Чубатый, заметив его колебание, тотчас заскулил:

— Думал жене отрядный сахар свезти да робу постирать — уж, видно, оставить придется... До Петровской бы, товарищ командир, тогда хоть пропуска не надо!..

— До Петровской пристани можно — и сейчас же катер назад, — морщась, сказал командир, и чубатый пошел к трапу.

— На своем на корабле да катером стесняться, эх, командиры господа бога малохольные... — заворчал он по дороге, и командир это услышал и хотел было его вернуть, чтобы объяснить, что угля нет, что его надо беречь всеми мерами. Но, представив себе,

что таких, как чубатый, на корабле около тысячи и каждому объяснить невозможно, он прошел прямо к комиссару, чтобы попросить его собрать бюро коллектива для важного сообщения. Комиссара он застал за необычным занятием: тот укладывал в чемоданчик яйца, очевидно тоже собираясь к семье. И командир, глядя, как осторожно и бережно заворачивают его огромные толстые пальцы каждое яйцо в обрывок газеты, вдруг с облегчением почувствовал, что уголь обязательно будет. Ведь сумели же матросы в голодной стране найти сахар и эти яйца? Так же сумеют найти и уголь...

И уголь, точно, нашелся. На бюро коллектива из чьей-то горькой шутки, что линкору придется теперь ходить на дровах, сама собой возникла верная догадка: перевести на дрова не линкор, а береговые кочегарки, а их уголь отдать кораблям. Механик Луковский взялся поговорить об этом в штабе и добился того, чтобы в береговых кочегарках колосники переделали под дрова, и комиссар, отложив поездку домой, стал собираться вместе с ним к комиссару штаба.

Все это осталось неизвестным Шалавину, и, поспешив поскорее смыться от страшной двери, он вывел из кормовой рубки велосипед и сошел по трапу.

Штормовой ветер ударил его в бок сразу же, как он выехал из-за железного сарая у стенки. Юрий вильнул рулем и выругался: прогулка превращалась в труд. Ветер дул с севера, не меньше как на семь баллов,— флаги на кормовых флагштоках стояли, как картонные, и, трепеща, трещали непрерывным тревожным треском. Дым дежурного миноносца у ворот стлался почти по воде. Пыль летела горизонтально.

У ворот Усть-Рогатки «долмат» — портовый сторож, дремущий старец в черной шинели, похожей на рясу,— остановил Шалавина.

— Пропуск,— сказал он сурово.

Юрий, перекосившись на седле, уперся ногой в камень.

— Не узнал, дед? Два велосипеда на всю гавань, пора бы знать.

Старик равнодушно поправил на ремне берданку.

— Не ласает. Ласает нас не касемо. На вещи пропуск.

Юрий оглядел себя — какие вещи? — и улыбнулся: на руле висел портфель. Сказав «пустой же», он открыл его. Старик деловито заглянул внутрь.

— Пропуск надо. Там стружки каки-то. Казенные стружки?

Шалавин полушутя, полусердито объяснил, что стружек этих у железного сарая, где работают плотники, хоть завалиться, что хотя они и казенные, но бросовые и что взял он их, чтобы не побить в портфеле яйца, за которыми едет. Переругивались минут пять, пока у Шалавина не лопнуло терпение. Внезапно для стари-

ка он снял с камня ногу, ветер тотчас подхватил его в спину, и крики старика мгновенно заглушились шумящими деревьями Петровского парка. Кажется, старик засвистел вслед, — ну и черт с ним, не стрелять же станет, долмат!..

Усмехнувшись, Юрий привычно свернул на самую середину улицы, так как возле панелей то и дело сверкали битые оконные стекла — следы недавних разрывов бомб. Ветер дул здесь еще сильнее, машина, гонимая им, катилась сама, как мотоцикл, и ощущение быстрой езды сгладило раздраженность, вызванную унижительным разговором со сторожем, — выдумали эти пропуска, как для воров... Выпуклый узор чугунной мостовой, рокока, сглался под шины, широкая безлюдная улица мчалась навстречу. Могучие, как форты, стены артиллерийских мастерских мертво и безмолвно смотрели на Юрия пустыми глазницами выбитых стекол. Козы, щипавшие поросшую на мостовой траву, шарахались в сторону. Мелькнуло зеркало канала, равнодушно к ветру за гранитной защитой своих стен, крутой мостик заставил велосипед взмыть вверх — и тут Юрий едва поспел затормозить и объехать глубокую и широкую яму в мостовой. Новость! Очевидно — вчерашний налет...

Бомбы вошли в быт Кронштадта естественно и просто, как разновидность дождя или снега: второй месяц почти ежедневно они падали с неба на город. Их плотный и глухой взрыв предварялся пронзительными воплями горнов, игравших на кораблях воздушную тревогу, и потом — резким и беспорядочным стуком зениток. Небо покрывалось легкими розовыми пушками шрапнели, и где-то возле них мальчишки, выбегавшие из домов на призыв горнов, находили один или два аэроплана: сверкая, они плыли в высоте со странной медлительностью, заставлявшей замирать сердце. Задрав головы и расставив босые ноги, мальчишки встречали их звонким радостным гвалтом. Наконец тот из них, кто потом гордился целую неделю, кричал: «Бросил, бросил!» Блистающая, быстрая слеза скатывалась с желтых крыльев, снадая дугой на город, и сразу пропадала из виду. Потом доносился пронзительный короткий свист (будто воздух рассекли цирковым бичом), и откуда-то долетал приятный, бодрый и плотный звук взрыва. Ребята, вертя головами, искали черно-желтый клуб дыма, встающий за крышами домов, чтобы, найдя его, вперегонки мчаться к месту падения бомбы. Азарт этот не мог быть прекращен ничем, даже гибелью двух девочек и трех женщин, убитых в Летнем саду во время гулянья с музыкой в прошлое воскресенье. Впрочем, жертвы были редкостью: бомбы падали, как правило, в пустопорожнее место — в воду гавани, посреди улицы, в заводские пустыри.

Однако при каждом новом налете Шалавин испытывал все более неприятное ощущение. Это было чем-то вроде лотереи:

чем больше билетиков вынута, тем больше шансов вытащить из остатков тот, что с крестиком. И каждый промах по линкору не радовал, а тревожил. Казалось, что в следующий налет вся порция попаданий, отпущенная теорией вероятностей, обязательно ляжет на палубу, — когда-нибудь должны же попасть?.. Игра эта начала уже утомлять, и поэтому сегодняшней ветер, гарантирующий невозможность налета, казался кстати.

Но на повороте этот ветер со всей силой обрушился прямо в грудь. Пригнувшись к рулю, работая ногами до сердцебиения, Шалавин с трудом выгребал против него. Пыль летела ему навстречу, слепя и забивая рот. Чертовы яйца!..

Самым обидным оказалось то, что, когда Юрий, взмокший и задыхающийся, довез наконец себя до Петроградских ворот, яиц там не оказалось. Старухи, правда, сидели, но одна торговала лепешками из жмыхов, другая — яблоками, мелкими и твердыми, как репа, а рябая, повесив на локоть пустую корзинку, собиралась уже уходить.

Прокляв все — и старух, и Стронского, и ветер, — Юрий присел отдохнуть и тут же выругался вновь: портсигар был пуст. Он поднял голову, присматриваясь, у кого из проходящих на пристань можно было попросить папиросу.

На пристань шли главным образом матросы. Их небрежно накинута на плечо бушлат, тщательно заглаженные брюки с преувеличенным клешем, почти скрывающим на диво начищенные ботинки, непринужденность жестов, белые зубы и громкий разговор действовали на Юрия угнетающе. Он сидел на скамье в возможно независимой позе, вертя в пальцах бесполезный спичечный коробок, но против воли прислушивался к их шуткам, все время ожидая чего-то, что вот-вот должно произойти.

Что именно должно случиться — он сам не знал. Но такое ощущение настороженности никогда не покидало его при встрече с матросами. Это властное и сильное племя, решительное в поступках и счастливо уверенное в себе, делилось им отчетливо на две неравные части: свои и чужие. «Своими» была команда линкора, «чужими» — все остальные. Но и среди «своих» он так же отчетливо различал два подкласса. Те, кого он знал по фамилии, — матросы его роты, сигнальщики, рулевые, — были совсем не страшными, обыкновенными людьми, от которых он не ожидал никаких внезапностей и с которыми можно было разговаривать, шутить и даже на них сердиться. Прочие «свои» были менее ручными, но все же не вызывали в нем того страха, который органически связывался с «чужими». Страх этот кидал его в две крайности: или в заискивающую фамильярность, когда он попадал в их среду один, или в презрительно-насмешливую холодность, когда он бывал среди них в компании офицеров. Великое это чувство — локоть соседа! Вот и сейчас — если б он сидел

здесь рядом с Бржевским или с тем же Стронским, разве он ежился бы так, ожидая грубой шутки по своему адресу, оскорбления, наконец, просто насилия? Вероятно, они острили бы наперебой, рассматривая принаряженных матросов, собравшихся к своим питерским дамам, вроде вот этого, с чубом, выпущенным из-под бескозырки...

Шалавин вздрогнул. Чубатый, точно угадав его мысли, вдруг всмотрелся в него и, сказав что-то, на что громко засмеялись шедшие с ним матросы, отделился от них и пошел прямо на него. Юрий внутренне весь сжался, сердце его заколотилось, а губы непроизвольно улыбнулись навстречу улыбке чубатого матроса. Тот подходил вразвалку, размахивая двумя чемоданами и оглядываясь порой на поджидавших его матросов... Вот оно, вот оно, сейчас... Шалавину захотелось прикрыть глаза и сползти под скамейку.

— Огоньку одолжите, товарищ штурман,— сказал, подойдя, матрос, и Юрий с облегчением узнал в нем «своего», но никак не мог вспомнить ни его специальности, ни фамилии. Кажется, раз стоял с ним ночную вахту...

— Пожалуйста, товарищ,— протянул он коробок с излишней торопливостью, которую тут же брезгливо отметил внутри себя, и, не узнавая своего голоса, продолжал с ненужно-циничной бранью: — Дайте и мне папироску, забыл, чтоб им...

Чубатый поставил чемодан на траву, раскрыл коробку «Зефира № 400», закурил сам и, ловко укрывая от ветра огонь ладонями, поднес Юрию спичку. На коротких пальцах матроса сверкали два золотых перстня, на безымянном — с большим рубином, на мизинце — длинная маркиза, едва налезшая на второй сустав.

— В Питер? — спросил Юрий, опять против воли закончив вопрос циничным предположением.

— Погулять охота,— сказал чубатый матрос весело.— А как вы на корабль доберетесь, ишь дует как? Мы с братками и то смеялись: кто кого везет — вы машину или она вас?

Он поблагодарил за огонь и быстро пошел вдогонку за матросами. Юрий смотрел ему вслед с неопределенным чувством гадливости, не понимая, откуда оно: от собственной ли его унижительной торопливости со спичками и подлаживающейся брани или от матроса с его чубом, уверенностью и кольцами. Вдруг он понял и с омерзением швырнул недокуренную папиросу.

Кольца!.. Конечно, гадливость была вызвана ими. Кольца! Бржевский говорил, что на одном из фортов на днях расстреливали заложников-офицеров и что для этого собирали с кораблей охотников матросов, будто бы и с линкора кто-то пошел. Неужели чубатый был там?.. Расстреливал?.. Потом снял кольца и носит, сволочь!

Юрий яростно кинул спичечный коробок в портфель, вско-

чил на велосипед и завертел ногами, борясь с ветром, чтобы как можно скорее оставить место этой страшной встречи, — и чубатый преследовал его еще квартала три, жестоко улыбаясь и играя кольцами, теми и кольцами... И он еще на прощанье пожал ему эту руку!..

То, что одно из колец было явно дамское, а второе отдавало такой купеческой безвкусицей, что и Бржевский не смог бы подтвердить им свое мрачное сообщение, никак не могло рассеять кошмарной грезы, гнавшей Юрия от пристани. «Матросы, расстреливая, снимают перстни» — такова была легенда, хотя колец никто из бывших офицеров давно не носил по той простой причине, что за два с лишним года революции все, кто имел перстни, или смылись с ними за границу, или просто перегнали их на муку и масло. Но легенда жила, ужасала и гнала Юрия от пристани в другой конец города. Когда ветер и физическое усилие успокоили его, он сообразил, что заехал к Северным казармам. Отсюда в гавань можно было попасть или через город, или вдоль крепостной стены. Второй путь показался ему выгоднее: под стеной не так будет дуть ветер, а там — на фордевинд, по ветру...

Он повернул на Северный бульвар.

Необыкновенное движение на нем поразило его. Из казармы выскакивали солдаты — кто без винтовки, кто, наоборот, вооруженный до зубов. Слева из переулка вышел быстрым шагом матросский отряд и, повернув вдоль бульвара, пустился дробным и беспорядочным бегом. Кто-то кричал. Выла где-то сирена.

Юрий недоверчиво поднял голову: неужели налет? В такой ветер? Но небо бежало в быстрых белых облаках, и ни одного розового шрапнельного пушка на нем не было. Вдруг огромная черная лошадиная голова дыхла ему в щеку, звон и грохот пожарного обоза откинули его к панели. Пожар?..

— Где горит? — спросил он, подбавляя ходу и нагоняя солдата, бежавшего вдоль панели.

— Таможня! — крикнул тот на бегу. — Подвези, эй! На ось стану!

Но Шалавин, не слушая, нажал на педали, заражаясь общим стремлением людей. У конца бульвара в шум бегущих толп, в грохот солдатских сапог по камням и в свист ветра врезался новый странный шум. Это был вой и треск огромного костра. Юрий, задыхаясь, свернул за угол и соскочил с велосипеда.

Грязно-желтый воющий смерч стоял над Купеческой гаванью. Он вздымался выше корабельных мачт, огромный, колеблющийся, пригибаемый к воде порывами ветра. Искры играли в нем, вздымаясь и падая. Длинные языки пламени скрещивались в дыму, как шпаги. Неравномерный жар — от теплого до обжигающего лицо — обдавал Юрия даже здесь. По стенке гавани метались люди, крича, ругаясь, хватаясь за бревна, за тросы, за руки

соседей, помогая и мешая друг другу, не слыша своего голоса в резе и треске пламени.

Здесь было чему гореть.

Десятками лет накопленное богатство Кронштадта — доски, рангоутные деревья, бревна, дрова, строительный лес, горбыли, фанера, длинные сосны, дранка, чудовищной толщины дубы — все хозяйство лесопильного завода, порта и города лежало здесь, на искусственном островке в Купеческой гавани, соединенном с городом узким мостом. Лес лежал тут в огромном количестве, аккуратно сложенный в гигантские штабеля, похожие на дома без окон и дверей. Это была Лесная биржа Кронштадта.

Высушенные многолетней сменой солнца и мороза, звонкие на удар, сухие, как порох, и, как порох, жадные на огонь — доски и бревна эти горели все сразу. Нельзя было понять, откуда начался пожар. Не горели только каменная кладка островка и окружающая его вода. Все остальное пылало свободно и могуче, воя, взвихриваясь, раскачиваясь дымным смерчем, выбрасывая гибкие пламенные руки, чтобы ухватить ими дома на берегу, мачты лайб, самую воду, которая вскипала от головней, летавших по воздуху, как длиннотелые огненные птицы. Крыша таможни уже занялась от их жгучих клевков, тонкие струи воды били в нее снизу, и черные фигуры пожарных мелькали на корнизе. Двухмачтовая лужская лайба, которую на шестах проводили вдоль стенки, вдруг заволоклась качнувшимся к ней смерчем, и, когда он опять взвился к небу, Юрий увидел, что лайба уже пыласт и люди прыгают с нее в воду. Портовый пожарный катер тремя струями шлангов поливал стоявшую дальше баржу, покорно ожидавшую огненных объятий. На стенке матросы оттаскивали какие-то ящики — тушить было бесполезно, оставалось только спасать то, что еще не пылало.

С высокой насыпи уличной набережной, где остановился Шалавин, можно было охватить взглядом всю эту страшную картину. И вдруг он заметил, что железная баржа, которую поливал буксир, была полна снарядами. Тупорылые, блестящие, они лежали в неглубоком ее трюме, а на палубе, на баке, стояли деревянные ящики, — вероятно, с сорокасесемимиллиметровыми зенитными снарядами. У Юрия захватило дух. Он мгновенно представил себе, что будет, когда снаряды накалятся или огонь охватит ящики и когда все это ахнет у самой стенки, засыпая огромную толпу осколками. Бросив на насыпи велосипед, он спрыгнул с откоса и побежал к воде. Но там уже стояла цепь матросов, останавливая сбегавшихся.

— Давай, давай назад! — кричал усатый матрос с ленточкой «Гавриил» на бескозырке, отпихивая лезших на цепь людей, и больно толкнул Юрия в грудь. — Ну куда, куда? И так толкучка!..

Другой, тоже с «Гавриила», высокий и плотный, видимо взявшийся командовать, кричал охрипшим голосом, поворачивая подбегавших за плечи:

— На крыши! Головни скидывай! Вались, вались на крышу!

— Куда, к черту, крыши, снаряды рванет, не видишь? — в азарте повернулся к нему Шалавин, отталкивая усатого. — Отвести баржу надо, а не поливать!..

Высокий обернулся к воде и, вдруг сказав: «Дело!», ухватил за рукав трех матросов из цепи.

— Пошли на буксир, живо! Антипов, гони тут всех, к чертовой матери, на крыши, чего глазуют? — крикнул он на бегу усатому, и тот с новой яростью уперся в грудь Шалавина.

— Да меня-то пустите, ведь я же приказал о барже! — взмолился Юрий в отчаянии, но усатый, не слушая, заладил свое:

— Катись, катись на крышу! Комиссар сказал, всем на крыши!..

Люди отхлынули, и Юрий, сталкиваясь с другими, побежал обратно к насыпи. Лезть на крышу ему не было никакой охоты, да и обида на матросов, забывших о нем, кто первый увидел опасность, как-то сразу выключила его из игры. Не хотят, ну и черт с ними! Пусть сами справляются... Он забрался на насыпь, с завистью смотря, как те четверо прыгнули на буксир, как высокий матрос с «Гавриила» о чем-то перебранивался со шкипером, потом тем же привычным жестом взял его за плечи и проворно повернул к переговорной трубе в машину. Правильно... Конечно, шкипер трусил, и Юрий сделал бы точно так же или сам крикнул бы в машину: «Малый вперед!..» Буксир дал ход и, поливая из шлангов, осторожно и боязливо подошел вплотную к барже. Матрос с «Гавриила» и с ним еще двое выскочили на нее, быстро завернули трос за кнехты. Но тут высокий смерч огня, поваленный ветром, качнувшись, лег на снаряды и на матросов. Люди на корме буксира кинули шланги и побежали на бак, и вода из шлангов бесполезно забила в воду. Толпа на берегу ахнула и отшатнулась. Юрий весь сжался в ожидании взрыва, но ветер взметнул огненно-дымный столб вверх, и на барже вновь стали видны фигуры матросов. Теперь они выкидывали за борт ящики со снарядами, занявшиеся огнем, одновременно сбрасывая в воду ногами пылающие головни, принесенные на палубу смерчем. Люди на буксире, опомнившись, побежали на корму, и три струи шлангов вновь забили на палубу баржи, на снаряды, на головни и матросов — и так, дымя черным дымом, страшная баржа медленно стала отходить в дальний конец гавани.

Толпа снова заговорила, и Шалавин с новой злобой подумал, что, если б не этот усатый дурак, говор шел бы теперь о нем, о Шалавине, ринувшемся в огонь к снарядам. Но, прислушавшись, он понял, что говорят о другом. То, что он смог уловить

в тревожном и нервном говоре вокруг, вполне совпадало с его собственным мнением: это был, конечно, поджог! И надо же было выбрать именно такой ветер!

— Поймать бы субчика да за ноги и в огонь,— сказал кто-то рядом с ним. Юрий обернулся. Золотушный солдат в шинели внакидку и в зимней продранной шапке смотрел на пожар, сплевывая через нижнюю губу. Лицо его неприятно поразило Юрия: малоподвижное, одутловатое, с вывороченными толстыми губами, на которых прилипла подсолнечная шелуха, оно было невыразительно и жестоко. Маленькие, кабаньи глазки, глядевшие из щелок под белесыми бровями, были особенно неуютны. Он опять сплюнул перед собой шелуху, и она попала Юрию на рукав кителя.

— Что вы плюетесь, товарищ, осторожнее,— сердито сказал он, брезгливо смахивая ногтем шелуху. Солдат глянул на него и ничего не ответил. Кислый запах шинели шел от него, и Юрий двинулся было в сторону, но дикая сила играющего перед ним огня остановила его, приковывая внимание. Не шевелясь, забыв о солдате, Шалавин очарованно глядел в грандиозный костер. Черные клубы дыма вздымались, как пена вскипающего молока, срывались ветром, опадали — и тогда вихрь пламени, видного и при солнечном свете, вырывался вверх, и становились заметнее очертания черных штабелей леса. Их было еще очень много.

Зрелище всякого разрушения всегда приводило Юрия в какой-то жестокий восторг... Ломались ли с треском стойки поручней и трапы при неудачной швартовке даже своего корабля, взрывалась ли рядом мина, пусть грозившая осколками, разбивались ли волной шлюпки о камни — всем этим он наслаждался как проявлением огромной слепой силы, которая рушит, ломает, крошит и не может быть остановлена. Страшась ее и восхищаясь ею, Юрий внутренне молил: «Ну еще, ну, пожалуйста, еще...» — и невольно крикал, когда привычно неподвижные и крепкие вещи сдвигались с мест и ломались. Так и сейчас, смотря на горевшую биржу, он ни секунды не думал о том, что здесь гибнут огромные запасы дерева, могущего быть полезным в форме домов, шлюпок, саней, весел, мачт, столов, что здесь сгорали дрова, которых хватило бы для согревания всего города на добрые две зимы, что это зрелище, так его захватившее, — результат чьей-то злой воли, направленное в конце концов против него самого, и что этот спектакль дорого обойдется и флоту и крепости. Все это заслонялось жестоким восторгом разрушения.

На огненном острове погибали сейчас не только строительный материал и дрова для квартир. Там гибли тепловые калории — миллиарды калорий, без которых одинаково остро будут страдать зимой и человеческие тела, лишенные жиров, и стиснутый блокадой, ослабленный организм осажденной крепости, в складах

которой уголь уже не пополнялся, а в цистернах нефть опускалась все ближе ко дну. Колоссальные запасы тепловой энергии, консервированные природой в звонкой клетчатке сухого дерева, уходили сейчас в нагретое солнцем летнее небо, как уходит в землю из широкой раны кровь: бесповоротно и неудержимо. Так и не превратившись в разнообразные формы энергии, необходимой Кронштадту и флоту для жизни и отчаянной борьбы за эту жизнь, калории гибли бесцельно. Электростанция, пароходный завод, водокачка, минная лаборатория, бетонные форты, хлебопекарни, артиллерийские мастерские, литейные и прачечные Кронштадта оставались без топлива.

И, может быть, чувствуя это прежде людей, они потому так и кричали всеми своими гудками и сиренами, сзывая со всего Кронштадта людей, умоляя спасти это погибающее, нужное им тепло. Их кочегарки — первые звенья в сложной цепи превращений тепла в вещи, в поступки, в чувства, в победу — чуяли уже то близкое время, когда, отдав драгоценный уголь и нефть боевым кораблям, сами они будут сжигать в своих голодных недрах кронштадтские заборы, ломаные баржи, мусор и мокрый ельник, подобно тому как на дрейфующем корабле кидают в топку обшивку кают, столы и шахматные доски. Они чуяли это — и густой рев гудков стоял над крепостью отчаянным, тревожным призывом.

И матросы бежали к пожару. Они вручную отводили от гигантского костра лайбы и баржи, взбирались на крыши, скидывая летающие головни, тушили занявшуюся таможню. Но никому не приходило в голову, что сейчас для многих из них здесь начинался уже страдный путь по степям Донбасса, по волжским плесам, по сибирским лесам. В этот жаркий от солнца и пламени день призрак зимы, когда каждая щепка, способная к горению, будет расцениваться так же, как равнообъемный кусок хлеба, не мог еще показать стылое свое и мертвое лицо, — и матросы, спасая то, что можно было спасти, не знали еще, что многие из них скоро отдадут свою жизнь где-нибудь далеко, в Донбассе или в Сибири, в долгих и отчаянных боях за уголь для кронштадтских кораблей, которые будут вынуждены делиться его скудными запасами с береговыми кочегарками, чье топливо сгорало сейчас на островке Лесной биржи.

Высокий штабель бревен, обнажившийся на момент в капризном метании дыма, вдруг рухнул — частью в воду, частью на стенку. Шипящий столб искр взлетел фейерверком, и на тяжелый удар обвала берег разом отозвался гулом человеческих голосов. Солдат рядом смачно обматерился.

— Ах, здорово, черт его дери! — восхищенно крикнул Юрий и тотчас пожалел об этом. Золотушный солдат повернул к нему голову и осмотрел его с головы до ног.

— Народное достояние, а вы радуетесь. Нашли смешки.

— Да я и не радуюсь, откуда вы взяли? — поспешно ответил Шалавин, ощущая привычную неуютность. — Стою и смотрю.

— Вижу, что стоите и смотрите. Тителек беленький боитесь запачкать?

Солдат вдруг обозлил Шалавина.

— Вы-то много помогаете, — сказал он насмешливо. — Не семечками ли? Понатужьтесь, может, весь пожар заплуете.

Кругом засмеялись. Молодой матрос хлопнул солдата по плечу:

— Эй, скопской, поднатужься, качай, коломенская!

Солдат откинул его руку и обернулся к Шалавину.

— Чего делаю, то мое дело! — закричал он вдруг, и маленькие глазки его сразу стали злыми. — Тебе какое дело? Протопоп нашелся проповеди читать! Я, может, стою и плачу, а тебе смешки-смехунчики!

— Не его горит, вот и смешки, — сказал еще чей-то голос.

— Ему каюту не дровами топить, чего жалеть? — нараспев поддержала женщина справа.

Юрий вспыхнул.

— Понадобится, я в этой каюте тонуть буду, — сказал он, чувствуя, что говорит совсем ненужное, — вас же защищаю...

— Подумаешь, защитник нашелся, — подхватила другая женщина привычной к перебранкам скороговоркой. — Ручки в брючки, на лисапете приехал, что в театр, матросы за снарядами в огонь полезли, а он тут баб защищает...

Это было до того обидно, что все в Юрии закипело и слезы бессильной злобы выступили на глазах, но он смолчал: отругиваться было бесполезно. Он повернулся и молча стал протискиваться.

— Не пондравилось, видно, — хихикнула вслед бойкая.

Солдат сплюнул перед собой.

— Дворянские сынки, офицера — только погончиков не хватает... Возьмется с ими флотские, и чего возьмется? У нас таких еще в Февральскую передавили... В белом тителе, то-оже... Раскомандовался... Да я ему покажу христа-бога и семнадцатый годочек! — опять закричал он и стал, ругаясь, протискиваться вслед за Шалавиным.

Шалавин торопливо пробирался к оставленному велосипеду. Не хватало еще, чтобы его сперли. Тоже, подумаешь, полез помогать и бросил машину! Вот и помог, нарвался на оскорбления... «Ручки в брючки!» — вот же вредная дура! И этот демагог, кабаньи глазки... Хорошо еще, что так кончилось, могли и избить за милую душу... И черта его понесло в эту толпу, надо скорее на корабль, к «своим»... Толпа! Страшная вещь — такое сборище, да еще на пожаре...

Велосипед лежал там, где он его оставил. Правда, двое мальчишек, предпочтя далекому зрелищу близкое, сидели уже около него на корточках: один звонил в звонок, другой крутил колесо, наслаждаясь быстрым мельканием спиц. Юрий сердито их отогнал и рывком поднял велосипед. Портфель, висевший на руле, сорвался и упал, раскрывшись. Шалавин неловко подобрал его, придерживая велосипед. Стружки и спички посыпались на землю. Торопясь, он сунул спички в карман и, разгибаясь, вдруг увидел в десяти шагах от себя знакомые кабаньи глазки. Они глядели на него с такой торжествующей злобой, солдат так поспешно бежал к нему, что Юрий, охваченный непонятным ужасом, весь похолодел и, вскочив на велосипед, безотчетно ринулся вперед. Ветер опять помог ему, но сразу же он услышал позади отчаянный и долгий крик:

— Держи-и!

Продолжать бегство было непоправимо глупо. Люди, стоявшие по улице вдоль откоса к гавани, уже начали оборачиваться на этот крик. Его, несомненно, задержат. Но кабаньи глазки, горевшие непонятным торжеством, были страшнее всего. Все, что угодно, только не встреча с ними. Он пригнулся к рулю и бешено завертел педалями, едва поспевая задевать зубчаткой разогнавшуюся ось.

— Держи-и! — кричал сзади высоким и страшным голосом солдат.

Хлопнул выстрел — один, другой. Юрий увидел перед собой стену людей и врезался в нее. Чей-то руки стянули его с седла. Он сильно ударился коленкой, но в следующий момент его подняли, и он почувствовал, что ему скручивают за спину руки. Десятки людей окружили его, чей-то наган остро уперся в спину.

— Товарищи, товарищи, постойте! — кричал он, стараясь перекрыть общий гул.

Его нагнули. Кровь прилила в голову.

— Обожди, не бей, — сказал над ним чей-то хриловатый голос. — Пусть подбегут, того ли словили.

Мгновенная надежда мелькнула перед ним. Сейчас все выяснится, ему дадут рассказать, все станет ясно... Это было похоже на сон.

Ему позволили выпрямиться, и тотчас между головами он увидел подбегавших людей и впереди них — золотушного солдата. Тот потерял на бегу шапку, стриженная его голова блестела на солнце, в высоко поднятой руке были зажаты в горсти стружки.

Юрий почувствовал, как у него подгибаются колени и как кровь отхлынула от сердца. Мгновенная тошнота заполнила рот сладкой слюной. Его чуть не вырвало.

Стружки! Боже мой! Стружки — сейчас, здесь... Кто поверит?..

— Кажи портфель! — прохрипел, задыхаясь от бега, солдат, и Юрий ужаснулся, что тот сказал именно портфёл, а не портфель. В этом было самое страшное, бесповоротное и окончательное.

Кто-то поднял над головами портфель. В черной, растянутой руками пасти его желтели остатки стружек.

— Вот, товарищи, стружки в портфеле и спички! — отчаянно кричал солдат, кашляя и стараясь отдышаться. — Спички он в карман сунул, как меня увидал... Чего это значит, товарищи? Коли не сам поджигал, так запасной?

Юрий метался взглядом по толпе. Крики улеглись, и теперь молчаливые враждебные люди смотрели на него. И ни одного — с «Петропавловска»...

— Что ж, отвечайте, гражданин, раз спрашивают, — сказал сбоку тот же хриловатый голос, что советовал обождать, того ли словили. — Стружки и в самом деле не к месту, зачем у вас в портфеле стружки?

Юрий снова почему-то отметил ударение, на этот раз неверное. И, как будто это имело решающее значение, он почувствовал невыразимое облегчение.

— Яй-яйца, — сказал он, слыша с отвращением, что заикается.

Тот, кто держал его руку сзади, выкрикнул грубую и полную грозного смысла шутку.

— Обожди, не трепись, — сказал спрашивающий. — Вы с какого корабля?

Теперь Юрия несколько отпустили, и он смог повернуться к нему. Это был матрос с «Гавриила», тот, который побежал на буксир. Красивое его лицо было теперь измазано и черно, ладный бушлат прогорел на животе, левая рука была обмотана тряпкой, весь он был мокрым, и от него пахло дымом. Он посмотрел на Шалавина внимательно, будто припоминая, и закончил:

— С эсминцев вы, что ли?

— С «Петропавловска», младший штурман, — опять заикаясь, сказал Шалавин.

Матрос обернулся к толпе:

— Кто здесь с «Петропавловска», товарищи? Есть кто?

Из толпы отозвались два голоса, как на перекличке:

— Есть с «Петропавловска».

— Ходи сюда.

Матрос с «Гавриила» распоряжался деловито и властно. Двое протиснулись к нему, и Юрий с тоской увидел, что оба они незнакомые. Один со штатом кочегара на рукаве, другой в грязном рабочем без всяких признаков специальности.

— Ваш?

Оба матроса осмотрели Шалавина, как осматривают опознаваемую утерянную вещь.

— Кто его знает? — сказал кочегар. — Может, и наш, — всех не упомнишь.

— Чего за трибунал? Веди прямо к воде! — закричал солдат, торопливо протискиваясь к Шалавину. — Ты чего, матрос, раскомандовался? Гляди — стружки! Чего чикаться, в самом деле!..

— Обожди, — опять властно отвел его руку матрос и снова повторил: — Ваш?

Тот, кто был в грязном рабочем, вгляделся. Это был один из тысячи матросов линкора, который мог видеть Юрия на корабле только случайно — на вахте или на мостике. Видел или не видел? От этого сейчас зависела жизнь Юрия, и решал вопрос один из тех, кого в кают-компаниях безлично и презрительно обобщали коротким словом «команда». И что для них Юрий Шалавин? Один из тех, кого матросы, в свою очередь, обобщали безличным и презрительным словом «офицера». Видел или не видел?

Матрос молчал, и Юрий с завистью подумал, что Луковского тот не рассматривал бы с таким равнодушием, а признал бы сразу, и тут же с горечью обвинил себя, что неделю назад не послушался Луковского и отказался заниматься с матросами на выдуманных тем общеобразовательных курсах. Может быть, этот, в грязной робе, был бы его учеником, и все сейчас обошлось бы хорошо... Но вдруг он с ужасом понял, что все уже кончено, что никаких курсов для него больше не будет, что жизнь, так глупо и неверно начатая, сейчас оборвется... Сейчас опять пригнут к земле или потащат к стенке, и этот солдат с кабаньими глазками возьмет его портсигар... Впрочем, нет, берут не портсигары, а кольца... И не солдаты... Бржевский говорил: матросы снимают кольца... Кто же снимет — вот этот?

Он открыл глаза и взглянул опять на матроса, и мысль о том, что матрос этот не найдет на нем никаких колец, показалась ему такой забавной, что он усмехнулся.

— Наш, — вдруг сказал матрос облегченно, как человек, решивший трудную головоломку. — Наш. На велосипеде все гоняет. — И, подумав, добавил: — Веселый.

— Фамилия как? — спросил матрос с «Гавриила», и Шалавин не сразу понял, что тот обращается к нему. Он назвался.

— Где-то я вас видел, не припомню? — спросил матрос, всматриваясь. — На эсминцах раньше плавали?

— На барже, — почти беззвучно сказал Юрий, не веря надежде. Неужто выручит? Этот?.. «Чужой»?..

— Я на баржах не плавал, — усмехнулся матрос, и Юрий заторопился:

— Нынче... Я вам о барже со снарядами крикнул, а вы побежали... Там усатый еще был, он не пустил за вами...

— Еще о чем спроси, каланча, с кем на крестинах пили! — опять закричал солдат и повернулся к толпе. — Товарищи, что за шашни? Они тут снюхаются, а мы гляди? Заступа какая нашлась! Тебя бы с ним вместе к стенке!.. Товарищи, становись за революционный закон, эх, нагана нет, не рассусоливал бы!..

— Зато у меня есть, — сказал высокий матрос жестко и вдруг закричал так, что загудевшая было вместе с солдатом толпа притихла: — Заткнись, орово господа бога и трех святителей, таких не одного сшибал! Закон!.. Да что ты о законе слыхал, ты...

И матрос закончил таким словцом, которое было как точный и злой портрет солдата. Тот смешался, а кругом засмеялись. Матрос опять повернулся к Юрию.

— Так какие же яйца, не пойму? — спросил он опять спокойно и негромко, словно это и не он сейчас кричал и бранился.

Шалавин, путаясь и все еще заикаясь, рассказал. Кое-кто улыбнулся, остальные рассматривали его недоверчиво и неприязненно. Солдат втихомолку сбивал вокруг себя кучу сторонников. И уже не он, а кто-то другой насмешливо крикнул:

— Сказочки! Там офицера́ подтвердят, одна шатия!

Матрос с «Гавриила», не слушая, повернулся к кочегару с «Петропавловска».

— Беги, браток, к пожару, найди в охранной цепи кого с «Гавриила», двоих с винтовками. Скажи, комиссар зовет... Товарищи, отпустите ему руки.

Комиссар?.. Так вот какие бывают комиссары! Вот же орел-мужчина — и патруль вызвал, чтобы проводить его до корабля. Шалавин приободрился и, растирая красные пятна на кистях рук, улыбнулся, будто ничего не случилось.

— Спасибо, товарищ комиссар, что выручили. Я и не знал, кто вы, — сказал он развязно.

— А это не обязательно. Не царствующий дом, — ответил тот и оглянулся. — Расходитесь, товарищи, в Чека выяснят. Вы арестованы, военмор Шалавин.

— Есть, — сказал Юрий упавшим голосом.

Чека! У него опять засосало внутри — на этот раз медлительно и тускло, но сейчас же он опять улыбнулся: это же отвод глаз! Надо же как-нибудь комиссару спасти его от самосуда толпы...

Но комиссар уже действовал дальше.

— Обожди, товарищ, — остановил он солдата, собравшегося уходить и смотревшего на него злыми глазами. — Пройди-ка вместе, там расскажешь, что видел.

Солдат с удовольствием взял протянутый ему из толпы портфель, вложил в него стружки, которые он так и держал в ру-

ке, и злорадно посмотрел на Юрия. Тот повернулся к комиссару.

— Товарищ комиссар, — сказал он умоляюще, — все же ясно. Ну, справьтесь на корабле... Зачем же в Чека, неужели вы мне не верите? О барже поверили, а тут...

Комиссар посмотрел на него внимательно.

— Всему нынче верить не приходится, — сказал он медленно и потом улыбнулся, белые зубы сверкнули на замазанном сажей его лице успокоительно и мирно. — И чего вы так Чека боитесь? Не съедят вас там, а разобраться надо. Да, машина ваша... — Он поймал за рукав петропавловского матроса в грязной робе. — Отведи, товарищ, машину на корабль, сдай комиссару. Скажи, комиссар «Гавриила» прислал, Белссельский. И о штурмане расскажи, чего он тут со стружками нацудил, пусть в Чека позвонит и сам разберется, понятно? Не сломай доро́гой...

Первое, что увидел Шалавин, когда после двухчасового томления в темном коридоре их ввели в комнату дежурного следователя, был накрытый газетой стол. На нем стояли банки с мясными консервами (о которых на линкоре давно забыли и которые хранились в неприкосновенном запасе), бутылки с янтарным подсолнечным маслом, цибик чаю, синие пакеты сахара — старого, царского сахара. Желтым чудом сиял у чернильницы большой кусок сливочного масла. Пожалуй, Бржесвский был прав: в Чека не голодают...

За столом сбоку стоял матрос, видимо, следователь. При входе их он обернулся, и Юрий узнал в нем чубатого матроса с Петроградской пристани. Перстни на его пальцах сверкнули Юрию в глаза страшным предостерегающим блеском: цепь замкнулась, и кошмар воплощался в жизнь... Слабая надежда, которая блеснула ему в белозубой улыбке гаврииловского комиссара и помогла спокойно ждать в коридоре, теперь исчезла. Комната поплыла перед его глазами, он прислонился к косяку.

Вероятно, он пошатнулся, потому что конвойный с «Гавриила» поддержал его за локоть, и Юрию стало стыдно. Что ж, если умирать, так умирать красиво! Он будет острить, издеваться, смеяться в лицо этому чубатому палачу, обжираломусю здесь и снимающему с трупов кольца!.. Он покажет ему, как умирают офицеры, и жаль, что Бржевскому никто об этом не расскажет...

Чубатый не начинал допроса. Он стоял молча, и только кольца на его пальцах злое еще сверкали. Открылась дверь в глубине комнаты, вошел пожилой матрос и, мельком взглянув на Шалавина, протянул чубатому какую-то бумагу. Неужели уже приговор?.. Чубатый, даже не глядя на Юрия, подписал, и тогда пожилой матрос сказал хмуро и категорично:

— Сымай перстни.

Чубатый, всхлипнув, стал стаскивать кольца, бормоча жалкие

и умоляющие слова, и Юрий внезапно все понял. Легенда Бржевского о матросах, снимавших кольца с расстрелянных офицеров, глупо, но убедительно обернулась спекулянт-артельщиком третьей роты, имевшим доступ в провизионку. Кошмар таял на глазах, и жгучая, острая ненависть к Бржевскому вдруг вспыхнула в Юрии, как будто Бржевский был той причиной, которая вызвала весь сегодняшний ужас. Он сам еще не понимал, что в нем произошло, но чувствовал огромное облегчение, словно с плеча его сняли чью-то тяжелую и липкую руку, которая настойчиво и властно вела его против воли. Веселое спокойствие овладело им, и, когда чубатого увели, он подошел к столу смело и охотно. Пожилой матрос спросил солдата и повернулся к Юрию. Тот рассказал следователю о стружках и яйцах, о барже со снарядами и Белосельском, о перебранке с солдатом и о семечках. Следователь позвонил на корабль комиссару, долго хмыкал в трубку в ответ на то, что там говорилось, и Юрию стало ясно, что все идет как нельзя лучше. Следователь повесил трубку и спросил, придвигая к себе бумагу, может ли кто-нибудь подтвердить, что Юрий действительно сошел с корабля только после обеда и что он поехал за яйцами.

— Механик Луковский может, — сказал Юрий.

— Тоже офицер? — спросил пожилой матрос, и Юрий обиделся.

— Он, по-моему, большевик, — сказал он с гордостью.

Следователь потянулся опять к трубке, но Шалавин вдруг торопливо сказал:

— Вызовите сюда еще командира второй роты Стронского и старшего механика Бржевского, они тоже свидетели.

— Не надо, — сказал следователь. — Дело ясное.

— Я вас очень прошу, — умоляюще сказал Юрий. — Пожалуйста... Все-таки трое, а не один...

— Ну, хорошо, — сказал следователь, пожав плечами, и завертел ручку звонка.

Шалавин представил себе, как замечется сейчас на корабле Стронский, как медленно побледнеет красивое лицо Бржевского, когда ему скажут, что его вызывают в Чека, — и мысль об этом доставила ему такую блаженную радость, что он повернулся к солдату, все еще державшему в руках портфель, и сказал с широкой улыбкой:

— Закурим, что ли? Папиросы есть?

Солдат удивленно посмотрел на него маленькими своими глазками. Но лицо Шалавина сияло такой заразной веселостью, что он сам невольно усмехнулся и полез в карман.

— Давай закурим, — сказал он и качнул головой. — Чудной. В Чека сидит — и зубы скалит...

ПЕРВЫЙ СЛУШАТЕЛЬ

Утро пролетело в хлопотах. Начальник академии уехал в Москву, и Борис Игнатьевичу пришлось сидеть в его кабинете, подписывать бумаги, звонить по телефонам, ходить с каждой мелочью к комиссару, так что только к полудню он вспомнил, что остался нерешенным важный вопрос. Он отыскал в папке учебный план подготовительных курсов и встал из-за стола, но в кабинет вошла секретарша Кондрата Петровича.

— Борис Игнатьевич, прибыл новый слушатель, примете? — спросила она и, сочувственно улыбнувшись, добавила вполголоса: — Первая ласточка... из этих... на подготовительный...

— Подождет, я скоро вернусь, — сказал он раздраженно и вышел в приемную. Высокий, плотный командир с орденом Красного Знамени на кителе поднялся ему навстречу. Борис Игнатьевич молча прошел мимо него и услышал за спиной нежный голосок баронессы Буксгевден:

— Придется подождать, товарищ. Профессор скоро вернется.

Борис Игнатьевич поторопился закрыть за собой дверь.

Собственно говоря, это вышло по-хамски: он мог бы и сам сказать это и извиниться, и, всерьезно, в другое время он так бы и сделал, несмотря на всю свою неприязнь к «первой ласточке». Но сейчас он был слишком раздражен свалившимися на голову делами Кондрата Петровича и, главное, тем, что именно ему придется разговаривать не только с этой «ласточкой», но и с остальными, которые вот-вот начнут прибывать один за другим. Он пошел по коридору, недовольно фыркая под нос.

Академия была пустынна. Сквозь стеклянные двери только в трех аудиториях были видны слушатели (разгром! разгром!), да в вестибюле он встретил двух преподавателей, примащивающих на спине «обезьянки» с картошкой (опять вечером изображать амбала!). Он прошел в вестибюль и позвонил у дверей, обитых пухлой клеенкой. Звонок прожурчал мягко и вкрадчиво.

Горничная открыла дверь, улыбнулась и, сказав: «Пожалуйста, Борис Игнатьевич, сейчас доложу», скрылась за портьерой.

Он прошел в полутемную гостиную и привычно сел в кресло у столика с иностранными журналами. Журналы были давнишние — 1917 года, но спокойная тишина, приветливая горничная, портреты адмиралов-флотоводцев, Николая I — основателя академии — и гравюры парусных кораблей на стенах, весь налаженный годами и неизменившийся порядок этой теплой и просторной квартиры отвлекал от того, что творилось за ее дверями. И даже то раздражение, с которым он пришел, постепенно проходило. Самый запах — запах книг, табаку и (чуть-чуть) духов — всегда успокоительно действовал на его нервы, а теперь в особенности. Показалось, что и у него дома так же тихо и тепло, что не нужно думать о дровах (хотя холода наступили) и таскать на себе картошку и что на письменном столе белеет стопка отличной плотной бумаги, на которой не текут чернила и которая сама привлекает к себе мысли... Мысли! Они замерзли, как все в его кабинете, превращенном в склад картошки, капусты и какого-то костяного масла, которое черт знает какой идиот в порту придумал давать в паштет! Говорят, если его переварить с лавровым листом и луком...

Он усмехнулся: мысли! Вон они куда заворачивают, даже здесь, в этом единственном в Петрограде человеческом жилье, которое ухитрился сохранить для себя основоположник русской морской стратегии, мозг русского флота, философ войны...

Впрочем, такие роскошные титулы Борис Игнатьевич применял к хозяину квартиры только в беседе с другими, когда фигура «основоположника» перерастала в некий символ чистой науки, в знамя, объединяющее профессуру, в объект, за который надо бороться, если хочешь спасти самого себя как научную величину. Наедине с собой Борис Игнатьевич все эти высокопарные слова заключал в ехидные кабычки: он слишком хорошо знал эту блестящую карьеру.

Основоположник, собственно говоря, только вынес на страницы газет те мысли, которые на страшном огне цусимского разгрома сами по себе кипели в умах молодого офицерства. Этим он привлек к себе оппозиционную флотскую молодежь и стал ее знаменем. Сам Борис Игнатьевич (тогда лейтенант) отдал ему всю свою энергию и подсказал немалое количество мыслей, которые появились потом в печати за подписью основоположника. Но странное дело: в осторожном и абстрактном изложении его они потеряли всю свою остроту и направленность. Меч, вложенный им в руки учителя, не разил, а почтительно («не беспокоит-с?») брызгал министерские щеки, орудия громopodobных статей не стреляли, а салютовали: это был период, когда авторитет молодого флотского ученого был уже признан и когда

петушинные наскоки пора было менять на солидную проповедь.

Но это были частные наблюдения Бориса Игнатьевича. В глазах остальных основоположник все-таки оставался создателем новой, послецусимской Морской академии и творцом учения о дальнейших судьбах русского флота. Базу этого учения он счастливо нашел в глубоких сдвигах русской общественности. Он первый уловил истинную природу оппозиции молодого офицерства. Настойчивые поиски новых методов морской войны, нового оружия, новой организации вызывались не флотским самолюбием, ежечасно оскорбляемым намеками на Цусиму, не борьбой «отцов и детей» и не карьеризмом выбивающихся на верхи лейтенантов, как ворчливо объясняли это потревоженные адмиралы. Причины крылись глубже: в молодом русском конституционализме, в крепнущей русской промышленности — во всем историческом процессе изменения обветшавших форм огромного государства.

Россия готовилась стать парламентарной страной — действительно европейским государством. Этой новой России нужен был могучий и способный побеждать флот. Этому новому русскому флоту — плоти от плоти создающей его молодой русской промышленности — требовалась своя доктрина, свое учение о победе. Кабинетный ученый, философ и теоретик — он создал эту доктрину.

Ее приняла флотская молодежь и отвергли адмиралы. Но за молодежью стояли те круги общества, которые выходили на политическую арену носителями идеи новой России, и его учение победило. На крепких дрожжах теории «владения морем» авторитет творца этой теории возрос до чрезвычайности. Именно ему, несмотря на протесты адмиралтейских стариков, был доверен только что созданный военно-морской отдел, который превращал Морскую академию из чисто технического института кораблестроителей и гидрографов в Олимп морской мысли, в лабораторию победы, в питомник лучших флотских умов, призванных спасти флот и Россию.

Основоположник встретил здесь неопитов во всем блеске своего учения. Флотские умы, попав в академию, захлопали глазами: из горькой действительности едва встающего на ноги русского флота они чудесным образом были перенесены в сказочное царство торжествующей доктрины «владения морем». Здесь, в академии, тяготеющие к России моря были уже покорены. Черное и Балтийское, в ожерелье первоклассных портов и морских крепостей, кишели дредноутами, крейсерами (линейными, броненосными и легкими), стаи миноносцев рыскали по русским морям, справляясь, не высунул ли нос кто-либо там, где царствует андреевский флаг, который «нераздельно владел» даже и Тихим океаном (где на самом деле был едва десяток паршивых

номерных миноносцев, уцелевших от японского разгрома). Это была разгоряченная мечта молодой России, фантастический парад судостроительных программ, на осуществление которых морское министерство только выпрашивало деньги у скупой Государственной думы. Флот, владевший морями, еще не был даже заложен, но в морских войнах, разыгрываемых на картах в аудиториях академии, где разрабатывались операции, грандиозные по размаху, он потрясал уже океаны. Это называлось «военно-морской игрой». Правильнее было бы назвать это детской игрой в кораблики.

Зачарованные этой картиной, слушатели кончали курс, навек отравленные гипертрофией теоретической мысли. В опьяняющем воздухе этой фабрики побед трезвость сохраняли немногие — кто слишком хорошо на своей шкуре познал всю горькую правду действительности. Борис Игнатьевич был одним из этих немногих. Вернувшись из академии на корабли, они продолжали делать свое дело: создавать русский метод артиллерийской стрельбы, поразивший английские авторитеты, совершенствовать минное оружие, маневрировать на данном театре данными кораблями в данной обстановке, без всякой фантастики. Они действительно преображали русский флот — но академия здесь была решительно ни при чем. Единственное, что от них не зависело, это были судостроительные программы, оперативные планы, вопросы комплектования, строительство портов — все это находилось в руках тех учеников основоположника, которые укрепляли собой ряды истинного врага русских боевых кораблей — штабы.

Февральская революция открыла перед Россией тот путь, во имя которого была создана доктрина владения морем. Основоположник стал первым выборным начальником академии. Казалось, наступал расцвет. Но Октябрь спутал все карты: новая политическая программа — «без аннексий и контрибуций» — никак не соответствовала доктрине, созданной именно в предвидении захватов. Да и объект этой доктрины — русский флот — перестал существовать. Он дал последний бой в Рижском заливе и развалился. Нельзя же было, в самом деле, называть флотом партизанское сборище шаланд, буксиров и миноносцев, собранных в речные и озерные флотилии, десяток катеров на Черном море и разнокалиберный Балтийский «дот»! Несмотря на все свое ироническое отношение к основоположнику и оторванность его учений от действительности, Борис Игнатьевич предпочел вернуться в академию. Действительность флота исчезла, и причина разногласий отпала.

Он нашел академию превращенной в консервную банку, где великая доктрина сохранялась до лучших времен, когда она сможет быть претворена в бытие русского флота. И теперь эту банку собирались вскрыть...

Четыре года основоположнику и профессуре удавалось сберегать академию от этой грубой операции. Четыре года высокая и строгая чистота военно-морского искусства охранялась от тлетворного и разрушающего влияния переходной эпохи. Эти четыре года расценивались ими как годы упорной, самоотверженной борьбы. И вдруг стало ясно, что борьба, в сущности, и не началась. Гордо думали, что академия держится как несдающаяся крепость, а на поверку выходило, что на нее никто и не думал наступать всерьез: она воевала без противника. Противник показался на горизонте только теперь.

Это были матросы, возвращавшиеся с речных флотилий, из Конной армии, с бронепоездов, с фронтов закончившейся гражданской войны. И принимать атаку приходилось в полном расстройстве сил: без союзников-слушателей, которых начисто разогнала фильтрация, без опытного командующего — основоположника, вместо которого вот уже месяц академию вел нерешительный Кондрат Петрович.

Четыре года Борис Игнатьевич возвращал в этой теплице ростки своего метода артиллерийской стрельбы. Труд многих лет был завершен — и оставалось учить этому тех, кто способен был воспринять его сложные и прекрасные выводы. А ему предлагалось теперь излагать их полуграмотным комендорам. Это было похоже на то, как если бы Бетховену предложили исполнить Девятую симфонию на одном турецком барабане.

— Пожалуйста, Борис Игнатьевич, просят, — сказала горничная, появившись в дверях. Борис Игнатьевич одернул по привычке китель, провел ладонью по лысеющей голове и вошел в кабинет.

Основоположник сидел за столом, откинувшись в кресле, неподвижный, вялый и равнодушный. «Сдает, однако», — подумал Борис Игнатьевич, здороваясь.

— Имею честь проздравить — начинают прибывать «красные маршалы», — сказал он, подчеркивая и этим ударением, и словом «проздравить» свое сочувствие основоположнику. — Сегодня буду иметь удовольствие познакомиться, один уже там меня дожидается.

Желтые, отекающие щеки хозяина шевельнулись в подобии улыбки.

— Что ж, бог в помощь, — сказал он и задохся в припадке сухого табачного кашля.

Борис Игнатьевич, пережидая, опустил глаза на листы корректуры, лежавшей на столе, и узнал последний труд основоположника — «Революционные войны в свете биологической теории войны». На листах выделялись тезисы, вынесенные жирным шрифтом в фонарики на полях (основоположник любил это делать «для организации мышления читателя»). Кося глазом,

Борис Игнатьевич прочел знакомые тяжеловесные фразы: «соотношение между психической и общественной эволюцией человечества...», «мировой альтруизм как субстанция революции...», «в чем Вл. Соловьев близок к Марксу...». Он усмехнулся:

— И вам помогай боже: как вы эту премудрость будете вдалбливать в головы новых академиков? «Субстанция революции»... Они вас в Чеку за это посадят: кака така, мол, станция революции?.. Впрочем, шутки в сторону. Вот я вам преёскурант нашего рабфака принес, выбирайте по вкусу, что возглавить: кафедру арифметики или кафедру чистосписания...

Он с некоторой опаской положил на стол учебный план, ожидая, что основоположник тотчас швырнет его обратно. Но тот стал просматривать его с удивившим Бориса Игнатьевича вниманием.

План делился на две части — младший и старший курсы. Учитывая, что на младший курс принимались лица с незаконченным или низшим образованием, в программе действительно упоминались арифметика, алгебра, геометрия, физика, русский и иностранный языки и дань времени — социально-экономические науки. Старшему предлагались основы высшей математики и кое-какие обрывки специальных предметов: тактики, артиллерии, минного и штурманского дела.

Основоположник тонким карандашным крестом перечеркнул типографский штамп в левом углу бумаги: «Николаевская Морская Академия».

— Поставьте здесь: «Детский сад для взрослых имени Митрофана Простакова», и тогда все будет в порядке, — сказал он, возвращая бумагу.

Борис Игнатьевич понял, что старик закусил удила и что чаша его терпения переполнилась. Но были соображения, по которым обязательно следовало привлечь к подготовительным курсам самого основоположника. Позавчера они с Кондратом Петровичем весь вечер ломали над этим голову. Неверно было бы дробить силы и выпускать из руки инициативу — это раз. Было очень важно, чтобы основоположник возможно ближе ознакомился с варварами, пришедшими разрушать науку, чтобы он изучил противника лично — это два. И, в-третьих, нежелание принять участие в работе подготовительных курсов могло быть рассмотрено как саботаж и привести к последствиям. Конечно, все понимали мотивы — оскорбленное самолюбие, горечь развенчанного властелина, но...

Однако, второй раз изумляя сегодня Бориса Игнатьевича, основоположник не дал ему и заговорить об этом.

— Я возьму на себя свой же предмет. Добейтесь включения его в план обоих отделов. Можно назвать: «Элементарные основы сущности войны» или: «Вводный курс лекций» — как хотите.

Но включить необходимо. Приходите вечером, поговорим подробнее. Я набросаю бумагу в центр с обоснованием... Пока Кондрат Петрович в Москве, надо ему туда переслать...

Он придвинул к себе корректуру и взял перо. Это означало конец аудиенции.

Борис Игнатьевич вышел из кабинета в некоторой растерянности: куда он гнет? Собирается поддерживать «детский сад»? Борис Игнатьевич невольно усмехнулся: злой язык у старика, пойдет теперь это название гулять по академии...

Основоположник, оставшись один, опять отложил перо и задумался, откинувшись в кресле. Борьба переходит в другую плоскость. Из поражения надо делать выводы, а не ахать. Обстановка складывалась так, что старый план кампании был дискредитирован и надо было создать новый.

Четыре года он вел академию, как корабль в тумане: малым ходом. Туман был плотным и непроницаемым. Изредка оперативные сводки приподымали его завесу — и тогда открывались ориентиры: дальние огни колчаковских костров на вершинах Уральских гор, плавучие маяки европейских крейсеров под самым Кронштадтом, тонкие вежи деникинских знамен в Орле, мигающий огонь юденических залпов под Пулковом. Эти случайные пеленги не внушали доверия: шторм гражданской войны сносил чуть мелькнувшие вежи, топил плавучие маяки, разметывал зажженные дружественной рукой костры, и по ним нельзя было получить точного места.

Приходилось определяться по глубинам. В тиши своего кабинета он методически бросал лот в экономику, в международные соглашения, в извечную природу человеческих судеб — и полученные данные накладывал на карту Великой французской и недавней германской революций. Выходило, что течение истории несет Россию к реставрации, к национальному возрождению. Академию нужно было сберечь для этих недалеких времен и встретить новые кадры строителей флота-завоевателя во всем блеске лаборатории побед.

И он вел академию нужным курсом, время от времени кладя лево руля, когда того требовали обстоятельства. Так он охотно помог организовать соединенные классы, выпустившие для «временных нужд» (для гражданской войны) штурманов, артиллеристов, минеров из недоучившихся гардемарин. Так он обучил и выпустил в штабы флотилий пятнадцать бывших офицеров, содействовав этим укреплению Красной Армии. Так он написал «Революционные войны» — уступка духу времени.

Летом двадцатого года по курсу встала грозная опасность. Москва потребовала облегчить правила приема в академию,

оставшиеся без изменения с 1910 года. Маневрирование предстояло сложное: впервые за три года революции на мостике рядом с ним стоял комиссар. Но сманеврировать было необходимо. До сих пор удавалось оберегать академию от коммунистов. Облегченные правила приема могли пропустить в академию, кроме бывших офицеров, еще и матросов. Матросов, которые давно уже заменяли бывших офицеров, — не на кораблях (это полбеды!), а в штабах флотилий, в руководстве портами, в центральных военно-морских управлениях, даже в штабах флотов!.. В академии их пока что не было: экзамены за курс Морского училища или офицерских классов закрывали им путь. Пустить матросов в академию — означало потерять управление и сбиться с курса, как сбилась с курса Академия Генерального штаба, куда принимали только «участников гражданской войны или активной боевой работы на пользу революции, в защиту коммунизма и его идей», как сказано было в правилах приема. В Морской академии было, слава богу, всего четверо коммунистов (вместе с комиссаром и с комендантом здания).

Он положил лево руля: собрал конференцию, выступил в печати, с приветствием реформе и, описав координат¹ влево, благополучно привел академию на прежний курс: новые правила приема, которые конференция разрабатывала все лето, свелись к тому, что в соответствующих статьях Морской корпус был переименован в Морское училище, офицерские классы — в соединенные, обер-офицеры — в военных моряков командного состава. Самая же суть осталась неизменной: поступать в академию могли только лица командного состава, окончившие одно из упомянутых заведений.

И вдруг в конце четырехгодичного искусного плаванья Николаевская морская академия начала терпеть аварию за аварией.

Началось это после кронштадтского восстания. Партия подняла сигнал: «Принять меры к возрождению и укреплению Красного флота». Академия подняла «ясно вижу» до половины, капитан ее решил сыграть в Нельсона, приложив подзорную трубу к выбитому глазу, и курса не менял. Но сигнал висел над республикой и был отрепетован флотом, заводами, комсомолом, всей страной. Сигнал не мог остаться не разобранным академией. Его все-таки разобрали: не на мостике, а в аудиториях. Разобрало сигнал считанное количество коммунистов, организовавшихся в коллектив. Их было теперь шестеро. И эта кучка — шесть человек во главе с беспокойным инженером-механиком, организатором коллектива, — сорвала очередной маневр.

Этим маневром должен был быть все тот же испытанный

¹ К о о р д о н а т — маневр, при котором корабль, уклонившись от курса, вновь возвращается к нему.

координат влево. Особая комиссия Центрального Комитета партии потребовала организации в академии подготовительного отдела с такими пониженными правилами приема, которые явно указывали состав будущих слушателей: матросы. Академия положила лево руля: собрали конференцию, обсудили, согласились и постановили — организовать курсы через год, когда появятся «соответствующие кандидаты» из числа обучающихся сейчас в соединенных классах. Но координат не вытанцевался, руль остался влево на борту, корабль резко покати́лся влево. Коллектив не дал закончить маневра: посыпались статьи, постановления, собрания, дело дошло до Центрального Комитета партии большевиков — и к приему матросов на подготовительный курс пришлось готовиться всерьез... И уже нельзя было вернуться на прежний курс.

Академия запрыгала по подводным камням, как таратайка. Пробойна за пробойной... Коллектив организовал мандатную комиссию для проверки состава слушателей... Едва успели отстоять тех, кого она потребовала исключить по политическим соображениям, — новый удар: арест органами ВЧК трех четвертей слушателей и половины административного состава в связи с заговором в Петрограде... Через неделю докатилась штормовая волна фильтрации личного состава флота, смывшая остатки... Соединенные классы, где уцелело едва четыре десятка слушателей, были упразднены и слиты с академией, где тоже удержалось только пятнадцать человек. И, наконец: ликвидация внутренней автономии... Ликвидация конференц-совета... назначение начальником Кондрата Петровича.

Это было похоже на град снарядов. Точный прицельный огонь по вылетевшему на банку кораблю.

Все было сметено. Остались — кафедра философии войны, квартира при академии, авторитет основоположника и сочувствие профессоров. Это все-таки кое-что значило. Академия пошла новым, опасным курсом, но на мостике его заменил не один из этих апостолов разрушения — коммунистов, а Кондрат Петрович, ученик и соратник. Это тоже было немало.

Теперь основоположник занялся пересмотром стратегического плана. Он прочитывал газеты, как донесения разведывательных отрядов, углублялся в историю революции, как в описание аналогичных кампаний, читал Маркса и Каутского, как протоколы допросов пленных, Спенсера и Соловьева — как меморандумы союзных держав. Мало-помалу обстановка становилась для него ясной: страна вступала на путь нэпа, партия отказывалась от дикого разрушения всего старого, и после шторма, причинившего аварию, но разогнавшего туман, перед академией зажегся далекий, но ясно видимый маяк — российская демократическая республика, точная копия германской, уже нашедшей форму...

И если матросы — коммунисты и разрушители — все же ворвались в академию, нельзя было рассматривать этот факт как полное поражение. Там, где Борис Игнатьевич и остальные видели начало конца, он видел начало победы. Коммунизм отступает для нэпа — революция отступит перед наукой. Партия посылает в академию матросов — что ж, академия будет обучать матросов. Пожалуйста... Академия сделает матросов флотоводцами. Но такими флотоводцами, которые поведут флот туда, куда хочет наука, а не революция, скрытые пути которой разгаданы наукой.

Он отбросил корректуру и придвинул к себе чистую бумагу. «Субстанция!..» Близорукий остряк!.. Подлинный ученый должен уметь передать сущность своих идей и ребенку, истина всегда проста, и надо только найти для нее понятную форму. Матросы же не дети и во флоте кое-что понимают.

Он плотнее уселся в кресле и начал работать над конспектом лекций для подготовительного курса с увлечением, которого давно за собой не замечал.

Борис Игнатьевич, поднявшись к себе, нашел нового слушателя за чтением газеты. Тот с подчеркнутой военной выправкой тотчас встал ему навстречу. Это несколько смутило Бориса Игнатьевича, и, вспомнив свое недавнее хамство, он подошел к нему, протягивая руку.

— Извините, что не смог вас принять, — сказал он, чувствуя на себе иронический взгляд баронессы Буксгевден.

Командир взял под козырек и неожиданно громко (так, что баронесса вздрогнула), четко отрапортовал:

— Товарищ начальник, флагманский артиллерист Каспийской военной флотилии военный моряк Белосельский прибыл в ваше распоряжение для обучения в академии.

Борис Игнатьевич с самого начала рапорта совершенно растерялся, не зная, что делать с протянутой рукой. Он кое-как дослушал рапорт, удерживаясь от желания самому стать «смирно», и с облегчением почувствовал наконец крепкое пожатие руки прибывшего.

— Прошу... сюда... — сказал он, еще не оправившись и избегая смотреть на баронессу, которая, как он догадывался, вряд ли одобряла его поведение.

Они прошли в кабинет, и там Белосельский положил на стол пухлую пачку бумаг. Документы поставили Бориса Игнатьевича в тупик: канцелярия была для него делом темным, и он решительно не знал, где и какие ставить резолюции. Будь это кто-нибудь из своих, Борис Игнатьевич тотчас отложил бы бумаги в сторону, сказав: «Ну, батенька, эту писанину отдайте баронессе», и завел бы разговор на более интересные темы: как там,

на Каспии, разворачивается Иленбек (его загнали туда флагартом вместо Бориса Игнатьевича, которого академии удалось отстоять), как с харчем, правда ли, что с Персией подторговывают рисом?.. Но это был чужой, и военная четкость, с которой он отрапортовал и представил документы, обязывала к таким же четким действиям, чтобы не дать повода с первых же шагов обвинить академию в растяпстве... Продовольственный и денежный аттестаты... командировочные... какой-то, черт его знает, арматурный список... Отношение штаба с просьбой обеспечить квартиру... Кондрат, уезжая, советовал с места окатывать этих «ответственных» холодной водой: никакими квартирами академия не располагает, столовая, мол, по тесноте обслуживает только преподавательский состав... Сам бы и окатывал — небось предпочел словчиться. Окажишь такого, еще на грубость нарвешься...

Пауза нелепо затягивалась. Внезапно его осенило: массивный письменный прибор загораживал бумаги от Белосельского. Он взял вставочку и, ткнув ею мимо чернильницы, энергично зачиркал сухим пером по проклятым аттестатам, одновременно протянув левую руку к кнопке на столе. Баронесса, войдя, остановилась у стола, выжидая.

— В приказ,— коротко сказал он ей, протягивая бумаги.

Баронесса поднесла их к близоруким глазам и изумленно подняла брови.

— Возьмите, возьмите, я потом объясню,— замахал он рукой, не давая ей говорить. Пожав плечами, она вышла. Честь академии была спасена, и Борис Игнатьевич почувствовал себя спокойнее. Он откинулся в кресле, разглядывая Белосельского с откровенным любопытством.

Так вот кому приходилось доверять сложный и прекрасный результат многих лет упорных поисков, опыта, выкладок! Небось на первой же лекции потребует обосновать рассеивание снарядов классовой борьбой или объяснить баллистику с точки зрения... как его... исторического материализма!.. Флагманский артиллерист!.. Интересно, кто разрабатывал для него планы стрельб и писал приказы? Теперь ведь это модно — сажать командующими и начальниками штабов матросов, а всю их работу вваливать на спецов, безыменных негров, добывающих им ордена. Подписывать легко, коли есть кому за тебя соображать... Впрочем, этот, кажется, не из матросов: сел в кресло не развалясь и не потянулся тотчас в карман за папиросой. И там, в приемной, смолчал и не заавралил. Разве что взгляд... Пристальный, неприятный взгляд, которым он тоже изучает сейчас Бориса Игнатьевича... Взгляд комиссарский. Загадочный. И черт его знает, что в нем кроется, и от него становится почему-то не по себе...

— Так, значит, теперь в академию? — спросил Борис Иг-

натьевич, не зная, с чего начать разговор, и выругал себя за глупый вопрос...

Белосельский, как бы почувствовав его затруднение, отвечал подробно, не вынуждая к добавочным вопросам.

Он сообщил, что с осени девятнадцатого года был артиллеристом в Нижегородском порту по снабжению, потом артиллеристом миноносца на Волге и флагартом флотилии. Пояснил, что специальные его знания опираются главным образом на опыт и что академия должна их систематизировать и углубить. Отрывочные сведения о работах Бориса Игнатьевича в области организации артогна и в особенности корректировки, которые он из пятого в десятое смог найти в «Морском сборнике», очень помогли ему в работе, тем более что ему приходилось вести стрельбу разными калибрами и что...

— Какими калибрами? — с любопытством перебил Борис Игнатьевич.

— Четыре полевых трехдюймовки, три горных, три морских двадцатимиллиметровых и три шестидюймовых крепостных на канонерках, — точно ответил он.

— Татарская орда! — фыркнул недовольно Борис Игнатьевич. — Не понимаю, чем мог я вам помочь? Это не артогонь, а стрельба из рогаток...

Белосельский так же спокойно, как начал, сказал, что обстановка вынуждала вести совместный огонь именно из этих разных орудий и что необходимо было организовать корректировку совершенно по-новому. И как раз в этом случае он применил способ, рекомендованный Борисом Игнатьевичем для стрельбы по невидимой цели. С того момента, как разговор перешел на специальные артиллерийские темы, Белосельский перестал повторять «товарищ начальник», и Борису Игнатьевичу, отметившему это, стало как-то удобнее разговаривать. Он, правда, сердито хмыкнул еще раз, услышав, что все условия этой стрельбы были совершенно непохожи на те, которые перечисляет в своей статье он сам, но разговор становился все более интересным. Белосельский стал набрасывать на листе бумаги схему всей операции, в свете которой обстрел показался Борису Игнатьевичу чрезвычайно любопытным и, уж конечно, никак не предусмотренным в его курсе. Борис Игнатьевич попросил детализировать схему, что Белосельский охотно и сделал, пояснив, что она у него вся в голове, так как он не раз докладывал о ней, потому что именно за нее и был награжден орденом. Это еще более подстрекнуло Бориса Игнатьевича, он с любопытством взял законченную схему — и у него поплыло в глазах.

На листке бумаги, как в кривом зеркале, он увидел свои мысли в отвратительном искажении.

Долгие годы он вынашивал их для организованной мощи

дальнобойного и скорострельного огня линкоров. Он создавал свою отчетливую и стройную систему для снарядов, которые обычно нагоняют друг друга и путают в бинокле артиллериста свои всплески или вообще не показывают их, потому что они могут падать и за черту горизонта. На схеме же — медлительные, жалкие пушчонки палили в упор по переправе, и оскорбительно было видеть около них те же буквы, которыми он обозначал в своем курсе порядок залпов могучих башен линкоров.

Его способ был здесь так же нужен, как интегралы для подсчета выручки торговли семечками. Он ощутил почти физическую боль. Поистине только гражданская война могла родить такой чудовищный гибрид математически точной морской стрельбы и армейского буханья по площадям в белый свет, как в копеечку! Зачем этому болвану понадобилось трепать в грязи его имя? Чтобы втереть очки командованию — вот, мол, слежу за наукой, самосильно и с п о л ь з о в а ю...

Но, взглядевшись в схему, он увидел нечто, что могло оправдать эту профанацию: противник находился за косой реки, — стало быть, был невидим для стреляющих кораблей. А если так, корректировку, пожалуй, можно было вести именно тем способом, какой он рекомендует в главе о сверхдальней стрельбе, то есть с самолета. Тут же он заметил на схеме и «самолет» — дерево, с которого, очевидно, просматривалась коса. От него отходила к якорным местам кораблей линия с перекрещенными искрами — вероятно, телефон, которым заменили радио. У разрушенной избы на косе стояла буква «W», которой он в своем курсе обозначал вспомогательный пункт наводки.

Но при чем здесь скорострельность — основное условие для применения его метода?

Белосельский объяснил и это. Вся операция была задумана как короткий и мощный удар. Необходимо было выпустить возможно большее число снарядов за время форсирования противником реки за косой. Минное поле препятствовало выходу кораблей к косе, и собирались было глушить через косу по-армейски — беглым огнем, по площадям. Но снарядов было мало, и эффект был бы незначительным. Тут ему пришло в голову применить указание Бориса Игнатьевича и организовать настоящую прицельную стрельбу по понтонам, и притом с максимальной скорострельностью. Для этого он назначил точные интервалы залпов каждого калибра и для каждого калибра поставил отдельных корректировщиков. По первому залпу были пущены секундомеры, и вся стрельба велась залпами через минуту со сдвигом по фазе на двадцать секунд. Таким образом, снаряды падали каждые двадцать секунд, а в интервале минуты между залпами каждого калибра корректировка по телефону вполне поспевала...

Борис Игнатьевич смотрел на него в каком-то негодующем

восхищении. Черт его знает, какая обезоруживающая дерзость! Вот уж поистине Девятая симфония, сыгранная на барабане!.. Впрочем, нужно быть справедливым — не на барабане, а на коровьем рожке: что-то отдаленно похожее, хотя неузнаваемо искажено. Он усмехнулся при мысли, что кто-либо из этих «академиков» так же обрадует основоположника рассказом о применении его плана блокады Филиппинских островов для операции против взвода белых, засевших на острове «Малый пуп» где-нибудь в протоке Волги...

Но все-таки это было любопытно!

Он еще раз наклонился над схемой, с трудом приспособивая мозги к этому масштабу рассуждения. Смешно, но возможно. И даже по-своему талантливо. Белосельский?.. Артиллерист?.. Был, кажется, лейтенант Белосельский-Белозерский на Черном море, тоже отмочил какую-то необыкновенную стрельбу по Зунгулдаку, — может быть, это он? Неужели среди этих «ответственных» попадаетесь и стоящий человек, который способен шевелить мозгами?

— Вы с какого года на флоте? — спросил Борис Игнатьевич.

— С девятьсот двенадцатого.

— Вы на Черном море плавали?

— Нет, на Балтике.

На Балтике?.. На Балтике Борис Игнатьевич знал всех судовых артиллеристов. Может быть — из крепости? Он пожалел, что отослал послужной список, не взглянув. Но схема, на которую он продолжал смотреть, поглотила его внимание.

От нее веяло настоящей смелостью артиллерийской мысли, творческой выдумкой, поиском нового. Он даже фыркнул себе под нос, на этот раз с оттенком удовлетворения. Кажется, на этого чудака не жалко потратить время. Если такого как следует выучить, может получиться прекрасный артиллерист... Здесь он, конечно, кое-что недодумал, может быть, просто не знал. Вопрос можно было решить иначе и, пожалуй, выгоднее. Баронесса Буксгевден вошла в кабинет с разобранной почтой и, косясь на Белосельского, сказала вполголоса: «Срочно», — но Борис Игнатьевич отмахнулся от нее и, не подымая глаз от схемы, потянулся в портфель за логарифмической линейкой.

— Подсчитайте-ка вероятность попадания, — сказал он, двинув линейку по столу к Белосельскому. — Таблицы вон там. Примите эти ваши паршивые понтоны за миноносец, дистанцию вы знаете, а число падений в минуту примите не три, а шесть... По-моему, тут еще кое-что можно было сделать...

Он опять углубился в схему. Стодвадцатимиллиметровки в этом варварском деле можно было без ущерба объединить с шестидюймовками. Это было безграмотно, но в данном случае здесь был какой-то смысл.

— Ну? — сказал он через минуту. — Как там у вас?

Белосельский молчал. Борис Игнатьевич поднял глаза и увидел, что тот вертит линейку в руках, разглядывая ее с любопытством.

— Ну, что же вы? — спросил Борис Игнатьевич нетерпеливо. Белосельский осторожно положил линейку на стол.

— Я эту штуку издали только видел, — признался он, улыбаясь.

Борис Игнатьевич посмотрел на него, не понимая.

— Как издали? Чему же вас в классах учили?

— Я классов не кончал.

— Так вы же артиллерист? — рассердился Борис Игнатьевич. — Почему же вы артиллерист, да еще флагарт, если классов не кончали?

— Так пришлось, — сказал Белосельский. — Я в старом флоте артиллерийским унтер-офицером был. Вот так оно и пошло.

Борис Игнатьевич встал из-за стола, густо краснея, и Белосельский тотчас же быстро поднялся из своего кресла.

— И вы, унтер-офицер, хотите учиться в академии? — спросил Борис Игнатьевич медленно, боясь, что скажет что-нибудь лишнее и непоправимое. — Не знаю... не знаю, как это у вас выйдет...

Баронесса испуганно вскинула глаза на Белосельского — ей показалось, что сейчас произойдет какой-то ужас: крик, брань, может быть, просто стрельба... Но Белосельский стоял против Бориса Игнатьевича, прямой и неподвижный, и баронесса почувствовала, что никакого скандала не произойдет: слишком уверенной силой веяло от всей его плотной фигуры, от спокойного и чуть насмешливого взгляда, каким он рассматривал взволнованного Бориса Игнатьевича с некоторым даже любопытством, — чего это, мол, так его подкинуло? Он несколько помолчал, как бы выбирая слова, и потом сказал совершенно новым тоном, тоном хозяина, совсем непохожим на тот подчеркнутый тон подчиненного, которым он до сих пор говорил:

— Без вас действительно не выйдет. Пока что мы учились на фронтах сами, на крови, на поражениях и на победах. А вот теперь пришли к вам учиться. Будете учить — выйдет. Не будете — найдем тех, кто захочет матросов учить... Давайте-ка так: мы к вам по-хорошему, впредь до недоразумений, конечно, и вы к нам так же. Вот, может, кое-что и выйдет...

Он еще помолчал, будто проверяя, понял ли его Борис Игнатьевич, и потом опять прежним тоном подчеркнутой четкости спросил:

— Разрешите быть свободным, товарищ начальник?

Борис Игнатьевич кивнул головой, и Белосельский вышел.

Борис Игнатьевич обмяк в кресле, почувствовав себя беско-

нечно усталым, растерянным и одиноким. Баронесса стояла у стола с той же презрительной усмешкой.

— Пра-ативник,— сказала она вдруг певуче.

— Что? — спросил Борис Игнатьевич, отрываясь от своих мыслей.

Она осторожно положила на схему тонкий указательный палец. Борис Игнатьевич взглянул и только теперь увидел, что схема была набросана кривыми толстыми линиями и что за косой у места переправы было написано «пратив», что должно было, очевидно, означать «противник». Он с отвращением взял бумажку и швырнул ее под стол. Баронесса, вздохнув сочувственно и понимающе, собрала свои бумаги и вышла из кабинета неслышным видением.

Борис Игнатьевич посидел некоторое время, фыркая себе под нос и оценивая все происшедшее. Потом, несколько успокоившись, он покосился на схему, валявшуюся на полу, раз, другой и вдруг, воровато оглянувшись на дверь, где могла появиться баронесса, быстро поднял схему и спрятал ее в портфель.

Все-таки в ней было что-то любопытное, о чем следовало подумать на досуге.

ЭКЗАМЕН

«Жорес» возвращался из похода. Шторм утих, и к осту от Шепелевского маяка открылась спокойная, удивительно ровная гладь, начинающая по-вечернему отблескивать сталью.

С обоих бортов потянулись низкие берега, определяя собой путь в горло залива — в Кронштадт, — и скоро прямо по носу, низко над водой, вдруг вспыхнула и, дрогнув, ослепительно засияла в закатных лучах золотая точка — купол Морского собора. Мягкий, как бы усталый ветер дул в лицо, и в спадающих его порывах дымовые трубы обдавали мостик теплым, пахнущим краской током воздуха и утробным своим урчанием.

Белосельский стоял на правом крыле мостика, втиснув крупное тело между штурманским столом и парусиновым обвесом поручней. После того, что произошло в походе, ему хотелось малодушно спрятаться в каюте и не показываться никому на глаза.

Собственно говоря, ничего особенного не произошло. На походе командиру вздумалось провести ученье «человек за бортом». Для этого с мостика кинули за борт связанную койку, вахтенный комендор выпалил из пушки, дежурные гребцы бросились к вельботу, довольно быстро спустили его на воду, но в горячке вместо кормовых талей¹ выложили сперва носовые, чего, конечно, не следовало делать, ибо миноносец имел еще порядочный ход вперед. Вельбот развернуло задом наперед, ударило волной о борт «Жореса», причем сломало две уключины, одно весло и придавило пальцы минера Трушину.

Учение не состоялось, боцман хмуро осматривал поднятый обратно на ростры поврежденный вельбот, Трушин ходил уже с перевязанной рукой и мечтал о двухнедельном отпуске по ко-

¹ Т а л и — блоки, которыми поднимают на борт шлюпку.

миссии, а койка вместе с заключенным в ней пробковым матрасом бесследно затерялась в волнах Финского залива.

Все это, вместе взятое, называлось на кают-компанейском языке «военно-морским кабаком», случалось десятки раз и ничего, кроме смеха, вызвать бы не могло, если бы спуском шлюпки распоряжался любой из командиров «Жореса», кроме Белосельского, и если бы этот поход не был первым походом его на «Жоресе». Но то, что Белосельский был одним из тех, кого в кают-компаниях иронически называли «красными маршалами», придавало этому невинному эпизоду неприятный оборот.

«Красными маршалами» бывшие офицеры прозвали академиков приема 1922 года: это были матросы, только что вернувшиеся с гражданской войны командующими, начальниками штабов, комиссарами флотилий и кораблей и пришедшие теперь в академию, где для них был создан специальный подготовительный курс. На лето их расписали по кораблям для стажировки в средних командирских должностях, и Белосельский попал на «Жорес» старшим помощником командира.

Он мог управлять артиллерийским огнем целой флотилии, мог составить план операции, несущий разгром противнику (свидетельством чего был его орден), но спустить на волне шлюпку — что умел сделать любой из командиров и старшин «Жореса» — он не смог. В башне линейного корабля, где он провел все три года царской войны комендором, потом унтер-офицером, в Центробалте, на миноносце, где он был комиссаром, в боях на Волге, в штабе Каспийской военной флотилии некогда было обучаться шлюпочному делу. И все эти мелочи морского дела, привычные с детства морскому офицеру, для него оставались такими же неизвестными, как молекулярное строение тех снарядов, которыми он отлично умел попадать в корабли противника. Именно поэтому партия направила его в академию, и именно поэтому подготовительный курс академии включал в себя разнообразные предметы — от арифметики до курса морской практики младшего класса Морского училища.

Но все же на левом его рукаве было чуть не вдвое больше нашивок, чем у командира «Жореса», а у вельбота поломан борт, и у Трушина перевязана рука, и на мостике его встретили иронические усмешки артиллериста и снисходительный тон командира — «ничего, привыкнете, Аким Иванович», — и очень хотелось уйти в каюту. Но как только открылся Шепелевский маяк, командир ушел с мостика, оставив Белосельского «вести корабль».

Положим, корабль вел штурман, даже и не взглядывая на Белосельского, отлично понимая, что тот торчит здесь для мебели. На мостике была обычная обстановка домашности, уюта, веселого содружества хорошо знакомых и приятных друг другу

людей, присущая «Жоресу». Штурман сидел на поручнях компасной площадки, хитро обвив вокруг стойки длинные ноги, и напевал «Шумит ночной Марсель». Артиллерист Любский, стоявший на вахте, перегнулся назад, через машинный телеграф, слушая комиссара Вахраткина, который сочно рассказывал очередную историю, сигнальщики вполголоса болтали на левом крыле, и, по-видимому, всеми владело отличное настроение, какое бывает в конце похода, и никому не было дела до Белосельского.

А в сущности, почему ждать от них сочувствия? За две недели своей стажировки он успел всем причинить неприятности. Прежде всего — комиссару.

На первом же бюро коллектива Белосельский подытожил свои впечатления: «Жорес» — не корабль, а усадьба, бывшие офицеры не в пример другим кораблям верховодят всем, комиссар ходит у них на помочах, подлаживается, дисциплина на корабле и не ночевала, миноносец развален... Вахраткин встал на дыбы: кто-кто, а уж он-то, старый матрос, бывшего офицера за пять миль чует! Командиры «Жореса» — честные спецы, хорошие служаки — не в пример другим кораблям сумели найти к команде подход, команда их любит и слушается. Что до дисциплины, — видно, в академии ее учат по букве, и настоящего духа революционной дисциплины так и не расчухали. Есть на «Жоресе» хоть один случай неисполнения приказа? Нет! Если данному товарищу не нравится тон, которым комсостав «Жореса» отдает приказание, то здесь — не армия и солдат тут нет! И не будет! На «Жоресе» настоящая трудовая дисциплина, а тянуть краснофлотцев и за грязную робу в трибунал отдавать — не выйдет! Основная задача коммунистов во главе с комиссаром — добиться доверия к спецам и сплочения их с командой, — таковая задача на «Жоресе» на сегодняшний день выполнена. И выполнена не береговыми моряками-академиками, а комиссаром и коммунистами корабля. И если товарищ Белосельский начнет запугивать командиров и вводить свои порядки, то бюро коллектива «категиорцки и в упор» станет против...

Но после, поговорив по душам с остальными членами бюро — с рулевым старшиной Портновым, с младшим инженер-механиком Луковским и с машинистом Колангом, — Белосельский увидел, что бюро-то, пожалуй, «категиорцки и в упор» станет на его точку зрения.

Артиллериста он сразу же вооружил против себя после первого осмотра материальной части. Тут Белосельский — бывший артиллерийский унтер-офицер царского флота и флагманский артиллерист Волжской флотилии — был вполне в своей стихии. Орудия действительно могли стрелять, и команда была как будто обучена. Но погреба не проветривались, в стволах

кое-где оказалась ржавчина, а сам артиллерист, когда Белосельский посадил его за прибор Длусского¹, не смог решить задачи малость посложнее элементарных стрельб этого года, после чего сам же насмерть обиделся.

Командир держался тактично и осторожно. Он принял Белосельского не так, как принимали академиков-стажеров на других миноносцах, где дело доходило порой до прямого саботажа командиров по отношению к помощникам-академикам. И хотя с приходом академиков вся минная дивизия раскололась по горизонтали на два лагеря — командиры миноносцев, с одной стороны, и их помощники — академики — с другой, командир «Жореса» остался как-то посередине. Он порой заходил в каюту к Белосельскому, когда в ней набивались академики с соседних кораблей, добродушно подшучивал над их жалобами и как будто совершенно примирился с тем, что на флоте появились довольно многочисленные кадры будущих командиров кораблей, начальников штабов и командующих, которые, несомненно, закроют ему путь к продвижению на высшие должности. Он сразу пошел навстречу Белосельскому, охотно подписал все составленные тем инструкции по дежурной и вахтенной службе. Но войну Белосельского с комсоставом он наблюдал со стороны, не вмешиваясь, и, когда Белосельский вошел в жестокий конфликт со старшим механиком по поводу кочегаров и погрузки провизии (на «Жоресе» машинная команда добилась привилегий и от верхней работы была когда-то и кем-то освобождена), командир отшутился: «Монтекки и Капулетти?.. Давнишний спор славян между собою, строевые и «духи»? Увольте, не командирское это дело — капуста! Кто бы ее ни грузил, мне важно, чтобы у команды был борщ... Разберитесь уж сами...»

Белосельский «разобрался» — и нажил себе и в старшем механике врага.

Штурман Шалавин объявил нейтралитет.

— Эпоха великих реформ! — резвился он за вечерним чаем. — Опять же — свежая струя и луч света в темном царстве, не возражаю. Пущай фуццирует — нас, лоцманов, это не касается. Команды у меня — раз-два и обчелся, и портки у всех чистые, а девиацию в академии только на втором курсе проходить начнут. Он меня, как Любского, не забудет, я его сам лямбдой-аш² покрою...

Однако, будучи человеком веселым и любопытствующим, он с удовольствием засиживался в кают-компании, слушая жестокие

¹ Род учебного полигона для решения артиллерийских задач.

² Л я м б д а - а ш — направляющая сила магнитной стрелки на корабле, термин из девиации — науки о магнитных силах, действующих на железном корабле.

драки Белосельского со старшим механиком, и, по приверженности к чистому спорту, становился для оживления разговора на точку зрения Белосельского.

— Люблю решительность,— сказал он раз Луковскому.— Роскошный мужчина! Опять же — как долбает, как долбает! Красота... Я чего-нибудь выкину, Петрович, чтоб он и на меня кинулся, ей-богу! Давно меня начальство не долбало, отвык, а люблю хороший фитиль — жить как-то интереснее...

Штурман, кроме Луковского, казался Белосельскому единственным из комсостава, на кого можно было опереться. Он был из недоучившихся гардемарин, и в нем не было еще того особенного, офицерского духа, который Белосельский чуял и в командире, и в старшем механике, и в артиллериисте. Кроме того, несмотря на вечный балаган, несмотря на быстро прилипшее к нему этакое, «чисто жоресовское», пренебрежение к дисциплине, он был очень неплохим штурманом и дело свое, по молодости лет, еще не успел разлюбить. Вот и сейчас, сидя на поручнях в позе, которая ему казалась остроумной и должна была выражать презрительную беззаботность («Подумаешь — плавание! Лужская губа — Кронштадт, маршрут номер пять, Калинин мост, плата три копейки!..»), он, не меняя позы, незаметно и очень зорко прицеливался через пеленгатор на сияющую точку Морского собора. Мины кругом фарватера стояли еще на местах.

— «И женщины с мужчинами идут в каб-бак...» Уважаемый товарищ кормчий, отсуньте-ка ваше плечико вправо,— сказал он рулевому и, чтобы не спускаться со своей площадки, всмотрелся в путевой компас через бинокль.— Благодарю вас, дышите свободно... И не откажите, трясця вашей бабушке, точнее держать на румбе! Сто девять с половиной курс, девять!

— Я ж так и держу,— ответил рулевой, но тотчас поспешно завертел штурвалом: курсовая черта стояла против ста четырех с половиной.— Есть сто девять с половиной!

— Так держать,— сказал штурман и потом покосился на Вахраткина, сморщившись и почесывая в затылке.— Иван Андреич! Рассказ ваш превосходен и очень, оч-чень мило спет... но, смею заметить, трепотня на мостике не располагает к точности курса. А слева — шарики, и я взрываться не хочу. А вы?

«Молодец»,— подумал Белосельский. Собственно, этот клуб на мостике должен был прекратить он сам, но после неудачи со шлюпкой ему казалось, что каждое его слово будет принято иронически.

Он собрал в себе мужество и выглянул из-за штурманского стола.

— Товарищ вахтенный начальник, примите замечание, вы не

следите за точностью курса,— сказал он и сам почувствовал, как резко прозвучала его сухая интонация, так не совпадающая с домашностью обстановки на мостике.

Любский откинулся от телеграфа, комически развел руками и посмотрел на комиссара — мол, не пойму, кто же здесь начальство: вы или он? В этом как бы добродушном жесте было столько презрения, что у Белосельского внезапно поплыло в глазах.

— Я не слышу ответа, товарищ командир! — повысил он голос.

Штурман любопытствующе свесил голову вниз. Комиссар дипломатично пошел к трапу.

Артиллерист, не сдаваясь, пожал плечами:

— А не знаю, что мне, в сущности, отвечать... Странно...

Штурман тихонько присвистнул.

Белосельский вышел из-за столика. Фуражка Вахраткина уже белела в провале люка. Не хочет портить отношений? Ладно... Он обвел глазами мостик: сигнальщики перестали болтать и, видимо, ожидали, как повернется дело. Вахтенный прислонился к мачте, независимо поигрывая цепочкой от дудки. Это был Плоткин, артиллерийский старшина, правая рука Любского и вожак комендорской вольницы. Он с улыбочкой поглядывал на Любского, как бы говоря, что отлично понимает нелепую придирчивость старшего помощника. Улыбочка эта решила дальнейшее.

Белосельский повернулся к компасной площадке:

— Товарищ штурман, научите командира РККФ Любского правильному ответу!

Штурман удивленно поднял голову, и Белосельский с горечью почувствовал, что залп прошел мимо. Неужели и этот откажет? Все-таки одна шатия, друг за дружку горой... Но то ли в лице Белосельского, в сжатых его скулах и в расширенных ноздрях было что-то необычное, то ли в глазах его штурман прочел тревогу и надежду, или просто сама ситуация показалась ему забавной, но он скинул ноги с поручней и уже без балагана стал «смирно», подняв руку к козырьку.

— Следует ответить: есть принять замечание, приказано следить за курсом!

— Повторите, товарищ командир.

Артиллерист вспыхнул.

— Я не попугай... и... не мальчишка!

— Повторите уставный ответ, товарищ командир,— с подчеркнутым спокойствием сказал Белосельский и боковым зрением увидел, что Плоткин оставил дудку в покое и подтянулся. Штурман любопытно переводил глаза с Белосельского на артиллериста.

— Я сказал, что не попугай! Я буду жаловаться комиссару!..

Теперь штурман с удовольствием потер руки и мечтательно облокотился на компас с видом человека, который готовится слушать любимую арию: сейчас начнется мировой долбеж...

Но Белосельский отвернулся от артиллериста и подозвал Плоткина:

— Товарищ вахтенный старшина, доложите командиру Краснову, что я приказал ему сменить вахтенного начальника.

Плоткин, неуверенно повторив приказание, взглянул на артиллериста и пошел вниз. Любский с пятнами на лице смотрел вперед, ничего не видя. Шалавин сполз с компасной площадки и, опасливо пройдя мимо Белосельского, целиком залез в штурманский стол, похожий на собачью будку.

На мостик поднялся минный специалист Краснов. Смена вахты произошла вполголоса, потом артиллерист повернулся к трапу, но Белосельский его остановил. Он решил довести бой до конца.

— Я не разрешал вам спускаться с мостика, товарищ командир,— сказал он негромко, и Любский понял, что перегибать палку опасно: черт его знает, доведет до трибунала... все же как-никак на мостике, во время похода...

— Вахту сдал исправно, курс сто девять с половиной,— сказал он, не подымая глаз.

— Можете идти. В Ленинград не поедете, пока не сдадите мне зачет по командным словам и ответам. Понятно, товарищ командир?

— Есть сдать зачет по командным словам и ответам,— пересилив себя, ответил артиллерист и с грохотом скатился вниз по трапу.

На мостике наступила удивительная для «Жореса» тишина. Потом штурман высунул из своей будки нос и осмотрелся. Краснов, видимо вполне оценив обстановку, стоял около рулевого, то и дело заглядывая в компас, подымая к глазам бинокль, наклоняясь к счетчику оборотов. Сигнальщики неслышно копошились у флагов, наводя порядок в их цветистых комочках. Белосельский по-прежнему втиснулся между штурманским столом и обвесом. Штурман тихонько подергал его за рукав.

— Аким Иваныч,— сказал он молящим шепотом, сделав на смерть перепуганное лицо,— дозвоьте неофициально... я ж не на вахте, ей-богу...

Белосельский взглянул на него и едва удержал улыбку.

— Не паясничайте, штурман. Учили бы лучше товарищей, как себя держать.

— Аким Иваныч! Как перед богом... Люблю классный фитиль, это же красота, кто понимает, но тут... ох и хай будет! — Он схватился за голову.— Он же скандал подымет и вас с нут-

ром и с перьями съест, три дня носить будет, выплюнет, обратно съест и не выплюнет, так и погибнете... Я понимаю, печенка в вас играет после камуфлета со шлюпкой. А вы плюньте и берегите здоровье, черт с ней, со шлюпкой! Ей-богу, не то бывает... Я тоже, как первый раз на девиацию выходил... боже ж ты мой: стою на мостике, тут тебе и магниты, и таблицы, и справа банки, и слева стенка, а корабль прет, а море тесное, а посоветоваться не с кем, а амбиция играет... словом — тоё-моё, зюйд-вест и каменные пули...

— Ладно, штурманец, в каюте поговорим, — сказал Белосельский, почувствовав, как дрогнуло в нем сердце при напоминании о шлюпке. — Следите за курсом. Тут тоже море тесное.

— Есть следить за курсом, тут море тесное! — гаркнул штурман, выпучив глаза, но и в самом деле пошел к путевому компасу. Белосельский проводил взглядом его высокую и смешную фигуру. За всем этим балаганом как-то не поймешь, на чьей он стороне, — хорошо хоть сейчас не подвел с артиллеристом...

Он выставил лицо на ветерок, за обвес, и снизу донеслось быстрое шипенье воды. Он опустил голову, вглядываясь в неподвижно стоящую под мостиком разрезную волну и оценивая происшедшее. Переборщил?.. Нет. Урок к месту. Иначе с миноносцем ничего не сделать, начинать надо с комсостава — отсюда идет и Плоткин с его проповедью о трудовой дисциплине, и комендорская вольница, и комиссарские теории о сплочении. Сделано правильно, но будут неприятности. Командир, конечно, поддержит Любского, да и комиссар подгадит...

Комиссар... Странно было не чувствовать в этом мужественном слове привычной поддержки. Вон как повернулось: матросу и коммунисту приходится драться с матросом и коммунистом! Вахраткин был и тем и другим, и, кроме того, он был еще и комиссаром, но в бессонные ночи, когда Белосельский ворочался на койке, в который раз перебирая в уме людей «Жореса» и отыскивая среди них врагов и друзей, — комиссар Вахраткин казался ему не союзником, а врагом, и врагом более опасным, чем бывшие офицеры. Почему?..

Этого Белосельский пока сам еще не знал. Это надо было додумать, поговорить с другими академиками, свести к итогу обрывки наблюдений и догадок, которые накопились за эти две недели. И может быть, дело в личном самолюбии Вахраткина. Подумать только, приходит на корабль такой же матрос и коммунист и тычет его носом: тут неладно, тут неверно, тут проморгал, — кому это приятно? И может быть, дело не в глубокой затаенной обиде его — вот, мол, одних матросов послали учиться, будут кораблями командовать, флагманами будут, а я, Вахраткин, так и помру где-нибудь в Пубалте старшим инструктором... Может быть, дело обстоит гораздо более серьезно, и этот

глухой протест Вахраткина против академиков имеет совсем другие причины...

Стоявшая под мостиком волна завораживала взгляд. Она как бы прилипала к кораблю, проносясь вместе с ним мимо остальной толщи воды, медленно изменяя форму в гребне и в изгибе, но оставаясь все время той же — шипящей, отороченной пузырьками белой пены. Люди меняются так же, оставаясь почти теми же самими, и черт его знает, что загнало им внутрь встречное течение людей и событий? Вахраткина он хорошо помнит по Центробалту — боевой был матрос, пришел со «Славы». А с кем он потом путался все эти годы? Почему он так держится за командира? Почему так настроена против него часть коммунистов?.. Волна стояла над мостиком неотрывно, как часть корабля, и смотреть в ее живую глубину было спокойно и приятно, но почему-то безмерно одиноко: корабль, волна и человек. Один.

Он пересилил себя и поднял взгляд к горизонту. Кронштадт приблизился. Показались заводские трубы, наклонно вылез в небо кран, темным четырехугольником выросла водокачка. Вечер спускался тихий и ясный. И оттого ли, что на мостике стояла тишина, а может быть, оттого, что был уже отчетливо виден Кронштадт, где на других кораблях такими же чужими и одинокими чувствовали себя стажеры-академики, — но Белосельский ощутил вдруг прилив сил и спокойствия. Ну что ж, еще один фронт без залпов и выстрелов, фронт путаный и неопределенный: справа — трудноуловимое сопротивление бывшего офицерства, слева — еще более скользкое сопротивление комиссара... Но учиться самому и учить других — надо, как надо строить флот, оздоравливать его и одновременно не забывать, что сперва отдаются не носовые тали, а кормовые. Чепуха, мордокол с дворянчиком, явным саботажником...

В конце концов не на «Жоресе» кончается флот — есть Пубалт, есть парткомиссия, там поймут и тали, и бой с артиллеристом и пощупают, чем дышит комиссар Вахраткин, матрос и коммунист. Поход кончается, и все неприятности, связанные с первым походом на чужом корабле, тоже кончаются.

Впереди показались входные буи рейда. Было еще совсем светло, и за кормой небо не успело еще осыпать алых своих закатных перьев, а мигалки на буюх уже горели. Все должно делаться своевременно: мигалки — загораться до темноты, наступление — начинаться до готовности противника. И артиллеристу он насовал вовремя.

Он подозвал Плоткина, приказал доложить командиру, что миноносец входит на рейд, и потом нажал кнопку аврального звонка.

Трескучие колокола громкого боя отзывались из-под мостика, топот ног по трапам нарушал мечтательную тишину

вечернего похода, и на полубаке закопошилась у шпиля хозяйственная фигура боцмана.

«Жорес» подходил уже к воротам гавани, но командир все еще не подымался на мостик. Белосельский усмехнулся. Конечно, это мелкая месть за артиллериста: выйти в последний момент и не дать помощнику возможности приготовить на корме что надо, чтобы потом, когда миноносец долго будет подтягиваться кормой к стенке, иронически разводить руками в ответ на приглашения командиров с соседних миноносцев и кивать на корму: «Возится, мол, мой академик, никак чалки не заведет...» Послать, что ли, боцмана, пусть пока там посмотрит...

— Товарищ боцман, — крикнул он на полубак, — подымитесь сюда!

Но прежде чем появился боцман, на мостик вернулся Плоткин.

— Товарищ старший помощник, командир приказал передать, что он занят. Пусть, говорит, помощник сам входит в гавань и швартуется.

Белосельский обернулся и внимательно на него посмотрел. Что он, перепутал?

— Повторите, какое приказание?

Плоткин с видимым удовольствием повторил, напирая на слово «сам». Штурман, складывавший карты, выглянул из своей будки, как кукушка из часов.

— Нок-аут, — сказал он, поджимая губы. — Ядовито...

Белосельский почувствовал, что вся кровь кинулась ему в лицо.

— Есть входить в гавань и швартовиться! Товарищ штурман, пройдите на корму, будете заводить швартовы! — Он двинулся к машинному телеграфу. — Там левый стальной во вьюшке заедает, прикажите лучше сейчас набрать слабины на палубу...

Штурман посмотрел на него с уважением и жалостью, потом совершенно неофициально махнул рукой:

— Вот же сук-кин сын, а? Ладно, Аким Иванович, как-нибудь развернемся...

Белосельский положил пальцы на ручки машинного телеграфа, как на рукоятки пулемета. Бой начинался. Первый сигнал в машину должен был означать, что он принял этот вызов.

Мгновение он боролся с собой, чувствуя себя не в силах начать эту опасную игру. Это же каприз самодура, и амбицию надо побоку... Самолюбие — и боевой корабль. Доказать — и, может быть, расшибить прекрасный миноносец. Вероятность аварии — 80 из 100: девять лет на кораблях — матросом и штабным специалистом, — и ни разу не держать в руках вожжи корабля, ручки машинного телеграфа!..

— Лево на борт,— сказал он, боясь, что голос окажется хриплым.

Гавань открылась перед «Жоресом» невероятно узкой щелью ворот. Ворота росли впереди, стремительно приближаясь и, как в кошмаре, неправдоподобно сужаясь по мере приближения к ним миноносца.

Он оглянулся. Как заговор: на мостике — никого из командиров. Нет и комиссара. Два сигнальщика, один из них — комсомолец Чернов. Его, что ли, спросить, когда командир уменьшает ход — в воротах или раньше?.. И какая инерция у «Жореса»? Расчет и глазомер... Тонкий расчет у командира, ох, тонкий!.. Спровоцировать отказ от приказа или дискредитировать как моряка... Белосельский как будто услышал будущие объяснения: «Если штаб флота присылает мне помощника, я вправе полагать, что это квалифицированный командир... Я полагал даже полезным дать ему самостоятельную практику... стажировка...»

— Одерживайте... Прямо руль! — сказал он, и миноносец пошел в узкую щель ворот. Белосельский потянул на себя рукоятку сирены, густой, басистый вопль повис над гаванью, оповещающая всех о входе корабля. Медное горло сирены торчало над самым мостиком, могучий рев отдавался во всем теле, рождаясь где-то в низу живота, и Белосельскому показалось, что это кричит он сам гневным призывом о помощи. Он отпустил рукоятку, и на мостике опять стало тихо, так тихо, что он услышал скрип собственных зубов.

Можно, конечно, и не разбить миноносец: войти малым ходом, отдать посередине гавани якорь, развернуться на нем и, потравливая якорную цепь, тихохонько, как «Водолей», сдать кормой к стенке. Но рев сирены вызвал уже зрителей, и завтра вся минная дивизия будет пересмеиваться: «Видали?.. Академики!.. Бумажные морячки, раком на якорю, волжские привычки... Словом — «зачаливай!...».

Ворота пронесли мимо. Пора!

Он дал левой машине «полный назад», и «Жорес» послушно занес корму влево, поворачиваясь носом к каменной стенке, мимо которой он только что прошел. Теперь он должен был остановиться на месте, закидывая корму, чтобы потом задним ходом подойти к своему месту у противоположной стенки гавани. Белосельский метнулся к кормовым поручням посмотреть, как проходит корма, и тотчас увидел внизу, на палубе, у торпедных аппаратов — командира, старшего механика и Любского. Они стояли (или так показалось?) с видом людей, наблюдающих агонию затравленного зверя. Он густо выругался молча, про себя, — давнишним, проверенным матросским загибом в бога, в веру, в весь царствующий дом, — отскочил от поручней как

ужаленный и носом к носу столкнулся с рулевым старшиной Портновым, членом бюро коллектива.

— Тебе чего?

— На штурвал стану, штурман прислал,— сказал тот вполголоса, серьезно и безоговорочно, и потом громко добавил: — Разрешите заступить на штурвал, товарищ командир, Грудского штурман требует на корму.

У Белосельского точно лопнуло что-то внутри, и бешеная злоба, с которой он только что отскочил от поручней, обернулась ясным и холодным весельем.

— Станьте на штурвал, товарищ старшина,— сказал он преувеличенно четко.— Товарищ Грудский, идите к штурману!

Портнов торопливо прошел к штурвалу, и тотчас Белосельский стал рядом с ним у машинного телеграфа и сдвинул обе ручки на «полный назад»: очевидно, он чего-то не рассчитал, и миноносец очень быстро шел на стенку.

— Разогнали очень.— сказал Портнов, тревожно оценивая расстояние до стенки.— Эх, разогнали! — повторил он, досадливо щелкнув языком.— Как его, чертяку, удержишь... Самый полный назад надо!

Белосельский послушно звякнул телеграфом и оглянулся на корму. Бурун заднего хода кипел за кормой, но миноносец по-прежнему, хотя и медленнее, двигался вперед.

Белосельский почувствовал неприятный холодок вдоль спины. Он оглянулся еще раз и тогда в люке машины увидел голову младшего механика Луковского. Тот с беспокойством вглядывался в надвигавшуюся стенку. Белосельский махнул ему рукой и сделал выразительный жест: «Осади!»

Голова Луковского скрылась в машине, и тотчас бурун за кормой вырос вдвое. Вода набежала на палубу, люди на корме запрыгали, миноносец нехотя и против воли наконец остановился, и, как бы чуя это, турбины сбавили обороты. Белосельский поставил телеграф на «стоп».

Он передохнул и осмотрелся.

Теперь «Жорес» плавно отходил от стенки на середину гавани. Гавань, только что казавшаяся невероятно тесной, распахнулась большим озером воды, и до миноносцев показалось ему еще очень далеко. Белосельский прикинул расстояние до них и уже совсем спокойно дал задний ход. «Жорес» пошел назад быстрее, но, видимо, все же ход был недостаточный, чтобы он слушался руля, потому что ветром начало заносить нос вправо. Портнов хотел что-то сказать, но Белосельский уже увеличил ход и выправил машинами корму, опять нацелив ее в щель между миноносцами, и Портнов одобрительно кивнул головой, помогая рулем. «Жорес» шел назад еще быстрее.

Все внимание Белосельского было теперь устремлено на эту

узкую щель. Здесь, бок о бок с другими миноносцами, должен был встать «Жорес». Еще раз или два пришлось поиграть машинами, чтобы точно направить корму в эту щель, и наконец Белосельский весело скомандовал «отдать якорь!» и одновременно дал обеим машинам полный вперед, чтобы остановить стремление миноносца назад.

Но, очевидно, это стремление было слишком велико. Якорная цепь загрохотала с остервенением, быстро высучиваясь из клюза, и по этому грохоту и по тому, как отскочили от нее боцман и комендоры, Белосельский понял, что у «Жореса» опять был слишком большой разгон — на этот раз назад — и что если попытаться задержать его на якоре, то якорцепь тотчас лопнет и «Жорес» врежется кормой в каменную стенку.

Он кинулся к телеграфу, но едва ухватился за ручки, чтобы потребовать от машины самый полный вперед, как почувствовал содрогание палубы под ногами, и мгновенно покрылся потом: уже удар?.. Шипенье пара, рев вентиляторов, эти звуки похода, почти неслышные в море и невероятно громкие в узкой щели между миноносцами, заглушали то, что происходило на корме, но ему ясно почудился лязг сминаемого железа, чьи-то крики и брань, треск раздавленных шлюпок. Внезапная слабость, какой он не испытывал в бою, подкосила его колени, и он уперся руками в телеграф.

Но палуба продолжала вибрировать под ногами длительно и плавно. Миноносец весь трясся в могучем усилии турбин удерживать его губительное стремление назад. Белосельский понял, что в машине приняли свои меры, и уже больше для порядка провел ручки до отказа вперед и поставил их на «стоп».

— Наложить стопора! — скомандовал он боцману и тут же вспомнил, что забыл скомандовать на корму «подать кормовые».

Миноносец стоял между другими, клубясь паром, фыркая и отдуваясь, как горячая лошадь. Белосельский снял фуражку и вытер лоб. Портнов отошел от штурвала и улыбнулся впервые за эти десять минут.

— Вы, товарищ Белосельский, не глядите, что так, — сказал он. — Для первого разу оно тик-в-тик... Слушает носовой мостик, — перебил он себя, снимая телефон. — Есть передать трубку старшему помощнику!

— Слушаю, — сказал Белосельский.

В трубке раздался задорный и веселый голос штурмана:

— Кормовые поданы, трап поставлен!

— Как, и трап? — удивился Белосельский.

— И трап, — подтвердил голос. — Аким Иванович, дозвоьте неофициально... Как же его не подать, когда без малого в Петровском парке были... Лихо швартовитесь, ей-богу! Всю стенку буруном залило, и приборки не надо — чисто, как на палубе! —

Трубка фыркнула, и приглушенный голос добавил: — Докладаю, командир корабля смыли с корабля, замечено расстройство чувств и...

— Ну, хватит,— перебил Белосельский.— Слушайте, штурманец, я тоже неофициально... Черт вас там разберет, с чего вы так, но спасибо...

— Здравствуйте, а за что?

— Ну, за Портнова... и вообще...

— А... кушайте на здоровье, старый должок отдаю...

Белосельский повесил трубку, пошел к трапу, но остановился. Вниз идти не хотелось: мостик, штурвал, телеграф, самый запах (дымом и немного краской), стоявший на мостике, стали необычайно дороги и близки. И даже не хотелось думать ни о командире, ни о комиссаре. Он скомандовал «подвахтенные вниз» и опять вернулся к телеграфу, навсегда вошедшему в его жизнь холодным прикосновением медных своих ручек.

Так его нашел на мостике механик Луковский.

— Ну, Аким Иванович,— сказал он, обтирая пальцы обстрижкой,— хорошо, что ты штурмана подослал, а то бы дров наделали...

— Я его не подсылал,— сказал Белосельский удивленно.

— Ну? А он скатился в кочегарку, отозвал меня: «Сыпь, говорит, Петрович, в машину и гляди в оба. Чичас «Жореса» долбать начнем. Стой в люке и сам соображай, куда твою машинку крутить, вперед аль назад: там твой академик влип...»

Белосельский задумался.

— Это не балаган, Петрович,— сказал он серьезно.— Что ж, поглядим... Вот что. Тут ты, да Портнов, да я — вроде как бюро... Ставлю вопрос о комиссаре. Он знал, что командир выкинул?

— Знал,— сказал Луковский.— Я сейчас тебе об этом расскажу, Аким Иванович.

АНГЛИЧАНИН

Линейный корабль готовился к походу. Съёмка с якоря была назначена на восемь утра.

Несмотря на все свои огромные преимущества перед магнитными компасами, гироскопический компас системы Сперри¹ требует не менее трех часов, чтобы «прийти в меридиан», то есть уставиться на север осью вращающегося в нем ротора. Штурманский электрик Снигирь — хозяин носового гирокомпаса — был заботливым его хозяином. Поэтому уже в половине четвертого он шел к компасу в нижний центральный пост.

Корабль спал вполглаза. Не меньше сотни людей пробуждали его механизм от ленивого якорного сна. В трубах, переплетенных у подволока путаной сетью, потрескивал пар. Из кочегарок доносились гулкие голоса. Кубрики берегли еще синюю сонную полутьму, а машинные отсеки и кочегарки полыхали в открытые люки белым светом многосвечных ламп.

Помещения на линейном корабле отыскивают себе свободное пространство, вклиниваясь между башнями, погребами и трубопроводом хитрыми фигурами, не имеющими названий в геометрии. Среди этих помещений нижний центральный пост своими прямоугольными очертаниями напоминал квартиру из трех комнат. Выходило так, что почти всю эту квартиру занимала артил-

¹ В тридцатых годах (время действия рассказа) корабли Военно-Морского Флота еще не имели своих, советских гирокомпасов. Гирокомпас — сложный электрический прибор, в котором использованы особые свойства быстро вращающегося тяжелого диска (гироскопа). Огромная сила, направляющая ось диска к северу, позволяет использовать гирокомпас для вспомогательных приборов: для указателей курса корабля, работающих от одного гирокомпаса в десятке мест корабля, для приборов, записывающих курс (курсограф) или прямо зачерчивающих его на карте (одограф), для автоматического рулевого, для целей стрельбы (стол Полэна) и т. д. Преимуществами гирокомпаса является его нечувствительность к артиллерийской стрельбе, выводящей из строя магнитные компасы, возможность установки его глубоко в недрах корабля под защитой брони, высокая точность показаний курса корабля.

лерия. Она отхватила себе две комнаты: одну она забила моторами приборов управления артиллерийским огнем (сокращенно именуемыми криком новорожденного: «УАО»), а вторую увесила сверху донизу самими приборами УАО, заняв середину поста столом Полэна — умным механизмом, вычисляющим за артиллериста.

Штурманская же часть, на положении бедного родственника, оказалась загнанной строителями линкора в крохотушку-комнатку. Здесь во время боевого маневрирования, скинув китель в результате борьбы дисциплины с сорокаградусной жарой, обычно изнемогал над картой младший штурман Крюйс, ведя по приборам запутанную кривую пути линкора. Вследствие этой тесноты гирокомпас Сперри пришлось прописать на артиллерийской жилплощади.

Он был установлен в левом углу возле двери в штурманский пост и отделен от артиллерии условной границей медных поручней, подобно тому как отделяют шкафами угол для ввалившегося в московскую квартиру родственника из Тамбова.

Снигирь был штурманским патриотом. Поэтому такое утеснение выводило его из себя. Именно ему принадлежала мысль оградить гирокомпас поручнями, и он с удовлетворением обращивался на каждое шипенье третьего артиллериста, когда тот, наклонившись над столом Полэна, неизменно стучался копчиком о медный прут. Артиллерист был толст, пожалуй, толще младшего штурмана, и ворочаться ему в коммунальной тесноте поста было сложно.

Поручни родились позапрошлым летом на стрельбе, когда стол Полэна публично оскандалился со всем своим электрическим умом. Линкор вертелся вправо и влево, изображая маневрирование при уклонении от атак, — и стол Полэна должен был докладывать артиллеристу изменение направления и расстояния до цели, учитывая каждый поворот и ход линкора. Полэн был в центре общего внимания, как выходящий к финишу вельбот. Он жрал электроэнергию киловаттами, хрустел шестеренками, пережевывая данные, и взасос пил гирокомпасную кровь: компас по гибкому семижильному кабелю сообщал ему курс линкора. Но, к ревливой обиде Снигиря, гирокомпас получил только ядовитые попреки.

— Понаставили тут компасов, повернуться негде!.. — ворчал третий артиллерист. — Надо вашу бандуру подальше в угол сдвинуть...

Артиллерист был сильно не в духе. Он хмуро ложился животом на стол, вводя в Полэна всяческие поправки, и трижды уже сообщил по переговорной трубе в боевую рубку: «Сейчас выправлю...» Снаряды ложились совсем не у щита — Полэн, видимо, врал, как американский репортер.

Неполадка разъяснилась неожиданно. В паузе команд и телефонных разговоров из штурманской клетушки донесся уму-членный голос Крюйса, вслух колдовавшего над картой:

— За полминуты полтора кабельтова... полтора... Где циркуль?.. Курс восемьдесят шесть... восемьдесят шесть...

— Как восемьдесят шесть? — сказал третий артиллерист, отдуваясь. — Что у вас с компасом, Снигирь?

Там, наверху, в боевой рубке правили обычно по указателю кормового компаса — рулевым он больше нравился по причине яркости освещения, — и по нему же вел боевую прокладку и Крюйс. Снигирь наклонился над своей картушкой: носовой компас, включенный на время стрельбы на стол Полэна, показывал семьдесят два градуса.

Снигиря кинуло в жар. Он бросился к уровням. Пузырьки их вышли из рабочего положения. Это означало, что случайный толчок артиллерийского зада вывел гироскоп из меридиана. Компас перестал быть компасом — по крайней мере, на полчаса он превратился в неизвестно для чего жужжащий волчок...

Этот случай привел Снигиря к трем выводам. Во-первых, к изобретению ограждающих компас поручней; во-вторых, к самолюбивой профессиональной мысли, что «полено» ничуть не умнее гироскомпаса и славу свою имеет за счет других приборов; в-третьих, что от неисправности гироскомпаса зависит не только путь корабля, но и целый бой. Последнее еще усилило его любовь к замечательной машине, называемой гироскопическим компасом.

В посту стояла теплая и звучная корабельная тишина. Дежурная лампочка дробила свой свет на артиллерийских приборах. Компас, заботливо накрытый чистым парусиновым чехлом, дремал в углу за своими поручнями.

Снигирь, брэнча цепочкой, вытянул из кармана ключи, ненужно изящные, как от дамского чемодана (они вместе с компасом были сделаны в Англии), и отомкнул решетку распределительной доски. Холодный черный ее мрамор и стекла измерительных приборов, сверкнув, сонно переглянулись. Освобожденный от чехла гироскомпас, поблескивая черным лаком и никелем, покосился на Снигиря своим огромным выпуклым стеклом.

Снигирь привычно и ловко осмотрел «чувствительную систему», к которой доступа после не будет, прошел к моторам и вернулся к доске. Он замкнул рубильник питания. Лампочка над компасом ярко вспыхнула и осветила двадцатидвухлетнего советского парня, готовящегося принять на себя всю заботу и ответственность за поведение сложной и капризной заморской машины.

— Ну, Маруська, поехали! — негромко сказал Снигирь и повернул ротор на примерный курс корабля, чтобы машине не искать меридиан зря по всему горизонту. Потом в течение минуты щелкали рубильники, взвизгивали один за другим моторы, вспыхивали лампочки, вздрогнув, сдвигались под стеклами стрелки приборов, звонко и четко зачищал азимут-мотор, и ровное низкое жужжание врезалось в тишину поста. Спиральная полоса в окошечке кожуха начала падать, указывая, что ротор завертелся в нужную сторону и что механические силы, рожденные электрическим током, начали свою борьбу, приводя ось гироскопа на север.

Снигирь снял телефонную трубку.

— Динамо номер четыре, — сказал он телефонисту.

Трубка защелкала, потом в нее вошел сильный и ровный гул.

— Судинов, ты? Включен носовой компас. Ток с тебя взял... Смотри, я вольтаж записываю, помни — двести двадцать и ни копейки меньше.

— За собой смотри, у нас дело чистое, — ответил телефон. — Ну, пожелаю... плыви! Не вывернись по дороге!

Снигирь сел на разномычку у компаса и раскрыл рабочий журнал. Сквозной договор соревнования специальностей — кочегары (пар), электрики (ток), штурманские электрики (компас) и рулевые (точность курса) — вошел в силу. Энергия, преобразующаяся из огня и воды в путь корабля, на каждом этапе была взята под пристальный контроль.

Впрочем, рулевые еще спали, и рули были недвижны в мутной воде гавани; еще и пар в котлах не вошел в свою полную силу, стояли и турбины, набираясь тепла, и когда еще вздрогнет шпиль, начиная выхаживать якорь, — но гирокомпас уже запел свою хорошую песню.

Снигирь любил компас первой технической любовью, восторженной и ревливой.

Дед и отец Снигиря были поморами. Они десятки лет сражались с нуждой на два фронта: на холодных плацдармах Белого моря и в конторах рыбопромышленника Сизых. Война на море была опасной, но успешной: карбас возвращался, доверху полный серебристыми, подпрыгивающими в сети трофеями. Но десант, высаживаемый Снигирями на непоколебимые крепости Сизых, неизменно терпел поражение. В море всегда казалось, что улов обеспечит семью на полгода, — а в конторе Сизых денежная сила рыбы оказывалась ничтожной: Сизых бил ее ураганным огнем несусветно низких цен. Но больше сдавать треску было некуда. Выходя из конторы и ощупывая в соленых карманах кредитки, Снигири надеялись, что их хватит все же на три месяца жизни. Они несли их в магазин — и там тот же Сизых бил кредитки на выбор прицельным огнем цен, повысившихся

за время плаванья. Но покупать больше было негде. Снигири, вздыхая, брали высокие сапоги, новые сети, смолу для шпаклевки, парусину взамен изодранной океанскими ветрами — и кредитки падали в выручку, как трупы на лобовой атаке. Остатки шли на семью, и их хватало на две недели. Тогда Снигири — дед и отец, — починив карбас, снова шли на морской фронт добывать снаряды для нового сухопутного боя.

На этот фронт Федюшку мобилизовали девяти лет от роду: воловья крепость деда сдала, и лишь вместе с внуком он мог составить одну человеческую силу. Тогда-то Федюшка и увидел впервые компас.

Это был небольшой котелок, хитро приделанный к кормовой доске карбаса. Север он показывал с точностью дерева, поросшего на северной стороне мхом, — не большей. Но и такой он стоил столько же, сколько сам карбас: Сизых отлично понимал, что помору без компаса пути нет, а у берегов главные косяки рыбы не появлялись.

Четыре года проплавал Федюшка с отцом — дед однажды упал в воду, поднимая сеть, и не всплыл. На пятый год море изменилось. На нем появился английский крейсер и стал на якорь около рыбацкого поселка. Крейсер был трехтрубный, огромный и гладкий. Это был первый пароход, который увидел Федюшка (Сизых и тот вывозил скупленную треску на парусной шхуне).

Берег же почти не изменился. Правда, уже год, как урядник перестал носить шашку и поступил к Сизых сторожем. Вместо него порядок в поселке поддерживал Филатычев сын, молодой и наглый парень, всю войну отсидевшийся дома по знакомству отца с урядником. Жить же стало хуже: Сизых еще больше качнул коромысло цен — покупных на рыбу и продажных на товар: первые понизились, а вторые повысились, как связанные друг с другом две чашки весов.

Английский крейсер вошел в Федюшкину жизнь познанием машины.

Это было в пятницу 13 июля 1918 года. День запомнился потому, что отец не хотел выходить в море: нехорошая примета — тринадцатое и пятница. Крейсера на рейде не было уже шестой день. Прошли за мыс и на горизонте заметили пять пароходов. Когда подошли ближе, Федюшка увидел, что ближний пароход тащил лебедкой из воды стальной трос. Трос бежал на палубу, громыхая, круто сгибаясь в блоке стрелы. Вдруг море зашипело пенистым пузырем, и огромная туша живого серебра, выпрыгнув из воды, повисла на стреле. Федюшка разинул рот. Полтора-два карбаса трески бились в сети высоко, под самым английским флагом. Потом сеть будто лопнула: рыба рухнула на палубу, извиваясь безмолвно и отчаянно.

Это была техника — такой ее увидел впервые Федюшка.

— Трал,— сказал отец и хмуро потрогал тяжелую дедовскую сеть.— Сизых опять цены сбавит. Гляди, сколько враз берут. Прорва.

Карбас повернул в море. Но вместо рыбы на этот раз Снигири выловили из воды трех русских матросов. Матросы оказались со сторожевого судна, потопленного вчера английским крейсером. Вся война перепуталась: воевали с немцами, а стали топить англичане. Матросы стучали зубами, один хрипло плакал и матерился в Белое море, в белую гвардию и в белесые богородицны очи. Отец, выслушав, повернул карбас к поселку, держась подальше от английских траулеров.

Крейсер появился внезапно, когда карбас уже подходил к мысу. Отец велел матросам лечь на дно; их закрыли сетями. Круто повернули к берегу. Парус захлопал.

Крейсер рявкнул сиреной и поднял какой-то флаг.

— Мелко, сюда не пойдет,— сказал отец сетям вполголоса, будто на крейсере могли услышать. Здесь начинались прибрежные камни, и фарватер между ними знали только рыбаки.

Но с крейсера упала шлюпка, скользя по талям, и донесся звук мотора. Ветер и бензин спорили недолго. Через пять минут шлюпка была близко и с нее крикнули: «Стоп!»

— Ложись на дно, они враз напорются! — крикнул отец и вырвал у Федюшки румпель.

Федька прилег к сетям. Мотор и вправду затих, шлюпка стала. Но потом мотор снова заработал, только по-иному — реже и громче. Рядом с Федькиной головой правый борт карбаса пошел изнутри колотиться в щепы. Карбас дрожал, и линия расколотов щепы шла к корме, будто борт прошивали швейной машиной. Когда щепка повалилась против сетей, они зашевелились. Из петель высунулась рука с протравленным на коже якорем, она поскребла дно и застыла. Сети вспрыгнули другим концом, и оттуда выскочил матрос, тот, который ругался. Он встал у борта и кричал страшные и бессмысленные слова, грозя кулаками. Вдруг он упал животом на борт и замолк. Тогда качнулся отец. Он откинулся навзничь, голова его ударилась о компас. Стук мотора был ровен и нетороплив: с каждым его звуком голова отца дергалась и будто уменьшалась. Из нее брызгало красное и серо-желтое. Федюшка закричал и кинулся за борт. Рядом были высокие камни, и между ними, плача и задыхаясь, он доплыл до берега.

Без отца и без карбаса жить стало невозможно. Мать сгорбилась и ослабла на глазах. Федюшка работал у Филатыча за харч года полтора, пока до поселка не достигла Советская власть и Сизых не исчез.

Трал и пулемет — две машины, впервые увиденные Сниги-

рем,— легли в основу его любви и ненависти. Ненависть была — англичанам, любовь — машине. Он перечитал все книги в скупой библиотеке артельного красного уголка, составленной из реквизированных у Сизых приложений к «Родине» и из всякой мешанины, присланной из города в порядке культшефства союзом совторгслужащих. Первые рассказывали про любовь, горевшую в графском сердце. Вторые — про преимущества многопольной системы над трехполкой, про спор ревизионистов с марксистами и про влияние раннего символизма на космические тенденции «Кузницы». Но про машину — и те и другие молчали.

Однажды Снигирь обрадованно ухватился за нужную книгу. Она была с чертежами и называлась совершенно ясно: «Конструкция или кулиса?» Оба эти термина были в словаре иностранных слов и обозначали машинные понятия. Но кулиса оказалась театральной, а конструкция — наворотом кубов и лестниц на сцене, что и было показано на рисунках. Второй раз книга попалась нужнее: «Электротехника для монтеров». С голодухи Федор выучил ее наизусть при свете керосиновой лампы: электричества в поселке не выдывали.

В 1927 году Федора Снигиря, только что раздобывшего разрозненные номера «Науки и техники», призвали на военную службу. Проехав до города триста семьдесят верст на подводе, Снигирь, как помор, был определен в Красный Балтийский флот. За следующие три дня он прошел молниеносный путь знакомства с техникой, оглянувшись на телефон в военкомате, едва успев ахнуть на паровоз и восторженно смолкнув на вздрагивающей палубе эскадренного миноносца, перевозившего партию молодых в Кронштадт.

В дни отдыха от строевой учебы молодняк водили по кораблям — знакомиться с флотом. Линкор был набит механизмами и доверху налит электричеством. Не вмещаясь, оно истекало наружу из люков и иллюминаторов столбами яркого света, впитываясь в снег на льду и в скользкое пасмурное небо.

— Товарищ командир, а где тут у вас компас? — спросил Снигирь, отыскивая знакомую технику.

— Компас у нас говорят, — поправил главный старшина рулевой, водивший молодых по кораблю, и поинтересовался, откуда Снигирь знает про компас.

Компас сначала разочаровал. Он был больше похож на часы, вделанные в стену. Потом оказалось, что это — один из двух десятков указателей, расставленных по кораблю, а самый компас, смешно называвшийся «маткой», стоит глубоко внизу и оттуда кружит по проводам эти не понравившиеся Федюшке «часы». Это сразу внушило к нему уважение.

Молодым повезло: для каких-то испытаний кормовая матка работала. Ровное жужжание моторов наполняло пост серьезно-стью, тишиной и великолепием исправной машины. Гирокомпас — большая тумба, поблескивающая черным лаком и никелем, — был открыт. Штурманский электрик стоял у распределительной доски. Две крохотные лампочки на ней ярко горели, как иллюминация в честь техники.

— Компасы у нас электрические, системы Сперри, английские, — начал объяснять главстаршина, а электрик, улыбаясь, смотрел на молодых, затаивших дыхание. Снигирь не слушал. Он стоял, потев в плотной шинели и меховой шапке еще без звезды, уставившись загоревшимся взглядом на черный мрамор распределительной доски. Смутные догадки наполняли его мысль. «Электротехника для монтеров», выученная наизусть, но непонятная, вдруг ожила, превратилась в реальную форму вольтметров, амперметров, рубильников и моторов и, просияв на никелированной вздрагивающей картушке, вновь стала загадочной, уйдя в жужжащий компас.

Вечером он написал заявление с просьбой при распределении по школам назначить его в школу штурманских электриков, упирая на знаменитую «Электротехнику для монтеров», и этим определил свой флотский путь.

В электроминной школе Снигирь испытал первое торжество профессионала. Гирокомпас, разобранный на части, потерял свою таинственность. Тускло сверкая безжизненными подшипниками, ротором, кольцами и винтами, он лежал на столе, как вскрытый человеческий труп. Каждый винт Федор ощупал сам, и каждому винту его научили найти свое место. Сборка шла медленно. Собранную часть снова разбирали, раскидывали по столу и собирали вновь, добиваясь, чтобы эти части ввинтились в мозг так же крепко, как их винты в сталь.

Потом возились с присоединением проводов. Задняя стенка распределительной доски была похожа на коммутаторную доску телефонной станции: сотни проводов сплетались за ней причудливыми черными змеями, покачивая блестящими жалами накопечников. Каждому жалу было свое место — и это место надо было найти, не глядя на схему.

Схем было две: одна № 32 — «основная», другая «полная». «Основную» Снигирь мог начертить наизусть. «Полная» снилась ему по ночам в черных, синих и красных переплетающихся линиях. Это были три тока, действующие в компасе: трехфазный переменный в 90 вольт, постоянный в 20 вольт и постоянный в 6 вольт. Они текли в компас, производили каждый свое умное дело и сбегались в общий минус. На схеме это место называлось «точкой № 9» — и во сне она казалась Снигирю коллективом. Три разнохарактерных тока, каждый со своей работой, бежали

из нее по одному проводу вместе — неотделимые и в то же время несмешивающиеся. Так коллектив соединяет в общей работе разных людей, не обезличивая, но ведет их вместе к одной творческой цели.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СПЕРРИСТА СНИГИРЯ
(Необходимые для рассказа выборки)

Ленинизм есть марксизм эпохи империализма. Непонятно говорил, спросить Григ.

Правый рубильник на верхнюю шину — левый борт боевой цепи.

Кассандра, Кюрасо — крейсера	2
Витториа, Верулам — эсминцы	2
Виндиктив — авианосец	1
Джентиен, Миртль — тральщики	2
Торпедных катеров	3
Заградитель	1
Л-55 — подлодка	1
	12(!)

— английские корабли, утоплен. нами в Балтике в гражданск.
Что чистить ежедневно:
передатчик, контактные колесики,
все реле.

Заявление о приеме на морфак послано при рапорте комроты № 129 командиру корабля.

МАТКЕ КОМПАСА

Спасибо, подруга, тобой я ничуть не обижен:
Весь поход ты покорна была.
Еще долго с тобой нам вместе жить нужно,
Ты с честью свой долг отдала.
Ценю как и твой, так и мой труд совместный,
И штурман нас сам похвалил.
Недаром же целыми днями
К тебе я на чистку ходил.

Крейсер звался «Корнуэлл», ушел из Белого моря, только как свергли белую власть. Спрашивал штурмана, говорит, и сейчас плавает в Англии.

Сказать Костровцеву о реле мотор-генератора и о щетках динамомотора — искрят.

Империализм — то, во что вырос капитализм теперь. Главные империалисты — англичане, потом французы.

«Потомок Чингис-хана». Хорошая лента, как англичан били.

...С побудкой в нижний центральный пост спустился приехавший на поход старший техник гирокомпасного отдела Костровцев. Он поставил на палубу чемоданчик с инструментами и протянул Снигирию руку.

— Живет? — спросил он, кивнув головой на компас.

Снигирь радостно с ним поздоровался. Костровцев когда-то сам был штурманским электриком на подлодке. Он возился с гирокомпасами десятый год, и за немногие часы совместной с ним работы Снигирь узнал о гирокомпасе больше, чем в школе. Там была теория, здесь — практика.

Костровцев был, как всегда, серьезен и немногословен. Он посмотрел на доску, потом на компас. Взгляд его ложился на машину, как пломба: твердо и удостоверяюще.

— Не шалит?

— Не кормовой, Сергей Петрович, — ответил Снигирь тщеславно. — Это у Баева все непорядки, поправка каждый поход разная, передатчик искрит. Затем и приехали?

— Посмотрим вот...

Костровцев сел на чемодан и, вынув по привычке трубку, пососал ее впустую. Курить в посту было нельзя.

— Спеца на это привезли, — сообщил он, пряча трубку, — пять лет у самого Сперри на заводе работал...

Снигирь нахмурился.

— Англичанин?

— Самый стопроцентный.

— Зря! — сказал сердито Снигирь. — Всякого гада на корабль Красного флота пускать...

Костровцев усмехнулся.

— Все еще тебя не убедили? Раз англичанин — так и гад?

Снигирь, меняя разговор, заговорил о реле: опять запахло давнишним спором. В начале знакомства, два года тому назад, Костровцев на балансировке компаса как-то рассказывал о Лондоне, где он был в командировке, о заводе Сперри, о привычках гирокомпаса и о привычках англичан. И тогда Снигирия прорвало. В этом же нижнем центральном посту он изложил причины, по которым всех англичан считал врагами. Тринадцатое июля, пятница, было отправным пунктом. К нему прибавился счет за интервенцию. На чашку весов легли крейсер «Олег» и три эсминца, потопленные англичанами в Балтике: бомбы, скинутые на Кронштадт в 1919 году; расстрел 26 бакинских комиссаров; нота Керзона 1924 года; Хиксовский погром АРКОСа 1927 года.

Костровцев со всем счетом согласился вполне. Он даже прибавил от себя несколько пунктов, которых Снигирь и не знал. Но он разделил англичан на тех, кто должен ответить по этому счету, и на тех, кто должен помочь нам получить по нему.

Снигирию это было известно не хуже его. Еще в школе «на-

циональному загибу» Снигиря был посвящен специальный политчас. Снигирь охотно соглашался на международную солидарность с американцами, французами и особенно с немцами — этих по какому-то Версальскому договору грабили все, кому не лень. За китайцев, негров и индусов он даже прямо стал горой — тогда они казались ему чем-то вроде знакомых ему лопарей, только голых, потому что жарко. Но на англичанах он неизменно впадал в шовинизм. Тринадцатое июля, пятница, ровный стук машинной смерти, голова отца, прыгающая на компасе, — это не забывалось. В конце концов, ведь убивали его отца, Сережкина деда и Пашкиного отца не капиталисты, а именно англичане. Не страшная рожа в цилиндре с оскаленной золотой челюстью, под которой подпись «Капитал», а живые широкогрудые, сытые матросы. Матросы же выходили — пролетариат. Здесь была явная неувязка: пролетариат и англичане?

Неувязку эту Снигирь был вынужден затаить в себе — рота не в шутку начинала доносить кличкой: «шовинизма». Потом, со временем, неувязка эта разъяснилась, когда Снигирь наконец понял, что человечество делится не на нации, а на классы. Эта истина вошла в ум плотно и крепко, как винт в сталь.

Однако все же Снигирь вспоминал порой тринадцатое июля, пятницу, и тогда ненависть привычно обращалась к англичанам.

К семи часам Снигиря подменил Таратыгин — надо было идти завтракать. Он наскоро проглотил чай и ситный и потом специально спустился в кормовой пост.

Англичанин оказался тощим и высоким человеком в плотной синей блузе, надетой поверх рубахи с твердым крахмальным воротником. Он стоял у доски, соображая. Правая щека его неприятно дергалась два раза в минуту. Кормовой компас еще не работал. Баев скучающе хлопал глазами около англичанина.

«Инженер. На наши деньги польстился», — подумал Снигирь и поманил к себе Баева.

— Ну, как он? — спросил он тихо.

— Сердитый. Только и знает — фырть да фырть, швыряется ключами. То нехорошо, это неладно. Ткнет пальцем в реле, головой качает, «но гуд» говорит... Все ему не нравится.

Баев рад был поговорить после вынужденного молчания, но англичанин повернулся и залаял на него, показывая пальцем на вольтметр:

— Уэр-из йор сапляй? Ай-уант ту-ноу йор вольтедж...¹

— Вот все время так, разбери попробуй, а Костровцев куда-то провалился... Шалтай-болтай, зюйд-вест и каменные

¹ Где у вас питание? Мне нужно проверить вольтаж...

пули,—сказал Баев сердито и переспросил, будто это могло помочь: — Что надо?

— Суич-он йор коррент...—сказал инженер нетерпеливо и повторил еще раз раздельно: — Сап-ляй!¹

— Сопля!..—вдруг догадавшись, крикнул Снигирь.—Включи ему судовой ток! Не помнишь, что ли,—«сопля»?

Английское слово supply, обозначающее «питание», было выгравировано на распределительной доске и служило еще в школе предметом хохота, отчего оно и запомнилось превосходно. Но англичанин произносил его иначе: «сапляй», поэтому было трудно сразу догадаться, что речь идет о знакомой «сопле» — то есть о судовом токе.

Баев, фыркнув, подошел к рубильнику.

— Найс бой, э-рилл краснофлотец, уэл!² — улыбнулся инженер и одобрительно ударил Снигиря по плечу.

Тот сжался и, помрачнев, вышел из кормового поста.

На походах Снигирь моря не видел. Он только чувствовал его за двойным дном корабля под ногами. Оно, несомненно, было; стрелка лага, щелкнув, перескакивала, обозначая, что корабль прошел еще восемнадцать метров, указатель скорости покачивал своей длинной стрелкой, картушка компаса, чикая, вдруг начинала плавно катиться — и по этому можно было понять, что линкор шел вперед и поворачивал. В остальном — движения корабля не ощущалось. Огромный корабль, осторожно и бережно пробираясь в предательской тесноте отмелей и рифов Финского залива, давил мелкую волну, ничем не отзываясь на ее толчки.

Нынче поход выдался хлопотливый: стрельбы, правда, не было, но линкор маневрировал. Он резко поворачивал, резко менял хода — и все время приходилось взглядывать на указатель скорости. Передвижение корабля, несущего вместе с собой гирокомпас, вмешивалось в борьбу сил внутри компаса, пытаясь увести его с линии севера. Снигирь предупреждал это, устанавливая каждый раз диск особого коррективного приспособления на новую скорость корабля. Кормовой компас все еще не работал, и вся ответственность за точность курса лежала на Снигире.

От этого у него было приподнятое, праздничное настроение. Компас работал четко, яркий свет заливал пост, ровное жужжание было спокойно и чисто. Хорошо знать, что машина исправна, хорошо знать, что исправностью этой она обязана тебе, хорошо прятать веселую гордость специалиста за внешним безразличием уверенного спокойствия!.. Снигирь даже позабыл об англичанине. О нем напомнил Таратыгин, который спустился в центральный пост подменить Снигиря на ужин.

¹ Включите ваш ток... Питание!

² Славный парень, настоящий краснофлотец!

— Раскусили,— сказал он торжествующе и пустился в сложные объяснения, почему, оказывается, кормовой компас неладно работал.

— Без англичанина не справились-таки,— кольнул Снигирь с ехидцей.— Технички!

— Дался тебе англичанин! — рассердился Таратыгин.— Да и не он вовсе нашел, а Костровцев!

— А зачем тогда этого черта приглашали? — сказал Снигирь непримиримо.— Кланяться всяким, когда у самих головы есть... И неплохие, советские...

— Твоя-то уже очень советская! — съязвил в ответ Таратыгин.— «Шовинизма» и есть, недаром прозвали! Иди ужинать!

Ужинать Снигирь пошел, но после все же заглянул в кормовой пост. Костровцев и англичанин разговаривали у весело чикающего компаса. Баев тоже повеселел — позор с кормовой матки был снят, и она уже пришла в меридиан. Нет ничего обиднее недоверия к твоему прибору.

Английская речь шелкала, култыхала и шипела. Англичанин был виден в профиль, и подергивания его щеки не было заметно. Снигирь смотрел на него с худо скрытой неприязнью. Такие же лица были у тех розовоскулых матросов — резкие, надменные, длиннозубые и бритые. Англичанин повернул голову и, увидев Снигиря, сказал что-то Костровцеву, улыбнувшись.

— спрашивает, ты еще юнга, по-ихнему ученик? — перевел Костровцев.— Отвечай ему, я переведу.

— Сам можешь сказать, знаешь ведь,— ответил Снигирь сердито.— А впрочем, скажи ему, что три года назад я о гирокомпасе и не слыхал, а теперь специалист. Скажи, если потягаться, так я его английскую морду умою, хоть он пять лет на заводе работал. И потом скажи, что я очень рад, что не он, а ты догадался, в чем неполадка была.

Костровцев усмехнулся и перевел, выпустив, очевидно, многое.

— Удивляется, что у нас очень молодые специалисты,— сказал он, когда англичанин замолчал.— А тебя хвалит, говорит — догадливый.

— Черта мне в его похвале! — оборвал Снигирь и вышел из поста.

На верхней палубе его охватила сырость. Она висела над морем, сгущаясь у горизонта в мутную мглу. Финский залив превратился в открытое море без видимых берегов.

Но линкор не уменьшал хода. Видимость оставалась достаточной, чтобы вовремя заметить встречные корабли. В неверной мгле, скрывшей берега с их маяками и знаками, линкор продолжал свой быстрый прямой путь, доверяясь гирокомпасу. И Снигирь ощутил прилив гордости.

...Таратыгин встретил его недовольно:

— Где тебя носит? Сиди тут за тебя, жарища мертвая. Я вентилятор пустил — и то не легче... Что на ужин было?

— Макароны, — сказал Снигирь. — Успеешь, еще сигнала не было.

Он привычно взглянул на приборы, проверил ток в батарее и наклонился к компасу. Курс был семьдесят градусов. И этот курс, последний перед поворотом на Кронштадт, и опустевший после ученья пост, где остался один Снигирь, ясно говорили о конце похода.

Безжизненный до сих пор указатель кормовой матки, установленный здесь для взаимного контроля, вдруг ожил. Картушка его, защелкав, быстро описала почти полный круг и, дойдя до нуля, остановилась. Снигирь усмехнулся: наконец-то включили! Пospели к шапочному разбору... Технички... Весь поход проводились!

Указатель, помолчав, опять защелкал, и его картушка осторожно, будто ощупью, подошла к цифре 70, остановилась и потом равномерно зачихала около нее: кормовая матка начала работать.

Снигирь отметил это в рабочем журнале и прошел на штурманский пост — взглянуть, не греется ли мотор лага. Там было неожиданно прохладно. Вытяжной вентилятор ревел своим широким трясущимся зевом. На решетке его трепетала втянутая сильным током воздуха бумажка с почерком младшего штурмана. Снигирь снял ее и положил на стол — может, нужная.

Мотор был в порядке, и Снигирь вернулся к компасу.

Привычка подняла его глаза к указателям — своему и кормовому, и он остановился в недоумении. Они расходились: свой держался на 70, а кормовой отошел на 63.

— Ну, загуляли, — сказал Снигирь насмешливо и снял трубку прямого телефона в кормовой пост. — Баев? Не успели наладить, как опять сначала? Куда ты выехал? Курса не меняли, курс семьдесят.

Баев встревоженно заговорил в сторону от трубки, и потом голос Костровцева сказал:

— Я и то смотрю за твоим указателем, ползет. Что у тебя с компасом?

— У меня все в порядке, а что у вас? У семи нянек...

— погоди, — сказал Костровцев серьезно. — У нас ничего не могло быть, мы тут все время.

— И я все время!

— Проверь режим. Ты вышел из меридиана.

Снигирь хотел обидно отругнуться, но вспомнил мглу на берегах. Обижаться было не время. Корабль шел по его компасу.

Финский залив — не океан, и аварии в нем меряются градусами курса.

Он проверил показания приборов. Ничто не указывало на неполадку. Он опять позвонил Баеву.

— Проверь себя. Ты рано считаешь, что пришел в меридиан. Наверное, компас еще ходит.

— Поучи еще, — заметил Костровцев. — Что он тебе — на семь градусов ходить будет? У тебя что-то неладно, а не у нас...

Вопрос был неразрешим. Сказать, какой компас вышел из меридиана, мог только штурман, определив место корабля по береговым предметам и сравнив его с курсом. Но берега не было, над ним висела мгла. Именно по этой причине на больших кораблях ставят не два, а три компаса. Но третий компас был снят — его меняли на новую модель.

В трубку донеслась английская речь Костровцева — очевидно, он советовался с англичанином. Потом он решительно сказал:

— Снегирь, ищи у себя! У нас все в порядке, Хьюдсон то же говорит. Доложи штурману, а мы сейчас к тебе придем.

Напоминание об англичанине взорвало Снегиря. Профессиональная гордость специалиста приобрела неожиданную окраску. Он повесил трубку и рывком взял другую.

— Мостик, — сказал он зло.

Он доложил штурману, что курсу верить нельзя, и добавил, что наверняка врет кормовая матка. Штурман согласился: он не имел причин не верить носовому компасу: за исключением случая с артиллерийским задом он никогда не выходил из меридиана, а кормовая матка постоянно подвирала.

— Сейчас пришлю главстаршину, — сказал он, — разберитесь скорее, кто из вас врет, и приведите в меридиан. Пусть Костровцев это сделает, раз он на корабле.

— Есть, — сказал Снегирь, скосив глаза на компас, и с беспокойством поглядел на рабочий журнал, лежавший у самого компаса на табуретке.

Журнал лениво потягивался правой страницей и вдруг перелистнул ее без посторонней помощи. Снегирь прыгнул к компасу, присел на корточки и, облизав палец, подставил его к кожуху гироскопа. Палец свежо заглодел. Все стало ясно: врал компас его, Снегиря.

У кожуха была сильная струя сквозняка. Он тянул в открытую дверь штурманского поста к вытяжному вентилятору. Ток воздуха давил на чувствительную систему, прибавляя к рассчитанной конструктором борьбе механических сил внутри гироскопа еще одну — непредвиденную.

— Вот же болван, жарко ему! — ругнулся Снегирь в адрес Таратыгина, быстро выключая вентилятор и захлопывая дверь. Однако по справедливости он понимал, что Таратыгин был ни

при чем: сквозняк создал он сам, Снигирь, открыв дверь в штурманский пост.

Компас врал по его недосмотру. Это был факт. Но фактом было и то, что англичанин идет сюда с Костровцевым. Сейчас они переглянутся с улыбкой, и Костровцев позвонит штурману, что носовой компас врет и править надо по кормовому. Это значило: профессиональный позор, нарушение договора, насмешки рулевых и подначка штурманских электриков, а над всем этим — презрительная улыбка англичанина.

Потом Костровцев сдвинет брови и осторожно начнет приводить компас в меридиан. Для этого нужно было только подавить пальцем его чувствительную систему — подавить с нужной стороны, с нужной силой и нужное время. Однажды Костровцев это делал, и Снигирь помнил напряженное выражение его лица: компас мог «вывернуться». Он мог запрокинуться в «следящем кольце» и начать биться в нем, как сильный свирепый молодой зверь, жужжа высоким воем раненного насмерть животного... Мог заскочить нижний направляющий штифт, и тогда уровни и ртутные баллистические сосуды будут сломаны яростной силой взбесившегося прибора...

Снигирь стоял над компасом, быстро соображая. Ошибка была сделана, и скрыть ее было нельзя. Но можно было исправить последствия этой ошибки. По крайней мере, тогда на презрительный взгляд англичанина можно будет ответить таким же взглядом.

Снигирь вытянул над компасом руки, сощутив глаза и делая пальцами странные движения, будто гипнотизер, усыпляющий больного. Это было репетицией: «правило штопора» вспоминалось не умом, а пальцами.

— Пузырек восточного уровня бежит к пальцу... Так... я давяю сюда, картушка пойдет сюда... Значит — наоборот: я сюда, она сюда...

Все казалось возможным и легким, кроме одного, преодолеть сантиметр воздуха между пальцем и блестящей трубкой уровня. Казалось, стоит его коснуться — и компас мгновенно «вывернется».

Палец застыл у уровня. Он дрожал, как нож в руке молодого хирурга, первый раз делающего разрез живого человеческого тела. Палец не мог преодолеть сантиметр воздуха, пропастью легший между теорией и практикой.

Секунды летели. Гирокомпас угрожающе гудел и лгал: штурману, кораблю и Красному флоту. Англичанин шел к нижнему центральному посту.

Снигирь глубоко вздохнул и, задержав выдох, вдруг приложил палец к уровню.

Уровень был как живой. Он упруго воспротивился и не дви-

нулся с места. Зато картушка побежала вправо — туда, куда она и должна была пойти по правилу штопора. Снигирь тотчас отнял палец.

Это было совершенно замечательно.

Снигирь улыбнулся и стал дышать свободнее. Он пригляделся к курсу и вновь коснулся уровня. Картушка на этот раз чуть перевалила цифру 63. Снигирь коснулся уровня с другой стороны. Победа сделала его наглым. Теперь он добивался точности.

Снигирь выпрямился и тут только заметил, что пот непрерывной струей льет по ребрам, а сердце колотится, как звонковое реле. Сам Костровцев не мог бы выполнить этот смелый и опасный маневр быстрее и аккуратнее. Гирокомпас был побежден Снигирем окончательно.

— Что, взял?.. На-кося выкуси! — сказал он вслух и показал гирокомпасу кукиш. Кукиш, конечно же, относился к англичанину.

— Дурак, — сказал сзади голос Костровцева.

Снигирь обернулся. Костровцев стоял у трапа, а за ним тянулась длинная фигура англичанина.

— Дурак! И вредный притом, — повторил Костровцев. Он был серьезен и не на шутку зол. — Геройствуешь? Чудеса показываешь, да? Грех скрываешь, а о корабле не думаешь? А если бы ты компас вывернул?

— Не вывернул бы, — сказал Снигирь, тоже рассердившись. — Я же сообразил сперва, а потом тронул. Не с маху. Мозги тоже есть.

— Не в мозгах дело, а в компасе!.. Ты компас мог разгромить, понимаешь ты, чучело?.. Я десяток лет с компасами возжусь — и то бы задумался.

— А я третий год. Только теперь три года за десять лет идут, товарищ милый. Темпы! — отрезал Снигирь победоносно и взял телефонную трубку. — Мостик дай, — сказал он с торжеством, косясь на Костровцева. — Старшего штурмана попросите, носовая матка... Товарищ командир, носовой компас врал на семь градусов из-за сквозняка... Приведен в меридиан, работает исправно... Нет, я тут один был... Сам и привел...

Потом он замолчал и долго слушал трубку. Лицо его вытягивалось.

— Есть, товарищ командир, — сказал он упавшим голосом и повесил трубку.

Костровцев хитро на него посмотрел.

— Дымится? Кажется, ничего фитилек вставили... смотри, штаны прожжет!

— Да ну, какого там черта... — сказал Снигирь, краснея до слез.

Самолюбие его было уязвлено. Он понял, что геройство его

оказалось в уничтожающих кавычках. Ни штурман, ни Красный флот в этом геройстве не нуждались. Оно было вызвано ложным самолюбием, а причиной этого был англичанин.

Он посмотрел на него с открытой ненавистью.

Англичанин, показав длинные зубы, что-то стал говорить Костровцеву, кивнув головой на Снигиря.

— Он говорит, что хороший специалист никогда не будет рисковать без толку, — сказал Костровцев. — Он говорит, что ты должен был подождать нас. Он говорит, что ты молод и немного горяч, а специалист должен быть всегда спокоен.

— Пусть у себя учит, — сказал Снигирь зло. — Здесь не Англия.

— А еще он говорит, — опять стал переводить Костровцев, — что однажды у них на «Корнуэлле»...

— Где? — обернулся Снигирь, точно его ударили.

— На «Корнуэлле», крейсер такой английский, он на нем всю войну плавал...

Снигирь побледнел, и в глаза ему плеснул восемнадцатый год.

Он посмотрел на англичанина. Лицо его казалось теперь знакомым. Не слушая, что продолжает говорить Костровцев, Снигирь вызывал из мучительно-плотного тумана мальчишечьей памяти вечер тринадцатого июля, пятницы, во всех его страшных подробностях.

Он обошел компас и взглянул англичанину прямо в лицо. Оно неприятно дергалось правой щекой. Глаза улыбались.

— Атт, сука... — сказал Снигирь и беспомощно оглянулся.

На трапе показались ноги главстаршины, и Снигирь кинулся к люку.

— Товарищ главстаршина, мне срочно к штурману!.. Подмените!..

Старшему штурману ужин приносили на мостик. Он кончал суп, придерживая левой рукой бинокль на груди, когда в рубку вошел Снигирь.

Штурманские электрики, попадая на походе на верхнюю палубу, любили подыматься на мостик. Здесь согласно и четко работали указатели, вел свой автоматический дневник курсограф, записывая на разграфленной ленте курс корабля. На особом столе ползал одограф — его карандаш чертил по карте путь корабля, пробираясь между пунктирами отмелей. Именно за ним любили следить хозяева гирокомпасов. Он воплощал собою всю точность электронавигационного дела — маленький прибор, который плывет по карте, в совершенстве копируя движения корабля по воде.

Штурман подвинулся к столу, давая дорогу Снигирю, и, за-

пихивая в рот хлеб, кивнул ему на одограф: любуйся, мол. Но Снигирь остановился у стола.

— Разрешите, товарищ командир, с личным делом?

— Мгм,— сказал штурман, кивая головой: кусок оказался велик.

— Товарищ командир, у нас тут англичанин...

— Точно,— сказал штурман, прожевав, и подцепил на вилку котлету.

— Я видел его в восемнадцатом году в числе матросов крейсера «Корнуэлл», которые расстреляли у нас в поселке русского матроса и двух рыбаков,— сказал Снигирь, бледнея.

Штурман перестал есть и положил вилку.

— Расскажите толком,— сказал он. Скулы его сжались, и на щеках выступили два неподвижных желвака.

Снигирь рассказал.

Тринадцатое июля не закончилось расстрелом карбаса. Англичане высадились в поселок. Они искали тех, кто доплыл до берега. Кроме Федюшки, доплыл третий русский матрос. Мокрые штаны Федюшки оказались уликой. Офицер в пиджаке с золотыми кругами на рукавах отодвигался от Федюшкиной матери. Она ползала по полу, хватаясь за длинные остроносые его ботинки. Федюшка сухими глазами смотрел на английских матросов (слезы кончились еще в воде). Тот, что стоял у двери, был высоким и тощим, и щека его неприятно дергалась. Потом они ушли, не тронув Федюшку. Дверь осталась открытой. В нее долетели сухие трески винтовочных выстрелов рядом.

Убитых похоронили на следующий день. Их было трое: русский матрос, Пашкин отец, во дворе которого нашли матроса, и Сережкин дед. Его пристрелили, потому что он ударил английского матроса, тащившего отца Пашки из избы.

— Вы не обознались? — спросил штурман, гася папиросу.— Дело серьезное, товарищ Снигирь...

— Нет,— ответил Снигирь твердо.— Я бы не узнал, если бы Костровцев не сказал, что тот плавал на «Корнуэлле». Лицо я потом вспомнил. Он постарел.

— Ну, пошли,— сказал штурман и открыл дверь.— Яков Яныч! — окликнул он младшего штурмана.— Я сейчас поговорю с командиром и спущусь вниз. Курс шестьдесят девять с половиной, так и идите.

У комиссара Снигирь повторил рассказ полностью. Комиссар собирался бриться. Горячая вода стояла на умывальнике, но ей привелось бесполезно остыть.

— Так. Позовите сюда Костровцева, товарищ Снигирь, и можете пока быть свободны,— сказал комиссар официально и потом кивнул головой: — Молодец, Снигирь! Никогда не забывай про классовую бдительность!

В пост Снигирь вернулся как пьяный. Он не мог уже быть спокойным. Нервы его натянулись.

«Классовая бдительность», — сказал комиссар. «Шовинизма», — говорили ребята. Не все ли равно, откуда родилась эта ненависть? Она принесла плоды, и плоды эти пьянили Снигиря ощущением победы.

Как будет дальше? Он — английский подданный. Англия прикрывает его своим пышным флагом.

Вышлют из Союза... И только? А может, арестуют?

Снигирь уперся взглядом в указатель скорости. Английские буквы на нем издевались. Стрелка покачивалась насмешливо, будто палец перед носом, когда человек говорит: «Ни-ни!» Потом она резко качнулась вправо и заколебалась у цифры 12. Поход кончался.

Перед постановкой на якорь в нижний центральный пост спустился Костровцев. Он посмотрел на Снигиря внимательно и удивленно, точно увидел его в первый раз.

— Ну, как там... с англичанином-то? — спросил Снигирь, будто спокойно.

— А вот станем на якорь, приходи на партсобрание. Открытое. Комиссар сказал, чтоб ты обязательно был, — ответил Костровцев, отводя глаза в сторону...

Кают-компания быстро наполнялась, и Снигирь едва успел занять место в одном кресле с рулевым Владычиным, как вошел комиссар, а за ним англичанин, Костровцев и командир корабля. Они прошли к столу, и собрание открылось.

— Слово для доклада предоставляется политэмигранту товарищу Бэну Хьюдсону, — сказал комиссар и первым хлопнул в ладоши.

Снигирь опешил, но, пока трещали аплодисменты, сообразил, что комиссар бьет на эффект: пусть сперва тот поговорит, а потом он предложит Снигирю сорвать с него маску.

— Переводить будет товарищ Костровцев, он в Англии был, ему и карты в руки, — сказал комиссар, садясь. — Скажи ему, пусть начинает.

Англичанин встал, заметно волнуясь.

— Кóмредс, — сказал он и быстро произнес длинную фразу.

— Товарищи, — сказал Костровцев, смущаясь и отодвигая пальцем воротник кителя, — прежде всего он просит позволения... передать вам... — Он махнул рукой и быстро закончил: — Одним словом, приветствует Красный Балтийский флот от имени Английской коммунистической партии и все такое прочее...

Командир улыбнулся, и, пока хлопали, он, наклонившись к комиссару, что-то ему сказал, смотря на англичанина. Тот тоже улыбнулся и стал говорить медленнее, Костровцев, запинаясь, переводил:

— Товарищи! В нашем общественном... общем деле освобождения рабочих всего мира большим... как это... препятствием служат национальные переборки...

— Перегородки,— подсказал командир, и англичанин опять улыбнулся, смотря на Костровцева.

— Верно, национальные перегородки... Сейчас я болен... Но тут обо мне он... дело, так сказать, личное.

Командир, окончательно рассмеявшись, встал.

— Товарищи,— сказал он,— маленькая неувязка. Товарищ Хьюдсон сказал дословно следующее: «Вот сейчас я мучаюсь, видя перед собой впервые советских матросов, целый коллектив партийцев-матросов, и не имея возможности говорить с ними на одном языке. Боюсь, что товарищ Костровцев несколько неточно передает вам мои слова. Это тоже одно из проклятий национальных разделений...»

Смех прокатился по собранию, и кто-то крикнул:

— Просим, товарищ командир! Переводите сами!

— Пожалуй, я буду не лучше предыдущего оратора. А впрочем, попробую.

Он повернулся к Хьюдсону и обменялся с ним несколькими фразами.

— Провалил, Костровцев,— сказал комиссар, укоризненно качая головой.— А еще в Лондоне жил...

Костровцев, сконфуженный, но довольный, сел, вытирая платком шею.

— Кóмредс,— опять начал Хьюдсон, и командир стал рядом с ним.

Он был широк в плечах, спокоен и прост. Тридцать семь лет несколько отяжелили его, и говорил он, как стоял: плотно, широко и уверенно.

Говорить он привык, и говорил хорошо, не задерживаясь на середине фразы и обходясь без неизбежных «так сказать», «значит» и прочих ненужных слов, употребляемых ораторами в качестве уловки, пока мысль не оформится в слово. Он переводил сразу по две-три фразы, останавливая англичанина поднятой рукой.

Следующей мыслью Хьюдсона была оценка Красной Армии и Флота как армии класса, а не нации. Это бесспорно для вас, сказал Хьюдсон, и это с каждым днем укрепляется в сознании разорванного на нации пролетариата.

Англичанин! На этом слове висит проклятье многих наций, сказал Хьюдсон. Оно звучит последней бранью в устах индуса, негра, бушмена.

Англичанин! Англия шлет в колонии самых твердых и жестоких слуг английского капитала. Именем Англии прикрываются его страшные дела.

Англичанин! Это слово туманит ум многих, заливает глаза кровью и зовет к мести.

«Смотрите, как ненавидит нас с вами мир,— говорят нам банкиры и фабриканты.— Нас ненавидят за то, что Англия сильнее всех, что она обеспечивает каждому англичанину благосостояние, за то, что она дает работу вам, английским рабочим, а не немецким. Нас ненавидят как представителей единственной нации, которая сумела утвердить свое место под солнцем. Смотрите, как весь мир хочет уничтожить нас, англичан!»

Так говорили нам, матросам крейсера «Корнуэлл», в 1914 году, когда мы переменяли в погребах практические снаряды на боевые. Тогда мы не знали, что мир делится не на нации, а на классы. Я был сперристом. Билли Кросс был рулевым. Это он сказал мне первый об этом. Я рассмеялся — это придумали немцы, чтобы ослабить Англию. Мы топили немецкие подводные лодки. «Там такие же рабочие, как мы,— говорил Билли.— Почему мы их убиваем, ты знаешь?»

«Корнуэлл» метался по всем океанам. Мы обстреливали где-то у Африки остров. На нем была деревня. Билли сказал: «Там такие же крестьяне, как мы».

Война все же надоела. Она закончилась. Мы думали отдохнуть. Но через месяц мы опять приняли боевые снаряды и пошли в Белое море.

«Вот Россия,— сказали нам. Берега были унылы.— Та Россия, которая изменила Англии. Она продалась немцам и бросила нас в самый тяжелый момент войны. Измену она назвала революцией. Мы пришли сюда наказывать изменников, из-за которых были убиты лишние тысячи англичан».

Это было понятно. Но Билли вечером сказал:

— Бен, а зачем здесь болтаются траулеры?

— Очевидно, ловить треску,— сказал я.

— Так ведь воды русские?

— Они изменники,— сказал я.

— А мы грабители,— сказал он.

Билли повернул дело иначе.

— В России революция,— сказал он,— власть взяли рабочие и крестьяне. Они не хотят, чтобы их треску ловила английская фирма. Ведь это английская фирма, Бен?

Я задумался. Тогда Билли стал наседать:

— Что бы ты сказал, Бен, если бы французские траулеры пришли в Дорн-Кеп и стали у тебя под носом ловить треску? И если бы французский крейсер отгонял бы тебя от трески снарядами? Твои дети голодали бы, Бен?

Надо сказать, что до службы я был рыбаком.

— «Корнуэлл» здесь не затем,— сказал я,— мы помогаем

свергнуть в России власть, которая заключила предательский мир.

— «Корнуэлл» здесь затем, чтобы охранять траулеры рыболовного акционерного общества Ферст,— сказал Билли.— «Корнуэлл» здесь затем, чтобы поддерживать порядок в новой английской колонии, называемой Северной Россией. Эта колония, изобилующая рыбой, нужна Ферсту. Кому же мы служим, Бен: Англии или Ферсту?

Это я увидел своими глазами. Мы были в море. Траулеры ловили треску. Нас подозвали сигналом. Капитану сообщили, что их обстреляло сторожевое судно под красным флагом. Мы дали полный ход и к вечеру увидели его на горизонте. Мы потопили его третьим снарядом. На другой день мы подходили к месту стоянки. Я был свободен от вахты. Наше отделение вызвали наверх и приказали взять винтовки. Мы сели в катер и пошли на берег. Там оказался поселок, не видный с корабля. Это был рыбачий поселок. Сети сушились. Лодки были перевернуты, и смола в пазах днища пахла точно так же, как в Дорн-Кеп.

Лейтенант сказал:

— Надо найти людей с рыбачьей шлюпки, которые доплыли до берега. Они не подчинились сигналу. Вы узнаете их по мокрому платью. Это большевики.

Большевики были те, кто заключил с немцами мир. Их называли предателями. Но Билли рассказал мне о них другое. Я хотел посмотреть, что это за люди. Многие они говорили верно, если правильно рассказывал Билли.

В одном доме мы нашли мальчика. Он был в мокром белье. Лейтенант сказал:

— Бесчеловечно наказывать детей. Оставьте его.

Лейтенант был настоящим англичанином. Англичанин не бьет беззащитных, говорили нам в школе.

Рядом мы нашли мокрого человека между пустыми бочками. Он был в матросской форме. Это был первый большевик, которого я увидел.

— Где хозяин дома? — спросил лейтенант.

Никто его не понял. Большевик стоял и плевался сквозь передние зубы, редко и спокойно. Унтер-офицер позвал меня и прошел в дом. Мы взяли там рыбака. Когда мы повели его на улицу, к нам подбежал старик и ударил унтер-офицера по лицу.

— Большевик! — сказал унтер-офицер и доложил лейтенанту.

Мы поставили большевиков к сараю. Рыбаки провожали нас глазами. Я смотрел на сети. Они были такие же, как в Дорн-Кеп.

Старик умирал тупо. Он так и не понял, что его убили.

Рыбак плакал и что-то говорил. Матрос умер превосходно. Он воспользовался несколькими английскими словами, которые знал. Он поднял руку и ткнул себя в грудь.

— Матрос! — сказал он и показал на нас. — Тоже матросы. — Потом показал на рыбака. — Пролетарий! — И опять на нас. — Тоже пролетарий.

Потом повернулся к лейтенанту и сказал:

— Офицер, хозяин, убийца! — и великолепно выругался по-английски.

Лейтенант скомандовал:

— К стрельбе!

Мы подняли винтовки. Матрос вскинул голову и плюнул сквозь зубы в сторону лейтенанта.

Мне показалось, что большевик был прав. Рыбак был такой же, каким был я до службы. Билли тоже был прав.

Я опустил винтовку. Лейтенант посмотрел на меня.

— Хьюдсон, не валяйте дурака, — сказал он. — Вы слышали команду?

— Да, сэр, — сказал я. — Я стрелять не буду.

— Огонь, — скомандовал он, и остальные выстрелили.

На корабль меня привели под конвоем. Я получил два года военной тюрьмы. Это была хорошая школа. Мертвый большевик привел меня в партию. Она достала мне чистые документы и послала на завод Сперри. Там делали гирокомпасы и была большая партийная работа.

Когда разгромили Аркос, мы вышли на манифестацию протеста. Нас арестовали. Докопались до моей настоящей фамилии. Меня приговорили к пяти годам и отправили в колонии. Не буду рассказывать, как я бежал на родину. Она оказалась здесь, у вас, — родина угнетенных всего мира.

Сегодня меня узнал тот русский мальчик, который был в мокром платье. Теперь он краснофлотец. Он здесь, среди вас. Мне сказали, что он ненавидит англичан. Мне кажется, он не понимает, кого он должен ненавидеть. Я англичанин. Он обвиняет меня в том, что я расстреливал тогда матроса и рыбаков.

Его глаза ослепляет кровь. За ней он не видит, кто действительно убил его отца и расстрелял тех троих. Эта же кровь промыла мои глаза, и я стал видеть как надо. Если моя жизнь не убедила его в том, что не все англичане — его враги, я прошу его об этом сказать.

— Товарищ Снигирь, имеются ли у вас вопросы к докладчику? — спросил командир, и всем показалось, что он вдруг заговорил по-русски. О нем забыли: хотя переводил он, но все смот-

рели на Бена, на дергающуюся его щеку и на его английские длинные зубы. Теперь все повернулись к Снигирию.

Снигирь очнулся. Кровавый туман плыл в его глазах. Через него, через тринадцатое июля, пятницу, через рухнувшую стену национальной вражды он крикнул хрипло и взволнованно:

— Нет! Не имею!

1931

РОЖДЕНИЕ КОМАНДИРА

Порыв ветра донес с бухты хрустальный перезвон склянок, и нетерпеливо шагавший по пристани лейтенант почти бегом поднялся по ступеням мимо безмятежной парочки, пристроившейся в тени колоннады. Он взглянул на них со злостью, смешанной с откровенной завистью, и застыл у колонны в позе отчаявшегося ожидания.

Девушка проводила взглядом его ладную и крепкую фигуру. Золотые нашивки на рукавах белого кителя сияли предательской новизной, явно указывая, что владелец их ходит в лейтенантах не слишком давно.

— Бедняга! Видно, она уже не придет, — сочувственно сказала девушка и пожала пальцы собеседника (который еще ни разу не опоздал на свидание).

— Свинство! — согласился тот и добавил с железной логикой влюбленного: — Чудесный ветерок, не правда ли?

Лейтенант нервно закурил папиросу и зашагал вдоль колоннады. Девушка опять взглянула на него с жалостью: наверное, разрыв. Разве так мучают человека, если хоть немножко его любят?.. Лейтенант опять остановился, взглянул на часы и потом решительно пошел вниз, к пристани, где стояли красивый военный катер и большая пузатая шлюпка.

Со ступеней он еще раз (о, неистребимость надежды!) обернулся на площадь, просиял и бегом ринулся навстречу. Девушка невольно привстала на скамье, всем сердцем поняв его порыв. Но она увидела только грузовик, какие-то ящики на нем, четырех краснофлотцев и вспотевшего флотского доктора, с которым лейтенант вступил в оживленную беседу, пока краснофлотцы быстро и ловко спускали ящики на асфальт.

Беседа (которую девушка не могла слышать) пошла о медицине вообще и о самом докторе «с его дурацкими клистирами» в частности. Неужели доктор не мог сообразить, что пока он

возился со своими «банками-склянками», подул этот паршивый ветер и теперь придется подымать шлюпки на порядочной волне? Неужели ему не понятно, что до съемки с якоря осталось меньше двух часов? Почему, наконец, он не позвонил с вокзала о задержке?.. Доктор, вытирая пот, оправдывался, что на вокзале никакого ветра не было, что в накладной оказалась ошибка, что телефон решительно ни при чем, ибо до линкора сорок минут ходу, а времени осталось больше полутора часов, и что лейтенант, очевидно, не успел развить в себе основных качеств командира — выдержки и спокойствия. Ящики тем временем были погружены на баркас, доктор и лейтенант во взаимном неудовольствии прошли мимо девушки вниз, мотор на катере загрохотал и пустил из-под кормы синюю струйку, на баркасе поставили флаг, сразу же вытянувшийся в тугую цветистую плоскость, и катер, отделившись от пристани, дернул тяжелый баркас и повел его в бухту.

И хотя ветерок, лирически названный влюбленными «чудесным», все свежел и уже в самой бухте появились барашки, но лейтенант заметно успокоился. Самое неприятное осталось на пристани.

Приказание было точное: принять в шлюпочной мастерской баркас № 2, погрузить доктора с аппаратурой рентгеновского кабинета и отваливать на корабль, не опаздывая к походу. Но доктор проковырялся с приемкой все утро, подул ветер, все неожиданно осложнилось, и впервые за свою недолгую командирскую службу лейтенант Тимошин вынуждался к поступку чисто командирского свойства: решать самому — и одному! — и решать правильно.

Сперва он решил ждать ровно до трех, накинув необходимое время на погрузку, на переход по волне и на подъем катера и баркаса на палубу. Но уже без четверти три ему показалось, что погрузить «клистиры» на баркас — минутное дело и что можно подождать до четверти четвертого.

В три часа, размышляя о том, как он появится на линкоре без доктора, он почти услышал уничтожающую интонацию помощника командира: «Так, по-вашему, у нас две шлюпки поднимают полчаса?» — и доктор тотчас получил амнистию еще на двадцать минут.

Но подошел и новый срок, и лейтенант встал лицом к лицу с основным вопросом: оставить корабль на весь поход без врача (старший был в командировке) или задержать съемку с якоря, согласованную с действиями других кораблей эскадры? Вопрос был настолько грозен, что он малодушно кинулся к телефону, чтобы убедить дежурного по штабу флота запросить линкор по радио: ждать или отваливать?

Но пока в трубке щелкало и клохтало, он представил себе, как встретят на корабле такую паническую радиogramму, и ему

стало неопровержимо ясно, что уменьшать ход на волне, пожалуй, не придется и что в запасе времени он перехватил. Он повесил трубку, решив подождать «ровно до четырех», и вышел на пристань в состоянии, близком к отчаянию: если доктор не появится в четыре, все равно придется решать самому, и тогда будет поздно спасаться даже ценой радиопозора. С горечью признавшись себе, что из него никогда не выйдет настоящего командира, он зашагал по пристани, отлично понимая, что и «ровно в четыре» он не отвалит, ибо основной вопрос — ждать или не ждать? — так им и не решен.

Но теперь, когда катер, покачиваясь, бойко шел из бухты, лейтенант повеселел. Взглянув на часы, он с удивлением обнаружил у себя в запасе, сверх всех накидок на волну и на ветер, еще лишние полчаса (которые он, хитря с самим собою, набавил просто так, для верности), и тогда он успокоился окончательно. Даже сизая туча, которая стремительно и низко надвигалась к морю от гор, заставляя темнеть воду в бухте, не смогла испортить его настроение, и он весело болтал с краснофлотцами. Доктор же, наоборот, примолк, чувствуя, что, если бы в накладной не оказалось ошибки, путешествие, и точно, было бы спокойнее. Доктор плавал первый год и морю не особенно доверял.

На рейде волна оказалась еще крупнее. Гребни рассыпались белой пеной по неприветливой темной воде. Ветер дул с берега, холодный и резкий, срывая порой брызги и захлестывая их в катер. Когда, пройдя мыс, повернули к видневшемуся вдали линкору, волна круто повалила катер на правый борт и потом начала швырять его с боку на бок. Лейтенант оборвал разговор и встал рядом со старшиной у штурвала. Ветер и волна, бившие в левый борт, явно сносили катер в море, и баркас начал время от времени сильно дергать корму буксиром. Но и это по сравнению с переживаниями на пристани казалось пустяками: тут, по крайней мере, было известно, что делать.

— Потравить буксир! — крикнул он на корму и, с удовольствием убедившись, что на длинном буксире баркас перестал дергать катер, повернулся к штурвалу. — Еще лево... Вот так и держите, на крайний эсминец!

Он спрыгнул вниз и, присев на корточки, ловко закурил, охватив спичку ладонями, и потом посмотрел на доктора, героически мокнувшего под брызгами на наветренном борту.

— Коли бы не ваши клистиры, давно бы дома были, — сказал он ядовито и потом добродушно прибавил: — Да чего вы там мокнете? Идите сюда.

Доктор отрицательно мотнул головой. При каждом размахе катера сердце его замирало, и он упирался ногами в палубу, откидываясь к борту, как бы стараясь выпрямить этим катер. Тот валился больше на правый борт, и доктору казалось неблагора-

зумным перегружать собою подветренный борт, где и так сидели краснофлотцы и куда вдобавок сел и сам лейтенант. Удивительная беспечность у этих молодых командиров! «Клистиры»! Он неприязненно посмотрел на Тимошина. Подумаешь, морской волк! Небось на пристани растерялся, а тут бодрится... И чего он суется с приказаниями? Нет, брат, Тюлина не тебе учить, Тюлин четвертый год на катерах ходит, не в такую волну выбирался... Вот опять вскочил! Разве можно в такую погоду по катеру прыгать?

Тимошин опять встал рядом со старшиной и, сморщившись, взглянул против ветра на сизую тучу, уже нагонявшую катер. Потом снял колпак с компаса, заглянул в него и крикнул старшине:

— Править по компасу, курс триста!

— Есть курс триста,— ответил Тюлин, и доктору показалось, что ответил с усмешкой. Оно и понятно: какой там компас, когда линкор — вот он, как на ладонке, и ходу до него полчаса. Вот расслужился, юнец!

Тимошин опять соскочил вниз и повернулся к доктору.

— Ух, и ливень будет! — сказал он почти с удовольствием. — Промокнут ваши клистиры, и ящики не спасут. Брезента небось не взяли?

Доктор хотел было вконец обозлиться за «клистиры», но, вспомнив, что о брезенте он и впрямь утром забыл, потому что жара была собачья, смолчал.

— Ладно,— милостиво сказал Тимошин и закричал во весь голос: — На баркасе! Ящики прикройте! Снять чехол с рангоута, чехлом и парусами прикрыть!

— Есть прикрыть,— долетел с баркаса голос старшины, и краснофлотцы в баркасе зашевелились. Доктор, осторожно приподнявшись и крепко держась рукой за борт, увидел, как вздулась в их руках девственно-белая парусина. Внезапно она стала темной. За воротник потекли холодные струйки, все кругом заревело, и баркас исчез из глаз.

Это налетел шквал с плотным косым дождем. Китель на Тимошине стал тоже темным, золотые нашивки как бы потускнели. Он нахлобучил фуражку и повернулся лицом к линкору. Впереди встала сизая мгла, и дальше второй волны ничего не было видно. Тюлин, легши грудью на штурвал, всматривался в компас, то и дело обтирая лицо рукавом, а лейтенант, сделав ладони трубочкой, прикрыл ими глаза, разглядывая кипенье воды впереди. Потом он откинулся назад:

— Товарищ Корнев, пройдите на бак впередсмотрящим! Осторожнее, смает!

Корнев, аккуратно завязав ленточки бескозырки вокруг шеи, пошел на нос, цепко хватаясь за поручни. Доктор, весь съежив-

шись под ливнем, проклинал себя. Дернуло его самому отправиться за грузом! Проветриться захотел, извольте видеть! Но кто же знал, что такая буря будет? Он достал платок, свернул его жгутом, заложил за воротник и застыл в несчастной позе. Еще минут пять катер качался в сизой мгле шквала, потом с бака донесся голос Корнева:

— Справа по носу предмет!

— Лево на борт,— тотчас ответил Тимошин.

Катер рыскнул влево, волна подняла его нос, и корма глубоко ушла в воду. Ведро полтора воды плеснуло в корму, ноги доктора мгновенно промокли, и он выглянул за борт: «предметом» в этой мгле мог быть и желанный линкор. Дождь больно хлестнул ему в глаза, впереди была все та же косая водяная пелена, а Тимошин вдруг очень громко и тревожно скомандовал:

— Стоп!

Ровный рокот мотора внезапно оборвался, Тимошин и Тюлин переглянулись, и доктор догадался, что произошло что-то неладное. Краснофлотцы тоже, очевидно, это поняли, потому что свесили головы за борт, разглядывая что-то на воде. Тимошин, нагнувшись, открыл люк машинного кожуха и заглянул туда. Минуту он переговаривался с мотористом, потом выпрямился и достал папиросу. Закурить ему не удалось, фокус с ладонями что-то не выходил, и он выкинул мокрую папиросу за борт.

— Намотали, Тюлин,— коротко сказал он, достал еще одну папиросу и спрятал ее обратно.

Только теперь из начавшихся переговоров доктор понял, что произошло. Шторм сорвал сети, поставленные рыбаками под берегом, и унес их в море. «Предмет», оказавшийся буйком, был обнаружен внезапно у самого катера, и, когда Тимошин скомандовал «стоп», винт уже остановился сам, намотав на себя сети.

Катер опять стал бортом к волне и изменил качку. И хотя размахи ее не увеличились, но она показалась доктору опаснее прежней: катер мотался на волне беспомощно и жалко, и доктор вдруг со страхом понял, что каждый удар волны относит их в море. Он беспокойно оглянулся. Ливень уменьшился, баркас опять стал виден, но линкора и кораблей сквозь частую сетку дождя найти ему не удалось. Он взглянул на Тимошина. Тот стоял в раздумье, расставив ноги и качаясь с катером.

— Может, задним ходом разматываем, товарищ лейтенант? — спросил Тюлин.

Тимошин покачал головой и обернулся, оглядывая краснофлотцев. И, словно поняв его взгляд, один из них снял фуражку и, зажав ее между коленями, потянул с себя форменку. Тимошин дождался, когда лицо его показалось из-под вздувшейся материи, и спросил, как о самой обыкновенной вещи:

— А как ныряете, товарищ Фомин?

— Подходяще, — ответил тот и скинул брюки.

Тимошин поискал глазами:

— Конечу приготовить и нож!

Фомина обвязали тонким концом. Тюлин хозяйственно привязал к его голой руке и нож. Фомин стал на борт и, дождавшись, когда катер положило, нырнул.

— Враз не срезать, — сказал другой краснофлотец, Паньков, и, сев на банку, начал деловито снимать сапоги. Он успел снять оба и стащил уже брюки, когда с другого борта показалась рука с ножом. Фомина вытащили.

— Холодная? — спросил Паньков.

Фомин взглянул на него, тяжело дыша. На голом мокром его плече шла широкая кровавая полоса.

— Об обшивку бьет, не поранься... А вода ничего, — сказал он, обтирая плечо. — Сеть не режь, режь верхнюю подбору... И грузик какой возьми, наверх сильно тащит.

Лейтенант подозвал Тюлина, и они втроем посоветовались. Потом Тюлин хитрым узлом привязал к ноге Панькова полупудовую балластину, взял конец в руки, а Тимошин вынул часы.

— Отдать якорь! — засмеялся Фомин, когда, подняв обе руки вверх, Паньков бухнулся в воду.

Тимошин с часами в руках стоял у борта. Когда прошла минута, он взмахнул рукой. Тюлин рывком дернул конец. Паньков выскочил из воды, как пробка, и Тюлин вытащил освобожденную от него балластину. Фомин подошел к борту.

— Срезал? Или еще лезть?

— Срежешь ее, черта! — сказал Паньков и потянулся за брюками. — Смоленая она.

Тюлин присвистнул, и все посмотрели на лейтенанта, доктор тоже, хотя он и не совсем понимал, почему эту «подбору», оказавшуюся смоленой, нельзя просто снять с винта. Но одно было ясно: катер запутался в сетях, и его несет вместе с ними в море, а шторм не собирается стихать, и с кораблей их не видят. Этого было достаточно, чтобы представить себе, где застанет их следующее утро (если оно вообще их застанет). Он оттянул от тела промокшие брюки и вдруг обозлился: разве можно было доверять катер в такую погоду только что выпущенному из училища лейтенанту? Опытный командир не напоролся бы на сети, настоящий командир и сейчас что-нибудь бы придумал, стал бы на якорь, что ли... В раздражении доктор забыл, что «такую погоду», собственно, устроил он сам своей задержкой, что в сизой мгле шквала наскочить на сети, болтающиеся далеко от берега, мог и самый опытный командир и что под катером была глубина, которой не достал бы якорь.

— Ну, товарищ лейтенант, что теперь делать будем? — спросил Тюлин.

«Чего делать?» Второй раз сегодня служба требовала, чтобы Тимошин оправдал свои командирские нашивки. На этот раз дело шло не о самолюбии, а о более серьезных вещах — о катере, баркасе, рентгене и о людях.

Лейтенант стоял спиной к краснофлотцам, бесцельно смотря в серую мглу дождя. Повернуться он не мог, боялся, что на его лице все прочтут растерянность. Он вдруг поймал себя на том, что думает совсем не о людях, которые ждут от него, комсомольца и лейтенанта Красного флота, решительности, спокойствия и умения, а о том, как глупо все это получилось. Конечно, надо было отваливать, не дожидаясь доктора. Надо было на пять секунд раньше догадаться, что этот боек означает сети... Он испугался этих бесполезных мыслей: надо было... Что надо сейчас?..

Волна вдруг сильно накренила катер, а буксир, переползший к борту, не дал катеру вовремя встать. Вода опять хлынула в корму, и Тимошин услышал высокий вскрик доктора:

— Что же делать? Давайте что-нибудь делать, тонем!

В этом крике была явная паника, и Тимошина точно подкинуло. Он резко повернулся, столкнулся взглядом с доктором, и тот испугался еще больше: во взгляде Тимошина доктор прочел растерянность. И тут же лейтенант понял, что выдал себя с головой. Нестерпимый стыд поднялся в нем жгучей волной. Глаза его сузились, и, с отвращением посмотрев на прыгающие губы доктора, он грубо крикнул:

— Краснофлотец ранен, а вы сидите! Перевязать краснофлотца!

Резкий его тон отрезвил доктора. Лейтенант оглянул остальных, боясь встретить еще в ком-нибудь страх. Все опять подняли на него глаза. В них было такое спокойное ожидание приказаний, что он невольно обернулся: нет ли за ним командира? Но сзади были только вздыбленное море, серая пелена дождя и баркас.

А командиром, на которого все смотрели, был он сам.

Баркас плавно и мерно покачивался сзади, показывая то борт, то палубу. Ящики стояли в нем, прикрытые намокшей парусиной. Тимошин посмотрел на них с неожиданным любопытством. Некоторое время он разглядывал их, соображая, потом присел на корточки, достал папиросу и ловко закурил от первой же спички, прикрывая ее ладонями.

— Товарищ Паньков, — сказал он весело, — придется еще разок нырнуть. Тащите-ка эту сволочь на борт, обрубим... Зубило есть?

Сеть была вытащена на катер. Толстый смоленый трос, твердый и негибкий, держал ячейки сети, и доктор понял, почему его

нельзя было ни перерезать, ни размотать с винта. Ударами зубила отрубили оба конца. Буксир стало медленно относить. Катер был освобожден от тяжелого груза сетей, но винт по-прежнему оставался в плену у обрывка троса, и доктор недоумевающе посмотрел вокруг: что же изменилось?

— Подтянуть баркас! — скомандовал Тимошин. — Товарищ старшина, останетесь с прислугой на катере. Возьмем вас на буксир, понятно? Остальные — в баркас! Живее, бьет!..

Серая туша баркаса была уже рядом с бортом. Она нависала над ним на волне, готовясь его стукнуть, но вдруг оседала вниз, и катер сам норовил ударить баркас. Прыгать пришлось с умом. Наконец оттолкнулись, и баркас начало относить ветром. Тимошин встал на корме баркаса.

— Штормовое вооружение ставить! Одну фок-мачту в средний степс, понятно? — сказал он и, дождавшись, пока разобрались в рангоуте и в снастях, скомандовал: — Рангоут ставить! Куда вы ванты потащили, Паньков? Мало под парусами ходили? Сюда! Так! Завернуть здесь вот...

Тимошина точно подменили. Он лазил по баркасу, помогая, показывая, что надо делать, шутил, подгонял и нетерпеливо посматривал на волну. Мачта была поставлена, паруса разобраны, он вернулся на корму, взялся за румпель и, вдруг став серьезным, крикнул:

— На фалах!..

Он изогнулся, всматриваясь в волну, и, улучив момент, закончил команду:

— Паруса поднять!

Парус, подхваченный ветром, резко надулся, захлопал над головами, баркас лег набок и рванулся вперед. Лейтенант следил за буксиром. Буксир быстро натягивался, и в тот момент, когда он готов был рвануть баркас всей тяжестью неподвижного еще катера, Тимошин двинул рулем. Баркас стал против ветра, дернулся, потеряв ход, и потом, осторожно уваливаясь под ветер, стал плавно забирать ход, таща за собой катер.

— Теперь пойдет — хоть песни пой, — сказал Тимошин и поудобнее сел на банке. — На шкотах не зевать! На руках держать, а то и перекинет... На баке, вперед смотреть!

— Есть смотреть! — донесся веселый голос Корнева.

Баркас под штормсзым вооружением шел в полный бакштаг — самый выгодный и безопасный ветер в шторм. Волна, шипя, кренила его так, что захватывало дух, но верная и сильная шлюпка, выпрямляясь, летела вперед. Мутная пелена дождя уходила в море. Лейтенант взглянул на часы и удивился: прошло всего полчаса — те самые полчаса, которые он утаил от самого себя в мучительных колебаниях на пристани. Он вспомнил это и усмехнулся.

— Справа по носу предмет! — крикнул с бака Корнев, и доктор опять привстал: что еще могло быть?

Но Корнев весело поправился:

— Отставить прѣдмет: справа по носу линкор, товарищ лейтенант!

— Есть! — ответил тот и вдруг недовольно оглянулся.

«Эх!» — сказал он про себя и, встав во весь рост, крикнул:

— На катере? Флаг поставьте! Забыли?..

По правилам, флаг должен быть на буксируемой шлюпке, и подойти к линкору следовало в полном порядке.

«ОТВЕТ ВРАГУ»

Доклад заканчивался.

Бумаги одна за другой переходили с правой стороны раскрытой папки на левую, и каждый раз в низком свете настольной лампы сверкали нашивки на рукаве докладывавшего.

Он говорил негромко. Слушавший его флагман отвечал еще тише, и в паузах, когда он углублялся в чтение, покачивая над листами толстым, но очень остро отточенным синим карандашом, тишину кабинета нарушал лишь шелест перелистываемых страниц и сухой треск разворачиваемого чертежа или карты.

Если бы цифры, буквы, условные знаки чертежей могли звучать, в кабинете стоял бы грохот пневматических молотков, вой сверл, визг пил и басистое гудение турбин, а легкий треск чертежной бумаги звучал бы гулом тяжелых орудий и плотными взрывами мин: доклад имел темой вопросы строительства большого военно-морского флота.

Но бумаги и чертежи умели хранить тайну. Они, как и скрытые в них корабли и орудия, были молчаливы. До поры до времени...

— Ну, все? — спросил флагман.

Докладывавший взял синюю ученическую тетрадку, лежавшую в папке последней.

— Да вот, не знаю, товарищ флагман флота первого ранга... — сказал он и усмехнулся. — Письмо вам. Личное и совершенно секретно...

Флагман откинулся в кресле. Видимо, он очень устал, веки его набрякли, и лицо осунулось. Он крепко потер ладонью коротко стриженный затылок и потом с силой провел ею по всему лицу от левой скулы к правому виску, забирая в ладонь щеки и нос. Очевидно, это его освежило, потому что, когда он открыл лицо, глаза его смотрели на докладывавшего весело и хитро.

— А! — сказал он оживленно. — Это что, про могучий снаряд?.. Ну, ну, давайте!

Он поудобнее сел, потянулся за папиросой и раскрыл тетрадь.

На клетчатой бумаге старательным почерком было выведено крупно:

МОГУЧИЙ СНАРЯД «ОТВЕТ ВРАГУ»

Проект
тов. Патковского Миши,
пионера Зайсанского отряда
имени Ворошилова,
ученика 5-го класса,
12 лет, сына пограничника
энского отряда

Внизу стоял адрес школы и приписка: «Обязательно прошу ответ».

Вторую страницу занимала так же тщательно переписанная цитата из речи председателя Совнаркома на сессии Верховного Совета и внизу — опять тревожная приписка: «Обязательно, очень прошу ответ по адресу! Потому что я выдумал это все сам, оттого что теперь все мы должны помогать, потому что нашей стране нужен могучий военно-морской флот».

На третьей — автор приступал к изложению. Сперва он сообщал данные о себе. Он жил в городе Зайсане, в Восточном Казахстане, у самой китайской границы, и признавался, что моря никогда не видел, но что читал о нем книги и что старший брат Васи, лучшего его приятеля, три года назад вернулся со службы на Балтийском флоте и много рассказывал о кораблях.

Затем излагались причины, заставившие автора «много задуматься над обороной СССР»:

«Я знаю, какое могучее будущее ждет меня потом в моей жизни, ведь я пионер, потом буду комсомольцем, потом членом партии. Тогда наш Казахстан расцветет, будет кругом железная дорога и разработки гор, так как у нас есть свинец, медь, каменный уголь и др. Тогда наш Зайсан будет быстро расти, как растение, которое поливают. Я не хочу сказать, что наш Зайсан сейчас плохой, нет — он хороший, и я всегда буду его защищать, тем более рядом граница. Но дело в том, что у вас в центре жизнь кипит, как в самоваре вода, а, наоборот, наша жизнь тиха, как в пруду вода. Но нет! Это ненадолго, скоро и наш Зайсан будет могучей столицей Восточного Казахстана, тем более рядом граница, и пусть угнетенные китайцы скорей увидят наши небоскребы, наше метро, и Дворец юных пионеров, и могучие колхозы вокруг и пусть скорей сделают все это у себя.

И нам надо защищать наш могучий город, но у нас китайцы мирные и бедные, и в Зайсане войны не будет, а главная война будет на море, и вот что я придумал для нашего военно-морского флота.

Васин брат нам рассказывал, что он читал, будто фашисты выдумали могучий снаряд под названием «Человек-торпеда», и что туда ложат человека, и он управляет торпедой, и подгоняет ее к самому кораблю, и метко целится без промаха, потому что ведь он сам с этой торпедой вместе. Потом взрывает корабль наовсе. И, конечно, сам притом тоже взрывается наовсе, потому что он сам лежит в этой торпедо, где порох. И что будто у фашистов найдутся смельчаки, которых будут ложить в эти торпеды, они будут целить в наши корабли и взрывать их и сами, конечно, тоже взрываться вместе.

И мы тогда заспорили, что у нас такие герои тоже есть, и даже сколько угодно, и что и Вася, и я, и все пионеры нашего отряда тоже не испугаются лечь в такую торпеду, а потом мы пошли в класс и не доспорили. Но потом я много задумался и сказал Васе, что я в торпеду не ляжу. А когда он начал тюкать и говорить «трус», я преспокойно сказал, что это одни глупости и что пусть фашисты умирают, а нам надо не умирать, а побеждать, чтобы самому быть целым и строить дальше освобождение трудящихся. А так умереть вовсе не фокус, что всякий дурак сумеет, и никакого геройства тут нет, и эти фашисты — дураки и просто задаются, а лучше выдумать не могут. И я сказал, что обязательно выдумаю, и уже начал думать, а потом забыл, потому что получил одно «плохо» по русскому и стал заниматься, и о войне некогда было. А потом, когда изучали в отряде сессию Верховного Совета, я вспомнил обратно и стал думать.

Теперь расскажу, что придумал, а вы, товарищ начальник, обязательно дайте ответ, верно я придумал или нет, может, ошибся, но я думаю — верно.

Надо такие торпеды обязательно делать и у нас. И чтоб они были могучие и взрывали корабль наовсе с одного разу. Туда надо положить очень много пороха и сделать две машины — одну в торпедо, ну, про эту вы знаете, а другую — ту, что не знаете: сзади торпеды — там, где лежит человек, как я нарисовал. И пусть она ходит быстро, быстрее, чем сейчас, быстрее всех.

И тогда он в этой торпедо быстро подойдет к кораблю и будет целить, как тот фашист, потому что он ведь тоже с торпедой вместе. А вот потом, когда будет совсем-совсем рядом и уж на-верное попадет, — тогда пусть нажмет, где у меня нарисована кнопка. Тогда он от торпеды отцепится и в маленькой лодке, которая была сзади торпеды со второй машиной, пусть быстро поворачивает обратно и быстро едет к своим, чтоб его не задави-

ло, когда корабль начнет падать. И тогда он опять берет вторую торпеду, прицепляет ее, как у меня нарисовано, и опять идет на врага. И так и далее. Дурак фашист раз взорвет и взорвется сам, а наш герой еще лучше научится, как взорвать другой корабль.

Обязательно дайте ответ, что надо еще придумать.

Извините, что плохо нарисовал, пусть инженеры срисуют, как надо, и пришлют мне, я проверю,— но и так все понятно. Главное, что человек отцепляется, чтобы не умирать, а побеждать, вот это — герой!

И я назвал этот могучий снаряд «Ответ врагу». Пусть так и называется, когда выстроите. Чтоб они знали, что мы все равно лучше их придумаем, и пусть не задаются...»

Конец тетради занимали рисунки и чертежи могучего снаряда. Флагман внимательно рассматривал их, и ждавший его улыбки собеседник так ее и не дождался. Флагман наконец поднял глаза, и собеседник увидел в них мягкую ласку и волнение.

— «Надо не умирать, а побеждать!..» — повторил вслух флагман, бережно закрывая тетрадь.— Удивительные у нас ребята растут!..

Он встал и подошел к книжным шкафам, на которых стояли модели кораблей. Подставив стул, он снял модель торпедного катера и, вернувшись к столу, протянул ее докладывавшему.

— Отправьте-ка это Мише... А письмо ему я сам напишу.

Письмо и посылка всколыхнули весь Зайсан.

Флагман писал Мише, что проект его замечательный, но что, к сожалению, он уже осуществлен с небольшими техническими изменениями и называется торпедным катером, модель и описание которого прилагаются. И еще писал флагман, что он приказал напечатать Мишино письмо в газете, потому что Миша очень хорошо ответил фашистам, и что действительно героизм не в том, чтобы взрываться вместе с торпедой, а чтобы уметь и вовремя отцепиться, и все-таки победить.

В конверт была вложена еще отдельная записка:

«Кстати, надо говорить не «ложат», а «кладут», не «ляжу», а «лягу».

— Ну и что ж! — сказал Миша, весь красный от стыда, волнения и счастья, вертя в руках модель.— Катер так катер... Я не обязан все знать! А я еще придумаю. Я все равно фашистов перепридумаю!

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

(Из фронтовых записей)

I

В январе тысяча девятьсот сорокового года над Балтикой вновь прозвучали слова, от которых веет славой девятнадцатого года, — «матросская рота». Старая боевая слава балтийских матросов революции ожившей легендой встала над страной — непоколебимая, непреклонная и гневная, какой она была в незабываемые годы гражданской войны. Через двадцать лет третье поколение балтийцев, подхватив героическую эстафету, подняло эту старую славу на новую высоту, озарило ее новыми подвигами во имя революции, во имя родины.

И если б могли встать из холодной балтийской воды отцы и братья наши, моряки-балтийцы, погибшие здесь в лютой неравной борьбе с флотом и армиями интервентов, и если б глянули они на наши корабли и самолеты, на наши подлодки и береговые орудия, на нашу молодежь и на героев наших — «Эх, и славное выросло племя! — сказали бы они. — Хорошие сыны повзростали!..». И еще подивились бы они, как ходят подлодки наши сквозь лед и под лед, как летают самолеты наши сквозь облака и над облаками, как стреляют орудия наши сквозь броню и под броню¹. И узнали б старики свой веселый боевой дух, балтийский победный дух, могучий и неукротимый, — узнали б и в делах Балтийского флота, и в шутках его моряков, и в стремительности атак, и в беззаветности героизма, и в непреклонной воле к победе.

Это название — «матросская рота» — не вошло ни в приказы,

¹ Буквально, ибо наши орудия порой стреляли под броню укреплений, засыпая амбразуры дотов подброшенной взрывами землей, чтобы сделать их «слепыми».

ни в сводки. Оно родилось само собой в заснеженных лесах на берегу Финского залива, где в лютой стуже бок о бок с частями Красной Армии балтийские краснофлотцы прогрызали линию Маннергейма. Как в дни гражданской войны, когда на призыв Ленина Балтика мгновенно выставила первый экспедиционный отряд в десять тысяч матросов, так и теперь Краснознаменный Балтийский флот послал на берег своих бойцов, оказавшихся под угрозой «безработицы», поскольку Финский залив замерз до самого Балтийского моря. Это была флотская молодежь, в огромном большинстве своем комсомольцы — ученики флотских школ, едва начавшие службу, артиллеристы береговой обороны, краснофлотцы с кораблей, скованных льдом, краснофлотцы кронштадтских фортов, сделавших свое дело в первые дни войны и потом силой событий очутившихся в глубоком тылу. «Матросской ротой» в этом отряде прозвали лыжников-краснофлотцев.

Морозная ночь. Недвижно и таинственно стоит густая чаща высоких елей, и лишь по тому, как она обрывается, будто срезанная ножом, понятно, что здесь берег окончился и начался лед. Берег и лед неразличимо завалены глубоким, по пояс, снегом, и белая его пелена уходит в бесконечность, в белесую неверную мглу ущербной луны. В таинственном этом мерцании бесшумно и быстро проносятся белые тени. Они похожи на привидения, и только по жаркому дыханию, слышному, когда тени эти проходят вплотную мимо тебя, угадываешь под белыми халатами молодые разгоряченные тела.

Это «матросская рота» пошла на лед. Куда? Может быть, в обход на десятки километров, в тыл островной белофинской батарее; может быть, в смелый рейд по глубоким тылам; может быть, в разведку в такие же густые таинственные леса, где стреляет каждое дерево и взрывается каждый пенек; может быть, в дерзкую лобовую атаку прибрежных укреплений... Везде побывали наши балтийские лыжники, и везде наносили они врагу чувствительные удары.

«Матросскую роту» водил по льдам капитан Лосяков. Голос его, простуженный в пятисуточном лежании на льду, отказал, и для передачи команд пришлось держать при себе одного из лыжников в качестве «усилителя». Он водил их тогда, когда простреленная левая рука повисла на перевязи, а обмороженное лицо исчезло под бинтами, водил и тогда, когда получил вторую рану. Боевым его другом и верным помощником был батальонный комиссар Богданов. Не раз военком доказывал свои командирские качества и личное мужество, и не раз капитан Лосяков поручал комиссару серьезные боевые задания, посылая с ним половину отряда в разведку, в обход, в бой.

Это был закон балтийского отряда: комиссар и политрук — замена командира в бою. И второй закон: коммунист и комсомолец, береги в бою своего командира.

Вот как выполнялись эти два закона.

Небольшая группа краснофлотцев-лыжников, бывшая на разведке в тылу врага, оказалась в труднейшем положении. Внезапно вспыхнувший прожектор и ливень ружейно-пулеметного огня, хлынувший из засады, отделили эту группу от остального отряда, и она попала в окружение сильнейшего противника. Командир отделения Морозов сразу же был ранен. Тогда команду принял на себя политрук Николай Доброскоков. Он сумел вывести краснофлотцев из огня и повел на прорыв. В жестоком рукопашном бою, пробиваясь сквозь чащу леса, сквозь превосходящие силы врага, уходили к своим лыжники.

Среди них отлично дрался Александр Посконкин, молодой комсомолец, начавший флотскую службу всего четыре месяца назад. Уже шестерых белофиннов уложили в снег его меткие пули и гранаты, когда внезапно в неверном свете луны он заметил на снегу перекатывающуюся груду тел: это белофинн «вручную» душил Морозова, придавив его всем своим телом, и не давал тому вытащить прижатый им наган. Стрелять было нельзя — можно было попасть в своего командира. Под градом пуль, летевших из чащи, Посконкин ринулся на помощь к командиру. Изловчившись, он сбросил с него финна ударом штыка, подхватил Морозова к себе на плечи и, отстреливаясь, вынес его из боя. Он пронес его на себе по льду девять километров до берега, сдал на перевязочный пункт, поправил лыжи и помчался к отряду...

Стремительные и выносливые лыжники-краснофлотцы были той боевой частью, которую можно было послать куда угодно — в шестидесятикилометровый марш на острова, во внезапный налет на фланг, на выручку и поддержку атакующим укрепления частям. Но они же умели, если надо, сутками лежать на льду.

Это было в середине февраля. Мороз окончательно распоясался, и тридцать градусов ниже нуля считались без малого оттепелью. Балтийский отряд брал береговые противодесантные укрепления. Они были расположены на горе, в лесу — не видные под снегом и ветвями броневые и бетонные доты. Лес перед ними был полон снайперов, гнездившихся на деревьях в меховых спальнях мешках и на выбор бивших по любой цели, показавшейся на снежном пляже и на льду перед берегом. Балтийцы залегли в торосах, в четырехстах метрах от берега. Пять суток провели они на льду, прячась за торосами. Достаточно было приподнять над льдиной шлем, чтобы в него щелкнула пуля

снайпера или короткой точной очередью хлестнул пулемет из амбразуры дота. Четыреста метров ровного льда, засыпанного снегом, были непроходимы. Но краснофлотцы преодолели это страшное голое пространство и ворвались в укрепления.

Для этого они прибегли к способу, получившему название «подснежного плавания».

Днем балтийцы лежали за торосами, изредка развлекаясь охотой за снайперами. Кто-нибудь поднимал над торосами шлем или высовывал на мгновение руку — в ледяной барьер тотчас ударяла снайперская пуля, а соседи присматривались, с какого дерева бьет очередная «кукушка». Тогда подозрительное дерево прошивали пулеметом, и порой ветви его приходили в движение, обсыпая снег, и вниз тяжело падало тело. Других занятий днем в «ледяном сидении» не было.

Ночью же торосы оживали. С тыла по льду приходили в отряд друзья-балтийцы. Они привозили на санках, на спаренных лыжах цинки с патронами, термосы с горячим флотским борщом, родную газету «Боевая балтийская», отпечатанную тут же в лесу на хитром агрегате из грузовика, фанеры и типографской машины (которую самоотверженно вертел сам редактор, заменяя мотор). Потом, к заходу луны, краснофлотцы пускались в опасный путь по открытому пространству, где, кроме снега, не было никакого прикрытия от пуль.

Им помогала точная стрельба балтийских артиллеристов. Далекая батарея клала снаряды в доты и перед ними прошивала шрапнелью прибрежный лес, усеянный снайперами. Но ни один снаряд не падал в заветное пространство в четыреста метров между торосами и берегом, оставляя дорогу для наступления. За этим следил молодой лейтенант, «полпред» артиллерии на льду: за много километров от своей батареи он корректировал ее огонь, пользуясь услугами радиста Андреева, притащившего в торосы трофейную финскую переносную станцию.

Веря в точность балтийской артиллерии, краснофлотцы по одному отправлялись в «подснежное плавание», вплотную к разрывам наших снарядов. Они оставляли ненужные им теперь лыжи, вырывали в снегу перед торосами подобие снежной ванны, ложились в нее и, прижавшись подбородком к груди, опустив голову, начинали сверлить надетым на нее стальным шлемом ход в снежной стене. Медленно, метр за метром, они ползли в снегу, как кроты, скрываясь от тех белофинских стрелков, которых не отогнала от амбразур артиллерия. Так они проползали открытое пространство, добирались до берега и там окапывались, зарываясь в снег и в землю.

На четвертые сутки белофинны, очевидно, поняли этот маневр. Они решили рассчитаться с балтийским отрядом. На по-

мощь осажденным укреплениям пришла тяжелая артиллерия острова Биорке. Она открыла огонь.

Первый десятидюймовый снаряд разорвался метрах в двухстах от торосов, где засели балтийцы. Черная вода проступила в образовавшемся озерке...

Одно дело — быть под обстрелом тяжелыми снарядами на земле и совсем другое — на льду. Черное озерко убедительно доказывало эту разницу. И радист Андреев, молодой краснофлотец, до сих пор считавшийся отважным и спокойным бойцом, внезапно сдал, потеряв «политико-моральное состояние». Он, видимо, забыл про свои коды и шифры и закричал тонким, пронзительным, полным ужаса голосом прямо в микрофон:

— Товарищ лейтенант! Нас нащупало Биорке... Накрытие... бьют прямо по отряду!.. Передайте на Красную Горку, пусть стреляет по Биорке, а то нам капут!..

Новый взрыв заглушил его слова. Второй снаряд упал там же, в отдалении от балтийцев, и даже ни одного осколка не просвистело над торосами, но Андреев продолжал панически требовать в микрофон, чтобы огонь Биорке подавили, ибо «второй снаряд разорвался в самой середине отряда...».

К Андрееву подползли комсомольцы, возмущенные и яростные. Они готовы были вырвать у него из рук микрофон, но Андреев, прикрыв микрофон ладонью, сказал неожиданно спокойным, нормальным голосом:

— Не хватай, дура! Они же меня слушают...

И снова он продолжал разводить панику в эфире, зорко следя за падением белофинских тяжелых снарядов вдали от торосов.

Станция была, как сказано, трофейная, с определенной длиной волны, и не раз Андрееву приходилось перебраниваться на этой волне с белофиннами. Расчет его оказался верным: белофинны на Биорке, подслушав «ценную информацию» со льда, усилили огонь. Десятки огромных снарядов с упорством, достойным лучшего применения, долбили лед вдали от отряда. Скоро там образовалось целое озеро...

Проморочив так врага порядочное время и заставив его потратить впустую достаточное количество снарядов, Андреев прекратил свою «корректировку». Прекратился и обстрел ни в чем не повинного льда. Видимо, на батарее решили, что отряд в торосах уничтожен полностью.

А ночью лыжники своим «подснежным плаваньем» окончательно перебрались на берег и ринулись в решительную атаку.

На другом, далеком участке фронта действовал еще один балтийский береговой отряд. Задача была неотложная: переместить позицию батареи, форсировав реку. Быстрая финская река

не дала льду окрепнуть — он выдерживал людей, но не мог бы выдержать орудий. Кроме того, даже лютый мороз, не дававший людям вздохнуть полной грудью, не смог сковать быстрину реки на ее середине — и там бежала темная, стылая и стремительная вода. Ближайший же мост, в тридцати километрах отсюда, был взорван.

На лед вышли краснофлотцы. Ночью, в мороз, на пронизывающем ветру они ломами, топорами и пешнями начали рубить лед и поднимать его глыбы, обжигающие руки. Трое провалились под лед. Их вытащили, обогрели и зачислили в больные. Но скоро «больные» опять появились на льду, вгрызаясь в него с удесятеренной энергией. К середине ночи придумали рационализацию: лед разметили на участки и, вместо того чтобы дробить его в куски, стали вырубать большие квадраты, которые подпихивали под кромку льда, предоставляя быстрому течению реки доканчивать работу. Но ледяная вода и при этом способе, сильно ускорившем дело, все же продолжала обливаться и ноги и руки. Люди коченели на ветру, шинели их смерзались в негнущуюся жесть, но никто не оставлял работы до самого рассвета.

Две ночи подряд провели краснофлотцы в ледяной воде, пока не вырубили широкого канала, длиной больше полукилометра. Тогда орудия и тракторы погрузили на баржу и, облепив с обеих сторон, повели ее «вручную» в это небывалое плавание.

Морские орудия вспомнили кое-что из опыта гражданской войны. Где надо — их устанавливали на немыслимые «плавучие средства», добиваясь возможности подойти с ними по малым глубинам к самому берегу, во фланг белофиннам, чтобы точной морской стрельбой выгнать врага из прибрежных укреплений. Где надо — орудия появлялись на железнодорожных платформах, и из окна паровозной будки, всматриваясь в путь, выглядывал краснофлотец, и ветер трепал его ленточки не хуже, чем на мостике. Где надо — их перевозили на резиновых понтонах, надутых мощным дыханием краснофлотских легких, перевозили в шторм через проливы между островами, удивляясь сами своей балтийской выдумке, перехитрившей пролив, слишком мелкий для любого корабля или баржи.

В одной из таких перевозок тяжелых орудий на понтонах у самого берега произошла незадача: понтон, нагруженный броневыми плитами орудийных оснований, выпустил воздух, ударившись на волне об острый камень, и тяжелые плиты скользнули в холодную декабрьскую воду. Тотчас за ними прыгнули «охотники». Две плиты были сразу обнаружены и вытащены на остров. Третья же пропала... А остров ждал морских батарей, а корабли требовали скорее обеспечить им новую базу, защитить ее огнем орудий, а водолазов в этом пустынном и отдаленном

пункте не было, а доставлять сюда новую плиту — значило терять несколько драгоценных суток...

И поэтому поочередно бродили краснофлотцы у берега по горло в ледяной воде, пытаюсь отыскать плиту на стук. Они брали с собой длинную палку и простукивали ею дно, нащупывая гладкую поверхность плиты. Часто такой поверхностью оказывался плоский камень — и все начиналось сначала. Наконец опять спасла балтийская выдумка. Помощник командира батареи приспособил для поисков сильный магнит из некоего прибора, бывшего под рукой. Он подвесил его на веревочку, крякнул и полез в воду. Несколько раз он лазал в воду, проходя заранее рассчитанными курсами и пробуя опускать магнит на дно: прилипнет или нет? Магнит в конце концов прилип, и за плитой ринулся в воду весь состав батареи. Через несколько часов упрямое орудие дало первый выстрел.

Если прибавить к этому, что на острове не было еще никакого жилья, что краснофлотцы и командиры новой береговой батареи жили пока что в палатках, полы которых невозможно было закрепить на голой скале, и ветер продувал палатки как хотел, — поразишься героической настойчивости и выдержке балтийцев и поймешь, с каким восторгом справляли артиллеристы боевое крещение этого орудия...

Толстая броневая плита передней стенки дота вся в глубоких трещинах, ямках, бороздах. Из развороченного бетона, окружающего плиту, торчат массивные прутья арматуры, перепутанные, как кишки. Угол амбразуры отколот снарядом. Свежим металлическим блеском отсвечивает деформированная сталь, и от угла амбразуры до края плиты ползет трещина: броня не выдержала и лопнула под точным огнем балтийских моряков. Это чудовищное сооружение из полутораметрового бетона и полуметровой брони, эту броневую башню, как бы снятую с линейного корабля и врытую в землю, белофинны считали неуязвимой.

Несколько лет строилась эта мощная оборонительная позиция из двух бронированных дотов, которые правильнее было бы называть фортами. Искусство и опыт лучших европейских инженеров были вложены в создание этого продуманного ансамбля укреплений, которому могут позавидовать первоклассные укрепленные районы, в постройку этой крепости, защищенной взаимодействием соседних фортов, траншей, снайперских точек. Потом сюда привели отборных, обученных шюцкоровцев, показали им эту броню и бетон, семиметровые рвы и мины, гранитные противотанковые надолбы, подземные ходы и траншеи, замаскированные места противотанковых орудий, снайперские точки на соснах, десять рядов проволоки, погребов, доверху набитые боеприпасами. «Вот, — сказали им, — крепость, которая изматывает

любую живую силу, отразит любую атаку, выдержит любой снаряд. Она неприступна. Вы защищены здесь от бомб и снарядов, от пуль и гранат. Ваше дело — удобно и спокойно, на выбор, как в тире, бить из этих амбразур по атакующим...»

Здесь действительно можно было продержаться любое время. Осколки самых крупных снарядов, разрывавшихся у самой стенки дота, скользили по броне, не причиняя вреда. Даже прямое попадание тяжелого снаряда могло лишь потрясти эту чудовищную скорлупу, отколоть кусок бетона, не более. Но прямое попадание артиллерии, стреляющей издалека, — случайность, один шанс из тысячи.

Увидев своими глазами эту мощную позицию, капитан балтийских артиллеристов Шуру-Бура все это отлично понял. Его подразделение только что прибыло сюда, капитан сразу же пошел сам в разведку — поколдовать на местности, как бы почувствительнее укусить этот невиданный дот, задерживавший наступление балтийцев. В лесу было тихо, но стоило капитану подползти к опушке, как тотчас начинали свистать пули, отмечая рядом с головой легким снежным дымком свое стремительное появление. Все было пристреляно — каждая прогалинка, каждый проход между толстыми соснами... Капитан пополз дальше. Он искал подходящее место, где бы поближе установить наблюдательный пункт, но тут, под пулями, ему пришла в голову совсем другая мысль. Он внимательно осмотрел лес... И смелый план родился.

Когда стемнело, подразделение открыло огонь по вражеским дотам. В лесу, по узенькой тропе, трактор под этот грохот тащил к намеченному капитаном месту тяжелое орудие. Оно застревало в снегу, оно сползало в сугробы, и краснофлотцы подтаскивали его на руках. В то же время другие валили в лесу деревья, вырубая к опушке узкую просеку длиной в сто метров, рыли на будущей позиции ровик для укрытия расчета, подпиливали стоящие на опушке сосны. К рассвету все было готово, включительно до окопика на переднем краю леса для наблюдателя. Им был сам капитан.

Наступил рассвет. В невнятной его мгле белофинны сквозь глубокие и узкие щели в полуметровой броне увидели привычную и изученную кромку леса, снежную поляну перед ним, на которой можно заметить малейшее шевеление на снегу и прекратить его короткой и точной очередью пулемета. Скоро начался артиллерийский обстрел — предвестник атаки. Снаряды падали у брони, засыпая ее снегом и землей. Сейчас из леса поползут беззащитные человеческие фигурки, которые так удобно брать на прицел сквозь надежную броню... Тем удобнее, что советский артогонь, мешающий этому, должен прекратиться из опасения поразить своих же бойцов.

Но в лесу внезапно, как театральный занавес, упали передние сосны, и в распахнувшейся просеке неожиданно и невероятно близко, в четырехстах метрах (для артиллерии — вплотную!), показалось тяжелое орудие, уставив на дот свое широкое и страшное жерло... И вся ярость пулеметного и ружейного огня из всех амбразур дота направилась на просеку, на людей у орудия, видных без бинокля, простым глазом.

Капитан Шуру-Бура нетерпеливо оглянулся из своего окопика на орудие... Огонь! Почему нет огня?! Первый, самый важный момент был упущен, орудие уже в пулеметном ливне, и стрелять будет трудно...

И тут он увидел, что наводчик Гармоза, оставив орудие, быстро ползет к опушке под градом пуль, свистящих вдоль просеки. Добрых пятьдесят метров он прополз навстречу смерти, добираясь до кустика, прикрытого пушистым снегом... Зачем?..

Когда деревья упали и Гармоза прильнул глазом к прицелу, чтобы прямой наводкой навести орудие точно на переднюю стенку открывшегося в просеке дота, он увидел в поле прицела этот маленький кустик. Кустик маячил на скрещении нитей, закрывая собой цель.

Переставлять тяжелое орудие под яростным пулеметным огнем врага было невозможно. Стрелять без точной наводки — значило свести на нет весь тщательно подготовленный обстрел. И молодой балтиец, комсомолец Михаил Гармоза схватил топорик и кинулся к кусту, навстречу ливню пуль. Он добрался до кустика, срубил его, быстро прополз обратно и, разгоряченный, задыхающийся, прильнул к прицелу...

Первый же снаряд Гармозы ударил прямо в амбразуру. Огонь и горячие газы метнулись в дот. Белофинны отскочили от амбразур, ринулись во второй, подземный этаж, где они привыкли отсиживаться от артиллерийского обстрела.

Но это не был обычный обстрел. Удар за ударом потрясал все сооружение. Снаряды били в броню один за другим с поражающей, страшной, неумолимой настойчивостью. И хотя они оставляли в этой непроницаемой броне лишь царапины и вмятины, человеческий организм, спрятанный за массивами стали и бетона, не смог сопротивляться этому потрясающему методическому напору. Все наполнилось горячим дымом... И белофинны не выдержали. Они забыли о длинном подземном ходе, предусмотрительно сделанном строителями и выводившем в лес, они открыли задние двери крепости и выскочили наружу — в разрывы снарядов, в пулеметный огонь...

Сила балтийской прямой наводки преодолела силу броневой крепости. Мощный бронированный дот, сооружение чудовищное и неуязвимое, замолчал навсегда, открывая дорогу рванувшимся в атаку балтийцам.

...Слава о балтийских отрядах, действовавших со льда против береговых укреплений, о способности появляться там, где их никак не ждали, об их настойчивых и дерзких атаках перелетела и через линию фронта.

Когда в марте отряды краснофлотцев-лыжников, совершив стремительный бросок в шхеры через десятки километров льда, ударили много западнее Выборга, белофинская и заграничная пресса подняла крик. Писали о дерзком глубоком ударе в тыл, о прямой угрозе Гельсингфорсу. Белофинское командование, очевидно, встревожилось не на шутку: оно сняло с Выборгского фронта две дивизии и бросило их против балтийцев. Четверо суток белофинские войска атаковали свои же собственные укрепления, где засели балтийские краснофлотцы, атаковали днем и ночью, непрерывно — до самого исторического полдня 13 марта, когда горнисты возвестили по всему фронту отбой военных действий и победу Красной Армии и Военно-Морского Флота. И лишь тогда выяснилось, что в одном из дотов сдерживали натиск целого полка всего-навсего одиннадцать балтийских моряков...

Так дралось на земле и на льду третье поколение Краснознаменного Балтийского флота, возрождая боевую славу балтийских матросских отрядов гражданской войны.

II

Над ровным полем аэродрома свистит ветер. Он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыль, обжигает глаза нестерпимым морозом, не дает вздохнуть. Металл, если коснуться его без перчаток, мгновенно прилипает к рукам. Но у самолетов в темноте копошатся люди. Это авиатехники готовят машины в полет.

О работе техников часто забывают писать — люди они земные, нелетающие, и, кажется, негде им проявить героизм и мужество. А между тем сколько раз в бою и на высоте поминали их добрым словом летчики, когда капризная, хитрая и нежная летающая машина безотказно работает в воздухе в любых условиях температуры, летного режима и высоты, когда простреленный в девяносто местах самолет к утру оказывается вновь способен к вылету! И каким умением, знанием, терпением и выносливостью обладали балтийские авиатехники, чтобы на земле предусмотреть то, что в воздухе может обернуться катастрофой или поражением!

И вот они копаются у машин ночь напролет, сбрасывают на морозе полушубки, чтобы в одном комбинезоне залезть на полтора часа в хвост, где что-то не заладилось и где надо при-

ложить умелую руку. Ветер, пошевеливая на земле самолеты, насквозь пронизывает тело, кожа слезает с пальцев, обожженная стылым металлом, небо уже бледнеет вялым зимним рассветом, а техники упрямо и упорно продолжают готовить машины: ветер разгонит облака, и погода, несомненно, станет летной.

Понятие «летная погода» приобрело в эту зиму на Балтике совершенно особый смысл. Мороз, на высоте доходящий до пятидесяти градусов ниже нуля, когда сам металлический организм самолета оказывался менее выносливым, чем человеческий, считался «летной погодой». Густая облачность, сопровождавшая самолеты долгие часы пути к объекту атаки и прижимавшая их над целью на сто — двести метров, тоже считалась «летной погодой», и даже удачной: можно было появиться над целью внезапно из облаков, избегнув неминуемого обстрела зенитками. Ветер, швыряющий самолет в жестокой болтанке, угрожающий ударить его о землю при посадке или при налете, тоже носил название «летной погоды» и расценивался как некоторое удобство, гарантирующее отсутствие в воздухе вражеских истребителей. Балтика не баловала летчиков погодой: они летали в любой мороз, ветер и облачность, летали слепым полетом до самого места атаки, летали ниже деревьев, летали на огромной высоте, обмораживая себе не только руки, но брови и веки, обдуваемые сквозь щели очков диким встречным ветром холодной высоты. Создалась новая формула, определяющая летную погоду: «Когда летают лишь черти да советские летчики!..»

Эта формула принадлежит Герою Советского Союза майору Губанову. И он оправдывал ее в течение всех ста пяти дней боевых действий. Не было дня, когда бы он не поднял в воздух свое соединение, вылетая иногда по два, по три раза. Он летал и в снежную бурю, и в мороз, летал в облаках, снижался над зенитными батареями до пяти — десяти метров, расстреливая прислугу в упор, пролетал в лесу над железнодорожной колеей, громя эшелоны поездов.

И однажды в плотном морозном тумане, лежавшем над всем заливом, он сумел найти и утопить вражеский ледокол, выбравший эту явно нелетную погоду, чтобы подвезти боеприпасы батарее...

Изменчива и коварна погода над студенными водами зимней Балтики. И даже в те редкие дни, когда облака поднимались над аэродромом, возвращая небу голубизну и ясную прозрачность, даже и тогда где-нибудь над морем прозрачный воздух мог уплотниться в густые облака.

На боевом маршруте, вдали от базы, самолеты эскадрильи Героя Советского Союза майора Крохалева попали в низкую облачность. Над самой водой, не выше семиэтажного дома, нависла серая, мутная стена. Она не остановила боевого полета

крохалевцев,— эскадрилья врезалась в нее, не меняя скорости и строя. Соседнее звено то и дело исчезало из глаз, серая плотная мгла скрыла и воду и небо. Увидеть теперь что-либо впереди можно было лишь на расстоянии десяти — двенадцати секунд полета. Однако и этих немногих секунд оказалось достаточно, чтобы балтийские летчики сумели провести неожиданный маневр и внезапный бой.

Внизу, на серой воде, вдруг мелькнул корабль. Звено старшего лейтенанта Гуреева мгновенным броском перешло в атаку. Набрать высоту, необходимую для сбрасывания бомб, было некогда: транспорт вновь исчез бы под спасительным покровом облаков, прикрываясь которым он и рассчитывал доставить белофиннам боеприпасы. Решать нужно было немедленно. И решение не опоздало: звено сбросило бомбы, что называется, «себе под хвост»...

Грохочущий гул, столбы воды и обломков... Сильный удар взрывной волны, усиленной, очевидно, особыми свойствами груза самого транспорта... Самолеты подбросило, накренило, швырнуло вниз, к воде. Как верткие и послушные истребители, выровнялись у самой воды огромные скоростные бомбардировщики и опять вошли в мутно-серую мглу облачности, сверхъестественным чутьем балтийских летчиков угадав свое место в строю эскадрильи.

Есть такой летный термин: боевой курс. Вот что означают эти два коротких слова.

Позади — несколько часов напряженного внимания, постоянной готовности отразить атаку истребителей, поиска ориентиров, мгновенно появляющихся и исчезающих в окнах облаков, тревожного подсчета бензина (летали так далеко, что иногда возвращались на базу с сухим баком)... Трудный, долгий полет к месту атаки подходит к концу. Устал весь экипаж — и летчик, и штурман, и стрелок-радист. Застыло тело, несмотря на греющую электроткань комбинезона, устали глаза, плохо слушаются закоченевшие руки. Но вдали появляется объект атаки — и сразу все забыто! Обостряются все ощущения, напрягаются нервы. Сейчас — боевой курс!..

Небо перед эскадрилей прорастает разноцветными букетами. Багровые, черные, желтые, белые, темно-зеленые, они беззвучно распускают в небе свои фантастические цветы круглыми пушистыми шапками, располагаясь друг над другом в три, четыре, а порой и в шесть слоев. Это — разрывы зенитной артиллерии, ураган осколков и крупных шрапнельных пуль, ливень кусков металла, каждый из которых несет смерть человеку, пожар — самолету, поломку — рулям. Эта плотная завеса огня встает перед эскадрилей — и эскадрилья врезается в нее.

К разноцветным букетам шрапнели добавляется зеленое кружево трассирующих пуль. Ловя самолеты, светящиеся их струи пересекают небо длинными лентами, запутанными и переплетенными, как ленты серпантина. В каждой такой струе — непрерывный поток крупнокалиберных пуль: зажигательная, бронебойная, простая и разрывная мчатся друг за другом вслед светящейся, которая и отмечает в небе направление всей этой смертоносной струи.

Некоторое время самолеты могут еще маневрировать, сбивая расчеты батарей и пулеметчиков. Они внезапно «пухнут» в небо или снижаются к самой земле. Они меняют скорости в невероятных диапазонах. Они стремительно и круто разворачиваются. Летчики показывают чудеса управления, лавируя по всем трем измерениям.

Но подходит критический момент, когда самолет должен прекратить маневрирование и прямо, как по ниточке, идти на цель. Это и есть боевой курс.

Перед летчиком вдруг начинают вспыхивать лампочки — красная, зеленая, белая. Это штурман увидел цель и наводит на нее самолет.

Сам штурман висит впереди летчика в своей прозрачной кабине, вынесенной между моторами. За тонкими ее бортами, как в уютной комнате, он производит сложнейшие математические расчеты, для чего, как известно, нужна элементарная тишина, а не эта беспокойная обстановка. Потом, в базе, он вынет из алюминиевой стойки, в трех сантиметрах над головой, сплюсненную пулю или посчитает, сколько дырок оказалось в целлулоиде. Сейчас ему не до этого.

Он ищет между цветными букетами и лентами чуть заметную точку цели и устанавливает самолет на боевом курсе, нажимая кнопки ламп: красная — чуть влево, зеленая — вправо, белая — так держать. Играя на кнопках одной рукой, сжимая другой ручку бомбосбрасывателя, штурман под пулями и осколками складывает в голове ветер, скорость, высоту и десятки других цифр, рассчитывает доли секунды, чтобы с предельной точностью обрушить на врага разнообразные свистящие бомбы. А иногда он, астроном и математик, вынужден мгновенно переменить специальность и вместо точных аэронавигационных приборов взять в руки рычаги пулемета и поливать свинцом истребитель, повернувшийся на носу. Его спокойствие и умение определяют собой успех атаки и время пребывания на боевом курсе.

А время это — из тех, где секунда тянется год.

Летчик прекратил уже спасительное маневрирование и послушно ведет самолет, поглядывая на вспыхивающие лампочки штурмана. Самолет идет теперь точно по прямой. Минуту-полторы он представляет собой отличную цель для зенитных орудий

и пулеметов, и разрывы вспыхивают теперь совсем рядом с ним. Но он пойдет так, в этом кипенье металла, непреклонный, упрямый, не отклоняющийся от боевого курса, пока не сбросит бомбы точно в цель или пока его самого не собьет снаряд, лопнувший у крыла... Пули, светясь, пронизывают корпус и плоскости самолета, прозрачную кабинку штурмана, но самолет выдерживает боевой курс...

Бомбы сброшены. Казалось бы, можно крутым виражом или пикированием уйти из металлического облака, в котором шел на боевом курсе самолет. Но у балтийских летчиков находились еще какие-то запасы сверхчеловеческой выдержки: они продолжали идти боевым курсом еще полминуты-минуту, чтобы удостоверить фотоснимком точность падения своих бомб — «привезти квитанцию»...

Однажды на таком боевом курсе, вдали от базы, Герой Советского Союза майор Крохалев почувствовал, что ему обожгло плечо. Сперва он подумал, что ранен. Но нестерпимый жар продолжал жечь спину. Тогда он понял, что на нем горит меховой комбинезон, запылавший от зажигательной пули или, может быть, от короткого замыкания перебитых проводов термоткани. Продолжая неуклонно вести самолет боевым курсом по сигналам штурмана, Крохалев с силой прижался плечом к спинке сиденья, пытаясь плечом притушить огонь. Но мех горел, и жгучая боль не ослабевала.

Майор Крохалев не сошел с боевого курса. Он вывел самолет на цель, он выдержал с горящим плечом и время фотосъемки и только тогда заложил немыслимый вираж, уходя от снарядов и пуль, от страшной боли, грызущей ему спину. Тогда ветер, ворвавшийся на повороте, раздул тлеющий на плече мех в пламя, и Крохалев вспыхнул весь.

Страшен пожар на самолете, но можно ли вообразить себе горящего летчика? Остаться в кабине — значило поджечь собою весь самолет; прыгнуть вниз — значило превратиться в живой факел, подвешенный к парашюту...

Крохалев нашел выход. Не оставляя управления самолетом, он по частям сорвал с себя горящий комбинезон, выбросил его куски за борт и повел самолет в одном белье. Здесь, на высоте, было около пятидесяти градусов ниже нуля. Почти голый, с черным обугленным плечом, прогоревшим до лопатки, он вел самолет два с лишним часа, довел и посадил его на родном аэродроме.

На боевом курсе был подстрелен самолет Героя Советского Союза майора Ракова — того самого Ракова, о котором ходили легенды. Он бомбил самые отдаленные объекты, он любил по-

являться над ними из-за леса, со стороны глубокого тыла, и самое имя его вошло в лозунг балтийских летчиков: «Будем гада всякого бомбить не хуже Ракова».

На одном правом моторе Ракову не удалось на этот раз вывести свой самолет на цель с той точностью, к которой он привык. Остальные самолеты сбросили на объект свои бомбы, и тогда увидели, что командир эскадрильи делает медленный левый разворот обратно к цели. С одним мотором, на высоте трехсот метров, настойчивый и аккуратный летчик все же выполнил задание: сбросил бомбы и только тогда повернул к базе. Эскадрилья пристроилась к своему командиру.

В этом полете проявилось еще одно качество балтийских летчиков — забота о друге.

По пониженной скорости и по тому, как он упорно набирает высоту, летчики догадались, что с командирским самолетом что-то неладно. Эскадрилья тоже сбавила скорость, и самолеты пошли вплотную, рядом с командиром, как бы поддерживая раненого сокола своими крыльями. Раков приказал по радио возвращаться на базу без него. С видимой неохотой эскадрилья прибавила ход, но два самолета первого — командирского — звена остались. Они по-прежнему шли на малой скорости, следя за командирским самолетом, готовые помочь ему отбиваться от истребителей или, в случае чего, сесть вместе с ним на вражескую территорию, чтобы спасти экипаж. Летчики думали о своем командире, а командир думал о них: если они потянутся с ним на этой скорости, то все неприятности посадки на базе в темноте будут грозить не одному, а трем самолетам. И Раков вновь приказал идти вперед.

Но самолеты шли рядом, как пришитые. Тогда, первый раз в жизни, майор Раков обратился в бегство: он выбрал подходящее облако и нырнул в него, чтобы этим заставить друзей потерять его и волей-неволей прибавить ход и возвращаться на базу.

Однако расчеты его не оправдались. Когда уже в сумерках, планируя к базе с четырех тысяч метров (где самолет обледенел, но зато набрал запас высоты, чтобы дотянуть до базы), Раков выскочил из облаков, он увидел под собой те же два упрямых самолета. Рассчитав его курс и ход, они продолжали ползти на малой скорости, посматривая на облака, не покажется ли из них командирский самолет, идущий на вынужденную посадку в море, на лед или в руки врага...

Высокое и благородное чувство боевой дружбы, готовность балтийских летчиков к самопожертвованию во имя спасения товарища ярче всего сказались в прекрасном поступке Героя Советского Союза старшего лейтенанта Радуса.

Дравшийся рядом с ним истребитель был сбит, но летчик все

же сумел благополучно посадить раненую машину на небольшой площадке в торосах, рядом с расположением белофинских войск. Радус ринулся за ним. Он отогнал пулеметным огнем белофиннов, спешивших к торосам, он ухитрился посадить свой самолет на этом тесном пространстве, поджег подбитый истребитель, поднял в воздух раненого летчика и долетел с ним до базы...

В яростном неравном бою со стаей истребителей над укрепленным районом противника бомбардировщик получил тяжелые повреждения. Внезапно атакованный превосходящими силами, он сумел уйти от первой атаки труднейшим для тяжелого самолета маневром — переворотом. Он сумел уничтожить одного из врагов, сумел сбить пламя загоревшейся плоскости скольжением на крыло, сумел вырваться из кольца атакующих даже тогда, когда отказал простреленный левый мотор. Но когда на него навалились со всех сторон подоспевшие истребители и когда на третьей атаке на нем вспыхнули бензиновые баки — самолет превратился в костер. Но все-таки пули продолжали лететь из этого клуба дыма и пламени, недавно называвшегося самолетом. Это беспрерывно и метко бил по врагам раненый стрелок-радист Белогуров.

Штурман, старший лейтенант Харламов, горел в своей передней кабине: вражеская пуля, попав в револьвер, спасший ему жизнь, зажгла на нем комбинезон.

Летчик лейтенант Пинчук продолжал вести горящий самолет к своим берегам. Он вел, ничего не видя, чутьем, ибо дым и огонь заполнили всю его кабину.

Вышел из строя и второй мотор. Бомбардировщик пошел на снижение, на территорию врага. Белофинские истребители отстали: участь горящего самолета казалась им решенной.

Но самолет, пылающий, лишенный моторов, все же тянул к своим берегам: еще живы были в нем балтийские летчики и еще сохранился между ними телефон. Летчик Пинчук заменил свои обожженные глаза здоровыми глазами штурмана Харламова. Полуослепший, задыхающийся в дыму, он, слушая в телефон команды горящего в своей кабине штурмана, брал на себя или опускал ручку, нажимал педали, пока пылающий самолет был еще способен скользить по воздуху...

Так два человека слились в одного — и вместе они осторожно и аккуратно посадили летящий костер на лед Финского залива.

Пламя, сбиваемое в полете ветром, тотчас забушевало вовсю. Они выскочили на лед все трое — раненый Белогуров, полуслепой Пинчук и уцелевший больше других Харламов... Все трое — объятые пламенем горящей на них меховой одежды.

Потушились снегом.

Тогда сказался мороз. Белогуров в пылу боя сорвал с себя шлем, мешавший ему стрелять,— и левое ухо его стало белым. Пришлось заняться обратной операцией — согреть оттиранием ухо обугленного человека.

Потом пустились бегом к своему берегу. Бегом не потому, что он был так близко, а потому, что в обрывках одежды было холодно. И только теперь выяснилось, что Белогуров ранен: на бегу он прихрамывал. Друзья сели в снег, ножом распороли сапог, ножом вытащили из ноги пулю. Потом опять побежали.

Дорогу к своим им показали случайно пролетевшие над ними наши «ястребки». Теперь начал отставать Пинчук. Обожженный и полуослепший, он шел, пока в нем были силы, и наконец молча рухнул в снег, потеряв сознание. Друзья привели его в чувство, и Харламов, поддерживая обоих — раненого и обожженного, повел их дальше.

Через несколько часов возле них на лед сели наши самолеты, присланные «ястребками». Но выскочившие из них балтийские летчики с изумлением увидели направленные на них дула трех наганов.

Трое героев опустили их только тогда, когда несомненно убедились в том, что перед ними советские летчики.

— Мало ли что у вас на плоскостях звезды,— пояснил в свое оправдание Пинчук,— белофинны и не на такие штуки пускаются...

Так дралось в воздухе третье поколение Краснознаменного Балтийского флота — балтийские соколы, достойные потомки балтийских матросов времен гражданской войны.

III

Труден и опасен для плаванья Финский залив.

Если ровная его ширь, в которой берега теряются вдали, а порой вовсе исчезают, и кажется иному настоящим морем, где кораблю — везде дорога, то моряки, а штурмана в особенности, под предательской этой гладью видят бесчисленные опасности. Запутанные и сложные фарватеры прихотливо вьются между подводными скалами, между банками и рифами — незримыми продолжениями береговых мысов и раскиданных по заливу островов.

Двести лет промеряли гидрографы это капризное дно, наносили на карту найденные мели, но карты Финского залива пестрят названиями кораблей, давших свои имена новым банкам и рифам, которые они «открыли» своими боками в тех местах, где промер не обнаруживал никакого повышения дна. Это «сахарные головы» — вздымающиеся со дна огромные кониче-

ские скалы, по скатам которых скользил грузик лота, промеряющего глубину.

Нет в этом заливе ни одного места, где корабль мог бы нацелиться на приметную гору или на маяк и подойти к берегу прямым курсом: изумляя человека, незнакомого с Финским заливом, корабль будет крутить по гладкой воде, следуя к берегу по извилистому и трудному фарватеру между рифами и мелями. Порой и в самой середине залива корабль неожиданно вороачает под прямым углом, чтобы обойти банку, словно нарочно поставленную кем-то на морском пути.

И если прибавить к этому постоянные туманы, вечно плохую видимость, течения, внезапно и разнообразно относящие корабль в зависимости от дувшего вчера ветра, низкие плоские берега, не дающие возможности ориентироваться по ним издали, то Финский залив по справедливости можно назвать академией штурманов и командиров.

Огромные линейные корабли Балтийского флота, которым этот тесный залив — что слону ванна, ходят здесь ночью и в туман, ходят в узкостях, как в широком океане, полными ходами проводят и без того сложное маневрирование, усложненное навигационными условиями. Стремительные крейсера бесстрашно носятся между банками, миноносцы лазают в нелепые дыры, подлодки особым, «шестым», штурманским чувством угадывают встающую по курсу скалу или каменную подводную гору и знают в глубинах Финского залива одним из известных тайных проходы между скал.

В ночь перед первой боевой операцией Краснознаменного Балтийского флота повалил снег. Крупными мокрыми хлопьями он падал на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость. Нельзя было рассчитывать ни на один ориентир у трудного узкого прохода между скалами, который в просторечье именовался «собачьей дырой». А путь отряда лежал именно здесь, и надо было провести за собой транспорты с войсками — огромные, глубоко сидящие и незнакомые с этим военным проходом. Снег валил плотной стеной, корабли, собравшиеся на отдаленном рейде, почти не видели друг друга.

Но все же ночью в назначенное время миноносцы снялись с якорей, помигали транспортам сквозь снег сигналами: «Давай, мол, Вася, поехали!» — и повели их за собой в неразличимую белую тьму.

Плаванье в таких условиях напоминает слепой полет: оно ведется только по приборам да по особому штурманскому чутью. Корабли шли в снежной пурге вплотную, друг за другом, точно обходя опасности. Точность требовалась особая, ибо малейшая ошибка в счислении могла навести огромные транспорты на камни и сорвать этим всю операцию.

Бледный декабрьский рассвет не принес с собой никаких изменений. Он лишь осветил собой снежный плотный занавес, скрывающий не только все ориентиры, но даже и идущий сзади корабль. У «собачьей дыры» головной миноносец призадумался: приходилось становиться на якорь, войти в таких условиях в проход было страшновато даже балтийским штурманам. Потом он резко повернул на север и повел за собой всю колонну другим проходом, еще более сложным и запутанным, изобилующим поворотами, но угрожающим не камнями, как «собачья дыра», а песчаными мелями: все же легче...

Точное искусство балтийских штурманов вывело этим проходом всю колонну на широкий плес.

Здесь подул ветер, развеял пургу, и под низкими, набухшими снегом облаками в неясной мгле декабрьского утра поднялись из серой стилой воды могучие пологие горбы.

Это был Гогланд.

Поросшая сосной гигантская скала поднята над водой прихотливым дном Финского залива на самой его середине. И нет кораблям иного пути, как только мимо нее.

Мимо хмурых этих скал проходили петровские галеры, ведя за собой пленные шведские корабли от мыса Гангеудд, места первой победы Балтийского флота, двести двадцать пять лет тому назад. Этот остров, вставший поперек залива, видел и смелую шхуну «Надежда», на которой адмирал Крузенштерн впервые пронес вокруг света русский флаг, видел и парусные корабли, уходившие под осень на три-четыре года в «дальний вояж», в кругосветное плаванье, и самый сильный в мире корабль своего времени — первый русский броненосец «Петр Великий». Здесь, на Гогланде, в начале этого века впервые в истории была установлена радиосвязь скромным преподавателем кронштадтской электроминной школы Александром Поповым. В такие же декабрьские холодные дни шли мимо Гогланда русские крейсера и миноносцы, шли в смелые операции, в суровые зимние походы империалистической войны. Видел Гогланд и то, как пробивались в тяжелых льдах эти же корабли, подлодки и миноносцы, сворачивая себе минами форштевни, вручную откачивая холодную воду, бьющую в пропоротые льдом борта, как шли они в Кронштадт, спасая боевую силу молодой Советской Республики от протянувшихся уже к ней в Гельсингфорсе рук интервентов. Видел он и то, как те же балтийские корабли, голодные, истрепанные войной, выгнали из Финского залива эту международную эскадру, защищая колыбель революции — красный Питер.

Но в течение последних двадцати лет каменный свидетель истории Балтийского флота и вековой друг его — Гогланд был обречен на роль врага и соглядатая. Чужие глаза жадно вгля-

дывались с его скал в проходившие мимо советские военные корабли, чужие руки фотографировали их вплотную, ибо нет в Финском заливе иного пути кораблям, как только мимо этого острова, лежащего посредине залива.

В это декабрьское утро врагам некогда было фотографировать и разглядывать с Гогланда силуэты приближающихся кораблей.

В утренней дымке блеснули в море зеленым пламенем первые залпы — и очистительный огонь стал выжигать с благородных древних скал ползучую паршу агентов и шпионов. На катерах и шлюпках, на мелкосидящих вспомогательных судах ринулся на берег первый бросок десанта, и сразу вслед за ним подошли транспорты с войсками. Они стояли у берега, деловито и спокойно выгружая войска, орудия, продовольствие, боевой груз; а вокруг них плотным гудящим роем, большими ходами носились сторожевые корабли, сплошняком, без пропусков, прутюживая море острыми своими таранами и время от времени вздымая из воды черные могучие столбы взрывов глубинных бомб. В этом кольце охраны транспорты могли продолжать свое дело спокойно. Отряд за отрядом высаживался на берег, и скоро на вышке наблюдательного поста вспыхнул огненным комочком и развернулся по ветру советский флаг.

Советский флаг на Гогланде!.. Чтобы полностью оценить это, надо вспомнить то, что переживал долгие двадцать лет Краснознаменный Балтийский флот, верный морской страж Ленинграда и Родины. Если Кронштадт — ключ к Ленинграду, то Гогланд — ключ к Кронштадту. Над всеми возможными местами учебы, тренировки, испытаний кораблей, над самыми базами Балтийского флота нависал Гогланд и примыкающие к нему острова — Большой Тютерс, Малый Тютерс, Сескар, Лавенсаари. Они вытянулись по продольной оси Финского залива зловещим кабелем, один конец которого упирался в Кронштадт, а другой прямым проводом вел в кабинеты того иностранного штаба, который в данный момент наиболее интересовался Балтийским флотом и который поэтому дороже других платил хозяевам островов, белофинской военной правящей клике. Все, что делал в своих базах Балтийский флот, могло быть известно врагам. И не даром острова эти до краев были переполнены агентами разведок, шпионами, диверсантами, ожидавшими ночи потемнее, чтобы в рыбацкой лайбе переправиться в Советский Союз. Целые комплекты разнообразной советской одежды, пачки чистых паспортных бланков, альбомы фотографий советских военных кораблей, снятых на любых курсовых углах (ценное пособие для торпедной атаки и для артиллерийского огня!), были найдены нами на этих островах...

Какая выдержка, какая осторожность и скрытность нужны

были Балтийскому флоту, как умело нужно было ему проводить ученья, стрельбы, пробы новых кораблей, испытания нового оружия, чтобы до времени не обнаружить всего этого пристальным взорам островов, служивших биноклями врагу! Нигде, ни в одной стране мира, вторая столица ее не расположена на дистанции орудийного выстрела от границы, и нигде в мире флот, вынужденный ее защищать, не заперт в узком коридоре прибрежной воды, который насквозь просматривается (а если нужно — и простреливается!) с цепи островов.

И если вспомнить все это, если подумать, что в течение всех этих двадцати лет Балтийский флот был ежеминутно готов вести неслыханную морскую войну в заливе, девять десятых которого были чужими водами, наполненными до краев базами и батареями возможного врага, — станет понятным, с каким чувством увидели мы советский флаг на Гогланде, на всей цепи островов — на большом и Малом Тютерсах, на Сескаре, на Лавенсаари. Будто камень свалился с души: кончились трудные, тревожные годы, годы стиснутых маневрирований, годы ожидания ударов в спину буквально из-за угла, с любого из островов, насильственно врезанных в ближнюю систему обороны великого города, в самое тело нашего моря...

С этим же чувством и кронштадтские форты громили железнодорожные пути, бронепоезда, батареи и штабы нависшего над ними северного берега. Вся цепь этих фортов, протянутая по заливу от Кронштадта до Ленинграда, сам остров Котлин и южный берег в восемь часов утра тридцатого ноября одновременно выдохнули из жерл своих орудий огненный вздох снарядов. Это был вздох облегчения: кончились тревожные годы...

Ураган металла понесся на северный берег, сметая сопротивление, расчищая дорогу Красной Армии. А ведь могло быть и наоборот: такой же ураган металла мог обрушиться на Ленинград, на его заводы и вузы, мог обрушиться с северного берега, с плацдарма интервенции, тщательно и умно подготовляемого все эти годы...

И с тем же чувством огромного облегчения канонерские лодки Балтийского флота подходили вплотную к северному берегу, выискивая с моря в лесу батареи врага, обстреливающие Красную Армию. Канлодки стреляли по семнадцать часов подряд, отгоняя полевые батареи, уничтожая живую силу, разрушая прибрежные укрепления.

Линейные корабли вступили в неравное состязание с тяжелыми батареями острова Биорке. Артиллерийская дуэль корабля и береговой батареи представляет все выгоды для батареи: корабль стреляет с хода и с волны — батарея с неподвижной точки; корабль виден в море как на ладони — батарея замаскирована

в лесу; корабль имеет множество уязвимых точек — батарея облита полутораметровым бетоном. В империалистическую войну могучие линейные корабли британского флота ряд месяцев долбили дарданелльские батареи, потеряв при этом несколько кораблей.

Но биоркские батареи мешали продвижению Красной Армии. И Балтийский флот вышел в этот неравный поединок.

Батареи не отвечали на огонь, не желая открывать свое точное место. Тогда миноносцы и лидеры стали играть с ними, как пикадоры с быком: они ежедневно ходили под берег, сбавляли ход, подходили вплотную... И белофинны наконец не выдержали. Цель представлялась слишком заманчивой. Грянули тяжелые орудия, огромные снаряды ударили в воду у самого борта лидера. Он мгновенным прыжком ушел из-под обстрела и опять сбавил ход. Новый залп — и та же опасная игра. Она была нужна: с других миноносцев штурмана и артиллеристы пеленговали вспышки в лесу, наносили места батарей на карте. И тогда в море опять вышли линейные корабли и обрушили на батареи ливень металла...

Зима надвигалась. Кронштадтскую гавань затянуло льдом. Но все же по ночам в ней то и дело гасли синие лампочки, освещающие сходню на берег, и из темноты доносились мелодичный перезвон машинного телеграфа, рокот якорной цепи, вдохи пара, негромкие команды. Потом молодой лед, тоненько звеня и шипя, лез на стенку, урчала вода под винтами — и очередной миноносец снимался со швартовов, за ним другой, и гавань пустела.

Миноносцы выходили в море — на обстрел берегов, на поиски спрятавшегося в шхерах флота противника, на охоту за подводными лодками. В заливе их встречал шторм, стремительная качка, пронизывающий ветер, брызги, а порой и целые потоки ледяной воды на палубе. Боевая смена краснофлотцев иногда была вынуждена сменяться каждые четверть часа...

Миноносцы возвращались на базу седыми, в сплошном ледяном футляре, в белом кружеве на мачтах, на поручнях, на мостике: волны и брызги замерзали, превращая корабль в глыбу льда. Его скалывали, освобождали мостик, орудия, пост сбрасывания глубинных бомб — и все-таки ходили до тех пор, пока толстый ледяной покров не закрыл выходов в восточную часть Финского залива.

В западной его части миноносцы и крейсера передовых наших баз — Таллина, Балтийского порта, Либавы — действовали еще в январе, в самые жестокие морозы, пока небывалая по суровости зима не заморозила не только Финский залив, но и Балтийское море.

И до самой последней возможности совершали из этих передовых баз свои героические походы балтийские подводные лодки.

Враг рассчитывал на Ботнический залив. Этот огромный бассейн отгорожен от Балтики плотной стеной мелких, близких друг к другу Аландских островов, как естественной преградой. Узкие проходы между ними легко забросать минами, и тогда вся Ботника станет закрытым озером, по которому можно безопасно перевозить боевые грузы, продовольствие и войсковые подкрепления, на которые рассчитывала белофинская военная клика, начиная войну с Советским Союзом.

И мины были поставлены.

Советский Союз объявил всю прибрежную часть Ботники, прилегающую к Финляндии, зоной блокады. Подлодки получили приказ осуществить эту блокаду. И они пошли на прорыв минного заграждения в мелких и узких проходах между островами, защищенными огнем береговых батарей.

Еще не время рассказывать о том, как был совершен этот прорыв. Подлодки ползали по дну, попадали в подводные гроты, застревали между скалами, буквально на брюхе переползали от мели, царапали бортами стальные минрепы, которые держат на якорях мины, проводили часы и сутки рядом со смертью, консервированной в этих огромных шарах, а сверху их засыпали глубинными бомбами катера — охотники за подлодками, бомбили самолеты, швыряли снаряды батареи...

Но все-таки балтийские подводники нашли нужные им проходы, вырвались в Ботнику и деловито приступили к «регулированию движения» в этой недоступной, казалось бы, части моря.

Трудность этого заключалась еще в том, что подстерегать вражеские транспорты и военные корабли наши лодки могли только в зоне блокады. Они держались у берегов, высматривая идущий к ним корабль, и порой преследование чрезвычайно осложнялось. Однажды Герой Советского Союза капитан-лейтенант Вершинин увидел большой транспорт. Он атаковал его, но первое повреждение не замедлило хода этого гиганта, он пошел к берегу. Лодка кинулась за ним, лавируя между льдинами. Транспорт явно уходил. Вершинин упрямо гнался за ним. Транспорт вошел в фиорд — лодка за ним, в узкость, в огонь береговых батарей. Транспорт вошел в порт — лодка за ним. Транспорт вошел в гавань, подал швартовы на стенку, он уже считал себя дома, — но краснознаменная лодка Щ-311 настигла его и там и выпустила в него торпеду... Четыре дня спустя наши летчики еще видели, как пылал костром у самой стенки огромный транспорт, продолжая пускать в небо разнообразные фейерверки привезенных им боезапасов, так и не достигших цели.

Но лед надвигался и на Ботнику. Подлодки были вынуждены действовать в невероятно трудных условиях. Каждое всплытие

угрожало возможной встречей со льдом, поломкой перископа, что для лодки означает гибельную слепоту. Балтийские подводники оставались в Ботнике до самых крайних сроков. Так, краснознаменная подлодка Щ-324, державшая блокаду берегов в Ботнике, оказалась в ловушке: выход из Ботники в Балтийское море покрылся льдом. Балтийская «щука» нырнула под лед. Долгие часы она шла под ледяным потолком, без всякой возможности всплыть. Но командир лодки Герой Советского Союза Анатолий Коняев уверенно вел ее к чистой воде и всплыл далеко от преследователей, готовый снова атаковать очередной транспорт с военным грузом.

Подводные лодки Балтийского флота появлялись там, где их никто не мог ожидать, — во внутренних шхерах, в закрытых фиордах, проползали и проходили через такие места, которых нет ни в лоции, ни на карте. Здесь, в шхерах, прятались от Балтийского флота корабли врага, постоянно меняя место в путаных и скрытых коридорах между островами. Подлодки искали врага день за днем.

Одна из маленьких лодок в этих поисках чуть не попала заживо в могилу.

«Малютка» пошла в шхеры. Сначала все было хорошо, если не считать жестокого январского мороза, пурги, отсутствия видимости на походе. Потом, погрузившись, «малютка» вошла в шхеры, где никогда не бывали еще наши корабли. Все было неизвестно, и путь пришлось искать ощупью. Капитан-лейтенант Сазонов дал лодке дифферент на нос, то есть погрузил водяным балластом ее нос ниже кормы и приподнял этим винты. Лодка пошла теперь, как собака по следу, опустив нос и внюхиваясь в дно. Это предохраняло ее от опасности врезаться всем дном в грунт и поломать винты.

Миновали уже много поворотов по путаному, едва угадываемому фарзатеру. Потом заскрежетало — сперва в носу, потом по бортам. Застопорили, прислушались, поняли: лодка вошла в подводный грот. «Как в гараж», — острили потом краснофлотцы. Выбрались задним ходом из этого «гаража», медленно поползли дальше. Опущенный нос лодки действовал, как лот, — натывался на препятствия, и командир либо обходил их ощупью, либо, если нужно, подвсплывал и перелезал через отмель.

При одном из таких переползаний отмель оказалась настолько мелкой, что рубка вылезла из воды. Тотчас рядом с лодкой раздался взрыв. Перекат охранялся береговой батареей... Повернуть и обойти отмель не давало все повышающееся дно. Оставалось только дать задний ход до замеченной неподалеку глубины и отлежаться.

Так и сделали. Лодка легла на грунт на глубине всего двадцати метров. Где-то впереди рвались снаряды, обстреливающие

отмель. Здесь было тихо. Но было утро, и приходилось ждать темноты, чтобы все же пройти через это мелкое, обнажающее корпус лодки место.

Обстрел прекратился. Жизнь в лодке пошла своим чередом. Кок накормил подводников горячими котлетами, краснофлотцы попытались выспаться, хотя в лодке было и сыро и холодно. Но на каком-то часу у центрального поста гулко раздался удар.

Звук был незнакомый. Не так рвется рядом глубинная бомба или мина, не так разрывается и снаряд. Может быть, удар тараном? Подсчитали глубину: это мог быть только глубоко сидящий корабль, но откуда он мог взяться на этом мелком фарватере?

Удар повторился, на этот раз в носу. И за ним все чаще посыпались удары разной силы, в разных местах, порой скрежет по корпусу.

Все это было загадкой. Удары продолжались.

Наконец командир понял. Очевидно, наверху развело сильную волну. Лодка лежала в канаве фарватера, и волна, колеблющая на бровках фарватера камни, сбрасывала их вниз, на лодку. Они падали по одному или целой осыпью, тогда лодка дрожала, как от ряда залпов. Камни заваливали лодку в канаве фарватера.

Надо было всплыть. Но куда? Под огонь батареи?

Дело пошло на выдержку. Камни гремели по корпусу, балтийцы посматривали на подволок и на борта — и высиживали. Изредка командир продувал цистерны, слегка подвсплывая. Тогда по корпусу скрежетали навалившиеся уже на палубу камни, лодка стряхивала их с себя и снова ложилась на грунт.

До темноты пролежали подводники в этой неожиданной могиле, в которой камни никак не могли засыпать встряхивающуюся от них лодку. Ночью всплыли, перелезли через отмель и выполнили задание.

Так дрались на воде и под водой балтийские моряки, третье поколение Балтийского флота, возрождая боевую славу орлиного племени матросов девятнадцатого года.

ВСЕ НОРМАЛЬНО

Где-то в центре материка уменьшилось атмосферное давление, и с холодных просторов Арктики туда потекли огромные массы воздуха, настуженного вечным льдом. Отбрасываемые вращением Земли, они, плавно меняя направление, передвигались с севера по широкой дуге, все ускоряя движение.

И это называлось ветром.

В плоской равнине тундр он вздымал в небо снежную пыль, крутя ее и сливая в белесую пелену, гасившую вечные звезды полярной ночи. Южнее, в лесах, он выл в голых сучьях и свистел в ветвях, сгибая тонкие молодые сосны и обламывая могучим елям их зеленые многопалые лапы. Он валил навзничь деревья, которые, утратив гибкость молодости и стойкую силу зрелости, самонадеянно подставляли его ярости широкую свою грудь. Вывороченные из земли их корни вздымали к небу бесполезную жалобу узловатых одряхлевших рук, и новые массы холодного воздуха пролетали над ними, вырываясь в узкий простор замерзших озер, похожих более на реки, нарезанные кусками,— длинных финских озер, стиснутых скалами. По этим ледяным коридорам, проложенным в лесах с севера на юг, Арктика мчала стылый свой воздух к морю. Здесь, в путаном кружеве прибрежных шхер, ветер собирал в одно невидимое грозное целое его разрозненные отряды.

Ровной стеной быстро передвигающегося холодного воздуха Арктика проносилась над Балтийским морем, и серая недвижная его вода, готовая вот-вот загустеть и обратиться в зеленоватые льдины, заколебалась. Вначале вздохи воды были плавны и спокойны. Но едва образовался первый ровный холм первой волны, воздух, мчавшийся над нею, тотчас изуродовал ее безупречную форму. Он сдвинул вершину волны вперед, он удлинил ее подошву и образовал гребень. И когда новая волна подняла свой выгнутый горб, она стала уже выше, круче и злее. Так начался шторм.

Это был жестокий январский шторм — дикое бешенство ледяной воды.

Густая и тяжелая, налитая недвижным холодом замерзания, вода, приведенная ветром в движение, была страшна. Она шевелила теперь тяжелые валы, больше похожие на ртуть, — тусклые, плотные, нерасщепимые. Обрушивая гребень, она не шипела белой пеной захваченного воздуха: гребень волны падал целиком, как лист какого-то странного металла, гнущегося от собственной тяжести, и удары этой тяжелой, вязкой массы несли в себе огромную силу разрушения.

Шторм продолжался не первые сутки, но уже тогда, когда он был еще девяти баллов, корабли не рисковали выходить из портов, а те, кого он застал в море, торопились уйти под прикрытие берега.

В то утро, когда шторм достиг предельной силы, далеко от земли внезапно всплыла подводная лодка — единственный корабль на всем пространстве Балтийского моря, от льдов Ботники до южных берегов.

Это была маленькая подводная лодка из тех, которым краснофлотцы дали нежное и ласковое имя «малютка». Среди водяных гор она была бесконечно мала, так мала, что в момент всплытия целиком спряталась в гребне волны. Гребень упал — и она вылупилась из волны, как цыпленок из яйца. В следующий же момент, потеряв под левым бортом опору рухнувшего гребня, она легла на борт в смертельном крене, скользнула в провал между валами, залилась новой волной и исчезла. Эта волна, ударившая ей в борт и увеличившая крен, вероятно, ее перевернула, потому что долгое время лодки не было видно.

Но потом в тусклой ртути воды опять блеснул крепкий, упрямый металл рубки. Теперь он распорол волну вдоль, от гребня к подошве, и яростная мощь воды встретила не борт, а узкие обтекаемые образования носовой части. Волна смогла теперь лишь задержать ход лодки и облить ее холодной плотной водой, накрыв и палубу и рубку. Но едва последние струи, журча, скатились с мостика, как откинулась крышка люка и из него вышел (вернее, выполз) человек. Он поспешно закрыл за собой люк, выпрямился и остался с глазу на глаз с взбесившимся Балтийским морем.

Прежде всего он осмотрел горизонт. На изрытой холмами зубчатой линии его не было ни одного дымка, ни одной мачты. Тогда человек снял пробку переговорной трубы и сказал несколько слов внутрь лодки. Лодка ответила легким поворотом вразрез новой волне, и та прокатилась вдоль палубы, хлестнув только несколько студеных струй на крышу рубки и на человека. Он поежился, опустил на затылок верх кожаной, подбитой мехом

ушанки, снова нагнулся к переговорной трубе и открыл входной люк.

Тогда из отводной трубы позади рубки с легкими, рокошующими взрывами потянул синий дымок, мгновенно срываемый ветром. Это означало, что внутри лодки заработали дизеля. Это означало, что в голодные аккумуляторы, отдавшие всю свою силу за долгое подводное плавание, побежал спасительный ток, накапливая в них с каждой минутой электроэнергию, боевую мощь, без которой подводная лодка превращается в бесполезный и неудобный надводный корабль. Это означало победу.

И, может быть, поэтому человек на мостике подошел к крошечной мачте и поднял на ней флаг. Флаг был маленький, мокрый, и красная звезда на нем почти потеряла цвет. Но это был боевой флаг страны, пославшей лодку в трудный и опасный поход, и это был единственный флаг на всем пространстве Балтийского моря, развеваемый жестоким январским штормом, загнавшим большие корабли в гавани. Его не мог видеть никто, кроме самого командира. Но, вероятно, именно ему было важнее всего видеть над собой этот флаг в те долгие часы, которые он собирался провести здесь один, сберегая лодку от стихии и от возможного врага.

Командир прижался к обвесу рубки, стараясь найти место посуше около входного люка, готовый захлопнуть его, в случае если волна накатит на рубку, или исчезнуть в нем, в случае если в пустынном море внезапно появится корабль.

Лодка шла на север, навстречу шторму. Именно такой шторм был лучшим союзником: там, в далеком проходе, куда направлялась лодка, он загнал уже в гавань все противолодочные катера и миноносцы. Кроме того, появление лодки, пересекавшей море в такой шторм, наверняка будет неожиданным и невероятным для врага, укрывшегося в своем логовище... Значит, нужно торопиться к этому проходу, пока в море бушует шторм.

И лодка шла упрямо на север, глубоко под гигантскими валами шторма, пока ей хватало энергии аккумуляторов. Но когда ей понадобилось всплыть — союзник обернулся врагом.

Всплывать в такой шторм — это все равно что с завязанными глазами пытаться вскочить на бешеную лошадь: в последний момент всплытия лодка теряет остойчивость, и любая волна может ее прикончить. Всплывая в шторм, надо угадать так, чтобы всплыть вразрез волне, чего рассчитать под водой невозможно.

Так и случилось при первой попытке всплыть. Ухватившись за скобу люка, чтобы, едва в иллюминаторе рубки забрезжит

дневной свет, открыть его, как можно скорее выскочить наверх и развернуть лодку против волны, командир всей тяжестью тела внезапно лег на отвесные ступеньки трапа.

Почувствовав, что крен смертелен, командир покрылся горячим потом. Вися на повалившемся вместе с лодкой трапе, командир увидел между ступней огромных своих валенок странно изменившееся лицо трюмного и крикнул ему необходимые слова команды. Возможно, что тот не успел еще осознать сказанное, но руки трюмного сами собой уже потянулись к рычагам кингстонов и клапанов, и резкий удар воды, принятой в цистерны правого борта, выпрямил лодку. Командир упал в центральный пост, успев крикнуть: «Право на борт!»

Лодка уходила в глубину, оправляясь от страшного удара волны. Трюмный вытер тыльной стороной ладони пот, лившийся по лбу, и только тогда командир понял, что и ему самому невероятно жарко. Но скинуть лишнюю одежду не имело смысла: надо было развернуть лодку против волны, направление которой стало известно ценой этих секунд, и снова всплывать.

Поэтому, выйдя наверх, командир в первые минуты не чувствовал ни ледящего ветра, ни холодных струй. Он осторожно изменял курс, стремясь на север, насколько это позволяло направление волны, пока наконец одна из них не прокатилась по всей лодке, накрыв рубку. Он прихлопнул ногой люк, ухватился за поручни и, переждав, пока холодная волна прошла над ним, снова открыл люк: дизелям, работавшим внутри, надо было дышать.

Вода, ударяя в лодку, накатывала на орудие, на рубку, на перископ и на человека тонкие свои слои, и блестящие струи медленно и лениво замерзали, скатываясь по металлу лодки и по назатыльнику шапки на спину длинного пальто. Густея, как застывающий клей, они покрывали металл и человека в его кожаной одежде тонким, незаметным пока слоем льда.

Командир заметил это не скоро. Все его внимание было устремлено на встающие на носу валы. Надо было вести лодку так, чтобы отыскать среди этих водяных гор курс, наиболее близкий к северному. Но волны, сталкиваясь между собой, нарушали правильный ритм и направление, и порой одна из них (которую почему-то зовут «девятым валом») нависала сбоку над лодкой своим странно гнущимся гребнем. Тогда командир спасал лодку и самого себя: лодку — уменьшая ход и ворочая вразрез волне, себя — ныряя под навес рубки. Одновременно он наступал валенком на крышку люка и прихлопывал ее, чтобы внутрь лодки не вкатывалась вода. Волна обрушивала свой гребень на лодку, перекатываясь через крышу рубки, и секунду-две командир находился в водяном гроте. Потом

вода уходила к корме, с крыши рубки ему на спину проливался ледяной душ, он снимал валенок с люка, и крышка его опять откидывалась пружинами, давая воздуху дорогу к дизелям.

Это было монотонным занятием, совсем не похожим на острую напряженность боевой атаки. Но это и было атакой, началом ее: проскользнуть через проход было выгоднее всего именно в такой шторм и прийти туда надо было во всей мощи, с полным зарядом электроэнергии. И он упрямо держал курс на север, ловя направление очередной волны.

Иногда волна оказывалась короче, чем он ожидал. Тогда лодка сотрясалась от могучего удара, и порой сквозь рев воды доносился треск: это ломалась стойка поручней или лист палубного настила. Но волна уходила, и успокоительный рокот дизелей докладывал, что все идет нормально.

Время измерялось для него теперь не минутами и часами, а плотностью электролита в аккумуляторах. Он спрашивал в переговорную трубу, как идет зарядка и много ли набралось в лодку воды.

Теперь командир все больше чувствовал холод. Особенно мерзли мокрые ноги. Он начал быстрый и яростный шаг на месте. Валенки хлюпали по воде, плещущейся по мостику, тело слегка согревалось, но ногам не становилось теплее. Командир снова спросил через переговорную трубу, как идет зарядка. Внизу к трубе подошел комиссар. Выяснилось, что придется стоять наверху еще столько же. Комиссар предложил сменить его или прислать штурмана. Командир ответил, что волна очень подлая и уходить он никак не хочет. Тогда комиссар спросил про холод. Он ответил кратко и выразительно. Комиссар немного помолчал, потом спросил, как уши. Командир поднял руку к шапке и с удивлением заметил, что шапка и воротник смерзлись в ледяной колпак. В это мгновение как раз навалилась откуда-то сбоку такая волна, что командир крикнул вниз: «Право на борт!» — заткнул свистком переговорную трубу, чтобы комиссару в ухо не полилась вода, и прихлопнул валенком люк.

Когда волна прошла, командир заметил, что она значительно изменила направление. Он сверился по компасу. Волна заходила к востоку. Он упрямо повернул лодку туда, куда стремился: на север. Но волна стала бить в борт и так валять лодку, что он пошел опять вразрез волне. Шторм уводил от цели похода, переупрямить его можно было только в спокойной глубине, а для этого не хватало еще электроэнергии. Он свистнул в трубу, чтобы вызвать комиссара. Штурман ему сообщил, что комиссар занят: режет на куски свое одеяло.

Командир тревожно спросил, здоров ли он, и штурман ответил, что вполне и даже весел. Командир собрался выругаться, но к трубе уже подошел комиссар и попросил на минутку всунуть в люк любую ногу, когда на мостике не будет воды.

Из люка обманчивым теплом тянул запах горелого масла дизелей. Командир почувствовал, как с ноги снимают валенок и носок, как чьи-то сильные руки растирают застывшие пальцы чем-то обжигающим. Потом ногу закутали в сухое и шершавое, натянули на нее чей-то тесный валенок и попросили другую.

В сухих валенках шторм показался не таким уж страшным. Командир в ледяном колпаке шапки, отлично сохраняющем уши от ветра, всматривался в волны. Они все больше заходили к востоку, вынуждая лодку менять свой упрямый курс. Лодка же странно преобразилась. Орудие под рубкой еще сохраняло свою форму, но увеличилось, как будто на него сверх парусинового натянули еще какой-то плотный и блестящий чехол. Поломанные стойки поручней, причудливо изогнутой волной, уже нарастили широкие ледяные грибы. С рубки свешивались огромные сосульки, а перископ стал вдвое толще. Даже флаг перестал развеиваться над головой командира: он стоял на негнущихся замороженных фалах, как лист погнутой жести, но под мутной глазурью льда все еще мерцала в углу красная звезда. Все это надо было понимать так, что вода, не давая лодке окончить зарядку, опять загоняла ее на глубину. Только там, где на сорок градусов теплее, лед мог постепенно растаять и облегчить лодку от ледяного опасного груза. Но для этого нужно было прекратить зарядку, необходимую для атаки.

И командир продолжал вести лодку вразрез волне, тревожно присматриваясь, как подымается ее отягченный льдом нос, и с горечью наблюдая, как уводит его от цели вынужденный курс. Если бы не это, все было бы нормально, ибо основная проблема была решена: через каждые десять — пятнадцать минут переговорная труба тоненько свистела и веселый голос снизу кричал: «Товарищ старший лейтенант, поджарили!» — и потом застывшие ноги приятно охватывались теплом. Это было горячее комиссарское одеяло, вернее — куски его. Их сушили над электрической печкой, балансируя с ней на стремительной качке, чтобы не вызвать пожара. Другие краснофлотцы так же возились с валенками: один, цепко расставив ноги, держал в руках электрическую печку, второй — валенки над ней, и распаренный их запах был единственным теплом в сыром и холодном воздухе лодки. Она и внутри была вся в воде, потому что через люк, открытый для работы дизелей, волна то и дело вкатывала в центральный пост холодные свои струи,

как ни старался командир вовремя прихлопнуть люк. Ноги у всех в лодке заоченели, но самым важным и нужным были сейчас командирские ноги, и для них работали обе печки. Валенки все же не успевали просыхать и охватывали просунутые в люк ноги влажным горячим компрессом, который остывал как раз к тому времени, когда начинала дымиться над печкой вторая пара, и тогда веселый голос опять кричал наверх: «Товарищ старший лейтенант, горяченьких, с пылу, с жару!»

Но вскоре командир в ответ на этот веселый голос попросил выслать спирту, и побольше. Штурман послал ему большую рюмку, но командир потребовал целый стакан. Штурман ответил «есть», но изумился.

Когда же аккумуляторы вдоволь напились живительной электрической силы и можно было опять уходить из шторма в спокойные глубины, пришла очередь изумиться и комиссару. Командир ответил, что погружаться он не будет и что сейчас ворочает прямо на север в проход. Комиссар, встревожившись, спросил, здоров ли он, и командир ответил, что вполне и даже весел, что тут совершенно тепло и выдумка с печками — замечательная, только жалко одеяла, и что он просит прислать еще стакан спирту, а лучше — всю бутылку. Комиссар сердито сказал, что довольно и что он выйдет наверх сам. Он заткнул свистком трубу и, натываясь на качающиеся борта, пошел к трапу, хотя переговорная труба отчаянно свистела ему вслед.

На трапе его встретил холодный душ, и потом долго пришлось дожидаться, пока командир откроет люк, — волна только что перекатилась через мостик. Потом он вышел и увидел море, шторм и командира. Красное его лицо, выглядывавшее из ледяного колпака шапки, улыбалось, и он показывал на волны и на компас.

Где-то в глубине материка переместился центр низкого давления, и холодные массы арктического воздуха, мчавшиеся над Балтикой, переменили направление, увлекая за собой волны. Теперь получилось так, что, если лодка повернет на север, они будут бить ей справа в корму, раскачивая самой спокойной и безопасной в шторм качкой, а ветер прибавит к ее ходу верных два-три узла. Погружаться не имело смысла, дойти до цели вернее и скорее было в надводном положении. Все было понятно, кроме одного, и комиссар хотел спросить про это, но, взглянув на перископ, смолчал: драгоценный стеклянный его глаз был освобожден ото льда, готовый к мгновенному погружению, и ветер, дувший с кормы, заметно прибавляя ход лодке, доносил от стекла свежий и тонкий запах спирта.

— Так, значит, тут у тебя все нормально,— сказал комиссар, берясь за крышку люка.— Мы сейчас тебе сюда кофейку горячего расстараемся.

«Малютка» шла вперед, тяжело раскачиваясь обледеневшим корпусом, и орудие перед рубкой, превратившееся в небольшого слона, уткнувшегося хоботом в палубу, ныряло в волну и с плеском вздымалось из нее. Лодка была похожа на айсберг, но она шла на север, она шла на север!..

1940

КРОШКА

Когда в отряд прибыло пополнение в шесть лошадей, присланных из Кронштадтского порта, капитан Розе окончательно расстроился.

Три месяца назад, при формировании этого балтийского берегового отряда, капитан Розе, читавший в Школе оружия курс двигателей внутреннего сгорания, никак не мог предполагать, что превратится из техника в хозяйственника. Пока он занимался автотранспортом — все было привычно и понятно. Но когда пришли на фронт и отряд продолжал расти, когда завернули эти необыкновенные морозы и целый подземный городок вырос в заснеженном лесу — как-то само собой получилось, что именно на капитана Розе свалились все хозяйственные заботы. Командир отряда, бывший балтийский матрос, в свое время повоевавший «на сухом пути» — под Царицыном и под Перекопом, — все чаще и чаще поручал ему разные снабженческие дела и, наконец, однажды вечером вызвал его в землянку и жестоко распустил за невкусный борщ. Капитан Розе изумился, но, решив, что комбригу виднее, кто за что должен отвечать, побежал к походным кухням и тотчас собрал коков на совет: что делать, чтобы картошка не мерзла и не гадил борща? И когда в очередном приказе было уже прямо сказано: «Начальнику тыла капитану Розе обеспечить...» — капитан философски решил, что кому-нибудь в отряде надо же быть этим начальником.

Но лошади вывели его из себя. Все-таки между автотранспортом и картошкой была какая-то логическая связь: картошку привозили на его машинах — значит, он должен был не только довести эту картошку до лагеря, но, так сказать, довести ее и до бойца, то есть сберечь от порчи, сварить и раздать, для чего нужно было позаботиться и о дровах, и о соли, и о мастерстве коков. Но лошади?!

Было ясное морозное утро. Из землянок тянулся легкий дымок, и снег, нависший на ветвях, таял и капал, сразу же превращаясь в лед. У гаража, образованного парусиновым обвесом меж елей, стояли возле машин шесть загадочных существ, заиндеветших и мохнатых.

— Нет, вы подумайте, так на мою голову еще и лошади! — восклицал капитан Розе. — Ну что мне лошади и что я им? Может быть, кто-нибудь покажет, куда в них наливать горячее? И где я построю им гараж? Они же лопнут на этом проклятом морозе; это же не машины, чтобы из них выпускать на ночь воду!..

Тут стоявший впереди огромный серый битюг вкусно фыркнул и ткнулся носом в карман капитанского полушубка.

— Нет, вы посмотрите, оно уже хочет кушать! — в отчаянии воскликнул капитан и, достав из кармана горбушку, протянул битюгу, который и зажевал ее с видимым удовольствием. — Ну чем я буду тебя кормить, дорогая крошка?.. Вы не знаете случайно, товарищ Андреев, они консервы кушают? Или, может быть, как-нибудь проживут на одном хлебе?..

В шуточном отчаянии капитана сквозило, однако, серьезное беспокойство. Лошади были голодные, усталые от долгого перехода по снегам, и, как ни велико было отвращение техника к этому виду транспорта, надо было все же немедленно «поставить их в человеческие условия», как выразился капитан Розе. А для этого надо было найти людей, которые понимали бы толк в этих чуждых флоту и технике существах. И когда в ответ на призыв капитана вперед вышел комсомолец Савкин, один из лучших учеников в Школе оружия, готовившийся стать штурманским электриком, капитан Розе облегченно вздохнул и пошел с докладом к комбригу, не удержавшись, впрочем, от совета Савкину обращаться с битюгом осторожно, «чтобы не устроить где-либо в нем короткого замыкания...».

Комбриг лежал в своей землянке больной. На его стареющем, но еще крепком теле было уже тринадцать ран, полученных в гражданской войне и в амурских боях 1929 года. Теперь к ним прибавилась четырнадцатая. Она, правда, совсем затянулась, но нога плохо работала, и комбрига опять лихорадило. Поэтому капитан Розе снова отложил давно намеченный крупный разговор о том, что он — техник и преподаватель двигателей внутреннего сгорания — не может, не умеет, наконец, просто не хочет быть «начальником тыла» и что он просит поручить ему командование приданными отряду танками. Он ограничился докладом о прибывших лошадях и о Савкине, которого просил утвердить в должности «флагманского конюха», дав ему в помощь пять краснофлотцев «такого же лошадиного склада мыслей», и добился своими шутками того, что комбриг пове-

селел и выпил горячего чая. Потом, плотно укутав больного, он вышел из землянки, строго приказав часовому со всеми вопросами посылать к нему и не беспокоить комбрига.

Так штурманский электрик Савкин стал «флагманским конюхом» балтийского отряда.

В лесу выросла конюшня, сложенная из тонких елей, на которые набросали ветви. В аккуратных стойлах появились фанерные дощечки с надписями: «Линкор», «Торпеда», «Мина», «Компас», «Ураган». Так по-флотски окрестил Савкин безымянных друзей. И только над огромным серым битюгом висело мирное слово «Крошка» — в память первого знакомства капитана Розе с лошадьми.

Крошка стал любимцем Савкина. Быстро отъевшись на овсе (для которого «флагманский конюх» с боями вырывал у капитана Розе место в очередной машине), могучий серый конь стал гладким, веселым и не отказывался ни от какой работы. А работы хватало. «Лошадиный дивизион» принял на себя и подвоз снарядов на передовые батареи, где машины вязли в снегу, и доставку бойцам на передний край позиции горячего борща в двухведерных термосах, бережно привозил из боев раненых, волоком тащил по снегу лес для новых землянок, и даже как-то сам капитан Розе, прикрывая смущение шутками, поручил Савкину вызволить из заноса грузовик, застрявший в лесу, — и шесть нормальных лошадиных сил дружно сдвинули с места тяжелую машину вместе со всеми ее пятьюдесятью условными лошадьми, замерзшими в ее моторе.

Пошептавшись однажды с разведчиками-лыжниками, Савкин заложил Крошку в розвальни и затрусил в лес. Два дня Крошка таскал неведомо откуда бревна, доски, двери и кирпичи, и скоро в отряде появилась настоящая баня. Это был домик лесника, каким-то чудом уцелевший от поджогов. Его распилили на месте. Крошка перевез на себе весь сруб, и баня распахнула перед балтийцами свои горячие желанные двери. Честь париться первыми была предоставлена капитаном Розе «флагманскому конюху» и лыжникам, отыскавшим домик. Они принесли в баню больного комбрига, и тогда состоялось торжественное открытие «Дворца культуры». В бане же комбриг пригласил Савкина и лыжников к себе в землянку пить чай, и там за столом Савкин внес еще одно предложение по лошадиной части.

В десяти километрах по льду от берега выдавался в море мыс — правый фланг укрепленной финской позиции. Перед ним в торосах залегли балтийцы. Уже третий день они лежали на льду, прячась в торосах от меткого огня снайперов, которыми кишел весь прибрежный лес и которые не давали возможности перебраться на берег по открытому голому льду. Третий день

балтийцы были без горячего супа, потому что лыжники могли по ночам приносить им лишь маленькие термосы с какао, заботливо сваренным капитаном Розе. Савкин предложил попытаться доставить им суп, а заодно и запас патронов, которых Крошка сможет взять любое количество.

Комбриг внимательно посмотрел на Савкина, разглядывая его. Ладный и крепкий юноша с простым веснушчатым лицом, несколько смущаясь, продолжал говорить. Оказывается, он все уже подсчитал и прикинул: луна заходит в начале ночи, стало быть, до рассвета он успеет к торосам. Там он положит Крошку за большую льдину, чтобы его не пристукнул снайпер, переждет день и ночью вернется. А что до того, что на льду нет санной дороги, то Крошка дорогой не интересуется, вывезет и по брюхо в снегу любой воз...

Комбриг смотрел на Савкина, и перед ним вставали давние дни, когда в сугробах Донбасса балтийские моряки так же за кружкой чая спокойно обсуждали боевой день. Юноша-комсомолец, молодой краснофлотец, чем-то напоминал тех, прежних... В повадках его, в жестах и в разговоре не было и тени крутого матросского нрава. Глаза, еще по-юношески ясные, были совсем другими, чем усталые и гневные глаза тех людей, которые прошли тяжелую царскую службу, пережили четыре года войны и вновь по своей охоте ринулись под пули и снаряды в неведомые флоту степи и леса. И самый тон его, сдержанный и спокойный, ничуть не был похож на соленый и резкий разговор старых балтийцев.

Но в нем жило то, что в академии называлось «волей к победе» и что сам комбриг называл «боевым упорством», «балтийским упрямством» или — по-давнему, по-матросскому, — «марсофлотством».

Собственно, ничего особенного Савкин не предлагал. Ну, какое геройство было в том, чтобы подвезти на лошади по льду термосы с супом и цинки с патронами? Но, взглядевшись в его глаза, где сидело это самое «марсофлотство», комбриг понял, что суп — это только разведка, что Савкин задумал другое, о чем пока не говорит, и что этот юноша — из тех, кто найдет выход из любого положения, кто пойдет сам и поведет за собой людей куда угодно.

— Ну, вези борщ, балтиец, — сказал он, называя его словом, которое у него означало высшую похвалу. — Вези, вези... Я тебя насквозь вижу!.. Адьютант, начальнику тыла сказать, чтобы борщ мировой был!

И ночью Савкин выехал с борщом на лед. Десять лыжников сопровождали розвальни. Савкин направлял Крошку по их лыжням, как бы стараясь расширить полозьями эту узкую дорогу, но Крошка то и дело проваливался в снег по брюхо.

Невнятная, неясная мгла висела над заливом, белое марево снега и луны. Где-то далеко ухали залпы, порой в небе, шурша, пролетал над головой снаряд. Потом луна зашла, и к этому времени Крошка задымился, тяжело поводя боками. Савкин дал ему передохнуть, лыжники разобрали по рукам концы, которыми прихвачены были к розвальням термосы, цинки с патронами и тук с газетами, подкинутый начальником тыла, и впряглись в сани, помогая Крошке. Уже светало, когда из снега донесся окрик:

— Пропуск?

Это был секрет перед торосами...

Через сутки Савкин вернулся, привезя трех тяжело раненных снайперскими пулями. Он тотчас же прошел к комбригу, и тот понял, что не ошибся: борщ был только разведкой — разведкой пути и силы Крошки. Настоящее дело начиналось теперь.

Ночью с берега на лед съезжала тройка. В корню был Крошка, в пристяжке — сильный Линкор и выносливая Торпеда. В розвальнях было, очевидно, что-то потяжелее, чем борщ, потому что полозья, несмотря на дважды прокатанную Крошкой колею, вязли в снегу, и вся тройка задымилась далеко до того места, где в первую ночь остановился Крошка. Но Савкин на этот раз не щадил коней, понукая их, дергал вожжи, и тяжелый воз все ближе и ближе подходил к торосам.

Там его ждали. Неслышно и быстро распаковали воз. Тускло блеснула в рассветной мгле сталь. Тупое рыльце орудия хитро выглянуло из рогожи.

Орудие появилось на льду, перед самым лесом, — орудие, которого враг не мог ожидать!

Его собрали, лежа за льдинами, потому что снайперы, еще не видя в неясной мгле цели, но услышав возню, не давали приподыматься над торосами. Савкин заботливо повалил за льдину сперва Крошку, потом и остальных двух коней. Торпеда заупрячилась, и Савкин возился с ней, негромко приговаривая: «Ложись же, дура, подстрелят», — когда рядом с ним рывкнул звонкий орудийный выстрел, потом другой, третий... Торпеда испуганно взметнулась и встала во весь рост, но стрелять по ней уже было некому...

В прибрежном лесу, кишевшем на каждом дереве снайперами — этим тайным, скрытым, невидимым врагом, — теперь свистела между ветвей шрапнель прямой наводки. Орудие, привезенное Савкиным, в упор било по лесу. Шрапнель стряхивала с елей пласты снега, подсекала суки, сшибала, как яблоки, закутанных в белое людей с автоматами.

— Один! — крикнул Савкин, забыв про Торпеду. — Еще один! Третий!..

В трехстах метрах от торосов падали на снег под сосны неподвижные фигуры.

В лес, освобожденный от снайперов, кинулись балтийцы. Они перепрыгивали через торосы, бросались в снег и ползли к берегу, достичь которого не могли все эти четверо суток. Уже слышны были взрывы ручных гранат — бойцы добрались до проволоки; уже яростно загревели пулеметы дотов, лишенных передовой своей охраны — снайперов. Савкин схватил винтовку, лежавшую возле раненого, и кинулся было на лед, но, вспомнив, крикнул и вернулся к коням.

— Вставай, Крошка, поехали обратно, такая уж у нас работа — и повоевать нельзя!..

Он подобрал четырех раненых, мягко уложил их в санях на солому, где только что лежало орудие, сейчас осыпавшее шрапнелью окопы перед дотами, и поехал к отряду.

Розовый и морозный вставал над замерзшим морем рассвет. Сразу же у торосов Савкин встретил на льду первую группу лыжников-краснофлотцев, подальше вторую, за ней третью — и так до самого своего берега он ехал, как по людной улице. Уже показалось солнце, веселые и ясные его лучи освещали разгоряченные и серьезные лица друзей, и по коротким их возгласам Савкин понял, что отряд вышел на лед еще задолго до первого выстрела орудия, доставленного им в торосы. Видно, крепко поверил комбриг в выдумку своего «флагманского конюха», что бросил вслед за ним балтийскую силу, чтобы использовать прорыв правого фланга и ударить в тыл этим мрачным, скрытым в земле вражеским дотам. Видимо, понял это и враг, потому что все чаще вставали на льду тяжелые черные столбы разрывов крупных снарядов, и на чистой пелене снега темными озерами сияла вода. Но балтийцы все шли и шли, мерно и неостановимо, и над их головами, шурша и воя, неслись туда, за торосы, наши снаряды, расчищая им путь в тыл и фланг врага...

Через три дня весь балтийский лагерь со своими лазаретами, кухнями, гаражами и машинами снялся с якоря, чтобы продвинуться вперед. «Лошадиному дивизиону» снова пришлось жарко, а Крошка и Савкин приказом капитана Розе были откомандированы в распоряжение комбрига, который все еще не мог ходить. То и дело в лесу раздавалась странная команда: «Флагманский катер к трапу!» — и Савкин, лихо развернувшись меж сосен, подавал «катер», то есть розвальни, заботливо устланные полушубками. Комбрига переносили в сани, и Крошка пробирался по тропам или целине к переднему краю.

Однажды «флагманский катер» возвращался с переднего края. В этот день было очередное передвижение лагеря. Лесная дорога была сплошь забита машинами и людьми, возами и тан-

ками. Саперы спешно строили мост через оборонительный ров перед разбитой и уничтоженной линией дотов, и весь огромный караван тыла вытянулся по дороге. Комбриг приказал проехать к строящемуся мосту.

Дорога, черная и накатанная, здесь обрывалась, и на белом снегу виднелись лишь следы краснофлотцев-минеров. Савкин придержал Крошку. Впереди медленно шли краснофлотцы, держа в руках легкие бамбуковые палки, водя ими перед собой. Могло показаться, что они удят в снегу рыбу. Гибкие палки размеренно описывали в воздухе широкие полукруги, и время от времени кто-либо из краснофлотцев становился на колени и осторожно разгребал руками белую пушистую пелену снега. Через минуту в руках его блестела медная маленькая трубка. Это был запал мины, теперь обезвреженной, и тогда из-под снега доставали круглую металлическую коробку, в которой была законсервирована смерть.

Вся дорога была минирована. Мины были хитрые: они были способны выдержать тяжесть человеческой ноги, но обязательно взрывались под тяжестью танка или машины.

Крошка нетерпеливо фыркал, ожидая, когда люди с удочками двинутся вперед, и охотно шел вслед за ними. Комбриг дал указания и приказал ехать обратно.

Колонна танков и грузовиков уже шла навстречу, медленно подминая пушистый снег, в котором зияли черные ямы от вынутых мин. У большой сосны комбриг остановил свой «катер», и Крошка уткнулся мордой во встречный танк.

Солнце празднично освещало заснеженный тихий лес, где-то плотно и бодро гудели орудия, и казалось странным, что три-четыре дня назад здесь на каждом шагу подстерегала смерть. Она таилась везде — в минах, в амбразурах дотов, теперь разрушенных и немых, на каждом дереве. Сейчас здесь кипела жизнь, раздавались громкие голоса, шутки, смех — и одно нетерпеливое стремление вперед и все вперед, к новой линии дотов, к новым трудным и славным победам увлекало всю массу людей. Но краснофлотцы с удочками еще не окончили работы, впереди могли еще лежать под снегом, тайно и коварно, металлические ящики со смертью — и комбриг задержал колонну. Приподнявшись в санях, он крикнул, чтобы нашли начальника тыла, и Савкин из разговора комбрига с командиром танка понял, что капитану Розе сильно попадет за то, что он выслал с удочками мало людей.

Капитан Розе скоро появился. Он ехал на велосипеде, изумляя всех (и, вероятно, самого себя) таким странным способом передвижения по снегу. Это был подобранный им на дороге велосипед, ободраный и погнутый, без шин и покрышек, но отлично пробиравшийся по накатанной колее и сохранявший

начальнику тыла немало времени в его бесконечном мотанье вдоль колонны. Крошка покосился на велосипед, фыркнул и рванулся вправо, высоко взметнув передние ноги. Савкин, невольно засмеявшись, натянул вожжи, но внезапно плотный и тяжкий звук ударил ему в уши, черный столб встал перед глазами, горячий удар сбросил его в сани прямо на комбрига, и, когда, выдохнув из легких ядовитый сладкий дым, он открыл глаза, Крошки перед ним не было.

Рядом на дороге ничком лежал капитан Розе, сброшенный с велосипеда, комбриг ворочался в санях под Савкиным, но стонов его тот не слышал, потому что в ушах гудело и выло. Савкин соскочил с саней, потряс головой и, убедившись, что все в порядке, поправил на полушубках комбрига. Тогда и капитан Розе поднял голову, не понимая, что произошло. Командир танка протирает глаза, засыпанные землей. Все были целы, кроме Крошки.

Оглядевшись, Савкин увидел на снегу шагах в тридцати распластанную серую шкуру огромного битюга. Она лежала, отбросив в сторону пышный хвост, и было похоже, что мастер своего дела тщательно освежевывал коня, выделявая шкуру. Все остальное, что составляло крупный и могучий организм коня, висело на ветвях сосен и елей, подброшенное силой взрыва. Так рвались эти мины — все вверх и ничего в стороны.

К месту взрыва бежали саперы. Комбриг, морщась и потирая ногу, растревоженную падением Савкина, укоризненно смотрел на них.

— Что ж, прошляпили, рыболовы? — сказал он недовольно. — Товарищ капитан, что же у вас так?

Капитан Розе опять, как и с борщом, почувствовал себя виноватым. Война снова меняла его специальность, и теперь приходилось думать об удочках и минах. Он нагнулся над ямой, поковырял ее и потом поднял голову.

— Они ни при чем, товарищ комбриг, — сказал он, показывая обломок доски. — Мина не металлическая. А на дерево наши удочки еще не обучены... Надо все сначала думать...

Была ли это очередная хитрость врага или у финнов уже кончился запас мин, аккуратно заделанных в металлические коробки, они вынуждены были прибегнуть к кустарной выделке, но мина действительно была в деревянном ящике. И первым обнаружил это Крошка.

Колонна задержалась. Капитан Розе, командиры и краснофлотцы-минеры стояли у развороченных оглобель, из которых вылетело на сосны тело Крошки, и между ними пошел серьезный разговор о деревянных минах и о том, как их находить. Савкин плохо слышал, в ушах у него все еще гудело, и он смотрел в сторону, туда, где на снегу лежала распластанная шкура

Крошки. Потом он вздохнул и пошел разыскивать Торпеду, чтобы отремонтировать «флагманский катер», лишенный своего могучего двигателя. Он нашел Торпеду за шестым грузовиком и начал убирать из розвальней поклажу.

— Спасибо Крошке! — сказал Андреев, хозяин Торпеды. — Боевой был коняга!

— Боевой, — ответил Савкин, и тяжелая военная грусть легла на его сердце, как будто он потерял в бою испытанного и верного боевого друга.

Колонна медленно двинулась. Краснофлотцы-минеры второй раз проходили перед ней дорогу, очищая ее от новых, невиданных мин, обнаруженных Крошкой — флагманским конем берегового балтийского отряда.

ГРУЗИНСКИЕ СКАЗКИ

Последние пять суток в лодке почти не спали.

Северный шторм, как в трубу, дул в этот стиснутый скалами длинный залив. Вздрыбленные им волны растревожили холодную воду до самых тайных глубин, и лодке никак не удавалось лечь на грунт, чтобы людям можно было поесть горячего и поспать: лодку постукивало о камни или попросту вышвыривало на поверхность мощной глубинной волной.

Наверху же лодку ждал мороз. Все, что выступало над водой — мостик, рубку, орудия, — он облеплял льдом. Лодка получала ненужную ей добавочную плавучесть, и никакими силами нельзя было бы загнать ее под воду в случае неожиданной встречи с врагом или приближения к береговым батареям. Тогда краснофлотцы выползали на ледяную скорлупу и, обвязавшись, скалывали ее топорами и ломом, сами сбиваемые с ног нестерпимо холодной водой, — и лодка вновь погружалась.

И когда наконец оказались на этом спокойном курсе и коку удалось сварить борщ и кофе, командир приказал спать всем, кроме боевой смены. В центральном посту осталось лишь несколько человек.

Лодка шла на небольшой глубине ровно и спокойно, даже не покачиваясь. Успокоительно жужжал гирокомпас, мирно чикали указатели рулей, по-домашнему пахло недавним обедом, и казалось, что это — обычный учебный поход. Только холод и сырость, вьевающиеся в борта и в одежду за долгие дни блокады, да карта на штурманском столе, где выразительными крестиками помечены места потопленных лодкой транспортов с боеприпасами, напоминали о том, что было до этого похода.

Лодка держалась в заливе до последней возможности. Уже прихватило берега плотным береговым припаем и пора было уходить в базу. Но оставались еще топливо, снаряды и торпеды, и лодка продолжала стеречь морскую дорогу к врагу. Это

не было ни упрямством, ни рекордсменством — это было военной необходимостью.

Ботника была одним из важных путей снабжения врага снарядами, оружием, боеприпасами. Ботника была как поддувало горячей печи: прикрыть его — и свернется, а может быть, замрет на фронте огонь, лишенный своей взрывчатой пищи, и тысячи человеческих жизней будут сохранены для труда и счастья. И то, что у одного из крестиков на карте стояло позавчерашнее число, доказывало, что лодка задержалась здесь не зря: враг, уверенный, что советские подводники, не выдержав зимних штормов, уже сняли блокаду, попытался подвезти боеприпасы. Но у самого входа в ледяной фарватер оба транспорта трескучим фейерверком взлетели к низким снежным облакам, и огненные столбы взрыва показали, что советские подлодки еще здесь.

Но дальше оставаться в Ботнике было нельзя: небывало суровая зима могла сковать льдом проходы между островами, и тогда залив стал бы ловушкой или могилой. И сразу после атаки командир проложил курс на юг, торопясь к проливу, пока шторм, разбивая льдины, не давал единственному выходу в море закрыться льдом.

К рассвету лодка подошла к проливу. Командир был наверху один. Охрипший его голос передал по трубе в центральный пост пеленги на мысы и уцелевший маяк. Штурман нанес место на карте, чтобы начать от него слепую подводную прокладку, но командир почему-то долго не спускался вниз. Наконец на трапе показались его ноги, он задраил выходной люк и скомандовал погружение.

Лодка ушла на небольшую глубину, скрываясь от батарей, стерегущих пролив, и скоро, очевидно, оказалась между островами, потому что качка постепенно стихла, и началось это блаженное безмятежное плавание, по случаю которого командир распорядился об отдыхе и даже штурмана отослал спать. Командир спокойно поглядывал на счетчики лага, на часы, на карту, негромкой командой менял курсы, строго держась найденного в свое время безопасного фарватера, и всем в центральном посту казалось, что все идет нормально. Только боцман Вязнов, испытанный горизонтальный рулевой, заметил, что капитан-лейтенант нынче что-то не в себе: он то и дело шагал циркулем по карте, подолгу стоял над ней, перелистывая лоцию. Потом вынул из стола целый ворох метеорологических телеграмм, опять читал лоцию, проводил на карте много южнее выхода из залива кривые странные линии, смотрел на них, что-то прикидывая, и, наконец, резко отодвинув в сторону толстый том лоции, недовольно буркнул:

— А что мне, легче, что раз в сто лет...

Боцман поднял на него глаза, но командир строго приказал ему точнее держать глубину и снова наклонился над картой.

Все это не походило на его обычную спокойную приветливость. Но в конце концов он, видимо, что-то решил, потому что убрал и лоцию и сводки, вычистил резинкой карту, и, сделав на курсе пометку далеко впереди, плотно запахнул реглан и сел на разножку вздремнуть.

Мало-помалу лодка начала оживать — и самый усталый человек когда-нибудь да выпится. Подводники просыпались, сами не веря себе, что этот спокойный курс еще не кончился. Началось всеобщее бритье — из того расчета, что после всплытия вновь будет валять до самой базы. Пришел кок и спросил разрешения давать завтрак (хотя по часам это никак не могло так называться). По лодке потянуло вкусным запахом — на этот раз какао. Выпив свою чашку, капитан-лейтенант послал за помощником, приказал ему идти намеченными курсами, ни в коем случае не всплывая, и разбудить его за полчаса до намеченной по карте точки.

Но когда он вновь пришел в центральный пост, было видно, что сон никак его не освежил. Казалось, он вовсе не спал — командир осунулся, почернел, и глаза его были воспалены. Он обменялся короткими словами с помощником, отпустил его и снова присел на свою разножку.

На горизонтальных рулях снова нес вахту боцман Вязнов, и с ним стояла вся лучшая смена: трюмные, электрики, вертикальный рулевой — все были отличниками и коммунистами. Капитан-лейтенант подолгу задерживал на них взгляд, как бы оценивая каждого заново. В лодке стали утихать голоса, все, кто мог, снова прилегли поспать, пользуясь спокойным плаванием, и почти никто не проходил больше через центральный пост, но капитан-лейтенант вдруг негромко сказал:

— Задрайте двери, чтоб не ходили тут...

И когда последний барашек водонепроницаемых дверей был повернут до места, он так же негромко приказал:

— Товарищ боцман, всплывайте на перископную глубину. Полегоньку.

Электрик тотчас взялся за рубильник, чтобы поднять из шахты перископ, как полагается это при всплытии, но командир остановил его жестом, глядя на глубомер. Вязнов осторожно переложил рули, лодка поднялась носом, глубомер медленно повел стрелку влево. Но когда она переползла через цифру, означающую, что перископ (если бы он был поднят над рубкой) мог бы уже видеть горизонт, — лодка качнулась, будто рубка наткнулась на какое-то препятствие, мешающее ей выглянуть из воды, и глухой шум донесся сверху.

— Так, — сказал капитан-лейтенант, — продуть среднюю.

Трюмный открыл воздух, меж бортов заурчала вода, вытесняемая из цистерны, но стрелка глубомера замерла на том же делении, а палуба вдруг покосилась под ногами. Капитан-лейтенант махнул рукой, и трюмный, не спуская с него глаз, заиграл своими рычагами и штурвальчиками. Лодка, вновь приняв воды, пошла вниз, медленно выпрямляясь на ровный киль.

— Давайте на прежнюю глубину, — сказал командир и обвел глазами всех, кто был в центральном посту. — Все понятно? Но и молчок.

Все было понятно: то, что мешало лодке всплыть, не было отдельной льдиной, которая могла бы соскользнуть с рубки. Крен лодки, упершейся рубкой в лед, означал, что это было ледяным покровом.

Все в центральном посту молчали. Капитан-лейтенант склонился над картой, шагая циркулем вперед по курсу. Он наметил новую точку впереди и повернулся:

— Товарищ боцман, вызовите смену, а со своей пока отдохните. Через три часа попробуем еще разок. Где-нибудь да кончится... В лодке лишнего не болтать, незачем остальным беспокоиться. Понятно?.. Отдраить двери.

Вахта сменилась, спокойное плавание продолжалось, и никто, кроме ушедшей спать смены, не догадывался, что отсутствие качки объяснялось тем, что все это время лодка шла под сплошным ледяным потолком.

В том месте, где капитан-лейтенант, пройдя замерзший пролив, попытался всплыть, Балтийское море не замерзло ни разу за сто лет, и он никак не мог рассчитывать на это коварство природы. Когда на рассвете лодка подходила к проливу и когда вместо черной бушующей воды командир увидел гладкую белую пелену, он понял, что пролив все-таки замерз, несмотря на шторм. Тогда он вынужден был нырнуть под лед, пройти под ним пролив, чтобы вынырнуть далеко в море, там, где огромные, непрестанно движущиеся водяные горы замерзнуть, конечно, не могли.

И лодка ушла под лед, южная кромка которого была неизвестно где, но где-то, несомненно, должна была быть.

Должна... но была ли?

Место, которое капитан-лейтенант назначил себе для первой попытки всплыть, было на десять миль южнее той самой крайней линии ледяного покрова, какую лоция Балтийского моря указывала в качестве единственного за сто лет события. Эти десять миль были поправкой на нынешнюю зиму. И все же оказалось, что и здесь, где даже в тот исторический год была чистая, незамерзшая вода, теперь был настоящий лед...

В подводной лодке, как нигде, надо уметь владеть своим

воображением. Стоило на секунду дать ему волю, как на карте тотчас нарастали две белые полосы. Они закрывали собой черные цифры глубин, двигаясь навстречу друг другу от северного и южного берегов. Они сходились бесшумно, и где-то под ними металась обреченная лодка...

Надо было упорно думать, где могла быть чистая вода. Она должна была быть. Она не могла не быть.

Искать указаний на это в лоции было бесполезно. Старушка, как и полагается старожилам, уже честно призналась что такого не запомнила за сто лет. Спрашивать у других — означало только покушаться на их спокойствие. Оставалось сидеть на разномыслии, ждать еще три часа и снова пробовать всплыть.

Но когда через три часа пришел боцман Вязнов со своей сменой, оказалось, что о ледяном потолке, нависшем над лодкой, как крышка длинного гроба, думают не только капитан-лейтенант и те, кто был свидетелем попытки всплыть. Подводникам стал ясен и крен, и странный шум над головой, и капитан-лейтенант понял взгляды, которые кидали на него краснофлотцы, проходя через центральный пост.

Капитан-лейтенант прижал губы к трубе, проведенной по всем отсекам, коротко объяснил всей команде, в чем дело, и дал знак к всплытию.

Теперь, пытаясь выбраться из-под льда, лодка яростно кидалась снизу на его плотную броню. Она царапала его рубкой с полного хода. Застопорив машины, подкрадывалась к нему по вертикали, чтобы отчаянным усилием, продувая все цистерны, приподнять гигантский ледяной покров Балтийского моря. Люди на своих боевых местах покрывались потом, как будто это они сами — своими плечами — пытались взломать нависший над ними потолок.

Но ледяной покров пробить не удалось. И лодка ушла на глубину, как уходит от плотного беспощадного стекла аквариума быстрая, но мягкая рыба.

На глубине капитан-лейтенант приказал замерить плотность батарей. Энергия была на исходе. Теперь ее не хватило бы и на то, чтобы вернуться в залив, туда, где была еще чистая вода. Он наклонился над картой, прикидывая господствующие ветры, глубины, течения, потом резко изменил курс к западу, в сторону от базы, и вышел из центрального поста.

В отсеках шла нормальная походная жизнь. Подводники держали себя спокойно, даже шутили, но капитан-лейтенант то и дело ловил пристальный взгляд, немой вопрос, обращенный к нему. Все имеет пределы — и выдержка и мужество. Испытание было слишком длительным.

Тогда он прошел в каюту, взял книжку, вернулся с ней в центральный пост и углубился в чтение.

Он читал сосредоточенно, иногда усмехаясь и переворачивая страницы, чтобы перечесть поправившееся место. И краснофлотцы, проходя, словно по своим делам, через центральный пост, видели: сидит капитан-лейтенант и читает, как будто лодка самым будничным образом идет в чистой воде. Значит, по балтийской поговорке, все было нормально. Зачем же волноваться и гадать, где кончится лед, если командир сидит и, усмехаясь, читает книжку?

И только боцман Вязнов увидел то, чего не заметил никто. Когда командир поднял глаза на часы, боцман поймал однажды его взгляд. И такое подметил боцман в усталых, воспаленных глазах капитан-лейтенанта, что дрогнуло в нем сердце и циферблат глубомера на миг заволокся радужной пленкой. Колено боцмана касалось колена командира — разножки их стояли близко, — и боцман, хотя ему было неудобно, и нога затекла, и очень хотелось ее вытянуть, не мог оторвать свое колено от холодного командирского реглана: будто какая-то струя воли, спокойствия, решимости шла от этого незначущего прикосновения.

В поставленный самому себе срок капитан-лейтенант закрыл книгу и встал.

Опять прогремели звонки к всплытию. Опять лодка пошла вверх, продувая цистерны, и опять раздался проклятый удар рубки о лед. Но стрелка глубомера, задержавшись на миг, резко пошла влево, достигла нуля, и лодка закачалась.

Подняли перископ. Стекланный его глаз показал битые льдины, плавающие вокруг. Волна раскачивала лодку все сильнее. Капитан-лейтенант, не отрываясь, смотрел в перископ (так нашедший в степи воду припадает к ней жадным ртом), и тоненький белый лучик дневного света играл на красноватом белке его правого глаза. Потом он повернул голову, и все увидели прежнего командира.

— Штурман, пометьте-ка там в лоции, сто двенадцатая страница: кромка льда в северной части Балтийского моря может достигать широты — место снимите с карты... Дизеля к зарядке!

Он поднялся по трапу, с трудом открыл выходной люк, и веселые мелкие льдинки обдали его звенящим душем. Свежий морозный воздух хлынул в рубку, волна накренила лодку, и с разножки на палубу скользнула книга.

Боцман Вязнов бережно поднял ее и положил рядом с лоцией. Это были «Грузинские сказки».

ТОПОВЫЙ УЗЕЛ

I

«Мощный» нес незаметную службу: вечно заваленный до самой трубы бочками, тюками, ящиками, он ходил с разными поручениями в Ленинград, на форты, в Ораниенбаум, перетаскивал баржи и шаланды, глубокой осенью настойчиво пробивался во льду, задорно наскакивая на льдины своим высоким и острым форштевнем. Порой он пыхтел на рейде, разворачивая огромную махину линкора, для чего, однако, ему требовалась помощь «Могучего» и «Сильного», ибо мощностъ «Мощного» заключалась главным образом в его названии: это был обыкновенный портовый буксир полуледокольного типа, невзрачный и трудолюбивый работяга на все руки.

Тем не менее Григорий Прохорыч, бессменный его капитан, всерьез обиделся, когда портовые маляры к началу кампании замазали гордое слово «Мощный» и вывели на бортах невыразительные знаки «КП-16», что значило «буксир №16 Кронштадтского порта». В виде протеста Григорий Прохорыч, выпросив у маляров той же краски, собственноручно подновил надпись «Мощный» на всех четырех спасательных кругах и на пожарных ведрах.

— Капе, капе... что за капе, да еще шестнадцатый? Корабль имя должен иметь, а не номер,— жаловался он за вечерним чаем дружку своему, машинисту Дроздову, которого величал «старшим механиком». Оба они, старые балтийские моряки, служили на «Мощном» по вольному найму, служили плотно и устойчиво добрый десяток лет, оба были приземисты, суровы и в свободное время гоняли чай в количестве непостижимом.

— Так разве ж это корабль? — отвечал тот, с хрустом надкусывая сахар.— На кораблях мы с тобой, Григорий Прохорыч, свое отплавали... Бандура это, а не корабль...

Здесь опять начинался горячий спор, имевший многолетнюю давность. Дроздов, человек склада трезвого и иронического, любил подразнить капитана, который считал свой буксир кораблем, наводил на нем военный порядок и воспитывал в почтении к чистой палубе молодежь, в особенности Ваську Жилина, занозистого кронштадтского паренька, а от своего «старшего механика» беспощадно требовал, чтобы «Мощный» не дымил, как паровоз, а ходил без дыма, как полагается военному кораблю.

Перемена названия огорчила Григория Прохорыча гораздо больше, чем мог предполагать это Дроздов. Если «Могучий», «Сильный» и прочие буксиры-близнецы, волей порта превращенные в номерные КП, были для других капитанов только местом довольно беспокойной службы, то для него «Мощный» был кораблем. А в понятие «корабль» Григорий Прохорыч за тридцать с лишком лет своей флотской службы привык вкладывать огромное содержание.

Но добиваться, что именно означает для него корабль, было бы так же бесполезно и жестоко, как требовать от матери точных разъяснений, что представляет для нее ее ребенок и на основании каких именно данных она страстно верит в то, что сын ее — лучше, красивее, виднее других.

Корабль был для него смыслом и содержанием жизни. Пожалуй, этой общей фразой вернее всего будет передать все то, что заставляло его рисковать порой здоровьем, отдавать кораблю все силы и чувства, двадцать лет подряд вскакивать задолго до пробудки и осматривать палубу, шлюпки и краску, соображая, с чего начать дневные работы, чтобы корабль был всегда нарядным, подтянутым, чистым и великолепным, — ибо двадцать лет подряд Григорий Прохорыч был боцманом: на крейсерах, потом на учебных кораблях и, наконец, на линкоре.

При этих переходах с корабля на корабль он испытывал всегда одну и ту же смену чувств.

Сперва это была острая горечь расставания с командой, с которой он сжился и вместе с которой терял друзей и учеников, оставляя в них часть самого себя; со знакомой палубой, где каждый уголок был для него историей; со шлюпками, в быстрый ход и в ослепительную белизну весел которых было вложено так много его боцманского труда. Эту горечь расставания сменяло неодобрительное недоверие к новому кораблю и его команде: все было непривычно, все выглядело иначе, люди все незнакомые, ни на кого нельзя положиться, и везде требовался свой глаз — и стопора якорного каната захватывали звенья не по-человечески, и шпиль заедал, и шлюпки были какими-то неуклюжими, как рыбацьи лодки.

Но силой великого понятия «свой корабль» все вскоре

чудесно преображалось: и стопора оказывались самыми надежными, и шлюпки самыми изящными и быстрыми на всем флоте, и в команде обнаруживался какой-либо самый лучший на все корабли плотник или маляр, и опять знакомой гордостью билось сердце при взгляде со стенки или с катера на этот новый, недавно еще чужой, корабль. А прежний — смутным и дорогим видением отходил в глубины чувства и памяти, жил там непререкаемым примером всего самого лучшего, быстрого и толкового: «А вот у нас на «Богатыре» выстрела¹ в полминуты заваливали, и какие выстрела!» И боцманская дудка давала тяге талей и брасов богатырский темп, и огромные бревна, взмахнув одновременно, как длинные узкие крылья, за полминуты плотно прижимались к высоким бортам «Океана» совершенно так же, как и на «Богатыре». И только при встрече в море или стоя рядом в гавани с прежним своим кораблем, Григорий Прохорыч ревниво всматривался в него, ища знакомые и милые сердцу черты и по привычке вглядываясь, плотно ли занайтовлены шлюпки и не висят ли из-под чехлов концы.

Привязанность Григория Прохорыча к военному кораблю, к его налаженности, порядку, силе и чистоте легче всего было бы объяснить чувством местного патриотизма. Но удивительно было то, что за годы службы все эти корабли, каждому из которых он отдавал частичку своего сердца, неразлично смешивались в одно общее понятие — корабль.

Именно это понятие заставило его вместе с шестью такими же старыми балтийскими матросами бросить в Гельсингфорсе надежную и родную палубу крейсера и с малым чемоданом, в котором лежали хлеб, консервы и кой-какой инструмент, кинуться на миноносец «Пронзительный»; на том почти не было команды, а к городу подходили немецкие войска, и флот должен был немедленно уходить сквозь тяжелые льды в Кронштадт, чтобы не оставить военные корабли под сомнительной защитой бумажных пунктов мирного договора. «Пронзительный» стоял в самом городе, в Южной гавани. Он прижался к стенке, и все четыре его орудия встали на нем дыбом, как шерсть на маленьком, но отважном щенке, готовом ринуться в схватку, не обещающую ему ничего доброго, — горячие головы оставшихся на нем матросов не задумались бы дать залп по белофинским или немецким отрядам, если только они посмеют коснуться красного флага, трепетавшего на кормовом флагштоке беспомощного корабля.

Матросы с крейсера, среди которых один был членом Центробалта, разъяснили морякам «Пронзительного», что стрелять

¹ В ы с т р е л — горизонтальное бревно, отваливаемое перпендикулярно к борту корабля для привязи шлюпок.

нельзя, потому что все-таки мир, а вот уходить надо во что бы то ни стало. А стало это во многое: людей на миноносце было раз-два — и обчелся, машины устали от трехлетних дозоров и штормов, из командного состава не покинул корабля один только бывший минный офицер. Тем не менее «Пронзительный» принял за ночь уголь, подправил неполадки в машине и котлах и в тот самый день, когда на Эспланаде, упирившейся в гавань, защелкали уже выстрелы немцев, отдал швартовы и ушел в лед.

Четырнадцать суток он пробивался в ледяных полях, ловчась попасть в извилистую щель, оставленную во льду прошедшими перед ним кораблями. Два дня удалось отдохнуть: его подобрал на буксир транспорт. Но на третий они обогнали застрявшего во льду «Внимательного», у которого начисто был сворочен на сторону его длинный таран и обломаны оба винта. «Пронзительный» уступил ему свое место на буксире и пошел опять пробиваться сам. Льдины порой сжимались, и тогда слабенький корпус миноносца трещал, зажатый огромным ледяным полем, которому раздавить корабль представляло столько же трудности, сколько створке ворот хрустнуть костями цыпленка. Прохорыч кидался в трюм, клал там ладонь на вздрагивающую сталь обшивки — и под ней явственно ощущался холодный и тяжелый напор льда. Разбили шлюпки — все дерево на корабле ушло на подкрепки шпангоутов, в отчаянии выбирались задним ходом из предательской холодной щели, неумолимо зажимавшей борта, и однажды обломали себе на этом правый винт. Пошли под одним, хромая, — но все же шли и шли, шли вперед, в родимый Кронштадт. Возле Гогланда острая льдина все-таки пропорола борт в правой машине, и четверо суток Прохорыч провел по колени в ледяной воде, откачивая на смену с другими воду, все прибывающую в зазорах спешно сооруженного им пластыря. С тех пор и въелся в него тот отчаянный ревматизм, от которого он криком кричал перед непогодой и который не давал с прежней живостью носиться по палубе того корабля, где он был боцманом.

Все это было сделано во имя маленького, чужого ему корабля, на котором он даже не плавал, и поэтому вернее было бы говорить не о любви к кораблю, а о любви к флоту. Но Григорий Прохорыч никогда не вдавался в глубокий анализ своих чувств и служил флоту попросту — так, как умел и как чувствовал.

Ревматизм и привел его на «Мощный». Лет десять тому назад, после торжественного подъема флага в день Октябрьской годовщины, командир и комиссар линкора перед фронтом всей команды поздравили его с двадцатипятилетием службы на Балтийском флоте и вручили золотые часы с надписью. Потом комиссар в каюте повел речь о том, что если ему

понатужиться и сдать кое-какие экзамены, то его переведут в средний комсостав и сделают на линкоре вторым помощником командира. Перспектива эта не на шутку испугала Григория Прохорыча, да и годы давали себя знать вместе с ревматизмом. Он признался комиссару, что последнее время думает не о повышении, а об уходе на покой (потому что служить по-настоящему ему уже трудновато), но что не одну ночь он проворочался без сна перед страшным призраком безделья на берегу. Набравшись духу, он попросил себе спокойного места на маленьком корабле, где полегче, но только не на берегу, где с непривычки ему долго не протянуть.

Так он стал капитаном «Мощного» и с первого же дня завел на нем настоящие флотские порядки: нормальную приборочку с драйкой палубы и чисткой железа и медяшки, форму одежды, воинскую дисциплину, которой не очень охотно подчинялся вольнонаемный экипаж, и даже добился того, что по утрам с подъемом флага весь его «комсостав», то есть «старший механик» и боцман, ходивший у него в чине «старшего помощника», рапортовал ему о том, что на вспомогательном корабле «Мощный» особых происшествий не случилось.

В порту подсмеивались над чудачествами старика, не сумев разобраться в их истинной высокой природе, но вскоре с удивлением заметили, что на «Мощном» и старенькие машины реже ломаются, и на палубу приятно ступить, и все поручения выполняются точно и быстро, и что в любое время суток «Мощного» можно выслать куда угодно, потому что капитан всегда на корабле, а команда уволена в город с таким расчетом, чтобы с остальными можно было немедленно развести пары и выйти из гавани. Правда, на «Мощном» не раз сменялся весь личный состав, набираемый из кронштадтской вольницы, пока не подобрались на нем люди, в той или иной степени разделяющие взгляды Григория Прохорыча на флотскую службу, под каким бы флагом она ни протекала — под синим портовым или под военным.

И хотя он все же нашел для самолюбия лазейку, разъяснив Дроздову, что подводные лодки тоже называются номерами — С-1, Щ-315, и поэтому в конце концов в наименовании КП-16 особой обиды нет, но буквы и цифры эти он употреблял только в документах, а на палубе и в порту упорно продолжал называть КП-16 «Мощным».

Через полтора месяца после этого события «Мощный» возвращался в Кронштадт, сдав далекой батарее провизию, газеты, снаряды, новый патефон и приняв пустую тару. Осенний день выдался тихий и солнечный, и Прохорыч позволил себе спуститься в каюту — погонять чаек. Но на шестом стакане в светлый люк просунулась с верхней палубы голова Дроздова:

— Эй, капитан, живыми ногами наверх! Полюбуйся-ка!

В голосе его было такое ехидство, что Прохорыч встревоженно вылетел на палубу — и ахнул.

Контркурсом с «Мощным» расходился невиданный, великолепный корабль. Стремительный, низкий, гудящий сильными вентиляторами, ладный и стройный, он мчал на себе по морю длинные стволы орудий, широкогорлые торпедные аппараты, точные разлапистые дальномёры, хитрые радиоприборы — всю эту военную мощь экономно и умно расположенную над сильными машинами и котлами. Безупречные обводы его корпуса разрезали сверкающую воду, а за кормой, словно прилипнув, стоял пенистый бурун, доказывающий ту огромную быстроту, с которой летела по воде эта отлитая в металл воля к победе.

И Григорий Прохорыч, любуясь новым красавцем, вступившим в строй, наставительно подмигнул Дроздову:

— Учись, механик: идет, что торпеда, а дым где?

И точно, над низкими трубами миноносца чуть дрожал прозрачный горячий воздух: вся горючесть нефти была поглощена его котлами без остатка. Но Дроздов ядовито кивнул на него.

— Ты не на трубы смотри... Грамотный?

Григорий Прохорыч взглянул и насупился: острым морским взглядом он отчетливо разобрал на корме надпись «Мощный». Васька Жилин, дождавшись этого, откровенно захохотал, но тут же осекся, ибо Григорий Прохорыч повернулся к нему грознее тучи:

— Вахтенный! Почему не салютуешь? Устава не знаешь?..

Васька тотчас прыгнул к мачте и поспешно приспустил флаг, а Прохорыч скомандовал «смирно», приложив ладонь к старой своей боцманской фуражке, и замер так недвижимой статуей: невысокий, плотный, сидящий балтийский моряк с обветренным коричневым лицом.

И было в этой его неподвижности что-то такое торжественное, что притих и смешливый Васька, перестал улыбаться и Дроздов, подтянулись и остальные «вольнонаемные», вылезшие на палубу глянуть из-за ящиков и бочек на чудесное видение свежей, юной силы Балтийского флота. В тишине слышался лишь торопливый и трудолюбивый стукоток поршней одного «Мощного» и ровный могучий гул турбин и вентиляторов другого. На гафеле миноносца дрогнул распластанный ходом новенький флаг — белый с синей полосой, с красной звездой и советским гербом. Он приспустился на миг, отвечая поклону старенького синего портового флага, и вновь взлетел на гафель.

Миноносец промчал мимо, и тогда пологая бесшумная волна, рожденная бешеным вращением его винтов, добежала до буксира

и легко, без усилия, повалила его на борт. По палубе загремели ящики, Васька кинулся к покотившейся к фальшборту бочке, а к ногам Григория Прохорыча, громыхая, подлетело сбитое ящиком пожарное ведро.

Этим внезапным авралом смыло всю торжественность, и Григорий Прохорыч, поймав ведро, дал волю своему языку, забыв сам свои требования соблюдать военно-морской устав. И только когда бочки и ящики были словлены и надежно принайтовлены к палубе, он заметил в руках ведро, которым, оказывается, размахивал. Он повесил ведро на место, взглянул на надпись и пошел вниз, коротко кивнув Ваське:

— Прекрасить!

Так бывший «Мощный» окончательно стал скромным КП-16. Но теперь, распекая за опоздание с берега или за неполадки на корабле, Григорий Прохорыч неизменно заканчивал свой громовой фитиль словами:

— Нет в тебе гордости настоящей за корабль... Какой из тебя балтиец выйдет? Ты припомни, облом, кому мы свое имя передали?..

И медяшка на КП-16 сияла не хуже, чем на самом «Мощном», на палубе и в машине держалась совершенно военная чистота, и даже Дроздов ухитрялся сводить пышный султан дыма, обычно колыхавшийся над трубой, до тоненькой серой струйки.

II

В холодный ноябрьский вечер КП-16 входил в Кронштадтскую гавань. Она была погружена во мрак, как и весь город, и темные силуэты насторожившихся кораблей едва угадывались у стенки. Пронзительный штормовой ветер свистел в древних деревьях Петровского парка, и порой сеть голых их ветвей отчетливо проступала на бледном голубом фоне: это прожектор с далекого форта просматривал небо и море. Все эти дни корабль не знал отдыха, время было тревожное, и Григорий Прохорыч даже не нажимал на чистоту — команда и так недосыпала и забыла о берегу.

Едва подошли к стенке, из темноты долетел голос нарядчика:

— Григорий Прохорыч, вас командир порта экстренно требует!

И Прохорыч, как был в рабочей робе, спрыгнул на стенку. Он вернулся часа через два, торжественный и серьезный, собрал команду в кубрике и сообщил, что КП-16 получает боевое задание и что он сам и «старший механик», как младшие командиры запаса, остаются на корабле, прочей же вольнонаемной команде

надлежит утром получить в управлении порта расчет, поскольку их заменят краснофлотцами.

Тогда встал взволнованный Васька Жилин и объявил, что он с корабля никак не уйдет, пусть уводят силой, и что Григорий Прохорыч, видно, за это время совсем замотался, потому что не догадался сказать командиру порта, что они никакие не «вольнонаемные», а советские люди и балтийские моряки и что довольно стыдно в первый день войны сдавать боевой корабль дяде, а самим припухать в Кронштадте, развозя капусту, которую, слава богу, достаточно повозили. За ним то же говорили и другие, даже кочегар Максutow, который прежде ловчился от всякой работы по старой малярной, и Григорий Прохорыч тотчас же пошел опять к командиру порта, забежав на этот раз домой и сменив китель на тот, который он не надевал уже десять лет, — с тремя узенькими золотыми нашивками на рукавах.

Так началась боевая служба КП-16. Трех человек, в том числе и Максutowа, командир порта все-таки списал, а на их место пришли запасники. На баке появился пулемет, в рубке — крохотная радиостанция, и вечером следующего дня КП-16 был уже в далекой бухте, где сосредоточились корабли десантного отряда, а ночью он стоял в охране, и Васька Жилин первым встал на вахту к пулемету и ракетам.

Два дня КП-16 мотался там, перевоза на корабли людей, оружие, продовольствие, воду в анкерках, снаряды, бегая по рейду с поручениями командира отряда, который держал флаг на миноносце «Мощный».

На третий день с утра у Григория Прохорыча занули ноги, а к полудню, и точно, повалил снег. Он падал мокрыми крупными хлопьями на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость. КП-16 застрял у борта «Мощного».

Григорий Прохорыч оставался на мостике, любуясь кораблем, на горячих трубах которого хлопья снега мгновенно превращались в воду, медленно стекавшую струйками по безупречной серо-голубой краске. Тут его окликнул с борта молодой капитан второго ранга. Это был командир всего отряда, но Григорий Прохорыч узнал в нем веселого курсанта Колю Курковского, которого двенадцать лет назад он посвящал в тайны морской практики и который никак почему-то не мог осилить топового узла, пока Григорий Прохорыч, осердясь, не заставил его вязать этот узел при себе сорок раз подряд и не добился того, что пальцы Курковского сами находили переплетения этого нехитрого, на боцманский взгляд, сооружения. Курковский позвал Григория Прохорыча попить чайку, и тот, стараясь казаться по-прежнему молодцеватым, с трудом перекинул больные ноги через поручни и тотчас же почувствовал ими глухую непрерывную дрожь всего корпуса «Мощного»: вполне готовый к походу и к бою, прогре-

тый корабль, сотрясаемый работой сотен механизмов, дрожал всем телом, как сильная и быстрая гончая, почуявшая след.

В коридоре под полубаком пахло живым теплом чистого корабля — немного паром, чуть краской, свежим духом смоляного мата, разостланного у горловин погребов, и горьким боевым запахом артиллерийского масла, которым поблескивали на диво надраенные медные лотки элеваторов, уходящие в подвслок. В кают-компании ярко горел свет, было уютно и мирно, негромко играло радио, как будто отряд и не собирался ночью выходить в операцию, и только карта, лежавшая на боковом столике у дивана, напоминала об этом. Лишь за четвертым стаканом Курковский отвлекся от воспоминаний о курсантстве, о линкоре, о топовом узле, которого ему в жизни не забыть, и, как будто ни к чему, спросил, какая у Григория Прохорыча команда — не сдрейфит ли, если что? Тот ответил, что команда хотя вольнонаемная, но подходящая и положиться на нее вполне можно. Тогда Курковский подвел его к карте, указал на узкий проход, именуемый в просторечье «собачьей дырой», через который придется пройти отряду (так как второй проход к месту высадки лежит между вражескими островами), и сказал, что ввиду такой погоды КП-16 получает боевое задание. Надо засветло подойти к потушенному по случаю войны бакану у «собачьей дыры», стать на якорь у камней и по радио с «Мощного» включить на баке огонь, направив его в сторону приближающегося отряда. По этому огню пройдут «собачью дыру» все корабли и транспорты с войсками, после чего КП-16 — не позднее трех ноль-ноль — должен будет следовать за отрядом для перевозки десанта на берег, что произойдет в десять ноль-ноль.

Тут же он приказал одному из лейтенантов взять с собой карту и радиокод и перебраться на КП-16 в помощь его капитану (он так и сказал «в помощь», что очень польстило Григорию Прохорычу). Курковский еще раз подтвердил, что радио можно пользоваться только для приема и что у транспорта надо быть без запоздания.

Григорий Прохорыч поспешно вышел, чтобы распорядиться, и к сумеркам маленький буксир один-одинешенек подошел к «собачьей дыре» и стал возле бакана на якорь. К ночи снег повалил невозможно: сплошная белая стена заволокла все вокруг. Григорий Прохорыч выразил опасение, что условного огня с кораблей не увидят, но помочь было нечем. Ждали радио. Скоро из рубки принесли листок, лейтенант поколдовал над ним с кодом, бормоча: «Петя... Ваня... Леша...», и потом сообщил, что отряд все-таки снялся с якоря. Томительно проходило ожидание второго радио — о включении огня.

Снег все плотнее валил сверху, мостик дважды пришлось пролопатить — так хлупала на нем вода. К полночи Григорий Про-

хорыч решил, что операция отложена из-за невозможности пробиться через этот снег и что отряд вернулся. На это лейтенант удивленно повернул к нему голову, вытирая мокрый снег, надоедно набивавшийся за воротник, и спросил его, неужели он серьезно думает, что приказ может быть не выполнен. Он спросил это таким тоном, что Прохорыч почувствовал уважение к этому мальчику и тотчас пошел сам проверить, хорошо ли включается огонь.

Но радио все же не было, и лейтенант начал нервничать. Ему стало казаться, что радист этого маленького буксира проморгал, что вернее было взять с собой краснофлотца, потому что отряд наверняка уже идет мимо где-нибудь в этой мокрой неразберихе снега, так как «собачью дыру» он должен был пройти не позднее двух часов. Операция никак не могла быть отложена — это было не в характере Курковского, и не этому учил своих командиров капитан второго ранга; следовательно, оставалось только думать, что радио проморгали. Он нагнулся с мостика и крикнул Григорию Прохорычу, чтобы огонь на всякий случай включили. Яркий луч света ударил в темноту и осветил медленное и непрерывное падение кружащихся хлопьев. Вероятно, уже с пятидесяти метров этот луч можно было только угадать по слабому сиянию белесого снега; и, значит, отряд проходил где-то в снегу, мимо камней, без всякой помощи ориентира.

Все эти тревоги и сомнения лейтенант переваривал в себе, а Григорий Прохорыч спокойно выжидал. Впрочем, тон, которым лейтенант сообщил ему свое мнение о приказе, вселил в него непоколебимую уверенность, что операция не отложена и что отряд нашел какой-то непонятный способ пробраться через «собачью дыру» и без условного огня. Поэтому, прождав до трех часов, когда по приказу КП-16 должен был сняться с якоря и идти к месту высадки, Григорий Прохорыч скомандовал: «Пошел брашпиль!» — и тягучий перезвон якорной цепи завел на баке песню похода.

Лейтенант сказал было, что следовало бы остаться до получения распоряжения, но Григорий Прохорыч мягко, но настойчиво напомнил ему, что его прислали на корабль «в помощь» и что решение он выносит сам как командир корабля: отмены приказа не было, новых распоряжений не поступало, назначенный срок истек — следовательно, надо действовать по плану, ничего не дожидаясь, потому что командир отряда запретил пользоваться радио и вряд ли будет сам загружать эфир подтверждением уже давнего приказа. Корабли, конечно, уже каким-то чудом прошли «собачью дыру», и опаздывать к месту высадки не годится. Если же от операции вообще отказались из-за погоды (какой мысли он лично не может допустить), то, не увидев на плесе кораблей, он вернется на рейд.

События показали, что уверенность в том, что отряд, несмот-

ря на эту совершенно непроходимую погоду, все-таки выполнил приказ,— уверенность, которую лейтенант сам же вселил в Григория Прохорыча и в которой под давлением обстоятельств поколебался,— оказалась правильной. Когда впереди под низкими, набухшими снегом облаками выросли из серой воды могучие горбы острова, справа в неясной мгле декабрьского утра Григорий Прохорыч увидел корабли и транспорты. Они шли из того прохода, который лежал мимо вражеских островов: видимо, Курковский решил воспользоваться плотной снеговой завесой и провел весь отряд там, избежав необходимости рисковать узким и опасным путем мимо «собачьей дыры», и привел отряд к месту в точно назначенный срок.

— Учись, штурман,— сказал Григорий Прохорыч Жилину, которого он уже год приспособлял к штурманскому делу.— Учись, как военные корабли ходят. Молиться на них надо!.. Клади курс на отряд!

Миноносцы рванулись вперед. Зеленые вспышки залпов блеснули в утренней дымке. Транспорты остановились, и целый рой маленьких катеров, буксиров, баркасов облепил их высокие важные борта, а вокруг них закружили сторожевые суда, высматривая, нет ли где подлодки. КП-16 с полного хода подошел к назначенному ему транспорту, и тотчас же на палубу, как горох, посыпались оттуда краснофлотцы с винтовками, гранатами и пулеметами. Лейтенант с «Мощного» выскочил на транспорт, отыскивая свою группу десантников, а на мостик КП-16 взбежал другой лейтенант, еще моложе, и, поправляя на поясе гранату, сказал счастливым и задорным тоном:

— Отваливайте, товарищ командир отделения, курс к пристани!

Григорий Прохорыч удивленно оглянулся, ища, кому он так говорит, но, вспомнив про свои нашивки, улыбнулся:

— Есть, товарищ лейтенант!

КП-16 полным ходом пошел к берегу. Мимо, накренившись на повороте, промчался «Мощный», и за кормой его, рыча, встал из воды черный могучий столб взрыва, потом другой и третий. Очевидно, заметили подлодку. Взрывы глубинных бомб сотрясали воду так, что вздрагивал весь корпус КП-16, острые тараны миноносцев и сторожевиков, носившихся вокруг транспорта широкими кругами, утюжили воду, целая стая катеров шла с десантом к берегу, и сотни глаз смотрели, не появится ли из воды тычок перископа. Но больше его не видели. Берег приближался. КП-16 обгонял катера, баркасы, буксиры, переполненные десанниками. Лейтенант всматривался в берег, поднимая бинокль, и, когда он опускал его и оглядывался на обгоняемые суда, такое нетерпение горело в его глазах, что Григорий Прохорыч нагнулся к переговорной трубе и крикнул в машину:

— Дроздов, самый полный! Не капусту везешь!

КП-16 еще прибавил ход и с такой легкостью стал нажимать ушедшие вперед КП-12 и КП-14, что Григорий Прохорыч изумился: оба были ходами неплохими, в особенности «двенадцатый», бывший «Сильный». Но, нагнав его, он понял, что тот шел малым ходом. С мостика отчаянно махал фуражкой капитан и что-то кричал. Уменьшив ход и вслушиваясь, Григорий Прохорыч понял, что у пристани накинаны мины и что идти к ней опасно.

— Взорвался кто, что ли? Никого ж там еще нет! — крикнул Григорий Прохорыч.

— Пущай вперед катера идут, обождем тут, Григорий Прохорыч, опасно!..

К задержавшимся буксирам подошел еще один и тоже уменьшил ход. Григорий Прохорыч неодобрительно покосился на него и повернулся к лейтенанту:

— Как, товарищ лейтенант, ночевать тут будем или на риск пойдем?

В голосе его была откровенная насмешка, но лейтенант огорченно подтвердил, что в приказе, и точно, говорилось о возможных минах, наваленных у пристани, и что именно поэтому в первый бросок назначены мелкосидящие катера, а буксиры должны подойти к ней во вторую очередь. Однако рассудительность, с какой он это говорил, никак не вязалась с тем нетерпеливым взглядом, которым он впился в далекую пристань, и Григорий Прохорыч отлично понял его состояние.

Он внимательно его выслушал, вежливо кивая головой и одновременно зорко оглядывая бухту, потом наклонился к переговорной трубе и скомандовал:

— Самый полный вперед!

Лейтенант изумленно взглянул на него, но Григорий Прохорыч, хитро подмигнув ему, указал вправо от пристани. Там, в глубине бухты, серел песчаный пляж, и вряд ли на острове было такое количество мин, чтобы засыпать ими всю бухту.

— Как, товарищ лейтенант, — так же хитро спросил Григорий Прохорыч, — годится такое местечко? В приказе ничего о нем не упомянуто, а к пристани мы и не сунемся... Только придется морякам малость покупаться.

Лейтенант одобрительно кивнул головой и перегнулся через поручни:

— Приготовиться в воду! Гранаты и винтовки беречь!

Описав крутую дугу и поливая берег пулеметами, КП-16 влетел в бухту и направился к пляжу. Ровной мирной гладью стояла там вода, и под тускло-серебряной ее поверхностью ничего нельзя было угадать. Лейтенант подумал было о том, что надо бы убрать с бака людей, — если буксир стукнется о мину, так, конечно,

носом, — но, поняв, что и на корме не будет легче, приготовился к прыжку, высоко подняв гранату и пистолет. Григорий Прохорыч отстранил от штурвала рулевого и стал к рулю сам, зорко и спокойно всматриваясь в бухточку, как будто подходил к угольной стенке в Средней гавани. И только сжатые челюсти да ставшие серьезными глаза указывали на некоторую необычность этого подхода к берегу.

Мягкий толчок шатнул всех на палубе. Зашуршал под носом песок, забурился винт на заднем ходу — и всплеск за всплеском поднимали брызги на палубу: краснофлотцы вслед за лейтенантом прыгали в холодную воду и по грудь в ней бежали на берег.

Григорий Прохорыч легко снял с мели освобожденный от людей буксир, развернулся и пошел за новым отрядом. Навстречу ему к пляжу летел осмелевший «Сильный», за ним еще два буксира, и краснофлотцы на них уже поднимали над головами винтовки, готовясь последовать примеру первого броска.

— Эх ты, балтиец! — крикнул капитану «Сильного» Григорий Прохорыч, а Васька Жилин у штурманского столика немедленно прибавил обидное, но хлесткое словечко. Прохорыч неодобрительно повернулся к нему.

— Товарищ Жилин, в бою ведите себя спокойно, — сказал он, в первый раз, пожалуй, называя Ваську на «вы».

III

Остров стал своим. КП-16 приходил теперь сюда в прежней своей роли — с бочками, с ящиками, с патефонами и снарядами, как будто и не было того декабрьского утра, когда он показал здесь дорогу десанту. Так как на острове появлялся только он, то бойцы гарнизона, радостно встречавшие его у пристани, на третьем же рейсе от избытка чувств переделали КП-16 в ласковое словечко «Капеша», иногда распространяя его в «Капитошу» или в почтительного «Капитона Ивановича». Как это ни странно, новое имя, в котором сказалась вся привязанность вооруженных островитян к верному им кораблю, опять вызвало протест Григория Прохорыча. Услышав это фамильярное именование от Жилина, он строго его оборвал, впрочем обращаясь на «вы», так как, почувствовав себя на военной службе, он четко разделял теперь отношения служебные и внеслужебные:

— Бросьте вы это слово, товарищ штурман (Жилин уже плотно ходил в штурманах). У корабля есть свое имя, установленное приказом, и нечего его перековеркивать, тем более что оно уже вошло в историю.

Под историей Григорий Прохорыч подразумевал вырезку из газеты «Красный Балтийский флот», где в корреспонденции с де-

сантного отряда был описан первый бросок и отмечена боевая инициатива командира КП-16. Жилин тоже хранил эту вырезку, впрочем, с другими, более практическими целями: в короткие часы пребывания в Кронштадте, забегая к некоей Зиночке, он гордо вытаскивал эту вырезку и снова начинал рассказывать свой первый и единственный пока боевой эпизод, добавляя с таинственным видом, что она вновь кой-чего услышит о «Капеше» через газету, и тогда уж обязательно будет упомянуто и его имя.

Но рейсы на остров шли обычным порядком, случая показать свои боевые качества «Капеше» больше не представлялось, и Жилин непрерывно вздыхал, нагнувшись над картой в своем штурманском столе:

— Эх, и жизнь наша капешная!.. Люди воюют, а нам все капуста... Нет тебе счастья, Василий Жилин! С такими темпами до Героя Советского Союза, пожалуй, не дойдешь!..

Григория Прохорыча речи эти сильно возмущали. Облокотившись о поручни и пошевеливая в валенках пальцами (ибо с каждым рейсом на остров дело все ближе подходило к настоящей зиме), Григорий Прохорыч длительно поучал Жилина, доказывая ему, что на флоте, как и на корабле, каждому предмету определено свое место и что пресловутая капуста есть тоже вид боевого снаряжения и доставлять ее на далекий остров — занятие совершенно боевое и самое подходящее для КП-16. И тут же с гордостью и не без ехидства добавлял, что небось КП четырнадцатого или двенадцатого на остров не шлют, потому что доверить боевую капусту кораблям, которые шарахаются в сторону от каждой льдины, никто себе не позволит.

А льдины действительно встречались им в заливе все чаще и крупнее. По берегам уже образовался легкий припай, и каждый шторм откусывал от его ровной зеленовато-белой пелены порядочные куски и пускал их в залив на разводку, а у берега мороз и спокойная вода безостановочно пополняли убыль. Одинокие же льдины, попав в залив, не растворялись в его воде, а, наоборот, неся достаточный запас холода, сами при случае примораживали к себе обливающую их воду и тоже безостановочно росли, превращаясь в ровные поля. Иногда шторм, не разобравшись в задании природы, разламывал и эти плавучие поля, но мороз методически исправлял его ошибку — и новое поле, смерзшееся из льдин, снова медленно плыло по заливу, отыскивая, к чему бы приткнуться и слиться в еще большее.

КП-16 действительно не шарахался от льдин: оценив опытным взглядом возраст и толщину льда, Григорий Прохорыч в большинстве случаев шел прямо на поле. Корабль вздрагивал от удара, вползал на лед своим подрезанным ледокольным тараном, с каждым сантиметром втаскивая все большую тяжесть корпуса, — и лед, не выдержав, подламывался, разбивался в медленно

переворачивающиеся куски, показывая в их изломе ослепительное сверкание кристаллов, и, увлекаемый работой винта, тянулся к корме. Порой по льдине от первого же удара тарана пробегала извилистой судорогой трещина, и тогда поле распадалось на две части, между которыми, раздвигая их бортами, свободно и без шума проходил КП-16. Впрочем, иногда — а с каждым походом все чаще и чаще — Григорий Прохорыч, всмотревшись в лед, молча показывал рулевому направление и уступал льдине дорогу, предпочитая разумный обход противника ненужной лобовой атаке.

Но вскоре этот маневр стал просто правилом плавания: лед явно закреплял позиции. Уже заняты были им Невская дельта, Маркизова лужа, почти все кронштадтское горло залива, и с флангов его передовые части тянулись по южному и северному берегам, занимая бухты и заливчики, чтобы оттуда со штормом высылать ледяные поля в самый залив, на широкие его плесы. Только в Кронштадтской гавани и на входном фарватере по створу маяков воде кое-как удавалось сохранять полужидкое состояние: там стояла холодная каша перековерканных, бесформенных обломков, смерзнуться которым в сплошной покров никак не давали беспрестанно проходившие здесь корабли и ледоколы. Под их ударами лед звенел, рычал и терся о борта, но дробился — и мстил только тем, что, когда его оставляли в покое, смерзался самым подлым способом: хаотическими комками, напоминающими вспаханное поле, ломать которое было порой труднее, чем ровный покров. Но его все-таки ломали, потому что война продолжалась, и корабли прорывались по фарватеру до кромки льда, чтобы выскочить на не замерзшие еще плесы. И вслед за ними, пользуясь свежим проходом, проскакивал до кромки и КП-16, чтобы, обходя встречные поля или врезаясь в них, упрямо пробираться к своему острову.

Так же пошел однажды КП-16 и в начале января вслед за эскадрой, выходящей в операцию. Он пробился на рейд, выждал там, когда линкор, пошевелившись своим огромным телом, легко разломал смерзшийся лед фарватера, и тогда пристроился у него за кормой, свободно пробираясь по его широкому следу.

Синяя прозрачность позднего январского рассвета отступала на запад, как бы теснимая туда линкором, а за кормой все шире и шире вставало просторное розовое зарево зимней зари, непрестанно усиливаясь, и огни створных маяков с какой-то особой, праздничной яркостью вспыхивали в морозном воздухе — беззвучно и остро. Григорий Прохорыч стоял на мостике, забыв о холоде, и неотрывно смотрел на медленно расширяющееся по небу полымя, на давно знакомый контур города — водокачку, краны, трубы Морского завода, могучий купол собора, на тонкие иглы мачт в гавани, — и удивительное чувство легкости, бодро-

сти и в то же время неизъяснимой грусти все сильнее овладевало им.

Он любил этот тихий предутренний час, к которому привык, долгие годы вставая до пробудки, — час, когда корабль еще спит и в открытые люки видны еще синие ночные лампы; когда на светлеющем небе все резче проступают тонкие черты такелажа и мачт и краска надстроек приобретает свой суровый военный цвет; когда не хочется громко говорить, потому что даже шлюпки на выстрелах, беспокойно бившиеся всю ночь, присмирели и чуть тянут иногда шкентеля, как бы проверяя, всё ли они еще на привязи. Но зимние рассветы были для него зрелищем непривычным — они заставляли его в суете флотского дня, начавшегося в темноте, и тишины не получалось.

Теперь он смотрел на алое морозное небо как будто впервые и вдруг подумал, что прожил все-таки очень много лет и что видеть эти плавные, но неудержимые начала дня ему остается недолго. Мысль эта со всей ясностью встала в его голове, и он даже хотел рассердиться на нее — с чего это? Но непонятная свежая грусть все еще владела им, и он продолжал смотреть на уходящий в алый горизонт черный контур Кронштадта, пока удар о лед не заставил его обернуться. Оказалось, линкор уже далеко ушел вперед, и ледяная каша опять упрямо набилась в проход. Он взглянул на Кронштадт, как бы прощаясь с ним, и повернулся по курсу — к западу.

Но и там уже небо посветлело, полегчало и поднялось — и скоро стало прозрачно-голубым. День, по всем признакам, обещал быть морозным, но тихим, хотя знакомая ноющая боль в ногах говорила другое: будет шторм.

И точно: у кромки лед уже дышал.

Это было поразительное зрелище: ровное ледяное поле медленно и беззвучно выгибалось, сясь в точности повторить очертания пришедшей с моря волны, приподымающей снизу его упругий покров. Лед не ломался и не давал трещин — здесь он был еще мягок и гибок, как кости маленького ребенка. Он только прогибался, и странная пологая волна колыхала его, затухая по мере приближения к более плотному льду.

И снова Григорий Прохорыч, вместо того чтобы озабоченно думать, какая ждет его за кромкой волна, смотрел на это мерное дыхание льда, и та же неизъяснимая и легкая грусть опять заставила его притихнуть. Так дышащий лед он видел за всю свою жизнь три-четыре раза — и неизвестно, увидит ли еще. И, опять поймав себя на этой мысли, он уже и в самом деле рассердился, обозвал себя старым дураком и пошел присмотреть за тем, что делается на корабле.

Он спустился с мостика, сам проверил, как закреплен груз, особо тщательно осмотрел крепления ящиков со снарядами, пре-

дупредил в машине, что в море шторм, и приказал загодя прикрыть люки — и потом поднялся на мостик.

Там в его отсутствие Жилин, пользуясь правами «штурмана», со вкусом покрикивал рулевому: «Точнее на румбе!», «Вправо не ходить!» — и прочие команды, безопасные для дела, но показывающие командирскую власть. Взглянув на это сияющее лицо, Григорий Прохорыч наконец понял, с чего это нынче лезут в голову всякие загробные рыданья.

Причиной всему был проклятый ревматизм. Вернувшись из последнего похода, когда КП-16 обливало со всех сторон и на мостике не было сухого места даже в рубке, где волна, бесцеремонно распахивая двери, прокатывалась выше колен, Григорий Прохорыч слег. Впервые за всю службу по вызову командира порта он пошел не сам, а послал Жилина как помощника. Тот был этим больше перепуган, чем польщен, и, вернувшись, трижды вспотел, прежде чем убедился, что передал все приказания в точности. Но Григорию Прохорычу вдруг померещилось, что там, в знакомом кабинете, где важно тикают какие-то немислимые часы времен парусного флота, с десятком стрелок, показывающих что угодно — от числа месяца до цены на пеньку и смолу, — неминуемо шел разговор о нем, о его болезни, о том, что старику пора бы на покой, раз уж не может приходить сам, а посылает помощника. Григорий Прохорыч, проклиная ноги, встал через силу и все-таки явился к командиру порта (как бы за дополнительными приказаниями), и хотя тот ни слова не сказал о том, чего боялся Прохорыч, но тревожный осадок все-таки остался, и отсюда и пошли эти мысли о старости.

Кромка льда, вздымаясь все выше и колышась все чаще, постепенно перешла в битый лед. Здесь гуляла уже настоящая волна, только одетая гибкой ледяной кольчугой, не дающей гребню вставать пеной и брызгами. А впереди темное утреннее море уже белело барашками, и скоро первая волна подняла КП-16 на дыбы, обдала его холодными брызгами — и веселое плаванье началось.

Мокрый до клотика мачты, КП-16 упорно лез на волну. Сперва она была по курсу, с веста, потом к вечеру шторм зашел на юг, и маленький буксир стало валять бортовой качкой нестерпимо. Но шторм мало беспокоил Григория Прохорыча: корабль держался отлично и был к тому привычен, команда тоже не первый раз видела такое — шторм был как шторм. Он думал о другом, с тревогой посматривая на юг, то и дело протирая стекла бинокля: оттуда как будто двигалось большое ледяное поле наперерез курсу. Вероятно, шторм оборвал его связи с берегом и теперь гнал на север. Это, несомненно, был серьезный береговой лед, вступить в борьбу с которым Григорий Прохорыч не имел никакой охоты: застрять в такой шторм в ледяном по-

ле — означало носиться с ним по воле ветра, а ветер как раз дул на север, к вражеским берегам.

Пораздумав, он приказал Жилину взять бинокль, лезть на мачту и, пока светло, посмотреть оттуда, где виднеется южный край этого поля. Жилин охотно скинул полушубок и в одном ватнике цепко полез на мачту, раскачиваясь вместе с нею. Вися под клотиком и лихо держась одной рукой, он поднял другой к глазам бинокль, всмотрелся и потом биноклем уже указал направление. Григорий Прохорыч сверился с картой. Догадка его оказалась правильной: пока КП-16 дойдет до поля, оно, вероятно, отойдет от отмели, мешающей обойти его с юга. Он изменил курс, вошел в битый лед, тащившийся за льдиной, как растрепанный хвост, и подмигнул Жилину, который к тому времени, распаренный, вылез из кочегарки, куда опрометью кинулся прямо с мачты, ибо там его препорядочно стегануло ветром и брызгами.

— Маневр, штурман! Обштопаем льдину, как миленькую, а то неизвестно, куда она затащит... Ишь прет на норд — к ночи, пожалуй, в гости к шюцкорам придет! Факт!

Жилин весело отозвался — в битом льду корабль меньше начало, поле обманули, на мачте он показал класс, и было о чем порассказать на берегу. Григорий Прохорыч оставил его на мостике за себя, приказав идти только в битом льду и никак не приближаться к коварному полю, и спустился вниз обогреться чаем. Однако не успел Васька всласть накомандоваться рулем — ибо теперь командовать приходилось уже всерьез, — как Григорий Прохорыч появился на мостике взволнованный и тревожный, и первый его вопрос был совершенно неожиданный:

— Что, Мальков — коммунист?

Мальков был тот самый рулевой, что стоял сейчас на вахте. Григорий Прохорыч не очень интересовался партийной принадлежностью своей команды, и то, что Жилин — комсомолец, знал главным образом потому, что тот иногда отпрашивался на комсомольское собрание. Жилин недоумевающе посмотрел на командира.

— Коммунист.

Он решил, что Мальков сделал какую-то оплошность, потому что одним из самых сильных доводов Григория Прохорыча при внушении был упрек: «И еще в партии состоишь!..» Но Григорий Прохорыч озабоченно сказал, обращаясь к нему по-прежнему на «ты»:

— Пройди, сынок, по кораблю, подсмени беспартийными, а всех коммунистов и комсомольцев зови сюда. И живо давай!

Когда весь партийно-комсомольский состав маленького корабля в лице трех кочегаров, радиста Клепикова, двух машинистов, Дроздова, Жилина и Малькова собрался в рубке, Григорий Прохорыч, оторвавшись от карты, коротко объявил, что он при-

нял боевое решение и просит коммунистов и комсомольцев показать образцы самоотверженной работы и увлечь этим команду, потому что дело нешуточное.

Оглянув всех, он прочел радиogramму, принятую Клепиковым по флоту в числе прочих. В ней сообщалось по коду, что эсминец «Мощный» сорван с якорей льдом, выбраться не может и просит помощи ледокола. К этому Григорий Прохорыч добавил, что, судя по координатам, «Мощный» как раз в том ледяном поле, которое они обходят по южной кромке, и что поле это с порядочной скоростью несет к северному берегу, под обстрел батарей, и что время не терпит.

Решение же его такое: войти в лед, пробиться к «Мощному» и вывести его из льда. Дело рискованное, потому что можно застрять и самим, но ждать ледокола тоже нечего, так как неизвестно, где очутится «Мощный» к его приходу, а КП-16 довольно близко от него, корабль сам по себе крепкий и со льдом управиться может, если поработать на совесть и не дрейфить. Затем он сделал ряд распоряжений и закончил приказом немедленно перегрузить все снаряды на бак с целью утяжелить нос, чтобы лучше ломать лед и чтобы в случае затора иметь возможность перенести их на корму и этим поднять нос.

Уже темнело, когда КП-16, разбежавшись в битом льду, с силой сделал первый удар в ледяное поле. Оно уступило неожиданно охотно, и добрый час корабль пробивался почти легко. Но потом началось мученье с переноской балласта. Тяжелые ящики со снарядами переносили на корму, нос облегчался, и КП-16 сползал с упрямой льдины задним ходом. Ящики снова перетаскивали на бак. Люди садились на них, устало опустив руки, буксир разбежался, ударялся в льдину и либо отламывал ее, либо люди вставали с ящиков и снова тащили их на корму.

Это была очень тяжелая, утомительная, но благодарная работа: КП-16 все глубже вгрызался в ледяное поле. Клепиков уже передал на «Мощный» с грехом пополам набранную по коду радиogramму: «Идем на помощь с зюйд-оста, включите огонь», и Григорий Прохорыч, остававшийся на мостике один на штурвале (так как и Жилин и Мальков помогали таскать «балласт»), вглядывался на север, но ночь все была темна, и ветер выл в снастях, и ему было одиноко, тревожно и тоскливо.

Огня он так и не увидал; его увидал с ящиков Жилин и диким голосом заорал:

— Вижу!

Он взбежал на мостик, задыхающийся, измученный, но ликующий, и показал на слабый синий огонек. Григорий Прохорыч медленно и глубоко вздохнул, нагнулся в темноте к переговорной трубе и сказал в нее хриплым и дрожащим голосом:

— В машине... Видим... Голубчики, навались...

То ли навалились в машине, то ли лед стал слабее, но синий огонек быстро приближался, и перетащить ящики пришлось только еще один раз. Через час Григорий Прохорыч, моргая от яркого света, стоял в знакомой кают-компании, и Курковский крепко обнимал его. Быстро посоветовались.

Капитан второго ранга предложил Григорию Прохорычу обколоть «Мощного» с бортов, чтобы тот мог развернуться длинным своим телом по направлению к каналу, после чего КП-16 поведет миноносец за собой на юг. Григорий Прохорыч, смотря на карту, покачал головой.

— Не годится это, — сказал он в раздумье, — я вас только задерживать буду. Сами хорошо пойдете, канал сжимать не должно, он по ветру вышел. Коли б я поперек шел, тогда точно, обязательно бы зажало. А тут — войдете в канал и верных двенадцать узлов дадите, только следите, чтоб в целину не врезаться. Уходить вам надо, эвон куда занесло...

И он показал на кружочек, отмеченный на карте последним определением. Берег с батареями был действительно угрожающе близко.

— Да вы о нас не беспокойтесь, — добавил он, видя, что Курковский колеблется. — Выкарабкаемся. Да и вряд ли они на нас будут снаряды тратить.

Он помялся и потом негромко сказал:

— Человечка у нас одного возьмите... Ногу повредил ящиком... Так в случае чего...

Он не договорил, и капитан второго ранга внимательно посмотрел ему в глаза. Военным своим сердцем он угадал недосказанное и, молча наклонившись, крепко поцеловал Григория Прохорыча в седые колючие усы.

— Так, — сказал он строгим тоном, вдруг застыдившись своего порыва. — Значит, в случае чего, добирайтесь сюда. — Он показал на карте выступающий мыс там, где кронштадтское горло расширялось к северному берегу. — Тут наше расположение, понятно?

— Понятно, — так же строго сказал Григорий Прохорыч.

— Буду вас все время слушать на вашей волне. В случае чего дадите... ну, какое-нибудь условное слово, чтоб легче запомнить...

— Топовый узел, — сказал Григорий Прохорыч, улыбаясь. — Помните, вы всё его вязать не могли?.. Ну, счастливо...

Они еще раз обнялись, и Григорий Прохорыч вышел. В теплой кают-компании он забыл о том, что делается на палубе, и ледяной плотный порыв ветра, едва не сбивший с ног, очень его удивил. Но тотчас же он перелез к себе на мостик, и КП-16 двинулся вдоль борта эсминца. Курковский, дождавшись, когда, обколов лед вокруг эсминца, КП-16 поравнялся с мостиком уже

с другого борта, дал ход. «Мощный» зашевелился во льду и пошел вслед за КП-16. Тот описывал медленную широкую дугу, но и в нее «Мощный» с трудом вмещал свое длинное узкое тело. Наконец он попал в сделанный ранее канал. КП-16 сбавил ход, пропустил мимо себя «Мощного», и тот, легко раздвигая острым своим форштевнем разбитые буксиром льдины, быстро пошел к югу. Григорий Прохорыч оказался прав: только в трех-четырех местах ледяное поле сжало края рваной раны, прорезанной крепким корпусом КП-16, но и здесь «Мощный», как игла, протискивался своим узким телом между краями цельного льда.

Через четыре часа он вышел на чистую воду. Но Курковский без всяких признаков радости смотрел на нее: ледокол, в ответ на его радиogramму с просьбой немедленно идти на помощь к КП-16, ответил, что занят выводом двух эсминцев, также дрейфующих в ледяном поле, и что из Кронштадта давно вышел второй ледокол, но и его послали к другим миноносцам... Очевидно, в море творилось что-то небывалое и ледоколам было работы по горло.

Действительно, шторм достиг предельной силы. Огромные ледяные поля, целые равнины, казалось бы намертво прикованные к берегу, теперь быстро шли поперек залива на север, натывая друг на друга, налезая краями и нагромождая ими торосы, прижимая другие поля в узкостях с чудовищной силой, срывая их и увлекая за собой или перед собой. И вся эта огромная масса льда, ринувшаяся с юга, давила на то поле, где пробивался КП-16, далеко отставший от более сильного машинами миноносца.

Но и тому приходилось очень трудно. Встречный шторм окатывал палубу и мостик, обмерз весь такелаж, мачты, орудия, надстройки, то и дело краснофлотцы в ледяной воде обкалывали корабль. Тяжело зарываясь носом, «Мощный» шел на юг, но внезапно резко менял курс и, опасно ложась на стремительной бортовой качке, обходил надвигающееся ледяное поле, грозившее снова зажать его холодным крепким объятием. В этой борьбе с взбесившимся заливом Курковский не замечал, как проходило время. Было около семнадцати часов, когда на мостик принесли радиogramму с позывными командира дивизиона.

С трудом шевеля заочеченными пальцами, Курковский взял ее и пошел в рубку. Там он положил ее на стол, неловко расправив, прочел — и командир «Мощного» с изумлением увидел, как он внезапно опустился на диван. Он заглянул в бланк.

Там стоял короткий открытый текст:

«Шестнадцать пятнадцать топовый узел курс Стирсудден КП-16».



Когда к рассвету КП-16 уже подходил к краю ледяного поля и ему удалось определиться, оказалось, что, несмотря на непрерывное продвижение вперед, он был сейчас даже севернее того места, где вызволял «Мощного»: поле несло на север с большей скоростью, чем он пробирался по нему на юг. Теперь КП-16 был в глубине большой бухты, глубоко вдававшейся в северный берег.

Но все же с огромными усилиями корабль выскочил из льда, и Жилин, заоченевший, черный и мокрый, опять закричал тем же диким голосом, которым он оповестил о «Мощном»:
— Вода!!

КП-16 весело завертел винтом, но уже через час ему пришлось изменить курс: с юга ползло новое поле. Он повернул на восток, изо всех сил торопясь проскочить это поле, пока оно еще не сомкнулось с береговым припаем, входившим в бухту от ее восточного берега. Десятки глаз смотрели с палубы крохотного корабля на полосу черной воды, неуклонно уменьшавшуюся в размерах. Скоро стало ясно, что в этом страшном состязании верх возьмет лед: его несло штормом к северу скорее, чем продвигался к востоку корабль.

Поняв это, Григорий Прохорыч резко скомандовал «лево на борт» и ринулся на запад, рассчитывая, что не может же поле быть такой ширины, чтобы закрыть собой весь выход из бухты, и что между западным береговым припаем и надвигающимся полем обязательно окажется проход — пусть в секторе обстрела батарей. Дроздов, оценив положение, спустился в машину, и никогда еще КП-16 не развивал такого хода.

Но черная полоса воды между западным берегом и полем все уменьшалась. И вновь стало ясно, что и здесь обе ледяные равнины сомкнулись. Но было ясно еще и то, что, закрыв собой выход из бухты, это поле, обламывая края себе или береговому льду и выпирая на него торосами, продолжало вдвигаться в бухту, как ящик письменного стола. А это означало, что его вдавливают в бухту чудовищная сила подвижки всего наличного в заливе льда.

Тогда Григорий Прохорыч, еще раз определив место и поняв, что до предела дальности батарей осталось не больше трех миль, повернул на юг и врезался в поле.

Первая же попытка доказала, что пробиться через него было совершенно невозможно: судя по толщине и крепости, это был самый ранний лед, вынесенный, может быть, из самых глубин Копорской губы. Это был лед родной страны, лед, по которому недавно еще ходили советские буера, бегали на коньках колхозные мальчишки, шурщали лыжами пограничники в ночном до-

зоре... Здесь, оторванный от родных берегов, он был враждебен. Вжимаясь в бухту, он оттеснял КП-16 на север, и новый пеленг на мыс показал, что до снарядов осталось меньше двух миль.

Григорий Прохорыч поднял голову от карты, и Жилин испугался: лицо старика осунулось и похудело, оно было багрово-красным от мороза и ветра, седые усы спутаны, глаза ввалились и блестели беспокойным огнем. Он оглядывался кругом, как затравленный зверь, но слева, впереди и справа был лед, а за кормой — батарея. Он наклонился к переговорной трубе и хрипло скомандовал:

— Самый полный вперед!

КП-16 разбежался в чистой воде, ударил в лед, всполз на него носом и долго стоял так, бешено работая винтом, пока Григорий Прохорыч не сказал неожиданно спокойным голосом:

— Стоп всё. Дроздов, на мостик!

Он снял свою старенькую меховую шапку, вытер лоб и сел на диванчик в рубке, как будто окончил трудную работу и собрался как следует отдохнуть. Так его и застал Дроздов.

Приказания его были точны и кратки.

Жилину: изготовить пулемет на случай, если шюцкеры полезут по льду. Дроздову: приготовиться открыть кингстоны, не забыв в горячке стравить пар, чтоб котел не взорвался, потому что после войны ЭПРОН все равно корабль поднимет. Обоим: разъяснить команде, что в случае чего сойдем на лед и будем пробиваться к Стирсуддену. Пока есть время, всем просушить в кочегарке одежду и валенки, собрать продукты и все ручное оружие. Разбить на две партии, одну поведет Жилин, вторую — Дроздов. Не забыть компасы, их как раз два. Пулемет тащить с собой, сочинить салазки — может, придется отбиваться. Передать эту телеграмму радисту, время пусть проставит сам в последний момент. Всё.

И пока на корабле молча и без суеты готовили все это, Григорий Прохорыч сидел в рубке, растирая колени. Коснуться их было очень больно, а ходить — еще больнее. Хотелось лечь и закрыть их потеплее. Но надо было вставать, ковылять к компасу, брать пеленг на мыс и потом поторапливать со сборами: поле неуклонно несло к батареям. Дроздов принес чьи-то высушенные уже валенки и полушубок, заставил Григория Прохорыча снять свои и унес их сушиться. На момент ногам стало легче, но, когда он встал и прошел к компасу, боль стала невыносимой. Новый пеленг показал, что КП-16 уже снесло до предела огня батарей.

Он записал в вахтенный журнал пеленг, посмотрел на северный берег, низко и хищно притаившийся в синей дымке леса, и негромко сказал:

— Ну, чего чикаетесь? Наверняк хотите бить?

И как будто в ответ на это далеко на берегу сверкнул жел-

тый огонь, небо раскололось с противным треском, и метрах в двухстах от КП-16 по воде запрыгали белые невысокие фонтанчики.

— Шрапнель,— сказал сам себе Григорий Прохорыч и крикнул вниз: — Команде покинуть корабль, рассыпаться по льду до конца обстрела!

Второй воющий треск заглушил его слова, и снова шрапнель легла в том же месте. Третьего залпа долго не было — очевидно, на батарее сообразили, что незачем тратить снаряды, когда цель приближается. Григорий Прохорыч снял компас, взял его под мышку, постоял в рубке, обводя глазами ее и мостик, и после, тяжело ступая, пошел к трапу и, с трудом двигая ногами, ступил с корабля на лед.

— Ну, товарищ Дроздов, действуй,— сказал он и отвернулся.

Небо за кораблем пламенело огромным заревом штормового заката, но в тревожном и ярком его полуме он не отыскал той легкой, спокойной прозрачности, которая вчера утром наполнила его сердце удивительной тишиной. Он повернулся совсем спиной к кораблю и стал смотреть в сторону Кронштадта. Там небо синело глубоко и спокойно.

Один за другим поднялись из снега моряки КП-16 лицом к своему командиру и своему кораблю. Штормовой ветер распластывал на гафеле синий портовый флаг, на фоне заката он казался почти черным. На дымовой трубе хлопнул клапан, и с сильным, почти гудящим звуком пар белым султаном поднялся в небо. Все молчали. Пар, постепенно слабея, снижал свой пышный султан и потом прекратился с каким-то жалобным стоном, и по трубе крупными горячими слезами потекли его оседающие струйки.

В тишине, сквозь свист ветра, донесся металлический стук открываемого люка. Из машины поспешно вышел Дроздов, зачем-то аккуратно задраил за собой люк, опять лязгнув металлом, постоял возле него, потом, отчаянно махнув рукой, молча перепрыгнул через фальшборт и отошел к безмолвной группе людей.

Они долго ждали. Но КП-16 продолжал выситься над льдом, только корма села ниже обычного. Похоже было, что он отказывается тонуть.

Мальков не выдержал.

— Что же он? — сказал он негромко, как у постели умирающего.— Дроздов, ты все кингстоны открыл?

— Видишь, лед держит,— так же негромко ответил Дроздов.

Снова молчали. Потом раздался резкий треск льда, и льдина под бортами КП-16 откололась, давая ему дорогу. Он быстро и прямо пошел под воду, держась на ровном киле. Люди не то

ахнули, не то вздохнули, и Григорий Прохорыч резко обернулся. Он сорвал с себя шапку и сделал два шага к кораблю. Дроздов придержал его за локоть.

— Ну, ну... Прохорыч...— сказал он ласково.

Жилин всхлипнул и, тоже сорвав шапку, крикнул высоким неестественным голосом:

— Боевому кораблю Краснознаменного Балтийского КП шестнадцать — ура, товарищи!

Крик его как бы вывел всех из оцепенения. Громкое «ура» раскатилось по льду и замолкло только тогда, когда холодная тревожная вода, отливающая багровым отблеском заката, сомкнулась над стареньким синим портовым флагом.

— Шрапнель, ложись! — крикнул вдруг Григорий Прохорыч, заметив на берегу знакомую желтую вспышку. Все упали. Опять треснуло над головой небо и завизжало вокруг. И Григорий Прохорыч тоже повалился боком в снег.

Батарея дала четыре залпа. Ранило троих. Надо было немедленно уходить. Жилин впрягся в салазки, на которые успели поставить пулемет, и повез их к Григорию Прохорычу.

— Мальков, помогай,— сказал он по пути.— Старик наш вовсе обезножел, не дойдет... Повезем все по очереди.

Они подтащили пулемет к Григорию Прохорычу, но тот не отзывался. Его повернули: он был убит шрапнельной пулей в лоб, пережив свой корабль на две с половиной минуты.

СВОЕВРЕМЕННО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ...

Решающий участок боя был на крайнем правом фланге, там, где, ворча, кипела большая кастрюля.

В этом бою с ожившей камбузной утварью, которая ползала, прыгала и металась по плите, норовя выкинуть все свое содержимое на палубу, Алексею Сухову, коку-призовику подлодки Щ-000, удалось одержать ряд немалых побед. Тесто и фарш, по природе своей лишенные маневренных способностей, уже томились в горячем плену духовки, превращаясь в румяные пирожки. Грудой поверженных тел громоздились на противне готовые котлеты. И даже злобная кастрюлька с соусом, носившаяся, как маленький торпедный катер, по всей плите, была ловко загнана в угол и прижата огромным чайником, могучую броню которого она теперь таранила яростно, но тщетно...

И только большая кастрюля не сдавалась.

Плотно вставленная в свое гнездо на плите, она в точности повторяла за лодкой то беспорядочное перемещение воды, которое называется качкой, и плескавшийся в ней кипяток бушевал совсем так, как и море за бортами подлодки. Сталкиваясь и взвихриваясь, маленькие и горячие волны били в стенки кастрюли, и стоило лишь приподнять крышку, как яростный всплеск обжигал пальцы и добрая половина содержимого кастрюли оказывалась на плите. Сухов с проклятьем отскакивал, белый пар, шипя, заволакивал тесный камбуз и, вырвавшись из двери, сразу же оседал на переборке блестящими каплями, — из центрального поста тяжелой холодной волной тянул морозный воздух. Там было очень холодно: лодка, шедшая под дизелями, дышала через открытый люк.

Но еще холоднее было на мостике. Стылая декабрьская Балтика расшумелась вовсю, не видные во тьме волны швыряли лодку без всякой пощады и системы, и ледяной ветер порой

срывал гребень с высокого вала и хлестал им из мрака по сигнальщику и по командиру. Мгновенно захватывало дух, и тогда капитан-лейтенант приседал и крякал, а сигнальщик молча обтирал лицо замерзшей перчаткой.

Поход был внезапен. Лодка недавно вернулась из тяжелой и длительной боевой операции, и ей был обещан заслуженный отдых. Уже готовились к встрече Нового года, уже прикупили к пайку мандарины, конфеты, отборные консервы, утром началось повальное глажение брюк, но все это было прервано приказом. Надо было немедленно выйти в далекий район.

И вот уже целый день лодка шла по зимнему штормовому морю, и часы показывали двенадцатый час ночи, и в тесном камбузе призовой кок Алексей Сухов сочинял мировой новогодний ужин.

Гвоздем ужина должен был быть задуманный Суховым компот с выразительным названием: «А все-таки Новый год!» Основой его были мандарины, которые в спешке сборов захватили с собой на лодку почему-то все командиры и краснофлотцы. Мандаринов оказалось столько, что расправиться с ними можно было только при помощи компота. И вот лежали они в миске, борясь своим тонким и свежим ароматом с душистым запахом теплого масла и горючего, наполнявшим лодку, и добровольные помощники уже принесли тщательно срезанную тонким пластом розовую их кожу, а проклятую кастрюлю никак нельзя было открыть.

Сухов нервничал, поглядывая на часы.

Сгрудившиеся у двери «помощнички» с притворным участием давали советы один ехиднее другого: кто предлагал налить в кастрюлю масла, основываясь на его свойстве укрощать бушующие волны, кто изобретал сложную механическую кастрюлю с сеткой, которая якобы удержит всплески, а кто попросту советовал оставить кипяток только на доньшке, ввалить в кастрюлю мандарины, посолить, поперчить, протушить — и подавать под названием «штормовая запеканка».

Разъяренный Сухов захлопнул дверь и в раздумье стал перед кастрюлей, болтаясь вместе с ней и с лодкой. Так его застал капитан-лейтенант, спустившийся с мостика погреться.

— Ну-ка горяченького, товарищ Сухов, — сказал он, разматывая обледеневший шарф. — Как у вас дела?

— Плохо, товарищ капитан-лейтенант, — хмуро ответил кок, ловко взрезая булку и всовывая в нее сочную, истекающую маслом котлету. Он положил ее на тарелку и потом налил в кружку ароматного крепкого кофе. Командир торопливо отхлебнул два глотка и с радостью почувствовал, как тепло входит в его промерзшее тело.

— С чем плохо? — спросил он, потянувшись к тарелке.

Сухов, вздохнув, собрался было признаться, что плохо с компотом, как вдруг лодку резко швырнуло и накренило, миска с мандаринами поползла к краю стола, и Сухов едва успел ее подхватить. Тарелка, как снаряд, вылетела из-за миски и со звоном разбилась на палубе, а кофе в командирских руках наполовину выплеснулся из кружки, облив кожанку.

— Так, — сказал капитан-лейтенант, с огорчением глядя на погибшую котлету. — Вижу, что плохо. Удивительно, как это вы кофе ухитрились сварить. Как же мы столы накроем?

Он допил остатки и протянул кружку за добавкой.

— Отставить Новый год, — сказал он решительно. — Этак у вас весь кофе выплеснет. Раздавайте сейчас ужин, товарищ кок, пусть едят по способности. А вам еще придется поработать. Новый год все-таки встретим... своевременно или несколько позже... Утром встретим — понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант, — ответил Сухов, повеселев.

В самом деле, все было понятно. С рассветом лодка, опасаясь быть обнаруженной противником, все равно должна будет уйти на глубину. А глубина в шторм — самое милое дело: не мотает, не качает, можно и стол накрыть как следует, и тост сказать. А самое главное — этим неожиданным переносом Нового года была спасена честь призовика-кока: на глубине не только компот можно сделать... Сухов хитро посмотрел на проклятую кастрюлю и выключил ток.

Кофе уже выпили «по способности», то есть полулежа или скрючившись, зажавшись между стойками, и котлеты были уже уничтожены, когда репродуктор наполнил лодку родным и знакомым шумом Красной площади. Командир спустился в центральный пост, где была переговорная труба, проведенная во все отсеки.

Шум площади прорезался звучным перезвоном курантов, потом гулко ударили часы Кремлевской башни. А через открытый люк доносились тяжкие удары волн и свист ветра. Мокрый и обледеневший капитан-лейтенант выждал последний удар часов и потом сказал в переговорную трубу:

— Второй боевой смене заступить! С Новым годом, товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, с новыми боями за родину.

Он помолчал и потом добавил:

— Объявляю приказ по лодке: ввиду особых условий перенести встречу Нового года с нуля на девять ноль-ноль первого января. Части снабжения обеспечить нормальную встречу, личному составу побриться.

Он потрогал подбородок, подумал, но снова поднялся на мостик, в мокрый и морозный мрак. Там он вынул свисток из

переговорной трубы, приложил ухо к ее холодному зеву и, вздрагивая от ледяных брызг, долго слушал, как в лодке победно и могуче звучит «Интернационал».

Мутная мгла рассвета отделила наконец воду от неба. Оно проявилось нежно светлеющей на востоке полосой, и скоро серые, тусклые волны обозначили свои горбы и провалы. Вода показалась еще холоднее и ветер — пронзительнее. Не раз сменялись на мостике сигнальщики, не раз выходил помощник подменить командира, и наконец капитан-лейтенант скомандовал: «К погружению!»

К этому времени Сухов сбил из сгущенных сливок некоторое подобие крема. И едва лодка, покачавшись последними замирающими размахами, твердо установилась на спокойном подводном курсе, он зарядил упрямую кастрюлю мандаринами и принялся за «скульптуру». На выпеченном за ночь торте появилась маленькая подлодка из крема — точная копия родной «щуки» — и новогодняя надпись. И когда озабоченный помощник командира, пахнувший одеколоном, в чистом воротничке, заглянул в камбуз — у Сухова было все готово.

В носовом отсеке тесно, но уютно накрыли стол, и помощник пошел будить капитан-лейтенанта, прилегшего на часок отдохнуть. Тогда у стола появились врач и Сухов. Хитро улыбаясь, они несли настоящее шампанское вместо штатного подводного портвейна: это был заботливый подарок порта лодке, уходившей в море под Новый год. Сухов поставил бутылки, взял в руки поварешку и большую кастрюлю и приготовился отбить по знаку штурмана двенадцать мерных ударов, а политрук занес мембрану патефона над диском «Интернационала»...

В восемь часов пятьдесят восемь минут в отсек вошел капитан-лейтенант, свежий, выбритый, праздничный, скомандовал «вольно» и протянул руку к серебряному горлышку красивой бутылки. Звонкий веселый хлопок пробки готов был раскатиться по лодке... Но вдруг извне грохнул тяжелый глухой удар. Лодка покачнулась. Две лампочки потухли. Тревожным прерывистым всем залились резкие звонки — и смолкли. Тишину нарушил быстрый топот ног, короткие команды, с металлическим стуком захлопнулись водонепроницаемые двери, и в лодке все замерло. Только жужжали моторы да звучно щелкали указатели рулей. Лодка заметно наклонилась носом, жужжанье моторов усилилось — направляемая рулем, она полным ходом шла на глубину, резко меняя курс.

Ударил второй взрыв, лодка содрогнулась, два стакана, звеня, упали с праздничного стола. В черном провале переговорной трубы раздался спокойный голос капитан-лейтенанта:

— Глубинные бомбы. В отсеках осмотреться!

Осмотрелись: корпус выдержал, швы нигде не пропускали.

«Щука» быстро уходила на предельную глубину. Потом моторы сбавили обороты, чуть ощутимо качнул лодку мягкий толчок, моторы стихли, и лодка легла на грунт.

Все слабее, все дальше звучали взрывы. Видимо, гидрофоны противника потеряли замолчавшую лодку, и враг швырялся теперь бомбами лишь для очистки совести. Но молчание и тишина в лодке не нарушались.

Акустик последовательно докладывал, что шум винтов удаляется, что он едва слышен, что гидрофоны не слышат ничего. Тогда капитан-лейтенант скомандовал:

— Боевой тревоге отбой. Личному составу собраться в носовом отсеке. Говорить вполголоса. Будем встречать Новый год, пока есть время.

И в носовом отсеке собрались все, кого боевая служба не задержала у механизмов. Шампанское открывали с такой осторожностью, будто разоружали боевую мину, — медленно вытаскивая пробки, чтоб не наделать шума: противник мог быть и над головой. Благородное советское вино празднично шипело, вздымаясь легкими веселыми пузырьками. Капитан-лейтенант поднял свой стакан.

— Товарищи, боевые друзья! — сказал он тихо и обвел глазами краснофлотцев и командиров.

Они стояли перед ним плотной живой стеной — спокойные и веселые люди, как будто эта необычайная встреча Нового года происходила не на дне моря под пристальным и чутким слухом врага.

Особым — военным — блеском сверкало вокруг них сложное и могучее подводное оружие, выстроенное новым поколением советских людей. Торжественную тишину нарушало только тиканье часов над торпедными аппаратами. Капитан-лейтенант взглянул на стрелки и вдруг широко улыбнулся.

— Своевременно или несколько позже, — сказал он. — Одиннадцать часов тридцать семь минут. Докатился и до нас Новый год... Велика наша родина, товарищи! Самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы огромная наша Советская страна вся вступила в новый год своих побед... Будет время, когда ему понадобится для этого не девять часов, а круглые сутки. Потому что каждый наш год — это ступень к братству народов всего земного шара...

Он остановился в раздумье и снова посмотрел на часы.

— Несуразное время, и точно... Девять раз встречали Новый год сегодня в Советском Союзе, начиная с Тихого океана и кончая родной Балтикой, а вот нам привелось встречать его в десятый. И кто знает, товарищи, как приведется нам встречать Новый год через пять, через десять лет? По какому поясу? На каком новом меридиане? С какой новой страной, с каким новым

народом будем мы встречать Новый год, если будем так же крепко беречь родину нашу, где для всего человечества зреет и крепнет счастье? За мужество, за верность партии, за родину, за победу над врагом!

— Ура!..— вполголоса ответили краснофлотцы, и тотчас где-то около торпедных аппаратов возник «Интернационал».

Его пели чуть слышно, потому что вода могла передать звук в растопыренные сторожкие уши вражеских гидрофонов там, наверху. Но этот сдержанный голос боевого коллектива звучал единой могучей волей балтийских подводников, звучал как клятва в верности родине, верности до последнего вздоха.

1940

НОЧЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Пора было спуститься поужинать, но старший лейтенант оставался на мостике, вглядываясь в дымчатый горизонт балтийской белой ночи.

Высокий светлый купол неба, где мягко смешивались нежные тона, легко и невесомо опирался на гладкую штилевую воду. Она светилась розовыми отблесками. Солнце, зайдя, пробиралось под самым горизонтом, готовое вновь подняться, и просторное бледное зарево стояло над морем, охватив всю северную часть неба. Только на юге сгущалась над берегом неясная фиолетовая дымка. Наступала самая короткая ночь в году, ночь на двадцать второе июня.

Но для тральщика это была просто третья ночь беспокойного дозора.

Тральщик крейсировал в Финском заливе, обязанный все видеть и все замечать. Здесь проходила невидимая на воде линия границы, и все, что было к югу от нее, было запрещено для чужих кораблей, самолетов, шлюпок и пловцов. Вода к северу от нее была «ничьей водой». Эта «ничья вода» была древней дорогой торговли и культуры, но она же была не менее древней дорогой войны. Поэтому и там надо было следить, не собирается ли кто-либо свернуть к советским берегам: морская дорога вела из Европы, в Европе полыхала война, а всякий большой пожар разбрасывает опасные искры.

Дозор выпал беспокойный. Две ночи подряд тральщик наблюдал необычайное оживление в западной части Финского залива. Один за другим шли там на юг большие транспорты. Высоко поднятые над водой борта показывали, что они идут пустыми, оставив где-то свой груз, но торопливость, с которой они уходили, была подозрительной. Тральщик нагонял их, подходил вплотную, и на каждом из них был виден на корме наспех замазанный порт приписки — Штеттин, Гамбург, а сверху не-

мецких — грубо намалеванные финские названия кораблей. С мостиков смотрели беспокойные лица немецких капитанов, а над ними на гафеле торопливо поднимался финский флаг. Странный маскарад...

Все это заставляло насторожиться. Поэтому к ночи тральщик снова повернул на запад, поближе к «большой дороге», и старший лейтенант, рассматривая с мостика горизонт, интересовался вовсе не красками белой ночи, а силуэтами встречных кораблей.

Очевидно, он что-то увидел, потому что, не отрывая глаз от бинокля, нащупал ручки машинного телеграфа и передвинул их на «самый полный». Тральщик в ответ задрожал всем своим небольшим, но ладно сбитым телом, и под форштевнем, шипя, встал высокий пенистый бурун.

— Право на борт,— сказал Новиков, не повышая голоса. На мостике все было рядом — компас, рулевой, штурманский столик с картами. И только два сигнальщика, сидевшие на разnojках у рогатых стереотруб, были далеко друг от друга: они были на самых краях мостика, раскинувшегося над палубой от борта до борта,— два широко расставленных глаза корабля, охватывающие весь горизонт. Старший лейтенант наклонился над компасом, взял по нему направление на далекий транспорт и продолжил этот пеленг на карте. Он наметил точку встречи и назвал рулевому новый курс.

На мостик поднялся старший политрук Костин — резкое увеличение хода вызвало его наверх, оторвав от позднего вечернего чая (который вернее было бы назвать ночным). Он тоже поднял бинокль к глазам и всмотрелся.

— Непонятный курс,— сказал он потом.— Идет прямо на берег... Куда это он целится? В бухту?

Он обернулся к командиру, но, увидев, что тот, шевеля губами, шагнул от компаса к штурманскому столику, замолчал. Не следует задавать вопросы человеку, который несет в голове пеленги: бормоча цифры, тот посмотрит на вас отсутствующим взглядом, еще попытаюсь удержать в голове четвертушки градусов, потом отчаянно махнет рукой и скажет: «Ну вот... забыл...» — и вам будет неприятность. Поэтому старший политрук дождался, пока цифры не превратились в тонкие линии на карте, и тогда наклонился над маленьким кружком — местом тральщика в море. Командир провел на западе еще одну линию — курс замеченного транспорта. Она уперлась в восточный проход мимо банки с длинным названием «Эбатрудус-матала».

— Вот куда он идет. Понятно? — сказал он и выразительно взглянул на политрука.

Проход был в «ничьей воде». Он лежал далеко в стороне от большой дороги в Балтику, и транспорту, если он не терпит бедствия, решительно нечего было тут делать. Но проход этот, узкий

и длинный, был кратчайшим путем из прибрежной советской бухты в Финский залив. Второй выход из нее вел далеко на запад, в Балтику. Старший политрук понимающе кивнул головой и посмотрел на счетчик оборотов (стрелки их дрожали у предельной цифры), потом опять поднял бинокль.

— Пустой,— сказал он, вглядываясь,— наверное, опять из этих, перекрашенный... Продали они их финнам, что ли? И какого черта ему идти этим проходом, это же ему много дальше? — Он посмотрел на карту.— «Матала» — банка, а «Эбатрудус»? Знакомое что-то слово, и какая-то пакость... Забыл...

Старший политрук учился говорить по-эстонски и тренировался на всем: на вывесках, на встречных лайбах, на газетах и названиях маяков и банок. Он еще пошептал это слово, как бы подкидывая его на языке и беря на вкус, и неожиданно закончил:

— Надо догнать, командир. Ряженный. От него всего жди.

— Догоним,— ответил старший лейтенант. Он вновь взял пеленг на далекий силуэт и подправил курс.

Тральщик полным ходом шел к точке встречи. Легкий ветер, рожденный скоростью, шевелил на мостике ленточки на бескозырках сигнальщиков. Один из них, не отрываясь, смотрел на транспорт, второй, с левого борта, медленно обводил своей рогатой трубой горизонт. На мостике молчали, выжидая сближения с транспортом. Потом старший политрук огорченно вздохнул.

— Нет, не вспомнить,— сказал он и достал потрепанный карманный словарь. Он полистал его (на мостике было совершенно светло) и радостно dokonчил: — Говорил я, что пакость! «Вероломство», вот что! Банка Вероломная, или Предательская, как хочешь.

— Никак не хочу,— сердито ответил командир, и оба опять замолчали, вглядываясь в транспорт. В бинокль он уже был виден в подробностях — большой и высокий. Гребной винт, взбивая пену, крутился близко от поверхности воды, как это бывает у незагруженного корабля. Транспорт упорно шел к проходу. Через час он мог быть там.

— Слева на траверзе три подводные лодки! Восемьдесят кабельтовых,— вдруг громко сказал сигнальщик на левом крыле.

Командир и политрук одновременно повернулись и вскинули бинокли. Много правее розового зарева низко на воде виднелись три узкие высокие рубки. Лодки, очевидно, были в позиционном положении. Но сигнальщик торопливо поправился:

— Финские катера, товарищ старший лейтенант.— И добавил, оправдываясь: — Рубки очень похожие, а палуба низкая... Три шюцкоровских катера, курс зюйд.

Старший лейтенант пригнулся к компасу и быстро перешел к карте. Он прикинул на ней место катеров и задумался, постукивая карандашом по ладони. Старший политрук молчал: не надо

мешать командиру принимать решение. Но, стоя рядом с командиром, Костин тоже оценивал обстановку и думал, как бы он сам поступил на его месте.

Обстановка была сложной: слева — военные катера чужой страны шли на юг к невидимой линии границы, справа — торговый транспорт, перекрашенный и под чужим флагом, шел к важному проходу в «ничьей воде». Тральщик мог повернуть или вправо, или влево, проследить одновременно действия подозрительных гостей он не мог. Давать радио о помощи было бесполезно, даже самолет запоздал бы к месту происшествия. Оставалось решать, куда важнее идти: к катерам или к транспорту?

Но катера были военные, и катера явно шли в наши территориальные воды. Следовательно, нужно было гнаться именно за ними, а не за торговым кораблем в нейтральных водах. Додумав, Костин выжидательно посмотрел на командира.

Очевидно, и тот пришел к такому же решению, потому что скомандовал:

— Лево на борт, обратный курс... Держать на катера! Видите их?

— Вижу, товарищ старший лейтенант, — ответил рулевой, пригибаясь к штурвалу, как будто это помогало ему рассмотреть катера. Они были очень далеко, за дистанцией залпа, и для простого глаза казались низкими черточками на воде.

Тральщик, кренясь, круто покати́лся влево, а командир, смотря в бинокль, стал с той же скоростью поворачиваться вправо, не выпуская из глаз транспорт. Даже когда тральщик закончил поворот и пошел на катера, командир продолжал стоять к ним спиной.

— Не нравится мне этот транспортюга, — сказал он негромко, и в голосе его Костин уловил тревожные нотки. — Уж больно кстати катера подгадали, что-то вроде совместных действий... Как они там — не поворачивают?

— Идут к границе, далеко еще, — ответил Костин. — Думаешь, старый трюк откалывают?

— Обязательно, — сказал старший лейтенант. — Вот увидишь, сейчас повернут — и начнется петрушка... Плюнуть бы на них и жать полным ходом к транспорту... Да, черт его, как угадаешь?..

Трюк, о котором говорил Костин, был действительно уже устаревшим. Недели три назад сторожевой корабль так же ходил в дозоре и так же заметил два шюцкоровских катера, идущих к нашим берегам. Сторожевик пошел на сближение, и катера тотчас повернули вдоль линии границы. Но едва сторожевик, убедившись в этом, попробовал вернуться к своему району, катера опять пошли на юг, к нашим водам, вынуждая его гнаться за ними. Так, не переходя запретной линии, а только угрожая

этим, катера оттянули сторожевик далеко на восток, а на западе меж тем проскочила к берегу шлюпка... Правда, привезенного ею гостя немедленно же словили пограничники, но задачу свою катера выполнили.

Обстановка и в этом случае была похожей: транспорт зачем-то пробирался в проход у Эбатрудус-матала, и катера явно отвлекали внимание дозорного тральщика. Некоторое время они шли еще прежним курсом к границе; потом, убедившись, что они обнаружены и что тральщик повернул на них, катера легли курсом ост и пошли вдоль границы.

— Так, все нормально,— сказал старший лейтенант, когда сигнальщик доложил об этом повороте.— Что же, проверим... Лево на борт, обратный курс!

Тральщик снова повернулся к транспорту. Тот уже был близко от прохода, и, чтобы тральщику застать его там, нужно было решиться теперь же прекратить преследование катеров и идти прямо к банке Эбатрудус. Старший лейтенант прикинул циркулем расстояние до прохода и поднял голову.

— Эбатрудус, Эбатрудус...— сказал он в раздумье, покачивая в пальцах циркуль.— Так, говоришь — Вероломная?

— Или Предательская, как хочешь,— повторил Костин.

— Это что в лоб, что по лбу... Название подходящее... Только что ему там делать? Шпионов на таких бандурах возить — дело мертвое... Хотя, впрочем, из-за борта на резиновой шлюпке спустить — и здравствуйте...

— А черт его знает,— медленно сказал Костин.— Ему и затопиться недолго. Потом скажет — извините, что так вышло, ах-ах, авария, нам самим неприятно, сплошные убытки, а дело сделано...

Война полыхала в Европе, а Европа была совсем близко. Перекрашенный корабль под чужим флагом мог, и точно, выкинуть любую пакость. А проход был узок, и транспорт, затонувший в нем как бы случайно, мог надолго закупорить для советских военных кораблей удобный стратегический выход. Догадка Костина была близка к правде, и за транспортом надо было глядеть в оба...

— Товарищ старший лейтенант, катера повернули на зюйд,— снова доложил сигнальщик.

Все разыгрывалось как по нотам: теперь тральщик вынуждался вновь идти к катерам, те снова отвернут на восток вдоль границы — и все начнется сначала... А тем временем перекрашенный транспорт выполнит ту диверсию, для которой, как вполне был убежден старший лейтенант, он и шел в проход.

Уверенность в том, что транспорт имеет особую тайную цель, была так сильна, что старший лейтенант твердо решил идти к угрожаемому проходу, не обращая более внимания на demonstra-

тивное поведение катеров. Он сказал об этом Костину, добавив, что катера вряд ли рискнут на глазах у советского дозорного корабля войти в наши воды. Надо тотчас дать радио в штаб с извещением о появлении катеров, а самим следить за транспортом.

Радио дали, и тральщик продолжал идти к проходу у банки Эбатрудус. Маневрирование, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение: теперь точка встречи с транспортом могла быть у самого прохода, а не перед ним. Но все же старший лейтенант надеялся, что, видя возле себя советский военный корабль, транспорт не осмелится ни затопиться, ни спустить шлюпку с диверсантами, ни принять на борт возвращающегося шпиона.

Однако и решив бросить катера, он то и дело оглядывался, следя за ними. Они упорно продолжали идти на юг. Направление на них показывало, что они все еще не дошли до запретной линии границы. Наконец, проложив очередной пеленг, старший лейтенант сказал:

— Дальше им некуда. Через три минуты повернут.

Но прошло и три минуты, и пять, а катера все еще продолжали идти курсом зюйд. Старший лейтенант тревожно наклонился над компасом: они были уже на милю южнее границы, и не заметить этого на катерах, конечно, не могли. Но они продолжали идти в кильватер головному, не уменьшая хода, и курс их нагло и открыто — на глазах у дозорного корабля — вел к советской воде, к советским берегам.

По всем инструкциям дозорной службы тральщик был теперь обязан преследовать катера. Но ясно было, что катера и транспорт действуют совместно, решая одну задачу. Откровенный и наглый переход границы должен был заставить тральщик все-таки кинуться за ними, бросив транспорт в проходе у банки Эбатрудус. Что он мог там сделать — было еще непонятно, но оба, и командир и политрук, были убеждены, что все дело сводилось к нему. Надо было быть возле него, чтобы помешать ему сделать то неизвестное, но опасное, что угадывалось, прощупывалось, чувствовалось в его настойчивом и странном стремлении к проходу.

Транспорт был уже хорошо виден. И тогда на гафеле его поднялся большой флаг.

— Товарищ старший лейтенант, транспорт поднял германский торговый флаг, — тотчас доложил сигнальщик с правого борта, и командир вскинул бинокль.

Это был флаг дружественного государства, связанного с Советским Союзом пактом о ненападении, договорами и соглашениями. Торговый корабль этого дружественного государства шел в нейтральной воде, там, где он имел право ходить, как ему угодно.

Он шел пустой, без груза, осматривать на нем было нечего, и задержать его для осмотра или предложить ему переменить в «ничьей воде» курс означало бы вызвать дипломатический конфликт. Отчетливо видный в ровном рассеянном свете белой ночи, льющемся со всех сторон высокого неба, флаг дружественной державы, поднятый на транспорте, резко менял обстановку. Оставалось одно: повернуть к военным кораблям, нарушившим границу.

Но старший лейтенант медлил.

Он продолжал смотреть на флаг, не опуская бинокля, и глаз его Костину не было видно — руки открывали только нижнюю часть лица. Губы командира дважды выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то сказать, но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желвак: он плотно стиснул челюсти. Долгую минуту, которая Костину показалась часом, командир молчал. Потом он опустил бинокль и повернул лицо к своему заместителю — и тот поразился перемене, которая произошла в нем за эту минуту.

— Война, — сказал старший лейтенант негромко, не то вопросительно, не то утверждающе.

Над Европой полыхал пожар войны, ветер истории качнул языки пламени к Финскому заливу, сухой и грозный его жар вмиг иссушил это живое, почти мальчишеское лицо. Он стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы. В такие минуты военные люди, как бы молоды они ни были, сразу становятся взрослыми.

Это веселое простое лицо молодого советского человека, привычное лицо командира и друга, было новым и незнакомым. Новыми были эта складка на лбу, крепко сжатые челюсти, странная бледность розовых щек, — или так играла на них белая ночь? — незнакомым был серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд веселого и жизнерадостного командира, которого больше хотелось называть Колей, чем товарищем Новиковым или, как полагается по службе, «товарищ старший лейтенант». И сразу тихая белая ночь, нежные краски воды и неба, последняя ночь привычного, надоевшего дозора, далекая база с друзьями, с семьей, театром и обычной воскресной поездкой за город — все исчезло, стерлось, заволокло горячим и тревожным дыханием войны.

Транспорт надо было остановить или заставить отвернуть от прохода. Но он имел право не подчиниться сигналу. Тогда следовало дать по нему предупредительный выстрел. Этот выстрел мог быть первым из миллионов других.

— Отсалютовать флагом! — скомандовал старший лейтенант. — Лево на борт!

Он наклонился над картой и быстрым движением проложил курс на северо-восток — к катерам.

— Не уйдут, — сказал он Костину. — Мы ихотрежем.

Транспорт, продолжая держать на гафеле флаг, уходил к банке Эбатрудус. Старший лейтенант проводил его долгим выразительным взглядом и потом надавил кнопку. Резкий звонок боевой тревоги прозвучал в тишине белой ночи. Тральщик увеличил ход, орудия его зашевелились.

Спокойно плыла над морем белая тихая ночь. Это была самая короткая ночь в году — ночь летнего солнцестояния. В эту ночь черные тяжелые бомбовозы уже несли по легкому, высокому и светлому небу большие бомбы, чтобы скинуть их на города Советской страны, мирно отдыхающие под воскресенье. В эту ночь фашистские танки уже шли к границе в военный поход на Советский Союз. В эту ночь фашизм рвал договоры и пакты, совершая никого уже не изумляющее новое предательство. В эту ночь — самую короткую ночь в году — история человечества вступала в новый период, который потом будут называть периодом восстановления прав человека на земном шаре, загаженном страшной, мрачной силой фашизма.

Катера заметили поворот советского тральщика. Они тотчас повернули на север и полным ходом стали уходить из территориальных вод, стараясь как можно скорее уйти на «ничью воду», где советский корабль уже не сможет их обстреливать.

На мостике тральщика была боевая тишина. Ровно гудели вентиляторы, низко рычало в дымовой трубе горячее бесцветное дыхание топок. И только один голос звучал в этой тишине — дальномерщик каждые полминуты называл расстояние до катеров. Оно медленно, но неуклонно уменьшалось, но было еще слишком далеко для верного залпа. Носовое орудие, задрав до самого мостика ствол, пошевеливало им в стороны, как бы нюхая в воздухе след уходящих катеров.

Это была погоня — напряжение всех механизмов, молчаливое выжидание залпа, умный точный выигрыш на каждом градусе курса. Катера не могли полностью использовать свое превосходство в скорости: не рассчитав маневра, они слишком далеко спустились за линию границы. Теперь справа им мешали островки, и оставалось только уходить от островков под углом к курсу тральщика. А это означало, что раньше, чем они выйдут на «ничью воду», они сблизятся с тральщиком на дистанцию его артиллерийского залпа.

Видимо, на катерах поняли всю опасность этого сближения, потому что под кормой головного вырос белый бурун и остальные стали заметно отставать. Потом и у них за кормой показалась пышная пена — катера дали предельный ход. Его не могло долго хватить, и весь вопрос был теперь в том, успеют ли они

выскочить за невидимую роковую линию или до этого сблизятся с тральщиком.

Старший лейтенант, казалось, совсем забыл о транспорте. Теперь им владело одно стремление — догнать и атаковать катера, пока они находятся еще в наших водах. Он дважды до отказа передвинул рукоятки машинного телеграфа, и, очевидно, этот сигнал, требующий от людей и механизмов невозможного, был понят: тральщик дал ход, которого он до сих пор не знал. Дистанция снова начала уменьшаться.

Но все же она уменьшалась слишком медленно. Катера все ближе подходили к заветной грани. Через пять-шесть минут они будут на нейтральной воде, и пограничный конфликт опять перерастет в дипломатический, угрожающий войной. Не пойманный — не вор: уничтоженные в советских водах катера считались бы бандитами, уничтоженные в «ничьей воде» — они были бы военными кораблями, на которые напал первым советский военный корабль.

Старший лейтенант быстро перешел к карте, хотя она вся была у него в голове. Он наклонился над столом, но сбоку ему протянул листок шифровальщик.

— Товарищ старший лейтенант, экстренное радио по флоту.

— Старшему политруку дайте, — сказал он нетерпеливо.

Сейчас ему было не до телеграмм, даже если в ней сообщалось о вылете самолетов: катера уже были у «ничьей воды»... Нужно было немедленно выдумать что-то, что могло бы их поймать. Он всматривался в карту, требуя от нее ответа, хотя отлично знал, что другого маневрирования не придумаешь. Если бы граница была хоть на две-три мили севернее!.. Тогда катера были бы вынуждены сами еще отклонить курс в сторону тральщика — острова прижали бы их на запад — и вошли бы в сферу его действительного огня. Но граница была там, где она была, и ничего нельзя было сделать...

— Уйдут, — сказал старший лейтенант сквозь зубы и с отчаянием повернулся к Костину.

Он хотел сказать ему, что попался на удочку, медля возле транспорта, что катера успели сделать свое дело у берегов и теперь безнаказанно уходят, но старший политрук молча протянул ему бланк радиогаммы. Командир прочел, поднял на него глаза, снова прочел бланк, потом бережно сложил его вчетверо и спрятал в боковой карман кителя.

— Товарищ старший политрук, — сказал он официально, — объявите на мостике и по боевым постам. Первая задача — катера.

Солнце уже встало над морем, и вся таинственная невнятность белой ночи давно исчезла. Трезвая и ясная бежала за бортами вода, ясно и прозрачно было голубое небо. Блестела на

мостике краска, и ярко трепетали на быстром ходу цветные флажки флюгарки. Начинался день, первый день войны, и в мыслях, во всем существе была та же ясность, трезвость и прозрачность.

Все стало на свое место: враг есть враг, и никакие дипломатические сложности, никакие условные линии границ, которых не видно на море, не стесняли более действий тральщика. Радиogramма была короткой. В ней сообщалось о нападении гитлеровской Германии на наши города и приказывалось атаковать противника при встрече.

Огромное спокойствие овладело Новиковым. Как будто лопнул где-то внутри давний старый нарыв, мучивший и беспокоивший, стеснявший движение и мысль. Ему показалось, что эта белая невнятная ночь, транспорт, катера, неизвестность, что делать и за кем гнаться, были давным-давно, несколько лет назад. Он даже удивился, как это мог он так мучиться и колебаться. Теперь он неторопливо подошел к компасу, удобно пристроился к нему и стал ожидать терпеливо и спокойно, когда катера сделают вынужденный поворот и сами приблизятся к его курсу. Впереди было много воды, ясность и победа.

Так его и застал старший политрук, когда вернулся на мостик. Он сообщил, что краснофлотцы приняли сообщение именно так, как он и ожидал: спокойно, почти не удивляясь, не разменивая ненависть к врагу на крик и угрозы. Краснофлотцы просили передать командиру, что к бою с врагом родины, революции и человечества они готовы.

— Про катера сказал? — спросил старший лейтенант.

— Про катера я не говорил, — негромко сказал Костин и наклонился к нему. — Ты малость погорячился, Николай Иванович. Ничего с ними не изменилось: Финляндия пока с нами не воюет. Она, может, только наших снарядов и ждет, чтобы поднять крик на весь мир.

Он сказал это мягко и осторожно. Так говорят другу о неожиданной постигшей его беде, так опытный врач сообщает больному о перемене к худшему. Он слишком хорошо знал своего командира (и просто Колю Новикова), чтобы не понимать, каким ударом будет для него это сообщение.

Старший лейтенант продолжал стоять у компаса в той же спокойной позе. Только карандаш в его руках, с которым он отошел сюда от карты, — карандаш, которым был проложен беспощадный курс, отрезающий катерам выход, — внезапно хрустнул. Ровный голос дальномерщика продолжал отсчитывать дистанцию. Она была близка к дистанции огня, еще пять минут — и можно было открывать огонь. Тральщик, дрожа, мчался вперед, носовое орудие по-прежнему нюхало след врага, но весь план боя рухнул.

Старший лейтенант поднял руку и выбросил обломки карандаша за борт. Потом он повернул пеленгатор на катера и прильнул к нему глазом. Сбоку Костин увидел этот пристальный, немигающий взгляд — и снова поразился: второй раз за эти немногие часы веселый молодой командир повзрослел еще на несколько лет.

— Ясно. Ушли. Право на борт, трал к постановке изготовить, — скомандовал старший лейтенант и поднял голову от пеленгатора. Он посмотрел на Костина, и где-то в глубине глаз тот на миг увидел прежний взгляд Коли Новикова, горячего, неукротимого парня, выдумщика и упрямца, человека смелых, но слишком быстрых поступков.

— Эх, и прижал бы я их к островкам, и раскатал бы как миленьких! — протянул он, покачивая сжатым кулаком. — Ведь что обидно, Кузьмич: на них те же немцы сидят, это как факт, все же теперь ясно... Да, я понимаю, — остановил он Костина, — я все понимаю... Предлагаю перейти к очередным делам. Пойдем посмотрим, что там эта гадюка наделала...

Он дал телеграфом уменьшение хода и повел Костина к карте.

Через полтора часа тральщик с заведенными фортралами подходил к проходу у банки Эбатрудус. Здесь не было никого — транспорт «дружественной державы» давно ушел в Балтику западным дальним проходом, и нагнать его не было возможности.

Был совершенный штиль, зеленая вода лежала ровно и гладко, и рябь не затуманивала ее прозрачной глубины. В ней отчетливо были видны красные буйки фортрала — они плыли над водой, как плотные, упитанные дельфины, изредка резвясь и вскидываясь к поверхности, но тотчас увлекаемые на нужную глубину оттяжками и рулями. Прочные тросы, проведенные к ним с форштевня, защищали тральщик от встречи с миной. Раздвигая перед собой воду, водоросли и минрепы, тральщик осторожно вошел в проход.

И в самом узком месте прохода из правого трала всплыла подсеченная им мина.

Освобожденная от удерживавшего ее на глубине минрепа, перебитого тралом, она с легким всплеском выскочила из воды и осталась на поверхности — первая мина новой большой войны. Финский залив, вдоволь наглотававшийся мин за годы первой мировой и гражданской войн, вновь почувствовал их надоедливый металлический вкус. И может быть, поэтому он так охотно и быстро выплюнул эту первую мину, едва трос, удерживавший ее в зеленой глубине, встретился с советским очистительным тралом. Она медленно кружилась на неподвижной воде, показывая свои длинные рожки — обнаженные нервы, не терпящие прикосновения, — огромная черная круглая смерть.

Ее уничтожили, как гадюку, меткой пулеметной очередью. Зашипев, как гадюка, она медленно погрузилась и пошла на дно, выпустив темный дым из мерзкого своего существа. Пули, не вызывая взрыва, продырявили ее корпус — командир решил утопить ее без шума, чтобы не привлекать внимания.

Но вторая подняла этот нежелательный шум: правый трал неудачно задел ее рожок, и столб воды, дыма и металла встал рядом с тральщиком. Страшное сотрясение всего корпуса выбило из зажимов рубильники, в кочегарке и в машине потух свет. Рулевой повернул голову к старшему лейтенанту и, стараясь не повышать голоса, доложил, что рулевое управление вышло из строя, и потом отряхнулся от воды, упавшей с неба на мостик прохладным, свежим душем. Через минуту на мостике зазвонил телефон, из машины сообщили, что все нормально и что рубильник теперь зажат намертво, все должно работать — и руль, и приборы, и свет.

Тогда новый столб воды встал с левого борта, новый звуковой удар потряс людей — и второй красный упитанный дельфин всплыл рядом с бортом. Тральщик остался без фортралов.

Старший лейтенант застопорил машину.

Было неизвестно, на какую глубину поставил мины транспорт, так оправдавший название банки Эбатрудус. Предательское заграждение, выставленное торговым кораблем без объявления войны, несомненно, было рассчитано и на мелкосидящий тральщик, гнавшийся за транспортом. Поэтому продвижение вперед без фортрала было опасным. Заводить новые буйки здесь, на заграждении, было бессмысленно: трал начинал работать при определенной скорости хода, а развивать эту скорость на минах было нельзя. Уйти задним ходом тоже нельзя было: струя винтов сама подтащила бы к корпусу тральщика покачивающиеся под водой мины.

Старший лейтенант в раздумье смотрел в воду. Спокойная и неподвижная, она была прозрачна. Он поднял голову и взглянул на Костина.

— Я думаю, проползем, если с умом взяться? Не ночевать же тут.

— Попробуем, — ответил Костин, поглядывая в воду. — Все равно до самой смерти ничего особенного не будет.

Командир наклонился с мостика и объявил краснофлотцам, что надо делать.

Приготовились к худшему — достали спасательные средства, вывалили за борт шлюпки. На баке, по бортам, на корме встали наблюдатели. Дали воде совершенно успокоиться и восстановить свою прозрачность. И тогда старший лейтенант дал малый ход — несколько оборотов винтов — и тотчас застопорил машины.

Медленно, как бы ощупью, тральщик двинулся вперед. На-

пряженная, строгая тишина стояла на мостике, на палубе, в машине, в кочегарке. И в этой тишине раздался возглас наблюдателя с бака:

— Мина слева в пяти метрах, тянет под корабль!

Новиков и Костин перегнулись с левого крыла мостика.

Мина, и точно, была видна. Она стояла на небольшой глубине, дожидаясь прохода тральщика. И как ни медленно и ни осторожно он шел, увлекаемая им масса воды заставила мину дрогнуть на минрепе, качнуться и двинуться к борту тральщика.

Неторопливо поворачиваясь и как бы целясь своими рогами в борт, она подходила ближе.

Но этим рогам был нужен удар определенной силы — иначе мины рвались бы сами от удара волны, от наскочившей на них сдуру крупной рыбы. И на этом был построен весь расчет старшего лейтенанта: пройти медленно, по инерции, может быть и касаясь мин и их рогов, но касаясь осторожно, без удара.

И тральщик медленно шел вперед, и еще медленнее текло время. Страшной эстафетой — страшной в своей деловитости и спокойствии — шла вдоль борта к корме переключка наблюдателей:

— Мина слева в трех метрах. Уходит под корабль.

— Мина у борта, плохо видно.

— Ушла под корабль у машинного отделения.

Томительно и грозно наступила большая пауза. Мина шла под дном корабля. Она шла медленно, вероятно поворачиваясь и царапая днище. Возможно, что колпаки не сомнутся. Но возможно и другое. Сделать больше ничего нельзя, надо ждать.

И на тральщике ждали. Краснофлотцы смотрели вниз: те, кто стоял на палубе, — в воду, те, кто был внутри корабля, — на железный настил. И только двое, подняв головы, смотрели на небо: это были два сигнальщика, искавшие в голубой яркой высоте черную точку. Старший лейтенант был убежден, что вот-вот должен появиться фашистский самолет — транспорт наверняка сообщил по радио о преследовании его тральщиком.

О мине под днищем никаких сведений больше не поступало. Зато с бака опять раздался спокойный голос боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, вторая. Справа в шести метрах.

— Докладывайте, как проходит, — сказал старший лейтенант, всматриваясь. С мостика она еще не была видна.

— На месте стоит, товарищ старший лейтенант. То есть мы стоим, хода нет.

— Так, — сказал старший лейтенант и повернулся к Костину. — Интересно, где первая? Может быть, уже под винтами... Рискнуть, что ли?

— На Волге шестами отпихиваются, а тут глубоко, — ответил

тот.— Хочешь не хочешь, а крутануть винтами придется. Давай, благословясь.

Старший лейтенант передвинул ручки телеграфа, поймав себя на том, что старается сделать это осторожно, как будто от этого зависела сила удара винтов. В машине старшина-машинист переглянулся с инженером, и оба опять невольно посмотрели себе под ноги. Потом старшина приоткрыл стопорный клапан, и винты дали несколько оборотов. Стрелка телеграфа опять прыгнула на «стоп», и пар перекрыли.

Тральщик получил чуть заметный ход. Тогда сразу раздалось два одновременных возгласа:

— Вышла из-под днища на правом борту, всплывает!

— Справа мина проходит хорошо!

А с бака вперебивку раздался тонкий тенорок боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, третья слева, в трех метрах, тянет под корабль!

— Спички у тебя есть, Николай Иванович? — вдруг спросил Костин.

Старший лейтенант покосился на него неодобрительно: никогда не курил, а тут... Он достал спички и нехотя протянул ему. Старший политрук аккуратно вынул две спички и положил их на стекло компаса.

— Две прошло,— пояснил он.— Запутаешься с ними, так вернее будет.

Командир засмеялся, и Костин увидел, что перед ним прежний Новиков — жизнерадостный, веселый, молодой. Глаза его блестели прежним озорным блеском, и тяжелая непривычная складка на лбу разошлась.

— А ведь вылезем, Кузьмич! Смотри, как ладно идет!

— Ты сплюнь,— посоветовал ему Костин.— Не кажи «гоп», пока не перескочишь... Неужто всю коробку на компас выложу? О четвертой докладывают.

Но коробки хватило. Через двадцать три минуты тральщик очутился на чистой воде, и Костин бережно собрал со стекла двенадцать спичек.

Тральщик весело развернулся на чистой воде, завел тралы и снова пошел на заграждение, освобождая от мин важный для флота проход у банки Эбатрудус. Солнце подымалось к зениту, наступал полдень первого дня войны и первого за последние полгода дня, который был короче предыдущего. Солнце повернуло на осень. Впереди были холодные дни, дожди, сырость, мрак — зима, ожидающая фашистские полчища. Впереди был бесславный конец начатой ими в этот день гибельной войны.

ГОЛУБОЙ ШАРФ

Истребители пошли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развевался голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий, легкий шарф, повязанный на руке, вскинувшей меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф: все летчики прикрывают шею скользящим шелком, чтобы не натереть ее до крови о воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой.

Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано «мессершмиттами». Они были со всех сторон — и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не был, — пришлось кинуться на выручку к Азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка завтра же в рассветной мгле разгромить на нем немцев.

Самолеты поставили в надежные укрытия (здесь, под Одессой, аэродром был совсем рядом с фронтом), и мы пошли к блиндажу. Смеясь, я сказал майору о витязе и прекрасной даме. Он поднял на меня глаза, еще воспаленные ветром высот и боем, и улыбнулся. Теперь, без шлема, лицо его, окруженное голубой пеной шарфа, показалось мне старше. Майору было, вероятно, за сорок.

За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что «мессер», подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф, и посыпались шутки.

— Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют, — сказал полковник. — И куда тебе целый отрез?

— Удобно,— ответил майор.— В нем голова, как в подшивнике, вращается.

— А Миронов у тебя с каким-то чулком летает. Разорви ты свой шарф пополам.

— Клятву не порвешь, товарищ полковник,— сказал майор полушутя-полусерьезно.— Я уж как-нибудь булавками подкалывать буду.

— Это ж амулет, товарищ полковник,— рассмеялся Миронов.— Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит, надо ж понимать: старый летчик.

Вылет был назначен на пять утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором. Устраиваясь, он и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку.

На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки, шурша, осыпался песок: по аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов.

Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат,— и воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и показалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу, врезанные в спокойных чертах его лица, как в мраморе.

Я приподнялся на локте. Майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиации, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтической девушке такое чувство. Вернее было другое. Я вспомнил, как за ужином он мельком сказал, что при переводе в этот полк ему удалось заехать домой, где он никого не застал: город был под угрозой, и все уехали.

Я представил себе, как он вошел в брошенную квартиру, где все знакомо, все напоминает о близких сердцу людях, где все — стыло и пусто, все кинуто в горьком беспорядке торопливых сборов и где призраками стоят лишь воспоминания — о мирной жизни, о надеждах, о родной ласке и тепле, которых не найдешь или найдешь не скоро... Я увидел, как стоит он посередине комнаты, оглядывая ее, как сжимаются его губы, как, быть может, слезы ярости и тоски набегают на глаза и как молча он берет в руки первую попавшуюся вещь: голубой шарф, воздушно-легкий призрак былого.

Может быть, у меня родилось бы еще несколько вариантов, но майор пошевелился и открыл глаза.

— Вот ведь, черт, храпит,— сказал он, увидев, что я не сплю.— Хуже стрельбы, ей-богу... Силен...

Храпел Азарианц, утомленный боем. Порой, рывкнув с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд, Азарианц во сне отвечал ему рычанием потревоженного огромного зверя — и вся музыка начиналась сначала.

— Нет, не заснуть, — со вздохом сказал майор. — Покурим?

Мы закурили, и скоро потекла та негромкая беседа — голова к голове, — когда ни залпы, ни разрывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов.

В боях и в вечной к ним готовности военным людям некогда разговаривать друг с другом о своих чувствах. И чувства их, как жемчуг, оседают в душе сгустком плотным и драгоценным. Но сердце живет, и тоскует, и жаждет открыть не высказанные никому свои тайны. И вот в тихой беседе с гостем, случайным человеком, готовым слушать всю ночь, — в такой ли землянке под грохот снарядов, в окопе ли в ночь перед наступлением, в каюте ли идущего в бой корабля, — военные сердца раскрываются доверчиво и желанно. И такое увидишь порой в прекрасной их глубине, что и сам воин, и подвиги его освещаются новым светом. И завеса над тайной рождения отваги приподымается, и в меру познания своего ты понимаешь, что такое ненависть к врагу.

Мои романтические догадки оказались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее.

В начале войны майор дрался на Балтике. Придя из запаса, он был сразу назначен на охрану небольшого эстонского города. Город этот жил еще старыми представлениями о немцах, и никто в нем не верил всерьез, что они бомбят мирные города. Поэтому на чудесном его пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Майор, барражируя над городом, охранял его отдых и его детей, ища в небе врага. Небо было синим и глубоким, море — теплым и ласковым, песок — горячим и золотым.

Это случилось в воскресенье 29 июня. Он увидел «юнкерс» слева над морем и ринулся к нему. Майору не повезло: фашистский стрелок пробил ему бак, и пришлось идти вниз. «Юнкерс» ускользнул, и майор увидел, как в городе встали черные грибы разрывов. Маленькие аккуратные домики тотчас задымились.

«Юнкерс» повернул к морю, спикировал на пляж — и розово-желтая пена человеческих тел хлынула в море. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, как будто вода могла прикрыть их от пуль. Они ныряли в нее, стараясь стать невидимыми. Но «юнкерс» сделал второй заход — и человеческая волна выплеснулась из моря и хлынула под защиту цветистых зонтов, палаток, навесов, оседая на песке крупными неподвижными каплями.

Не помня себя от бешенства, майор бесполезно стрелял по

черной удаляющейся точке. Мотор его наконец стал. Он опомнился.

Сесть теперь можно было только на пляж. Майор повел туда подбитую машину, но весь пляж был в трупах детей и женщин. Недвижимые, страшные в предельной беззащитности обнаженного человеческого тела, они лежали на песке. Наконец он нашел на краю пляжа место, свободное от них.

Он выскочил из кабины, шатаясь. Кровавый туман плыл в его глазах. Ничего не видя, ничего не понимая, он шел как потерянный, не зная куда, пока не споткнулся. Взглянув под ноги, он отпрянул.

Перед ним лежала обнаженная девушка, склонив на плечо голову. Солнце золотило ее нежную кожу и легкой тенью отмечало неразвившуюся грудь. Ниже груди кровавый тонкий поясок опускался к левому бедру — след быстрых, острых пуль, пронизавших насквозь живот. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф — единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль на бегу.

Он поднял его, осторожно разжав еще теплые тонкие пальцы. И так, держа этот шарф и смотря на пляж, усеянный детскими, девичьими и женскими телами, он дал себе молчаливую клятву.

Он не сказал мне ее. Но каждый, в ком бьется человеческое сердце, найдет ей слова, запоминающиеся на всю жизнь.

— Я сплю с ним, чтобы и во сне не забыть о ненависти, — сказал майор, приподымаясь.

Он развернул шарф. пышная его бахрома была как бы обгрызена. Я вгляделся. Это были узлы: кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопками — аккуратными плотными шариками. Кнопов было шесть, змеек — восемь. Продолжая говорить, майор начал плести новую змейку.

— Сегодняшний «мессер», — сказал он без улыбки, — а кнопки — это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, на смех подымут, вот, скажут, нашел майор игрушки...

Он помолчал, деловито сплетая шелковые нити, потом поднял голову. Лицо его меня поразило.

— Какие тут игрушки, — сказал он глухо. — Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет... Не прошляпь я тогда с тем «юнкерсом»... Ну ладно, что в Москве нового?..

В пять ноль-ноль полк в полном составе вылетел на штурмовку найденного майором аэродрома. Самолеты один за другим поднимались в темноту, и было удивительно, как сумели они там выстроиться за ведущим «ястребком», где был майор.

Часа через полтора самолеты так же один за другим садились на поле. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, соби-

рались в кучки, обмениваясь рассказами. Все сошло как нельзя лучше: майор точно вывел весь полк бреющим полетом из-за леска прямо на аэродром. Немцы не успели дать и залпа. В расцветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали девять бомбардировщиков и восемь истребителей.

Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как дотянул до поля и сел. Мы побежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем алели пятна крови.

— Товарищ полковник, — сказал майор, не шевелясь. — Кажется, меня надо вынимать. Пустяки, в плечо... и в ногу что-то.

Пока бежали с носилками, он доложил полковнику, что после первого захода увидел на западе пять «мессеров» и пошел к ним навстречу (поскольку над аэродромом «все шло нормально») и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому.

Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф. Он протянул к нему здоровую руку.

Мы поцеловались.

— Теперь на всю поправку работы хватит, — сказал я ему негромко, — еще девять кнопов и восемь змеек.

Он улыбнулся мне, как ребенку, не знающему правил игры.

— Нет, то не мои... Это ребята били. Я одну змейку сплету: одного-то из тех пяти я все ж таки стукнул...

Носилки качнулись — и он вышел на время из боев, витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистой и горячей, как и его ненависть.

«ЧЕРНАЯ ТУЧА»

(Из фронтовых записей)

Бой ушел вперед.

Он гремел теперь далеко в степи, и сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов. Над опустевшими окопами, вырытыми в агротехнической посадке вдоль ровной аллеи, легкий ветерок чуть шевелил деревья, вернее — огрызки деревьев.

Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры, ветви — надломлены, обгрызены, посечены. Листья, пробитые и надорванные, преждевременно пожелтели. Изуродованная зелень молчаливо свидетельствовала о том, что вытерпели люди, укрывшиеся под ней в неглубоких своих окопах. Две недели свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули — и когда-то высокие и пышныекации превратились в низкий общипанный кустарник.

Две недели бились здесь черноморские моряки, сошедшие с кораблей для смертного боя с фашизмом.

Это были два батальона Первого морского полка. В начале осады Одессы его сформировал и повел в бой командир Одесского военного порта полковник Осипов, старый моряк, матрос с «Рюрика» и «Гангута», который в гражданской войне бился в Первом кронштадтском экспедиционном отряде и командовал матросским отрядом на Волге. Новый полк в первом же бою отбросил румын от ближних подступов к городу и захватил эту посадку у колхоза Ильичевка. Она была очень важна: во-первых, она закрывала врагу подход к высоте, выгодной для обстрела Одессы, во-вторых, отсюда в свое время, с прибытием подкреплений, командование рассчитывало начать новый удар.

Это отлично понимали и осаждающие. На два батальона мо-

ряков, державших посадку, румыны бросили целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Посадка оказалась в фактическом окружении: спереди, сзади, слева и справа были румыны, и только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали морякам цинки с патронами, мины, пищу и воду. И по этой же кукурузе не раз пробирался к своим бойцам полковник Осипов, чтобы осмотреть позицию, распорядиться насчет отражения очередной атаки и, кстати, побеседовать по душам.

— Окружением маленьких пугают, — говорил он своим глуховатым негромким голосом, пережидая разрывы мин и снарядов. — Поглядите, как вы тут ладно устроились: посадочка-то ваша углом идет. Полезут румыны с тыла, внутрь угла попадут: будете их с двух сторон бить. Справа навалятся — левая посадка фланговым огнем их положит. Слева сунутся — правая так же будет во фланг косить. Ну, а если черт их понесет на самый уголок, тут у вас полная мощь огня, понятно?.. За такую посадку денежки платить можно. Ваше дело — не зевать, высматривать, откуда полезли. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем. Не на мертвый же якорь тут стали!

И моряки держались. Ежедневными атаками враг пытался сломить их сопротивление. Две недели подряд одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку до восьми волн) — и разбивались о твердость и мужество краснофлотцев, как о скалу.

Грудами трупов, наваленных друг на друга, эти волны так и застыли у окопов неопровержимым доказательством краснофлотского мужества и стойкости. Пули, остановившие их на бегу, были у них во лбу, в сердце, в груди — точные, прицельные пули спокойного морского огня. Убитые лежали без оружия: оно попало в руки моряков, и солдаты, лежавшие сверху недвижимой этой груды, были повалены пулями из румынских же автоматов и пулеметов, принесенных сюда накануне теми, кто лежал внизу.

Только полсотни шагов отделяло убитых от посадки. Так учил своих бойцов полковник Осипов:

— Не нервничай, ближе подпускай. Они в атаке орут, поливают из автоматов, на психику берут, вон как вчера шагали — в восемь рядов, с музыкой и иконами: нам, мол, все нипочем!.. А вы их тоже на психику берите: топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться... Молчите и поджидайте. Пусть на предыдущих ораторов полюбуются: тоже на мораль действует, экое кладбище навалено!.. Вот когда так подойдут, что их карточки рассмотришь, когда глаза их увидишь, а в них

страх,— тогда и бей в лоб. Веселее будет: одного повалишь, десять сами назад побегут...

И сидели моряки под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки, сидели и под диким ливнем автоматического огня наступающих румын. Сидели, «не нервничая», молча давая атакующим дойти до груды трупов и понять, что тут — смертный рубеж, которого не перейти, что так же, как сегодня, шли на эту посадку вчера, и позавчера, и неделю назад другие роты и батальоны. И небритые лица румын, уже перекошенные страхом подневольной атаки, впрямь искажались ужасом перед грозным молчанием морских окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев морских полков. Моряки пошли с кораблей в бой в чем были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках. Такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда, подпустив их вплотную к окопам, моряки встретили их яростным и точным огнем, когда, словно вой шторма, пронеслись по полю и свист, и крик, и издевательское улюлюканье, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки в бешеной контратаке и нельзя было ни автоматами, ни пулеметами остановить их неудержимый бег, когда внезапной угрозой вставали над желтой кукурузой черные бескозырки и могучие руки в черных рукавах бушлата заносили над грудью острый и быстрый штык...

С первых этих встреч многое изменилось во внешнем виде морской пехоты: краснофлотцев переодели в защитную форму. Но часто, взлетая на бруствер окопа, словно на трап по тревоге, быстрым морским прыжком, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотскую бескозырку, и черные фуражки опять мелькали в кукурузе наводящим ужас видением «черной тучи» — нетерпеливой, грозной силы, устремленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Такими запомнили моряков румыны. Нам же, кто видел и помнит прежние бои за революцию, знакомо и это мелькание бескозырок в зелени кустов, знакомы и ленточки, развевающиеся в атаке. Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах — везде, куда посылали их революционный народ и партия; как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти, новые, моложе, пусть за плечами у них нет долгих лет царской службы, школы ярости и гнева, но это — одно племя, одна кровь, одна мужественная семья моряков, какие бы имена



кораблей ни сверкали на их ленточках и с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого или с Ледовитого океанов.

На берегу они сохраняют в своих бригадах и полках ту же сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем. Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом — локоть к локтю, сердце с сердцем, необыкновенно сближает людей, связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив.

И это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля, — сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в батальоне, но, глядишь, через недельку этот окоп или блиндаж напоминает кубрик. Уже появились ласково-грубоватые прозвища, уже летают свои, понятные только здесь шутки. Уже всем известно, что Васильев с «Червонной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощадного» — отличный снайпер, что старшина роты, комендор с «Ворошилова», человек очень горячий и что в атаке за ним надо присматривать и в случае чего выручать: того и гляди, полезет один против десяти и погибнет зря из-за своего характера. Уже все знают, что нет в полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика — не тот Иванов из авиабригады, который пристрелил мотоциклиста и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с канлодки, что пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: напоролся на разведчиков, одного стукнул по голове, другой же сам лапки кверху, — а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне...

И каждый из моряков с восхищением и почтительной завистью к отваге будет целый час рассказывать вам о своем полковнике, о его шутках, о его личных подвигах, о его легендарной машине, пробитой осколками и прошитой пулеметными очередями, на которой он подлетает к окопам, словно на катере к парадному трапу. С любовью, как о близком друге, расскажут вам моряки о военкоме полка Владимире Митракове, о том, как видели его всегда рядом с собой в самых опасных местах, как обучал он моряков стрельбе из трофейных автоматов, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, веселую шутку и дружеское, теплое слово, и как провожали его, раненного, в тыл, как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят.

Посидите с моряками вечером в окопе — и вся жизнь нового коллектива, этого корабля на суше, встанет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрейших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, и во всяком взводе увидите вы неразлучных

друзей, из которых каждый отдаст жизнь за нового своего друга, «корешка» или «годка»...

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот мужественный дух, традиции и боевые навыки, эту присущую морякам гордость за свой корабль (или батальон) и желание сделать его лучшим, красивейшим, храбрейшим. Молодого человека смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками никак не назвать ему тех, с кем он плавал, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, полужеста, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью. И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десяток врагов. Он хочет завоевать право не опускать глаз перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями-морьяками.

Так получилось и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. В Третий морской полк, сформировавшийся в Севастополе, он пришел добровольцем, не служив еще на флоте. В конце сентября крейсер с десантом подошел ночью к Одессе; моряки в темноте погрузились на баркасы и погребли к берегу, в тыл румынам. Вместе с остальными Мей прыгнул по грудь в холодную воду и так же, как остальные, не почувствовал холода (морьяки потом говорили: «Холодная вода, понятно... Но очень тогда азартно было, не замечали...»). В темноте взвод его ворвался в прибрежную деревню, напоролся там на тяжелые орудия, перестрелял и переколол немецких артиллеристов. Так провел Мей ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов Первого морского полка (покинувших наконец для этого свою знаменитую посадку у Ильичевки) отбросил врагов на несколько километров. Моряки заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах, повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу и порт от обстрела тяжелой немецкой батареей. Орудия были отправлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет».

Немецко-румынские фашисты решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на Третий полк. Враги пытались подавить его сопротивлением количеством: утром 29 сентября на окопы, где был один третий батальон этого молодого полка, двинулось до полутора тысяч румын.

Автоматчики их еще в темноте подкрались к окопам на семьдесят метров и с началом атаки открыли огонь, держа моряков в земле и не давая поднять головы. Моряки, как обычно, подпустили атакующих поближе и скосили первую волну. Трое краснофлотцев — Димитриенко, Вчерашний и Лисьев — выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием стали бить во фланг следующей цепи румын, пошедшей в атаку.

В окопе сперва не заметили, что вслед за этими тремя выскочил и Мей. Он залег с винтовкой в кукурузе, стреляя вдоль румынской цепи. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти румын со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, отбил пулемет. Он быстро повернул его и погнал им все шесть десятков солдат назад. Увлечшись этим, Мей перетаскивал пулемет все дальше и дальше вперед, кося им откатывающихся румын... И хорошо, что командир роты заметил это и выслал к Мейю еще семерых моряков, иначе он был бы отрезан от своих.

Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью Третьего морского полка, и никто уже больше не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности, и представили мне его так: «Который с чужим пулеметом в отдельном плаванье был...»

В этом же бою произошло то, что командир батальона старший лейтенант Торбан, смеясь, назвал «стихийной контратакой».

Батальон отражал одну атаку за другой. Сильный автоматный огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, Торбану казалось делом трудным, и он медлил, выжидая хоть какой-нибудь передышки. Но далеко от командного пункта, в девятой роте, командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степанову:

— А что, товарищ лейтенант, если самим на них кинуться?.. Прямо же терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут?

И в огонь, которого, казалось бы, не могут выдержать человеческие нервы, выскочили из окопа во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот разговор пулеметчик с канлодки Соболев. За ними, как один человек, тотчас кинулась вперед вся девятая рота. Увидев это, поднялась и соседняя — седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков и в соседнем, втором батальоне. «Черная туча» ринулась на атакующих румын и, спотыкаясь о вражеские трупы, наваленные перед окопами, покатила неуправляемой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать! — рассказывал потом лейтенант Степанов, оживленно взмахивая веревочными вожжами (он взялся самолично доставить меня в соседний Первый морской полк на скрипучей мажаре, запряженной парой отбитых у румын коней). — Попрыгали сперва в свои окопы, а мы сбоку налетели, перекололи порядком, кто не поспел выскочить. Остальных гнали, гнали, восемь километров гнали, пока краснофлотцы не притомились... Тпру, черт!.. Извините, правый мотор отказал, — перебил он себя и прыгнул с мажары, чтобы освободить заднюю ногу лошади от вожжи: лейтенант до зачисления в полк командовал торпедным катером.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелые немецкие батареи, державшие порт и город под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах у каждого моряка Первого и Третьего полков рядом с родной трехлинейкой лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой черный ствол и поджидая бывших хозяев. В Первом полку, куда привез меня Степанов, полковник Осипов как раз и уточнял количество трофеев.

— Да это я слышал, сколько вы сдали в трофейную комиссию. Вы мне скажите, сколько себе оставили? — добивался он от майора, командира первого батальона.

Майор конфузливо отводил глаза и убедительно прижимал руку к груди.

— Да самую малость, товарищ полковник, пустяки...

— Ну все-таки? Не отниму же я у вас!

— Как сказать... прошлый раз шестнадцать автоматов во второй батальон взяли!..

— Взял, потому что те только на минометы напоролись. Вам же три их миномета прислал. Ну, начистоту — сколько?

Майор томился. Полковник Осипов оглядел посадку. В зелени стояло штук тридцать трофейных ящиков с минами. Он открыл крышку первого. Но там вместо мин оказалась белая пышная курица, в другом — кролик. Он, моргая, смотрел на полковника, и тот рассмеялся. Рассмеялся и майор, а за ним засмеялись и краснофлотцы — пыльные, перемазанные землей (они подправляли румынские окопы).

— Румынское хозяйство, — пояснил майор. — Двенадцать кроликов, четырнадцать кур и один петух... Тоже прикажете в комиссию сдать, товарищ полковник?

За трофейной яичницей в бывшем офицерском блиндаже, когда разговор пошел неофициальный, майор наконец признался, что в батальоне насыщенность автоматным и пулеметным огнем, по его мнению, теперь достаточная и что штук двадцать можно передать молодому Третьему полку. Полковник Осипов усмехнулся.

— Ну, то-то... Только им не надо: они сами нам тридцать штук предлагают... Смотри, майор: морячки пришли что надо, как бы нашему полку не отстать...

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою Третий морской полк, только что сформированный из краснофлотцев, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще как надо применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости и инициативы. Вперед, только вперед — вот лозунг, с которым они ринулись в бой.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклистов и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней. Дважды, трижды раненные моряки не выходили из боя. Падали товарищи рядом — остальные шли вперед, горя мстью, горя давней матросской яростью. К упавшим подползали санитары и под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в неизвестные и непонятные рощицы, посадки, в заросли кукурузы, в сожженные и разграбленные деревни, шли, окруженные врагами, в самую гущу которых с фланга ворвалась с моря эта «черная туча»...

Так две ночи и день шел через расположение врага Третий морской полк, пока не вышел на соединение с частями Приморской армии и с Первым морским полком полковника Осипова. Красноармейцы, увидев в кукурузе запыленные и обожженные боем черные фигуры, встретили их радостными криками: «Ура! Моряки!..»

С осиповцами встреча вышла более любопытной.

Трое разведчиков Третьего полка, пробираясь на второй день по кукурузе, заметили в ней шевеление. Они присмотрелись — и увидели шесть человек в камуфлированных плащ-палатках. Румынские автоматы торчали из-под вражеского этого одеяния. Разведчики шепотом посоветовались: шестеро, а может, там еще кто притаился?.. Но проверить надо, на то и разведка.

Моряки, наклонив штыки, выскочили из кукурузы и кинулись через прогалину во весь рост.

— Сдавайтесь, руманешти! Моряки идут!.. Матрозен, матрозен!..

Из кукурузы охотно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятия. Моряки на бегу переглянулись: сдастся, факт!.. И вдруг «румын» закричал на русском языке:

— Славному Третьему морскому полку ура!

И кукуруза подхватила «ура», и из-за шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащах; и трудно было понять, кто кого «брал в плен», так переплелись дружеские объятия.

Связь между двумя полками морской пехоты, разделенными врагом, была установлена.

Когда первый восторг встречи улегся, моряки Первого полка спросили:

— Чего же вы, орлы, на нас кинулись? Ох, и напугали, вот напугали...

— А черт вас догадал так обрядиться, — недовольно сказали моряки Третьего полка. — Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, что на штык вас решили взять, а то бы подырявили пулями...

— Да мы вас уже полчаса в кукурузе рассматриваем, — ответили «старички»-осиповцы. — Бушлатики, товарищи, поснимать придется. Война здесь другая... А что втроем в атаку кидаетесь — это по-нашему, по-осиповски. Значит — сдружимся.

И через несколько дней краснофлотцы Третьего морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку незаметно ходить, и прикрывать черную матросскую робу защитной гимнастеркой или плащом. Одному не изменили новые бойцы: верности флотским традициям, идущим от «Потемкина», от штурма Зимнего дворца, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе, — мужеству, напору, верности родине, готовности быть всегда и всюду первыми.

И грозное слово «черная туча», родившееся в исторической обороне Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, пошло гулять по фронтам Отечественной войны всюду, где навстречу врагу появлялись яростные и гневные полки морской пехоты.

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, — неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она пропела свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар»

и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, хлопанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружались, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Хлопанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, крик утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом

пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжело и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром».

«Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивал воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.

ПАРИКМАХЕР ЛЕОНАРД

Это был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро. Впервые я увидел его на одной из морских береговых батарей, куда он приезжал на трамвае (так в Одессе ездили на фронт). Он приезжал сюда три раза в неделю по наряду горсовета — живой подарок краснофлотцам, веселый праздник гигиены.

В кустах возле орудия номер два поставили зеркало и столик, батарейцы сгрудились вокруг, нетерпеливо дожидаясь очереди и заранее глядя подбородки. Пощелкивая ножницами, как кастаньетами, он пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы играли блестящими инструментами, и порой, когда обе руки были заняты пульверизатором, он швырял гребенку на верхнюю губу и зажимал ее носом. Бритва так и летала в его ловких пальцах, угрожая носу или уху быстрыми взмахами, — и очередной клиент с опаской водил глазами по зеркалу, следя за ее сверкающим полетом. Но остроты и песни никак не мешали работе, и бритва скользила по щекам, обходя все возвышенности, и Леонард сдергивал салфетку с видом фокусника.

— Гарантия на две недели, брюнетам на полторы! Кто следующий?

Сев на стул, я невольно залюбовался в зеркале его пальцами. Тонкие и гибкие, они нежно прощупывали пряди волос, безошибочно отбирая то, что нужно снять. Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребенку или выбивая трель на машинке, в неустанном движении, в веселой шаловливости, в постоянном следовании за песенкой, сопровождавшей работу.

Не удержавшись, я сказал:

— С такими пальцами и слухом вам бы на скрипке играть.

Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул.

— Хорошая прическа — тоже небольшая соната. Скажете — нет?

Мы разговорились. Большие черные его глаза стали мечтательными. Он рассказывал о своем профессоре, который называет его «моложавым дарованием», о скрипке, о том, что, когда кончится война, он пойдет в техникум и бросит перманент, из-за которого его зовут Леонардом, хотя он просто Лев. Он говорил о музыке, о любимых своих вещах. Пальцы его, как бы вслушиваясь, перестали балаганить. Выразительные и беглые, они держали теперь гребенку цепко и властно, как гриф скрипки.

Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизменно привозил с собой на батарею, и краснофлотцы вновь обступили его. Видимо, эти концерты после бритья стали на батарее традицией.

Южное осеннее солнце сияло на тугих молодых щеках, выбритых до блеска, просторное море манило к себе сквозь зелень кустов, и огромное тело орудия номер два, вытянув длинный хобот, молчаливо вслушивалось в певучие украинские песни, в жемчужную россыпь Сарасате, в мягкие вздохи мендельсоновского концерта. Леонард играл, смотря перед собой через орудие и кусты на море, вторя невидимому оркестру и изредка напоминая о нем звучным, верным голосом. И казалось, что он видит себя на большой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб.

Очередной румынский снаряд, рванувшись за кустами, оборвал концерт. Леонард со вздохом опустил скрипку.

— Опять пьяный литаврист уронил палку. Им нужен строгий дирижер. Скажете — нет?

Вторично я встретил Леонарда в госпитале. Он лежал, закрытый до подбородка одеялом, и черные влажные его глаза были грустны. Я узнал его и поздоровался. Он кивнул мне и попытался пошутить. Шутка не вышла. В коридоре я спросил врача, что с ним.

Была тревога. Все из парикмахерской кинулись в убежище. Оно было под пятью этажами большого дома. Бомба упала на крышу, и дом, сложенный из одесского хрупкого известняка, рухнул. Убежище было завалено.

В нем была темнота и душный, набитый пылью воздух. Никого не убило, но люди кинулись искать выхода. Закричали женщины, заплакали дети. И тогда раздался звучный голос Леонарда:

— Тихо, ша! В чем дело? Ну, маленькая тревога «у-бе» — «уже бомбили»!.. Больше же ничего не будет... Тихо, я говорю! Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с внешним миром!

В убежище притихли и успокоились. Леонард заговорил в отдушину, и все слышали, как он подозревал кого-то — видимо,

из тех, кто кинулся к развалинам, назвал адрес дома («Бывший адрес», — сказал он), вызвал помощь и пожарных. Один у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоряжался, советовал, как лучше подобраться к нему. Он спрашивал, как идут раскопки, и передавал это в темноту.

Люди лежали спокойно и ждали. Хотелось пить — Леонард сказал, что уже ведут к отдушине шланг. Стало душно — он обещал воздух, ибо со своего места уже слышал удары мотыг и лопат. Он передавал в темноту время, узнавал его через отдушину, и всем казалось, что часы текут страшно медленно.

По его информации прошло около шести часов. На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла совсем не со стороны отдушины, в которую он говорил. Отдушины не было, как не было долгие часы ни пожарных, которые раскидывали камни где-то высоко на груде развалин, ни мотыг, ни лопат. Все это выдумал веселый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих людей и вселить в них надежду.

Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и руки его были прижаты тяжелым камнем. Пальцы были размозжены.

Кисти обеих рук пришлось отнять до запястья.

Первую неделю после ампутации он просил выключать радио, когда начиналась музыка. Потом он стал слушать ее спокойно, только закрывая глаза.

РАЗВЕДЧИК ТАТЬЯН

Знакомство наше было необычным. В свежий, октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую пыль, разговаривать на воздухе было неуютно. Поэтому моряки-разведчики пригласили зайти в хату. Мужественные лица окружили меня — загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обоем. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрыл сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

— Воюешь? — сказал я, похлопывая его по щеке. — Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать, — ответил разведчик тонким голосом.

— Ну?.. Прибавляешь небось, чтоб не выгнали?

— Ей-богу, восемнадцать, — повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

— Ну, ладно, пусть восемнадцать, — сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке. — Откуда ты появился, как тебя — Ваня, что ли?

— Та це ж дивчина, товарищ письменник! — густым басом сказал гигант. — Татьяна с-под Беляевки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собрались в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокочущий, как самолет: это под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

— Не вы первый! — сказал гигант, отдышавшись. — Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьян — морской разведчик?

...Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба. Девушка пришлась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскировки и страстное желание сохранить флотский вид, — столкнувшись, породили эту необыкновенную форму.

Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ — гигант-комендор с «Парижской коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные, — и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и «Татьян» теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель, только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись

на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что́ видела в Беляевке перед побегом, и ясные ее глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мной девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаще, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» — бывший киномеханик, районный сердцеед — первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

— Оце бачив? — спросил он негромко. — Що она тебе — зажигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких, соленых шуток, от обид и приставаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо — любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания — гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба — в ярость, нежность — в силу. Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дожидаться их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки

прижались к скале, но пули щелкали все ближе — румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было.

Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде — со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырщ был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

— Яку дивчину загубили... Эх, моряки...

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь — целомудренную, скромную, терпеливую, он говорил о Татьяне. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос — и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна-девушка, так не похожая на «разведчика Татьяна» — нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла

на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он берег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда «Татьян» снова будет Таней. Но мечта была в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе.

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, поползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она была по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он слышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим стал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него — три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд.

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чуе... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской коммуны».

Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то помешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на животе в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забило гулко и часто. Ни волевым напряжением, ни ровным дыханием нельзя уже было удерживать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один — в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно

один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножию сосны, ударил о снег и погрузил в это забытие.

Ночью их было двое — сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они подобрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, два друга, два удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда. Вон в той заросли ельника они пролежали полчаса, а может быть, час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя, еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять — десять минут, уверенный, что Коля вернется, — не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарядит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием, Ситин сказал: «Полно кукушек... давай по ельнику... пощупаем, что справа...» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо. И, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание.

Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне, в какую-то яму, и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник,

снег и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи — на это не хватило бы тепла. Его и так мало оставалось в теле, намерзшемся за долгие часы забытья.

Солнце переползало по пышным елям, двигалось вокруг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, запах вишен, журчанье у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знал. Он думал только о темноте — любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин...

И не нужно будет считать удары сердца, искать, как переместилась тень от сосны. Не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было невыносимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханьем завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыханье. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напрягал мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатиисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: теперь снайперу было не до шевеления ели — осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплое обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырытую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели.

Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку, искал оружия. Граната снова попалась ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунул голову и осмотрелся не таясь.

Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился — и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово «кукушки». Здесь висели повешенный на сук автомат, обоймы, мешок с продовольствием, бинокль, фляга — все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот.

— Толково наши бьют, — сказал он громко. — Где ж им под таким огнем усидеть...

И он поудобнее устроился на ветвях, взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер

опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст, видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены...

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты — четверо — шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали: двое на первый труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями: вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась — очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь расколосось, и вокруг завизжали осколки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман, и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику, обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели.

НЕВЕСТА

В те дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках — неслышный, но видимый солнечный луч. Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем, смешливые, почти детские глаза блестели оживленно, и безногий майор с койки неизменно возглашал:

— «Девичьи лица ярче роз...» Любочка, выходит, дальше надо жить?

— Обязательно! — звонко отвечала она, дуя на замерзшие пальцы.

Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке — белая тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем: об утренней сводке, о происшествиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино. И утихали постепенно стоны, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший, скучный больничный воздух палаты свежел, и легчало горе, и улыбались мысли.

Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они, прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором хозяйки, соображающей, с чего начать день, — и подходила к койкам.

Она умела быстро и ласково делать все — вымыть голову, не уронив ни капли воды на подушку, поправить повязку, написать письмо тем, у кого не работали руки или глаза, вовремя уловить ухудшение и вызвать врача, цепко и страстно бороться за жизнь раненого в час опасности, утешить и успокоить того, кто, казалось, потерял покой, и погрузить его в тихий, облегчающий душу сон.

Мы все любили ее, а может быть — все были влюблены.

Но ревности вход в нашу палату был запрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к кому-либо из нас поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце, тяжелее, чем у других.

В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночь я не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девушка, чувствовала в чужой душе неладное. Она лишь мельком взглянула на меня, но, закончив обход, безошибочно подошла к моей койке с колодой в руках.

Однако игра не вышла. Нынче детские ее губы порой опускались в горькой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет. Карты бесполезно остались лежать, темнея на белом одеяле десяткой пик, символом горя, и мы разговорились негромко и откровенно.

Ее муж, капитан-танкист, воин большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Месяц она не могла отыскать его след. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общезитии, стараясь не разбудить подруг.

Вчера она нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку и сказал:

— Люба, обманывать не буду. Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся.— Он не дал ей заплакать и сжал руку.— Спокойно, Люба. Он может вернуться. Понимаешь — надо ждать. Конечно, это большое искусство — ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно.

Я смотрел на нее и искал в себе ту силу, которой была наделена эта женщина. Перед этим горем я забыл о своем, но слов — тех слов утешения и надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам,— я не мог найти в корявой, неловкой и себялюбивой мужской своей душе.

Застонал майор на крайней койке.

Люба вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь — своя скорбь — отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи.

Вскоре меня перевели на время в другой госпиталь. Через две недели я вернулся в знакомую палату. Многих я уже не застал, появились новые раненые, и рядом с собой я увидел огромную куклу из бинтов.

Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело: волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще

чернели выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света, они лишь предохраняли чудом уцелевшие глазные яблоки от прикосновения бинта.

Пониже, хитро и искусно, было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь — живая речь, единственный проводник мыслей и чувств.

Танкист боролся с медленной своей и долгой болью. Перевязки были мучительны, но он хотел жить. Он очень хотел жить и снова драться в бою. Эта воля к жизни кипела в его неразборчивой речи, в косноязычии сожженных губ.

Он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижимого клубка марли, и, научившись понимать эти раненые, подбитые слова, я слушал доблесть, ненависть и победу, слушал бой и касание смерти, слушал мечты и надежды, признания и исповедь — все, что может рассказывать другу двадцатидвухлетний человек, бегущий от призрака одиночества. Другу — ибо к ночи мы подружились той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит в бою или в болезни.

Под утро я проснулся, когда было еще совсем темно. Тяжело дышала палата, порою стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. По тому, что на этот стон не двинулась неслышная белая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила вторая сестра — Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью часто засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы выйти покурить, и, услышав меня, танкист попросил пить (это звучало у него странно — как «шюить»). Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру.

— Не надо, — сказал он, — ничего...

Я осторожно налил между бинтами несколько глотков из поильника и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился.

— Ничего, — повторил он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания. — Это только она умеет... Будто сам пьешь, губами...

— Кто она?

— Невеста.

И я услышал необыкновенную повесть любви.

Он говорил о женщине, которой не видел и видеть не мог. Он называл ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так назвал он ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласковость и душевность, и так продолжал звать, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя. «Ну, конечно, Люба», — подумал я. Это имя и в самом деле могло у него звучать нелено: Люа, Люша...

Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и —

странно сказать — страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провиденью любви. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые, легкие волосы, выбившиеся из-под косынки: однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший на столик футляр термометра. Он говорил о ее руках — нежных, сильных, бережных руках, которые он часами держал в своих, рассказывая ей о себе, о своем детстве, о боях, о взрыве танка, о своем одиночестве и о страшной жизни уroda, какая его ждет.

Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру в то, что он будет видеть, жить и снова драться в бою, и мне показалось, что я слышу голос самой Любы. Совсем шепотом он сказал мне, что завтра — решающий день — профессор обещал ему снять очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом «душеньке» — а вдруг он видеть не будет? Пусть она не мучается. Не выйдет — не выйдет, он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно, он видит ее глаза и в них — любовь. И еще: она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на нее ради своей невесты.

Да, невесты. Он повторил это слово с гордостью. Муж ее погиб на фронте совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более, чем он: он потерял только лицо, а она — любимого человека. За долгие эти ночи они все узнали друг о друге, и любовь пришла в эту палату, где витала смерть, и жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя. Ведь он хотел застрелиться — ну, куда жить такому?..

— Она сказала: мне все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь...

И он заплакал. Я понял это потому, что грудь его, наполненная счастьем, сотрясалась и дыхание стало прерывистым.

Не мешая ему, я тихо прилег на койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь — необъяснимая любовь высокой женской души — или нежная жалость, которая порой так похожа на любовь? Или, может быть, разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного: танкист, герой, воин... Я дожидался утра, смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть разгадку — в таких глазах все читалось легко. В этих мыслях я задремал.

Проснулся я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Любы в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует.

— Чудесно,— ответил он.— Она пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня я ее увижу?

По голосу я понял, что он улыбается.

— Она ведь красавица, ты же ее знаешь?

— Красавица, верно,— ответил я.

Он снова заговорил о том, что сегодня ее увидит. Вдруг он замолчал и притих, слушая шаги — легкие в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутавшие голову, он различил их. Или это был слух любви?

— Она,— сказал он с глубокой нежностью.— Душенька моя...

Я обернулся. Но это подошла Феня, очевидно задержавшаяся после дежурства. Я хотел показать ему, что он ошибся.

— Здравствуйте, Фенечка,— сказал я.— Скоро там Люба справится?

— Здравствуйте, опять к нам? — спросила она.— Уехала Люба, мужа отыскала. Раненый...

И она под села к танкисту.

— Родненький мой, Коленька,— сказала она ласково.— Набирайся сил... перевязка сейчас...

Он судорожно протянул руку, и тотчас эта рука воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли, попала в руки Фени: видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла его другой рукой, и большое, значительное молчание встало над ними. Она тихонько гладила его руку, перебирала пальцы, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым медленным течением плыла любовь.

Я смотрел на лицо Фени — незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная пермена в нем поразила меня. Немолодое, усталое — одухотворенное силой любви, оно было прекрасно, простое лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее появились слезы, она тихонько отвела голову, чтобы они не капнули на его руку. Но, почуввав это легкое движение, он встревожился.

— Душенька моя дорогая, что ты?

И — поразительная вещь — Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лились по ее лицу безостановочно и быстро — глубокая скорбь искажала ее рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная молчаливая мука отразилась в них. Я проследил ее взгляд: в дверь вкатывали коляску, и я понял ее слезы. Это было предчувствие приближающейся боли.

Танкиста положили на коляску, и Феня пошла рядом,

держа его руку. Я провожал их. У двери перевязочной она осталась. Силы ей изменили, она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я тронул ее плечо. Она подняла на меня глаза.

— Иван Савельич нынче сказал... Иван Савельич...

Она не могла говорить.

— Я знаю,— ответил я.— Ну что же раньше времени волноваться... Конечно, он будет видеть.

Она замотала головой, как от боли.

— Вот и увидит меня... Куда я ему такая... Что он обо мне выдумал, зачем выдумал?.. Красавица, красавица... Пустите меня! — вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной.

Там я услышал веселый голос Ивана Савельича:

— Хватит, хватит на первый раз, еще недельку в темноте проведете!

Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору. Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину.

МОРСКАЯ ДУША

(Из фронтовых записей)

Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полосы «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа» — полосатая тельняшка — означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына родины.

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и непоколебимая стойкость. Это веселая удаля, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни — он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь — он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

ФЕДЯ С НАГАНОМ

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в Третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые сине-белые полосы флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один в рост к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Феди с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полосы тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

НЕОТПРАВЛЕННАЯ РАДИОГРАММА

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду.

Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его встретил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледенел — и сколол лед. Он набрал внутрь воды — и откачал ее. Но задание он выполнил.

Когда же он возвращался, ветер переменился и снова дул навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.

Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что мотор радиостанции работать на смеси бензина с водой отказался.

Катер умирал, как человек. Сперва у него отнялись ноги. Потом он онемел. Но слух его еще продолжал работать. И он слышал в эфире свои позывные, он принимал тревожные радио, где запрашивали его точное место, — потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.

Двое суток моряки слышали эти поиски, но ответить не могли.

На катере между тем шла жизнь. Командир его, старший лейтенант Попов, прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться — и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы, поглаживая налитые водой желудки, отвечали, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.

В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по двое краснофлотцы, широко расставив ноги и держа в руках ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, «выключенном из качки», отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили наконец порцию горючего для передачи одной короткой радиогаммы.

Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и приготовлен на случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:

«...числа... часов... минут вражеский берег виден в... милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет родине тчк Командир военком команда катера 044».

Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место — и сообщение, что радио работает в последний раз и что катер надеется на помощь.

Она пришла своевременно.



ПОЕДИНОК

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки Третьего морского полка уничтожить связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носу и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен» — и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меня шарики в глазах запрыгали, — рассказывал потом

Королев.— Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся... Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне... Я снизу бью его по черепу, и развернуться неловко, и сил нет... А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала, — как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню...

Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, сткотившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат — и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.

Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял одну руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя, и обоих врагов.

— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю: думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой... Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат — и тикать! Коровников его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне... А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру один батальон Третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную

повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.

И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высоте двух борющихся людей.

— Что за черт? — сказал он недоверчиво. — А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак, там морячок французской борьбой с фашистом занимается.

В прицел рассмотрели, что это был, и точно, моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.

СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно высоком небе.

Именно оттуда, с высоты, и свалился на него «Мессершмитт-109».

Первым его увидел штурман Коваленко. Он пострелял, сколько мог, и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти ближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.

— Знаю, — ответил Попко. — Будем вертеться.

И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как раз тогда, когда они готовы были впиться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, невозможные для его типа. Пока что это помогало: он набрал только несколько безобидных пробоин в крылья.

Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет безоружен. Но, видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась теперь к тому, что «мессершмитт» старался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.

Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел самолет прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.

Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыль-

ям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце, очень крупной и медленной шрапнелью. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.

«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновение потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо сберегая горючее для возвращения.

Радист передохнул и вытер со лба пот.

— Отвалил фриц,— доложил он летчику и любопытно спросил: — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?

— Нечем нам тут стрелять,— ответил в трубке голос Попко.— Я и сам удивляюсь, с чего он отскочил?

Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:

— Это я его отшил. Злость одолела,— ишь как подобрался, стервец!.. Черт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?

— Кого это — их? — не понял Попко.

— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал, пачки-то увесистые!..

И весь экипаж — летчик, радист и штурман — захохотал. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае, он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.

Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и степенно пошел к базе, совершенно один в чистом и очень приятном голубом высоком небе.

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь Третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.

Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что

танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут,— сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!..

Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатила прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию.

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне.

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну, извините, что поднапутал...

И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили синие-белые полосы «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:

— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает... Морская душа, точно...

И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов.

Батарей замолкла.

Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.

— А что, хлопцы, — раздумчиво сказал Абращук, — мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с минами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.

И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпая краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже выдавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абращук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным, — уж конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории не то в порту, не то на складе металло-

лома полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлечшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и побряхтывая лафетом, старушка развернулась и установилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей... Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.

Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные

фашисты не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.

С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом... Понятно?

В самом деле, все было понятно.

ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так запись «14—9/1—2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат, — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, — и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев».

Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.

— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал, — ответил он, как бы извиняясь. — Тридцать семь... То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил, — закончил Васильев. — Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им и счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров» — так рассказали мне моряки исход этого боя.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет, — сказал он и стремительно пошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался со времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:

— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди... стало быть, все в порядке... — И он деловито добавлял: — Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался в Крым по этому же узкому перешейку, — была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой. Военком, видимо, разгадал его чувство или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша, — сказал майор, и они опять надолго замолчали.

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.

В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширию звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было — и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой, — сказал военком. — В море шторм, верно.

— Наверно, шторм, — ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор поднял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.

— Военком, — сказал майор с неистребимой подначкой, — ты и вправду думаешь, что это море?

— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком. — Конечно, море.

— Эх ты, морская душа! — покачал головой майор. — Моря от лужи не отличил!.. Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно, — честно сказал военком.

— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома.

Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту.

— Окопались? — спросил он оживленно. — Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, поднимая над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекачивалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло — так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от

прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, непрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад: — Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на бронекатере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

НА СТАРЫХ СТЕНАХ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские

пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полосы на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад, — сказал он хрипло. — Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята.

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпан-

ные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.

ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные, острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю. Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетающих к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины, — лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся в руках советских людей, — не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиогранмы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12-03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

«13-07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16-10. Биться нечем и нечем, открывайте огонь по компункуту, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками.

Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Сно-

ва застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завали мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, непрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда успеется... Сперва перевяжу... Отсидемся; двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим, — сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где

можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади,— сказал вдруг Леонтьев.— Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он.— Защищайте Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрет — только считай... Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли,— сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рог Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич,— сказал Негреба,— гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба.— Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка. Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно.— А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая.

Потом Негреба сказал:

— Что ж... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Пере-

пелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов,— сказал он.— А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно,— сказал Литовченко.

— Ясно,— подтвердил Котиков.

— Точно,— добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера,— ответил Перепелица.— Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку.— Погано ихними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не справишься, а этим и лежа всех достанешь,— сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам.— Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно,— сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли,— негромко сказал Котиков.— Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — креп-

кий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный, яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд

этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришли. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА

Мытье посуды, как известно, дело грязное и надоедливое. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат, в корне менявший дело. Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, но злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били на стеллажи, смывая с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной

тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожальные снаряды (которые больше походили на патроны гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перемывая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдумано и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Филатов в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматику», построенную Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможно потом прочесть свои же каракули...

Военком слушал его, чуть улыбаясь, всматриваясь в блестящие смекалистые глаза и любопытно разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем на флот, он так же страдал душой, попав вместо грезившегося боевого поста на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающие-

ся на мостике (не иначе как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратимая, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что Оле Чебыкиной о посуде, и точно, не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а годок-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. И глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и, если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немного суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук, — сказал он обычным своим тоном, негромко и раздельно. — Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать... Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар, — ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего же тут непонятного? Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришлось в голову угощать им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет. Он спросил еще, неужели на миноносце нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сакова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Саков — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапно наступившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, поглядывая на собеседника и тотчас отворачиваясь — как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сакова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого паренька не увидали. Наладьте ему занятия да зайдите в буфет: поглядите, что у него в голове...

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы,

ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, умножал в уме тридцать шесть на сорок восемь. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце Андрея Кротких плотно и верно вошла любовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым, когда тот шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.

Была тревожная походная ночь. Черное море сияло под холодной луной, и, хотя ветер был слабый и миноносец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное небо могло обрушить на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промерз порядочно: подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую,— сказал он.— Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару, на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андрюша,— сказал он, называя его так, как звал в долгих неофициальных разговорах.— Спасибо, дорогой. Не до чая... И потом — всех не согреешь, они тоже промерзли...

Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики, командир орудия старшина первой статьи Гущев стоял в телефонном шлеме, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился.

— А где заряжающий? В чем дело, старшина?

Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и

вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не рассиживался.

В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.

Кротких смотрел на него, и ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоду, молчит и ждет,— и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина...

Разбор всего этого происходил в салоне после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Кротких,— и это было невыносимо. Жизнь казалась конченной: теперь никогда не скажет ему комиссар ласково «Андрюша», никогда не спросит, где в аккумуляторе плюс и где минус, никогда не улыбнется и не назовет «студентом боевого факультета»... Слезы подступали к глазам, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что, будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды), и назвал это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем по другим причинам и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припухает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил наконец папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздраят... А вас придется перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом корабле не жить,— сказал он глухо. И голос комиссара вдруг потеплел:

— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы та-

кого Сакова найдете, этак вся учеба у вас пропадет... Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет забережете, пригодится... Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело, — он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, помимо любви, существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить комиссара в шторм...

В этом своем горе, ревности и раскаянье Кротких повзрослел. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать, даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда — в кают-компании или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь не доставало. И постепенно Филатов, родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная — любовь.

Черное море показало свой грозный нрав: миноносец нырял в волне, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждал горячий кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту наверху сменяли через час — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мандарины и капуста. И люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький

подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в шторме — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю, его заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов-на-Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валилось из рук. Но потом головы стали подыматься, глаза — блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага, и Ростов встал на свое место в сложной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что разъяснил это комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара — не просто Филатова, хорошего, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова, партийную душу и совесть корабля.

По-прежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не к Пинохину, который пошел под суд, а к Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не совершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых, невыразительных слов и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось



только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и на него даже не взглянули. Кротких пошевелил пальцами — и промолчал.

Однако когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заняла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата, — и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты, и пришлось отбиваться.

Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успевать брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили фашиста, нахально пикнувшего на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:

— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:

— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он

сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял — зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй — бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящику было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил другую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.

Тут кто-то крепко и сильно схватил его за плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет, — сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.

Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятие.

ДЕРЖИСЬ, СТАРШИНА...

I

На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.

Мутная проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в которых раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь вопреки собственной воле был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный, свежий воздух без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими, и скупых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.

Они струились в отсеки из той балластной систерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Систерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же как под наркозом каждый человек засыпает по-своему: один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натываясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истощным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных, — и он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир, — молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаза — были упрямо открыты, словно краснофлотцы

хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплыть, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание; чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток — и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пулей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вздохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки... Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут.

Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка, — сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ командир, — настойчиво повторил старшина. — Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидите...

Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс все тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина, — сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока,— сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском. Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает,— сказал он сожалеюще.— Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче...

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь,— сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.

И старшина как будто угадал его чувство.

— Что ж мудреного, вы же в походе две ночи не спали,— сказал он уважительно.— Я и то на вас удивляюсь.

Он помолчал и добавил:

— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохнете, а к темноте я вас разбуджу... А то вам и лодки потом не поднять будет...

Командир и так уже почти спал, сидя на разномыслии. Борясь со сном, он думал и взвешивал. Он отлично понимал, что, если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и людей. Он с усилием поднял голову.

— Товарищ старшина первой статьи,— сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал «смирно»,— вступайте во временное командование лодкой. Я, и точно, не в себе. Лягу. Следите за людьми, может, кто очнется, полезет в люк отдраивать... или продувать примется... Не допускать.

Он помолчал и добавил:

— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— сказал старшина. Командир снял с руки часы.

— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что... Меня разбудить в двадцать один час, понятно?

— Понятно,— повторил старшина, надевая на руку часы.

Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил, как в бреду:

— Держись, старшина... Выдержи... Лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина...

Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.

Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их приметил: это были нужные при всплытии люди — электрик, моторист и еще один трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спите, товарищ командир, все нормально идет, — ответил он, но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что, несомненно, заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытии, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Держись, старшина, держись, старшина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что паль-

цы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытию. Но часы тикали надоедливо, и надоедливо звучали слова: «Держись, старшина», — и вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку непроизвольной, цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолетов и светлые столбы встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.

— Держись, старшина, — сказал он себе вслух, — держись, старшина... Люди же держались...

Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.

— Еще и лодки ждете, чертовы дети?.. Прождетесь... — сказал он тихо и отчетливо.

Ярость эта как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему.

— С ума сошел? Кто приказал?

Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожиданной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал:

— Обожди... на минутку только... обожди...

Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.

Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если б не пустяк: старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз. — Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час, — повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку.

Нетерпение охватило его.

— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать, — повторил он, но командир очнуться не мог.

Он подымал голову, ронял ее обратно на койку и повторял:

— Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час... Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.

Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в систерне зажурчала, и глубомер пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубомер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется, и все пойдет нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что боль-

ше он выдержать не может. Свежий воздух стал нужен ему безотлагательно, сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скоб-трапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильнее. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.

III

Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода — было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились, — видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошел осматривать отсек и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако и этой щели оказалось

достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас повернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остался единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, взгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход,— электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряженным и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний, — ответил он. — Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан, — сердито сказал старшина.

— Да я видел, что телеграф врет, — сказал электрик спокойно. — Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было нечем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода́ давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.

Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а от рывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними, один за другим, вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-то зашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что, кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть.

Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.

Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого он когда-то — казалось, так давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу, попросил разрешения стать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать.

И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля

стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие шестнадцать часов валял его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.

Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку. Долго, без слов, командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.

И долго еще они стояли молча, слушая, как гудит и рокошет ожившая лодка, и подставляли лица свежнему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, оберегая ее от врагов.

Потом старшина смущенно сказал:

— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть...

— Кончились неприятности, старшина,— сказал командир весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул ему часы.— Часики ваши... Надо думать, не починить... Стоят...

«2 - У - 2»

В коде дружеских позывных под этим наименованием числились в эскадрилье младшие сержанты Усков и Уткин. Прозвище это родилось под крылом самолета, в ожидании боевого вылета. Кто-то спросил:

— А вот еще загадка — как вернее говорить: «стрижка и брижка» или «стритье и бритье»?

— Старо! — закричали все.

— Тогда поновее: «Усков и Утков» или «Ускин и Уткин»?

— Проще: «два-У-два», — густым басом сказал штурман эскадрильи, и всем это понравилось, даже самим сержантам.

До сих пор их звали «тиграми», что их сердило, — прозвище «тигры» имело свою историю, вспоминать которую они не любили. «Два-У-два» звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбия. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить много, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки, и силы вскипают, ища выхода в действии. И всё — наружу, всё — на воле: любовь, отвага, гнев, ненависть — все чувства видны в блистающих глазах и стремительных поступках.

До того как получить самолет, Павел Усков и Иннокентий Уткин два месяца томились в аэродромной команде, и два месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же: оба пришли сюда добровольцами, до призыва, оба — комсомольцы, оба имеют диплом пилота, полученный в Осоавиахимовском клубе, и за обоими уже по шесть самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немедленно дать по боевому само-

лету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту, что «вывозить» их на боевом самолете сейчас не время и не место и что он с охотой пошлет их в школу. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром и однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Они вышли из землянки штаба строевым шагом, в ногу, молча. И только у самых мастерских Уткин мрачно сказал:

— Добились, пилот Усков... Люди воют, а мы, того гляди, присядем.

— Вынужденная посадка, — бодро ответил тот. — Взлетим еще, пилот Уткин!

— Пожалуй, не взлетим, а вылетим: из эскадрильи в пехоту, — махнул рукой Уткин.

Однако, видимо, несмотря на угрозу «вынужденной посадки», Ускову удалось поднять упавший дух друга, потому что, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не два, а всего один самолет, и каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален.

— Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником, — докладывал Усков. — У него в Симферополе мать и сестра остались... так что, понятно, драться он будет хорошо...

Уткин, наклонившись к военкому, между тем негромко говорил:

— Павка, то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно... Два брата на фронте... танкисты... Мы хотели просто в окопы проситься, но какой же смысл? Усков один с воздуха больше набьет, верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет...

— Кого бы из нас вы ни выбрали, товарищ майор, — закончил Усков, выпрямляясь, — оба мы будем драться, не щадя жизни.

— Как тигры, — добавил Уткин.

— Какие тигры? — спросил майор сердито.

Уткин опешил.

— Обыкновенные, товарищ майор...

— А вы тигров в воздухе видали? Мелете, сами не знаете что...

Майору было не до юнцов с их просьбой. Утром со вторым звеном не вернулся Савельев, а Панкратов едва довел свой самолет, получив два ранения. Это было в дни первого натиска немцев на Севастополь, и самолеты эскадрильи день и ночь штурмовали на шоссе немецкие колонны, расстреливали врагов в окопах и возвращались на аэродром только за горючим и боеприпасами.

Летчики вылетали на штурмовку по пять-шесть раз в день, сильно уставали, эскадрилья несла потери. Майор открыл уже рот, чтобы приказать не путаться тут под ногами, когда военком вдруг спросил Уткина:

— Так сколько у вас вылетов в клубе было?

— Шесть, — поспешно сказали оба враз.

— Шесть? — изумился военком. — Я думал, пять... Ну, коли шесть, ничего не поделаешь, придется подумать... Ну-ка, выйдите да обождите за дверью...

Он смотрел на них, хитро улыбаясь, и сердца комсомольцев дрогнули. Насмешка была очевидной. Они четко повернулись и вышли.

Минут пять они стояли у землянки в страшном волнении, без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали.

— Дадим вам самолет, один на двоих, — сказал комиссар серьезно. — В очередь будете летать, понятно?

— Понятно, — ответили оба, не понимая, откуда привалило им счастье. Но тотчас все стало ясно. Майор сказал, что он решил использовать для боевой службы учебный самолет У-2, который был в эскадрилье для связи и полетов в тыл, — как раз такой, на каком они учились в клубе. Им поручалось кидать по ночам на передний край немцев бомбы и гранаты. Военком подымет сейчас с каждым, проверит их летные качества, после чего им дадут минимальный срок на отработку ночных полетов и пошлют в боевой вылет.

— Только не деритесь вы там, как тигры, — хмуро закончил майор. — Тигр — животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно?.. Сказали бы просто: будем драться, как комсомольцы, вот и было бы все ясно... Подумаешь — тигры!..

Друзья покраснели.

— Это они в газете вычитали, — пришел к ним на помощь военком. — Я и сам недавно где-то читал: «Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен...» Прямо зоопарк, во как пишут!

Майор засмеялся — первый раз за день — и легонько подтолкнул военкома к двери:

— Ну, сажай своих тигров на самолет... Приду взглянуть...

Время было горячее, немцы окружали Севастополь, и дорог был каждый самолет, даже учебный. Мысль военкома понравилась майору, и он сам нашел время заняться с «тиграми» ночными полетами. Оба взялись за дело с удивившей его яростной страстностью, и скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли «телегой» или чаще «загробным рыданьем», неторопливо пошел на свою первую ночную «штурмовку». Его вел Усков, а на пустом сиденье второго летчика стояла кор-

зина с малыми бомбами, с гранатами, «зажигалками» и пачками листовок.

И каждую ночь «загробное рыданье» стало ныть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно, никак нельзя было назвать «штурмовкой», как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и одинокий комар может быть причиной бессонной ночи. И немцы не спали, тревожно прислушиваясь к гуденью в темноте и время от времени получая на головы равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат.

Оба «тигра» были теперь совершенно счастливы. На десятом боевом вылете им присвоили звание младших сержантов, и если бы не острое словечко, неизвестно как выпорхнувшее из землянки майора на простор аэродрома, все было бы отлично. Но это словечко — «тигры» — напоминало им о тех, казалось бы далеких, временах, когда оба они были желторотыми мальчишками.

Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что война — это труд, постоянный, напряженный и опасный труд. Штурм захлебнулся, немцы закопались, не продвигаясь дальше, и каждую ночь, по очереди, один из друзей долгие часы гудел над немцами, дожидаясь неосторожно мелькнувшего в блиндаже огня, вспышки орудия, мерцающей очереди пулемета, чтобы кинуть туда с темной высоты небольшую, но злую бомбу.

Эта была точная, снайперская ночная работа. Днем «загробное рыданье» появляться над фронтом не могло, его сбил бы первый же «мессершмитт». Но ночью старый учебный самолет, ведомый юношей с крепкими нервами и с горячим сердцем, полным ненависти, был хозяином темноты над немецкими окопами. Немцы, не смея открыть на переднем крае прожекторов, били по нему наугад, по звуку мотора, тратя огромное количество пуль и снарядов. Порой он попадался в эту светящуюся сеть и тогда привозил в крыльях дырки. Друзья латали их вместе, и ночью их самолет вновь швырял свои бомбы надоедливо и размеренно, доказывая, что в войне всякое оружие хорошо, если умно и смело его применять.

Но, несмотря на то что Усков и Уткин завоевали себе общее уважение, «тигры» продолжали красться за ними по пятам и предварять собой всякое появление двух друзей: летчики любят шутку, веселый розыгрыш, и не использовать столь выгодного прозвища было просто невозможно. На аэродроме, у самолета, в мастерской друзья кое-как это терпели. Но в столовой...

— Дуся, тигры пришли, голодные, как крылатые соколы! —

возглашал кто-либо, заведя их в двери. — Готовьте добавку, Дуся!

Это было хуже всего, Дуся была буфетчицей, комсомолкой — и необыкновенной, единственной, замечательной, умной, отзывчивой... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет видел в девушке, в которую был влюблен, но помножит все это на два. Ибо влюблены в нее были оба и в разговорах о ней между собой, естественно, находили вдвое больше определений. Поэтому, когда «тигры» наконец были сданы в архив и на аэродроме появилось новое прозвище, оба почувствовали необыкновенное облегчение: теперь и в глазах Дуси оба перестали быть мальчишками.

А это было очень важно. Дуся никак не хотела понять, что каждый из них давно (уже третий месяц!) видел, какой одинокой будет его дальнейшая жизнь, если Дуся не свяжет с его судьбой свою. Вопрос этот был глубоко прочувствован и решен каждым. Остановка была только за тем, с кем именно из системы «два-У-два» захочет она связать свою судьбу. Игра велась честно, без подсижки, оба провожали Дусю по очереди в свой «выходной день», и Дуся относилась и к тому и к другому одинаково дружески.

В этих прогулках получалось почему-то так, что каждый из друзей говорил не о себе, а об ушедшем на штурмовку друге, горячо расхваливая его. И Дуся, прислушиваясь к этому, очутилась перед железной необходимостью отдать свое сердце сразу всей системе «два-У-два» как неразрывному целому: выбора сделать не представлялось возможным. И может быть, бедное Дусино сердце не выдержало бы этого, если бы инстинкт самосохранения не подсказал ей спасительного выхода: Дуся влюбилась в третьего, и при этом — не в летчика, а в старшину второй статьи с крейсера, даже не очень часто заходившего в Севастополь. Таково девичье сердце в восемнадцать лет: дальнюю мечту оно предпочитает близкой реальности.

Первому узнать об этом привелось Павлу Ускову. Был тихий декабрьский вечер. Прозрачный и холодный воздух, странный для Крыма, был свеж, и Дусины щеки горели пленительным огнем. В первый раз Ускову захотелось говорить не об отваге и замечательных свойствах Кеши Уткина, а о самом себе. Но за пропускным пунктом в сумерках показалась высокая фигура в бушлате, Дуся с легким вскриком кинулась к неизвестному краснофлотцу, и черные рукава бушлата, скрестившись на ее спине, почти закрыли всю Дусю в поле зрения ошеломленного сержанта.

Такая горячая встреча была вполне естественна, потому что крейсера не было больше двух недель и о нем поговаривали разное.

Усков кинулся на аэродром. Сумерки сгущались, но Уткин еще не взлетал. Однако Усков нашел в себе достаточно мужества, чтобы не испортить другу его боевой вылет, и на вопрос его, почему он так рано вернулся, сказал, что Дуся что-то устала и пристроилась на машину, идущую в город. Он проводил друга в воздух и остался ждать его на аэродроме.

Они провели бессонное утро во взаимных жалобах. К обеду оба уже удивлялись тому, что, собственно, они нашли в Дусе? Из обмена мнениями выяснилось с достаточной ясностью, что она всегда была девушкой бессердечной, пустой, лицемерной, жестокой, ничем не замечательной... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет обнаруживал в девушке, которая от него отвернулась, но помножит все это на четыре. Ибо оскорблены были двое, и каждый из них вдобавок был оскорблен за друга. Таково юношеское сердце в девятнадцать лет: с высот любви оно погружается в самые глубины презрения.

Но страдать было некогда: начался второй штурм Севастополя. Это не входило в планы друзей, потому что майор обещал как раз на этой неделе, пока в войне затишье, начать их тренировку на боевых самолетах. Теперь опять было не до того, и «два-У-два» продолжали по очереди вылетать на свои штурмовки переднего края, который они знали уже наизусть. И дружба, выдержавшая испытание любовью, крепла и закалялась в грозных испытаниях войны.

«Два-У-два» стали символом неразрывной, верной, мужественной дружбы.

Кольцо осады сжималось, аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эскадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря.

Это был аэродром, построенный в дни осады руками севастопольских горожан. Под обстрелом тяжелой артиллерии врага севастопольцы давно уже расчищали на мысу, врезавшемся в море, каменное поле — последний приют для самолетов на случай, если враг придвинется к городу. Они растаскивали огромные глыбы. Они ровняли твердые пласты скалистого мыса. Они взваливали убранный с поля камень на бревенчатые срубы капониров — укрытий для самолетов.

И поле и камень были здесь странного — кровавого — цвета.

Когда эскадрилья садилась на аэродром, был ясный солнечный день. Тесное каменное поле нового аэродрома красным клином врезалось в яркую синеву зимнего моря, и красные каменные громады капониров высились на поле, подобные странным памятникам седой древности, похожие на первобытные храмы, сложенные руками великанов. Но сложили их не великаны; это сделали севастопольские мужчины и женщины, старики и подростки.

В чистом и прозрачном воздухе красный и синий цвета блистали всей ясностью тонов, и мужественное, строгое их различие было сурово, торжественно и напряженно. Ничто не унижало этой мужественной строгости картины, ни один невнятный, вялый полутон. Все было ясно и четко.

Тени были черны мрачной чернотой, напоминающей о грозной туче, нависшей над городом-воином. Камни были красны яркой алостью крови, как будто они впитали в себя благородную кровь его защитников. Море и небо синели пронзительной, освежающей душу, чистой, первозданной синевой, великим спокойствием простора, свободы и надежды. И солнце, вечное, бессмертное солнце сияло в небе, отражалось в море и освещало красный камень. Добродушное, горячее крымское солнце отдыха и здоровья было теперь строгим и холодным светилом мести.

Так виден был с воздуха этот удивительный аэродром, памятник, воздвигнутый севастопольцами самим себе, — памятник мужества и упорства советских людей, решившихся биться до конца за город доблести, верности и славы: траур, кровь, надежда и месть.

Едва эскадрилья села, над полем взвилась ракета. В красных каменных ульях, раскиданных по нему, зажужжали потревоженные пчелы. Гудя, они высывали из груды камней свои широкие серебряные головы, поблескивая стеклянными глазами и как бы озираясь. Потом они вытягивали все свое длинное крепкое тело, расправляя жесткие, сверкающие крылья, и с мстительным, злым гуденьем взвивались в синее небо. Бомбардировщики пошли на очередной бомбовый удар.

Друзья, первый раз летевшие вместе на своем «загробном рыданье», с завистью проводили их глазами и, вздохнув, повели своего «старичка» на край аэродрома. Укрытия для него не нашлось, и первое, чем занялись «два-У-два», была постройка капонира. Забота о своем самолете еще более сблизила их, но, как ни странно, именно здесь, на аэродроме славы, в тяжкие дни второго штурма, система «два-У-два» потерпела серьезную аварию.

Это была не ссора. Это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы.

Генерал осматривал новый аэродром, обходя капониры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленное «загробное рыданье», слух о подвигах которого дошел и до него, и где эти «два-У-два», которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде, и на нее не скупиться, и что им следует дать боевые самолеты.

В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо,

гуденье взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине генерал услышал раздраженные голоса и брань.

— Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? — кричал один голос. — За такое дело тебе ряшку на сторону своротить не жалко, понятно?

— А ты завистливый дурак, понятно? — перекрикивал второй голос. — Подумаешь, крылатый тигр!.. Задаешься, а не с чего! Что я тебе — докладывать должен? Я летчик, меня и послали...

— Ты летчик? Ты черпало, а не летчик, вот ты кто!

— А из тебя и черпалы не выйдет! Тебе и на подхвате стоять ладно!

Генерал быстро зашел за угол капонира и во всей красе увидел знаменитую систему «два-У-два».

Система явно сломалась. Сержанты стояли красные, злые, смотря друг на друга бешеными глазами, сжимая кулаки. И драка, вероятно, состоялась бы, если бы майор (едва удержавшись, чтобы не схватиться в отчаянии за голову) не окликнул их по фамилиям. Они повернулись, тяжело дыша, с трудом скрывая ярость, и стали «смирно».

— Это и есть «два-У-два»? — спросил генерал, пряча улыбку. — Ничего себе дружба у вас в эскадрилье. А звону развели... До самой Москвы... Это петухи какие-то, а не летчики...

Все молчали, и только тяжело дышали оба «петуха».

— Объяснить можете, товарищ майор? Нет?.. Тогда вы, сержанты. В чем дело?

Вперед выступил Уткин, и, когда он, волнуясь, заговорил, майор с изумлением увидел перед собой не сержанта, отважного и спокойного летчика, а обыкновенного мальчишку-школьника, чем-то изобиженного до слез. Слезы и вправду стояли в его глазах. Он путано рассказал, что в прошлую ночь была его очередь лететь на бомбежку, но Усков «забежал» к майору, наговорил тому, что нашел минометную батарею и что нынче лучше лететь ему, потому что рассказать, где она, трудно и Уткин ее не найдет, — словом, Усков полетел вчера не в очередь... Уткин стерпел, одна ночь не в счет. Но сегодня-то уж его очередь лететь! А Усков опять нахально говорит, что полетит снова он, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина... И вообще Усков подхалимничает перед командованием, выпрашивает себе поручения, и это не по-товарищески, не по-комсомольски, это...

— Довольно, — сказал генерал хмуро. — Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они склоками занимаются...

Лица обоих вытянулись, и Уткин сделал еще шаг вперед.

— Это же не склока, товарищ генерал-майор,— сказал он в отчаянии.— Разрешите доложить.

— Ну, докладывайте,— по-прежнему хмуро сказал генерал.

Но это не был доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца. Кипящее отвагой и стремлением в бой, полное ненависти к врагу, сжигаемое жаждой мести и уязвленное обидой, оно раскрывалось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Оно было еще горячо, как неостывшая сталь отливки, силы в нем бурлили, ища выхода в действии, и все в нем было наружу, все — на воле: отвага, гнев, обида и страсть... Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

Генерал слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать это Уткин,— и всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившейся за оружие и не желающей уступать его никому, всколыхнула и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу, как сына, и негромко, в самое ухо сказать: «Хорошо, сынок, хорошо... Зубами держись за каждую возможность уйти в бой, никому не уступай права бить врага, никому... Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки... Хорошо, сынок, хорошо!»

Но он опустил глаза, в которых Уткин, казалось, уже видел сочувствие и понимание, и сухо сказал:

— Понятно. А в драку младшим командирам лезть не годится.

Он помолчал и вдруг закончил:

— А теперь помиритесь. При мне.

«Два-У-два» мрачно посмотрели друг на друга. Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку. Уткин, помедлив, взял ее. Но лица обоих были такие кислые, что командиры невольно отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а генерал махнул рукой:

— Петухи!.. Ну, что ж... Самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге. Может, помиритесь...

И самолет у них, точно, отняли. Правда, вместо него каждый из них получил по штурмовику, а оба вместе — новое прозвище «петухи». Оно было вернее, ибо система «два-У-два» уже оказалась ненужной: каждый летал на своем самолете, рядом с другим, в одном звене.

Но все же, однако, «два-У-два» еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. На фронте опять было затишье, но «петухи» исправно вылетали всякий день на штурмовку немецких окопов — теперь уже днем, при солнце, поливая врагов из пушек и пулеметов. Из одной такой штурмовки Уткин не вернулся.

Усков доложил майору, что Уткина, очевидно, подбили снарядом, потому что он задымил и резко пошел к морю. Пойти за ним было нельзя — надо было еще поддерживать нашу контратаку. Удалось заметить, что он тянул к той косе, что слева за высотой 113,5 и где немцев нет. Если послать туда самолет, есть шанс поднять его раньше, чем туда доберутся немцы, которые, несомненно, кинутся за самолетом.

Усков доложил еще, что косу эту он знает. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю — мала площадка. Он просил разрешения слетать за Уткиным на У-2, которому места там хватит и для посадки и для взлета. Майор разрешил.

И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул к морю, — Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыркать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках и когда знал настоящий уход и заботу.

Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно и людей.

Усков сел и остановил мотор, чтобы не привлечь немцев шумом, и прислушался. Сумерки сгущались, каменные скалы нависали над косой таинственно и мрачно.

Он негромко крикнул:

— Кеша! Живой?

И тогда из расщелины скалы вылез Уткин, в мокрой одежде, таща за собой резиновую камеру от колеса.

— Павка? — сказал он. — Я и то подумал: какой чудак тут на телеге садится? Спасибо.

— Потом спасибо скажешь, крутани винт, а то застукают, — торопливо сказал Усков.

— Никого тут нет. Были бы, убили бы. А я, видишь, живой. Только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтоб не доставался.

Он повернул винт, но мотор не заводился.

Добрый час оба летчика бились с мотором, вспоминая его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. Мотор так и не заводился.

Они присели на берегу. Было почти темно. Уткин сказал:

— Значит, Павка, все одно придется вплавь.

— Далековато, пожалуй, — сказал Усков. — И вода холодная.

— В море подберут. И у меня камера есть.

— Нырял?

— Ага. Вспомнил, что запасная в кабине была... На камере-то доплывем?

— Пожалуй, доплывем, — сказал Усков. — Ну, так поплыли!

Они надули камеру и вошли в воду. Вода была нестерпимо

холодная, а раньше утра их вряд ли могли подобрать. Они плыли больше получаса, потом Усков выругался:

— Кеша, что же мы «загробное рыданье» не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина боевая...

Уткин выругался тоже.

— Поплыли обратно,— сказал он.— До рассвета далеко, успеем отплыть еще.

И они повернули к берегу. Едва они вышли из воды, их сразу охватил озноб.

— Согреемся, как загорится, и поплывем,— сказал Уткин и собрался открыть бензокран. Но Усков его остановил:

— Крутанем еще на счастье?

Уткин повернул винт, и по четвертому разу мотор загудел. Уткин быстро вскочил в кабину и крикнул в самое ухо Ускова:

— Да здравствует «два-У-два»!

— Долой «петухов»! — ответил Усков и дал полный газ.

«Загробное рыданье» затарахтело в темноте и покатилося к морю, но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетеля боевой славы, мальчишеской ссоры и новой — взрослой, крепкой, воинской дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

ОДНО ЖЕЛАНИЕ

I

Под Одессой у моряков, сошедших с кораблей на берег для смертного боя, я встретил восьмилетнего мальчика с синими глазами. Ясные и открытые, они смотрели на мир со всей чистотой младенчества — любопытно и жадно. Он был сыном морского полка. Его подобрали в той деревне, откуда недавно выгнал фашистов короткий и страшный матросский удар. Ему справили ладный бушлатик, подогнали бескозырку и дали трофейный кинжал. Он совался не в свои дела, шалил, бегал, подбирал гранаты и патроны — настоящий ребенок своего возраста.

Но порой он садился у орудия, охватывал колени и замирал. И синие его глаза останавливались, и смертный взрослый ужас стоял в них неподвижно и холодно. Так холодно, что в первый раз, когда я это увидел, дрожь пробежала у меня по спине. Тогда капитан тотчас подходил к нему и, нежно приподымая, прижимал его к себе. Мальчик всхлипывал и рыдал, и скоро детские слезы вымывали из синих глаз ужас.

Эти синие глаза видели, как люди в чужой форме привязали его отца, председателя колхоза, к двум танкам и разорвали пополам.

II

Горе стоит над миром. Огромное человеческое горе тяжелой пеленой обволакивает земной шар. Он в огне. Жадное пламя войны перебрасывает языки через океаны, лижет материки и острова, пылает на экваторе и бушует у полюса.

Горе стоит над миром. Пылающий, стонущий, перемазанный кровью и облитый слезами старый земной шар вкатывается в

Новый год. Миллионы раз начинала Земля свой очередной оборот вокруг Солнца. Но с тех пор когда люди стали вести счет этим оборотам, назвав их годами, никогда еще не несла на себе Земля столько человеческого горя.

Были мировые катаклизмы. Сползали с гор ледниковые поля, раздавливая целые племена. Проваливались в океаны материки, унося с собой целые народы. Но сама слепая стихия не причиняла человечеству столько страданий, сколько рождено их сейчас злой волей людей, стремящихся к мировому господству.

В день Нового года первым моим словом было проклятье. Проклятье тем, кто поджег земной шар, кто подготовил и начал эту войну, кто вселил ужас в синие детские глаза.

Если бы я мог собрать в один образ, в одно слово все человеческое горе, порожденное фашизмом, все стоны и вопли, все жалобы на сотне языков, все слезы, страдания и молчаливые безумные взгляды, все последние короткие вздохи предсмертья, всю горечь расставания с жизнью, весь ужас потери близкого человека, все разрушенные фашизмом мечты — от большого замысла ученого до обыкновенной человеческой тоски по любимым губам, по родному теплу, все уничтоженные войной плоды человеческого труда — от огромного Днепрогэса до наивной авиамоделки, сделанной детскими руками и раздавленной сапогом фашистского солдата, если бы собрать все страшные уходы с родных полей, от хат, заводов, городов, все поруганные девичьи тела, разбитые головы младенцев, седые бороды, залитые кровью, и показать тем, кто облек земной шар в этот кровавый и слезный туман...

Но к чему?

Зверь и тот сошел бы от этого с ума. Эти люди не сойдут. Им не с чего сходить. В них нет ни человеческого ума, ни сердца. Сталь топора не чувствует, что она крушит живую ткань и обрывает человеческую жизнь.

Машина, сошедшая с ума, не была бы страшнее этих людей: у нее было бы меньше выдумки. Она бы просто убивала.

Оставим проклятья. Они бесполезны.

III

Группа больших советских военачальников пробиралась к осаждаемому фашистами городу. Рельсы оказались взорванными авиабомбой. Пришлось идти три километра, чтобы за мостом найти другой паровоз. Железнодорожная бригада отдала генералам свои пальто и кепки. «Так будет лучше, — сказали они, — того и гляди, из-за леса выскочит штурмовик, увидит форму...»

На мосту стоял часовой — обыкновенный русский старик с седой бородой, с нависшими лохматыми бровями. Винтовку он держал на ремне, словно собравшись на охоту. Разводящий, тоже партизан, в ватнике и в картузе, дал ему знак — пропустить. Старик молча сделал шаг влево. Старший из военачальников, проходя, обратился к нему:

— Мост охраняешь, дед?

Старик покосился на него.

— Стою.

— Как у вас тут фашисты — нагадили здорово?

— Порядочно.

— Что ж, дед, придется тряхнуть стариной, наказать их, как бывало, а?

Старик обвел всех взглядом. Узнал ли он под кепкой машиниста живые и веселые глаза нестареющего воина, которого знала вся страна, — понять было нельзя. Ничего не изменилось ни в его тоне, ни в позе, когда он ответил:

— Нет. Изничтожить придется.

И, опять помолчав, добавил:

— Раздать нам каждому по одному. Лют на них народ.

И он отступил еще шаг, открывая дорогу и давая понять, что высказался полностью.

IV

Кто хоть краем глаза видел сгоревшие города, взорванные заводы, гибнущие поля и виноградники, кому встречались на шоссе молчаливые волны беженцев, кто видел опозоренных тринадцатилетних девочек и повешенных стариков, кому хоть раз доводилось привозить известие о гибели сына, мужа, брата, кто опускал в могилу боевого товарища — смелого, веселого красавца, которому жить бы да жить, любить да трудиться, — тот всем сердцем поймет слова старика.

Синие детские глаза, расширенные ужасом, стоят передо мною, когда я подвожу итог кончившемуся году и думаю о том, что важнее всего пожелать на Новый год.

Было время — в этот новогодний вечер у миллионов людей были миллионы пожеланий. Каждый искал свою заветную мечту, тайное желание, самое дорогое устремление. Нынче человеческие судьбы слились в одно. Одно горе, одна беда. И одна причина.

И одна ненависть. И одно желание:

— Разгром врага.

Разгром фашистских полчищ — это облегченный вздох человечества. Это — миллионы сохраненных жизней. Это — конец

кошмара, которым долгие годы мучается земной шар, не в силах проснуться.

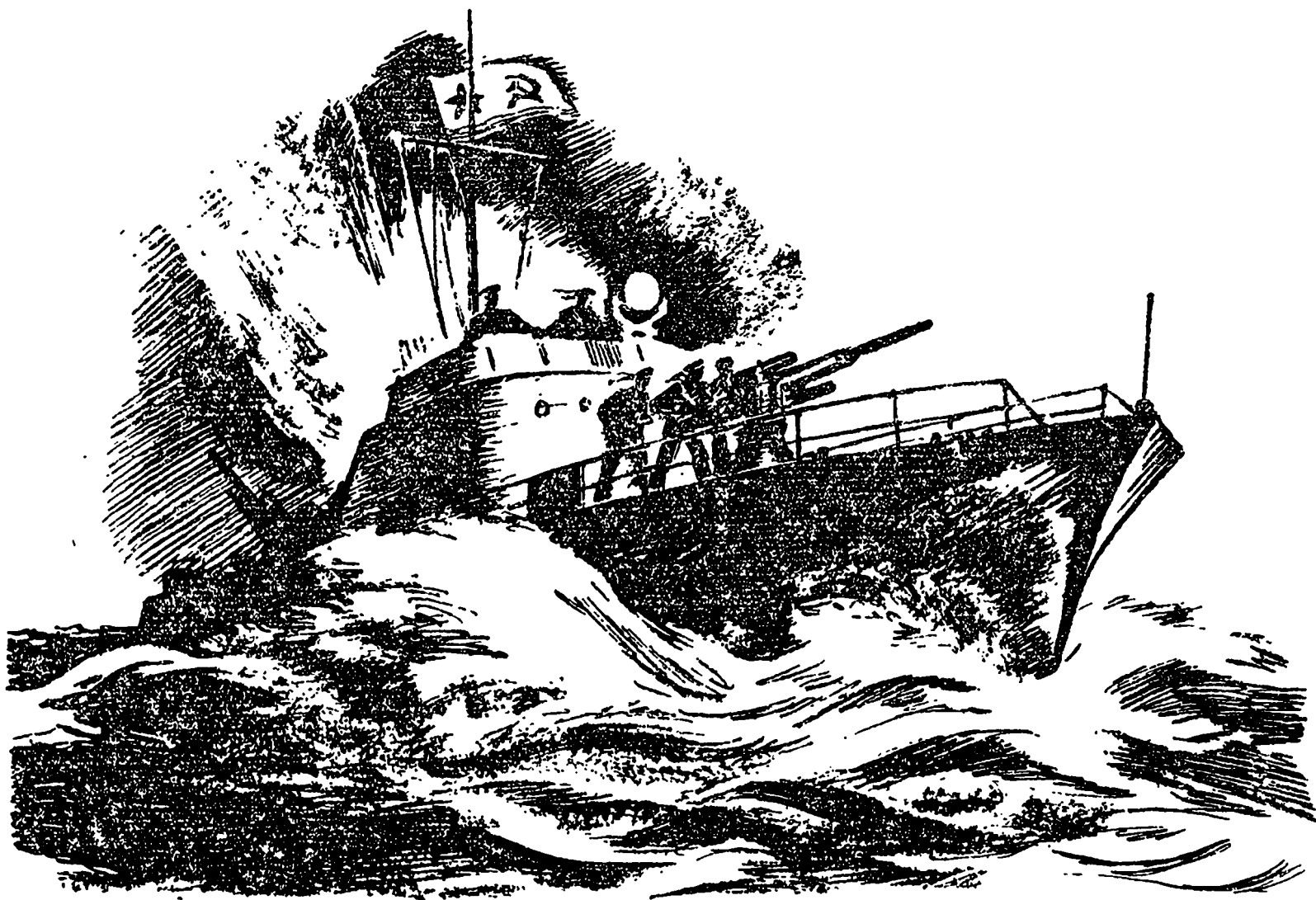
Разгром врага — это соединение семей, это улыбки детей, свободный труд, восстановление ценностей, нужных человеку для жизни. Это — свет, воздух, вода, счастье, это — жизнь.

Не вернуть нам погибших братьев наших, отцов, сынов и мужей, отдавших жизнь в боях за родину, за свободу советских народов. Но если что-нибудь может смягчить тяжкое горе — это только разгром врага, с которым они бились: значит, не даром пролили они драгоценную для нас кровь — она смывает с земного шара ползучую паршу фашизма и очищает мир для новых поколений свободных людей.

31 декабря 1941 г.



ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ



Неизменному другу — О. И.

Глава первая

Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

На Кавказском побережье стояла ранняя весна, но в море ее сейчас не чувствовалось: солнце, опускавшееся к горизонту, уже не согревало воздуха, отчего встречный ветерок был почти холодным. Море медленно вздыхало длинной зыбью вчерашнего шторма, и шедший под всеми тремя моторами катер свободно ее обгонял. Пологая ленивая волна, вспоротая форштевнем, плавно проносилась вдоль бортов, едва успевая накренить уходящий от нее корабль, а за кормой, где винты подхватывали ее, мяли и скидывали, она вставала высоким пенящимся буруном, и казалось, что именно здесь, в бурлении растревоженной воды, и рождается то низкое, мощное рычание, которым сопровождался стремительный ход катера. Нет лучшей музыки для командирского уха, чем этот уверенный голос боевого корабля. Сильное

и красивое трезвучие моторов, ясно различимое сквозь пальбу выхлопных газов, успокоительно докладывает, что катер в порядке и что достаточно малейшего движения руля, чтобы вовремя отвернуть от плавающей мины, внезапно высунувшей из воды свою круглую черную плешь, или от бомбы, мелькнувшей под крылом пикирующего на катер самолета. Поэтому у лейтенанта Алексея Решетникова было отличное настроение.

Упершись правым боком в поручни так, чтобы одновременно видеть и компас и море перед собой, он неподвижно стоял на мостике, занимая своей командирской особой добрую его треть: мостик был крохотный, а овчинный тулуп, в котором лейтенант весь исчезал с головой, огромный. От бешеного вращения гребных винтов все на мостике ходило ходуном: упруго вибрировала палуба, дрожали стойки поручней, мелко тряслась катушка компаса, щелкали по парусине обвеса туго обтянутые сигнальные фалы, и деревянным стуком отзывались блоки на рее невысокой мачты, — а лейтенантский тулуп неколебимо высился неким символом спокойствия и непреклонной настойчивости, то есть тех человеческих качеств, которым на командирском мостике как раз самое место. Рядом, совершенно прикрывая маленький штурвал широкими рукавами, недвижно стоял второй тулуп, в недрах которого был упрятан рулевой, а на баке, у носового орудия, таким же монументом застыл третий. Крупные брызги, срывавшиеся порой с высокого султана пены под форштевнем, с треском окатывали его, но, не в силах пробить плотную светлую кожу, сбегали по ней быстрыми темнеющими дорожками. Это лучше всего доказывало, что прозвище «дворники», которое навлек на свою команду лейтенант Решетников, было вызвано прямой завистью других командиров, не догадавшихся вовремя ухватить в порту эти «индивидуальные ходовые рубки», как называл он свою выдумку.

Командирский тулуп пошевелился, и из косматой овчины воротника выглянуло обветренное, неожиданно молодое и несколько курносое лицо. Живые серые глаза, прищурясь, быстро и требовательно окинули небо и горизонт, потом так же быстро и требовательно обвели весь катер с носа до кормы, заставив этим всю овчинную «рубку» повернуться с несвойственным постовому тулупу проворством.

Отсюда, с мостика, катер был виден весь — крохотный кусок дерева и металла, затерянный в пустынном просторе огромного моря. Однако при взгляде на него этой малости не чувствовалось: настолько точны и соразмерны были пропорции его стройного корпуса, мачты, рубки, мостика и вооружения.

Чистые, мытые-перemyтые солеными волнами доски палубы сияли влажной желтизной, и люки, ведущие в машинное отделение и в кают-компанию, темнели резко очерченными квадра-

тами. Черные пулеметы, воинственно задрав в небо свои стволы с дырчатыми кожухами (которые делали их похожими на какие-то странные музыкальные инструменты), поблескивали маслом и вороненой сталью. За ними, упористо вцепившись в палубу серо-голубой конической тумбой, сверкало медью и никелем приборов кормовое орудие, нарядное и изящное, а возле, в металлическом ящике, крышка которого была многозначительно откинута, ровными золотыми сотами сияли медные доньшки снарядных гильз. Рядом выстроились вдоль поручней гладкие темные цилиндры глубинных бомб малого размера. Больших нынче на катере не было; вместо них на корме неуклюже — наискось — расположилась пассажирка-шестерка. И оттого, что обыкновенная шлюпка никак не помещалась по ширине катера между поручнями, становилось понятно, что в люки с трудом может пролезть тепло одетый человек, что кормовое орудие больше похоже на пистолет, установленный на тумбе, что от борта до борта каких-нибудь пять-шесть шагов и что весь этот грозный боевой корабль с его орудиями, пулеметами, глубинными бомбами всего-навсего маленький катерок, искусно придуманная оболочка для его могучего сердца — трех сильных моторов.

Шестерка была для катера элементом чужеродным. Ее взяли на поход, чтобы выполнить ту операцию, для какой «СК 0944» шел к берегу, занятому противником.

Неделю назад там, в укромной бухточке, пропала такая же шлюпка, на которой катер «0874» высаживал разведчиков. Старший лейтенант Сомов прождал ее возвращения до рассвета и был вынужден уйти, так и не узнав, что случилось с шестеркой или с теми двумя матросами, которые должны были привести ее с берега после высадки группы.

При тайных ночных высадках бывали всякие неожиданности. Порой в том месте, где не раз уже удавалось провести такую скрытную операцию, появлялись немцы: подпустив шлюпку к берегу вплотную, они встречали ее гранатами и пулеметным огнем, а иногда, наоборот, дав ей спокойно закончить высадку и отойти подальше от берега, обрушивались на разведчиков, не позволяя и шлюпке вернуться за ними. Порой в камнях поджидала мина, и тогда огненный столб вставал над темным морем мгновенным светящимся памятником и моряки на катере молча снимали фуражки; но на этот раз с катера «0874» не видели ни стрельбы, ни взрыва, а шестерка не вернулась.

Конечно, бывало и так, что в свежую погоду шлюпку при высадке разбивало о камни или выкидывало на берег. Тогда ее топили у берега, и гребцы уходили в тыл врага вместе с теми, кого привезли, не имея возможности сообщить об этом на катер, ибо всякий сигнал мог погубить дело. Но в ту ночь, когда

старший лейтенант Сомов потерял шестерку, море было спокойно.

Так или иначе, шлюпка к катеру не вернулась, и было совершенно неизвестно, что стало с ней и с людьми: сообщить о себе по радио группа по условиям задания не могла, а ждать, пока кто-либо из нее проберется через фронт и расскажет, что случилось с шестеркой, было нельзя. Между тем через неделю обстановка потребовала высадить там же еще одну группу разведчиков, с другим важным заданием. И, так как прямых признаков невозможности операции не было, лейтенанту Решетникову было приказано попытаться сделать это, более того — произвести обратную посадку разведчиков на катер.

Если бы было возможно, лейтенант предпочел бы пойти на шестерке сам: как известно, много легче разобраться на месте самому, чем объяснять другим, что делать в том или ином случае. Но оставить катер он, конечно, не мог, и ему пришлось лишь поручить это дело тем, кому он верил, как самому себе. Из охотников, вызвавшихся гребцами на шестерку, он выбрал боцмана Хазова и рулевого Артюшина. Артюшин отличался крепкими мышцами и греб за троих, кроме того, был парнем смелым и сообразительным. Боцман же еще до вступления лейтенанта Решетникова в командование катером спас однажды шлюпку и людей в таком же подозрительном случае. Тогда было предположение, что немцы готовят встречу, и Хазов, остерегаясь неприятностей, стал подводить шлюпку к берегу не носом, а кормой, чтобы в случае чего отскочить в море. Так оно и вышло. Шестерка уже коснулась кормой песка, когда между ногами боцмана, ударив его по коленке, упала шипящая граната. Он тотчас схватил ее за длинную деревянную ручку и, не вставая, с силой перекинул через голову обратно на берег. Она взорвалась там; вслед за ней в кусты полетели гранаты разведчиков, Хазов крикнул: «Навались!» — и шлюпка помчалась обратно к катеру под стук автомата, которым боцман поливал негостеприимные кусты.

Судя по неодобрительному виду, с каким Решетников разглядывал шестерку, она продолжала занимать его мысли. Один раз он брал уже с собой в операцию такую большую шлюпку, и с ней пришлось порядком повозиться. Вести ее на буксире было нельзя: тяжелая и пузатая, она заставила бы катер тащиться на малых оборотах (на большом ходу буксир рвался). Поэтому, поминая ее несуществующих родственников, шестерку взбодрили на палубу, поставив на стеллажи глубинных бомб — единственное место, где она кое-как, криво и косо, поместилась. Спускать же ее отсюда ночью, под носом у врагов, оказалось занятием хлопотливым: с высоких стеллажей она сползла под слишком большим углом, вернее — воткнулась в море, как ложка

в борщ, и корма, не в силах свободно всплыть, зачерпнула так, что воду пришлось отливать ведром добрые полчаса, чем в непосредственной близости от захваченного противником берега заниматься было вовсе не интересно. Но тогда катер доставлял партизан в другое, сравнительно спокойное место, а нынче...

Некоторое время лейтенант Решетников, поджимая губы, поглядывал на шестерку. Потом с той быстротой движений, которая, очевидно, была свойственна его натуре, вытащил из кармана свисток, дважды коротко свистнул, после чего принял прежнюю позу с видом человека, который твердо знает, что приглашение повторять не придется.

И точно, боцман без задержки появился у мостика.

Вероятно, он был тут же, на палубе, потому что аккуратно подтянутый поясом клеенчатый его реглан поблескивал от брызг, а наушники меховой шапки были опущены. Мостик, как сказано, был очень невысоким, и боцман, не поднимаясь на него, просто остановился на палубе возле командира, выжидательно подняв к нему лицо. Покрасневшее от ветра, спокойное и серьезное, с правильными, несколько грубоватыми чертами, оно было почти красивым, но не очень приветливым. Казалось, какая-то тень задумчивости или рассеянности лежала на нем, будто Хазов постоянно чувствовал внутри себя что-то неотвязное и, наверное, невеселое, чего не могли отогнать даже забавлявшие весь катер шутки признанного заводиловки — рулевого Артюшина (того самого, кто сейчас был упрятан в тулуп у штурвала). Неразговорчивость боцмана, видимо, была хорошо известна командиру, и поэтому он, не ожидая официального вопроса, наклонился с мостика, перекрикивая гул моторов:

— А что, если к транцу пояса подвязать, штук пять? Пожалуй, не черпнет?

Хазов повернулся к шестерке, и лейтенант с беспокойством увидел, что левая его рука потянулась к щеке. Ладонь дважды медленно прошла по чисто выбритой коже в недоверчивом раздумье, потом крепкие пальцы стиснули подбородок, и глаза боцмана, устремленные на корму, прищурились. Решетников в нетерпении переступил с ноги на ногу, всколыхнув тулуп, а Артюшин улыбнулся в компас, ожидая, что боцман скажет сейчас сожалеюще, но твердо: «Не получится, товарищ лейтенант», и тогда начнется содержательный разговор, который поможет скоротать скучную мирную вахту. Но спектакль не состоялся. Боцман отпустил подбородок и ответил:

— Лучше под киль возьмем. Выше держать будет.

Теперь к шлюпке повернулся Решетников. Он тоже прищурился, оценивая боцманскую поправку.

Собственный его проект был основан на том, что пробку, как известно, загнать в воду трудно: если к корме шестерки — тран-

цу — привязать спасательные пояса, то при спуске они будут держать корму на плаву, не давая шлюпке черпать воду, пока нос ее не сползет с катера. Но, конечно, пропустить пояса под килем у кормы, как предложил боцман, было проще и правильнее.

— Добро́,— сказал лейтенант, кивнув головой.

На этом разговор, краткость которого была обусловлена сразу тремя причинами — характером боцмана, гулом моторов и полным взаимопониманием собеседников, закончился. Решетников посмотрел на часы.

— Однако надо и поужинать, пока все нормально,— сказал он.— Вахтенный! Лейтенанта Михеева на мостик!

И он снова спрятался в тулуп. Высунувшись из него для очередного обследования горизонта, лейтенант с удивлением заметил, что боцман по-прежнему стоит на палубе.

— Шли бы ужинать, Никита Петрович,— окликнул его Решетников.— Намерзнетесь еще на шлюпке.

— Красота большая,— отозвался Хазов, задумчиво глядя перед собой.

Решетников повернулся к левому борту, и вечернее небо, которого он почему-то до сих пор не замечал, развернуло перед его глазами все властное свое великолепие.

Над спокойно вздыхающим морем низко висело огромное, уже приплюснутое солнце. Выше тянулось по небу облако, длинной и узкой чертой разделявшее воздушный простор на два туго натянутых полотнища прозрачного шелка: нижнее пылало ровным желтоватым пламенем, верхнее поражало взгляд бледнеющей синевой, чистой и свежей. По ней веером расходились ввысь летучие перистые облака, легкие, как сонное мечтание; они еще блистали белизной, но мягкий розовый отсвет заката уже тронул снизу их сквозные края, обещая фантастическую игру красок. И, когда с тревожного зарева над морем взгляд переходил на эту вольную синеву, дышать как будто становилось легче и начинало казаться, что в мире нет ни войны, ни горя, ни смертей, ни ненависти и что впереди ждут только удача, счастье и покой.

Сперва Решетников просто рассматривал закат, удивляясь, как это он не заметил раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под низкий, мощный гул моторов, торжественный, как органнй аккорд. Он и сам не мог бы пересказать их, как не может человек выразить словами мягкой предсонной грезы, где видения вспыхивают и гаснут, возникая на миг, чтобы тут же смениться другими. Выставив ветру лицо и всем телом ощущая через поручни могучую дрожь катера, он наслаждался быстрым ходом, морем и закатом, прислушиваясь к тому непонятному, но сильному и прекрасному чувству, которое росло в нем, заставляя

невольно улыбаться, и которому трудно подыскать название. Может быть, это было просто счастьем.

Счастьем?..

Что можно говорить о счастье на этом катере, который идет в пустынном военном море, где смерть поджидает в каждой волне и каждой тучке, когда с каждым пройденным им кабельтовым бомба, снаряд или пуля уносят в разных местах земного шара по крайней мере десять человеческих жизней, когда с каждой каплей бензина, врывающейся в карбюраторы его моторов, падает где-то в мире скорбная человеческая слеза — на письмо, на пожарище родного дома, на корку хлеба, к которой тянется голодный ребенок? Да и существует ли еще на каком-нибудь человеческом языке это заветное слово, самое звучание которого радует душу?.. Полно! Нет его в мире, где страшная сила войны выпущена на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит и разрушает.

На мостике появился лейтенант Михеев, помощник командира катера. Скинув тулуп и с удовольствием расправляя плечи, Решетников коротко передал ему вахту, но, сойдя с мостика, не пошел вниз, а остановился возле машинного люка лицом к закату. Солнце уже коснулось воды, и сияющая полоса, проложенная им на море, начала розоветь. Огромный земной шар, переполненный горем и ненавистью, поворачивался, и вместе с ним откатывалось от лучей солнца Черное море. Маленький, крошечный катер, настойчиво гудя моторами, карабкался по выпуклости земли, упрямо догоняя солнце, заваливающееся за горизонт. И тот, кто командовал этим катером, лейтенант Алексей Решетников, вовсе не думал сейчас о том, что такое счастье и может ли оно быть в человеческом сердце, стиснутом равнодушной рукой войны. Он просто любовался закатом и испытывал то внутреннее удовлетворение, которое приходит к человеку лишь тогда, когда весь внутренний мир его находится в полной уравновешенности (и которое, может быть, и следует называть счастьем). И, хотя катер шел в опасную ночную операцию и мысль об этом, казалось, должна была волновать лейтенанта, он с видимым любопытством и ожиданием всматривался в раскаленный диск, уже безопасный для взгляда.

В великой неудержимости планетного хода солнце расплюсченной алой массой проваливалось в воду все быстрее и быстрее, непрерывно меняя очертания. Из диска оно стало овалом, потом пылающей огромной горой, затем растеклось по краю горизонта дрожащей огненной долиной.

Решетников быстро обернулся, ища взглядом Хазова.

— Никита Петрович, не прозевайте! — торопливо сказал он, снова поворачиваясь к закату. — Нынче будет, вот увидите, будет!

Что-то мальчишеское было и в этом восклицании и в том нетерпеливом движении, каким он весь подался вперед, как бы готовясь получше рассмотреть то, что должно было произойти. С мостика донеслась команда лейтенанта Михеева: «На флаг, смирно!» Решетников выпрямился, отступил к борту лицом к середине корабля, как и полагается стоять при спуске флага, но глаза его по-прежнему неотрывно следили за уходящим солнцем. Затаив дыхание он подстерегал тот миг, когда верхний край его окончательно уйдет в воду и оттуда, быть может, вырвется тот удивительный луч, который окрашивает небо и море в чистейший зеленый цвет, более яркий, чем зелень весенней травы или изумруда, и который появляется так редко, что моряки сложили легенду, будто лишь очень счастливому человеку удастся поймать то кратчайшее мгновение, когда вспыхивает над морем знаменитый зеленый луч, ослепительный, как само счастье, и памятный на всю жизнь, как оно.

Жидкое пламя, бушевавшее в огненной долине, вдруг с необычайной стремительностью начало стекаться с краев к середине, и через миг все стянулось в одну алую точку, маленькую и яркую, как огонь сильного маяка. Секунду-две она, мерцая и вздрагивая, сияла на самом крае воды, потом внезапно исчезла, блеснув на прощание еще меньшей точкой очень яркого и чистого зеленого цвета, и в тот же момент лейтенант Михеев командовал:

— Флаг спустить!

Крохотный кормовой флаг пополз вниз с гафеля невысокой мачты. Приложив руку к ушанке, Решетников проводил его взглядом и, потеряв сразу всякий интерес к тому, что происходит на небе, пошел на корму. Возле правого пулемета стоял Хазов, по-прежнему задумчиво смотря на закат.

— Ничего, Никита Петрович, когда-нибудь мы его все-таки поймем,— сказал лейтенант утешающим тоном, как будто именно боцман, а не он сам с таким нетерпением ожидал сейчас появления зеленого луча.— Пошли ужинать, в самом деле...

— Поспею, товарищ лейтенант,— ответил Хазов.— Пока светло, пояса под шестерку подведу.

Решетников кивнул головой и, задержавшись у кормового люка, чтобы в последний раз окинуть горизонт все тем же быстрым и требовательным командирским взглядом, нырнул вниз.

Длинное узкое облако, висевшее над местом, куда ушло солнце, стало уже темно-красным. Раскалившее его пламя, вырывающееся из-за края воды, поднималось теперь ввысь, и сквозные края легких перистых вееров, раскинутых там и здесь по бледнеющей синеве небосвода, тоже занялись огнем. Все выше забиралось к зениту пылающее зарево, покуда его не начала от-

теснить густеющая фиолетовая мгла, собравшаяся в темной части горизонта.

Над Черным морем спускалась ночь. Сторожевой катер «0944» шел к занятому противником берегу для выполнения особого задания в глубоком тылу врага.

Глава вторая

Лейтенант Решетников только что вступил в тот счастливый период флотской службы, который бывает в жизни военного моряка лишь однажды: когда он впервые получает в командование корабль.

Это не забывается, как не забывается первый вылет, первый бой и первая любовь. Сколько бы раз ни привелось потом моряку стоять на других мостиках, какие бы огромные корабли ни водил он потом в дальние походы, даже тяжкая громада линкора не сможет заслонить в его сердце тот маленький кораблик, где в первый раз испытал он гордое, тревожное и радостное доверие к самому себе, поняв наконец вполне, всем существом, что он — командир корабля.

Это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство приходит не сразу. Путь к нему лежит через мучительные, тяжелые порой переживания. Тут и боязнь ответственности, и опасный хмель власти, и неуверенность в себе, и борьба с самолюбием, и неудержимое желание найти советчика и учителя. Тут и долгие бессонные ночи, полные тревоги за корабль и отчаяния перед собственной неумелостью, ночи, когда мозг горит и в мыслях теснятся цифры и фамилии, снаряды и капуста, механизмы и человеческие судьбы — весь тот клокочущий водоворот трудно-соединимых понятий, привести который в систему и направить не мешающими друг другу потоками в мерном течении нормальной службы корабля может только его командир — тот, кто из людей и машин способен создать единый, послушный своей воле организм, чтобы иметь возможность управлять им в любой момент боя или шторма.

Лейтенант Решетников и сам не сумел бы сказать, когда именно он поверил в себя как в командира.

Получилось так, что это особенное командирское чувство сложилось в нем незаметно: из тысячи мелких и крупных событий, догадок, поступков, удач и ошибок. То, что мучило вчера, сегодня оказывалось будничной мелочью; то, что всякий раз требовало значительного напряжения воли и мысли, вдруг выходило само собой, автоматически, освобождая мозг для решения более сложных задач. Так, подходя однажды к стенке, он с удивлением заметил, что застопорил моторы и скомандовал

руля как раз вовремя, хотя все мысли его были заняты совсем другим — как разместить на катере десантников. И с этого дня он перестал готовиться «постом и молитвой» к каждой швартовке, которая обычно заставляла его еще за пять миль до бухты мучиться в поисках той проклятой точки, где следует уменьшить ход, чтобы не врезаться в стенку или, наоборот, не остановиться дурак дураком в десяти метрах от нее. Первое время, подобно этому, он перед каждым походом заранее его «переживал», то есть старался предугадать свои действия в мельчайших подробностях, и проводил в этой бесполезной и утомительной игре воображения бессонную ночь, пока не научился выходить в море, выспавшись на совесть и приведя себя в полную готовность ко всяким внезапным изменениям обстановки.

Конечно, еще недавно он вряд ли смог бы любоваться на таком походе закатом и с любопытством ждать зеленого луча. Вероятно, он в сотый раз перебирал бы в уме, все ли сделал для того, чтобы обеспечить скрытность высадки, бегал бы в рубку к карте, дергал бы боцмана вопросами: не забыл ли тот о гранатах и взял ли в шестерку шлюпочный компас — словом, проявлял бы ту ненужную суетливость, которую лишь неопытный командир может считать распорядительностью и которая, по существу, только раздражает людей.

Эту спокойную — командирскую — уверенность лейтенант Решетников ощущал в себе не так давно: пятый или шестой боевой поход. До этого он добрых полтора месяца жил в непрерывных сомнениях и сам уже был не рад тому, что страстная его мечта — командовать боевым катером — исполнилась. В самом деле, когда он очутился на «СК 0944» полномочным командиром, ему было неполных двадцать два года и немногим больше года службы. Да и из него Решетников восемь месяцев командовал зенитной батареей крейсера под опекой сразу трех опытных командиров — артиллериста, старпома и командира крейсера, что не очень-то, конечно, приучило его к самостоятельности действий. Правда, в тот единственный раз, когда ему пришлось остаться без их поддержки, он развернулся так решительно и смело, что именно этот случай и привел его к командованию катером.

В августе крейсер ходил на стрельбу по немецким укреплениям, и лейтенант Решетников с пятью моряками благополучно высадился ночью на «Малую землю» у переднего края, прекрасно провел корректировку с высоты 206,5, сообщил по радио, что спускается к шлюпке, после чего пропал. Крейсер, прождав свою шлюпку до рассвета, был вынужден уйти и уже в море принял радио от Решетникова: пробираясь к шлюпке, группа оказалась отрезанной от берега автоматчиками противника и с боем отошла к своим частям. В ответ Решетников получил приказание до-

бираться до корабля самостоятельно ближайшей оказией, что он и выполнил, явившись через неделю на крейсер с перевязанной рукой и не по форме одетым — в краснофлотском бушлате без нашивок. И тогда выяснилось, что лейтенант Решетников, «следуя на «СК 0519» в качестве пассажира, в критический момент боя с пикировщиками противника принял на себя командование катером взамен убитого старшего лейтенанта Смирнова и довел до базы катер и конвоируемый им транспорт, проявив при этом личную инициативу и мужество».

Именно в таких суховатых и сдержанных, как обычно, словах было изложено в наградном листе событие, заставившее лейтенанта Решетникова серьезно задуматься над дальнейшим прохождением службы и начать проситься на катера, изменив крейсеру и превосходной его артиллерии, которая раньше казалась ему самым подходящим в жизни делом. По этому документу трудно понять, что именно вызвало в нем такое настойчивое желание, ибо здесь опущены многие детали события; в частности, нет ни слова о том, почему же лейтенант вернулся на крейсер не в своей шинели, а в матросском бушлате.

Когда «СК 0519», приняв на борт корректировщиков, отошел от «Малой земли», шинель лейтенанта Решетникова была еще в полном порядке, если не считать серых пятен от удивительно въедливой грязи, по которой ему пришлось отползать от автоматчиков, и двух дырок в поле, сделанных их очередями. Шинель была цела и утром, когда он стоял на палубе возле рубки, наблюдая стрельбу катера по самолетам, два из которых шли на конвоируемый транспорт, а третий — на самый катер. Но когда этот третий спикировал и «СК 0519», резко отвернув на полном ходу, метнулся в сторону от свистнувших в воздухе бомб и когда одновременно с горячим ударом взрывной волны застучали по рубке пули и в ней тотчас что-то зашипело, затрещало и густой дым повалил из открывшейся двери, лейтенант Решетников кинулся в рубку, и там шинель его потерпела серьезную аварию.

Сперва он чуть было не выскочил обратно. Дым бил в лицо, мешая что-либо видеть. Он присел на корточки, стараясь рассмотреть, откуда валит дым, и тогда наткнулся на помощника командира, веселого лейтенанта, с которым шутил наперебой полчаса назад. Тот пытался ползти к штурманскому столу и, увидев Решетникова, прохрипел: «Ракеты... Скорей...» Решетников сунул руку между столом и переборкой, ощупью отыскивая под столом ящик, и уже отчаялся было найти ракеты, когда рука его сама отдернулась от накалившегося металла и он понял, что ракеты лежат в железном ящике. Усилием воли он заставил ладонь сжаться вокруг накалившейся ручки, потянул на себя ящик, оказавшийся неожиданно легким, но тут какая-то шипящая струя ударила ему в спину, потом забила под штурманский

стол, растекаясь пышной пеной. Лейтенант отвернул лицо от брызг и увидел сквозь дым матроса, который поливал из пеногона стол, ящик с ракетами, раненого помощника и его самого.

— Не надо, уже тащу! — крикнул он ему.

Матрос ответил:

— Бензобак под палубой! — и перевел струю на занявшийся огнем стол.

Решетников выскочил из рубки с ящиком в руке и кинул его за борт. С правого борта снова свистнула бомба, но он мог думать только о руке: кожа на ладони и на пальцах сморщилась и стала темно-красной. Острая боль, от которой занялось дыхание, охватила его. Он стоял, тряся кистью и дуя на ладонь, когда кто-то легонько ударил его по плечу. Он повернул голову и у самого лица увидел свисающую с мостика руку. Из-под рукава с лейтенантскими нашивками быстро капала кровь. Решетников поднял глаза: командир катера лежал на поручнях мостика лицом вниз.

Решетников вскочил на мостик, чтобы помочь ему, но тут же увидел, что рукоятки машинного телеграфа стоят враздрай, отчего катер, теряя ход, разворачивается на месте. Он поставил правую рукоятку на «стоп» и задрал голову вверх, следя за самолетом, который снова заходил по носу на катер. Решетников и сам не знал еще, куда отвернуть от бомбы, готовой отвалиться от крыла. Но когда та мелькнула, ему показалось, что она упадет недолетом впереди по носу, и он тотчас рванул все три рукоятки на «полный назад». Столб воды встал впереди, горячая волна воздуха и воющие осколки пронесли над головой, но лейтенант Решетников почти не заметил этого. Первая удача обрадовала его, и, не снимая обожженной ладони с рукоятки телеграфа, он повернулся к самолету, который снова начинал атаку.

На этот раз лейтенант повел катер прямо на него, чтобы встретить его огнем обоих пулеметов в лоб, и махнул здоровой рукой, показывая на самолет. Очевидно, люди у пулеметов поняли его, потому что две цветные прерывистые струи помчались в небо, и одна из них задела левое крыло, а вторая — мотор. Самолет попытался вскинуть вверх тупую черную морду, чтобы выйти из пике, но движение это, судорожное и неверное, не было уже осмысленным; дернувшись вбок, он лег на крыло и, не сбросив бомб, ушел по аккуратной кривой в воду...

Все это Решетников запомнил в мельчайших деталях, хотя никак не мог толком рассказать потом, когда именно он заменил своими матросами раненых катерников у носового орудия, как вышел на правый борт транспорта и встретил новую группу самолетов плотной, хорошо поставленной завесой, как подбил при этом второй самолет. Упоение боем несло его на высокой и стремительной своей волне, подсказывая необходимые поступки,

и время спуталось: секунды тянулись часами, а часы мелькали мгновениями. И только бушлат, который дали ему на катере взамен прогоревшей и вконец испорченной пеной огнетушителя шинели, да обнаженная до мяса ладонь, кожа которой прилипла к рукоятке машинного телеграфа, остались доказательствами того, что этот бой и случайное — ненастоящее, краткое, но все-таки самостоятельное — командование кораблем ему не приснилось.

С этого времени лейтенант Решетников только и думал, что о сторожевых катерах.

Он не раз пробовал говорить об этом с командиром крейсера, ходил к нему по вечерам и в долгих душевных разговорах раскрывал свою мечту. Но ничего не получалось: его ценили на крейсере как артиллериста, обещающего стать мастером, и командир даже намекнул на возможность перевода его на главный калибр, что, несомненно, еще месяц назад заставило бы его подпрыгнуть от радости. И так бы и пошел лейтенант Решетников по артиллерийской дорожке, если бы не счастливый случай.

В день получения ордена он оказался в зале Дома флота рядом с незнакомым капитаном третьего ранга, вернувшимся от стола со вторым орденом Красного Знамени в руках. Фамилию его Решетников не расслышал, потому что очень волновался в ожидании, когда назовут его собственную. Когда наконец это случилось и он, багровый до ушей, сел на свое место с орденом Красной Звезды, капитан третьего ранга с любопытством взглянул на него:

— Значит, вы и есть Решетников? Поздравляю... Давайте дырочку проверчу, вам не с руки...

Они разговорились, и оказалось, что это капитан третьего ранга Владыкин. Владыкин!.. Командир дивизиона катеров северной базы!.. И он знает о случае на «СК 0519», хотя этот катер вовсе не его дивизиона!.. У Решетникова застучало сердце.

Они вышли вместе, и битый час он выкладывал Владыкину все то, чего не хотел понять командир крейсера. Владыкин смотрел на него сбоку с видимым любопытством, благожелательно поддакивал, расспрашивал и, прощаясь, сказал, что попробует перетащить его на катера: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. Недели две Решетникову только и снился катер, которым он скоро будет командовать, но действительность его несколько огорчила.

На катера его и точно перевели, но не командиром катера, как твердо он надеялся после разговора с Владыкиным, а артиллеристом дивизиона, и даже не того, которым командовал Владыкин, а здешнего, охранявшего базу, где находился и крейсер. Ему пришлось проводить нудные учебные стрельбы, надоедать командирам катеров осмотрами материальной части, возиться в

мастерских, заниматься с комендорами — словом, делать совсем не то, о чем мечтал, просясь на катера. Он пользовался каждым случаем, чтобы выходить в море на катерах, но походы эти даже и не напоминали его переход на «СК 0519»: катера несли скучный дозор, проводили траление, мирно сопровождали транспорты, передавая их катерам другого дивизиона как раз в том порту, за которым можно было ждать боевых встреч, и только раза два ему привелось пострелять по самолетам, залетевшим в этот далекий от фронта участок моря. Между тем на севере этого же моря, там, у Владыкина, такие же катера ежедневно встречались с врагом, перевозили десанты, ходили по ночам в тыл противника, конвоировали транспорты, вступая в яростные бои с самолетами, и слава о сторожевых катерах все росла и росла.

Поэтому вполне понятно то волнение, с каким через четыре месяца лейтенант Решетников прочитал приказ о переводе его на дивизион Владыкина и о назначении командиром «СК 0944» вместо старшего лейтенанта Парамонова, убитого при высадке десанта неделю назад.

Может быть, кому-либо другому превращение дивизионного специалиста в командира катера показалось бы понижением, но для лейтенанта Решетникова это было свершением мечты. Товарищи по выпуску, когда он пришел на крейсер проститься, отлично это поняли. Они поздравляли его с нескрываемой завистью: хоть маленький кораблик, да свой, полная самостоятельность, вот есть где развернуться!

С чувством уважения к самому себе лейтенант покинул дивизион и все двое суток, пока добирался до базы, где ожидал его катер, стоящий в ремонте после боя, держал себя с достоинством, не давал воли жестам и мальчишеской своей веселости, говорил с попутчиками медленно и веско и, раз двести повторив в разговорах «мой катер», «у меня на корабле», совсем уже привык к этому приятному сочетанию слов. Но когда с полуразрушенной бомбежками пристани он увидел этот «свой корабль» и на нем «свою команду» — двадцать человек, ожидающих в строю того, кому они отныне доверяют себя и от кого ждут непрерывных, ежеминутных действий и распоряжений, обеспечивающих им жизнь и победу, — ноги его подкосились и в горле стало сухо, отчего первый бодрый выкрик «Здравствуйте, товарищи!» вышел хриплым и смущенным.

Странное дело, этот крохотный кораблик, который был точь-в-точь таким, как те катера, на каких он уже не раз ходил в море, и который на палубе крейсера поместился бы без особого стеснения для прочих шлюпок, показался ему совсем незнакомым кораблем, вдвое больше и сложнее самого крейсера. И, хотя людей здесь было меньше, чем комендоров на его дивизионе, он смог различить только одного — того, кто стоял на правом

фланге. Лицо его, красивое и сумрачное, выражало, казалось, явное разочарование: вот, мол, салажонка прислали, такой, пожалуй, накомандует, будь здоров в святую пасху... И в этом неприветливом взгляде Решетникову померещилось самое страшное: убийственное для него сравнение со старшим лейтенантом Парамоновым. Хуже всего было то, что, как выяснилось тут же, взгляд этот принадлежал старшине первой статьи Никите Хазову, моряку, плававшему на катерах седьмой год и бывшему на «СК 0944» боцманом, то есть главной опорой командира в походе, в шторме и в бою.

Со всей отчетливостью лейтенант Решетников понял, что нужно немедленно же разбить то неверное впечатление, которое произвел на боцмана (да, вероятно, и на остальных) безнадежно мальчишеский вид нового командира. К сожалению, с основного козыря никак нельзя было сейчас пойти: неожиданная встреча на палубе не давала лейтенанту повода скинуть шинель. Поэтому он поднес к глазам руку с часами тем решительным жестом, который давно нравился ему у командира крейсера, и его же шутивым, но не допускающим возражения тоном сказал, весело оглядывая строй:

— Так... теплого разговора тут на холоде у нас, пожалуй, не получится... Соберите команду в кубрике, товарищ лейтенант, там поближе познакомимся!

И, все еще продолжая чувствовать на себе недоверчивый взгляд боцмана, он постарался как можно ловчее нырнуть в узкий люк командирского отсека, где, как помнилось ему по своим походам на других катерах, пистолет обязательно зацепляется кобурой за какой-то чертов обушок, надолго стопоря в люке непривычного человека. Обушок он миновал благополучно и, войдя в крохотную каютку, в которой ему предстояло теперь жить, быстро скинул шинель и тщательно поправил перед зеркалом орден Красной Звезды.

Это и был его основной козырь: орден должен был показать команде катера (и боцману в первую очередь!), с кем им придется иметь дело, и молчаливо подчеркнуть всю значимость тех немногих, но сильных слов, какие он приготовил для первого знакомства с командой. Он мысленно повторил их, сдвинув брови и стараясь придать неприлично жизнерадостному своему лицу выражение суровости и значительности, но тут же увидел в зеркале, что лицо это само собой расплывается в улыбку; в коридорчике у люка прогремели чьи-то сапоги, и голос помощника, лейтенанта Михеева, сказал:

— Прямо в каюту командира поставьте...

«Командира»!.. Не удержавшись, Решетников подмигнул себе в зеркало и вышел из каюты, с удовольствием заметив взгляд, который вскинул на орден матрос, принесший чемодан. В самом

лучшем настроении Решетников поднялся на палубу, шагнул в люк кубрика и услышал команду «смирно», раздавшуюся тогда, когда ноги его только еще показались из люка. Он звонко крикнул в ответ: «Вольно!», соскочил с отвесного трапика, и в глазах у него поплыло. Перед ним, тесно сгрудившись между койками, стояли взрослые спокойные люди в аккуратных фланелевках с синими воротниками, и почти на каждой из них блестел орден или краснела ленточка медали. В первом ряду был боцман Хазов с орденом Красного Знамени и с медалью «За отвагу».

Краска кинулась в лицо Решетникову. Выдумка его, которой он собирался поразить этих людей (и боцмана в первую очередь), показалась ему глупой, недостойной и нестерпимо стыдной. Он растерянно обводил глазами моряков, и все те значительные и нужные, казалось, слова, которые он так тщательно обдумал дорогой, — о воинском долге, о чести черноморца, о мужестве, которого ждет родина, — мгновенно вылетели из его головы. Мужество, флотская честь, выполненный долг стояли перед ним в живом воплощении, командовать этими людьми, каждый из которых видел смерть в глаза и все-таки был готов встретиться с нею еще раз, теперь приходилось ему, лейтенанту Алексею Решетникову... Волнение, охватившее его при этой мысли, было настолько сильным, что, забывшись, он сказал то, что думал и чего, конечно, никак не следовало говорить:

— Вон вы какие, друзья... Как же мне таким катером командовать?..

Такое вступление, будь оно сделано любым другим, несомненно, раз и навсегда погубило бы авторитет нового командира в глазах команды, которая увидела бы в этом прямое заискивание. Но Решетников сказал это с такой искренностью и такое почти восторженное изумление выразилось на смущенном его лице, что новый командир сразу же расположил к себе всех, и Артюшин, как всегда первым, ответил без задержки:

— А так, как «пятьсот девятнадцатым» тогда покомандовали, товарищ лейтенант, обижаться не будем...

Остальные одобрительно улыбнулись, а Решетников еще больше смутился.

— А вы разве с «пятьсот девятнадцатого»? — спросил он, не зная, что ответить.

— Да нет, товарищ лейтенант, — по-прежнему бойко сказал Артюшин, — я-то здешний, прирожденный, с самой Одессы тут рулевым... Ребята рассказывали. Сами знаете, на катерах — что в колхозе: слышно, в какой хате пиво варят, в какой патефон купили... Соседство, конечно...

Артюшин говорил это шутливым тоном, но по выжидательным и любопытным взглядам остальных лейтенант понял, что «соседство» тут решительно ни при чем, а что, наоборот, команда

катера, разузнав фамилию нового командира, сама ревниво собрала о нем сведения со всех катеров и что всесторонняя характеристика его уже составлена, а сейчас идет только проверка ее личными наблюдениями. И в глазах Артюшина он прочел первый горький, но справедливый упрек: провалил ты, мол, командир... видишь, мы о тебе все знаем, а тебе и то в новость, что у нас на катере орденов полно...

Вероятно, Артюшин ничего похожего и не думал. Но лейтенанту Решетникову всегда казалось, что о его ошибках и недостатках другие думают словами самыми жестокими и обидными. Он внутренне выругал себя за мальчишескую торопливость. Конечно, надо было дожидаться в штабе дивизиона, когда вернется с моря Владыкин, поговорить с ним о катере, узнать, что за люди на нем, а он не смог дожидаться утра и поспешил на «свой катер» поскорее «вступить в командование»... Вот и вступил, как в лужу плюхнулся с размаху...

Было совершенно неизвестно, как держать себя дальше и что говорить, но та присущая ему прямота, которая не раз причиняла в жизни хлопоты, тут его выручила: он снял фуражку и, присев на чью-то койку, сказал очень просто и душевно:

— Садитесь, товарищи, поговорим... Я о катере толком ничего не знаю: приехал, а начальство в море... Ну, давайте сами знакомиться... Рассказывайте... о нашем катере!

Знакомство это затянулось до ночи. Вернувшись в каюту, он долго не мог заснуть. Он ворочался на узенькой, короткой койке, слушая тихий плеск воды за бортом и думая о катере, с которым связана теперь его жизнь и командирская честь.

Дунай и Одесса, Севастополь и Новороссийск, ночные походы и долгие штормы, десанты и траления, бои и аварии — вся огромная, насыщенная, блистательная и трагическая история крохотного кораблика вновь и вновь проходила перед ним. И моряки, делавшие на катере все эти героические дела, казалось, смотрели на него из темноты, спрашивая: «А как ты теперь будешь командовать нами?..»

Он перебирал в памяти их лица, еще едва знакомые, вспоминая, кто бросил обратно гранату со шлюпки — боцман или Морошкин, кто сбил в тумане самолет, вылетевший прямо на катер, кто именно стоял по пояс в ледяной воде, поддерживая сходню, по которой пробежали на берег десантники, у кого такое «снайперское» зрение, что все спокойны, когда он на вахте?.. Или, может быть, это были те, кого уже нет на катере и о ком только говорилось нынче, — убитые, отправленные в тыл с тяжкими ранами?..

Люди и поступки путались у него в голове, как путались бои и походы. Но во взволнованном его воображении все ярче и яснее вставал образ одного человека — старшего лей-

тенанта Парамонова, командовавшего катером последние десять месяцев; все, что рассказывали о катере моряки, неизбежно связывалось с ним. И лейтенант Решетников, ворочаясь без сна, думал об этом человеке, которого не видел и не знал, но заменить которого на корабле привелось ему. Будут ли эти люди говорить о нем, лейтенанте Решетникове, с тем же уважением, любовью и грустью, с какими говорили они нынче о старшем лейтенанте Парамонове? И, может быть, первый раз в жизни он понял на самом деле, что такое командир — душа и воля корабля, его мужество и спасение, его мысль и его совесть.

И эта долгая ночь подсказала ему поступок, который положил начало его дружбе с командой катера: в носовом восьми-местном кубрике над дверью появился портрет старшего лейтенанта Парамонова. Портрет был небольшой, в простой рамке. Но, когда лейтенант Решетников, прикрепив его, повернулся лицом к морякам, молча следившим за ним, он увидел, что глаза их блестят. И у самого у него перехватило горло, когда он негромко сказал:

— Ну вот... Пусть смотрит, как мы тут без него воевать будем...

Глава третья

Живой и общительный характер Решетникова быстро располагал к нему людей, и со стороны казалось, будто он всегда окружен друзьями. На самом деле все, с кем он до сих пор сходилась в училище и на крейсере, были ему только приятели. С ними можно было шутить, спорить, говорить на тысячи разнообразных тем и даже делиться многими своими мыслями и чувствами, но ни перед кем из них не хотелось раскрыть то глубокое и значительное, что волновало душу и что приходилось поэтому обдумывать и переживать наедине с самим собою.

А то глубокое и значительное, что волновало Решетникова, очень трудно было выразить понятно.

Этого веселого, жизнерадостного, действительно молодого человека, как будто очень уверенного в себе, на самом деле беспокоило неясное, смутное чувство непонимания чего-то самого главного в жизни. С какого-то времени он ждал, что случится что-то, от чего все вдруг станет ясно и в темном сумраке будущего вспыхнет то, к чему надо стремиться. Ему казалось, что откроется это мгновенно, на таком же высоком подъеме чувств, какой он испытал в тот давний полдень седьмого августа 1937 года, когда над краем степи висела черная, вполнеба

туча и когда ему с совершенной ясностью «открылось», что он должен стать флотским командиром и что другого дела ему в жизни нет.

Детство Решетникова прошло вдали от какого бы то ни было моря — на Алтае, в животноводческом совхозе, где отец его работал зоотехником.

К этой деятельности Сергей Петрович обратился не случайно, а по глубокому внутреннему убеждению, оставив для нее профессию врача. Он буквально был помешан на приплодах и окотах, на выкормке и эпизоотиях и вел серьезную научную работу по созданию новой породы овец, пригодной для северной казахской степи и предгорьев Алтая. Уже много лет он терпеливо скрещивал разные породы с обыкновенной казахской овцой, добиваясь от нее и тонкорунности, и мясистости, и неприхотливости к погоде и к корму. В это далекое от поэзии занятие Сергей Петрович вкладывал столько душевной страстности, что оно приобретало содержание философское и поэтическое: назначение мыслящего человека он видел в том, чтобы охранять жизнь во всех формах, заботливо раздувая чудесный ее огонек, вспыхнувший в любом существе, и совершенствовать эти формы для блага людей, исправляя слепую природу. И каждый раз, когда четвероногие его друзья радовали богатым прибавлением семейства или удачным гибридом, в маленьком домике на краю совхоза было ликование и необъятная Парфеновна, нянька Алеши, стряпуха и постоянный лаборант отца, пекла пирог в честь очередной двойни или какого-нибудь длинношерстного ягненка.

Поэтому в комнатах у них шагу нельзя было ступить, чтобы под ногами что-то не заверещало или не заблеяло. Разнообразные отпрыски племенных пород, дорогих сердцу Сергея Петровича, воспитывались в доме до тех пор, пока пребывание их не начинало угрожать мебели или посуде. Тут были ангорские козочки с печальными чистыми глазами и с копытцами, похожими на хрупкие китайские чашечки; ягнята-линкольны с длинной волнистой шерсткой, скользкой, как шелк; массивные, словно литые из какого-то небывалого упругого чугуна, телки-геррифорды с твердыми желваками рожек на плоском широком лбу; розовые, суетливые поросята с труднопроизносимыми титулами древних пород и даже жеребята, высокие, плоские и тонконогие. Все они были чистенькие, мытые-перемытые Парфеновной, матерью и самим Алешей, веселые, сытые, ласковые, и все имели имена: «Панночка», «Мазепа», «Руслан», «Демон», «Каштанка» (называл их сам Алеша, и это зависело от того, что читала ему вслух по вечерам мать).

В детстве Алеша любил играть с ними. Порой, навозив-

шись, он схватывал вздрагивающее тельце и валился с ним на диван, прижав лицо к теплой пушистой шерстке. Закрыв глаза, он слушал биение крохотного робкого сердца, и ему казалось, что тот чудесный огонек, о котором говорил отец, трепещет и вспыхивает, готовый погаснуть. Жалостное и тревожное чувство овладевало им, и ему становилось совершенно ясно, что надо немедленно сделать все, чтобы огонек этот не погас. Он вскакивал и мчался к отцу, крича, что Онегин гибнет (в слове «умирает», по его мнению, было мало трагизма). И тогда Сергей Петрович, пощипывая рыженькую бородку, тоже наклонялся над беспомощным тельцем, но потом, выпрямившись, улыбался и успокаивал Алешу. Они садились рядом на диван, и отец, почесывая за ухом очередного Алешиного любимца, говорил о том, что, заболев, этот козленок сам найдет травку, которая его вылечит, хотя никто его этому не учил. Он увлекался и, забывая, что говорит с ребенком, сбивался на восторженную биологическую поэму, воспевая великую силу таинственного чудесного огонька. Он рассказывал о жизни, которая сама прокладывает себе дорогу, совершенствуясь в поколениях, расцветая в новых, все улучшающихся формах, и убеждал сына в том, что в заботах о всякой жизни, в охране ее, в помощи ей и заключается смысл существования человека, самого умного из живых существ и потому ответственного за них. Алеша не все понимал, но огромная любовь к миру, до краев наполненному жизнью, сладко сжимала его сердце, и очень хотелось, чтобы все поскорее были красивы и счастливы.

Тринадцать лет он пережил потрясение, внезапно опрокинувшее философию отца. Это произошло в областном городе, куда отец отправлял его на зиму к тетке, чтобы дать ему возможность учиться в десятилетке.

Какой-то незадачливый педагог додумался устроить экскурсию детей на мясокомбинат — «в целях приближения к освоению понимания значения животноводства как решающей проблемы края», а другие чиновники, равнодушные к детям, однако такими же суконными словами уверенно рассуждавшие о детской психологии, не только не остановили его в преступном этом намерении, но, наоборот, одобрили данное мероприятие.

Запах крови, томительный и душный, встретил детей за первой же дверью, ведущей в цехи. Кровь темным и еще горячим ручейком текла по канавкам в полу, кровью были забрызганы белые халаты людей, мелькавших в теплом, влажном тумане, подымавшемся от парного мяса. Они снимали шкуры, отрубали копыта, спиливали рога, и всюду, задевая детей, медленным нескончаемым потоком плыли над головами подвешенные к рельсам красные ободранные туши.

Бледные от волнения, с бьющимися маленькими сердцами,

дети, стараясь храбро делать вид, что им все равно, дрожащей, теснящейся друг к другу стайкой шли за самодовольным педагогом, который, расспрашивая сопровождавшего экскурсию инженера, так и сыпал цифрами, названиями, техническими пояснениями.

Наконец их привели в светлый, просторный зал. Здесь было пусто, чисто и тихо, но тишина эта была зловещей и страшной. Хитро устроенные загородки вели к помостам с какими-то цепями и крючьями, странными, качающимися досками. Положив руки на блестящий рычаг доски, инженер сказал привычным равнодушным тоном:

— Вот тут, собственно, и происходит самый процесс освобождения от жизни. Животное вводится сюда, затем...

Дальше Алеша ничего уже не слышал — так поразила его необычная формулировка: «освобождение от жизни». Как убивают, детям, слава богу, не показали, и они вышли на площадку пятого этажа, примыкающую к страшному цеху. Отсюда далеко внизу были видны загонь для скота. Они кишели стадами — мычащими, блеющими, хрюкающими. Алеша узнал в них геррифордов, йоркширов, линкольнов — все породы, которые разводил его отец, и с ужасом подумал, что среди них может метаться Панночка или Онегин.

Открытие это раздавило его.

Неужели тот чудесный огонек жизни, в заботах о котором отец полагал смысл собственного своего существования, был нужен только для того, чтобы вокруг негоросло достаточное количество мяса, белков, жиров и костей, после чего от него освободились, как от чего-то лишнего и мешающего делу?

Мир начал представляться ему совсем не таким, каким изображал его отец, и рай, царивший в домике на краю совхоза, потускнел.

К лету Алеша вернулся домой совсем другим. Восторженность отца по поводу народившихся весною новых милых существ казалась ему теперь ложью, или слепотой, или (что было хуже всего) ограниченностью. Он долго не решался задать отцу прямой вопрос, но однажды, за очередным пирогом по случаю рождения ягненка того веса, которого добивался Сергей Петрович, не сдержался и выложил все, что видел на мясокомбинате и что думал об этом. Он рассказал это с тем страстным, вдохновенным и скорбным гневом, с каким может говорить только подросток, впервые столкнувшийся с несправедливостью и осознавший ее.

Эффект получился чрезвычайный. Ему удалось так живописно представить поразившую его картину, что мать ахнула, Парфеновна заголосила, прижав к огромной своей груди обре-

ченного ягненка, а отец, помолчав, посмотрел на Алешу с новым, серьезным любопытством и сказал, что он, видимо, вырос.

Все то, что потом в долгих, часто повторявшихся разговорах приводил отец, Алешу никак не убеждало. Он и сам отлично понимал, что те благодетельные изменения в жизни окружавших его людей, которые происходили в степи у него на глазах — каменные дома и электричество в них, школы и больницы, сытная еда и облегчаемый машинами труд, — не могли бы произойти, если бы колхозные и совхозные стада, основа благосостояния этих людей, не увеличились и не улучшились бы в качестве за последние годы. Ему было совершенно понятно и то, что прибавка в живом весе каждого ягненка прямо отражалась на судьбе каждого голопузого ребенка, копошащегося в юрте, так как давала возможность образования, совершенствования и, в конечном счете, счастья. Следовательно, отец, увеличивая число ягнят и улучшая их качество, делал важное, нужное и доброе дело. Алеша соглашался даже с тем, что раз каждое живое существо само по себе все равно должно когда-нибудь умереть, то вопрос лишь в том, чтобы краткое его существование и неотвратимая гибель принесли возможно больше пользы другим существам, в данном случае — людям.

Но, понимая умом, он никак не мог принять эти неоспоримые истины чувством. Возможно, если бы той страшной экскурсии не было, вопрос о жизни и смерти раскрылся бы перед ним незаметно и постепенно — так, как раскрывается он в течение всей человеческой жизни, в которой всякому познанию есть свое время. А может быть, иначе — он сам равнодушно прошел бы мимо него, как проходят многие люди, не думающие, а иногда и не желающие думать, что же такое жизнь и смерть. Но вставший перед ним так рано, когда ни ум его, ни чувства еще не созрели и не окрепли, этот вопрос был для него непостижим и непосилен.

Жизнь, обрывающаяся в смерть, чтобы вспыхнуть в новых, неузнаваемых формах; расцвет, возникающий на распаде; исчезновение для возрождения; вечный круговорот материи, вечно и неистребимо живущей в различных воплощениях, — все это принималось его юной, влюбленной во все живое душой не как слитность причин, которая и движет и развивает жизнь, а как чудовищное и несправедливое противоречие. То обстоятельство, что жизнь, уничтожаемая там, на бойне, питала собой другие, более совершенные существа — людей, никак не совмещалось с мыслью о «чудесном огоньке», который так трогал и волновал его раньше и который сам же отец вызывал и поддерживал с такой заботой и любовью.

И в отношениях его с отцом наступило охлаждение. Исчерпав разумные доводы, отец перешел к насмешкам. Он предлагал

Алеше быть, по крайней мере, последовательным — не восторгаться заливным из поросенка и не уплетать за обе щеки пельмени, в сочной начинке которых, по сибирскому обычаю Парфеновны, были смешаны бычьи, свиные, телячьи жизни. Алеша раздражался и отвечал, что, занимаясь поставкой скота на бойню, надо так и рассматривать это занятие, а не говорить красивые слова о драгоценности всякой жизни и о «чудесном огоньке». Отец тоже вспыхивал и кричал, что не позволит мальчишке оскорблять свои убеждения, и часто обед кончался тем, что мать плакала, а Алеша вскакивал на велосипед и уезжал за тридцать километров дня на три-четыре к своему приятелю и однокласснику Ваське Глухову, сыну командира пограничного отряда.

Отряд стоял у китайской границы на берегу большого степного озера. Еще с прошлого года, когда в конце лета приезжал в отпуск старший брат Васьки, курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, у них завелась там парусная шлюпка. Собственно говоря, это была обыкновенная рыбацья лодка из тех, что целыми стаями выходили на озеро с сетями. Но Николай, гордясь перед мальчиками флотским умением, приделал к ней киль, выкроил из старой палатки разрезной фок, основал ванты и шкоты и научил обоих искусству держать в крутой бейдевинд. Лодка стала называться «вельботом» и отлично выбиралась почти против ветра, изумляя рыбаков, которые на своих тяжелых лодках с прямым парусом испокон веку выгребали навстречу ветру на веслах.

Всякий раз, когда Алеша приезжал к Ваське, мальчики до ночи деловито собирали все, что требовалось для большого похода: тетрадь, где были записаны завещанные Николаем морские слова и команды; другую, в клеенчатом переплете, служившую вахтенным журналом; бидон из-под бензина с пресной водой (в озере была отличная вода, но так уж полагалось на морской шлюпке); ведра, удочки, спички, ружья и компас, который Васька для каждого похода заимствовал из наплечных ремней отца и который на всяком курсе исправно указывал на ближайшее от него ружье. Погрузив все это в шлюпку, приятели с рассветом выходили в озеро, как в океан: оно широко расплескалось в степи, и низких его берегов с середины и в самом деле не было видно.

Первые сутки они проводили «в открытом море», поочередно принимая на себя обязанности и права капитана и команды, кормились захваченной с берега снедью, стойко заливая ее теплой, припахивающей бензином «пресной водой». К вечеру второго дня в команде обычно раздражалась цинга или назревал голодный бунт, и тогда обсуждался план набега на вражеские берега за свежей провизией. В зависимости от сезона и от

места, где застигло корабль несчастье, вражескими берегами оказывались либо западный мыс с огородами подсобного хозяйства погранотряда, либо южная бухта, в которой хорошо ловилась рыба, либо устье реки, где в камышах водились утки и прочая дичь.

И там с удивительной непоследовательностью юности Алеша, готовый загасить выстрелом «чудесный огонек», часами лежал с ружьем на дне шлюпки, выжидая, когда из камышей, крякая и плещась, выплывет кильватерная колонна выводка. Впрочем, в этом тоже была игра: утки были вражескими кораблями, прорывающими блокаду, двустволка — огромной башней линкора, а сам он казался себе спокойным и властным командиром с трубкой в зубах. В романтическом этом образе было намешано решительно все, что Алеша слышал о море или прочитал в тех книжках, которые Васька натаскал домой из школьной, отрядной и городской библиотек, утверждая, что тут, в степи, никто не сможет оценить этой литературы так, как он, прирожденный моряк.

Об этих походах по озеру, так же как и об охоте, Алеша, возвращаясь домой, предпочитал не распространяться. Во-первых, не к чему было расстраивать мать: она смертельно боялась всякой воды в количествах, больших того корыта, в котором когда-то со страхом купала его, и совхоз благословляла именно за то, что в нем не было пруда, где Алеша обязательно бы утонул. Во-вторых, ему решительно нечего было бы ответить отцу, который, несомненно, заинтересовался бы, как же это так он, страстно обвиняя отца в убийствах, сам уничтожает жизнь, и вдобавок собственными своими руками! Нельзя же было в самом деле пытаться объяснить ему, что в морских приключениях, когда экипаж готов погибнуть от голода, разбираться в средствах не приходится, тем более что утка, поджаренная на шомполе в дыму костра, удивительно, совсем-совсем по-особому вкусна... Ну, а втолковывать отцу, что это, собственно, вовсе и не утка, а вражеская шхуна, нагруженная продовольствием, и что выстрел в камышах — не охота, а морской бой, уж совсем было невозможно.

На «вельботе» приятели вели разговоры решительно обо всем, но чаще их занимал вопрос будущей профессии; об этом пора было всерьез задуматься: как-никак ведь им скоро стукнет четырнадцать лет!.. Может быть, потому, что Васька жил в суровой и напряженной обстановке погранзаставы, а может быть, потому, что мужчины в этом возрасте представляют собой особый род необычайно чуткого радиоприемника, улавливающего то, что говорится между слов и пишется между строк, — но так или иначе в эти почти детские еще разговоры вошла большая и грозная тема: война. Обоим было неопро-

вержимо ясно, что рано или поздно война с фашизмом будет, вопрос лишь в том, успеют ли они к тому времени вырасти. И поэтому прямая их обязанность — готовиться защищать революцию и Советский Союз на военном корабле (по возможности, на одном). И однажды, выйдя на «вельботе» на середину озера и подняв на мачте настоящий военно-морской флаг, сшитый специально на этот случай, приятели, став «смирно», торжественно поклялись под ним, что поступят в Военно-морское училище имени Фрунзе.

С этого дня Алешей целиком овладела мечта о флоте. Впрочем, по совести говоря, в этой мечте что-то было ему еще не очень ясно. Там, на озере, он с увлечением спорил с Васькой, кто же в конце концов победил в Ютландском бою — англичане или немцы и что решает морской бой — торпедный залп или артиллерийский огонь? Там ему было понятно, что в будущем он станет артиллеристом линейного корабля. Но здесь, дома, в густой тени пахнущих смолою пихт, куда забирался он с книжкой Станюковича или Стивенсона, ему думалось об озере и о ждущем его там «вельботе» совсем по-другому.

Вспоминались почему-то не споры об оружии и маневрах. Вспоминался влажный воздух озера, широкий его простор, свежий ветерок, шквалом налетающий на парус и кренящий шлюпку, те две жестокие бури, в которых они едва не погибли (и которые оба потом небрежно называли «неплохими штормиками»). Вспоминалась торжественная и пленительная тишина закатов и утренних зорь, загадочная мгла низких туманов, лежащая на воде. Но важнее всего и дороже всего было поскрипывание мачты и журчание воды за бортом, рожденное движением по воде, и само это движение вперед, все вперед, непрерывное, неостановимое — бег, стремление, скольжение по ровному широкому простору, где все пути одинаково возможны и одинаково заманчивы... И море — далекое, огромное, расплескавшееся океанами по всему земному шару, никогда не виденное, но желанное — манило и звало его к себе.

Он не понимал еще этого зова и не знал, что именно будет делать на море: стрелять с палубы военного корабля или водить по океанам совторгфлотские пароходы. Второе привлекало его больше. Это была дорога в мир, в неведомые страны, в далекие города, в Индию, в Австралию, в Арктику, и глубоко в душе Алеша признавался себе, что тянет его не война — а море, не бои — а плаванья, не орудия — а компасы.

Но об этих мыслях он пока что не говорил Ваське, чтобы не расстраивать дружбы. И так уж вышло, что, вернувшись осенью в город, Алеша вместе с ним развил бешеную деятельность по пропаганде военно-морского флота. В пионерском отря-

де школы оба наперебой делали доклады о кораблях, о морской войне, об истории флота, в военно-морском кружке обучали других флотскому семафору и сигнальным флагом, читали вместе книги и журналы, аккуратно присылаемые из Ленинграда Николаем, который горячо поддерживал их увлечение, и оба завоевали себе славу лучших знатоков всего, что касается флота. Но порой, оставшись один, Алеша как бы останавливался с разбегу и, опомнившись, осматривался, пытаясь понять, что же такое выходит.

В самом деле, выходила какая-то чепуха: все были уверены в том, что по окончании школы кто-кто, а уж Решетников и Глухов обязательно уедут в Ленинград, в Военно-морское училище имени Фрунзе. Не уверен в этом был только он сам. В минуты раздумья и тишины в душе его снова подымалась знакомая волнующая мечта о море, просторном и свободном, о плаваниях, далеких и долгих, о незнакомых берегах, о тихих закатах, торжественных и величественных, таящих в себе редчайшее чудо зеленого луча, возможное только в океане и видимое лишь счастливыми.

Об этом луче и о связанной с ним легенде Алеша узнал зимой, когда Васька в своих исступленных поисках всяческой морской литературы наткнулся в городской библиотеке на роман Жюль Верна с таким названием. Книгу приятели проглотили залпом, хотя в ней говорилось не столько о морских приключениях, сколько о каком-то чудаке, который изъездил весь мир, чтобы увидеть последний луч уходящего в воду солнца — зеленый луч, приносящий счастье тому, кто сумеет его поймать. Само явление их, однако, заинтересовало, и летом они поставили ряд научных опытов, наблюдая на своем «вельботе» закаты на озере. Никакого зеленого луча при этом не обнаружилось, хотя Васька, многим рискуя ради науки, каждый раз заимствовал для этого полевой бинокль отца. Был запрошен особым письмом такой авторитет, как Николай. Тот ответил, что зеленого луча ему лично видеть не приходилось, хотя плавает он уже четвертую летнюю кампанию, но действительно среди старых моряков, преимущественно торгового флота, такая легенда бытует. Тогда Алеша объявил, что, наверное, зеленый луч можно увидеть только в океане, иначе какое же это редкое явление природы, если все могут наблюдать его где угодно. Васька же утверждал, что раз дело в физике, в простом разложении солнечного спектра нижними слоями атмосферы, то оно может случиться и на озере, были бы эти слои достаточно плотны да чист горизонт.

Но тут в погранотряде начали строить вышку для прыжков в воду, потом приятели занялись отработкой стиля кроль, который у них не ладился, и опыты были забыты, но зеленый

луч так и остался для Алеши символом океана и всего, что связано с его простором. И порой в закатный час, когда солнце медленно опускалось над краем степи, ровной, как само море, сладкая, манящая тоска сжимала сердце Алеши. Он представлял себе это же солнце над живым простором океана, и ему казалось, что в первый же раз, когда он увидит его там, из воды навстречу ему блеснет волшебный зеленый луч, как бы подтверждавая, что счастье наконец достигнуто, если он, Алеша, выбрал своим жизненным путем желанный, манящий к себе океан... И, может быть, эти видения взяли бы верх, если бы следующее лето не разъяснило ему, чем же именно привлекает его к себе море.

Приехав в совхоз на каникулы, Алеша застал отца прихрамывающим. Оказалось, что Русалка, некогда топтавшая копытами в домике, чувствительно лягнула отца, когда он прижигал сбитую ее спину. Нога болела, и совхозный врач посоветовал Сергею Петровичу взять путевку в Сеченовский институт физических методов лечения в Севастополе. Отец сообщил об этом за вечерним чаем матери и, хитро подмигнув, сказал, что неплохо было бы поехать всем вместе, показать Алеше по дороге Москву и дать ему возможность посмотреть Крым, на что вполне хватит недавно полученных премиальных: У Алеши захватило дух, остановилось сердце, и, забыв проглотить горячий чай, он безмолвно поднял глаза на мать, ибо в столь важном семейном вопросе голос ее был решающий. И мать, видя в глазах его трепетную мольбу, согласилась, не подозревая, что означает эта мольба и к чему она приведет.

Все было как сон: поезд, станции, новые лица, Москва, Красная площадь, Мавзолей, не виданные никогда трамваи, шум, грохот, залитые светом улицы, снова поезд, поля, леса, тоннели, Крым, солнце... Все это смешалось и все было где-то в тумане памяти. Реальностью осталось одно: Черное море, огромное море, настоящее соленое море, просторное, шумящее, благословенное, долгожданное...

Оно ворвалось в сердце видением громадной бухты, блеснувшей в вагонном окне после какого-то длинного тоннеля. Темная ее синева лежала в белых и зеленых откосах скал, и не успел Алеша разглядеть, что за черточки и палочки чернеют на мягком синем шелке воды, как поезд повернул и бухта исчезла. И лишь потом, поднимаясь на трамвайчике в город вдоль обрывистого ската и рассматривая бухту во все глаза, Алеша понял, что черточки эти и были военные корабли.

И они стали центром его внимания все то время, которое он провел в этом городе флота и моря. Часами он просиживал на пристани с колоннадой, встречая и провожая военные шлюп-

ки и катера, или торчал на Приморском бульваре возле памятника затопленным кораблям, жадно всматриваясь в близко проходящие у бонов крейсера, миноносцы, подлодки. Деньги, которые Анна Иннокентьевна давала ему на кино, уходили на другое: он брал в яхт-клубе байдарку и делал на ней смотр кораблям, стоящим в бухте. Замирая от восторга, он медленно греб вдоль серо-голубых бортов линкора и крейсеров, останавливался, положив мокрое, теплое весло на голые ноги, и прислушивался к дудкам, звонкам, склянкам, горнам, к командам и песням, влюбленно впиваясь взглядом в орудия, шлюпки и мостики, готовый обнять и расцеловать каждую якорную цепь, свисающую в воду (если бы часовой у гюйса позволил байдарке подойти вплотную).

Алеша дорого дал бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на таинственную жизнь за чистыми голубыми бортами, и, покачиваясь на байдарке, мечтал о чуде. Чудес было множество — на выбор. Мог, например, вылететь из иллюминатора подхваченный сквозняком секретный пакет? Он вылавливает его из воды и доставляет командиру. Мог, скажем, во время купания начать тонуть краснофлотец? Он спасает его, кладет на байдарку и доставляет командиру. Или с бакштова отрывается шлюпка и ее несет в море, — он нагоняет ее, берет на буксир и доставляет командиру. Диверсант на такой же байдарке мог вечером подкрадываться к борту с адской машиной? Он задерживает его и доставляет командиру... Все чудеса обязательно заканчивались стандартным свиданием с командиром и его вопросом: что же хочет Алеша в награду? Тут он скромно говорит, что ему ничего не нужно, кроме разрешения осмотреть корабль или (здесь даже в мечтах Алеша сомневался, не перехватил ли он) согласия взять его с собой на поход.

Но чудо не приходило, а дни проходили, и пора было оставлять Севастополь. И вдруг за пять дней до отъезда чудо — невероятное и простое, как всякое настоящее чудо, — само свалилось на голову.

В выходной день Алеша сидел на пристани на своей любимой скамейке у колонн. Звучало радио, светило солнце, темной синевой лежала за ступенями бухта, и далекой мечтой виднелись там корабли. От них то и дело отваливали баркасы и катера: был час праздничного увольнения на берег. Краснофлотцы, выскакивая из шлюпок, мгновенно заполняли всю пристань, потом взбегали по ступеням и растекались по площади. Сверху, от колоннады, казалось, что с бухты на пристань накатывается мерный прибой: ступени то исчезали под белосиней волной моряков, то появлялись, яркие платья девушек крутились в этой волне, словно лепестки цветов, подхваченных набегающим валом. Скоро прибой кончился, а на краю пристани

все еще пестрел букет платьев и ковбоек, и Алеша понял, что это очередная экскурсия на корабли, ожидающая катера.

Он с острой завистью посмотрел на шумную группу молодежи. Ужасно все-таки быть неорганизованным одиночкой!.. Какие-то девчонки, которым что зоосад, что крейсер, попадут сейчас на корабль, а он... И, увидев, что три «девчонки», устав дожидаться на солнцепеке, побежали к его скамье, встал, собираясь уйти, как вдруг одна из них приветливо поздоровалась и назвала его по имени. Он узнал в ней Панечку, медицинскую сестру, ухаживавшую за отцом в санатории. Она заговорила с ним о скором отъезде, стала спрашивать, все ли успел он в Севастополе посмотреть, но тут их перебил юноша в ковбойке, подошедший со списком в руках. Он спросил, не видели ли они какого-то Петьку. Девушки сказали, что Петька, верно, проспал по случаю выходного, и Алеша, не сдержавшись, буркнул, что такого Петьку мало за это расстрелять. Девушки расхохотались, юноша удивленно на него посмотрел, а Панечка объяснила, что это Алеша Решетников, пионер с Алтая. Юноша в ковбойке оказался работником горкома комсомола, и с ним можно было говорить как мужчина с женщиной. Алеша отвел его в сторонку и выложил ему всю душу (проделав это, впрочем, в крайне быстрых темпах, ибо катер с крейсера уже приближался). Тот ответил, что лишнего человека он взять не может, но что если Петька опоздает...

Петька опоздал — и чудо свершилось.

В комнатку, которую они с матерью снимали возле санатория, Алеша вернулся к вечеру в таком самозабвенном, открытом восторге, что мать спросила, что такое случилось. И Алеша тут же честно признался ей во всем: и в дружбе с Васькой, и в походах по озеру, и в любви своей к морю, и в том, что теперь, побывав на крейсере и пощупав своими руками орудия, он уже окончательно, твердо, бесповоротно понял, что после школы ему одна дорога — в училище имени Фрунзе. Мать заплакала и заговорила о том, что на море тонут. Алеша засмеялся, обнял ее поласковее и сел рядом с ней. Они провели один из тех вечеров, которые так драгоценны в дружбе матери с взрослеющим сыном, — вечер откровенностей, душевных признаний, слез, сожалений, готовности к взаимным жертвам, — и Анна Иннокентьевна обещала ему не мешать в его разговоре с отцом.

Разговор этот Алеша отложил до возвращения в совхоз: нельзя же было в вагоне, при чужих людях, говорить о том, что переполняло сердце. И только там, на Алтае, повидавшись сперва с Васькой и доведя себя рассказами о Севастополе и о крейсере до последнего накала, Алеша решился поговорить

с отцом. Но все время что-то мешало: то у отца было неподходящее настроение, то сам Алеша чувствовал себя «не в форме» для такого серьезного разговора, то колебался, говорить наедине или привлечь в союзники мать. И разговор все откладывался и откладывался, пока не возник сам собой в тот день, когда отец, отправляясь на горный выпас совхозного стада, предложил Алеше прокатиться с ним верхом.

На втором часу пути степь перешла в лесистое взгорье. Все выше и гуще становились пихты, ели, сосны, и наконец всадники въехали в старый сосновый бор. Сухой зной степи сменился свежей прохладой, и притомившиеся кони пошли бок о бок медленным шагом, осторожно ступая по мягкому и скользкому ковру прошлогодней хвои, желтевшей у подножий мощных колонн. Величественная тишина стояла под высоким сводом ветвей, и после ослепляющего простора степи все здесь казалось погруженным в полумрак. Лишь порой проникавший сюда солнечный луч, узкий и яркий, вырывал из него муравейник в глубокой впадине между корнями, поросший мхом пенёк с лужицей застоявшейся в нем коричневой воды или блестел на крупных каплях янтарной смолы, стекающей по стволу, — и все, чего касалось солнце, вдруг обретало краски и объем, кидалось в глаза и задерживало на себе взгляд. Алеша, покачиваясь в седле, долго любовался этой игрой света молча и вдруг усмехнулся. Отец взглянул на него сбоку:

— Ты чему?

— Мыслям...

— А именно?

— Так их разве расскажешь? — засмеялся Алеша и повернул к отцу оживленное лицо. — Ну вот у тебя бывает так, что все вдруг сразу понятно и ясно? Будто как сейчас: ударило солнце в муравейник — он и виден, а не ударило бы — так и пройдешь мимо...

— Чтобы все понятно, этого не бывало, — улыбнулся отец, — а кой о чем догадываться случалось... Только, конечно, не вдруг.

— Нет, именно вдруг, — упрямо повторил Алеша, — именно вдруг... Мучился-мучился человек, думал-думал, колебался, не знал, как решить, и вдруг — раз! — и открылось... И оказывается, все очень просто... А главное — ясно! Так ясно, так легко, что прямо кричать хочется. — И он в самом деле закричал звонко и счастливо.

Конь под ним шарахнулся, и Сергей Петрович, сдерживая своего, засмеялся, любуясь сыном: такое откровенное счастье было на его загорелом лице, так блестели глаза и такая решимость была во всем его тонком и хрупком, еще не сложившемся теле, наклонившемся в седле, что, казалось, дай только волю —

и ударит Алеша коня и умчится к видимой ему одному далекой и прекрасной цели, только что открывшейся для него, не понимая, что цель эта — просто юношеская мечта, привидевшаяся в горячке воображения, мираж, который растает в воздухе, едва заведет человека в пустыню, где тот долго будет оглядываться и искать, что же так прекрасно и сильно манило его к себе и что завлекло его сюда... Сергей Петрович любил в сыне эту способность мгновенно загораться, но в глубине души считал ее опасной чертой характера, могущей быть причиной многих жизненных ошибок.

— Эк тебя надирает! — сказал Сергей Петрович, все еще улыбаясь. — Счастливый у тебя возраст... Ну ладно, как говорится, «простим горячке юных лет и юный жар и юный бред»... Только имей в виду: такому наитию, брат, грош цена. Решение должно в самом человеке созреть, а не с неба свалиться.

— Да ты не понимаешь! — досадливо отмахнулся Алеша. — Я и не говорю, что с неба. Человек перед этим долго думал и мучился, а тут... Скачок, понимаешь? — добавил он важно. — Переход количества в качество...

— Вон что! Тогда понятно, — так же важно ответил отец. — И какой же в тебе произошел скачок?

Он спросил совершенно серьезным тоном, но в глазах его Алеша увидел искорки смеха, и это его подхлестнуло: неужели отец все еще считает его мальчиком, неспособным к раздумьям, колебаниям и решениям! И неожиданно для самого себя Алеша заговорил о том, что «открылось» ему в Севастополе на палубе крейсера.

Сергей Петрович слушал его, не прерывая и даже не поворачивая к нему лица. Опустив голову и глядя прямо перед собой меж прядающими ушами коня, он молча следил за тем внезапным потоком слов, который вырвался наконец из самого сердца Алеши. Это были удивительные слова мечты и надежды, исполненные юношеской горячности и одержимости, целая поэма о море, кораблях и орудиях, развернутый трактат о воинском долге мужчины, страстное исповедание веры в свое призвание. Алеша говорил негромко и взволнованно, устремив взгляд в полумрак бора, будто видел в нем мерещившиеся ему просторы. И, только выложив все и закончив тем, что жизненный путь избран им навсегда и что путь этот — военный флот, Алеша повернулся к отцу.

И тогда острая жалость стиснула его сердце: у Сергея Петровича, ссутулившегося в седле, был совсем несчастный вид. Минуты две они ехали молча, только легкий треск сухих игл под копытами, пофыркивание коней да позвякивание стремян нарушали тишину леса. Алеша проклинал в душе и эту тишину, настроившую его на откровенность, и солнечные пятна,

напомнившие о прекрасном и легком чувстве там, на палубе крейсера, когда ему вдруг все «открылось». Оживление его как рукой сняло, и он ехал, молчаливо мучаясь: зря завел он этот разговор, все отлично обошлось бы как-нибудь само собой, со временем, и не было бы у отца этого убитого вида, который хуже всякого гнева и крика... Алеша уже готов был сказать какие-то ласковые слова, чтобы поддержать отца, который, несомненно, очень тяжело переживает эту новость, когда тот, по-прежнему глядя между ушами коня, негромко сказал:

— Так, брат... Выходит, ты и в самом деле вырос... Рановато, конечно, в пятнадцать лет всю свою судьбу решать, но против рожна, видно, не попрешь... Значит, решил ты всерьез?

— Да,— виновато сказал Алеша.

— Ну что ж, дело твое. У меня к тебе один только вопрос: ты вполне уверен, что тянет тебя именно военный флот?

— Вполне,— сказал Алеша, собрав всю свою убежденность.

— А не море?

— Что — море? — спросил Алеша, настораживаясь: все, что, казалось, бесследно исчезло в Севастополе — океаны, плаванья, словом, «зеленый луч», — снова встало перед ним. Походило, будто отец подслушал самые тайные (и самые грозные) его сомнения.

— Ну, море. Просто море. Вода, волны, простор, путешествия. Стихия заманчивая и прекрасная, такой и впрямь можно увлечься.

— Ну, и море, конечно... Нельзя быть военным моряком и не любить моря: это одно и то же...

— Теперь ты меня не понимаешь,— серьезно сказал отец и впервые поднял на него взгляд.— Я хочу знать, хорошо ли ты в себе разобрался, что именно тебя привлекает. Может, просто-напросто тебе плавать хочется? По морям побродить, мир посмотреть, а?

— Видишь ли...— смутился Алеша и тут же нагнулся подтянуть стремя.— До Севастополя я и сам путался... наверное, потому, что военные корабли только на картинках видал... А там... Ну, я ж тебе только что говорил: это совсем-совсем особое чувство...

Он наконец выпрямился, подняв покрасневшее не то от натуги, не то от смущения лицо, и закончил, уже овладев собой:

— Теперь-то я твердо знаю: именно военные корабли... И потом, ты сам подумай: ну, пойду я в Совторгфлот, похожу по океанам, привыкну к торговому пароходу, полюблю его, а война бахнет — и пожалуйста бриться... Нет уж, раз все равно воевать придется, так лучше заранее научиться, как... И лучше воевать на море, чем в пехоте, верно ведь?

Алеша залпом выложил свои последние доводы, но Сергей Петрович на них не ответил. Он снова уставился взглядом меж ушей коня, на этот раз тихонько насвистывая, что означало у него сдерживаемое раздражение. Потом горько усмехнулся:

— Н-да... Прямо, брат, как в сказке: и все прялки во дворце попрятали, и прясть во всем царстве запретили, а дочка сама веретено нашла, укололась — и папаше все-таки на сто лет компот устроила... — Он помолчал и вздохнул. — Одно мне удивительно: откуда в тебе этот интерес к войне взялся? В городе ты его набрался, что ли? В школе или в пионеротряде?

Алеша обиделся.

— Что значит — набрался? — сказал он, чувствуя, что начинается спор, который ни к чему не приведет. — Фашисты все равно нападут — рано или поздно, это ясно всем, кроме тебя. Война же обязательно будет.

— Ну хорошо, пусть будет, черт с ней совсем! — так же резко перебил его Сергей Петрович и снова посвистал, пощипывая бородку.

Потом, успокоившись, продолжал раздумчиво и негромко:

— Но ведь ты понимаешь, что одно дело — взяться за оружие в час опасности, когда за горло схватят, а другое — быть военным-профессионалом. Вдобавок командиром. Тут, брат ты мой, нужно быть человеком совсем особой складки. Одного желания для этого маловато. Для командира требуются задатки, определенный характер, способности... Ничего этого я в тебе не вижу. Вот помнишь, как ты о войне разорялся?

— Помню, — сказал Алеша, снова покраснев. — Так я же мальчишкой тогда был...

— Не в том, брат, дело. Для тысяч мальчишек это в порядке вещей: ну, росла корова, зарезали ее и съели — подумаешь, трагедия! А для тебя это оказалось прямо-таки потрясением. Отчего? Хочешь ты или не хочешь, а сидит в тебе любовь ко всякой жизни, и сидит глубже, чем сам ты предполагаешь... Это, брат, с детства: чудесный огонек помнишь? Вернется это к тебе с возрастом — ох, вернется! — да поздно будет. И увидишь ты себя несчастным человеком, который чувствует, что не своим делом занимается. Не позавидую я тебе, когда ты на это открытие наткнешься. Страшное, брат, дело — в собственной жизни раскаиваться...

Он покачал головой, нахмурился и значительно поджал губы, потом снова заговорил негромко и доверительно:

— Мне вот тоже когда-то было совершенно ясно, что я непременно должен стать врачом. Годы на это положил — учился, дипломы получал, потом людей мучил и сам мучился, пока

не понял, что это вовсе не мое дело: ни таланта во мне к этому, ни охоты настоящей, ни смелости, ни упорства, а так — лечу людей, потому что чему-то учился, а вдохновения во всем этом шиш... Всякое дело, Алеша, надо делать страстно, убежденно, веря, что оно для тебя единственное. А я годы в чужой сбруе ходил... Уж и ты народился, а я все врачом ковырялся. И плохим врачом... Пока не понял, что настоящее мое дело — скот разводить. Через скот людям помогать жить, а не припарками да микстурами, в которых я ни бе ни ме... Только тогда смысл своей жизни понял — и вздохнул, будто из каторги на волю вырвался. А кто же мне эту каторгу устроил? Сам... Но мне-то можно было бросить одно дело и заняться другим, что по душе оказалось, а тебе будет трудновато. Командир, брат,— это дело такое: назвался груздем, полезай в кузов до конца жизни. Вот ты о чем подумай, прежде чем жизнь решать... Небось тебе это в голову не приходило, а?

Алеша молчал. Что ему было ответить? Снова говорить о своей мечте? Но легкие, радостные слова, которые только что так свободно и весело срывались с языка, вдруг отяжелели и потускнели, и никакая сила в мире не заставила бы его снова заговорить так, как он недавно говорил отцу о флоте. Он молчал, упрямо смотря перед собой.

И отец, видимо, понял, что происходило в нем, потому что вдруг протянул к нему руку и ласково пожал ему локоть.

— А впрочем, я тебя не отговариваю,— сказал он совсем другим тоном.— Да и чего отговаривать: чужой опыт, как известно, никого еще не убеждал. Так уж человек устроен, что ему свою стенку собственным лбом прошибать хочется. Раз тебе кажется, что это настоящее твое призвание, что ж, спорить не стану. Решай как знаешь... А пока что давай позавтракаем, благо тут тень...

Три дня Алеша был в самом лучшем настроении — все обошлось неожиданно просто: спорить, убеждать, доказывать оказалось совсем не нужно. Но все же разговор в лесу оставил в нем странное чувство растерянности и неудовлетворенности. Получилось так, будто он изо всех сил навалился на дверь, думая, что ее подпирают плечом с той стороны, а она внезапно распахнулась, и он с размаху влетел в пустую комнату, где вместо ожидаемого противника увидел в зеркале самого себя. И лесной разговор и последующие неизменно заканчивались тем, что Сергей Петрович предоставлял Алеше полную свободу выбора. А это было хуже всего, потому что вопрос отца: «А не просто море?» — опять поднял в нем целый ворох давнишних размышлений и сомнений.

Чтобы укрепиться в своей мысли о военном флоте, Алеша поделился с Васькой доводами отца, умолчав, впрочем, обо

всем том, что именовалось у него «зеленым лучом», так как раскрыть Ваське свою смутную мечту об океанах означало немедленно схлопотать какое-нибудь ядовитое словечко, вроде «безработного Колумба».

Васька, как и следовало ожидать, подошел к вопросу со свойственной ему прямолинейностью: Сергей Петрович — просто упрямый старик (хотя тому было немногим за сорок), который эгоистически боится за жизнь сына и прикрывает это всякими теориейками, пахивающими «беспочвенным пацифизмом». Впрочем, зоотехнику простительно говорить о каком-то особом складе характера и врожденных задатках, якобы необходимых для командира: все это только отрывок биологической теории отбора и этой... как ее... секреции (Васька хотел сказать «селекции», но в негодовании перепутал слово). Однако прислушиваться к этим теориейкам, конечно, опасно, и на месте Алеши он решил бы вопрос четко, по-командирски: немедленно порвал бы с семьей, переехал до зимы в погранотряд, а зимой устроился бы жить при школе, чтобы не отравлять сознания разговорами с теткой, которую Сергей Петрович, понятно, сумеет соответственно настроить.

Такие крайние меры никак не устраивали Алешу, и, успокоив Ваську тем, что отец, собственно, не протестует, а только предоставляет ему решать самому, он больше не заводил разговора о своих сомнениях. И беседы их на «вельботе» вернулись к обсуждению пути на флот. Путь этот был ясен: как только их примут в комсомол, они сразу же заговорят о путевках в училище имени Фрунзе, чтобы их кто-нибудь не опередил. Впрочем, кому-кому, а им-то, лучшим активистам военно-морского дела, горком, несомненно, путевки забронирует...

По возвращении в город они пошли в горком комсомола разузнать обо всем. Путевки им действительно обещали, но тут же предупредили, что рассчитывать на них могут только отличники (которыми друзья отродясь не бывали). Кроме того, выяснилось, что путевка, собственно, дает лишь право держать вступительные экзамены в училище, на которых за каждую вакансию борются шесть-семь, а в иной год и все десять таких же отличников-комсомольцев. Поэтому пришлось сильно навалиться на учебу, и зима пролетела незаметно. Подошла весна — и Алеша снова приехал на лето домой, в совхоз.

За эту зиму Сергей Петрович подготовил новый, тщательно обдуманный ход. Отлично понимая, что, если в это решающее лето — последнее перед окончанием школы — ему не удастся переубедить сына, тот пойдет по пути, о котором он не мог думать без глубокой тревоги за его судьбу. Все в нем восставало при мысли, что Алеша избирает пожизненную профессию командира. В этом протесте смешивались различные чувства.

Тут была и горечь, что сын не понимает и не хочет понять его, и боязнь, что это незрелое юношеское увлечение, в котором Алеша будет потом запоздало каяться, и простой отцовский страх за его жизнь.

Но отговаривать, убеждать, протестовать — значило только сделать хуже: он вспоминал самого себя в этом же возрасте и понимал, что противодействием можно только разжечь желание и укрепить решение Алеши. Поэтому он пустил в ход иное, сильное средство.

Глава четвертая

В середине июня директорский «газик» привез со станции необычного для алтайского совхоза гостя — высокого и полного, немолодого уже моряка в белом кителе с четырьмя золотыми обручами на рукавах, веселого, громкоголосого, пахнущего душистым трубочным табаком и морем: и сам он и все его вещи были пропитаны запахом смоленого троса, угольного дыма, свежей краски и еще чего-то неуловимого, что трудно было определить, но что сразу же перенесло Алешу на палубу севастопольского крейсера. Он поразился, каким образом мог так долго сохраниться на госте этот удивительный корабельный запах, но на другое же утро выяснил, что причиной его был какой-то необыкновенный одеколон со штормующей шхуной на этикетке, которым гость протирает после бритья крепкие розовые щеки и крутую шею и который он купил сам не помнил, в каком порту.

Это был капитан дальнего плавания Петр Ильич Ершов, давний друг семьи. Алеша знал о нем только по рассказам отца и по тем шуткам, которыми тот смущал иногда мать, напоминая ей, как в свое время она мучилась, за кого же ей выходить замуж — за Сережу или за Петро. Появление его в совхозе объяснилось за обедом: вкусно уминая пирог, Ершов рассказал, что получил назначение на достраивающийся новый теплоход «Дежнев» и что ему пришло в голову воспользоваться переездом из Владивостока в Ленинград, чтобы повидаться с друзьями, поохотиться и отдохнуть недельку в степи — вдали от всякой воды, которая ему порядком надоела.

Само собой понятно, что Алеша с места по уши влюбился в Петра Ильича. Как и большинство пожилых моряков, Ершов умел и любил порассказать, а ему, за тридцать лет исходившему почти все моря и океаны, было что вспомнить. Неведомая Алеше жизнь тружеников моря — лесовозов, танкеров, черно-рабочих грузовых пароходов, скоростных пассажирских лайнеров — все яснее и привлекательнее открывалась перед ним.

Знакомое и дорогое видение севастопольской бухты и сероголубых кораблей в ней, которое жило в его сердце, тускнело и отступало, заволакиваясь туманами Ла-Манша, захлестываясь высокими валами океанских штормов, заслоняясь пальмами Африки и нью-йоркскими небоскребами. За обедом он дрейфовал во льдах Арктики, за ужином штормовал в Бискайке, засыпал у экватора на танкере, идущем в Бразилию, и просыпался на каком-нибудь лесовозе в Портсмуте. Все когда-либо прочитанные им Стивенсоны, Конрады, Станюковичи, Марлинские, Джеки Лондоны, фрегаты «Паллады» и «Надежды», «Пятнадцатилетние капитаны» и капитаны Марриоты снова ожили в нем с силой чрезвычайной, и все в мире свелось к Ершову, к рокочущему его голосу и его упоительным рассказам.

Отец наблюдал эту внезапно вспыхнувшую дружбу с удовлетворенным видом исследователя, который убеждается в правильном течении поставленного им опыта. И по тому, как благожелательно слушал он за столом Ершова и даже сам навел его на новые рассказы о плаваниях, Алеша догадывался, что капитан появился в совхозе вовсе не случайно. Однако хитрая политика отца ничуть не обидела его. Напротив, в глубине души он был даже благодарен ему за такой поворот дела. Наконец-то стало вполне ясно (и на этот раз неопровержимо!), кем же следовало быть ему, Алеше: конечно, штурманом, а потом капитаном дальнего плавания!.. И лишь в те редкие часы, когда Петр Ильич уходил гулять вдвоем с отцом, а он, пожираемый ревностью, оставался один, ему вспоминался Васька Глухов, их планы и мечты о военном флоте, горком комсомола и путевки в военно-морское училище... Если бы не эти укоры совести да не самолюбие, он давно бы признался Ершову в своем новом решении и начал бы расспрашивать о том, как поступить в морской техникум.

По счастливому повороту событий, надобность в таком признании отпала. Судьба (или отец?) снова пошла навстречу Алеше.

Незадолго до отъезда капитана Сергей Петрович за обедом завел разговор о том, долго ли придется Ершову быть в Ленинграде, и тот ответил, что, к сожалению, проторчит всю зиму. Поругав наркомат, который заставляет его заниматься совсем не капитанским делом, Ершов сказал, что он, конечно, отвертелся бы от этого назначения, если бы не заманчивые перспективы. Дело в том, что «Дежнев» предназначен для тихоокеанского бассейна, а так как в Средиземке нынче безобразничают фашисты, то, если к весне с ними в Испании не покончат, вести «Дежнева» во Владивосток придется не через Суэцкий канал, а вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды. В наши времена такой редкостный походик не так уж часто случается, и про-

пускать его просто глупо. И тут же Петр Ильич начал подробно рассказывать о маршруте — Портсмут, Кейптаун, Мадагаскар, Сингапур, Гонконг — и вдруг, осененный внезапной мыслью, посмотрел на Алешу и спросил, не хочет ли он пройтись на «Дежнев» без малого кругом света.

От неожиданности Алеша подавился пельменем и лишился языка. Ершов расхохотался:

— Ну чего ты на меня уставился? Проще простого... Ты школу когда кончаешь?

— В июне, — сказал Алеша, проглотив наконец пельмень.

— Добре. Раньше и «Дежнев» испытаний не закончит.

И он сразу же начал строить планы, оказавшиеся вполне реальными.

Переход «Дежнева» займет около двух месяцев. Готовиться к экзаменам в Военно-морское училище имени Фрунзе Алеша сможет и на судне, а иметь у себя за кормой до начала военной службы добрые двадцать тысяч миль и накопить морской опыт будет, пожалуй, неплохо. Только, понятно, без дела на судне болтаться нечего, и уж если идти в поход, то не пассажиром, а, скажем, палубным юнгой: так и ему пользы больше будет, и с оформлением легче...

Дни, оставшиеся до отъезда волшебного гостя, прошли в каком-то счастливом и тревожном чаду. Алеша, растерянный, ошалевший, изнемогающий от избытка счастья, ходил за Ершовым по пятам, влюбленно смотрел ему в глаза и в тысячный раз допытывался, не пошутил ли он. Но какие там шутки! Все было обговорено и обсуждено на различных частных совещаниях и потом утверждено на общем семейном собрании: сдав в школе последний экзамен, Алеша тотчас же едет в Ленинград и включается в экипаж «Дежнева» при одном, впрочем, условии, что школу он кончит отличником (требование это было выставлено Сергеем Петровичем, который выразил опасение, что зимой Алеша будет целыми вечерами сидеть над атласом мира, забыв об учении).

При этих обсуждениях Алеша сильно кривил душой, умалчивая об одном существенном обстоятельстве: прикидывая, когда «Дежнев» должен прийти во Владивосток, чтобы Алеша успел в Ленинград к началу экзаменов в военно-морское училище, все считали крайним сроком половину августа. Между тем самому Алеше отлично было известно, что экзамены начинаются гораздо раньше и, кроме того, нужно учитывать еще и двенадцать дней дороги до Ленинграда (о чем почему-то все забывали). Получалось так, что к экзаменам он поспевал лишь в том случае, если «Дежнев» придет во Владивосток не позднее половины июля, чего никак не могло произойти. Но обо всем этом Алеша предпочитал не говорить, ибо тогда пришлось

бы признаться, что военно-морское училище его теперь совершенно не интересовало.

Алеша прекрасно понимал, что этот сказочный поход и поступление той же осенью в училище имени Фрунзе несовместимы и приходится выбирать что-либо одно. И он выбрал «Дежнева» и все, что связано с ним: в далеком будущем диплом капитана дальнего плавания, а в самом ближайшем — мореходный техникум. Какой именно — во Владивостоке или в Ленинграде, сразу по возвращении «Дежнева» или через год, по экзамену или простым откомандированием с судна (Алеша уже привык заменять этим словом военное — корабль), — надо было обсудить с Петром Ильичом теперь же, но тогда приходилось признаваться ему в своем новом решении.

А как об этом заговорить? Нельзя же, в самом деле, взять и бухнуть: «Петр Ильич, а я, мол, оказывается, вовсе не на военные корабли хочу, а в Совторгфлот...» Вдруг Ершов расхохочется и начнет издеваться: «Что же, у тебя семь пятниц на неделе? Шумел-шумел, разорялся, отца расстроил — и вдруг на обратный курс?..»

И Алеша все откладывал разговор, поджидая удобного случая. Наконец он решил, что лучше всего будет поговорить с Ершовым в машине, когда тот поедет на железнодорожную станцию: за шесть-семь часов пути удобный случай всегда найдется. Поэтому он напросился проводить гостя. Ершов будто угадал его желание поговорить напоследок, потому что, распрощавшись со всеми и подойдя к «газику», поставил свой чемодан к шоферу, а сам сел на заднее сиденье с Алешей, растрогав его таким вниманием.

Время было уже к закату и жара спадала, когда из перелесков предгорья они выехали на шоссе, уходящее в степь широкой пыльной полосой, отмеченной частоколом телеграфных столбов. Древний тракт, помнящий почтовую гоньбу, был сильно побит грузовиками. Отчаянно прыгая и дребезжа, «газик» завилял от обочины к обочине в поисках дороги поровнее, и разговаривать по душам было невозможно. Алеша решительно наклонился к шоферу:

— Федя, давай через Ак-Таш, тут все кишки вытрясешь...

— А чий? — возразил шофер.

— Ну и что ж, что чий, его там немного... Сворачивай, вон съезд!

Машина скатилась с шоссе на колею проселка, едва заметную в низкой траве, и сразу пошла мягче и быстрее, но разговор все-таки не налаживался. Первые полчаса он перескакивал с одного на другое, и Алеше никак не удавалось навести его на свое, а потом и вовсе прекратился: проселок весь оказался в глубоких ухабах, «газик» резко сбавил ход и запылал так,

что Ершов закрыл платком рот. Колеса, проваливаясь в ямы, вздымали густые облака мелкой душной пыли, и она неотступно двигалась вместе с машиной, закрывая и степь и небо плотным серо-желтым туманом. Сквозь него виднелись только густые заросли высокой и жесткой, похожей на осоку травы, близко обступившей узкую дорогу.

Это и был чий — враг степной дороги.

В степи, как известно, дорог не строят: их просто наезживают раз за разом, пока травяной покров не превратится в плотную серую ленту накатанной дороги. Всякая трава гибнет под колесами покорно, но чий, который растет пучками, почти кустами, глубоко запуская в почву крепкие и длинные корни, мстит за свою гибель крупными, высокими кочками, и чем больше по ним ездят, тем глубже становятся между ними ухабы.

Все это Алеша, чихая и кашляя от пыли, извиняющимся тоном объяснил Ершову. Тот глухо ответил из-под платка:

— А чего же тебя сюда понесло? Уж на что шоссе дрянь, а такой пакости не было.

— Да тут кусочек, километров шесть...

— Спасибо,— буркнул Ершов.— Тоже мне штурман...

— Да нет, все правильно,— убежденно сказал Алеша.— Лучше уж тут потерпеть, чем по шоссе трястись... Она вся битая, быстро не поедешь, а тут — увидите, как дунем! Сами ахнете!

И точно, вскоре машина выбралась из чия и помчалась на запад по гладкой природной дороге, пересекающей степь напрямки, почти без поворотов. Ершов снял фуражку и облегченно подставил лицо ветерку, рожденному быстрым движением.

— Ф-фу, твоя правда,— сказал он, отдуваясь, и с удовольствием осмотрелся по сторонам.— Вон она, оказывается, какая — степь... Просторно, что в море!

Теперь, когда пыль отставала, крутясь за «газиком» длинным хвостом, однообразная огромность степи открылась перед глазами во всю свою ширь. Желто-зеленая гладь раскинулась во все стороны и, не заслоня неба ни гребнем леса, ни зубринами гор, сходилась с ним такой безупречно ровной линией, что она и впрямь напоминала о морском горизонте. Солнце висело над степью совсем низко; длинные тени тянулись от каждого бугорка, отчего становилось понятно, что степь, кажущаяся днем гладкой, как стол, на самом деле составлена из пологих холмов, плавно вздымающихся друг за другом, как застывшие волны. «Газик» взбирался на них и скатывался так незаметно, что уловить это можно было только по тому,

как он то погружался в тень, прячась от солнца, то вновь попадал в его мягкие по-вечернему лучи.

Петр Ильич усмехнулся:

— И зыбь совсем океанская... Увидишь сам, до чего занятно: штиль, вода будто зеркало, а встретишь судно — оно где-то внизу, вроде как под горой. Глазам не поверишь — вон куда тебя, оказывается, вознесло...

Знакомая просторная мечта поднялась в Алеше с неодолимой силой, как та волна, о которой говорил капитан, — могуче и вздымающе, и все в нем сладко заныло при мысли, что мечта эта близка к осуществлению. Все видения, связанные с океаном, обступили его тесной толпой, и можно было говорить о них как о чем-то доступном и возможном. От этой мысли Алеша счастливо улыбнулся.

— Петр Ильич, мы вот с Васькой спорили, — сказал он оживленно, — ведь правда, зеленый луч только в океане бывает? Вот вы, например, где его видели?

— Да нигде.

— Как — нигде? — поразился Алеша. — Столько плавали и ни разу не видели?

Ершов усмехнулся:

— Этот твой зеленый луч вроде морского змея: все о нем по-разному врут, а какой он на самом деле, никому не известно. Вот я и не знаю, видел его или нет.

— А что же вы видели?

— Зеленую точку. И не так уж редко. Потому и считаю, что зеленый луч наблюдать не сподобился. Вот есть такой мореходный деятель, капитан дальнего плавания Васенька Краснюков — ему шестьдесят лет, а он все Васенька, — так тот на каждом рейсе зеленый луч видит, да еще какой! Говорит, вырывается из воды прямо вверх, узкий, как луч прожектора, но держится мгновение; если в этот момент глазом случайно моргнешь, так и не заметишь его... Видно, все у него на палубе как раз в это мгновение и моргают, потому что каждый раз он один видит. Но в судовой журнал для науки обязательно записывает с широтой-долготой и давлением барометра... Впрочем, был и у меня случай увидеть, только не на закате, а на восходе, да я проспал. Матросы наши видели и вряд ли врал. В науке это не отмечено, потому что дело было в девятьсот десятом году на шхуне одесского грека Постополу, и записывать, понятно, никому и в голову не взбрело...

— А я вот раз тоже интересно заметил, — вмешался Федя. — Еду из Зайсана аккурат на закат, а небо все в облаках, только в одном месте...

— Да погоди ты! — нетерпеливо оборвал его Алеша. — Ну, и что они видели, Петр Ильич?

— Шли мы Суэцким заливом — грек наш семерых казанских купцов подрядился в Мекку на паломничество свозить, — я только что со штурвала сошел спать, а матросы вставали, седьмой час был. Как начало солнце всходить — а оно там из-за Синайских гор вылазит, — так все ахнули: и небо зеленым стало, и вода, и все на палубе, как мертвецы, зеленые. Говорят, секунду-две так держалось, потом пропало и солнце показалось. А я проспал. Но если о легенде говорить, будто зеленый луч только счастливому удастся видеть, то вышло наоборот: я вот еще плаваю, а грек со всеми матросами той же осенью утонул. И где: в Новороссийской бухте, у самого берега — бора с якорей шхуну сорвала и разбила о камни. А я только неделю как расчет взял. Вот тебе и легенда...

— Приметы — это пережиток, — авторитетно сказал Федя. — Взять кошку. Иной машину остановит и давай вокруг нее крутиться, чтобы след перейти, а я...

— Федя!.. — угрожающе повернулся к нему Алеша. — Дай ты человеку говорить, что у тебя за характер! А точка, Петр Ильич, как вы ее видели?

— Ну, это часто. Ты ее где хочешь увидишь, не только в океане. Я и на Балтике видел и на Черном море. Если горизонт чист и солнце в самую воду идет — следи. Как только верхний край станет исчезать, тут, бывает, она и появляется. Яркая-яркая, и цвет очень чистый. Будто кто на сильном свете изумруд просвечивает. Подержится секунду, а то и меньше, и погаснет. Иногда ярче видна, иногда послабее...

— Буду плавать — ни одного заката не пропущу, — убежденно сказал Алеша. — Когда-нибудь настоящий зеленый луч поймаю, вот увидите!

— У каждого человека своя мечта есть, — опять вмешался Федя. — У меня вот — птицу на лету машиной сшибить. Мечтаю, а не выходит. А вот Петров в погранотряде прошлой осенью беркута...

«Газик» вдруг зачихал, зафыркал, выстрелил несколько раз и остановился.

— Наелись все-таки пыли... Чертов чий! — сказал недовольно Федя и открыл дверцу. — Теперь карбюратор сымать.

Ершов тоже открыл дверцу и грузно шагнул в траву.

— Ладно, мы промнемся... Пойдем вперед, Алеша.

Все складывалось как нельзя лучше: конечно, вести серьезный разговор в присутствии словоохотливого Феди было трудно. Но, отойдя от машины, когда ничто уже не мешало, Алеша продолжал молчать. Молчал и Петр Ильич, неторопливо набивая на ходу трубку, и все вокруг было так тихо, что шорох травы под ногами или треск колючки, попавшей под каблук,

казались неуместно громкими. Алеша даже поймал себя на том, что ему хочется идти на цыпочках.

Удивительный покой стоял над вечерней степью. Пустое, без облаков, небо, до какой-то легкости, почти звонкости высушенное долгим дневным зноем, еще сохраняло в вершине своего купола яркую синеву, но ближе к закатной стороне все более бледнело, желтело и, наконец, становилось странно бесцветным. Казалось, будто там солнце по-прежнему продолжало выжигать вокруг себя все краски, хотя лучи его, нежаркие, вовсе потерявшие силу, даже не ощущались кожей лица. Теплый воздух был совершенно недвижим, и поднимающийся от разогретой земли слабый запах высохших по-июньски трав явственно ощущался в нем, горьковатый и печальный.

От этого запаха, от уходящего солнца, от медленного молчаливого шага Алешу охватило грустное и томительное чувство, предвестие близкой разлуки. Ему уже не думалось ни об океане, ни о «Дежнев», ни о сказочном походе вокруг света, ни даже о том, что сейчас в разговоре с Ершовым надо решить свою судьбу. Он шел, опустив глаза, следя, как распрямляется желтая, упругая в своей сухости трава, отклоняемая ногами Ершова, и ему казалось, что вот-вот ноги эти исчезнут где-то впереди и след их закроется вставшей травой, а он останется один, совсем один во всей громадной, пустынной, нескончаемой степи, в которой совершенно неизвестно, куда идти, как неизвестно ему было, куда идти в жизни, такой же громадной, нескончаемо раскинувшейся во все стороны.

С такой силой Алеша, пожалуй, впервые почувствовал горькую тяжесть разлуки. Сколько раз прощался он осенью с отцом и матерью, но мысль об одиночестве никогда еще не приходила ему в голову. Он мог скучать по ним, даже тосковать, но вот это чувство — один в жизни — до сих пор было ему совершенно неизвестно. Вдруг столкнувшись с ним, он даже как-то растерялся. Оно оказалось таким неожиданно страшным, наполнило его такой тоскливой тревогой, что он попытался успокоить себя. Ведь ничего особенного не происходит: ну, уедет Петр Ильич — останутся мать и отец, которых он любит, с которыми дружит, останется Васька Глухов, приятели в школе... Но тут же его поразила очень ясная мысль, что никому из этих людей он никогда не смог бы признаться в том, в чем готов был сейчас открыться Ершову, и что никто из них не сможет ответить ему так, как, несомненно, ответит Петр Ильич... Вместе с ним из жизни Алеши исчезало что-то спасительное, облегчающее, без чего будет невыносимо трудно. Уедет Петр Ильич, и он останется один. Совершенно один. И это как раз тогда, когда надо всерьез начинать жить...

А как жить... Кем?.. Может быть, эта новая мысль о

техникуме — ерундовая, ошибочная мысль, и вызвана она только жадным, бешеным желанием не пропустить возможности пошататься по океанам? Ведь почему-нибудь ноет же у него сердце, когда он думает о севастопольских кораблях, о сероголубой броне и стройных стволах орудий, да как еще ноет! Может быть, сама судьба послала ему это испытание, чтобы проверить, способен ли он быть стойким, убежденным в своих решениях командиром, человеком сильной воли, умеющим вести свою линию, а он... Где у него там воля! Ему скоро шестнадцать лет, а он ничего еще не решил. Все ждет, что кто-то или что-то ему подскажет, поможет, возьмет за ручку и поведет... Небось Пушкин в шестнадцать лет отлично знал, что делать... И Нахимов знал, и Макаров... И Чкалов в том же возрасте уже твердо решил стать летчиком, хотя это казалось недостижимым. Да что там Чкалов! Васька Глухов и тот выбрал себе путь и стойко держится своего... Один он какая-то тряпка, ни два ни полтора: то училище имени Фрунзе, то техникум...

— Петр Ильич,— сказал он неожиданно для самого себя.— Вот когда вам шестнадцать лет было, вы кем собирались быть?

Ершов, разжигая трубку, искоса взглянул на Алешу, подняв левую бровь. И в том, как он смотрел — ласково и чуть насмешливо,— и в полуулыбке губ, зажавших мундштук, было что-то такое, от чего Алеша смутился: походило, что Ершов отлично понимал, к чему этот вопрос. Трубка наконец разгорелась, и Петр Ильич вынул ее изо рта.

— Дьяконом,— ответил он и дунул дымом на спичку, гася ее.

Алеша обиделся:

— Да нет, правда... Я серьезно спрашиваю...

— А я серьезно и отвечаю. У меня батька псаломщиком был, только об этом и мечтал.

— Так это он мечтал, а вы сами?

— Я? — Ершов усмехнулся.— Мне шестнадцать лет в девятьсот седьмом году было. Тогда, милый мой, не то, что нынче: ни мечтать, ни выбирать не приходилось. Куда жизнь погонит, туда и топай. Вымолил батька у благочинного вакансию на казенный кошт, отвез меня в семинарию, а оттуда уж одна дорога...

У Алеши понимающе заблестели глаза:

— А вы, значит, убежали?

— Куда это убежал?

— Ну, из семинарии... на море!

— Вот чудак! — удивился Ершов.— Как же мне было бежать? Батька у нас вовсе хворый был — он раз на Иордани в прорубь оступился, так и не мог оправиться. Чахотку, что ли,

нажил — каждой весной помирать собирался. А нас шестеро. И все, кроме меня, девчонки. Только и надежды было, когда я начну семью кормить. Тут, милый мой, не разбегаешься... Да ни о каком море я тогда и не думал.

— Так почему же вы моряком стали?

— Я же тебе объясняю: жизнь. Приехал я на каникулы — мы в сельце под Херсоном жили, приход вовсе нищий, с хлеба на квас, — а отец опять слег. Меня к семнадцати годам вот как вымахало — плечи во! — я и нанялся на мельницу мешки таскать, все ж таки подспорье. А отец полежал да и помер. Меня прямо оторопь взяла: еще три года семинарии осталось; пока я ее кончу, вся моя орава с голоду помрет. Думал-думал, а на мельнице грузчики говорят: «Чего тебе, такому бугаю, тут задешево спину мять? Подавайся в Одессу, там вчетверо выколотишь, а главная вещь — там и зимой работа: порт». Ну, я и поехал. Сперва в одиночку помучился, а потом меня за силу в хорошую артель взяли. Осень подошла — я на семинарию рукой махнул: сам сыт и домой высылаю. А к весне меня на шхуну «Царица» шкипер матросом сманил, тоже за силу. Сам он без трех вершков сажень был, ну и людей любил крупных: парус, говорил, хлипких не уважает. Вот так и началась моя морская жизнь: Одесса — Яффа, Яффа — Одесса; оттуда — апельсины, а туда — что бог даст. Походил с ним полтора годика, ну и привык к воде. С судна на судно, с моря на море — вот тебе и вся моя жизненная линия.

Алеша вздохнул:

— Значит, у вас все как-то само собой вышло... А вот когда самому решать надо...

— А что ж тебе решать? — спокойно возразил Петр Ильич. — Ты уже решил — и на всю жизнь. Да еще батьку переломил — он мне порассказал, какие у вас споры были. Молодец, видать, в тебе твердость есть...

— Какая во мне твердость! — горько усмехнулся Алеша. — Я, Петр Ильич, если хотите знать... Словом, так тут получилось... Ну, вы сами все понимаете...

— Ничего не понимаю, — прежним спокойным тоном ответил Ершов.

— Чего вы не понимаете? — с отчаянием воскликнул Алеша. — Вы же видите, что я... что мне... В общем, изменник я, вот что! Настоящий изменник: товарищам изменил, школе, военным кораблям, сам себе изменил, своей же клятве...

В голосе его зазвучали слезы, и Ершов, взглянув на побледневшее лицо Алеши, хотел сказать что-то успокаивающее, но тот продолжал говорить — взволнованно, путано, сбивчиво, обрывая самого себя, совсем не так, как собирался вести этот серьезный мужской разговор. Он повторил Ершову все, чем

пытался успокаивать и самого себя: конечно, в горьком комсомола понимают, что не всем морякам обязательно быть военными, в школе же будут просто завидовать и говорить, что ему повезло в мировом масштабе... Даже Васька Глухов, мысль о котором больше всего беспокоила его, и тот, сперва осмелев и наговорив кучу самых обидных вещей, подумав, скажет, что отец очень здорово все подстроил — этот козырь перекрыть нечем, и надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой походик... Значит, все как будто хорошо получалось, но почему же у него такое чувство, будто он собирался сделать что-то не то?..

Впрочем, Алеша довольно ясно чувствовал, в чем именно упрекала его совесть. Объяснить это можно было одним словом, но оно никак не годилось для душевного разговора. В нем была официальность и излишняя книжная торжественность, совсем не подходившая к случаю, и сказать его по отношению к самому себе было даже как-то не очень удобно, однако другого он найти не мог.

Это слово было «долг».

Когда оно вошло в разговор, Ершов посмотрел на Алешу с каким-то серьезным любопытством, будто в устах юноши, почти еще подростка, это суровое, требовательное слово приобретало неожиданно новое значение. И даже после, слушая Алешу, он то и дело взглядывал на него, как бы проверяя, не ослышался ли.

Между тем ничего особенного тот не говорил. Он рассказывал о том, как два года назад они с Васькой поклялись друг другу стать командирами военно-морского флота («Будто Герцен с Огаревым», — усмехнувшись, добавил Алеша). Может быть, тогда получилось это по-мальчишески, но с течением времени он стал все яснее понимать и острее чувствовать неизбежно надвигающуюся, неотвратимую опасность войны. Тут и начались его колебания: в глубине души он мечтал о торговом флоте, прельщавшем его дальними плаваниями, а мысль о неизбежности войны и сознание своего долга вынуждали готовиться к службе на военных кораблях. Наконец у него словно камень с души свалился: это было тогда, когда первое знакомство с крейсером в Севастополе победило в нем неясную, но манящую мечту об океанах. Почти год он был спокоен — все шло правильно, — но «Дежнев» опять спутал все.

Понятно, дело сейчас заключалось вовсе не в том, что из-за «Дежнева» он нарушает свою детскую клятву. Все было серьезнее и важнее: ведь, отказываясь стать флотским командиром, он уклоняется от выполнения своего долга комсомольца, советского человека — быть в самых первых рядах защитников родины и революции. Вот, скажем, если бы он не чувствовал

неотвратимого приближения войны с фашизмом (как почему-то не чувствуют этого многие, взять хотя бы отца), если бы не начал с детских лет готовиться к тому, чтобы посвятить жизнь военно-морской службе, ну, тогда можно было бы говорить о том, что не всем же быть профессионалами-военными и что кому-то надо заниматься и мирными делами. Но раз он видит угрозу войны, понимает ее приближение, для него уход на торговые суда — просто нарушение долга.

И, наверное, поэтому-то у него так нехорошо на душе, хотя, по совести говоря, конечно, «Дежнев» и все, что связано с ним, ему ближе, роднее и нужнее, чем крейсер, о котором он перестал бы и думать, если бы не Васька и его напор. У Васьки ведь все четко, по-командирски, «волево», а на людей это здорово действует. Будь он сам таким, как Васька, наверное, не мучился бы: решил, мол, и все тут! А ему так паршиво, так неладно, прямо хоть отказывайся от «Дежнева». И, может быть, действительно так и надо сделать, чтобы все опять пошло правильно, но на это не хватает ни силы, ни решимости... И получается снова, как раньше: ни два ни полтора... В общем, зря отец все нагородил: Петра Ильича вызвал, «Дежнева» подстроил... Он, наверное, хотел помочь ему решиться, подтолкнуть его, но беда-то в том, что отцу никак не понять одной важной вещи: он все думает, что мысль о военном флоте — это блажь, детское упрямство, когда на самом деле это необходимость, обязанность, долг... Раньше он, Алеша, и сам не очень понимал это и разобрался во всем, пожалуй, именно из-за «Дежнева». Выходит, что «Дежнев» сработал совсем не так, как ожидал отец. Ну что ж, так ему и надо: ты борись по-честному, убеждай, доказывай... А «Дежнев» — это просто свинство; за такие штуки с поля гонят. Это же запрещенный прием!..

Ершов впервые за разговор усмехнулся.

— Ну, уж и свинство... Просто тактика. И батька твой тут ни при чем. «Дежнева» я тебе подсунул.

Алеша даже остановился:

— Вы?

— Ну да. Уговор у нас с ним был только агитацию наводить, с тем я и ехал. А узнал тебя поближе, смотрю — паренек стоящий, зачем нам морячка уступать?.. Вот и решил для верности забрать на походик, а в океане ты сам поймешь, зачем на свет родился...

Искренность, с которой Ершов открыл карты, поразила Алешу, и он почувствовал в горле теплый комок. Что за человек Петр Ильич, до чего же с ним легко и просто! А Ершов, посасывая трубку, продолжал с мягкой усмешкой:

— Так что на батьку своего ты не злишь. Он, во-первых,

человек умный, а во-вторых, очень тебя любит. Чего он добивается? Чтоб ты дал сам себе ясный отчет: чего же хочешь от жизни? И, пожалуй, он прав. Сам посуди: можно ли тебе уже верить как человеку сложившемуся, если ты увидел крейсер и решил: «Военная служба», а показали «Дежнева» — наоборот: «Иду на торговые суда»!

— Не дразнитесь уж, Петр Ильич,— умоляюще сказал Алеша,— и сам знаю, что я тряпка!

— Да нет, милый, не тряпка, а, как говорится, сильно увлекающаяся натура. Тряпка — это человек безвольный, неспособный к действию, а ты вон как руля кладешь — с борта на борт! Только, по-моему, ты и сейчас на курс еще не лег. Раз тебя что-то грызет — значит, нет в тебе полной убежденности, что иначе поступить никак нельзя. А раз убежденности нет, какая же решению цена?

— А как же узнать, убежденность это или еще нет? — уныло спросил Алеша.— Вон после Севастополя уж как я был убежден!

Ершов успокоительно поднял руку:

— Не беспокойся, узнаешь! Само скажется. И ничего тебя грызть не будет, и никакие сомнения не станут одолевать, и на всякий свой вопрос ответ найдешь, а не найдешь, так ясно почувствуешь, что иначе нельзя, хотя объяснить даже и самому себе не сможешь... А разве тогда у тебя так было?

— Нет,— честно признался Алеша.

— То-то и есть. Кроме того, когда человек убежден, он просто действует, а не копается в себе. Колеблется тот, кто еще не дошел до убежденности. Вот и ты: раз еще думаешь — так или этак,— значит, решение в тебе не созрело, ты сам ни в чем еще не убежден. Ну и подожди. Решение придет.

— А если не придет?

— А это тоже решение,— улыбнулся Петр Ильич,— только называется оно «отказ от действия». Но ты-то, повторяю, не тряпка и решение обязательно найдешь. Не сам отыщешь, так жизнь поможет. Вот я тебе «Дежнева» и подсунул: поплавай, осмотришь, примерься...

— Так что же тут примеряться, Петр Ильич? — вздохнул Алеша.— Раз «Дежнев» — значит, с боевыми кораблями всё...

— Почему же это?

Алеша запоздало спохватился, что заговорил о том, чего вовсе не собирался касаться.

— Ну, так уж оно получается,— уклончиво ответил он. Ершов пожал плечами:

— Уж больно решительный вывод. Для того тебе «Дежнева» и предлагаю, чтобы ты разобрался.

— Да, Петр Ильич, мне не там разбираться надо, а здесь.

Ведь пойду на нем плавать — на крейсер уж никак не вернусь.

— Вон как! Что же тебе «Дежнев» — монастырь? Постригся — и всему конец, так, что ли?

— Не очень так, но вроде, — принужденно усмехнулся Алеша. — Ну, в общем, решать все приходится именно теперь, а не в плавании...

— Непонятно почему. Говори прямо, что-то ты крутишь!

— Так я же и говорю: раз «Дежнев» — это уже не на лето, а на всю жизнь...

— Вот заладил! — недовольно фыркнул Ершов. — Да кто тебя там держать будет? Ну, почувствуешь, что это не по тебе или совесть тебя загрызет, — сделай милость, иди в училище имени Фрунзе! При чем тут «на всю жизнь»!

Алеша невольно опустил глаза и замедлил шаг, чтобы, несколько отстав от Ершова, скрыть от него свое смущение и растерянность. Ответить что-либо было чрезвычайно трудно.

Дело заключалось в том, что у него был свой тайный расчет. Довольно быстро поняв, что предложение пойти в поход на «Дежнев» было ловушкой, Алеша решил использовать хитрость отца в своих собственных целях. Для этого следовало делать вид, что ничего не замечаешь, согласиться «поплавать летом», а потом как бы неожиданно для себя очутиться перед фактом невозможности попасть к экзаменам в Ленинград и — ну раз уж так вышло! — волей-неволей идти в мореходку в самом Владивостоке... Тогда получилось бы так, будто профессию торгового моряка он выбрал не сам, а принудили его к тому обстоятельства. Иначе говоря, Алеша старался сделать то, что делают очень многие люди: избежать необходимости самому решать серьезнейший вопрос и свалить решение на других. Поэтому-то он и молчал, не зная, что ответить, так как ему приходилось либо откровенно сознаться в своем тайном и нечестном замысле, либо солгать.

И он собрался уже сказать что-нибудь вроде того, что он-де не додумал, что Петр Ильич, мол, совершенно прав, — словом, как говорится, замять разговор и отвести его подальше от опасной темы. Но опущенный к земле взгляд его опять заметил, как распрямляется трава, отклоняемая ногами Ершова, закрывая следы, и сердце снова невольно сжалось тоскливым и тревожным чувством, что вот-вот следы эти исчезнут и он останется один на один с собою, а разговор этот нельзя уже будет ни продолжить, ни возобновить целый долгий год. И ему стало безмерно стыдно, что драгоценные последние минуты он готов оскорбить фальшью или ложью... Нет уж, с кем, с кем, а с Петром Ильичом надо начистоту, без всяких уверток...

Одним широким шагом Алеша решительно нагнал Ершова и взглянул ему прямо в лицо.

— Петр Ильич, да как же я «Дежнева» после такого похода брошу? — воскликнул он в каком-то отчаянии откровенности. — Я еще ни океана не видел, ни одной мили не прошел, а о крейсере и думать перестал. Что же там будет? Ну ладно, предположим, на «Дежневе» решу, что все-таки надо идти в училище имени Фрунзе. Так ведь, Петр Ильич, я же не маленький и отлично понимаю, что к экзаменам никак не успею. Это же факт: хорошо, если к сентябрю вернемся! Значит, год я теряю. А что я этот год стану делать? Дома сидеть? Или опять на «Дежневе» плавать? А зачем, если решил на военный флот идти? Так, для развлечения, потому что время есть? Нет, Петр Ильич, я верно говорю: раз «Дежнев» — значит, на всю жизнь. Да вы и сами это понимаете... Вот я и решил, честное слово, решил: иду в мореходку — и очень доволен, что именно так решил, все правильно! Вот только внутри что-то держит, не пускает. То есть не что-то, а чувство долга, я уже сказал... И так мне трудно, Петр Ильич, так трудно, и никто мне помочь не сможет, кроме меня самого... А что я сам могу?..

Он махнул рукой и замолчал. Ершов тоже помолчал, разжег потухшую трубку, потом серьезно заговорил, взгляды-вая иногда на Алешу, который шел рядом, снова опустив голову:

— Вот ты сказал — долг. Попробуем разобраться. Долг — это то, что человек должен делать, к чему его обязывает общественная мораль или собственное сознание. Военский долг — это обязанность гражданина ценой собственной жизни с оружием в руках защищать свое общество, свою страну. У нас и в Конституции сказано, что это священная обязанность. От этой священной обязанности ты никак не уклоняешься, если идешь на торговый флот. Ты и сам знаешь, что там тебя обучат чему нужно и сделают командиром запаса военноморского флота, а во время войны, если понадобится, поставят на мостик военного корабля. Выходит, что ты своему воинскому долгу ничем не изменяешь. Тебе и самому, конечно, это ясно, и говоришь ты, видимо, совсем о другом долге. Не о долге советского гражданина, а о своем, личном, к которому обязывает тебя не общественная мораль, а собственное понимание исторического хода вещей. Так, что ли?

— Так, — кивнул головой Алеша.

— Тогда давай разберемся, что именно ты считаешь для себя должным. Я так понял, что ты очень ясно видишь неизбежность войны с фашизмом. Ты даже считаешь, что видишь это яснее других. Те, мол, не понимают этой неизбежности

и потому могут спокойно заниматься строительством, науками, обучением детей, даже искусством. А ты знаешь, что́ ожидает и всех этих людей и все их труды, и не можешь ни строить, ни учить, ни плавать по морям с грузами товаров, потому что тобой владеет ясная, честная, мужественная мысль: ты должен стать тем, кто будет защищать и этих людей и их мирный труд. Ну, а раз так, то надо научиться искусству военной защиты. А этому, как и всякому искусству, учатся всю жизнь. Следовательно, надо получить военное образование и стать командиром, то есть посвятить этому важному, благородному делу всю свою жизнь. Вот это ты и считаешь своим долгом, который обязан выполнить, а если уйдешь на торговые суда, то изменишь своему долгу. Так?

— Так,— снова кивнул Алеша, с нетерпением ожидая, что будет дальше.

Ему показалось, что, если уж Петр Ильич так здорово разобрался в его мыслях, значит, наверняка знает и какой-то облегчающий положение выход. Он даже поднял глаза на Ершова, как бы торопя его.

Но тот неожиданно сказал:

— Ну, раз так, тогда ты совершенно прав: никто тебе не поможет, кроме тебя самого.

На лице Алеши выразилось такое разочарование, что Ершов усмехнулся, но закончил снова серьезно:

— А как же иначе? Сам ты этот долг на себя принял, сам только и можешь снять. Вот если на «Дежнев» ты поймешь, что в жизни может оказаться и другой долг, не менее почетный и благородный, который заменит для тебя тот, прежний, тогда все эти упреки исчезнут. Во всех остальных случаях они тревожить тебя будут, и ничего с этим не поделаешь, сам ли ты себя уговаривать станешь, другие ли тебе скажут: «Да иди ты, мол, плавать, не думай о военном флоте!» Это все равно что о белом медведе не думать.

— О каком медведе? — рассеянно спросил Алеша, занятый своими мыслями: получалось, что все опять валилось на него самого, даже Петр Ильич не знает, чем помочь.

— Это знахарь один мужика от грыжи лечил: сядь, говорит, в угол на корточки, зажмурь глаза и сиди так ровно час, через час вся болезнь выйдет. Только, упаси бог, не думай о белом медведе — все лечение испортишь. Вот тот весь час и думал, как бы ему не подумать невзначай о белом медведе. Нет, уж если тебя лечить, так совсем наоборот: надо, чтоб ты о своем белом медведе побольше думал. Вот тебе на «Дежнев» время и будет. Кто знает, вдруг ты там обнаружишь, что не такой уж это великий соблазн — океанское плавание, чтобы ради него поступиться своим долгом. Да и своими глазами

увидишь старый мир, которого ты и не нюхал, а это для политического развития — занятие весьма полезное. Возможно, к твоей мысли о неизбежности войны кое-что и добавится, укрепит ее. Убедит тебя в твоей правоте, что не путешествиями по морям-океанам надо развлекаться, а всерьез к защите готовиться... Может так случиться, тут-то настоящая убежденность в тебе и возникнет. Правда, цена этому — потерянный год. Но, во-первых, это вовсе не потеря, а приобретение морского опыта, который и командиру пригодится. А во-вторых, одно другого стоит: ну, станешь командиром годом позже, зато настоящим командиром, убежденным в том, что другого дела ему в жизни нет. Вот так-то, милый мой: уж коли на всю жизнь — давай всерьез и решать, то есть не сейчас, а своевременно, и не вслепую, а с открытыми глазами... Ну, что-то наш «газик» застрял, уж солнце садится.

Петр Ильич остановился и обернулся к машине. Они отошли уже довольно далеко, но можно было различить, что Федя копошится почему-то не в моторе, а под «газиком», лежа на земле.

— Вон что твой чий наделал, этак еще и к поезду опоздаешь, — укоризненно покачал головой Ершов. — А впрочем, в машине мы бы по душам не поговорили... Ну, так что ты молчишь? Видно, не согласен с тем, что я говорю?

— Да нет, наверное, согласен, — раздумчиво ответил Алеша. — Видимо, все это правильно...

— Энтузиазма не отмечается, — улыбнулся Ершов и, полюбив Алешу, ласково встряхнул его за плечи. — Эх ты, многодумный товарищ! Не мучайся ты никакими изменами, до измены еще очень далеко! И пойми простую вещь: от «Дежнева» тебе отказываться никак нельзя. Лучше от того не будет ни тебе, ни военному флоту, наоборот, тебе испортит жизнь, а флоту — командира. Как бы ты ни любовался собой — вот, мол, чем пожертвовал для идеи! — а внутри будешь себя проклинать, — значит, и служить не от души станешь. Пройдемся еще, нагонит.

Они медленно двинулись вдоль накатной колеи дороги. Солнце, ставшее теперь громадным багровым шаром, уже коснулось нижним краем горизонта и начинало сплющиваться; небо над ним постепенно приобретало краски — желтую и розовую, густеющие с каждой минутой, и неподалеку от солнца заблестало расплавленным золотом неведь откуда взявшееся крохотное круглое облачко.

Рассеянно глядя на него, Алеша шел молча, пытаюсь разобраться в себе. Странно, но беседа эта успокоила его, хотя он сам лишил себя уловки, облегчавшей его положение, и теперь вынужден был решать действительно сам — по-честно-

му, не сваливая на других. Удивительно радостное чувство облегчения возникало в нем, и он понимал, что этому чувству неоткуда было бы взяться, не появившись в его жизни Петр Ильич.

Капитан, шагавший рядом тоже молча, сказал вдруг тоном сожаления:

— А с «Дежневым»-то я, кажется, и в самом деле что-то неладное наворотил. Видишь ли, я думал, дело обычное: ну, играет мальчик в пушечки, предложить ему пройтись по трем океанам — вопрос и решен. Никак не мог я предполагать, что у тебя с крейсером так всерьез. И, может, зря я тебе душу смутил, не надо было в твою жизнь соваться. Уж ты меня извини. Пожалуй, «Дежнев», честно говоря, и вправду свинство...

Признание это прозвучало так откровенно и просто, так по-товарищески, что у Алеши дрогнуло сердце.

— Петр Ильич, — сказал он, подняв на капитана блестящие от волнения глаза и всячески стараясь говорить спокойно и сдержанно, — Петр Ильич, вы даже сами не знаете, как все правильно получилось... Очень здорово все вышло! Ну, в общем, конечно, в поход я пойду, а там выяснится, куда мне жить...

Алеша хотел сказать «куда идти», но слова сейчас отказывались его слушаться. Однако нечаянное выражение ему понравилось, и он повторил его уже сознательно:

— Я ведь все пытался решить тут, теперь же, куда жить. А разве здесь угадаешь? Если бы не вы, я бы никогда этого не понял... Так что я вам очень... ну, очень благодарен... И за то, что приезжали, и за все...

— Добре. Тогда хорошо, а то я уж подумал: вдруг все тебе испортил, — сказал Ершов и улыбнулся. — Ну, давай в степи зеленый луч искать!

Алеша рассмеялся. Они остановились, провожая взглядом солнце. Багровая горбушка его быстро нырнула за край степи без всякого намека на изменение цвета.

— Считай: раз!.. — поддразнил Петр Ильич. — Когда увидишь, телеграфируй: мол, на пятьсот сорок втором наблюдении замечен зеленый луч. В науку войдешь...

Сзади раздался хриплый сигнал «газика», и оба одновременно обернулись.

— Что ж ты застрял? — недовольно спросил Алеша, когда Федя затормозил возле них. — Минутное дело — карбюратор продуть, а ты...

— Болтик упал, — хмуро пояснил Федя. — Тут же трава. Пока всю степь на пузе облазил — вот тебе и минутное дело... Хорошо еще, нашел, а то прошлый год...

— Ну ладно, поехали, посхали! Жми на всю железку. Петр Ильич беспокоится — поезд...

— Поспеем,— ответил Федя и, едва они сели, должно быть, и впрямь нажал на всю железку: «газик» с места помчался по темнеющей степи так, что у обоих захватило ветром дыхание.

Первые три недели после отъезда Ершова прошли для Алеши в удивительном внутреннем покое. Правда, вначале он все боялся, что та радостная уверенность в будущем, которая возникла в нем тогда, в степи, вот-вот исчезнет. Но, к счастью, необыкновенное это состояние не проходило, а, наоборот, с каждым днем все более крепло, становилось своим, привычным. Вскоре Алеша заметил, что оно как бы обновлялось всякий раз, когда он начинал думать о той беседе с Петром Ильичом. Тогда в сердце подымалась теплая волна, а в сознании возникала не очень ясная, но растроганная, благодарная и словно бы улыбающаяся мысль: как здорово все получилось и до чего же правильно, что есть на свете Петр Ильич Ершов, капитан дальнего плавания! И не успевал он додумать это до конца, как чувство радостного спокойствия и уверенности овладевало им с еще большей силой.

Впервые Алеша мог смотреть в будущее без тревожного беспокойства. Все теперь представлялось ему простым, осуществимым, возможным, только бы иметь в этом будущем рядом с собой Петра Ильича, чтобы всегда можно было получить ответ, пусть иногда насмешливый, но всегда объясняющий и потому спасительный. И тогда ждущая впереди жизнь, сложная, полная трудновыполнимых требований, непонятная еще жизнь, станет простой и ясной, не будет ни сомнений, ни колебаний...

Но об этом, так же как и о беседе с Петром Ильичом и об их уговоре, Алеша не говорил ни отцу, ни Анне Иннокентьевне. Что-то мешало ему быть откровенным: то ли внутренняя целомудренность, которая препятствует порой человеку говорить о некоторых движениях души даже с очень близкими людьми, суеверная ли боязнь, что драгоценное для него новое чувство тотчас улетучится, если о нем сказать вслух, а может быть, просто ревнивое мальчишеское желание скрыть от всех замечательные свои отношения с Петром Ильичом. Так или иначе, дома и не подозревали, что он решился отказаться от мысли о военном флоте.

Тем более не касался он всего этого при встрече с Васькой Глуховым, к которому собрался лишь на десятый день. Он не только не поделился с ним новостью о «Дежнев» (Петр Ильич на прощание посоветовал держать ее при себе до того, как подтвердится возможность устроить его юнгой), но даже о самом пребывании у них такого необыкновенного гостя

сообщил вскользь, мимоходом. Вообще встреча приятелей, первая за это лето, прошла как-то вяло. По обыкновению, они сразу же пошли на «вельботе» в поход, но к ночи вернулись: игра явно потеряла свою увлекательность — не то оба выросли, не то Васька чувствовал, что Алеша чего-то недоговаривает, а тот с трудом заставлял себя держать обещание, данное Ершову.

Поэтому утром он с облегчением сел на велосипед и отправился домой, увозя, впрочем, ценнейшую для него сейчас добычу: атлас мира, только что полученный по подписке Васькиным отцом. Едва перелистав карты, Алеша тут же выпросил его на недельку, соврав, что готовит к осени доклад на военно-морском кружке о стратегических базах империалистических флотов. Атлас был необычайного формата, размером с газетный лист, и его никак не удавалось пристроить ни к багажнику, ни к раме. Алеша решился было держать его всю дорогу под мышкой, но Васька предложил ему «присобачить» атлас на спину вроде панциря черепахи. Сравнение это Алеша оценил уже на втором часу езды, когда скорость велосипеда заметно снизилась, но нисколько не раскаивался в том, что повез этот громадный фолиант.

Атлас стал первым его другом и собеседником. Алеша мог сидеть наедине с ним целыми часами, изучая вероятный маршрут «Дежнева» и стараясь вообразить, что таят в себе условные очертания островов, капризные зазубрины береговой черты, алые извивы теплых течений, синие пучки трансокеанских линий, мелкий шрифт бесчисленных названий. Скоро у него появились свои любимцы. Это была, во-первых, «Карта океанического полушария», построенная в такой хитрой проекции, что на нее попали лишь белое пятно Антарктиды, куцый хвостик Южной Америки да Австралия с Новой Гвинеей и Борнео. Все же остальное пространство этой половины земного шара было залито благородной и вольной синевой трех океанов — Тихого, Атлантического, Индийского, и, когда Алеша всматривался в нее, у него захватывало дух: так величественна и громадна была эта соленая вода, где темнели километровые глубины глубокой голубизной сгущенной краски.

Другим любимцем оказалась «Карта каналов и проливов». Крупными бесценными жемчужинами они нанизывались на то волшебное ожерелье, которым путь «Дежнева» охватывал Евразийский материк от Ленинграда до Владивостока: Зунд, Каттегат, Скагеррак, Па-де-Кале, Ла-Манш, Мозамбик, Малаккский, Сингапурский, Фуцзянский, Цусимский... Названия эти звучали как стихи. Глядя перед собой затуманенным мечтою взглядом, Алеша повторял их наизусть, и перед ним, накреньясь, неслась по крутым волнам шхуна под штормовым вооружением.

Впрочем, она была не видением грезы, а картинкой на этикетке того флакона, который позабыл Петр Ильич или просто бросил, так как одеколону в нем было чуть на донышке. Алеша нашел его по возвращении со станции и тут же поставил к себе на стол. Порой он вынимал пробку, удивительный корабельный запах снова распространялся по комнате, и тогда казалось, что Петр Ильич бреется у окна и за спиной вот-вот раздастся его рокочущий голос.

Вскоре Алеша не на шутку начал тосковать по нему и потому страшно обрадовался, когда наконец пришло из Ленинграда письмо.

В нем Ершов суховато сообщал Сергею Петровичу, что обстановка несколько изменилась: его срочно посылают в рейс, не очень длительный, хотя и хлопотливый, отчего ему пока не пришлось разузнать, как будет с Алешей, но так как капитаном «Дежнева» он остается, то по возвращении надеется все уладить и получить согласие начальства.

В письме ясно чувствовались какие-то недомолвки. И тот внутренний покой, в котором жил Алеша все это время, исчез. Начало казаться, что с «Дежневым» ничего не получится: начнут гонять Петра Ильича с рейса на рейс, а там и вовсе забудут, что он капитан «Дежнева»... Алеша совсем было загрустил, но через два дня пришла открытка, адресованная уже прямо ему. На ней был белый медведь, житель Московского зоопарка, и короткая шутливая фраза: «Не думай о нем — и болезни конец!» Открытка была послана из Одессы, и Алеша понял, что это прощальный привет перед выходом в рейс. Он повеселел, посмеялся над своими опасениями насчет «Дежнева» и с прежним увлечением вернулся к атласу; отвезти его в погранотряд он никак не мог решиться, хотя обещанная «неделька» давно кончилась. Приближалось Васькино рождение, и он решил еще задержать атлас: не ездить же два раза подряд!

Утром седьмого августа он засел за атлас сразу же, как проснулся, чтобы напоследок заняться им всласть. Он попрощался со своими любимцами, еще раз проследил весь свой будущий путь, изученный уже основательно, и стал переворачивать одну страницу за другой. В этом занятии он не слышал, как в комнату вошел отец, и поднял голову только тогда, когда тот положил ему на плечо руку.

Сергей Петрович был бледен, губы у него как-то странно прыгали.

— Алеша, — сказал он негромко, не глядя на сына, — письмо тут пришло. Из Ленинграда.

У Алеши вдруг пересохло горло. Он молча смотрел на отца, торопя его взглядом.

— Петр Ильич погиб,— с трудом сказал Сергей Петрович и почему-то добавил: — Значит, вот так.

Он положил на атлас листок почтовой бумаги. Алеша прочитал короткое письмо, подписанное незнакомой фамилией, ничего не понял, заставил себя сосредоточиться и прочел еще раз. Только тогда до него начал доходить смысл.

Кто-то сообщал, что судно, которое Петр Ильич повел в рейс из Одессы в Барселону с грузом продовольствия для испанских детей, было торпедировано фашистской подводной лодкой. Четырех человек подобрал позже французский пароход, и эти люди рассказали, что взрыв пришелся прямо под мостиком, где был капитан.

Листок продолжал лежать на карте. По верхнему полю ее тянулся длинный заголовок: «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности». Алеша механически прочел эти слова несколько раз подряд и потом, избегая глядеть на листок, закрывавший Гренландию, перевел взгляд на середину карты, привычно следя за движением «Дежнева» вдоль берегов Европы и Африки.

Но все было залито кровью. Средиземное море, Бискайский залив, сам Атлантический океан — все было разных оттенков красного, кровавого цвета. Местами вода темнела сгустком свернувшейся уже крови, местами алела, словно текла из свежей раны. Везде, куда ни смотрел Алеша, была кровь. Материки купались в крови. Только безлюдная Арктика и такая же безлюдная Антарктида выделялись белыми и желтыми пятнами. Нигде не было благородной вольной синевы океанов. Материки купались в крови. Это что-то напоминало, что-то такое уже было. Ах да, бойня. Синей воды нет. В воде мины. А где плавать? В воде подлодки. Плавать-то где? Но почему все-таки все кровавое — и Атлантика и Тихий? Ах да. Это же средняя температура июля, а в июле жарко. Но войны же нет? Почему же взрыв прямо под мостиком, где был капитан? Ох, как хочется заплакать, а почему-то не хочется плакать! «Средние температуры воздуха в июле на уровне земной поверхности»... Жалко, что с «Дежневым» теперь уж не выйдет. Надо не об этом жалеть, а о Петре Ильиче. В общем, нужно, наверное, что-то сказать: стоит, ждет. Наверное, ему тяжело, все-таки друзья давно. «Средние температуры воздуха...»

— Ну, в общем, что ж тут сделаешь,— сказал наконец Алеша чужим голосом.— Наверное, ничего уже сделать нельзя. Я поеду. Обещал Ваське.

Он осторожно взял листок и, не глядя, отдал отцу. Потом закрыл атлас, но руки его не слушались — громадный альбом двинулся по столу и углом толкнул флакон со штормующей шхуной на этикетке. Флакон упал на пол, и тотчас же по ком-

нате распространился удивительный корабельный запах смоленого троса, угольного дымка, свежей краски. Алеша ахнул и кинулся к флакону. Горлышко его было отбито, и последние капли одеколona вытекали на пол, пропадая в щелях досок. И, словно только сейчас поняв то, что произошло, Алеша упал лицом на флакон и зарыдал отчаянно, безудержно, бурно, не видя и не понимая ничего, кроме своего страшного, громадного, давящего горя.

Очнулся он в объятиях матери. Она не говорила никаких успокоительных слов — она просто гладила его по голове и порой наклонялась к нему, легко касаясь губами затылка, но постепенно Алешей овладевала усталость и тяжелый не-радостный покой. Он в последний раз судорожно всхлипнул, потом встал и пошел к умывальнику.

— Так я все-таки поеду к Васе, — сказал он, обернувшись. — Ты не беспокойся, все уже прошло.

— Когда вернешься?

— Не знаю. Дня через три, как всегда.

— Если лучше, поезжай.

Алеша долго, с неестественной аккуратностью обертывал атлас газетами, потом привязал к нему лямку и перекинул ее через плечо. Анна Иннокентьевна вышла его проводить.

За совхозной рощей, как раз в том направлении, куда надо было ехать Алеше, темнела огромная, в полнеба, туча.

— Алешенька, остался бы, — сказала мать, беспокойно глядя на него, — куда ж ты поедешь, гроза же непременно будет!..

— Надо, мама, — ответил он с непривычной для Анны Иннокентьевны твердостью. — А вот дождевик, пожалуй, возьму.

Он снял в сенях брезентовый плащ, затянул его в ремни багажника, обнял мать и уехал, придерживая локтем громоздкий свой груз. Лохматый Буян увязался было за велосипедом, но, раздумав бежать по такой жаре, гавкнул: «Счастливого пути!» — и опять развалился в пыли, высунув язык.

Анна Иннокентьевна долго стояла у крыльца, глядя вслед. Дорога начиналась в самом совхозе, уходя в степь прямой стрелой, и Алешу видно было до тех пор, пока он не превратился в пятнышко, различить которое на черном фоне тучи стало уже невозможно. Но, и потеряв его из виду, она все еще с тяжелым и тревожным чувством всматривалась в темную громаду, которая как бы поглотила в себе ее сына.

Туча и в самом деле была необычайна. Черно-коричневая в середине и серо-фиолетовая по краям, она вылезала из-за горизонта, словно какое-то гигантское чудовище, готовое навалиться на степь, чтобы крушить, ломать, давить все, что

окажется под тяжелым его брюхом. В мрачных недрах ее что-то пошевеливалось, ворочалось, будто перед тем, как начать разрушительные действия, там разминались под толстой кожей могучие мышцы. Солнце освещало тучу сбоку, и потому громадная объемность ее хорошо ощущалась и шевеление это было особенно заметно: из середины к краям выползали переваливающиеся клубы, уплотнялись и, в свою очередь, выпускали из себя новые клубящиеся массы, непрерывно увеличивая размеры тучи. Порой в ее толще чуть видимой тонкой нитью голубого света сверкали беззвучные молнии.

И это пошевеливание, и эти мгновенные молнии, и неостановимое увеличение размеров — все было угрожающим, злоеющим, бедственным. И, хотя над совхозом солнце светило ярко и беспечно, небо бездонно голубело и жаркий ленивый воздух не двигался, было понятно, что далекая эта безмолвная еще туча в конце концов нависнет и над совхозом и что гроза обязательно будет. А Алеша, конечно, попадет в нее гораздо раньше.

Но не это тревожило Анну Иннокентьевну. Вещим сердцем матери она чуяла, что тяжелый нынешний день произвел в Алеше какой-то неизвестный ей переворот. Четверть часа назад на коленях ее лежал рыдающий мальчик, которого можно успокоить ласковым объятием, а сейчас на велосипед сел мужчина, принявший свое, мужское решение, о котором она не знала, но которое ощущала во всем: и в твердом его тоне, и в том, что он поехал навстречу грозе, хотя, видимо, она будет страшной. Но ни удержать, ни вернуть его было уже не в ее силах.

И она стояла у крыльца, глядя в степь, где давно уже исчез Алеша, стояла и глядела, как через несколько лет будут стоять и глядеть вслед своим сыновьям сотни тысяч матерей...

Догадка ее была верна. Конечно, по степи навстречу грозе ехал уже не прежний Алеша. Теперь, когда первое тупое ошеломление горем прошло и первая судорога отчаяния отпустила сердце, он мог уже осмыслить происшедшее. Он мужественно попытался определить размеры своего несчастья. Они были невозможно громадны: только что сломалась вся его будущая жизнь. Потерян друг, первый взрослый друг. Рухнула мечта об океанах. Думать об этом было так же ужасно, как и бесполезно.

Тогда он заставил себя думать о будущем. Что же делать и куда теперь жить? Но он никак не мог представить себе будущего. Еще утром оно было видно вперед на целые годы, до диплома штурмана дальнего плавания во всяком случае, а сейчас... Дальше сегодняшнего вечера мысли его не шли. Вот приедет к Ваське, расскажет все, может быть, тогда что-нибудь станет ясно. Но что может сказать Васька? Нет, надо

искать самому. Никто ему не поможет, кроме его самого. Петр Ильич верно сказал. Значит, надо думать.

И Алеша думал — настойчиво, стиснув зубы, наперекор всему, что болело в сердце и повергало в отчаяние. Подобно погорельцу, который, бродя по пожарищу, отыскивает, что же уцелело от огня, он искал в своей опустошенной душе то, с чем можно было продолжать жить.

Сперва ему казалось, что найти хоть что-нибудь годное среди обломков детства, взорванного час тому назад, невозможно. С печальным удивлением он вспоминал клятву на озере, серо-голубой севастопольский крейсер, спор с отцом в сосновом бору, военно-морской кружок, хлопоты с Васькой в горькоме о путевках... Все это было наивным, мальчишеским, все было звеньями распавшейся цепи. Потом в сознании его всплыло суровое и требовательное слово «долг». И тогда звенья эти неожиданно стали соединяться. Задымленные взрывом, залитые кровью, они снова складывались в цепь, порвать которую было уже невозможно.

Мысль за мыслью, довод за доводом в нем созревало решение. Оно не было новым. Новой была та убежденность, которую Алеша впервые в жизни ощущал в себе всем своим существом и о которой, наверное, и говорил ему Петр Ильич. Вот она и пришла, пришла сама, и он тотчас угадал ее, как те, кто, никогда еще не испытав любви, угадывает ее приход. Ни в объяснениях, ни в доводах не было надобности. Была одна чрезвычайная простота: иначе нельзя. Вот и все, все доводы и доказательства. Он знал, что другого для него в жизни нет.

Нет — потому, что в жизни нет жизни. Нет — потому, что делать, создавать, совершенствовать что-либо немислимо, если над тобой, над всей жизнью висит вот такая набухшая молниями туча. Она не может развеяться, она должна разразиться грозой, которая уничтожит все, что ты делал, убьет твоих друзей и тебя. «Гроза же непременно будет», — сказала мать. Удивительно, как люди видят грозу и не видят войны! Она вроде этой тучи. Ведь где-то там, у озера, уже гремит гром, льет ливень, и если здесь еще жара и солнце, так это не значит, что грозы нет. Впрочем, и сам он не понимал этого до сих пор. «Война непременно будет» — вот что он понимал. А оказывается — не будет, а есть. И все дело лишь в том, успеет ли он занять свое место в строю, когда туча придвинется сюда, где солнце и тишина.

Так решающий этот час в жизни Алексея Решетникова навсегда связался в его представлении с видением зловещей тучи, в недрах которой шевелилась мрачная сила и проблескивали молнии.

Год за годом война придвигалась. Там, где он жил и учился,

была тишина и солнце; а где-то далеко, у озера Хасан, молния уже убивала и гром разрушал. Потом все чаще стали сверкать вокруг эти молнии, предвещавшие близость грозы: на реке Халхин-Гол, у Карпатских гор, в снегах Карельского перешейка, — пока июньской короткой ночью не разразился разрушающий, смертоносный ливень бомб и снарядов.

Глава пятая

Если в купе железнодорожного вагона потолок понизить до уровня багажных полок, само купе расширить настолько, чтобы между спальными полками разместились вдоль окна еще две, одна над другой, а свободное пространство занять столом с опускаемыми крыльями и двумя узенькими шкафами у дверей, в точности получится кормовое помещение сторожевого катера, носящее громкое наименование «кают-компания».

Как известно, кают-компания предназначена для принятия пищи, для отдыха, для занятий, но уж никак не для ночлега. Поэтому на катерах это помещение следовало бы называть просто шестиместным кубриком, ибо здесь по малости катера отведены места для сна боцману, старшине-минеру и старшине-радисту на нижних диванчиках и трем матросам — на верхних. Но поскольку на день верхние койки опускаются, образуя собой спинки дивана, уютно расположенного в виде буквы «П» вокруг стола, за которым можно обедать, пить чай или играть в шахматы и писать письма, то помещение это в конце концов исправно выполняет функции нормальной кают-компании.

Сходство с железнодорожным купе на решетниковском катере подчеркивалось еще и тем, что на ходу вся кают-компания тряслась мелкой непрерывной дрожью.

Это досадное свойство не было врожденным недостатком «СК 0944» — он получил его в бою, подобно нервному тикю после серьезной контузии. На больших оборотах правый гребной вал его приобретал надоедливую вибрацию, что сильно огорчало механика катера главного старшину Быкова, которому всякая неполадка в машине была как нож острый. В каких только переделках не побывал катер! Кажется, нельзя было найти на нем хоть один механизм, кабель или прибор, который так или иначе не пострадал бы в бою, — но все это было залечено, исправлено и доведено «до нормального порядочка» пожженными и изуродованными быковскими руками, умными и неутомимыми. И только эта контузия не поддавалась их искусству: для ликвидации «трясучки» катер следовало поднять на береговой эллинг, что можно было сделать только в главной базе, а это отняло бы много времени. Катер продолжал ходить с

«трясучкой», которая почти не сказывалась ни на скорости, ни на стрельбе. Но каждый раз, когда с мостика давали телеграфом «самый полный» и стрелка тахометра подползала к тому проклятому числу оборотов, при котором корму катера начинала трясти лихорадка хуже малярийной, Быков мрачнел и демонстративно переходил из отсека бортовых моторов к своему любимцу — среднему мотору, который, как и полагается всякому кореннику, отличался от горячих и своенравных пристяжных добросовестностью в работе и уравновешенностью характера.

Особенно сильно сказывалась эта тряска в корме, то есть в кают-компании. Все предметы на столе, позвякивая или побрякивая, бойко передвигались по линолеуму в разнообразных направлениях, пока не упирались в медный бортик по краям стола, специально сделанный Быковым. Поэтому многие из функций кают-компаний на походе отпадали. Писать письма, например, было бы неосторожно: родные, увидев дрожащий почерк и наскакивающие друг на друга буквы, могли решить, что любимый сын или муж заработал на катере сильнейшее нервное расстройство. Шахматы тоже бесполезно покоились в шкафчике с того дня, когда на «СК 0944» произошел редчайший в истории шахматной игры случай. Прокурор базы и флагманский врач, шедшие на катере «с оказией», вздумали провести время за доской, но в середине партии обнаружили, что стараться, собственно, нечего: оба короля давно уже получили мат. Произошло это потому, что ладьи, слоны, пешки и даже солидные ферзи, дружно отплясывая на доске во время размышлений партнеров диковинную кадрили, своевольно переменили позиции, позорно открыв противнику своих королей. Таким образом, в кают-компании «СК 0944» на походе можно было только принимать пищу, и то при условии самой скупой сервировки. Впрочем, ни командиру, ни его помощнику, ни механику на ходу было не до писем и шахмат, а случайным гостям предоставлялось коротать время по своему усмотрению.

На этот раз в кают-компании гостей было двое — командир группы разведчиков лейтенант Воронин и майор Луников, командир прославленного отряда морской пехоты, оба в ватных куртках и штанах, в грубых сапогах с низкими голенищами. Все, что было навешано на них, когда они появились на катере, — сумки, гранаты, каски, фонари, вещевые мешки, флаги, бинокли, автоматы, запасные диски, котелки, — теперь лежало грудой на диванчике левого борта. Казалось удивительным, что все это снято с плеч всего-навсего двоих.

Тому занятию, которое они нашли себе, «трясучка» нисколько не препятствовала: Воронин держал в руках карту крупного масштаба, а майор, подняв глаза к подволоку, неторопливо и обстоятельно описывал местность, по которой группе

придется пробираться ночью. Походило, будто на подволоке была копия карты, с такой точностью перечислял он приметные места, способные служить в темноте ориентиром: резкие повороты ущелья, по которому придется уходить от места высадки, аллею, ведущую к сгоревшим домам совхоза, откуда лучше взять прямо на север, чтобы пересечь шоссе в наиболее пустынном месте. Он добрался уже до виноградника, означавшего место безопасного подъема в горы, когда в кают-компанию вошел лейтенант Решетников.

— Складывайте карту, товарищ Воронин, хозяин кушать пришел,— сказал майор, двинувшись по дивану.

— Мы и гостей кормим,— улыбнулся Решетников, снимая ушанку.

— Да мы, собственно, кончили,— сказал Воронин, запихая карту в планшет.— До гор уже добрались, а там и рассвет застанет.

Майор посмотрел на него сбоку и усмехнулся, отчего сухая и как бы выветренная кожа худощавого лица собралась в уголках глаз в мелкие морщинки, что сразу изменило его выражение: напряженная сосредоточенность, с какой майор искал на подволоке детали невидимой карты, исчезла, и теперь оно было лукавым и хитровато-насмешливым.

— Кончили? — спросил он.— Это мы с вами пока без противника разгуливали, как на кроссе в Сокольниках... А если возле шоссе — помните, высотка там удобная — немцы заставу догадались выставить? Поищите-ка, лейтенант, куда нам тогда подаваться... Нет, нет,— остановил он его движение,— вы карту не трудитесь доставать, вы на нее уже насмотрелись. Припомните без карты.

Лейтенант Воронин поднял глаза к подволоку, будто отыскивал там магическую карту майора, но, видимо, для него она оказалась что-то не очень разборчивой, так как он вздохнул и покрутил головой:

— Трудновато, товарищ майор...

— А если на берегу придется вспоминать? Тут-то легче: никто не стреляет и не торопит... Вспоминайте, лейтенант, пока время есть. Карта у командира должна вся в мозгу быть, мало ли что! А если вы ее потеряете?

— Я старшине Жукову вторую дал,— обиженно сказал Воронин.

— Подумаешь, сейф нашли... А если ваш Жуков на мину наступит? Нет уж, давайте-ка без карты, а я пойду погуляю, пока светло...

Воронин откинулся на диване и плотно закрыл глаза — очевидно, так вспоминать карту ему было удобнее,— а майор надел каску и хотел встать, но, взглянув на него, передумал, достал

железную коробку с табаком и деловито начал скручивать впрок папиросы, ловко приминая табак тонкими и нервными пальцами, совсем не похожими на выдавшие виды пальцы окопного воина.

Решетников тоже закурил, с любопытством разглядывая Луникова. Он слышал о нем многое, но видел его лишь второй раз. Впервые он встретился с ним утром у командира дивизиона при получении задания. Тогда Луников его разочаровал. Рядом с Владыкиным, всегда подтянутым, выбритым, почти щеголеватым, всегда свежим даже после бессонной ночи похода (чему Решетников втайне завидовал), майор в своем мешковатом и сильно потертом кителе, в порядке заношенных брюках, заправленных в сапоги, казался тусклым и незапоминающимся. И его манера говорить — медленно, негромко, как бы раздумывая вслух, перебивая себя бесконечными «а если?» — тоже невыгодно отличалась от ясной, четкой речи Владыкина и была совсем невоенной. Решетников даже удивился: неужели это тот самый Луников, о мужестве и решительности которого с восторгом рассказывали матросы, вернувшиеся на крейсер из Севастополя, где они были в его отряде морской пехоты? Из этих рассказов Решетников знал, что Луников пришел на фронт из запаса в начале войны, что сам он инженер, и даже не с производства: не то плановик, не то редактор какой-то технической газеты. Может быть, этим и объяснялось его невоенное многословие и этот «глубоко штатский вид», как со всей беспощадностью молодого офицера определил Решетников свое впечатление, слушая разговор майора с Владыкиным.

Вопрос, правда, был путаный и сложный.

Потеря шлюпки с катера старшего лейтенанта Сомова, происшедшая неделю тому назад, показывала, что бухточка (которую Луников предложил для удобства разговора именовать «Непонятной») перестала быть тем надежным местом связи с партизанами и подпольщиками Крыма, каким ее считали до сих пор. Здесь было сделано уже больше десятка удачных высадок разведчиков или людей, направляемых в партизанские отряды, здесь же принимали на катер тех, кто возвращался с задания, и все обходилось как нельзя лучше. Этому способствовало самое расположение бухточки: она была скрыта в высоких и обрывистых прибрежных скалах, навигационный подход к ней был очень удобен благодаря приметному мысу, расположенному возле нее; кроме того, бухточка находилась вдали от деревень и курортных местечек, и немецких гарнизонов тут не было. Все это Решетников оценил на собственном опыте, посетив бухту трижды: два раза в порядке обучения ремеслу — на катере лейтенанта Бабурчёнка, высаживавшем разведчиков и на четвертую ночь принимавшем их обратно, и один раз вполне самостоятельно, не-

задолго до сомовской неприятности, доставив в бухту пять человек и благополучно дождавшись шлюпки.

Что произошло в бухте во время высадки очередной группы старшим лейтенантом Сомовым — и с группой ли самой или только со шлюпкой, — могло стать известным очень не скоро: разведчики должны были возвращаться через фронт на «Малую землю» у Керчи, а радиосвязь им была запрещена. Но обстоятельства особой важности (какие именно, Решетникову не сообщалось, хотя он знал, что майора вызывал к себе сам командующий флотом) вынуждали нынче же ночью не только высадить в бухте Непонятной разведчиков из отряда Луникова, но и принять их там же на катер следующей ночью.

Последнее было возможно лишь при условии, что шестерка, высадив группу, благополучно вернется к катеру. Если же она не вернется, то это будет означать, что немцы и впрямь устроили в бухте Непонятной какую-то ловушку. Тогда придется посылать с тем же заданием новую группу, но высаживать и принимать ее в другом, более отдаленном месте.

Владыкин показал его майору на карте. Тот прикинул расстояние (здесь Решетников впервые обратил внимание на его пальцы — тонкие пальцы кабинетного работника) и сказал, что тогда дело затянется на восемь-девять суток, а может быть, и больше, так как точный срок прихода группы к месту посадки указать невозможно, и получается форменная ерунда. Так же придирчиво обсуждая каждый вариант и ставя Владыкина в тупик своими надоедливymi «а если?», Луников забраковал и другие предложенные тем места побережья, и Решетников начал терять терпение. Выходило, что майор хочет организовать путешествие своих разведчиков по тылам врага со всеми удобствами и без всякого риска, почему Решетников мысленно обозвал его перестраховщиком.

Однако майор закончил разговор неожиданно: он положил на карту циркуль и объявил, что, видимо, приходится рискнуть на высадку в бухте Непонятной сегодня же ночью и что он пойдет со своими людьми сам. Если никаких приключений не произойдет и шлюпка благополучно вернется к катеру, то для обратной посадки катер должен быть у бухты на следующую ночь и выслать шлюпку к тому же месту. Ну, а если катер сегодня шестерки не дождется, значит, на бухту Непонятную надо окончательно плюнуть, разведчики займутся своей судьбой сами. Но в этом случае надо тотчас же доложить командующему флотом, что задание не выполнено, и немедленно выслать катер с другой группой в предложенное Владыкиным запасное место.

На этом разговор наконец закончился, и Решетников пошел на катер, с досадой думая о том, что и на походе и при вы-

садке Луников порядком еще причинит хлопот своим слишком обстоятельным и дотошным отношением ко всякому делу.

Однако, к удивлению его, майор ничем никого не донимал. Появившись на «СК 0944», он деловито осмотрел шестерку, погруженную на катер, прикинул, как удобнее разместить на ней разведчиков, попросил Решетникова дать им всем возможность за время похода хорошенько выспаться, после чего спустился в кают-компанию и лег поспать сам. Сейчас он сидел спокойный, отдохнувший и даже веселый, занимаясь папиросами и насмешливо посматривая на Воронина, который мучился с незримой своей картой.

Майор выглядел теперь совсем иначе, чем утром. Ватная куртка — одеяние неказистое и неуклюжее — удивительно шла к нему, и было понятно, что в этой одежде он чувствует себя свободнее и привычнее, чем в кителе. Она плотно и удобно облежала его грудь и плечи, чем-то напоминая средневековые латы, вернее — выпуклую, в тисненном узоре кирасу. Может быть, этому впечатлению способствовало то, что майор забыл снять каску, и лицо его, обрамленное военным металлом, стало мужественнее и воинственнее. Ему было, вероятно, порядком за тридцать, может быть, под сорок, но, когда быстрым, живым движением он поворачивал к Воронину голову и усмехался, каска скрывала его седеющие виски, складки в углах рта — беспощадный знак прожитых годов — расходились, и он казался совсем молодым. Да и сам он весь как-то подобрался, посвежел, повеселел, как человек, развязавшийся с надоедливой обязанностью и приступающий к интересной, приятной ему работе. Разговор его показался теперь лейтенанту тоже иным: хотя Луников по-прежнему злоупотреблял своими «а если?», так раздражавшими утром, теперь Решетников со стыдом подумал, что необходимую для всякого решения обстоятельность и вдумчивость он принял за перестраховку.

В том спокойствии, с каким Луников перед уходом на опасный берег занимался заготовкой папирос, в той уверенности, с какой он, не глядя на карту, видимо отпечатанную в его мозгу со всеми деталями, отыскивал ночной путь, в той настойчивости, с которой он заставлял Воронина запоминать маршрут, как и во всем его поведении с момента прихода на катер, чувствовался совсем другой человек. Было ясно, что теперь, когда все варианты высадки обсуждены, отброшены и оставлен только один, наилучший, майор будет делать именно то, что решено. Эта спокойная уверенность настолько подкупила Решетникова, что Луников внезапно ему понравился.

— Поздно собрались выйти, товарищ майор, — сказал он с сожалением. — Закат нынче выдавали мировой!..

Луников улыбнулся:

— Да вот мы тут с картой подзадержались. Долго вы там, лейтенант? Вас давно уже немцы окружили, и разведчики с вами пропали, и я влип.

Воронин виновато открыл глаза.

— Слева балочка есть удобная, а куда она выводит, хоть убей, не вспомню,— сказал он, сердясь на себя.— Придется обратно в карту лезть, товарищ майор...

— Что ж, лезьте,— вздохнул Луников.— Только в последний раз. Коли и потом не доложите, оставляю на катере.

Воронин поспешно зашуршал картой, и по тому, с какой яростью накинулся он на злополучную балку, Решетников понял, что угроза майора не была шуточной, и это тоже ему понравилось. Он с гордостью подумал, что, спроси его самого, как подходить к бухте Непонятной, никому не пришлось бы дожидаться, пока он сбегает в рубку за картой, и с насмешливым сожалением покосился на Воронина, который снова откинулся на диване, закрыл глаза и зашептал что-то про себя, будто повторяя урок.

В кают-компанию вошел главный старшина Быков, стеснительно держа за спиной трижды вымытые руки, на которых все же остались черные и желтые пятна — неистребимые следы вечной возни с моторами.

— В цейтнот попали, лейтенант, посудой уже гремят,— сказал Луников, убирая коробку с табаком.— Вот мы с хозяевами сейчас ваши сто грамм разопьем, чтобы у вас голова свежее была!

Он снял каску и рассмеялся, и в этом смехе Решетникову снова показалось что-то необыкновенно привлекательное. Теперь майор уже окончательно его покори́л.

Решетников был еще в том возрасте, когда человек бессознательно ищет среди встречающихся ему людей того, кому хочется подражать,— вернее, того, кто своим примером может показать, как обращаться с людьми, любить их или ненавидеть, командовать, драться с врагом,— словом, научить, как вести себя в той непонятной еще, сложной и полной всяких неожиданностей жизни, которая открывает перед молодым человеком свой таинственный простор. Он сменил уже несколько таких образцов, увлекаясь ими при первом знакомстве и разочаровываясь при ближайшем, но каждый из них оставил в его характере свой след — в жестах, в манере говорить, в понимании людей. И сейчас ему стало жаль, что Луников мелькнет в его жизни одной вот этой встречей; очень захотелось быть с ним в одном отряде или на одном корабле, и он всем сердцем понял, почему с таким восторгом отзывались о майоре те, кто его знал.

Решетников тоже рассмеялся:

— Не пьем, товарищ майор! Такая у нас катерная служба: бережем на случай купанья или на шторм. Но для гостей...

Он приоткрыл дверь в коридорчик, где и в самом деле кто-то гремел посудой, и крикнул:

— Товарищ Жадан, гостям по сто грамм!

В дверях появился Микола Жадан — единственный на катере матрос строевой специальности, он же кок, он же вестовой кают-компаний, он же установщик прицела кормового орудия: на катерах, по малости их, и люди и помещения выполняют одновременно несколько разнообразных функций. В руках у него был дымящийся бачок с супом, а на мизинце висел котелок. Как ухитрился он спуститься по отвесному трапику, было загадкой.

— Сейчас достану, товарищ командир, ужо вот накрою, — с готовностью ответил Жадан и, поставив суп на стол, начал расставлять тарелки и раскладывать вилки и ложки, которые, подвергаясь трясучему закону кают-компаний, немедленно зазвенели и поползли по столу, как крупные бойкие тараканы.

— Нет, нет, не нужно, — поспешно сказал Луников. — Это я больше для красного словца. Нам с лейтенантом по возрасту вредно: я для этого староват, а он молод. А вот почему вы, моряки, не пьете, удивительно...

— У каждого своя привычка, — объяснил Решетников серьезно, подхватывая ложку, которая вовсе уже подобралась к краю стола. — Вот наш механик, например, предпочитает накопить за неделю и уж заодно разделаться, а то, говорит, со ста грамм одно раздражение... Так, что ли, товарищ Быков?

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — сконфузился Быков. — Один только раз и случилось, а вы попрекаете...

— А я вот сейчас майору расскажу, как случилось, — пригрозил Решетников. — Хотите?

Быков затомился, но, на его счастье, Жадан закончил нехитрую сервировку и придвинул котелок к тарелке Решетникова. Тот нахмурился:

— В честь чего это мне особая пища? Что я, больной?

— Так, товарищ же лейтенант, — возразил Жадан, ловко разливая суп из бачка по тарелкам, — на базе нынче обратно пшено на ужин выдали, вы ж его не уважаете. А тут консервный суп с обеда, кушайте на здоровье...

Луников быстро вскинул глаза на Жадана и усмехнулся, как бы отметив что-то про себя. Решетников, увидя это, вдруг вспылал:

— Опять вы фокусы показываете! Сколько раз вам говорить: давайте мне, что всем! Безобразия... Гостям одно, хозяину другое...

— А вы о гостях не беспокойтесь, мы как раз пшенный суп больше уважаем, — успокаивающе сказал майор и протянул руку к тарелке: — Довольно, товарищ Жадан, хватит...

— Кушайте, кушайте,— гостеприимно отозвался Жадан,— можно и добавки принести, я лишнего наварил. Когда еще вам горяченького приведется...

Он постоял у двери, посматривая то на гостей, то на командира. Широкое веснушчатое его лицо выражало полнейшее удовлетворение тем, что все со вкусом принялись за еду. Потом он сообщил тем же радушным тоном:

— На второе капуста с колбаской и какава.

— Откуда какао? — удивился Быков.

— Шефская какава. Я как в госпиталь к Сизову ходил, у врачихи выпросил. Сказал, в такой поход идем, что без витамина не доберешься.

Решетников посмотрел на него, собираясь что-то сказать, потом сердито махнул рукой и уткнулся в свой «особый суп». Жадан исчез. Луников посмотрел ему вслед и перевел взгляд на Решетникова:

— Ну, чего вы на него накинулись? Жадан ваш — душа-человек, и плохо, если вы этого не видите... Да вы отлично видите, только ершитесь перед гостями...

— Конечно, вижу,— сказал Решетников, не поднимая головы,— только все-таки...

— И небось приятно, что о вас на катере так заботятся?

Решетников улыбнулся:

— Почему же обо мне? Вас он и в глаза не видел, разведчиков тоже, а лишнего наготовил. Характер у него такой, заботливый.

— Одно дело — забота, а другое... как бы сказать... ну, душевное тепло, что ли,— раздумчиво сказал Луников.— Это и в семье великая вещь, а в военной семье особенно. Командиру, которого бойцы любят, просто, по-человечески любят, воевать много легче... Это для командира счастье...

Решетников хотел было возразить, что уж кому-кому, а самому майору жаловаться не приходится, потому что те, кто был с ним в Севастополе, видимо, так его и любили, но это показалось ему неловким, и он промолчал. Майор с аппетитом доел суп, положил ложку в опустевшую тарелку, и она тотчас тоненько зазвенела. Он взглянул на нее с удивлением.

— С чего это у вас такая трясучка? На всяких катерах ходил, такой не видывал...

Решетников обрадовался перемене разговора.

— Боевое ранение,— оживленно сказал он.— Это еще до меня было, пусть механик расскажет, он тогда катер спас.

Но Быкова никак нельзя было раскачать. Несмотря на подсказки Решетникова, которому, видимо, очень хотелось показать майору, какое золото у него механик, он сообщил только, что правый вал был поврежден в октябре прошлого года, когда катер

сидел на камнях, и что своими средствами его исправить нельзя. Наконец Решетников взялся рассказывать сам.

Оказалось, что Парамонов вместе с другим катером своего звена снимал с Крымского побережья группу партизан, прижатых немцами к морю. Парамонов для скорости подвел катера прямо к берегу, партизаны, прыгая с камня на камень, добрались до катеров, и тут немцы открыли огонь. Уже выходили на чистую воду, когда катер сильно стукнулся кормой о камень и, если бы не главстаршина, так бы и остался у камней: заклинило рули, и через дейдвуд правого вала в машинное отделение стала быстро поступать вода. Быков сумел не только...

— Вы уж скажете, товарищ лейтенант! — перебил Быков, с некоторой тревогой ожидавший этого места рассказа. — И воды-то было пустяки, и рули...

— А вы не перебивайте, — оборвал его Решетников. — Воды хватало, могли и остальные моторы заглохнуть... Так вот, главный старшина Быков, наш механик, ухитрился...

Тут Решетников, желая во что бы то ни стало показать майору таланты Быкова, пустился в такие технические подробности, которых ни Луников, ни Воронин не поняли. Ясно было одно: что полузатопленный катер все же смог дать ход, однако рули еще не действовали. Другой катер, которым командовал лейтенант Калитин, тоже навалился на камни носом и сам сняться с них не мог. Парамонов, маневрируя без руля двумя моторами, кое-как подошел к нему и сдернул с камней. Калитин предложил повести на буксире парамоновский катер, пока на нем не ликвидируют поломку рулей. Уже начали заводить концы, когда выяснилось, что партизаны недосчитываются еще восьми человек. Тут новая ракета осветила катера, стоящие рядом, и огонь немцев усилился. Парамонов, как старший в звене, приказал Калитину отойти мористее и отвлекать на себя огонь, чтобы поврежденный катер мог спокойно исправить рули и дожидаться оставшихся партизан.

Уловка подействовала: едва Калитин отошел, немцы перенесли весь огонь на него, решив, что сидящий на камнях катер они прикончить успеют, а этот может уйти в море. Скоро вдалеке от камней вспыхнуло на черной воде яркое дрожащее пламя и очередная ракета осветила калитинский катер, весь окутанный белым дымом, из которого временами взвивался высокий язык пламени. Но горящий катер все еще маневрировал с отчаянным упорством, сбивая пристрелку и ухитряясь ловко уходить от залпов. Немцы, торопясь прикончить его, оставили в покое парамоновский катер, и тот, исправив рули и забрав партизан, вырвался под двумя моторами в море...

— А калитинский? — спросил Луников, живо заинтересованный рассказом. — Так и сгорел?

Решетников, видимо ожидавший этого вопроса, с удовольствием улыбнулся:

— Он, товарищ майор, гореть и не думал... Это Парамонов приказал: как поближе разрыв ляжет, зажечь на корме дымовую шашку да тряпку с бензином и охмурять немцев... Калитин на этом деле две свои простыни погубил...

— Здорово!..— расхохотался Воронин.

Засмеялся и майор.

— Парамонов, Парамонов...— сказал он, вспоминая.— Пойдите-ка, это не тот Парамонов, который из Севастополя чуть не по сто человек сразу вывозил?

— Точно, товарищ майор,— подтвердил Быков.— Сто не сто, а одним рейсом шестьдесят семь взял, вторым шестьдесят шесть, а третьим восемьдесят семь.

— Восемьдесят семь? — удивился Воронин.— Где же они тут поместились?

— По кубрикам да тут, в кают-компании... Локтем к локтю стояли, как в трамвае, до самого Новороссийска...

— Ну-ну,— покачал головой Воронин.— Этак и перекинуться недолго...

— Если на палубе держать, очень просто. Только старший лейтенант Парамонов всех вниз послал, ну и шел аккуратно — больше пяти градусов руля не клал, а погода тихая, все шло нормально...— Быков усмехнулся.— То есть нормально, пока моряков возили. А на третьем рейсе армейцев взяли, так с ними целая сцена вышла. Никак вниз не идут: натерпелись люди, нервничают да и наслышаны о всяком. Кому охота в мышеловку лезть? Иван Александрович и так и сяк, а они стояли наверху, вот-вот перевернемся. Тогда он как крикнет на весь катер: «Приготовиться к погружению!» Я пошел по палубе. «Ну, говорю, кто собирается поплавать, оставайтесь наверху, а мы сейчас подводным рейсом пойдем, светает, самолеты налетят!..» В момент палуба чистая, мы люки задраили, и метацентр на место стал.

— Здорово! — опять восхищенно воскликнул Воронин.

Майор изумленно уставился на Быкова и вдруг расхохотался, да так, что на глазах его выступили слезы. Он взмахивал рукой, пытаясь что-то сказать, но снова принимался хохотать настолько заразительно, что даже Решетников, не раз слышавший эту историю, невольно засмеялся сам. Наконец Луникову удалось вставить слова между приступами смеха:

— Так и я... И я... Я тоже полез!..

— Куда? — изумился Решетников.

— В кубрик... Там где-то, на носу...

Быков оторопело на него посмотрел:

— И вы тогда с нами шли, товарищ майор?

— Выходит, шел,— сказал Луников, переводя дух.— Это первого июля было? В ночь на второе?

— Точно...

— Из Стрелецкой бухты?

— Точно, товарищ майор.

— Ну, значит, так и есть... Тьма была, толчея, крики... Меня мои ребята куда-то сунули с пристани — ранен я был, в плечо и в голову; очнулся — сижу у какой-то рубки, кругом чьи-то ноги да автоматы, теснота. Вдруг все ноги исчезли, я обрадовался, дышать есть чем, а сверху вдруг голос, да такой строгий: «Хочешь, чтоб смыло? Слыхал, на погружение идем? Сыпсья вниз!..» Это уж не вы ли меня шуганули, товарищ Быков?

Теперь пришла очередь расхохотаться Решетникову:

— А вы и поверили?

— Да мне тогда не до того было — опять худо стало, а вот эти слова запомнил. Потом, в госпитале, все спорил: мне говорят — вас парамоновский катер вывез, а я говорю — подлодка... Все в голове перепуталось, так и не знал, кому спасибо сказать... Ну ладно, хоть теперь знаю...

Майор потянулся в карман за папиросой и добавил уже серьезно:

— Смех смехом, а выходит, Парамонову я жизнью обязан. Меня ведь одним из последних на катер взяли... Помню, кто-то кричит: «Больше нельзя, ждите еще катеров!», а кто-то говорит: «Командир еще троих разрешил, раненых!» Тут меня и перекинули на борт... А ребят своих, кто меня до бухты донес, я так потом и не сыскал... Обязательно надо мне Парамонова поблагодарить. Где он теперь? Небось дивизионом командует?

— Погиб он,— коротко сказал Быков.

— А,— так же коротко отозвался Луников, и внезапная тишина встала над столом. Лишь тоненько позвякивали в тарелках ложки да гудели за переборкой моторы низким своим и красивым трезвучием, похожим на торжественный органый аккорд.

Удивительно и непередаваемо то молчание военных людей, которое наступает после короткого слова «погиб». Те, кто знал исчезнувшего, думают о нем, вспоминая, каким он был. Те, кто не знал его, вспоминают друга, которого так же вырвала из семьи товарищей быстрая и хваткая военная смерть. И оттого, что смерть эта всегда где-то рядом, всегда вблизи, те и другие одновременно с мыслью о погибших думают и о самих себе: одни — удивляясь, как это сами они до сих пор еще живы; другие — отгоняя от себя мысль о том, что, может быть, завтра кто-то так же скажет и о них это короткое, все обрывающее слово; иные — с тайной, тщательно скрываемой от других и от

себя радостью, что и на этот раз военная смерть ударила не в него, а в другого. А кто-то в сотый раз испытывает при этом известии необъяснимую уверенность, что погибнуть в этой войне могут все, кроме него самого, потому что его, именно его, лейтенанта или старшину второй статьи, здорового, сильного, удачливого человека, который привязан к жизни тысячью крепких нитей, кого мать называет давним детским именем, а другая женщина, более молодая, — новым, ласковым, ею одной придуманным и только им двоим известным, и кому нужно в жизни сделать так много еще дела, узнать так много чувств и мыслей, — именно его военная смерть не может, не должна, просто не имеет права коснуться. А кто-то, напротив, в сотый раз подумает о смерти со спокойным равнодушием человека, уставшего от давнего непосильного боевого труда и согласного на любой отдых, даже если отдых этот — последний. Но все эти люди, думающие так по-разному, одинаково замолкают и отводят друг от друга глаза, уходя в свои непохожие и различные мысли, и молчание это становится непереносимым, и хочется что-то сказать — о том, как жалко погибшего, о том, как вспыхнуло сердце холодным огнем мести, о многом, что рождает в душе это короткое слово «погиб», но все, что можно сказать, кажется невыразительным, бедным и пустым, и люди снова молчат, ожидая, кто заговорит первым.

Воронин вздохнул и, деловито зашуршав картой, пристально взглянул на нее, потом зажмурил глаза, отпечатывая в памяти тропинки и склоны. Быков прислушался к гулу моторов и, видимо уловив какой-то не понравившийся ему новый звук, привстал и, спросив у Луникова: «Разрешите, товарищ майор?» — быстро пошел в машинный отсек. Решетников взглянул на часы и тоже привстал.

— Разрешите на мостик, товарищ майор? — сказал он, потянувшись за ушанкой.

— А капусты с колбаской и какавы? — без улыбки спросил Луников.

— Темно уже.

— Когда рассчитываете подойти?

— Часа через три, если ни на кого не напоремся.

— Я не спросил, кто с нами на шлюпке пойдет?

— Боцман наш, старшина первой статьи Хазов, и Артюшин, старшина второй статьи, рулевой. Люди верные, не раз ходили.

Луников подумал.

— Пришлите ко мне боцмана, если не слит. Потолкуем с ним, как все это получше сделать.

— Пожалуйста. Он сейчас спустится ужинать с моим помощником, — отозвался Решетников не очень приветливо.

Луников вскинул на него глаза, снова отметив что-то про себя, и сказал с той побеждающей ласковостью, с какой говорил о жадановском котелке:

— Да вы не беспокойтесь, товарищ лейтенант, я в ваши командирские дела вмешиваться не стану. Просто любопытно с ним поближе познакомиться. Как-никак мы ему жизни доверяем, а также успех всего дела, так интересно, кому...

Он говорил это, как бы оправдываясь, хотя мог просто приказать, ничего не объясняя, и Решетников снова почувствовал расположение к этому сидящему спокойному человеку.

— Боцман у нас неразговорчивый, вроде Быкова... Ну что ж, попробуйте,— улыбнулся он, шагнув к двери, и чуть не столкнулся с Жаданом, который нес чайник и бачок.

— Куда ж вы, товарищ лейтенант? — спросил тот испуганно.— Какаву же несу!

— После какао попью, товарищ Жадан,— ответил Решетников, надевая ушанку.— Вот гостей проводим на бережишко и попьем, а вы пока их угостите как следует.

Он закрыл за собой дверь и остановился в коридорчике у трапа, выжидая, пока глаза, ослепленные яркими лампами кают-компаний, привыкнут к темноте, которая ждала его за крышкой выходного люка.

Глава шестая

В самом деле, наверху уже совершенно стемнело. Южная ночь быстро вытеснила за горизонт остатки света на западе, соединив небо и море в одну общую тьму, окружавшую катер. Но если сперва Решетникову казалось, что тьма эта непроглядна и что она начинается у самых ресниц, словно лицо упирается в какую-то мягкую стену и от этого хочется плотно зажмурить бесполезные глаза, то потом, когда он постоял на мостике, стена эта незаметно исчезла, будто растаяв. Море и небо разделились. Темнота получила объемность, ожила, и ночь открылась перед ним в своем спокойном, молчаливом величии.

Огромный купол неба весь шевелился в непрестанном мерцании звезд. Яркие и крупные, они вспыхивали то здесь, то там, отчего казалось, будто они меняются местами. Млечный Путь, длинным светящимся облаком пересекавший весь небосвод, тоже как бы колыхался, в нем все время происходили какие-то бесшумные изменения: голубоватый его туман непрерывно менял очертания, усиливая бледный свет в одной своей части, чтобы тотчас же мягко просиять в другой. Темноте (в собственном, прямом смысле этого слова) на небе не находилось места. Лишь кое-где глубокие беззвездные мешки зияли действительно темными провалами в бесконечность. Все же остальное небесное

пространство мерцало, вспыхивало, искрилось и переливалось живыми, играющими огнями далеких бесчисленных звезд.

В этом удивительном свете темной южной ночи глазу скоро стало видно и море. На горизонте трудно было отличить его от неба, потому что в плотных нижних слоях атмосферы звезды светились не так ярко, как в чистой высоте, и небо здесь как бы продолжало собою море. Зато вблизи катера можно было уже видеть черную маслянистую массу воды и даже угадывать на ней мерное колебание пологой зыби, покачивающей на себе отраженный свет звезд. Ветерок, слегка усилившийся к ночи, передвигал над морем невидимый воздух, и вся мерцающая и дышащая тьма, казалось, жила своей особой, таинственной жизнью, не обращая внимания на крохотный катерок, пробиравшийся в нем по каким-то своим делам.

Решетников уже долго пробыл на мостике. Холодные струйки, обдувая лицо, забирались в рукава и под воротник, но не студили тело, а вливали в него особую, энергическую свежесть, от которой он чувствовал в себе приятную живую бодрость. Некоторое время ему казалось, что все идет прекрасно и что поход не может закончиться неудачно. Так огромна и спокойна была жизнь, наполнявшая небо, воздух и море, такая величественная тишина стояла в ночи, что война, которая в любой миг могла ворваться в нее огненным столбом мины или желтой вспышкой залпа, казалась невероятной и несуществующей.

Но вскоре это полное, почти блаженное чувство покоя стало исчезать, и он заметил, что ночь не так-то уж хороша. Белая пена, неотступно сопровождавшая катер, была видна за кормой слишком отчетливо. На палубе действительно почти ничего нельзя было различить, но то, что виднелось на фоне освещенного звездным сиянием моря — оба орудия, комендоры в тулупах, шестерка на корме, — выделялось из темноты еще более плотной тенью. Значит, со стороны так же можно было заметить и силуэт самого катера.

Чем ближе подходил катер к местам, где он мог встретить противника, тем светлее казалась Решетникову ночь, хотя всякий назвал бы эту темноту крошечной. Он с досадой подумал, что такой бесстыдно сияющий планетарий годится для курортной прогулки, но совершенно неуместен в войне, где надо проводить скрытные операции. Для этого много удобнее небо, сплошь затянутое облаками. Тогда и в самом деле было бы темно и, кроме того, мог лить нудный холодный дождь, который загнал бы немцев в землянки. Так же, будь на то его воля, Решетников охотно заменил бы эту пологую вздыхающую зыбь хорошей волной, чтобы береговой накат заглушал гудение моторов приближающегося катера.

Впрочем, рев катера теперь значительно уменьшился: сразу

по выходе на мостик Решетников приказал перевести моторы на подводный выхлоп. Отработанные газы прекратили свою оглушительную пальбу, пробираясь теперь через воду с недовольным урчанием, и по темному морю разносился только ровный низкий гул моторов. Однако сквозь него нельзя было расслышать такой же гул моторов противника. Поэтому Решетников вызвал на мостик старшину сигнальщика Птахова (того самого, у которого было «снайперское зрение»), предупредил людей, стоящих у орудий и пулеметов, чтобы и они наблюдали по бортам и по корме, потом еще раз обошел палубу, осматривая затемнение. Ни одного лучика света не вырывалось из плотно закрытых люков, из двери рубки, и только на мостике смутным и бледным кружком чуть теплилась слабо освещенная изнутри картушка компаса.

Резкая свежесть ночи охватывала лейтенанта, но он так и не накинул на себя тулупа: каждый момент могла произойти встреча с катерами или сторожевиком противника, и тулуп мог помешать нужным движениям. Мысль о возможной встрече порождала в Решетникове все нарастающую тревожность, и он пристально вглядывался в темноту. Уже не раз дрогнуло у него сердце, когда на черной воде ему мерещился еще более черный силуэт, и не раз готов он был скомандовать руля и открыть огонь, предупреждая первый залп врага. Но каждый раз силуэт расплывался и исчезал, и становилось понятно, что он был лишь игрой утомившегося зрения и натянутых нервов. Наконец Решетников поймал себя на том, что снова окликает комендоров у орудий: «Внимательнее за горизонтом смотреть!» — и со стыдом понял, что начинает нервничать и суетиться. Надо было взять себя в руки, довериться Птахову и думать о другом, постороннем, чтобы сохранить глаза и нервы для настоящей, не кажущейся встречи. Он нагнулся к компасу, проверяя, как держит рулевой, и картушка изменила ход его мыслей.

Еще недавно Решетников, убежденный артиллерист, относился к компасам равнодушно. Он даже слегка презирал этот слабенький прибор, нервы которого не могут выносить обыкновенной артиллерийской стрельбы. Извольте видеть, стрельба «изменяла магнитное состояние катера», и после нее компас начинал показывать черт знает что — количество осадков в Арктике или цену на мандарины в Батуми, и приходилось просить дивизионного штурмана снова поколдовать с магнитами и уничтожить девиацию, им же недавно уничтоженную. Но, став командиром катера и проводя наедине с компасом долгие часы походов в огромном пустынном море, в тумане и в ночи, Решетников подружился с ним и научился его уважать. Компас стал для него частью его командирского «я», органом нового для него чувства ориентировки в море, необходимым и неотъемлемым, как

рука, глаз или ухо. Поэтому, выходя в море, Решетников всякий раз поточнее определял его поправку и, освежив в памяти забытую еще в училище науку о компасах — теорию девиации, однажды удивил штурмана дивизиона просьбой посмотреть, как он попробует сам наладить компас на вверенном ему катере. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: ощутив компас как часть своего командирского организма, Решетников хотел владеть им с той же свободой и легкостью, с какой владел своими жестами или мыслью. С этого дня компас стал для него еще ближе, понятнее и роднее, как живое существо, которое он сам выходил в серьезной болезни.

И сейчас, глядя на голубоватый круг картушки, который, казалось, перенял на себя сияние ночного неба, Решетников так и думал о компасе, как о живом существе — слабеньком, маленьком, но обладающем поразительной настойчивостью и силой характера.

В самом деле шесть крохотных, со спичку величиной, магнитиков, везущих на себе бумажный кружок с напечатанными на нем градусами (картушку), окружены массами металла, огромными по сравнению с ними самими. Рубка, орудия, пулеметы, моторы — всяк по-своему тянут эти магнетики к себе, а равные, но обратно направленные силы магнитов-уничтожителей, хитро размещенные в нактоузе под картушкой так, чтобы противодействовать вредному влиянию судового железа, — к себе. Этот невидимый двойной вихрь силовых линий плотным слоем заслоняет от картушки магнитный полюс земли, расположенный у черта на куличках, где-то в Арктике, у берегов Северной Америки, в пятнадцати тысячах километров отсюда. И было поразительно, как магнетики картушки могут различать его далекий, едва слышный призыв: куда бы ни поворачивались катер и связанные с ним массы металла, картушка неизменно и упорно смотрит концом магнитиков на этот далекий полюс — на север.

Именно эта настойчивость и поражала Решетникова всякий раз, когда он начинал думать о компасе. Хорошо было бы иметь и в себе такую же стойкую и ясно направленную «лямбду-аш» (как называлась в теории девиации направляющая сила земного магнетизма на корабле).

Решетникову все время казалось, что в нем самом такой «направляющей силы» — ясной целеустремленности, умения без колебания идти к тому, чего хочешь достигнуть, — нет. Поэтому всякому человеку, в котором подозревал наличие этой самой «лямбды-аш», он завидовал со всею страстностью молодости, жадно отыскивающей в жизни образцы для себя, и пытался сблизиться с ним, чтобы тот научил его, как пробудить в себе эту великую направляющую силу. Нынче его особенно поразила майор Луников: судя по всему, этот человек должен был иметь

в себе такую «лямбду-аш». И, если бы Решетников мог, он сейчас пошел бы в кают-компанию, чтобы попытаться заговорить с ним на волнующую его тему.

Море, корабли, походы, бои и штормы, дружный мужественный коллектив флотских людей, даже самый его китель и нашивки,— все это было ему очень близко и дорого. Он отчетливо знал, что, если почему-нибудь ему придется этого лишиться, он станет самым несчастным человеком. Но в то же время он подозревал, что, случись с ним такая беда, жизнь его не опустеет. А вот для других, кого он наблюдал рядом с собой,— для того же Владыкина или старшего лейтенанта Калитина, командира его звена, или, скажем, для боцмана Хазова — это означало бы потерю смысла жизни: они были настоящими военными людьми, а он, наверное, только притворялся таким перед другими да и перед самим собой.

Это ощущение и беспокоило его, особенно в первые недели командования, когда он остро переживал свою неспособность быть командиром катера. Его начала преследовать горькая догадка, что он действительно не был настоящим военным человеком, а то, что померещилось ему шесть лет назад у зеленых склонов Алтая, было только мечтой, ошибочной и неверной.

К догадке этой он приходил всякий раз, когда начинал думать о будущем и примериваться, что же станет он в нем делать. Для многих, кого он видел вокруг себя, это будущее было заслонено кровавым и дымным туманом войны, для них оно заключалось в одном страстно желанном понятии: победа. Для него же война полыхающим светом своих пожаров и взрывов ярко освещала будущее, стоящее за победой. Представить его себе сейчас было невозможно, он мог лишь угадывать впереди нечто огромное, счастливое, ликующее: жизнь. И вопрос состоял в том, что же станет он делать в новой мирной жизни, где города будут строиться, а не разрушаться, где металл будет пахать землю, а не уродовать ее воронками, где пламя будет согревать, а не сжигать и где человеческая мысль обратится к созиданию, а не к разрушению.

Если, как он подозревал, качеств военного человека в нем не нашлось, его настоящее место, может быть, и окажется там, в этой гигантской и радостной созидательной работе. А возможно, он все-таки из тех, кто, умея хорошо владеть оружием, должен будет защищать труд многих людей, которые станут строить эту новую, необыкновенную послевоенную жизнь? Вряд ли после победы настанет вечный мир, и кому-то все равно придется оставаться у пушек в готовности снова вести бои за счастье огромного количества людей. Но тогда сможет ли он сказать, не обманывая ни себя, ни других: «Да, я тот, кто до конца своих дней будет убежденно делать именно это — защи-

щать свою страну и ее труд, в этом и мое призвание, и моя гордость, и мое счастье»?..

Короче говоря, Решетникова мучила та самая болезнь, которой, как корью, неизбежно заболевает всякий способный к размышлению молодой человек, вступающий в жизнь: сомнение в том, правильно ли он угадал свой собственный путь.

Обо всех этих смутных, но сложных и важных вопросах говорить можно было только с другом, то есть с тем, кому доверяешь свое самое тайное и дорогое, не боясь показаться ни смешным, ни глупым, и с кем говоришь не словами, а мыслями — порой недодуманными, неоконченными, но все же понятными ему. Такого друга у него в жизни пока что не было, и к каждому, кто ему встречался, Решетников присматривался именно с этой точки зрения: выйдет или не выйдет?

При встрече с Владыкиным ему показалось, что «выйдет», и поэтому он в первом же разговоре так быстро и охотно раскрыл перед ним свою мечту о катерах. Но, попав к нему на дивизион, Решетников увидел, что «выходит» с Владыкиным многое, но не главное. Обо всем, что касалось катера, флота, боя, тактики, с ним говорилось просто и душевно, как будто Владыкин был не капитаном третьего ранга и не начальником, а именно другом, понимающим и отзывчивым, более взрослым и потому более разбирающимся в жизни. Но когда, засидевшись как-то в уютной его комнатке, которая, как и все, что окружало Владыкина, была необыкновенно чиста, аккуратна и празднична (что особенно поражало взгляд в том полуразрушенном санатории, где размещался штаб дивизиона), Решетников вздумал затронуть эти свои вопросы и путано заговорил о далекой цели, которую ему хочется поскорее увидеть в жизни, Владыкин поднял брови:

— А чего ж тут видеть? Победа — вот цель.

— Так это-то я как раз и вижу, — сказал Решетников, мучаясь, что не так выражает важную для него мысль. — Победы мы добьемся, это факт, а вот что за ней? Потом-то тоже придется жить... Так — куда жить?

Он повторил это свое любимое выражение, потому что именно оно несло в себе понятие курса и направленности, и надеялся, что Владыкин сразу его поймет и тогда можно будет говорить с ним обо всем.

Но Владыкин рассмеялся:

— То есть как это куда жить? Это вы о смысле человеческой жизни, что ли?.. Давайте-ка, Решетников, воевать, а философию пока отложим. Сейчас об одном думать надо — о победе. Понятно?

Решетников, вздохнув, ответил для простоты, что понятно, и опять остался один на один со своими вопросами, странными

и смешными для других. И случилось так, что именно на том катере, где он учился быть дельным офицером и хорошо воевать, ему довелось найти человека, которого он смог назвать в душе другом: боцмана Никиту Петровича Хазова.

Это пришло не сразу. Наоборот, вначале отношения Решетникова и Хазова никак не походили на дружеские.

Как-то так получалось, что впечатление первой встречи, когда во взгляде боцмана Решетников прочел убийственный для себя приговор, никак не исчезало. Первую неделю командования катером лейтенант видел в неразговорчивости боцмана и в постоянной его сумрачности молчаливый укор своим действиям, нежелание сближаться и терпеливое ожидание того счастливого дня, когда на него придет наконец настоящий командир. Потом, когда из своей каюты он случайно услышал разговор Хазова с Быковым и уловил неохотную, как всегда, фразу боцмана: «Ну и что ж, что суется, дай ты человеку привыкнуть...» — это ощущение сгладилось.

Но самолюбие вскоре подсказало другую обидную мысль: выходило так, что катером командует не он, лейтенант Решетников, а боцман Хазов. Катер стоял еще в ремонте после боя, в котором погиб Парамонов, и нужно было думать о сотне мелочей, как раздобыть необходимый компрессор, воспользоваться ремонтом для смены правого вала или решиться ходить и дальше с «трясучкой», как вовремя кормить людей (катер стоял в углу бухты, вдали от общего камбуза), что делать с покраской, ждать из госпиталя радиста Сизова или просить о его замене. И все, что он, как командир катера, должен был сам предусмотреть или приказать, все было подсказано или уже сделано боцманом. Правда, вел себя Хазов очень тактично и, щадя самолюбие командира, советы и предложения свои облакал в форму вопросов, которые незаметно наталкивали того на верное решение, но легче от этого не было: Решетников чувствовал себя на катере явно лишним.

Чувство это скоро стало унижительным и дополнительно повлияло на безнадежные ночные мысли Решетникова о том, что из него никогда не получится настоящего командира. Оно преследовало его все настойчивее и наконец воплотилось во сне кошмаром.

Лейтенанту приснился его первый поход на «СК 0944» и первый бой. Боцман стоял рядом с ним на мостике и удивительным шепотом, который перекрывал и гул моторов и трескотню стрельбы, подсказывал ему: «Право на борт... все три мотора стоп... теперь одним левым, круче выворачивайтесь...» И катер, вертясь, действительно избегал бомб, которые, пронзительно свистя, шлепались поодаль. И не успевал он подумать, что пора скомандовать перенести огонь по второму самолету, как Хазов уже стоял

у пулемета и сам, без приказа, стрелял и тем же шепотом (которого, видимо, никто из матросов не слышал) снова подсказывал: «Все три мотора полный вперед... Руля право скомандуйте...» — и он, командир, чувствовал, что иначе сделать ничего нельзя. Но ему страшно хотелось сделать что-то по-своему. Он собрал в себе всю силу воли и рванул рукоятки телеграфа на «полный назад», но тут же с ужасом увидел, что Быков высунулся из машинного люка и грозит ему пальцем, как мальчишке, а боцман улыбается, качая головой, и показывает на бомбу. Та не падала, а медленно опускалась с неба, как бы плыла, и ему стало ясно, что она неотвратно коснется кормы. Он понимал, что надо дать ход вперед, но стоял как зачарованный, не в силах пошевелить рукой. Тогда Хазов внимательно посмотрел на бомбу, сделал пальцами какой-то неторопливый таинственный знак (который был понятен всем, кроме него, потому что все они облегченно улыбнулись), и, хотя винты работали на задний ход, катер вдруг сделал огромный прыжок вперед, и бомба разорвалась за кормой... От грохота ее он проснулся с заколотившимся сердцем и решил, что дошел до ручки. Однако, услышав отдаленный лай зениток, понял, что наверху в самом деле что-то происходит.

Полуодетый, Решетников выскочил на палубу, и ему показалось, что идет крупный налет, когда катерам по инструкции полагалось отходить от пирсов, чтобы не попасть всем под одну бомбу. По темному небу перекидывались прожекторы, с берега били зенитки, и на мысу, метрах в пятистах от катера, разрастался высокий столб огня — видимо, там горел один из деревянных домиков, лепившихся по склону горы вокруг бухты. У машинного люка он заметил темную фигуру, которую принял за механика, и тотчас крикнул:

— Товарищ Быков, какой мотор сможете завести? Давайте хоть один, скорее!..

— Это я, товарищ лейтенант, — ответил голос, и Решетников узнал боцмана Хазова.

Подойдя, он увидел, что тот стоит у своего пулемета, подняв к небу лицо.

— Еще мину спустил, — сказал боцман неторопливо и описательно, как бы не замечая взволнованности Решетникова. — Глядите, товарищ лейтенант, ее тоже к берегу тянет... Дурак какой-то нынче прилетел — вторую мину уже губит. Ветра не рассчитал.

В самом деле, белый парашют, яркой точкой сиявший в луче прожектора, медленно опускался за мыс к горе. Решетников со стыдом сообразил, что это не бомбежка, а обычный визит одного-двух самолетов, пытавшихся, как всегда, заградить минами выход из бухты. Он догадывался также, что необычная общи-

тельность боцмана объясняется только одним: тот косвенным образом хотел показать командиру совершенную ненужность заводить моторы, когда все вообще в порядке.

Мина ударилась где-то на склоне горы, грохот разрыва потряс катер, и Решетников искусственно зевнул.

— Ну, чего тут смотреть, холодно... мины как мины, — сказал он и повернулся, чтобы уйти.

Но боцман с той же подозрительной словоохотливостью и прежним тоном стороннего наблюдателя сообщил:

— Второй гудит. Наверное, тоже мины спускает... А глядите, товарищ лейтенант, как от нас хорошо фарватер видно...

И опять Решетников понял, что уходить ему никак нельзя: отсюда действительно фарватер был виден лучше, чем с базы, и можно было проследить, на каком его участке опустятся парашюты, а утром доложить об этом Владыкину, чтобы облегчить траление после ночного визита...

Стиснув зубы, он стал рядом с Хазовым, ища в небе отблеск парашюта, попавшегося в луч прожектора, но все в нем восставало и кипело при мысли, что новый урок, как всегда, правилен. Единственное, что он мог сделать сам, — это крикнуть на мостик Артюшину, чтобы тот снял с компаса колпак и пеленговал опускающиеся в воду парашюты.

Боцман, продолжая не замечать его состояния, молча стоял возле. Потом повернулся к акустику, скучавшему у пулемета, и негромко сказал ему:

— Реглан командиру принеси.

— Отставить, мне тепло! — резко перебил Решетников, и ему показалось, что боцман в темноте улыбнулся и покачал головой совсем так, как делал только что в приснившемся кошмаре.

Кошмар будто продолжался наяву. Решетников вдруг поймал себя на том, что он готов скомандовать огонь, совершенно бесполезный для гудящего высоко во тьме самолета, — скомандовать только для того, чтобы показать, что командир здесь он, а не боцман. Ночь была очень холодная, и его здорово прохватывало в кителе, но он упрямо оставался на палубе, пока самолеты не ушли.

Сообщив в штаб замеченные пеленга и вернувшись в каюту, он лег в койку, натянул на себя реглан и, согревшись, попытался спокойно обдумать, что же, собственно говоря, получается у него с Хазовым и как выйти из этого положения, становящегося невыносимым. А получалось черт знает что.

Просить о переводе Хазова на другой катер было бы несправедливо по отношению к нему и, кроме того, просто вредно для катера и его экипажа: другого такого знающего и опытного боцмана не найти. Говорить о своем переводе на другой катер — значило углубиться в психологические дебри ночных кошмаров

и, вероятно, вызвать во Владыкине недоумение и насмешку. Сказать же ему честно и откровенно, что с командованием катером что-то не получается и что поэтому он просит вернуть его на большие корабли, означало прямую капитуляцию. Кроме того, такая просьба перед самым окончанием ремонта (а стало быть, перед началом походов и боевых действий) могла вызвать подозрение, при одной мысли о котором Решетников вспыхнул.

Оставался один выход — необычайный, но совершенно справедливый: надо было просить Владыкина присвоить Хазову лейтенантское звание и назначить его командиром «СК 0944», который он знает вдоль и поперек и где каждого человека экипажа изучил, как самого себя. Ведь бывали же на флоте случаи, когда младшие командиры без всякой волокиты и даже без экзамена получали лейтенантское звание прямо в бою или сразу после боя?..

Мысль эта понравилась, и он долго обдумывал, как убедить Владыкина передать «СК 0944» человеку, который действительно сможет заменить на нем старшего лейтенанта Парамонова, а его, Решетникова, перевести на другой катер. Это показалось ему настолько логичным и убедительным, что, повеселев, он заснул, решив сегодня же поговорить об этом с Владыкиным, когда пойдет к нему докладывать о ночных наблюдениях за парашютами.

Он так и сделал и, покончив с докладом, объяснил, что наблюдать за минами догадался, собственно, не он, а боцман Хазов и что Хазов — совершенно готовый офицер и поэтому с ним очень трудно, так как ему уже тесно в боцманском деле и его вполне можно продвигать выше. Так он подошел к теме своих взаимоотношений с Хазовым, и тогда полились уже откровенные жалобы.

Владыкин слушал его внимательно и сочувственно, даже понимающе улыбался, когда Решетников для убедительности привел два-три случая, особо задевавших его самолюбие.

— Мне в свое время такой дядька тоже жизнь отравлял, — сказал он, протягивая Решетникову портсигар, что на условном коде дивизиона означало переход с официального разговора на дружеский. — Только не боцман, а главный старшина рулевой Родин. Я думал, что я уже штурман и пуп земли, а он меня учил... Боже мой, как учил! И теперь вспомнишь — краснеешь... И тоже, старый черт, все обиняком, вежливенько, ни к чему не придерешься... А этот ваш — как на людях себя держит? — перебил он себя. — Тоже учит?

— Нет, — признался Решетников и вдруг неожиданно для себя чихнул. Справившись с платком, он гордо добавил: — Ну, тогда я бы сразу его оборвал...

— Вот и молодец, — похвалил Владыкин.

И Решетников скромно опустил глаза:

— Так я же понимаю, товарищ капитан третьего ранга...

— Да не вы молодец,— сердито усмехнулся Владыкин.— Вы, извините, просто мальчишка, и притом бестолковый и неблагодарный. Вам на такого боцмана молиться надо, а вы... Подумаешь, самолюбие заело!.. Самолюбие, по-моему, не в том, чтобы обижаться, когда тебя учат, как что сделать, а в том, чтобы поскорее научиться так самому все это делать, чтобы тебя никто не смел носом ткнуть... И чем это, позвольте вас спросить, вам в себе любоваться? Самомнением своим, что ли? Или самонадеянностью?.. Флот, милый мой, на том и стоит, что офицер у всех учится — и у начальников и у подчиненных. К старым морякам и адмиралам прислушиваются. Самонадеянности море ох как не любит!

— Да я учиться и не отказываюсь, товарищ капитан третьего ранга,— сказал Решетников, удивленный резкостью, с которой Владыкин его отчитал.— И самонадеянности во мне никакой нет, наоборот...

Но тут он снова чихнул, что на этот раз оказалось вполне кстати: по крайней мере, он имел время сообразить, что говорить сейчас о потере им всякой надежды стать когда-либо настоящим командиром, пожалуй, не очень-то выгодно,— и повернул фразу на ходу:

— Наоборот, я очень ему благодарен за поддержку... Только боюсь, он так меня к помочам приучит, что я потом и шаг без него не сделаю.

— Ну, и грош вам цена,— спокойно сказал Владыкин.— По-моему, если у человека есть характер, он в лепешку расшибется, чтобы такую опеку поскорее с себя скинуть.

Решетников обрадовался, что разговор подходит именно к тому, что ему нужно, но Владыкин продолжал:

— Я, например, своего Родина чем с себя скинул? Как бы это сказать... стрельбой по площадям... Вот увижу, он стоит и, скажем, на механический лот смотрит, а у меня внутри уже все томится. Понимаю, что он, старый черт, у него в самых кишках что-то приметил и сейчас меня носом ткнет. Ну, с отчаяния возьмешь и прикажешь: «Товарищ главный старшина, надо лот разобрать, тросик смазать и барабан покрасить. Смотрите, в каком он виде!»... Так сказать, вроде стрельбы по площади: куда-нибудь да попадешь... И точно, он, оказывается, и собирался предложить именно тросик промазать, да уж поздно: инициатива-то за мной осталась, за штурманом!.. Вот так и привык к решительности. И подмечать все научился. Ходишь и думаешь: неужто он раньше меня что-нибудь заметит?.. Да чего вы все время чихаете? — вдруг посмотрел он на лейтенанта.— Ночью, что ли, простыли? Небось голым выскочили?

— Да нет,— сказал Решетников, закрыв лицо платком: признаваться в своем упрямстве с регланом, пожалуй, не стоило.

— Хватите на ночь сто грамм, да побольше, и горчицы в носки насыпьте, пройдет,— посоветовал Владыкин, на все имевший ответ.— Так вот... Будьте вы смелее, инициативнее. Над пустяками не раздумывайте, быстрее решайте. В мелочах ошибаться не бойтесь, убыток небольшой, а мелочи вас приучат и в крупных делах смелее решать... Да он вас и поправит, Хазов-то, поправит тактично, осторожно, в этом я вам ручаюсь. Оно и лучше, чтоб он вас поправлял, а не подсказывал. Понятно? А обижаться на него нечего: он для вас все то делает, что хороший коммунист должен делать для комсомольца и опытный моряк для такого... ну, скажем, молодого моряка, как вы. Чего же вам еще надо?

Решетников собрался сказать, что надо-то еще очень многое: самому почувствовать в себе ту смелость, решительность и самостоятельность, которые он в нем предполагает. Но это опять упиралось в ночные мысли, говорить о которых было нельзя, чтобы не погибнуть в его глазах окончательно. Однако, представив себе, что разговор сейчас кончится ничем и ему придется вернуться на катер, где ждет его Хазов и все связанные с ним неприятности, он поднял глаза.

— У меня есть предложение, товарищ капитан третьего ранга... Может быть, вы и согласитесь...

— Самостоятельное или тоже боцман подсказал? — весело улыбнулся Владыкин.

— Да нет... самостоятельное...— не в тон ему серьезно ответил Решетников и начал излагать свой план.

Но, по мере того как он говорил, вся убедительность и логичность ночного проекта исчезали вместе со сползающей с лица Владыкина улыбкой.

— Так,— сказал Владыкин, когда он закончил, и стал долго закуривать папиросу. Потом защелкнул зажигалку и внимательно посмотрел на Решетникова.— Значит, в кусты?

— Почему же в кусты? На любом другом катере...

— На другом катере вам механик будет жизнь заедать, на третьем — помощник. Так и будете катера менять, словно сапоги,— искать, который не жмет?.. М-да... Решение, и, видно, самостоятельное...

Лсйтенант почувствовал, что краснеет, и с отчаянием подумал, что остается одно: признаться и просить вернуть его на крейсер.

— Ну ладно,— сказал вдруг Владыкин жестко.— Я вам карты открою, чтоб понятнее было.

Он посмотрел в сторону, как бы обдумывая, с чего начать, и Решетников насторожился.

— Меня что в вас заинтересовало: то, что я в вас любовь к катерам почувствовал. Помните, как вы мне о пятьсот девятнадцатом рассказывали? Я вам тогда сказал: хорошо, когда человек твердо знает, чего он хочет. А сейчас я этой твердости в вас не вижу. И, пожалуй, скоро так обернется, что мне будет все равно, есть на свете лейтенант Решетников или нет... Ну, это пока мимо... Так вот. Вы о катере мечтали и думали, что вам катер на блюде поднесут. Так, понятно, не бывает. Я о вас с контр-адмиралом поговорил — бой ваш на пятьсот девятнадцатом в вас кое-что показал... Дали вам время с катерами ознакомиться. Все-таки месяца четыре вы артиллеристом там были — значит, вопросы техники да и тактики катерной освоили, и, знаю, освоили неплохо... К тому времени этот случай у нас вышел... с Парамоновым...

Он замолчал, и Решетников почувствовал, какой потерей была для командира дивизиона гибель Парамонова. Потом Владыкин поднял голову и посмотрел лейтенанту прямо в глаза:

— Так вот. Я все это время о вас соображал и выбирал, какой катер вам дать. Ну, и дал парамоновский катер. Поняли вы, что это за катер?

— Понял, — тихо ответил Решетников.

— Знаю, что поняли. И за портрет вам спасибо... — Он невесело усмехнулся. — Вот вы говорите: учиться... Этим портретом вы меня многому научили. Я приказал ввести на дивизионе в традицию: чтобы на каждом катере портреты погибших героев были. Память о них боевая...

Он опять помолчал.

— Так вот... А почему именно этот катер? Не только потому, что на нем вам легче в первый бой пойти — не гастролером, а настоящим командиром, — а потому еще, что на нем такой боцман, как Никита Петрович Хазов. Я вас в верные руки отдал, и в какие руки!.. А вы...

Он не договорил, заметив, что Решетников помрачнел и, видимо, принял упрек всем сердцем. Потом открыл ящик стола и вынул папку, на которой была наклейка «На доклад конт-адмиралу», сделанная, как и все владыкинское, с аккуратным и скромным щегольством.

— А Хазова из-за вас я в продвижении задержал. Это вам тоже нужно знать, коли разговор всерьез пошел. Читайте.

Решетников взял листок. Это был заготовленный приказ по базе о том, что за отличные боевые заслуги и проявленные знания старшина первой статьи Хазов Н. П. назначается помощником командира «СК 0944» с присвоением не в очередь звания мичмана. В заголовке приказа стоял прошлый месяц, но числа и подписи не было.

— Если бы Парамонов из боя вернулся, это было бы подписано, понятно? — сказал Владыкин, взяв обратно приказ. — Но когда он... когда с ним это случилось, речь зашла о вас, и я контр-адмиралу доложил, что приказ придется пока задержать. Одно дело — быть Хазову помощником у Парамонова, а совсем другое — у вас. Вы его ничему не научите и ничем на первых порах не поможете. Да и для вас лучше: боцманом он вам больше даст, чем помощником. Боцман — он король, а помощником — сам еще цыпленок. И для катера лучше, а то и помощник учиться будет, и командир, и новому боцману к команде привыкать. Этак у нас не боевой корабль получится, а неполная средняя школа... Ну, а дать ему только офицерское звание и оставить при вас боцманом — тоже не выходит. Не тот эффект получается: этот приказ должен был всем катерным боцманам перцу подбавить, ну, и гордости: вот, мол, как наши на мостик прыгают! И боцмана веселей бы служили. Понятно?

— Понятно, — взволнованно сказал Решетников.

То, что Владыкин на миг приоткрыл для него завесу, скрывающую неведомый ему еще мир, где решаются судьбы флотских людей, и он краем глаза увидел, что таится за маленьким листком приказа, сильно его поразило. Как-то по-новому увидел он и Владыкина, и контр-адмирала, и Хазова, и всю катерную дружную семью, и весь тот умный, рассчитанный ход флотской службы, где взвешивается все, и где каждому человеку есть своя особая цена, и где каждый человек судьбой своей неразрывно связан с судьбами других во имя боеспособности одного только катера.

Владыкин заметил, очевидно, его взволнованность и дал ему время подумать над тем, что пришлось узнать. Он не торопясь уложил приказ обратно в папку и только потом продолжал:

— Хорошо, если понятно. Я вам всю эту механику для того рассказал, чтобы вы одну важную вещь поняли. Вот уперлись вы в свои отношения с боцманом и делаете две ошибки, непростительные для командира. Из-за этого вашего самолюбия вы в боцмане живого человека не видите. А боцман для командира катера первейшим другом быть должен. Иначе катеру — ни плавать, ни воевать. А что вы о Никите Хазове знаете, кроме того, что он вам на нервы действует? Ничего вам в нем не интересно, вы собой заняты. А что у него на душе, почему он такой хмурый да необщительный, на это вам наплевать. Не хотите вы к нему путь искать. Первая ваша ошибка.

Он сунул папку в стол и щелкнул замком.

— Вторая. Боцман вам все на катере заслонил, всех людей. А как, спрашивается, вы будете командовать катером в бою, если не знаете, кто у вас — кто? Кто чем дышит, чем живет, как фашиста ненавидит? Кого вы можете на смерть послать, чтобы

он жизнью своей катер спас, а за кем в бою присматривать надо? Кому надо душевным разговором помочь, а на кого рявкнуть? Да, наконец, просто: кому водку можно перед походом дать, а кому после?.. Знаете вы все это? Ничего вы не знаете, а на катере уже две недели. Если бы контр-адмирал и командир дивизиона так же, как вы, людьми интересовались, торчал бы Хазов безвылазно в боцманах, а вы на крейсере так и мечтали бы о катере. Вторая ваша ошибка.

Он встал и тотчас привычно одернул китель, который и так сидел на нем без складочки. Решетников тоже встал: этот жест Владыкина означал возвращение к официальному разговору.

— Так вот, товарищ лейтенант,— сказал Владыкин сухо.— Вы остаетесь командиром «СК 0944», и старшина первой статьи Хазов остается боцманом там же. От вас зависит срок, когда он получит звание мичмана и станет помощником командира. На сорок четвертом или на другом катере — это тоже зависит от вас. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан третьего ранга,— ответил Решетников.— Разрешите идти?

— Если действительно понятно, идите,— сказал Владыкин.

Не видя в глазах его ни улыбки, ни тепла, Решетников понял, что нынче с ним говорилось без всяких скидок на молодость и неопытность. Все в нем было растревожено и болело. Впервые в жизни он почувствовал, что с его поведением и поступками тесно связана чужая судьба, и непривычное это чувство никак не могло в нем уложиться и давило на сердце тяжелым грузом. Он как будто повзрослел за этот разговор.

— Разрешите вопрос, товарищ капитан третьего ранга? — сказал он, подняв опять глаза на Владыкина, и взволнованно спросил: — А Хазов... он об этом приказе знает?

— Знает вряд ли,— по-прежнему холодно ответил Владыкин.— А догадывается несомненно. Все к тому шло, он не маленький.

— Так как же мне с ним теперь, ведь это...— начал Решетников и вдруг опять глупо и смешно чихнул.

Владыкин не улыбнулся, но в глазах его проскочила искорка откровенного смеха, и Решетников понял, что не все еще потеряно.

— Вы в водку обязательно перцу подсыпьте, это лучше помогает,— сказал Владыкин.— Болеть вам теперь некогда. Понятно?

Но Решетников, не ответив на этот раз, что понятно, пошел к двери, понимая одно: что Хазов стал для него совсем другим человеком.

Глава седьмая

Разговор этот как бы встряхнул Решетникова. Вся его «ночная психология», как не без некоторого презрения расценивал он сейчас свои недавние переживания, казалась ему теперь мальчишеской и вздорной. На что потратил он драгоценное время? Целых две недели глубокомысленно решал вопрос, командир он или не командир, когда надо было просто становиться им. Он внутренне поклялся себе немедленно, сегодня же, начать вести себя как взрослый человек и прежде всего изменить свое подозрительное отношение к боцману, которое, вероятно, для того просто обидно.

Резкий ветер дул с моря холодно и ровно, и солнце светило не грея, но так сильно и ярко, что в воздухе стояла отчетливая прозрачность. Дорожка, ведущая в глубину бухты, где стоял «СК 0944», петляла среди низкорослых деревьев, еще лишенных зелени. Сквозь черное кружево сухих, голых ветвей странно белели гипсовые девушки с мячами и веслами — напоминание о том, что здесь когда-то был парк санатория. Домики его зияли теперь провалами вырванных рам или просто лежали на земле невысокими печальными грудями камней и досок. Но за черными ветками и разваленными стенами неотступно — то слева, то справа, то впереди, в зависимости от того, как поворачивала дорожка, — виднелось море. Море, от которого не уйти и к которому все равно придешь, как бы ни крутило тебя по жизни и как бы ни заслоняла его от тебя путаная сеть мыслей и сомнений...

Но хотя в воздухе была свежая, отрезвляющая прозрачность, мысли оттого не становились яснее. Наоборот, полная неизвестность, как же быть теперь с Хазовым, с катером и вообще с морем и флотом, беспокоила Решетникова.

И словно в ответ его мыслям дорожка, повернув, поднялась на горку, и такая живая синяя ширь ударила ему в глаза, что он невольно остановился.

Пестрея по склонам домиками, садами, дворцами санаториев, которые издали казались целыми и нарядными, горы круто сбегали к воде, окружая бухту с трех сторон и обрываясь двумя мысами. Море, гонимое с юго-запада ветром, вкатывало сюда крупные, в барашках валы. Попав из вольного простора в тесноту бухты, они вырастали, выгибая спины, накатывались на берега и расплескивались по ним длинными шипящими языками, раскачивая по дороге все, что попадалось навстречу. И все в бухте шевелилось, билось, прыгало...

На середине ее мерно покачивался на якоре большой транспорт. Ближе к берегу быстро кланялись мачтами три серо-голубых миноносца. Возле них вздымались на волну наката сторожевые катера, ставшие на якорь подальше от пирсов, где их могло

бить друг о друга. У пристаней, колотясь бортами и наскакивая на соседей, беспокойно кишели стайками мелкой рыбешки мотоботы, шхуны, сейнера и те маленькие катерки, чьи прозвища — «каэмки» и «зисенки» — показывали их размеры. Неуклюжие гидросамолеты давно уже выбрались из воды и теперь, присев на песке, как большие нахохлившиеся птицы, терпеливо выжидали, когда прекратится этот сумасшедший накат и можно будет сползти на притихшую воду, чтобы, с шумом пробежав по ней, вдруг оторваться и взлететь, потеряв кажущуюся свою грузность.

Накат и в самом деле был сильный, и привычное уже чувство беспокойства за катер охватило Решетникова. Вспомнив вдобавок, что боцман с утра ушел на базу раздобывать какую-то особую краску, он почувствовал, что ноги сами понесли его по дорожке. Однако, сообразив, что катер, наверное, уже перетянули за баржу со снарядами (как, по счастью, догадался он приказать перед уходом в штаб), лейтенант успокоился и снова повернулся к бухте, привлеченный действиями того единственного в ней корабля, который сейчас не отстаивался на якоре.

Это был сторожевой катер — совершенно такой же, как «СК 0944». Он полным ходом носился между мысами, зарываясь в волне, порой совсем исчезая в поднятых им брызгах, и время от времени за кормой его вставал черно-белый пузырь взрыва глубинной бомбы. Вдруг новый высокий столб воды, огромный и широкий, вырос совсем рядом с катером. Секунду-две он стоял в воздухе неподвижным толстоствольным деревом, настолько могучим и крепким, что ветер, не в силах его согнуть, лишь пошевеливал дымную черную листву. Потом в уши ударил тяжелый, медленный и раскатистый грохот, и звук этот словно подрубил фантастическое дерево: оно тотчас дрогнуло, черно-белая пышная листва начала быстро осыпаться, обнажая голый ствол вертикально стоящей воды. Затем и он рухнул и рассыпался, открыв за собой катер, и Решетников облегченно вздохнул. Катер развернулся на обратный курс и упрямо сбросил одну за другой еще три бомбы.

Это называлось боевым тралением. Оно заключалось в том, что взрыв глубинной бомбы должен был заставить мину сдетонировать и взорваться в стороне от катера, который уже успел убежать вперед.

Угадать заранее, где именно взорвется очередная мина — поодаль от катера или прямо под его днищем, — никто не мог. Это зависело столько же от умения командира и от быстроты хода, сколько и от случая. Однако такое занятие считалось на катерах пустяком, не стоящим внимания, надоедливой будничной работой, и ему не придавали значения.

Но в Решетникове, который ни разу еще не выходил на боевое траление, картина эта вызвала откровенную зависть и знако-

мое нетерпение. Ему уже хотелось скорее вывести катер из ремонта и начать боевую работу. Один такой пробег по воде, наченной минами, сразу поставит всё на свои места и покажет, что же такое, в конце концов, лейтенант Решетников — командир корабля или существо в нашивках... Вот где по-настоящему командир проявляет себя!.. Именно в таком поединке со смертью, когда только его воля гонит катер на возможную гибель, когда малейшее колебание и неуверенность будут замечены всеми, когда позорная мысль...

Но тут он сморщился и звонко чихнул — и тотчас услышал за спиной знакомый голос:

— На здоровье, товарищ лейтенант...

Он обернулся. Его нагнал Хазов с большой банкой краски в руках.

— Спасибо, — сконфуженно сказал Решетников, внезапно сброшенный с облаков на землю.

Краска и боцман напомнили ему, что до «поединка со смертью», собственно, еще очень далеко и что покамест его ждут не подвиги, а обыкновенный командирский труд.

Некоторое время они стояли молча, Хазов — по всегдашней своей неразговорчивости, Решетников — не зная, что и как говорить после того, что услышал от Владыкина. Он искоса посматривал на красивое, как бы печальное лицо боцмана, испытывая неловкость и смущение, и вдруг ему пришло в голову, что выражение постоянной печали и задумчивости, поразившее его в лице Хазова с первой встречи, может иметь неожиданно простое объяснение: не вызывалось ли оно тем, что своим появлением на катере он, Решетников, надолго отодвинул от боцмана близкую, почти схваченную мечту — быть самому командиром катера?.. Смешанное чувство стыда, виноватости и запоздалого раскаяния шевельнулось в нем, и он повернулся к Хазову, чтобы тут же душевно сказать ему что-то хорошее, дружеское, с чего мог бы начаться серьезный разговор, но в носу его опять нестерпимо защекотало, и он чихнул — громко, раскатисто, самозабвенно.

— Простыли вы, товарищ лейтенант, — сказал Хазов.

Еще утром Решетников, конечно, увидел бы в этом очередной урок и насмешку: вот видишь, мол, чего ты своим упрямством добился... Но теперь он услышал в этом что-то совсем другое — живое, простое, человеческое — и неожиданно для самого себя ответил:

— Вот не послушался вас, Никита Петрович, теперь и чихаю как нанятый...

Все было ново в этом ответе: и признание своего упрямства, и самая интонация, свободная и дружеская, и то, что впервые назвал он боцмана Никитой Петровичем. И Хазов, очевидно,

понял все это, потому что посмотрел на него так же открыто и дружески и — удивительная вещь! — улыбнулся. Засмеялся и Решетников, почувствовав, что какая-то стена между ним и боцманом рухнула и что жить теперь очень легко.

— Капитан третьего ранга советует на ночь сто грамм хватить, — так же свободно продолжал он, сам удивляясь тому, как просто, оказывается, разговаривать с боцманом. — Поможет, как вы думаете?.. И горчицы в носки...

— Должно помочь. Только лучше в бане попариться, — ответил боцман.

И они двинулись вместе к катеру.

Чувство радостного облегчения продолжало веселить Решетникова, и он шел, поглядывая сбоку на боцмана, осторожно несшего банку с краской, и удивленно спрашивал себя, что же изменилось в Хазове, из-за чего с ним сразу стало так легко и просто? И вдруг догадался, что изменилось что-то не в боцмане, а в нем самом — в его собственном отношении к Хазову.

Странное дело, тот не вызывал в нем теперь обычной настороженности и болезненного ожидания укола самолюбия. Наоборот, боцман, казалось, с явным любопытством и сочувствием слушал веселый вздор, который он понес, придя в отличное настроение. Ему почему-то вздумалось рассказать, как зимой приятели взялись в момент вылечить его от гриппа способом, похожим на тот, что рекомендовал Владыкин, и как лечение закончилось тем, что «врачи» без задних ног остались на городской квартире, а пациент зачем-то поплелся на крейсер, но ночевал не в каюте, а у коменданта города... Рассказывая это, он весело, счастливо и жадно посматривал на небо, на море, на боцмана, на улицу городка, в который они вошли.

Все, что попадалось ему на глаза, — безобразно разваленные бомбежкой домики, воронки в мостовой, грузовик, чавкающий в грязи и рыдающий шестернями сцепления, пехотинцы, варившие что-то в котелке на костре, разложенном в подъезде обвалившегося дома, корабли, качающиеся в бухте, голые тополя, гнущиеся от ветра, который продувал все небо, холодное и синее, — все это казалось ему интересным, примечательным, по-новому занимало и останавливало взор. У ворот дома, уцелевшего более других, стоял часовой в необъятном овчинном тулупе с косматым воротником. Решетников с тем же счастливым любопытством посмотрел и на часового.

— Вот это постройка. Глядите-ка, товарищ Хазов! — рассмеялся он, точно в первый раз увидел постовой тулуп, но тут же замолчал.

Неожиданная мысль осенила его. Он остановился перед часовым и так внимательно начал его рассматривать, что тот засмутился и на всякий случай стал «смирно», опустив огромные рука-

ва, в которых винтовка выглядела зубочисткой. Хазов выжидающе вскинул глаза на лейтенанта, но тот щелкнул языком и двинулся вперед, увлекая его за собой.

— А что, боцман,— сказал он хитро и задорно, снова необычно (без прибавления «товарищ») обращаясь к Хазову,— а что, боцман, если нам штуки три-четыре таких на катер раздобыть, а?.. Чем вам не индивидуальная ходовая рубка? И тепло, и сухо, и ветер не прошибет, и в любой момент скинуть можно. Подумайте, рулевому в такой хате стоять — красота!

Боцман оглянулся, окинул взглядом часового и второй раз за этот примечательный день улыбнулся.

— Соседи на смех подымут. Тулуп-то больше катера.

— Ну и пусть смеются да мерзнут,— убежденно возразил Решетников и с прежним оживлением продолжал: — Значит, рулевому — раз, командиру — два, сигнальщику... нет, сигнальщику не годится, в таких рукавах бинокля не подымешь... Вам — три...

— Мне-то ни к чему, товарищ лейтенант, а вот комендорам вахтенным... — перебил Хазов, видимо начиная соглашаться.

— Правильно, и комендорам — два. Значит, пять штук,— категорически сказал Решетников и тут же с удовольствием подумал, что это не владыкинская «стрельба по площадям», а прямая наводка.— Завтра же вырвите на базе, не дадут — сам пойду. Да они дадут, весна на носу, куда им беречь...

Постовые тулупы и точно на другой же день появились на «СК 0944», немедленно навлекши на его команду прозвище «дворники», пущенное штатным острословом дивизиона, командиром катера «0854» лейтенантом Бабурчёнком. Отношения же Решетникова с боцманом резко изменились, как будто прогулка эта имела решающее значение.

Собственно говоря, боцман вел себя по-прежнему, но Решетников не чувствовал уже давления на свою волю, как и не видел более в боцманских советах желания унижить нового командира и доказать его непригодность к командованию катером, что мерещилось ему раньше. Поэтому, не боясь, он сам теперь встречал боцмана по утрам целым залпом приказаний. И каждый раз, когда по одобрению, мелькнувшему в глазах Хазова, понимал, что приказанием предупредил его совет, новая нужная мысль осеняла его, и смелости и решительности в нем все прибавлялось.

Он чувствовал себя теперь как человек, который долго боялся поплыть без пузырей и пояса и вдруг, отважившись попробовать, с удивлением обнаружил, что вода его держит и что вовсе не надо думать, какой рукой и ногой когда шевелить. Чувство это было настолько замечательным, что Решетников, и по натуре человек веселый и живой, стал еще веселее и общи-

тельнее, что сильно помогало ему ближе знакомиться с командой катера.

Этому способствовало еще и то, что катер из-за ремонта стоял вдали от дивизиона и того полуразрушенного санатория; где, отдыхая от тесноты и сырости катеров, катерники обычно жили между походами. Поэтому весь экипаж «СК 0944» жил на катере (для чего Быков приспособил отопление и даже расстарался светом от движка соседнего армейского штаба), и Решетников проводил с командой целые дни. Он появлялся в машине у мотористов, занимался с комендорами у орудий, с минерами у стеллажей глубинных бомб, засиживался в кубрике по вечерам. В этой совместной работе и в разговорах он незаметно для себя все ближе узнавал людей и, хотя по-прежнему мечтал о первом походе, в душе был благодарен ремонту.

За это время он обнаружил, что те двадцать человек, которых до сих пор он объединял в смутном и безличном понятии «команда катера», все очень разные, все сами по себе, каждый со своим характером, привычками, взглядами, достоинствами и недостатками, и что у каждого из них до флотской службы была уж совсем не известная ему жизнь «на гражданке», определявшая их свойства. Оказалось еще, что знание сильных и слабых сторон каждого, а также и понимание их взаимоотношений, дружеских, неприязненных или безразличных, может значительно помочь в командовании катером.

Конечно, это была не очень-то свежая мысль. И, наткнувшись на нее в своих ночных размышлениях, Решетников справедливо подумал, что хвастаться этим очередным «открытием Америки» ни перед кем не стоит и лучше оставить его для личного употребления. Но старая истина, до которой он дошел своим умом, увлекла его своей непреложностью, и он стал пользоваться всяким случаем, чтобы разгадать внутреннюю сущность каждого из своих моряков.

Здесь его ожидали удивительные неожиданности. Так, например, выяснилось, что рулевой Артюшин, балагур и весельчак, разбитной и несколько нагловатый красавец, которому катерная молва приписывала неисчислимое количество жертв среди женского населения базы, на самом деле отпрашивался каждый вечер на берег вовсе не для посещения очередной дамы сердца, в качестве которой все называли некую санитарку. Он действительно проводил отпускные часы в госпитале, но не у санитарки, а у радиста Сизова (раненного в том же бою, в котором был убит Парамонов), таскал ему скудные лакомства, какие можно было раздобыть в разоренной войной городке, и отчаянно ссорился с дежурными врачами и санитарями, которые, по его мнению, не обеспечивали Сизову должного комфорта и лечения.

Об этом Решетников узнал при своем посещении госпиталя,

когда он пошел туда познакомиться с Сизовым и кстати поговорить с врачами — ожидать ли его поправки или требовать в штабе другого радиста. После, в разговоре с Артюшиным о Сизове, лейтенант выяснил еще одну важную подробность: в свое время, при уходе из Севастополя, Артюшина сбросила за борт взрывная волна, и он мог бы вовсе пропасть (ибо контузия, по его словам, «отшибла всякое политико-моральное состояние» и он плавал, «как бессознательное бревно»), если бы не Сизов, который кинулся за ним в воду, поймал его и держал на себе, пока катер не изловчился их подобрать.

— Значит, с тех пор и подружились? — спросил Решетников, которому психологическая ситуация показалась вполне ясной.

Артюшин посмотрел на него с ироническим удивлением.

— А с чего ж он тогда за мной спикировал? Мы давно с ним дружки, с самой Одессы.

Решетников смутился.

— Да, паренек действительно ничего, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать. — Сколько ему лет-то?

— Шестнадцать. Морячок хороший. Тихоня только.

— Какой же тихоня, если за вами кинулся?

— Это он со страху.

— Непонятно, — сказал Решетников.

— За меня испугался. А для себя он ничего не сделает, больно тихий. До того тихий, аж злость берет. За ним не присмотришь — вовсе пропадет... Да вот, возьмите, товарищ лейтенант: вчера прихожу, а ему всё этого не достали... как его... сульфидину. Главный врач уже когда приказал, а они чикаются.

Решетников самолюбиво вспыхнул: как и при первом знакомстве, в словах Артюшина ему снова почудился прямой упрек — какой же, мол, ты командир, если не знаешь, что твоему моряку нужно?..

— Я спрашивал, не надо ли чего, а он не говорит.

— Он скажет!.. — зло фыркнул Артюшин. — Я на его месте дал бы жизни, все утки в палате взлетели бы, а он лежит да молчит... Гавкнули бы там на кого, товарищ лейтенант, этак его два года на катер не дожدهшься...

— Я разберусь, — сказал Решетников. — Завтра там буду.

Артюшин помолчал и потом, глядя в сторону, спросил совсем другим тоном:

— Боцман говорил, замену ему в штабе хотите просить?

— Не знаю еще. Как с поправкой пойдет.

Артюшин поднял на него глаза:

— Дождаться б лучше... Радист больно боевой, без него катеру трудно будет, — сказал он, убедительно глядя на лейтенанта, но по взгляду его Решетников понял, что трудно будет не катеру без такого радиста, а самому Артюшину без друга.

Он усмехнулся:

— Ну вот... А говорили — тихий.

— Так он для себя тихий, — оживился Артюшин, — а для немца гроза морей и народный мститель, ей-богу! Старший лейтенант Парамонов два раза его представлял — за Керчь да за Соленое озеро, а он все с медалькой ходит, я уж смотреть не могу, перед людьми стыдно... Да ему за один последний бой орден полагается — поспрошайте ребят, как он ползком снаряды подавал, когда ему ноги посекло... У него к фашистам особый счет...

И он рассказал одну из тех тысяч юношеских трагедий, на которые так щедра оказалась война.

В сентябре 1941 года «СК 0944» конвоировал пароход, увозивший из Одессы раненых и эвакуируемые семьи. На рассвете «юнкерсы» — три девятки против трех катеров — утопили пароход и потом прошлись над морем, расстреливая из пулеметов тех, кто ухватился за обломки. Катера подобрали уцелевших. Среди них «СК 0944» нашел паренька — одной рукой он держался за пустой ящик, а другой поднимал над водой голову девочки лет десяти, стараясь дать ей дышать и не замечая, что она убита. До самой Ак-Мечети он так и просидел на корме молча у маленького мокрого тельца, а когда подошли к пристани, выскочил и побежал к двум другим катерам. Те выгрузили спасенных и ушли в Севастополь, а «СК 0944» остался чинить повреждения, и утром Артюшин снова заметил паренька: он сидел на пристани и молча глядел в воду. К обеду, увидев его на том же месте и в той же недвижимой позе, Артюшин пошел к нему, чтобы затащить его на катер поесть. И тут выяснилось, что паренька зовут Юра Сизов, что убитая девочка была его сестрой, что на катерах он не нашел среди спасенных ни матери, ни отца (его везли в Севастополь с оторванной при бомбежке завода ногой) и что теперь ему, Юрке, остается одно: прыгнуть в воду, откуда он не сумел вытащить никого из родных.

Внезапная пустота, которая разверзлась в мире перед Юрой, потрясла и Артюшина, а неподвижный взгляд, каким подросток уставился в воду, рассказывая все это, не на шутку его испугал. Он уговорил командира катера не бросать паренька в Ак-Мечети, а взять с собой в Севастополь и куда-нибудь пристроить. Ремонт затянулся на четыре дня, и за это время Артюшин, который, «сам не зная с чего», привязался к Юрке, узнал, что тот — радист-любитель, коротковолновик с дипломом. Артюшин снова пошел к командиру, и все обошлось как нельзя лучше: Сизова оставили на катере добровольцем, а весной он стал штатным радистом и вполне себя оправдал и как моряк и как техник...

Артюшин говорил о Сизове так тепло и душевно, что Решетников подивился, откуда в этом насмешнике и зубоскале, попасть кому на язык опасались все на катере, взялось такое глубокое,

почти отцовское чувство. Слушая его, Решетников особенно остро ощутил свое одиночество — вот не дает же ему судьба иметь в жизни такого друга, который и жалел бы его и думал бы о нем... Он настроился было посочувствовать самому себе, но с удивлением заметил, что думает совсем о другом: о том, что просить о замене радиста будет вовсе неправильно. Во-первых, неизвестно, кого еще дадут, а Сизов, видимо, парень стоящий, во-вторых, и на Артюшине разлука, несомненно, отразится, и тот потеряет свой веселый характер (который он, Решетников, в нем ценил, рассматривая артюшинские шутки как необходимые «психологические витамины»), и все это, вместе взятое, помешает катеру в бою.

Придя к такому выводу, Решетников поздравил себя с тем, что начинает наконец думать как командир: ход мыслей у него получился совершенно владыкинский. Обрадовавшись этому, он немедленно начал действовать. Сульфидин ему удалось раздобыть в армейском госпитале, наградные листы, залежавшиеся в штабе, произвели свое действие, и Владыкин лично вручил Сизову орден Красной Звезды. Об Артюшине же думать не приходилось: тот сиял как медный грош, работа в его руках кипела, и «психологические витамины» выдавались без карточек, поднимая настроение команды в трудном деле ремонта.

Как обычно бывает, успех подстегнул Решетникова, и он, что называется, «с ходу» выправил и свои отношения с главстаршиной Быковым, которые неожиданно разладились на пятый или шестой день его командования катером. Вначале они были хороши: механик нахвалиться не мог новым командиром, ибо тот с места горячо взялся за ликвидацию окаянной «трясучки», из-за которой «СК 0944» на дивизионе называли «маслобойкой» или «трясогузкой» с легкой руки лейтенанта Бабурчёнка. Решетников собирался уже доложить командиру дивизиона о необходимости поднять катер на эллинг, но, узнав, что для этого надо идти в Потти, наотрез отказался говорить о «трясучке» с Владыкиным. Быков нахмурился, и отношения его с новым командиром заметно окислились.

Это обстоятельство, правда, беспокоило Решетникова не так, как начавшие тревожить его в ту пору непонятные взаимоотношения с боцманом Хазовым, но все же мысль о том, что механик смотрит на своего командира косо, была ему неприятна. Поэтому лейтенант прилагал все силы, чтобы помочь катеру в другой его беде — в замене компрессора, необходимого при заводке моторов.

Дело это было нелегкое. Компрессор на северной базе катеров считался едва ли не самым дефицитным механизмом, а кроме «СК 0944», он пришел в негодность еще на трех катерах. При каждом посещении штаба Решетников обязательно заходил к дивизионному механику (которого командиры катеров почему-то

называли между собой не по должности или по фамилии, а просто Федотычем). Но тот только молча отмахивался от него, как от мухи. Да Решетников и сам понимал всю ничтожность своих шансов на получение компрессора: конкурентами его были известные всем командиры заслуженных боевых катеров, а один из них вдобавок — лейтенант Бабурченок, который славился на дивизионе не только как признанный острослов, но и как безотказный «доставала» всяких дефицитных материалов.

Доставал их, собственно, его механик, мичман Петляев. До призыва из запаса он работал заведующим отделом снабжения крупной механической мастерской и навыки свои перенес на катерную службу: у него и здесь завелись всюду знакомства, он в точности знал, куда и когда прибывает какое-либо сокровище по механической части, а также от кого именно зависит получение его для катера. И тогда в дело вступал уже Бабурченок, добивавшийся необходимой резолюции. Сообразно разведывательным данным Петляева, лейтенант, попадая в Потти, появлялся в очередном кабинете — директора завода, флагманского механика Управления тыла или какого-нибудь начальника склада — и получал необходимую резолюцию, влияя на их психику либо природной своей веселостью и удивительным, ему одному присущим обаянием, либо прибегая к некоему безотказному приему.

Он заключался в том, что, обычно жизнерадостный и шумный, Бабурченок входил в кабинет как в воду опущенный и начинал вздыхать и горько жаловаться на то, что из-за отсутствия на базе дивизиона каких-нибудь паршивых прокладок или несчастного карбюратора боевой, заслуженный катер не может выйти на важное задание (в разговоре с людьми, далекими от оперативной жизни флота, Бабурченок тут таинственно намекал на особое значение этого похода, от которого зависят события ближайших месяцев войны). При этом его круглое, живое лицо с тугими, похожими на румяные яблоки, щечками, между которыми торчал смешной востренький носик, непостижимо приобретало такое унылое, даже трагическое выражение, что обычные жестокие слова отказа самый бездушный страж дефицитных богатств произносил с трудом и даже почему-то оправдывался. Слушая его неловкие объяснения, Бабурченок сочувственно кивал головой и время от времени повторял убитым тоном одно и то же:

— Вот ведь беда какая, а нам нужно... Как же быть?

Видимо, в нехитрой этой формуле была заключена какая-то гипнотическая сила, потому что, услышав в пятый или в седьмой раз такое заклинание и чувствуя на себе взгляд этих чистых и ясных глаз, устремленных на него с печальной надеждой и почти детской верой в чудо, любой охранитель механического добра ловил себя на том, что рука его тянется к перу, перо —

к бумаге и что на заявке, каким-то образом очутившейся на столе, перо это само, как бы помимо его воли, выводит разрешительную надпись: «Отпустить...»

Примечательно было то, что лейтенант Бабурченок и сам толком не знал, зачем ему, собственно, все эти разнообразные дефицитные богатства, и добывал их из какого-то спортивного азарта. Зато пользу этого хорошо понимал мичман Петляев: обменивая у механиков других катеров, в зависимости от спроса, клингерит на сверла, баббит на карбюраторы, асбест на какие-нибудь торцовые ключи, он постепенно создал свой золотой фонд материалов и инструментов, благодаря чему мог считать себя независимым от случайностей снабжения. И, узнав (как всегда, первым), что из Поти прислали один-единственный на весь дивизион компрессор, Петляев тотчас подсказал своему командиру, что тому следует сделать, чтобы заполучить компрессор для катера.

До «СК 0944», стоявшего в ремонте вдали от штаба, эта новость дошла много позже. Еще неделю назад Решетников покорно примирился бы с мыслью, что компрессор все равно ухватит Бабурченок, следующие дадут Усову и Сомову и уж только тогда вспомнят об «СК 0944» с его никому не известным командиром. Но в том новом для него состоянии уверенности в себе и в своей удачливости, которое стало для него уже привычным, Решетников помчался в штаб. В крохотной комнатухе Андрея Федотыча он застал всех троих конкурентов, каждый из которых действовал своим способом.

Аккуратный и выдержанный старший лейтенант Сомов пытался получить компрессор в полном согласии с установленным служебным порядком. Главным и единственным его оружием были акты об окончательной непригодности компрессора, подписанные самим же Андреем Федотычем.

Другой претендент, лейтенант Усов, рассудительный и тихий юноша с двумя орденами, избрал обходный маневр: он великодушно предложил снять свой катер с повестки дня, что заставило Андрея Федотыча вскинуть на него глаза. Тогда Усов так же негромко и спокойно пояснил, что компрессор у него не так уж плох и в умелых руках может работать как часы и если Андрей Федотыч пообещает присматривать за ним сам при возвращениях катера в базу, то нового и не потребуется (говоря это, Усов отлично знал, что Федотыч уже трижды копался в его компрессоре и, выбившись из сил, обозвал его «дырявым примусом»).

Бабурченок же выдвинул совсем новое предложение. По его мнению, решить, кому нужнее всего этот окаянный компрессор, без катерных механиков невозможно. Надо собраться с ними на какую-нибудь конференцию круглого стола и договориться по-хорошему — в конце концов, им виднее, ведь командиры катеров

говорят с их слов. И тут же, забавно морща носик, добавил, что так как утром на контрольном тралении у него на катере наглушили мировую рыбу, то эту конференцию он предлагает устроить нынче же вечером, для чего приглашает обоих конкурентов и их механиков, а также Федотыча «на классную уху под юбилейным соусом», намекая на коньяк, снова присланный женой из Тбилиси.

Эта конференция была подсказана ему Петляевым, который уже договорился с обоими механиками (решетниковский катер он в расчет не принимал по причине отсутствия на нем серьезного командира). Смысл пакта заключался в том, что Петляев предоставляет им из своего золотого фонда множество мелких, но позарез нужных обоим приборов, инструментов и материалов. За это те обязуются не только не драться за компрессор, но, наоборот, убедить своих командиров, что можно пока походить и со старыми, а присланный уступить Бабурчёнку, которому без него просто труба.

Однако ни документация Сомова, ни тихая подначка Усова, ни дипломатия Бабурчёнка никак не срабатывали. Федотыч, соображая что-то свое, молча копался в потрепанной записной книжечке, где у него значились бедствия и претензии всех катеров, и, не дослушав Бабурчёнка, рассеянно махнул рукой на всех троих:

— Не скулите в служебном помещении. Думать мешаете. Тут по справедливости надо. Дам, кому всего нужнее.

— Тогда, значит, мне,— в каком-то внезапном вдохновении сказал Решетников из-за спин своих конкурентов, и все трое возмущенно обернулись.

Федотыч, прищурясь, устало на него посмотрел:

— А в честь чего же именно вам?

— Очень просто,— уверенно ответил Решетников.— Вот вы послушайте, товарищ капитан-лейтенант, и сами согласитесь.

— Попробуйте,— сказал Федотыч, не без любопытства рассматривая Решетникова.

— Ну вот, скажем, старший лейтенант Сомов: он ведь последние ресурсы добывает, все равно скоро поставите его на переборку моторов. Зачем же ему сейчас новый компрессор, так ведь?

— Допустим, так,— кивнул головой Федотыч.

— А лейтенанту Усову на днях «катышу» будут устанавливать, все уж ему завидуют,— значит, тоже на приколе будет пока. Привезут из Поти еще компрессор, ему и дадите, а этот мне: я скоро из ремонта выхожу, мне плавать, а не стоять...

— Здравствуйте, Настя! — вскипел Бабурчёнок.— Что же, на всем дивизионе одна ваша маслобойка в строю? А я, например, не плаваю, что ли?



Решетников, благоразумно пропустив мимо ушей «маслобойку», миролюбиво повернулся к нему:

— Плаваете, Сергей Матвеевич, да еще как плаваете, сами того не знаете! С контр-адмиралом нынче ночью идете, вас оперативный уже ищет...

— Неужто в Поти? — оживился Бабурченок.

— Сам слышал, — подтвердил Решетников и с непонятной самому себе отвагой добавил: — Вот вы хвастаетесь, что все умеете достать. Неужели компрессора там себе не достанете?

Он ожидал какого-нибудь ядовитого ответа, но, к удивлению его и всех остальных, Бабурченок вроде даже обрадовался и весело подхватил:

— Факт, достану, и даже в целлофане с бантиками! Все ясно, более того: ясно и понятно. Товарищ капитан-лейтенант, отдайте компрессор юноше — неплохо товарищ соображает. А себе я уж как-нибудь раздобуду...

Федотыч помолчал и, пометив что-то у себя в книжке, поднял глаза сперва на Решетникова, потом на Бабурченка:

— Добро. Присылайте Быкова, завтра и начнем менять. А вы через час зайдите, бумажку флагмеху возьмете.

— Да мне не надо, я и так достану, — самонадеянно сказал Бабурченок.

— Нет, возьмете, — настойчиво повторил капитан-лейтенант, — для всех троих будете доставать. Хоть раз для общества постарайтесь, не всегда же для своего хутора... У меня все. Не мешайте работать.

И Федотыч опять уткнулся в свою «колдовку», где значились ранения, контузии, увечья и болезни, приобретенные катерами в боях и в походах, — никому не видный и мало кем знаемый боевой послужной список маленьких героических корабликов, второй год ведущих большую и тяжелую войну.

Каким-то образом — может быть, благодаря Федотычу, которому Решетников на этот раз понравился, — о находчивости и энергии нового командира «СК 0944», сумевшего отнять компрессор у самого Бабурченка, стало известно на дивизионе. Дошел этот случай, конечно, и до Быкова, и тот по-своему оценил его, увидев в поступке Решетникова самое драгоценное, по его убеждению, командирское свойство: заботу о машине корабля. За долгую службу Быков повидал и таких командиров, которые считали, что их дело — играть на мостике рукоятками машинного телеграфа, а как ответит машинное отделение — это уж дело механика, с которого нужно только постороже спрашивать. Новый командир опять приобрел его расположение, а о случае с ремонтом вала Быков великодушно забыл, тем более что, по совести говоря, с «трясучкой» можно было и плавать и воевать, а с не-

надежным компрессором нельзя было ожидать безотказной заводки мотора, что, понятно, было важнее.

И это свое расположение Быков выразил в удивительной форме. Дня через три Решетников ушел на весь день в море на катере Сомова (Владыкин все чаще стал посылать его на других катерах — «для освоения ремесла»). Вернувшись к ночи и ложась в свою узенькую и короткую койку, он с удивлением почувствовал, что ноги его не упираются, как обычно, в переборку, а свободно вытягиваются в каком-то неведь откуда взявшемся пространстве. Лейтенант включил свет и рассмеялся: часть переборки была вырезана, и к отверстию был приварен аккуратный, даже покрашенный железный ящичек, для которого, видимо, пришлось занять в кают-компании низ левого посудного шкафчика (что утром и подтвердилось). Он снова лег, впервые за все это время с наслаждением протянув усталые ноги, и заснул вполне счастливым, успев только с гордостью подумать о том, что, кажется, и впрямь сжился со своим экипажем и что с каждым днем ему на катере все интереснее и легче.

Глава восьмая

В детстве человек обладает удивительной способностью одухотворять окружающие предметы и явления, видеть в вещах живые, лишь не умеющие говорить существа и воображать в них свойства почти человеческие. С годами эта способность обычно теряется: жизнь заставляет трудиться, бороться, иные, серьезные заботы занимают ум, сердце черствеет, воображение вянет — человек разучается творить из порядком надоевших ему за долгие годы предметов и явлений особый мир, чудесный, волнующий, вдохновительный. И только в состоянии высокого напряжения всего существа, в моменты большого подъема — будь то любовь, вдохновленный труд, какое-то громадное горе или такая же огромная радость — человек вновь обретает забытую способность преображать мир. И мир снова, как в детстве, разделяет его чувства — все смеется, торжествует или рыдает вместе с ним и говорит о его любви, замысле, горе, победе.

Но спадает подъем, проходит любовь, закончен труд, утихает горе — и мир снова тускнеет. Краски его гаснут, мечта отлетает, предметы теряют свой голос, и чудесные их шепоты более не слышны: платок становится простым куском материи, чертеж — листом бумаги, орден — привычным отличием, знаком заслуг. И порой, глянув на них, затоскует человек о том прекрасном, совершенном, волнующем, что было в нем самом тогда, когда целовал он этот платок, спорил с чертежом и видел капли горячей своей крови в эмали ордена. Хотел бы он оживить вновь эти

предметы, придать им прошлую силу рождения чувств, но сердце уже закрыто, и лишь воспоминание кольнет его тонким и острым своим жалом.

Алексей Решетников был как раз в том приподнятом состоянии нравственного подъема, когда восприятия обостряются, углубляются чувства, ум становится гибким и быстрым, что объясняется высоким напряжением всех духовных и умственных сил человека, и когда жизнь, работа, люди, природа — все кажется ему в особом, одухотворяющем свете. Обычно такое состояние и рождается успехом и само рождает новый. Так было и с Решетниковым: словно пелена какая-то спала с его глаз, будто путы свалились с рук, — он увидел ясно, что́ ему надо делать, и всё, даже мелочи, делал удачливо, верно, как бы вдохновенно. Он сам не смог бы сказать, когда это началось. Видимо, один успех дополнялся другим, тот — третьим, подобно тому как первые гребки разгоняют тяжелый баркас, пока он не наберет ход и не приобретет того запаса движения, при котором гребцам остается лишь подгонять легкими ударами весел грузный его ход, разрезающий воду.

В этом счастливом состоянии Решетников сумел взять в руки свой первый в жизни корабль значительно скорее, чем мечтал об этом сам. Решающим обстоятельством было, несомненно, то, что с тех пор, как отношение его к Хазову после разговора с Владыкиным резко изменилось, он неустанно и действительно искал в отношениях с остальными подчиненными верного и точного своего места. Так ему удалось это сперва с Артюшиным, потом с Быковым, так продолжал он узнавать, определять остальных — и скоро небольшое его войско начало для него проясняться.

Он не мог еще, конечно, сказать с уверенностью, кого, по выражению Владыкина, можно на смерть послать, а за кем в бою присматривать надо, но многое уже знал из своих постоянных встреч с людьми на занятиях, на ремонте и на отдыхе, из шуточных или серьезных бесед на пирсе в вечерние часы, когда бухта сумеречно темнела, но до очередного визита самолетов было еще далеко. Все это нужно было как-то свести в систему, подытожить, запомнить. Так возникла у Решетникова мысль завести записную книжку вроде той, которую он часто видел в руках Владыкина и в которую тот при разговоре порой вписывал что-то своим мелким, но очень четким почерком.

Эту книжку лейтенант Бабурченок по аналогии с известными «Мореходными таблицами», предусматривающими все случаи штурманской жизни, называл «психологическими таблицами». Он утверждал, что по ним Владыкин мог определить, кто с кем поругается завтра из-за приемки горючего, кто когда может рассчитывать на орден, а кто — на штрафной батальон, и кому какой

сон приснится в будущую среду, — до того, мол, подробно и точно составлены там характеристики всех офицеров дивизиона, беспрерывно дополняемые.

Впрочем, что именно помечал там командир дивизиона, никому не было известно, в том числе и Решетникову, и, подумав, он решил сделать свою книжку вроде той, о которой читал, кажется, в биографии Золя, куда знаменитый романист записывал о своих героях решительно все, начиная с цвета волос. Каждому из своих подчиненных Решетников отвел по равному числу страничек и для начала два вечера подряд добросовестно заносил туда их анкетные данные, места по боевому расписанию и прохождению службы.

При этом занятии выяснилось, что на катере все, за исключением лишь Сизова и Жадана, были старше своего командира. Хазову оказалось на десять лет больше, Быкову — на восемь, а «годок» лейтенанту нашелся только один: командир отделения минеров, старшина второй статьи Антон Чайка, с которым Решетников действительно чувствовал себя свободнее, может быть, потому, что Чайка был секретарем комсомольской организации дивизиона и с ним еще в первые дни Решетников заговорил по душам. Именно Чайка раздобыл по его просьбе маленькую фотографию Парамонова, с которой и был увеличен портрет, висящий в восьмиместном кубрике. Обнаружилось еще одно не очень приятное для Решетникова обстоятельство: не говоря об остальных, даже Микола Жадан был в своем первом бою уже тогда, когда новый командир катера еще сдавал государственные экзамены при окончании училища...

На третий вечер дело дошло до главного: теперь можно было коротко и точно записать под фамилией каждого, что же представляет собой ее владелец как советский человек и как военный моряк. И тут Решетников понял, что никакой он не Владыкин и даже не Золя.

Начал он с лейтенанта Михеева, который по должности помощника командира катера открывал собой книжку. Решетников жил с ним бок о бок, все время наблюдал его и в повседневной службе, и на ремонте, и в отношениях с командой, но ничего не мог придумать, что о нем написать. Все в Михееве было в меру правильно, спокойно, как говорится, нормально, ни плохого, ни хорошего. Судя по рассказам матросов, в бою, где погиб Парамонов, держался он неплохо. Но был какой-то «обтекаемый» — не привлекающий к себе ни внимания, ни участия и в то же время не отталкивающий от себя. Бывают же такие люди, о которых решительно нечего сказать...

Решетников вздохнул и перешел к Быкову, фигура которого с недавнего времени стала для него совсем ясной. Он уверенно начал писать: «Патриот машины. Угрюм, но отзывчив. Скромн,

неразговорчив...» — и вдруг вся эта затея показалась ему вовсе не нужной.

Лейтенант в сердцах захлопнул книжку. Вероятно, Владыкин записывал как-то иначе (он дорого бы дал, чтобы взглянуть, что там говорилось о нем самом), — а тут получалась какая-то унылая казенщина, вроде классного сочинения на тему «Характерные черты героев романа «Обрыв». Да и к чему, собственно, эти записи? Не знает он, что ли, своих людей? Неужели надо записывать, что при первой возможности следует списать с катера моториста Лужского, проныру и шептуна, который никак не может примириться с тем, что он, в прошлом шофер какого-то ответственного трестовского замзава, прозябает на катере в должности рядового моториста и поэтому подкапывается под старшину Ларионова и какает на Быкова? Или то, что Петросяна, заряжающего кормового орудия, при ночной стрельбе надо ставить к прицелу, потому что он горец-пастух и ночью видит лучше штатного наводчика Капустина?.. Нет, книжкой можно только засушить то живое и ясное, что пробуждается в памяти при каждом имени... Ну ее, эту литературу!..

Рассуждая так, он разделся и лег в койку, с удовольствием чувствуя, что ноги никуда не упираются даже кончиками пальцев, и уже совсем собрался заснуть, как вдруг его осенила неожиданная мысль. Он зажег свет и на странице книжки, отведенной Быкову, неторопливо и аккуратно написал одно только слово: **н о г о х р а н и л и щ е.**

Этим словом лейтенант Бабурченок, который после случая с компрессором почувствовал к Решетникову внезапное расположение, перешел с ним на «ты» и стал захаживать на «СК 0944», окрестил быковское изобретение. Конечно, нельзя было короче и выразительнее записать всю историю взаимоотношений механика катера с новым его командиром и одновременно объяснить, что за человек этот «угрюмый, но отзывчивый» Быков. Решетников поздравил себя с очередным открытием: вот так и надо вести эту книжку — записывать в ней не «характеристики» людей, а их поступки, которые именно и характеризуют их!.. И тут же написал на странице Артюшина: **с у л ь ф и д и н.** Так же быстро нашлась запись и для Жадана: **м а г н и т.** Впрочем, подумав, Решетников написал то же слово и на страничке Антона Чайки. Это было справедливо: именно Чайка пришел на помощь Жадану, когда тот ошалело смотрел в воду у пирса, куда только что в спешке вывернул бачок, в котором были им же самым положенные вилки, ложки и ножи со всего катера. Свидетели этого несчастья покатывались со смеху, глядя на его растерянное лицо, а Жадан чуть не плакал, ненавидя себя за растяпистость и ужасаясь, как же будет он сейчас кормить матросов ужином. И, когда Чайка, полностью оценив положение, не поленился прита-

щить из мастерских намагниченную болванку и начал удить ею погибшую было утварь, Жадан ожил — и с тех пор готов был за Чайку в огонь и в воду.

Так начала заполняться решетниковская «колдовка», которую он носил всегда при себе. То и дело в ней появлялись записи — короткие и никому не понятные, но для него означавшие события, поступки людей, их свойства. И только странички, отведенные боцману Хазову, оставались пустыми.

С каждым днем боцман становился Решетникову все ближе остальных. Лейтенант настоял на том, чтобы он обедал и ужинал в кают-компании вместе с остальным командным составом, утверждая, что боцман, какое бы звание ни имел, по существу является вторым помощником командира, и, подчеркивая это, называл его вне службы Никитой Петровичем. Вечерами он часто уводил его к себе в каюту или тащил прогуляться перед сном по стенке — и там они разговаривали на самые разнообразные темы.

Обычно говорил Решетников, а Хазов больше молчал. Но молчал он как-то особенно: в самом молчании его чувствовался несомненный интерес, а в коротких репликах было явное понимание, и порой они наводили Решетникова на новые мысли. Ничего другого для него пока не требовалось: он был из того сорта людей, которым необходимо думать вслух и мысль которых в молчании сбивается или вянет. Наоборот, в разговоре она в нем играла, он делал тогда счастливые для себя находки и лучше их запоминал, а то, что собеседник молчал, его даже устраивало.

Конечно, Решетников мог записать на боцманских страничках уже много выразительных слов, которыми, как вехами, отметился бы его далеко не прямой путь сближения с Хазовым. Но оттого ли, что из них трудно было отобрать наиглавнейшее, самое определяющее, или из какой-то почти суеверной боязни испортить едва начинающие крепнуть отношения, которые были для него так дороги и которые он не смел еще называть дружескими, — он не решался начать. Ему казалось, что если найденным им способом можно обозначить отношение к любому человеку, то к Никите Петровичу, к его поступкам или суждениям ярлычка никак не прилепишь и что это так же невозможно, как записать словами музыку.

Но, впрочем, он все-таки сделал первую запись, хотя событие, отмеченное ею, само собой врезалось в память как некое открытие.

Произошло оно после одного значительного разговора с лейтенантом Бабурчёнком. Тот нравился Решетникову все больше. Ему начинало даже казаться, что Сережа Бабурчёнок в какой-то степени может заменить ему Ваську Глухова, который теперь воевал на Балтике. Решетникову явно не доставало именно такого дружка-сверстника, с которым можно было и пооткровенничать,

и посмеяться, и посоветоваться о разных пустяках, но от которого не к чему требовать того, что связано с большим и значительным понятием «друг». А именно такие беспечные, приятельские отношения у них сами собой и налаживались.

Однажды, возвращаясь с командирских занятий (Владыкин собирал на них всех, кто не был в море, и строго за этим следил), Решетников припомнил почему-то разговор у Федотыча и поинтересовался, как же это Бабурченок так легко, без боя, уступил тогда такую драгоценность. Тот, посмеиваясь, признался, что новый компрессор, который он сумел в свое время раздобыть, давно уже ждал его в Поти, но катер все не мог туда попасть, а когда Решетников сообщил о походе с контр-адмиралом, обстановка изменилась.

— Повезло тебе, Сергеич,— заключил он, подчеркивая этим обращением свое особое расположение к Решетникову,— прямо сказать, повезло... Кабы не это, не видать тебе компрессора как своих ушей,— такую хитрую механику мой механик тогда подстроил...

Однако этой хитрой механики Решетникову он не раскрыл, умолчав и о пакте Петляева, и о дипломатической ухе, за которой пакт должен был оказать свое рассчитанное действие. По правде говоря, рассказывать об этом Решетникову ему совсем не хотелось: было в петляевском замысле что-то циничное, отталкивающее, нечестное по отношению к товарищам, таким же командирам катеров; и еще тогда, у Федотыча, лейтенант Бабурченок раскаивался, что послушался Петляева и заварил эту паршивую уху. Потому так и обрадовала его новость о походе в Поти, развязавшая ему руки, и потому же, вероятно, он чувствовал невольную благодарность к Решетникову, который, сам того не зная, помог ему выпутаться из неприятного положения.

И тут же, как бы в отплату, Бабурченок великодушно предложил Решетникову любую помощь в ремонте материалами и деталями.

— Твой этот Быков какой-то малахольный, с ним пропадешь,— сочувственно сказал он.— Никакой оперативности, я еще Парамонову это говорил. Все он в стороне, все в одиночку... А механикам дружно надо жить, колхозом, делиться друг с другом: нынче я тебе клапан, завтра ты мне какую-нибудь, черт ее знает, фасонную прокладку... У настоящих механиков, кто за свое дело болеет, вообще между собой всегда какая-то спайка, товарищество, взаимовыручка, а у нас на дивизионе, ты приглядишься, особенная. А кто этого добился? Мой Петляев. Вот твоего Быкова недолюбливают, а Петляева на руках носят. Чуть что — к нему: всем поможет, все раздобудет, чего другим и не снилось. Настоящий хозяин!.. Я тебе по дружбе говорю, Сергеич: простишь ты со своим мямлей, подыщи молодого, шустрого, делово-

го — тебе же легче служить будет... Да что далеко искать? — вдруг воодушевился Бабурченок, решившись окончательно облагодетельствовать нового приятеля. — Хочешь, я тебе своего Слюдяника отдам?.. Старшина первой статьи, орел, мотор знает — прямо жуть! Второй год у меня командиром отделения мотористов плавает, я бы из него уже механика себе сделал, если бы не дали из запаса Петляева... Да он ему и не уступит, Петляеву, — ртуть-парень, и работа в руках горит, и все из-под земли достанет, это тебе не Быков! Его давно пора в главстаршины произвести да в люди выводить!.. Я весной его Парамонову сватал, да покойник привык к своему Быкову — и ни в какую... А тебе зачем к нему привыкать?.. Ну, так сговорились, что ли? Завтра к Владыкину, доложим — он тут же и приказ: обожает выдвиженцев — из матросов да в офицеры, из мотористов — в механики...

Бабурченок навалился на Решетникова со своим неожиданным предложением так напористо, что тот растерялся и даже обещал подумать. И, только добравшись до катера и оставшись один, он точно пришел в себя, и ему стало стыдно и неловко, будто, не сумев сразу ответить отказом, он как бы предал Быкова.

Но, словно нарочно, утром Быков принес ему на подпись повторную заявку Федотычу на всякие мелочи, из-за которых задерживалась сборка левого мотора, и Решетников предложил ему сперва поспросить у мичмана Петляева, не выручит ли тот чем сможет. Быков, и так озабоченный своими неполадками, еще больше насупился.

— Нет уж, товарищ лейтенант, как хотите, а к Петляеву я на поклон не пойду, — твердо сказал он. — Выручить-то он выручит, да потом за два болта цельный мотор из меня вытянет.

— Как знаете, — несколько раздраженно ответил Решетников, подписывая заявку, и подумал, что Бабурченок, пожалуй, прав: тяжел Быков, неуживчив с другими и, конечно, катеру от этого пользы мало.

И вчерашнее предложение показалось ему не таким уж диким. Во всяком случае, о Слюдянике стоило подумать, примериться, взвесить...

Но ни примерять, ни взвешивать ему не пришлось — так неожиданно повернулось все дело.

Это произошло дня через три-четыре на партийно-комсомольском собрании, втором за время службы его на дивизионе. На повестке стоял доклад инженер-капитан-лейтенанта Менделеева (Решетников не сразу сообразил, что это просто Федотыч) о мерах ускорения и улучшения послебоевого ремонта. Прения пошли с места как-то вяло: словно на каком-нибудь производственном совещании тянулась нудная перебранка мотористов, ме-

хаников и снабженцев, упрекавших друг друга в технических неполадках, интересных лишь им самим, в каких-то недоделках и недодачах. В зале (собрание шло в холодном, но зато просторном зале полуразрушенного санатория) стоял шум, мешавший слушать, и Решетников вдруг обнаружил, что его занимает не плохая отливка никому не известной детали, а то, откуда это тянет подлая, тонкая струйка сквозняка, леденящая колени. И, встретившись взглядом с лейтенантом Бабурчёнком, который сидел поодаль, на подоконнике, он похлопал себя по губам, как бы прикрывая зевок, в ответ на что Бабурчёнок завел глаза под лоб, смешно клюнул носом, словно заснул, и, встряхнувшись, сделал преувеличенно-внимательное лицо.

Наконец Владыкин, который, недовольно хмурясь, слушал выступления и не раз уже наклонялся к другим членам бюро, встал и призвал коммунистов говорить о главном, а не мельчить вопроса: главное — люди, а тут говорят только о технике. Едва он сел, в пятом ряду поднялся со скамьи Хазов и попросил слова, предупредив, что именно о людях и будет говорить.

Решетников не представлял себе, как Никита Петрович разговаривает на народе, и потому с любопытством приготовился слушать. Первые же слова Хазова насторожили его: тот, видимо, собрался говорить о том же, что недавно так нахваливал Бабурчёнок, — о спайке и взаимной поддержке механиков дивизиона.

Начал он с того, что всякий хороший механик, как и всякий толковый боцман, обязательно старается прикопить на черный день и инструмент, и материалы, и все, что нужно ему в его хозяйстве: снабжение, мол, — дело хорошее, а свой запас кармана не тянет. Не с нас это началось, не нами и кончится («Может, только при коммунизме, когда даже механикам всего будет хватать», — добавил Хазов). Видимо, с такой запасливостью приходится мириться, да, по совести говоря, неужели за каждой шайбой бегать к начальству? Вот и получается, что у катерных механиков свои склады, без всяких там накладных и фактур, а на веру, по товариществу: я тебе помогу, ты мне. Дело не в самих запасах, а в людях, которые их создают, и в том, как их создают.

И тут он неожиданно назвал мичмана Петляева, который ухитрился нахватать столько дефицитного добра, что это создало ему среди катерных механиков особое и не очень понятное положение.

— А чем плохо, что Петляев не такая шляпа-растяпа, как другие? — вызывающе спросил с места лейтенант Бабурчёнок.

Хазов повернулся к нему и некоторое время молчал, отчего Решетников с беспокойством подумал, что реплики, наверное, сбивают его. Но тут же Хазов сказал спокойно и жестко:

— Хотя бы тем, что такой вопрос задает коммунист и морской офицер.

Бабурченок покраснел, и Решетников заметил, что Владыкин одобрительно кивнул головой. Хазов продолжал говорить, смотря на лейтенанта Бабурчénка, как будто ему удобнее было беседовать с одним человеком, чем держать речь.

— По этому вопросу видно, — сказал Хазов, — что чуждые флоту дедаческие привычки Петляева, которые он принес с собой с «гражданки», не тревожат даже командира катера, который наблюдает их чаще и ближе других. Чего же тогда удивляться, что они не тревожат остальных, — больше того, забавляют и вызывают одобрение: вот, мол, деляга, все умеет достать, нам бы на катер такого!.. И за что, собственно, придирается к человеку? Не ворует, не мошенничает, просто умеет вовремя разузнать и вовремя раздобыть! Ну, а раз к Петляеву так добродушно относятся, понятно, что у него уже появились последователи, вроде, скажем, Слюдяника или механика «СК 0874» Страхова, — а это еще хуже и опаснее. И уж совсем плохо, что никто не говорит о том, как методы Петляева отражаются на боеспособности катеров.

— При чем тут боеспособность? — выкрикнул Бабурченок так, что Решетников невольно обернулся на него. Весь красный, зло сощурившийся, наклонившийся с высокого подоконника вперед, он чем-то напоминал сейчас рассерженного, фыркающего кота, готового спрыгнуть с забора. — Наоборот, только из-за Петляева у меня катер и ходит без отказа, все знают!

— Точно, товарищ лейтенант, — ответил Хазов, — так это ваш катер. А другие?

И он заговорил о том, что «золотой фонд» Петляева (или, как он называл его, «петляевский лабаз») служит не для помощи другим, а именно для обеспечения своего катера. Вот тут всё валили на недодачи, на нехватки, дивизионный механик руками разводил: не присылает, мол, главная база. А никто не сказал правды, что зависит все не от главной базы, а от «лабаза»: получают там механики дефицитную деталь — выйдет катер на боевое задание, а невыгодно окажется хозяину «лабаза» расстаться с ней — катер будет ждать, когда пришлют из Поти. Вот и получается, что боеспособность катеров зависит не от штаба, а от Петляева: как захочет, так и будет. И ведь об этом знают все механики и мотористы, знают, да молчат. Почему молчат? Не хотят лишаться такого удобного «лабаза», где на менку все достанешь? Или побаиваются его хозяина, который такую силу забрал, что даже коммунисты о нем только шепотком говорят, и то по уголкам? Известно ли коммунистам дивизиона, каким не очень товарищеским способом кандидат партии Петляев недавно собирался отнять у других катеров единственный присланный

главной базой компрессор, хотя, как потом оказалось, один они с командиром катера сумели уже раздобыть в Потти?

Теперь уже все посмотрели на Бабурчёнка. Тот сидел, естественно выпрямившись, щеки его побелели и как бы опали, и Решетников с каким-то странным чувством неловкости отвел взгляд.

Слушая Хазова, он стал понимать, что скрывалось за шутливым выражением лейтенанта Бабурчёнка «хитрая механика моего механика».

Оказалось, что в безобидном «золотом фонде» Петляева были такие детали, из-за отсутствия которых другие боевые катера подолгу не могли выйти в море, то есть получалось так, что, припрятывая эти детали для себя или для выгодного обмена, Петляев, по существу, играл на руку фашистам. Оказалось, что эти дефицитные детали для «золотого фонда» послушно раздобывал офицер-коммунист и что это занятие не было ни веселой игрой, ни своеобразным спортом, каким оно казалось всем, в том числе и Решетникову: оно было, по существу, грабежом других катеров, нуждавшихся в том, что перехватывал у них «доставала» Бабурчёнок. Оказалось еще, что никакой взаимной поддержки и товарищества среди катерных механиков не было и в помине: по существу, здесь бытовали древние отношения оборотистого кулака и зависящих от него бедняков, и Быков был прав, говоря, что за два болта Петляев вытянет потом целый мотор...

И тут же Решетников с внезапным стыдом вспомнил, что вот-вот готов был сменять Быкова на Слюдяника, который принес бы с собой на катер дух беспокойного и алчного стяжательства, воспитанный в нем Петляевым, дух грязной спекуляции на чужой нужде, отвратительный блатмейстерский дух, который, как раковая опухоль, пополз бы с бабурчёнковского катера на решетниковский, заражая людей...

После тех удивительно счастливых, каких-то светлых и чистых дней, которые последнее время Решетников провел в начинающейся дружбе со своим катером и его людьми, все это так ошеломило его, почти потрясло, что весь дальнейший ход собрания пошел как-то мимо него, параллельно его смятенным и трудным мыслям. И поэтому, когда внезапно захлопавшие залпы и вой сирены прервали собрание, он выскочил из санатория, словно обрадовавшись.

Налет был не очень серьезный, но настойчивый: несмотря на плотный огонь катеров, расползшихся на ночь по всему побережью бухты, самолеты пять или шесть раз принимались кидать бомбы на транспорт, пришедший под вечер с боеприпасами. Решетников добрался до своего катера к третьей атаке.

Стрельба как бы облегчила Решетникова, но, придя после

отбоя в каюту, он снова вернулся мыслями к тому, что происходило на собрании до сигнала тревоги.

Все вспоминалось ему в каком-то тумане. Больше других запомнился Бабурченок, растерянный, какой-то непривычно жалкий. Он подтвердил историю с «пактом» и очень искренне сказал, что только из слов Хазова понял свою глупую и позорную роль «доставалы» и что, не разобравшись в существе петляевского «золотого фонда», казавшегося ему невинной забавой, простым удобством для катера, он был плохим офицером и слепым коммунистом.

И в глазах Решетникова Бабурченок — беспечный, вечно веселый и самонадеянный удачник, покоряющий каким-то особым своим обаянием, смелый и страстный боевой командир катера, Бабурченок, еще вчера казавшийся тем, кто может стать отзывчивым, надежным, веселым дружкой, — стал совсем не таким, каким представлялся воображению, вдруг потускнел, увял, сник.

Вся ночь понадобилась Решетникову, чтобы осмыслить то, что вызвали в нем эти открытия, и заснул он лишь под утро. Больше всего он думал о самом Хазове, который в обыкновенном как будто блатмейстерстве Петляева сумел разглядеть угрозу боеспособности и жизненности всего дивизиона и, увидев эту угрозу, немедленно показал ее всем коммунистам и комсомольцам.

Почему именно Хазов сделал это? Ведь, кроме него, многие хорошо знали о петляевском «лабазе», но либо боялись заговорить о нем, либо не видели и не понимали опасности, какую таил в себе этот чуждый боевому коллективу обменный центр — какая-то черная биржа, тайный рынок, подобный тем, что, словно поганки на сырости, вырастают возле больших гаражей, всюду, где есть механизмы и машины и где для них не хватает нужных деталей и материалов. Даже Быков и тот, отлично понимая природу и самого Петляева и его «лабазу», тоже молчал. Почему — было непонятно, но, уж конечно, не из страха перед Петляевым.

И Решетников долго искал слово, каким можно было бы обозначить это самое «то», чего не хватало ни Быкову, ни ему самому, ни десяткам других коммунистов и комсомольцев дивизиона. Так и не найдя такого слова, он заснул.

Но для самого события определяющее слово он нашел (впрочем, сказал его Никита Петрович): л а б а з.

Этим словом Решетников и открыл наконец записи на страничках, отведенных Хазову. Слово было странное, мертвое, вылезшее из старого, разрушенного революцией мира купли-продажи, обмана, скопидомства, стяжательства, — чужое, опасное слово, порождающее чужую, отравляющую человека психологию.

Однако найдено оно было удивительно правильно и означало для Решетникова очень многое.

Хазов стал еще ближе, еще необходимее ему. И, хотя думал он теперь о боцмане с чувством глубокого уважения, как о человеке, который стоит в нравственном отношении много выше его самого, в вечерних разговорах их появилась какая-то новая близость. Новостью в них было и то, что порой — особенно когда бухта, притихшая и задумчивая, бесшумно сверкала лунной дорогой, а в высоком светлом небе не брунчал еще надоедливый гул немецких самолетов, выжидавших более выгодного освещения, — Никита Петрович начинал говорить сам. То ли поддавался он молодой, нетерпеливой жажде Решетникова знать и понимать все, что его окружает, то ли подкупала его сердечность, с какой рассказывал тот о семье, о детских своих годах на Алтае, о Ваське Глухове, с кем мечтал о флоте, но Хазов начинал отвечать на его вопросы охотнее и открывать кое-что и в себе.

Так Решетников узнал, что Хазов был из старинной флотской семьи. Домик в Севастополе, в Петровской слободке, в котором выросло четыре поколения черноморских матросов, пережил обе осады; по крайней мере, еще в июне, в дни самых ожесточенных бомбежек, Хазов нашел его пустым, но уцелевшим. Только выбиты были все стекла, развалено крыльцо да в садике вырваны снарядами деревья и исчезла скамейка под грушей, где слушал он рассказы деда Аникия Ивановича о Севастопольской обороне и о бастионах, куда тот вместе с мальчишками таскал арбузы и воду для отца и других матросов. Там, на Четвертом бастионе, французская бомба убила прадеда, артиллерийского квартирмейстера с «Уриила», и место это Хазов отлично помнил, хотя дед привел его на бастион лишь однажды, когда ему было всего восемь лет, — ровно столько, сколько было самому деду в год Севастопольской обороны.

Утром того дня к ним пришел усатый матрос, весь обвешанный пулеметными лентами (всего неделю назад в Севастополь ворвались полки Красной Армии), и Никита, закричав на весь садик: «Батяка приехал!» — кинулся к нему, потому что именно таким и представлял себе отца, которого плохо помнил, расставшись с ним шести лет от роду. Но матрос тихонько отстранил его и, подойдя к Аникию Ивановичу, сказал, чтоб Петра больше не ждали, так как он погиб на бронепоезде «Вперед за революцию!» почти год назад на Украине в боях с немцами. Мать упала на траву и закричала диким, истощенным голосом, а дед взял Никиту за руку и повел на Четвертый бастион.

Всю дорогу Никита плакал, а дед спотыкался, будто плохо видел дорогу, и, добравшись до бастиона, долго сидел на старинном орудии, молча глядя на край бруствера, где из белых камешков был выложен в земле аккуратный крестик. Потом вздохнул

и сказал, что вот, мол, отец и сын его — оба погибли в бою, как полагается матросам, а он все копит небо в тягость себе и другим. Он, кряхтя, наклонился, подправил выбитые чьей-то неосторожной ногой камешки и сказал Никите, чтобы тот приходил сюда присматривать за крестиком, потому что ему самому сюда больше не добраться. И правда: с того дня дед либо сидел на скамейке под грушей, либо лежал на койке и года через полтора умер, так и не выбравшись больше на бастион.

Дед в рассказах боцмана занимал главное место. От деда Никита узнал и об отце — рулевом унтер-офицере миноносца «Гаджибей» и члене судового комитета, а также о многих неизвестных событиях и понятиях. Отец, оказывается, тонул в Цусиме — и Никита узнал, что такое Цусима. Второй раз Петр Аникиевич тонул на миноносце «Живучий» — и так Никита услышал о первой мировой войне. Отец топил в Новороссийской бухте «Гаджибея» — и Никита узнал о революции и о том, почему и зачем черноморские матросы своими же руками взрывали и топили свои же корабли. А погиб отец далеко от моря, в степи, — и так из слов деда Никита стал понимать, что такое гражданская война и что такое матросы революции. Дед же рассказывал ему о флоте, о кораблях, о машинах, минах и орудиях, о турецкой войне, которую провел на пароходе «Великий князь Константин», откуда спускали маленькие минные катера, об офицерах, которых любили и уважали матросы, и об офицерах, которых ненавидели. Флотское мужество, матросская крепкая спайка и гордость за флот переходили из дряхлеющего сердца в открытое миру, жадное к жизни, маленькое и горячее детское сердце, и к десяти годам Никита уже знал, что его жизнь пройдет на флоте так же, как прошла жизнь отца, деда и прадеда.

Ремонт катера подходил уже к концу, и для таких долгих душевных разговоров времени было все меньше. Последние недели Владыкин то и дело посылал Решетникова в море — то на катере старшего лейтенанта Сомова, то с Бабурчёнком, который, отделавшись в петляевской истории выговором, как-то повзрослел, но в бою стал еще отчаяннее, то с командиром звена Калитиным. Задание всегда давалось одно: присматриваться ко всему, что делается на катере в походе, а случится — и в бою, и мотать все это на ус.

Сперва Решетников даже обиделся: не мальчишка же он, в самом деле, чтобы изображать экскурсанта из подшефного колхоза... Но на первом же походе понял, что такого рода «экскурсии» были на владыкинском дивизионе вроде тех полетов, когда испытанный боевой летчик «вывозит» молодого. На этих походах Решетников узнал все особенности дневного и ночного входа в бухту, тонкие, лишь командирам катеров известные приметы навигационно-боевого характера — вроде затопленной у

Седьмого мыска канонерской лодки, возле которой надо сразу ворочать на курс 84° , чтобы избежать прямой наводки скрытой за мыском немецкой батареи. На катере Калитина, с уважением наблюдая мастерские действия своего командира звена, он понял, что собственный бой его на «СК 0519» был чистейшей удачей и неприличным везеньем. Сомов познакомил его с ночным десантом, а Бабурченок — со своим способом разведки огневых точек противника: для этого он полным ходом трижды прокатил Решетникова ночью вдоль берега, переведя моторы с подводного выхлопа на надводный, чем вызвал яростный огонь, вспышки которого оставалось только засекать. Кроме таких поучительных примеров, Решетников на этих походах слышал кучу разнообразных советов на все случаи беспокойной жизни сторожевого катера в море.

Все это, возвращаясь к себе, Решетников пересказывал Никите Петровичу: Хазов окончательно сделался самым необходимым для него собеседником.

Чем ближе узнавал его Решетников, тем чаще думал о том, что, конечно, из всех, кого он видел вокруг себя, Никита Петрович больше всего подходит к понятию «друг», несмотря на большую разницу в годах и на то, что подчинен ему по службе, хотя по справедливости должно было быть наоборот. Только настоящий друг мог так бережно и заботливо поддерживать его на первых, трудных порах командования кораблем, да вдобавок впервые в жизни. Владыкин был, конечно, прав, говоря, что Хазов делает для него все то, что хороший коммунист должен делать для комсомольца, а боевой моряк — для такого (тут Решетников, не щадя себя, поправил владыкинские слова), для такого салажонка, как он... Нет, даже больше: Хазов делал для него то, что мог сделать самый верный, самый преданный и бескорыстный друг.

Но главнейшее во всем этом для Решетникова заключалось в том, что Хазов все больше напоминал ему дорогого его сердцу Петра Ильича Ершова, оказавшегося для него ближе и дороже отца, — человека, который сыграл в его жизни решающую роль и которого так не хватало ему все эти годы самостоятельной жизни.

Глава девятая

О той скрытной ночной операции, для которой «СК 0944» приближался к занятому противником берегу, известно было, конечно, довольно значительному числу людей, но знали о ней все они по-разному.

Команда катера видела в этом обычный ночной поход в глу-

бокий тыл врага для высадки разведчиков в той самой бухточке, где две недели назад катер проделал это без особых хлопот. Боцману Хазову, которому было поручено доставить разведчиков на берег и привести шестерку обратно к катеру, было ясно, что нынче там могут встретиться любые неожиданности и что поэтому надо быть особо осторожным.

Командир группы разведчиков лейтенант Воронин знал, что в горах, в небольшом партизанском отряде, куда пробираться придется, может быть, с боем, находится один товарищ, которого надо доставить в бухту Непонятную или в другое, более отдаленное место, если здесь высадка пройдет негладко.

Командиру катера лейтенанту Решетникову было известно, что товарищ этот располагает какими-то очень нужными сведениями, отчего с группой разведчиков идет в операцию сам майор, и что в случае неудачи с высадкой в бухте Непонятной нужно дать условное радио, по которому будет выслан еще один катер, с другой группой, в другое место, чтобы попытаться все же получить вовремя эти сведения.

Для командира дивизиона сторожевых катеров капитана третьего ранга Владыкина операция была связана с готовящимся десантом морской пехоты, так как ожидаемые сведения могли облегчить боевую задачу катерам его дивизиона, который намечался штабом флота для первого броска десанта.

В штабе флота с разработкой этого плана торопились потому, что морской пехоте необходимо было закрепиться на новой «Малой земле» к определенному сроку, когда там должен будет высадиться крупный армейский десант с боевой техникой и артиллерией.

Командующему флотом было известно, что высадка этого десанта, имеющего задачей продвижение к осажденному Севастополю, связана с подготавливаемым новым ударом, развивающим успех недавней Сталинградской победы, и зависит от обстановки на всем приморском фронте.

Командующий же этим фронтом знал, что в ходе нового наступления все его действия, в том числе и десант, будут лишь демонстрацией, отвлекающей внимание и силы противника от подлинных намерений Главного командования.

А об этих действительных намерениях никто даже из самых крупных военачальников, управляющих ходом войны, не мог сейчас с уверенностью сказать, осуществлятся ли они именно в тот срок и именно так, как намечает их новый обширный оперативный замысел, который сам был лишь одним из звеньев общего стратегического плана. Это зависело от многих причин: и от того, как осуществляются другие такие же намерения Главного командования на других участках фронта от Белого моря до Черного; и от того, сумеет ли Советская страна вовремя прислать своей

великой армии необходимое для того количество боевых машин и припасов; и от того, до какой степени дружеского предательства, дозволенной традициями военных союзов, дойдут генеральные штабы капиталистических стран, вынужденных сражаться в одном лагере с социалистической державой; и от того, окажется ли в свое время единственно верным именно то направление главного удара, которое подготавливается сейчас и для организации которого среди тысяч других предварительных действий потребовалось послать в бухту Непонятную «СК 0944».

Из всех людей, по-разному знавших о ночном походе катера, одному майору Луникову, кроме командования флотом, было известно, что товарищ Д., возвращающийся из крымского подполья, помимо сведений, полезных для десантной операции, имеет еще и другие, важнейшие, интересующие непосредственно Главное командование. Поручая майору лично доставить на Большую землю товарища Д., за которым из Москвы уже выслан самолет, командующий флотом особо подчеркнул, что это надо сделать как можно скорее. Именно поэтому майор и выбрал бухту Непонятную, хотя из всех предложенных Владыкиным вариантов она казалась наименее надежной и безопасной.

Дело заключалось в том, что, когда сведения попали в руки товарища Д., партизаны, оттесненные в горы, лишились посадочной площадки для «У-2», и ему пришлось просить о присылке за ним катера. Для этого он указал известную ему бухточку, удобную тем, что до нее было пять-шесть часов хода от скрывающегося в горах небольшого партизанского отряда, где он очутился, уйдя из Севастополя. Этой бухтой оказалась та самая, в которой на днях произошел случай с катером «0874» (чего, конечно, он знать не мог) и которую Луников назвал Непонятной.

В беседе с Владыкиным майор выяснил, что из других возможных мест высадки до товарища Д. придется добираться шесть, а то и восемь суток да столько же потратить на обратный переход с ним самим. Тогда он решил рискнуть и если не всю операцию выполнить в бухте Непонятной, то хотя бы начать ее здесь. В глубине души он был убежден, что все обойдется сравнительно просто. Ведь и в самом деле было непонятно, что же могло случиться с группой, высаженной здесь неделю назад. По характеру задания она не имела возможности дать знать о себе, и приходилось только гадать. Расспросив Владыкина об известных тому вариантах неудачных высадок, майор понял, что все они обязательно отмечались шумом — взрывом, автоматными очередями или хотя бы одиночными выстрелами. Тишина, сопровождавшая прошлую высадку, показывала, что, вернее всего, произошло что-то не с разведчиками, а со шлюпкой, когда она возвращалась с гребцами к катеру. Поэтому много шансов было

за то, что нынче группе удастся благополучно подняться в горы. А там можно будет рискнуть на радиосвязь и запросить Решетникова, вернулась ли шлюпка, и, если обратная посадка в бухте Непонятной состояться не сможет, сразу же, не теряя времени на ожидание второй посланной группы, повести товарища Д. навстречу ей к другому, дальнему месту посадки. Это ускорит доставку сведений ровно вдвое, что, конечно, для Главного командования очень важно.

Но такой неудачный вариант представлялся майору маловероятным, и мысли его все время вертелись вокруг шлюпки и ее возвращения, так как основной задачей было обеспечить обратную посадку тут же, на следующую ночь. Именно поэтому он и просил Решетникова прислать к нему того, кто назначен старшиной шлюпки.

И, едва дождавшись, пока Хазов допьет «какаву», Луников стал допытывать его расспросами. Как там придется высаживаться — прямо в воду? Прыгать по камням? Или можно приткнуться к гальке? Остается ли шлюпка хоть ненадолго без охраны во время высадки? Какие берега внутри бухты: пологие или обрывистые? Не нависают ли скалы над водой? Как шлюпка возвращается: посередине бухты или должна идти возле берега, чтобы найти выход в море? Каким образом она находит катер, стоящий на якорю в миле-полутора? Можно ли каким-нибудь ложным сигналом направить ее мимо катера? Или перехватить на пути?..

Вопросы его были неожиданными, порой наивными и даже, с точки зрения Хазова, просто нелепыми, но за ними он чувствовал такую серьезную озабоченность, что и в его глазах предстоящая высадка стала приобретать какую-то необыкновенную значительность. И, хотя Луников не говорил прямо, боцман понял, что весь разговор потому и начался, чтобы, не раскрывая того, чего ему знать не положено, показать всю важность операции и его, Хазова, особую роль в ней. Под конец майор подтвердил это сам.

— Вот ведь какая штука, товарищ Хазов, — сказал он совсем не по-военному, — все дело, видите ли, в том, уцелеет нынче ваша шлюпка или исчезнет вроде той. Черт их знает, что они могли с ней там устроить... Вот вы говорите: скалы и шлюпка совсем рядом проходит. А разве нельзя гребцам на головы свалить камешек кило на полтора? Или, скажем, спрыгнуть на них без шума с ножами?

Хазов сдержанно улыбнулся, но майор укоризненно качнул головой:

— Думаете, кино? На войне всякое бывает. Вот на Мекензиевых горах кок у нас наладился на передний край борщ горячий таскать. Ну, видно, проследили, захотели «языка» взять. Идет Мельчук по дубняку, тропка знакомая, своя, вдруг из дубнячка автомат: «Хальт! Рус, сдавайся!» Он было решил — про-

пал, но глядит — немец-то всего один. Тогда он будто оробел, лопочет: «Битте, капут, яволь», — и руки вверх тянет вместе с борщом. Немец вышел на тропку, только подошел — Мельчук ему все ведро и вывернул на башку, а борщ жирный, горячий, только что с огня, чуть глаза не сварились. Так и привел его к нам — всего в капусте, а на голове ведро. Выходит, что и борщ — оружие... — Луников загасил папиросу и неожиданно закончил: — Значит, мы с вами договорились: поведете обратно шлюпку — держитесь от скал подальше. На высадке мы за вами присмотрим, — хоть и очень некогда будет, подождем, пока отвалите. Остальное от вас зависит, гадать нам сейчас ни к чему. Только крепко помните: не доберется шлюпка до катера — большие дела задержатся. Очень большие. А пока давайте приспнем, вот товарищ правильно поступает, — кивнул он на лейтенанта Воронина, который, закинув голову, похрапывал, не обращая внимания на бивший в лицо свет. — Где у вас тут выключатель?

Луников потушил верхний плафон и прикорнул в углу дивана, закрыв глаза.

Но отдыхать ему пришлось не очень долго. Низкий мощный гул моторов, наполнявший кают-компанию, внезапно утих, и трясучка, от которой все звенело и подрагивало, так же внезапно прекратилась, отчего показалось, будто настала полнейшая тишина, хотя моторы продолжали урчать довольно внятно. Луников открыл глаза и вопросительно взглянул на Хазова, но тот спал крепким сном сильно уставшего человека. До назначенного времени подхода к Непонятной оставалось еще более полутора часов. Майор подумал, что происходит какая-то неприятность, и, ожидая, что вот-вот загремит звонок боевой тревоги, привстал с диванчика. Но тотчас будто невидимая мягкая рука посадила его обратно, а кают-компания вся наклонилась — катер делал крутой поворот. Звонков, однако, никаких не было, и Луников решил подняться наверх и спросить командира, что означает этот странный маневр катера. Решетникова он нашел в штурманской рубке, куда провел его вахтенный комендор, пребольно ухватив за локоть, — видимо, на тот случай, чтобы, споткнувшись на темной палубе, майор не свалился за борт. Лейтенант стоял один у высокого прокладочного стола, отмечая что-то на карте.

— Подходим, командир? Не рановато ли? — спросил Луников, дождавшись, когда он закончил запись.

— Все нормально, просто ночь нынче светлая, — ответил Решетников и показал карандашом на мыс, далеко выдвинувшийся в море. — Удалось сразу за него зацепиться, а то, бывает, часа полтора возле него танцуют... Продержимся пока тут, а через час — к бухте, до нее от мыса малым ходом около сорока минут. Станем вот здесь, так шлюпке вход отыскать будет легко...

Он коснулся тупым концом карандаша кружка с якорьком и, показывая путь шлюпки, повел его по карте к береговой черте, а потом влево вдоль нее, следя за ее изгибами, пока она сама не завела карандаш в бухточку.

— Легко-то оно легко, да как говорится, вход бесплатный, а выход — рупь, — медленно протянул Луников, глядя на карту. — Выглядит она тут у вас красиво, а вот что в ней там на самом деле... Как вы это понимаете, товарищ лейтенант?

— Никак, — резко ответил Решетников, с раздражением кидая карандаш на карту. — А что я могу понимать? Хуже нет — чужие дела расхлебывать! Сомов потерял шлюпку, а мне своими людьми рисковать...

И тон, которым он это сказал, и смысл сказанного, и этот несдержанный жест так отличались от той ровной, веселой приветливости, с которой недавно он разговаривал в кают-компании, что Луников удивленно взглянул на него. Конечно, он не мог знать, что за два-три часа лейтенант передумал и перечувствовал многое.

Как ни странно, но в начале похода Решетников вроде бы не воспринимал всерьез того, что происходит. Может быть, главной причиной было то, что из шести катеров, находившихся в базе, Владыкин выбрал для важной операции именно его, решетниковский. Это не могло не польстить самолюбию лейтенанта, и он пришел в отличное настроение, в котором все кажется простым и легко выполнимым. Поэтому поход этот представлялся ему какой-то спокойной, почти веселой прогулкой по спокойному морю, чуть вздыхающему пологой зыбью, а сама операция — ночная высадка, ожидание в море до следующей ночи и новый приход в бухту за разведчиками — пустяковым и занятым делом. Счастливое состояние уверенности в себе и в неперменной своей удачливости не оставляло его, и он мог с любопытством подстерегать зеленый луч и шутить за ужином.

Но, оставшись на мостике один и думая о бухте Непонятной, ожидающей где-то в звездной этой тьме, он начал чувствовать нарастающую тревогу. Она беспокоила его все больше, пока он не понял (вполне и во всем зловещем значении, поразившем его), что бухта перестала быть надежным местом для высадок, что ночью предстоит действительно опасная операция и что в эту операцию, тревожащую и томящую скрытой, неизвестной опасностью, он сам — своей волей, своей командирской властью — назначил человека, жизнь которого должен был особенно беречь: недавно найденного друга.

И тогда весь тот мальчишеский задор, все удалое легкомыслие, с какими он выслушивал подробные указания Владыкина и с какими начал поход, мгновенно слетели с него.

Теперь Решетников искренне не понимал, как мог он в глупом

этом задоре, в какой-то театральной роли решительного, быстро соображающего командира, увлекшей его, — как мог он на вопрос Владыкина, кого думает назначить на шестерку, ответить: «Боцмана Хазова». Дорого дал бы он сейчас, чтобы вернуть этот бравый ответ!.. Но слова были произнесены — не слова, а решение командира корабля, которое не может быть отставлено или изменено без веских и важных причин. А причин этих не было, кроме одной — боязни за Хазова, в чем признаваться было нельзя.

То, что он ответил Луникову, было неправдой: конечно же, с самого того момента, когда Решетников понял, что сам обрек Хазова на опасность, он не переставал думать о бухте, о высадке, о ловушке или о несчастье, случившемся там. Десятки догадок, и правдоподобных и фантастических, перебрал он в голове, не остановившись ни на одной. В воображении его, ничуть не помогая делу, возникали десятки планов, как обеспечить возвращение шлюпки из бухты. С поздним раскаянием он думал, что все это следовало обсудить с Владыкиным, и тогда, может быть, нашелся бы способ облегчить ночную операцию в бухте. Из всех, кто был на катере, ему мог бы помочь толковым советом один лишь боцман. Но, уж конечно, как раз ему-то и нельзя было показывать даже намек на то тревожное беспокойство, с которым думалось теперь о высадке: Решетникову казалось, что оно может передаться и Хазову, вселить в него неуверенность перед самым уходом в опасную операцию.

Пожалуй, впервые за этот счастливый месяц Решетников почувствовал себя снова таким же растерянным и беспомощным, каким был в первую неделю командования катером, и с горечью подумал, что ему еще очень далеко до того, чтобы назвать себя настоящим командиром корабля. Ведь едва только пришлось ему решать без Никиты Петровича... И тут же он оборвал себя, поняв, что и в самом деле может оказаться без Хазова — не только сейчас, но и всю остальную жизнь — и что виной этому будет он сам.

В этом состоянии его и застал Луников у штурманского стола, когда, оставив за себя на мостике Михеева, лейтенант зашел в рубку, чтобы проверить на карте тот новый способ ориентировки шлюпки при возвращении, который только что пришел ему в голову. Конечно, вопрос майора никак не мог подействовать успокоительно, однако тут же Решетников сам почувствовал, что допустил резкость, и добавил совсем другим тоном:

— Правильно вы ее назвали, товарищ майор: Непонятная и есть...

— Непонятная, да не очень... — в раздумье сказал майор. — А что, если такой вариант: не на фокус ли они пошли? Группу нарочно пропустили, не тронули, а шлюпку поймали.

— Для чего? — хмуро удивился Решетников.

— Для психики.

— Неясно.

— Очень ясно. Чтобы мы с вами головы ломали и боялись этой бухты. Вот я, например, попался — сам ее Непонятной прозвал. И ваш Владыкин попался: начал мне такие места для высадки предлагать — триста верст скачи, не доскачешь. И вы попались: боитесь своими людьми рисковать. А на деле там ничего нет. Бухта как бухта.

— Все равно неясно. Проще было группу уничтожить, вот вам и «психика»: больше не полезешь.

— Как раз нет: обязательно полезем. Нам ведь понятно, что постоянного гарнизона там нет, разгром группы — случайность; значит, можно высадку повторить. А тут полная неизвестность: ни стрельбы, ни взрыва... А неизвестная опасность в десять раз страшнее. Не знаю, как вы, а я все время думаю: куда шлюпка девалась? Наверное, это штатская профессия во мне работает. Я, видите ли, инженер-плановик, вот меня варианты и одолевают. На всё тридцать два варианта, на выбор. Вот и эта чертова бухта: ведь через час в ней высаживаться и своими боками тридцать третий вариант узнавать, а я все догадки строю...

— И я, — откровенно признался Решетников.

Майор вроде обрадовался:

— Да ну? А я-то вам завидовал: вот, думаю, что значит профессионал военный! В такую непонятность идет — и все ему ясно, не то что мне, штатскому вояке, — и спокоен и весел...

Теперь улыбнулся Решетников.

— Ну, а я за ужином вам завидовал — мне бы такое спокойствие и уверенность...

— Значит, договорились! — рассмеялся Луников. — Такая уж у нас с вами командирская должность — все внутри переживать, а наружу не показывать... Я как этот китель надел, так ни минуты себя наедине не чувствую. Все кажется, будто на меня в триста глаз мои моряки глядят: как, мол, там командир отряда, не дрейфит? И ведь хуже всего, что их показным бодречеством не обманешь. Им все настоящее подавай: и спокойствие, и мужество, и решительность. А где, спрашивается, мне их взять? От меня жизнь до сих пор другого требовала. Вот и приходится на ходу эти командирские качества в себе воспитывать, а у меня и годы не те, и навыков нет. Поневоле вам, военным, позавидуешь...

Решетников внутренне поморщился. Ему показалось, будто майор напрашивается на возражения — ну зачем, мол, вы так про себя, все же знают, что вы настоящий боевой командир!.. Но тот с искренностью, не вызывающей сомнений, продолжал:

— Очень трудная эта профессия — командовать. Рядовому

бойцу на всю войну одна смерть положена, а командиру — тысячи: столько, сколько раз он своих людей на смерть посылал. На кораблях много легче — там командир в бою со всеми вместе. Вам не очень и понятно, до чего это трудно — посылать других под снаряды, а самому отсиживаться в блиндаже...

— Чего же тут не понять, понятно, — сочувственно сказал Решетников, думая о Хазове и о шлюпке.

Майор махнул рукой:

— Ничего вам не понятно! Вот будете командовать дивизионом и придется вам какой-нибудь катер в серьезное дело посылать, тогда меня и припомните... Нынче мне повезло — вместе с группой пошел. А сиди я на берегу, такого бы себе навоображал — вконец бы извелся, разве что Сенека помог бы...

— Какой Сенека? — не понял лейтенант.

— Был такой римский философ, воспитатель Нерона. Рекомендовал не представлять себе неприятностей, пока они не случились. В жизни, мол, и реальных пакостей хватает, чтобы еще воображаемыми огорчаться. Совет правильный, но человечество почему-то им мало пользуется, и я в том числе. Только что с вашим боцманом обсуждал варианты ночных хлопот. Впрочем, он, видно, и сам философ: выслушал молча — и заснул. Да так, что и поворот не разбудил...

Упоминание о Хазове заставило Решетникова снова помрачнеть. Но майор, не заметив этого, закончил тем же шутливым тоном, который ему не очень удавался, но которым он, вероятно, хотел скрыть свою озабоченность:

— Не расспросил я его, как он катер найдет. Ночь-то темная, а море-то Черное. Придется вам мне растолковать.

— А я как раз этим и занимаюсь, кое-что новое в голову пришло, — ответил Решетников.

Среди тревожных догадок, которые бесполезно осаждали на мостике его воображение, одна показалась ему дельной: а что, если сомовская шлюпка просто не нашла катера?

При всех своих несомненных преимуществах как места для скрытной высадки бухта Непонятная имела одно значительное неудобство. Гряда подводных камней вынуждала катер становиться здесь на якорь в порядочном расстоянии от берега, и поэтому гребцам, уводившим шлюпку после высадки, приходилось брать с собой шлюпочный компас, выходить из бухты, справляясь с ним, и отыскивать потом катер по условному огню. Обычно для этого в целях маскировки пользовались синей лампой, свет которой можно было заметить лишь вблизи. Решетникову пришло в голову, что, лишившись компаса (скажем, утопив его при спешной высадке или разбив), гребцы сомовской шестерки пошли к катеру, ориентируясь по звездам. В этом случае шлюпка могла отклониться от верного направления на-

столько, что заметить слабенький синий огонек было уже невозможно.

Представив себе, что Хазов очутился в таком же положении, лейтенант уже не думал о степени вероятности своей догадки. Ему казалось важным одно: если такая возможность была, следовало ее исключить, хотя для этого ему приходилось решать задачу, подобную квадратуре круга: как усилить свет, одновременно замаскировав его?

Катер уже приближался к берегу, а Решетников все еще ничего не мог придумать. Он совсем было отчаялся, когда в дело вмешалась случайность, что, как известно, бывало причиной многих важных открытий. Роль ньютонова яблока тут сыграл ратьер (как с давних пор называют на кораблях сигнальный фонарь, уже позабыв о том, что это фамилия его конструктора): когда лейтенант придвинулся к обвесу мостика, чтобы удобнее было отыскать горы, темнеющие на фоне звездного мерцания, ратьер загремел у него под ногами железным своим ящиком и натолкнул на решение вопроса.

Фонарь этот устроен так, что свет яркой лампы, заключенной в его ящике, бьет сквозь узкую щель, прикрытую вдобавок щитками, что придает ему направленность и препятствует видеть свет с боков. Щель по надобности можно прикрывать красным, зеленым или белым стеклом с помощью нехитрого рычажного устройства. Мысль, осенившая Решетникова, состояла в том, что этот луч можно направить параллельно береговой черте. Тогда ни со стороны моря, ни с берега его не будет видно, зато яркая полоска света будет непременно замечена гребцами шлюпки даже в том случае, если они станут пересекать этот луч и вдали от катера. Маскировка вдобавок удачно обеспечивалась тем, что если направить луч на норд-ост, он будет светить как раз вдоль рифа, где никак не могло оказаться ни немецкого катера, ни тем более корабля.

Этот свой план лейтенант не без гордости и объяснил Луникову, показав на карте, где станет катер, куда будет направлен луч ратьера и как должна грести шестерка. Майор некоторое время молча рассматривал схему, потом сказал:

— Имеется вариант: шлюпка почему-либо оказалась с другого борта — с запада. Вот и пропал ваш план.

— Вариант исключенный, — в тон ему ответил Решетников. — Для этого ей надо ошибиться не меньше чем на двадцать градусов. А курс я даю ей, как видите, простой: чистый зюйд. Даже если без компаса останутся, держи по корме Большую Медведицу, тут спутаться трудно... Имеются другие варианты?

— Пока нет. А предложение есть. Раз у вас там цветные стекла, не лучше ли дать зеленый огонь? Рифы рифами, а от греха подальше. Красный сам в глаза кидается, белый — очень

ярок, а зеленый — вроде и звезда какая... Все-таки маскировка...

— Согласен, пусть будет зеленый, — ответил Решетников и, явно повеселев, взглянул на часы. — А что, товарищ майор, может, пораньше подойдем?

Луников искоса взглянул на него и усмехнулся:

— Пожалуй, правильно... Зачем нам лишние полчаса томиться? Уж рвать зуб, так сразу...

Решетников несколько смутился, поняв, что майор разгадал его нетерпение. Как бывает это в подобных случаях, ему уже неумоготу было дожидаться того, что все равно должно случиться, и хотелось, чтобы это поскорее началось. Он дунул в свисток переговорной трубы на мостик и приказал Михееву ворочать на обратный курс и при подходе к мысу пробить боевую тревогу, а сейчас прислать в рубку Хазова и Артюшина.

Майор хотел было уйти, но дверь отворилась, выключив свет. Когда он зажегся, в рубке стояли оба.

— Ясно, — недовольно сказал Решетников. — Было приказано спать, а они уже на палубе.

— При повороте с койки скинуло, товарищ лейтенант, — сразу же ответил Артюшин. — Я и вышел Зыкину сказать, что со штурвалом аккуратно надо обращаться. Не выйдет из него рулевого, как хотите, его бы в авиацию списать, пусть там виражи закладывает...

— Товарищи старшины, получите новый приказ на возвращение, — перебил его лейтенант, и Артюшин тотчас подтянулся. — Подойдите к карте...

Он подробно, с излишней даже обстоятельностью, объяснил им свой план, подчеркнув, что уклоняться вправо ни в коем случае нельзя, чтобы не проскочить катер с его темного борта, и закончил обычным:

— Все ясно? Вопросы имеются?

Он сказал это четко, по-командирски, и Артюшин так же четко ответил, что все понятно. Но Хазов неторопливо сказал:

— Есть, товарищ лейтенант.

— А что, Никита Петрович? — совсем другим тоном спросил Решетников, и Артюшин, спрятав невольную улыбку, заметил, что он с беспокойством покосился на левую руку боцмана.

Тот и в самом деле поднял ее к подбородку привычным жестом и в раздумье потер ладонью бритую щеку.

— Маловато запасу. Тут грести порядочно, шлюпка курса точно не удержит. Можем и правее катера пройти.

— Вот товарищ майор того же опасается, — сказал Решетников озабоченно. — Я и сам хотел для верности поставить катер западнее, да боюсь — увидите ли вы тогда огонь? Далековато на луч выйдете.

— Увидим,— с уверенностью сказал Хазов.

И Артюшин подтвердил:

— Ратьер увидим. Его из Поти увидишь, это не синий ночничок, прошлый раз все глаза проглядели...

— Ясно,— подытожил лейтенант и нарисовал на карте новый кружок с якорьком.— Вот так у вас запаса будет за глаза — градусов тридцать... Всё, товарищи старшины. Помните — на вас вся операция держится. Потеряем нынче шлюпку — весь смысл потеряется: разведчиков надо обязательно завтра на борт принять. Ну... желаю успеха.

Он пожал руку обоим. Хазов достал из реглана аккуратный клеенчатый бумажник и молча передал его командиру катера. То же сделал и Артюшин, но у него документы оказались в кокетливом кисетике, сшитом, очевидно, женскими руками. Потом оба вышли из рубки, а за ними — и Решетников с майором.

На палубе чувствовалось присутствие в темноте многих людей. Сквозь мягкий рокот одного мотора, под которым шел сейчас катер, слышны были негромкие голоса, какие-то тени уступали дорогу офицерам, направившимся на корму к шестерке. Очевидно, второй поворот дал знать команде и разведчикам, что время высадки приближается, и боевой тревоги уже не требовалось: все оказались на своих местах, шлюпку готовили к спуску и разведчики подтаскивали к ней громоздкий инвентарь пехотного боя и окопной жизни, который им придется скоро разместить на своих плечах.

Тот незаметный, но ясно ощутимый всеми переход из одного жизненного состояния в другое, который начинает собой всякую боевую операцию задолго до ее фактического начала, уже произошел. И, хотя люди держались по-прежнему, спокойно разговаривали, шутили, выполняли порученное им дело, во всем этом теперь была особая значительность, которую все чувствовали, но которой не подчеркивали и даже как бы не замечали, словно уговорились между собой делать вид, что решительно ничего не происходит. Между тем часть этих людей уже переступила ту грань, за которой могла встретиться военная смерть, тогда как другая часть оставалась еще по эту сторону грани, где такая смерть была маловероятной. И как ни старались те и другие держаться естественно, быть такими, какими были пять минут назад, это у них не очень получалось, и усилие над собой выражалось у кого повышенной веселостью, у кого нарочитым спокойствием, у кого смущенностью и неловкостью. И всем, как недавно Решетникову, уже хотелось, чтобы действия, связанные с возможностью гибели, начались поскорее, если уж все равно они должны начаться.

Катер снова повернул, на этот раз на малом ходу, плавно.

Звезды, качнувшись, расположились над ними так, что Большая Медведица оказалась по правому борту, и все на палубе поняли, что теперь катер идет вдоль берега к бухте. Однако никто не сказал об этом вслух: разведчики негромко обсуждали с лейтенантом Ворониным — взять лишнюю «цинку» с патронами или добавить гранат, Жадан приставал к боцману, чтобы подкормили разведчиков — есть, мол, лишний суп, — и только Сизов, оказавшийся каким-то образом рядом с Артюшиным, спросил его упавшим голосом:

— Подходим, что ли?

— Ты откуда тут взялся? — удивился тот.

— Радиограмму носил. Так, верно, подходим?

— Когда еще подойдем... «Последний час» успеешь выдать.

— «Последний час» еще через час.

— Тогда не успеешь. Сыпсья на место.

Сизов помолчал, потом тронул его за локоть.

— Артюш... Ты, значит... это самое...

— Ну, чего тебе?

— Нет, ничего. Ну, счастливо, мне слушать надо.

— Счастливо. Иди слушай.

Артюшин постоял в темноте, потом, словно пожалев, что отпустил Сизова, негромко крикнул вслед:

— Юрка!

— Есть! — ответил голос рядом.

— Ты еще тут? — удивился Артюшин.

— Тут.

— Иди на место, я сказал.

— Я и шел, а ты зовешь.

— Ну, счастливо! Эх ты... герой...

— Командира отделения рулевых Артюшина на мостик! — донеслась до кормы голосовая передача.

— Есть на мостик! — отозвался Артюшин и, охватив Сизова за плечи, ласково потряс его худощавое, еще мальчишеское тело. — Вот теперь и в сам-деле подходим, раз самого маэстро приглашают... Будь здоров, Юра!

Артюшин угадал: командир катера приказал ему стать на руль, как это бывало всегда при сложном маневре. После поворота катер начал слегка рыскать по зыби, а ему следовало идти точно по курсу, чтобы попасть в намеченную его командиром точку несколько западнее бухты Непонятной.

Всё на мостике было сейчас подчинено этой задаче. Лейтенант Михеев следил за равномерностью хода, то и дело справляясь о числе оборотов мотора. Птахов, доверяясь своим глазам больше, чем биноклю, всматривался в темную грядку берега, чуть различного на фоне звездного неба, надеясь опять как и в прошлый раз, приметить зубец вершинки, находящейся неподалеку от бух-

ты. Сам Решетников, положившись на его снайперское зрение, наклонился над компасом: несмотря на все искусство «маэстро», картушка медленно ходила около курсовой черты, и лейтенант внимательно следил, не уводит ли это рысканье в какую-либо одну сторону. Избежать его можно было, лишь прибавив оборотов, чего сделать было нельзя: подходить к месту высадки полагалось тихо, и катер, чуть поводя носом вправо и влево, словно принюхивался к чьему-то следу, продолжал медленно красться вдоль берега.

В таком напряжении прошло более получаса. Наконец Птахов негромко, но с нескрываемым торжеством доложил:

— Вершина, справа восемьдесят.

Решетников посмотрел в бинокль туда, куда показывал Птахов, и, хотя, кроме темной полосы, закрывавшей на горизонте звезды, ничего не увидел, облегченно вздохнул: вершинка означала, что до якорного места оставалось идти только шесть минут. Хитря с самим собой, лейтенант добавил к ним две-три для верности, чтобы шестерка не проскочила катер с запада. Тогда он поставил рукоятку машинного телеграфа на «стоп», негромко скомандовал: «Отдать якорь!» — и пошел на корму, где вокруг шлюпки сгрудилась уже почти вся команда, готовясь с помощью разведчиков спустить ее на воду.

Это было сделано неожиданно быстро. Командирская рационализация с поясами вполне оправдалась — корма, поддерживаемая пробкой, даже не черпнула, и, когда Хазов отдал хитро завязанный им конец и пояса вытащили на катер, разведчики один за другим спрыгнули в шестерку и начали разбирать весла, не тратя времени на отливание воды.

Майор подошел к Решетникову и, не отыскав в темноте его руки, дружески пожал ему локоть:

— Ну, товарищ лейтенант, спасибо за доставку. Значит, до завтра... Сенеку почаще вспоминайте, — добавил он, улыбаясь, что было понятно по голосу, потом шагнул к борту. — Орлы! Хватайте ногу, поставьте ее там куда-нибудь не в воду...

Он не очень ловко слез в шестерку, и из темноты донесся спокойный голос Хазова:

— Разрешите отваливать, товарищ лейтенант?

— Отваливайте, — так же спокойно ответил Решетников.

Все, что передумал и перечувствовал он на мостике перед поворотом у мыса, вновь взмыло в нем из самых глубин души, куда он постарался это запрятать. Если бы он мог, он задержал бы шестерку, заменил бы Хазова кем угодно или пошел бы сам. Но ничего этого сделать было нельзя, как нельзя было хотя бы затянуть уход шлюпки бесполезными расспросами, все ли нужное взято, помнят ли Хазов и Артюшин, как, в случае чего, держать по Большой Медведице. Можно было сказать лишь одно коман-

дирское слово «отваливайте» — роковое слово, решающее судьбу людей и судьбу друга.

Его он и сказал спокойным, обыденным тоном.

Несколько сильных рук оттолкнули шестерку от борта. Темный силуэт ее на секунду закрыл собою звездный отблеск, мерцающий на выпуклой маслянистой волне зыби, и сразу же растворился в остальной черноте, окружающей катер.

Какое-то очень недолгое время оттуда доносились тихие равномерные всплески весел. Наконец и этот слабый звук погас, как гаснет тлеющая искра, — незаметно, но невозстановимо. И тогда над катером встала та удивительная тишина уснувшего моря, которая не может нарушиться ни шелестом листвы, как то бывает в лесу, ни шорохом сорвавшегося камешка, как в горах, ни встрепечением птицы в траве, как в степи. Беззвучность черноморской ночи была настолько совершенной, что слабое движение воздуха, едва ощущаемое кожей лица (и то лишь потому, что оно несло с собой холод), улавливалось слухом, как звук чьего-то близкого легкого дыхания. И казалось совершенно невероятным, что в этой безмятежной, спокойной тишине могут сухо затрещать выстрелы, застучать автоматная очередь или плотно ухнуть взрыв.

Но именно это и опасался услышать Решетников, присевший на освобожденные от шестерки стеллажи, и того же опасались те люди, которых он оставил на верхней палубе, запретив двигаться, кашлять и шептаться, чтобы не заглушить хоть малейшего звука, который мог донестись с берега или с воды. То и дело лейтенант отворачивал рукав шинели и смотрел на светящиеся стрелки. И чем ближе время подходило к тому, когда, по его расчету, шестерка должна была начать высадку, тем тревожнее вслушивался он в морскую тишину.

Наконец, не в силах сидеть неподвижно, он встал, словно так было лучше слушать. По времени получалось, что там, в бухте, шестерка уже подошла к берегу. Ночь по-прежнему была беззвучна. Он опять взглянул на часы: наверное, теперь все уже выскочили на гальку. Никита Петрович прошлый раз говорил, что в бухте есть такой ровный пляжик, очень удобный для высадки. Ну, еще три минуты — сталкивают шлюпку. Все тихо. Сердце стало биться ровнее. Он простоял неподвижно еще пять минут, слыша только легкие вздохи ветерка. Ветерок был холодным, резкая свежесть забиралась за воротник кителя и почему-то главным образом ощущалась у затылка. Теперь шестерка, видимо, подходила к выходу из бухты. Сердце его опять тревожно заколотилось: а вдруг он так тянул со временем, что она давно уже вышла и сейчас ищет свет ратьера? Лейтенант снова взглянул на часы: нет, до этого еще далеко, не меньше двадцати минут, но для верности — пора.

— На мостике! Включить зеленый луч! — негромко скоман-

довал он и удивился: вот ведь неожиданно вышло! И как ему раньше не приходило это в голову — и верно, зеленый луч... Он усмехнулся про себя и закончил команду: — Влево не показывать, держать на норд-ост!

— Есть включить зеленый луч, влево не показывать! — весело откликнулся голос Птахова.

Ка́тер стоял носом к востоку, и потому с кормы огня нельзя было увидеть. Но матросы, услышав команду, облегченно зашевелились. К лейтенанту подошел Чайка, потом сразу двое, потом кто-то споткнулся в темноте, и голос Сизова спросил:

— Возвращаются, товарищ лейтенант?

— Будем думать, — осторожно ответил Решетников.

— Товарищ лейтенант, — сказал Сизов уже совсем рядом, — старшина второй статьи меня сменил и приказал спать. А разве сейчас уснешь? Разрешите на палубе подождать, пока Артюшин вернется?

— Ну что ж, подожди. Сядь тут, тебе долго стоять нельзя. Ноги-то как?

— Совсем приросли, товарищ лейтенант, порядок!

— Ну ладно. Сиди и слушай!

Но сам Решетников не мог оставаться на месте. Теперь, когда напряженность положения несколько разрядилась, им все больше овладевало нетерпение. Ведь тишина еще ничего не доказывала: сомовская шлюпка исчезла в такой же мирной тишине. Оставалось ждать, а ждать в этих условиях было очень трудно. Еще труднее было выкинуть из головы беспокойные мысли о том, увидит ли шестерка зеленый луч. Это походило на то, чтобы заставить себя не вспоминать о белом медведе. Все самое далекое, самое постороннее, что ему удавалось вытащить из памяти, чтобы отвлечься от этих тревожных мыслей, тут же, подобно свитой в тугую спираль пружине, которую согнуть невозможно, немедленно выворачивалось и неизменно приводило к тому, что он отгибал рукав шинели и убеждался, что прошло всего две или три минуты.

Решетников поднялся на мостик, заглянул в узкую щель ратьера, откуда весело и ярко бил зеленый свет, проверил по компасу, верно ли Птахов его направляет, поговорил с самим Птаховым и только потом рискнул взглянуть на часы. Оказалось, все это заняло четыре минуты. Время тянулось невозможно медленно.

Лейтенант вздохнул и решил зайти в рубку, где оставил сданные Артюшиным и боцманом документы. Они лежали на слабо освещенной карте, на которой карандашной чертой был отмечен условный луч ратьера, проходивший почти параллельно берегу. Глядя на него, Решетников вспомнил, как он рассказывал Никите Петровичу о зеленом луче и как убеждал не пропускать ни одного заката на море, чтобы все-таки поймать его. Кажется, это

было в тот самый примечательный день, когда они с боцманом впервые заговорили по душам. Да, правильно. Они пошли вместе в штаб договариваться о дне первого выхода на пробу механизмов после ремонта. С утра резко похолодало, и над горами, обступившими бухту, нависли плотные белые облака. Их становилось все больше, они как бы давили друг на друга и к обеду сели на вершины гор, совершенно скрыв их от глаз. Бухта и море приобрели неприятный мертвенный оттенок залежалого свинца. Норд-ост переваливал облака через горы к морю. Текучие плотные туманы безостановочно скатывались по склонам к городку. Словно какая-то густая холодная жидкость, они наливали доверху всякую впадину, ложину, седловину, выпуская к домикам и к садам шевелящиеся щупальца. Потом белая масса выплескивалась из впадин и, клубясь, катилась вниз, готовая поглотить городок. Но едва она достигала какой-то черты, ветер, вырывавшийся из бухты, вздымал ее вверх и там яростно и быстро разрывал в клочья.

Глядя на это, Никита Петрович сказал тогда запомнившиеся Решетникову слова: «Ну и силища, вроде фашистской. А глядите — тает». Действительно, хотя белые массы, завалившие собой горы, были неисчислимы и хотя за плотной их стеной угадывались новые, еще бо́льшие массы облаков, гонимых на город неведь откуда, было несомненно, что, сколько бы их ни оказалось, сильный и верный ветер с моря разорвет их в клочья и рассеет в небе грязными слоистыми облачками.

А Решетников, смотря на эту белую тучу, вспомнил о другой — черной, висевшей над алтайской степью. Тут он впервые рассказал Хазову о своем детстве и о том, как решил стать командиром военно-морского флота. И ему показалось, что Хазов как-то по-новому, с уважением, на него посмотрел и, вероятно, изменил свое мнение о нем, потому что с этого дня он чувствовал совсем иное отношение к себе. Именно тогда он и понял, что Хазов может быть для него тем же старшим другом, каким так недолго был для него когда-то Петр Ильич.

Перебирая это в памяти, Решетников машинально открыл клеенчатый бумажник. Там лежали партийный билет, удостоверения о награждении, выдававшиеся вместо орденских книжек, какие-то справки, видимо нужные боцману. Решетников с удивлением заметил, что на фотографии в партбилете Хазов выглядел не только моложе, что было понятно, а просто совсем другим человеком. Карточка была маленькая, но очень четкая: можно было различить даже выражение глаз. Они были спокойными, веселыми, а на лице совсем не замечалось сосредоточенной задумчивости и хмурой замкнутости, какие Решетников привык видеть на нем с первой же встречи, — видимо, все это сделала война. В бумажнике нашлась еще небольшая фотография. На ней был

снят подросток, и сперва показалось, что это сам Никита Петрович, настолько все в лице мальчика напоминало его, но не теперешнего, а такого, каким он снимался несколько лет назад для партбилета. Однако на обороте оказалась надпись неровными буквами: «Косте Чигирю — Петр Хазов», а ниже этого якорь, на лапах которого стояли цифры — 1940, а под ними — слово «союз» с восклицательным знаком.

Этому романтическому Петру было на взгляд лет десять-одиннадцать. Предположить, что это сын Хазова, о существовании которого никто на катере не знал, было трудно: получалось, что он родился, когда Никите Петровичу было восемнадцать-девятнадцать лет. Видимо, это был его младший брат, о котором он тоже никогда не упоминал. Решетников еще раз посмотрел на открытое, смелое и удивительно привлекательное лицо, которое невольно запоминалось, вложил фотографию в бумажник и спрятал его в карман.

Но и на это все ушло едва три минуты. Лейтенант вышел из рубки, постоял возле нее, давая глазам привыкнуть к темноте, потом опять пошел на корму и сел рядом с Сизовым.

Тот немедленно же спросил:

— Долго ждать еще, товарищ лейтенант?

Решетников взглянул на часы:

— Недолго. Минут через десять должны подгрести.

— Скорей бы, — вздохнул Сизов совсем по-детски.

И Решетников улыбнулся. Видимо, Артюшин был для Юры тем же, чем в свое время был для него самого Ершов. Но прошло и десять минут, и двадцать, а шестерка не возвращалась.

На палубе снова появились люди, и снова они замерли в неподвижности. Опять настала полнейшая тишина — все слушали, не возникнет ли в ней слабый, чуть слышный звук равномерного всплеска весел.

Сроки, которые лейтенант ставил для своего успокоения, проходили один за другим. Пошел уже второй час с того времени, когда шестерка должна была подойти к катеру. Страшное волнение охватило Решетникова. Хорошо, что было темно: все в нем трепетало, дрожало, ходило ходуном, и это, несомненно, могли бы заметить. Догадки и подозрения снова, как и в походе, осаждали его. Самой грозной из них была мысль, что шестерка прошла к западу от катера — там, где не было зеленого луча. Этого не могло быть, он отлично знал, что не могло быть, так как для этого шлюпка должна была бы держать Медведицу не по корме, а почти по правому борту. И, зная это, он все же поймал себя на том, что собирается крикнуть на мостик: «Включить второй ратьер на зюйд-вест!» Но это могло бы погубить катер: такой огонь наверняка был бы замечен. Решетников не мог этого сделать, как вообще не мог ничего сделать. Все его действие



заклучалось в бездействии. Чтобы помочь Хазову в беде, он готов был кинуться под снаряды, под пули, в воду, но должен был только ждать.

За все это время ни один человек из его команды не задал ему пустого и бесполезного вопроса: где же шестерка? Все молчали, но Решетников знал, что вопрос этот у всех на языке. Молчал и он сам.

Теперь его грызла нестерпимая по силе упрека мысль, ужасное для него сознание, что он сам, своим приказом, лишил себя только что приобретенного друга.

Он горько усмехнулся, вспомнив майора с его Сенекой: посмотреть бы, как Луников справился бы с той стаей грозных видений, которая вилась вот тут, в этой морской тишине, поглотившей без звука шестерку!..

Воспоминание о Луникове заставило его взять себя в руки. «Такая уж наша командирская должность...» Он командир, и он обязан что-то объяснить своей команде.

Усилием воли он подтянулся.

— Что-нибудь произошло, — сказал он матросам, стоявшим рядом, сам удивляясь своему спокойному тону. — Ну что ж, время у нас есть, рассвет еще не скоро. Будем ждать до рассвета.

И он опять сел на стеллажи глубинных бомб, зябко передернув плечами — то ли ночь, перевалив за свою половину, стала много холоднее, то ли это был нервный озноб. Он застегнул воротник шинели и замер в неподвижной позе.

Ему уже столько раз мерещился дальний, чуть слышный всплеск весел, что он решил не напрягать более слуха: если что будет — скажут другие. Теперь он вспоминал то, что сказал ему вчера Владыкин, давая боевое задание: «Пора, пожалуй, о том приказе подумать. Лучше будет, если вы сами поднимете вопрос. Пишите рапорт после первого же боя». А когда он спросил: «Может быть, после этого похода?» — Владыкин усмехнулся и сказал, что присваивать офицерское звание за такие прогулки по морю не полагается... Все думали, что это будет прогулкой. И сам он тогда, на берегу, думал так же.

Все это проносилось у него в мозгу как бы по верхней части экрана — остальная была занята неподвижной, безответной мыслью: где же шестерка? И так же неподвижно, как неподвижна была эта мысль, взгляд Решетникова упирался в темноту по носу катера, где мог показаться темный силуэт шестерки, заслоняющий собой отраженное водой звездное мерцание. Но это желанное пятно на воде все не появлялось, и было ужасно допустить мысль, что никогда и не появится.

Время тянулось так медленно, что казалось — оно вообще остановилось. Но, видимо, оно все же шло: звездное небо уже значительно повернулось, изменив свой яркий пунктирный узор.

Решетникову даже почудилось, что оно бледнеет. Неужели уже рассвет, и с ним — конец ожиданию, в котором была хотя бы надежда? Нет, созвездия были по-прежнему яркие, а небо на востоке и не начинало сереть. Темнота эта успокаивала: значит, время еще есть, можно еще ждать и надеяться. Он смотрел в эту темноту, желая только одного — чтобы она не светлела.

Внезапно в ней беззвучно вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Вспыхнул и исчез. Не успел Решетников подумать, показалось это ему или было на самом деле, как в небе треснуло и раскатилось.

Взрыв словно сорвал лейтенанта со стеллажей. Он вскочил на ноги, собираясь кинуться сам не зная куда, но рядом очутился Сизов.

— Товарищ лейтенант, что же это? Наши?.. — выкрикнул он.

Матросы, стоявшие на корме, молчали, но чувствовалось, что и они спрашивали то же.

— Ничего сказать еще нельзя, — заговорил Решетников каким-то чужим голосом. — Может быть, просто совпадение, а может быть... Подождем. Я сказал: будем здесь до рассвета.

Сизов вдруг зарыдал.

Лейтенант охватил его дергающиеся узкие плечи.

— Ну, Юра, Юра... Ты же матрос... И ничего еще пока не известно... Держись, Юра!

Но успокоить того было невозможно.

— Ну-ка, кто-нибудь, возьмите его в кубрик, — сказал Решетников опять тем же чужим голосом и добавил громко: — На мостике! Держать луч точно на норд-ост, берегу не показывать!

— Есть берегу не показывать! — ответил Птахов.

И лейтенант снова сел на стеллажи. Если бы мог он дать себе сейчас волю!.. Зарыдать так, как рыдал Юра, как сам он плакал семь лет назад...

Но он мог только сидеть молча или говорить вот этим чужим голосом, твердым голосом командира корабля. И, как командир корабля, он не мог спрятаться со своим несчастьем в рубке или в каюте. Он должен быть здесь, на верхней палубе, среди своего экипажа. Должен смотреть на это бессмысленное сияние звезд и слушать спокойную тишину уснувшего моря, в котором такие взрывы кажутся невероятными. И должен делать вид, что ничего не известно, что можно еще чего-то ждать, когда сам прекрасно понимал, что взрыв был почти у выхода из бухты, если не в нем самом.

Но думать он мог.

А о чем думать? Как тогда — как же теперь жить?

Нет, теперь это вовсе не вопрос. Второго друга отняла у него война. Надо жить, чтобы ей не давать убивать. Надо жить, чтобы

покончить с нею, — вернее, с теми, кто выпускает ее на волю, где она гуляет и гикает, сжигает и убивает, душит, топит, взрывает. Надо жить, чтобы отомстить за обоих.

Впрочем, это личности. Свое горе: А чужого горя полны целые города, области, даже республики.

И дело не в мести, а в том, чтобы предупредить убийства. В том, чтобы удавить эту войну и не дать выскочить на волю новой. Другого дела в жизни нет.

Вот и опять ты повзрослел. Тогда кончилось детство, теперь — молодость.

Что ж, будем ждать до рассвета. А с рассветом ты снимешься с якоря и уйдешь, так и не узнав, что случилось со вторым твоим другом. Ты офицер, и у тебя, кроме этих двоих, еще целый корабль со своей командой.

В спокойной, беззвучной и звездной черноморской ночи стоял у южного берега Крыма маленький военный корабль, и на корме его, опустив голову и глядя в маслянисто-черную воду, как в открытую могилу, сидел молодой человек в шинели с офицерскими погонями. А с мостика крохотного корабля, не то забытый, не то упрямо оставленный, бесполезным сигналом светил вдоль рифов побережья тонкий и яркий зеленый луч.

Глава десятая

Отходя от катера, шестерка повернула почти на север и ходко пошла к берегу под сильными, протяжными гребками шестерых разведчиков. Двое остальных и лейтенант Воронин сидели с автоматами на носу шлюпки, а в корме разместились майор Луников, Хазов, Артюшин и шлюпочный компас.

Этот маленький прибор был нынче на шестерке в особом почете. На кормовом сиденье ему отвели отдельное место; ради него все оружие было отправлено на бак, чтобы вредным своим соседством не мешать его важной работе. И ему одному разрешалось пользоваться светом: картушка его была освещена синим лучом карманного фонарика, хитро вставленного в нактоуз, в футляр компаса. Здесь было штатное освещение потайной масляной лампочкой, но слабый свет ее не устраивал Артюшина, и он приспособил фонарик, чтобы точнее держать на курсе.

Вход в бухту Непонятную осложнялся тем, что перед нею, как бы отгораживая ее от моря, параллельно берегу тянулась высокая подводная гряда, доходящая почти до поверхности воды и небезопасная даже для шлюпок. Ее приходилось обходить, оставляя слева, а потом идти между нею и берегом до входа в бухту. Так и шла сейчас шестерка, держа курс по компасу.

Все в шлюпке молчали. В тишине повторялись ритмичные,

однообразные звуки гребли: всплеск лопастей, поскрипывание деревянного набора шлюпки, содрогающегося в конце каждого гребка, когда весла, вылетая из воды, делают последний рывок. Хазов, сидевший рядом с Артюшиным, всматривался вперед. Наконец он молча положил руку на румпель, и Артюшин так же молча снял с него свою и потушил фонарик в нактоузе: шлюпка приближалась к берегу, начиналось лоцманское плавание, для которого не нужно ни компаса, ни искусства классного рулевого и где «лоцманом может быть даже боцман» — как еще на катере сообщил это Артюшин майору.

Подведя ее почти вплотную к скалам, закрывавшим собою звездное сияние неба, боцман повернул влево и повел шлюпку вдоль них. Потом скалы стали отходить, и шестерка, словно они притягивали ее к себе, тоже стала склоняться вправо, сперва понемногу, потом все круче, покамест Большая Медведица не оказалась снова у нее прямо по носу.

Это и был вход в бухту. Хазов вполголоса скомандовал:

— Суши весла...

Разведчики перестали грести. Шестерка продолжала бесшумно двигаться вперед с поднятыми над водой веслами. Воронин и оба матроса на баке привстали с автоматами в руках. Артюшин шепнул загребному: «Оружие сюда», — и гребцы передали с бака два автомата и несколько гранат.

Дав шестерке дойти до середины бухты, о чем он догадался по каким-то своим признакам, Хазов положил лево руля и так же негромко скомандовал:

— Левая табань, правая на воду... — И, выждав, когда шлюпка развернулась носом к выходу из бухты, добавил: — Табань обе... Помалу.

Теперь шлюпка медленно пошла к берегу кормой, готовая в случае опасности быстро отойти от него. Боцман без стука снял с петель руль и положил его в шлюпку, потом взял в обе руки по гранате и повернулся к берегу. Артюшин и майор уже пристроились с автоматами к заспинной доске кормового сиденья.

В бухте было совсем тихо, только плескалась вода у камней: зыбь образовала здесь легкий накат. Резкая прохлада ночи чувствовалась меньше, может быть потому, что воздух тут был почти неподвижен. Вода, лишенная отблеска звезд, закрытых нависающими над ней скалами, казалась черной. Подгоняемая бесшумными гребками, шлюпка осторожно приближалась к берегу. Вглядываясь в проступавшие в темноте камни, боцман молча, не оборачиваясь, трогал гранатой колени то правого, то левого загребного. По этому знаку то один, то другой борт переставал грести, отчего шестерка изменяла направление, отыскивая известный боцману каменистый пляжик.

Наконец корма ее приткнулась к гальке. Шестерка остано-

лась, чуть пошевеливаясь на ленивой волне, набегающей на отлогий берег. Майор собрался шагнуть в воду, но Хазов удержал его. С полминуты он стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, потом обернулся и шепнул:

— Шабаш... Легче с веслами, не стучать!

Он перекинул ноги через фальшборт, осторожно ступил в холодную воду и рывком потянул на себя шлюпку. Корма вылезла на гальку.

— Теперь сходите, — шепнул он Луникову.

Сама высадка заняла не более двух-трех минут. Выскочив на берег, первые двое разведчиков тотчас исчезли в темноте, разойдясь по берегу, чтобы выяснить обстановку. Остальные без звука разобрали оружие и весь свой пехотный груз. Майор потянул к себе Хазова за рукав ватной куртки:

— Спасибо, боцман, кажется, сошло... Желаю счастливо добраться. И помните — завтра нам обязательно на катере надо быть. Ждать будем тут же.

— Помню, — коротко ответил Хазов. — Счастливо вам, товарищ майор.

— Осторожнее из бухты выходите. Хотя, — тут в голосе Луникова послышалась усмешка, — хотя насчет ножей-то я и впрямь кино сочинил... Тут такая тьма, что шлюпки на воде и не различишь... Ну, будем думать, и дальше все хорошо сойдет. Отваливайте, не теряйте времени.

Хазов легко вскочил в шестерку. Артюшин, не выходящий из нее, теперь пристроил компас на первой с кормы банке, опять приладив к нему свой фонарик. Это было его собственное изобретение, которое прошлый раз вполне оправдалось: сидя с веслом на второй банке, он мог следить за курсом, не прекращая гребли, чего при тусклом штатном освещении делать было невозможно.

Разведчики подошли к корме, чтобы столкнуть шлюпку в воду, но Артюшин зашипел на них:

— Не май месяц — купаться, сами сойдем! Ну, отважная морская пехота, замцарица полей, желаю!..

Уперев весла вальками в грунт, они вдвоем легко сдвинули облегченную шлюпку. Она быстро отошла от берега, и фигуры людей сразу исчезли в темноте. Артюшин сел на банку и вложил весло в уключину.

— Значит, уговор прежний: в бухте ты лоцман, а в море я штурман. На воду!

И они сделали первый дружный гребок.

Идти на шестерке без руля под двумя веслами — дело не очень простое. Гребцы должны работать очень слаженно, хорошо чувствуя друг друга, чтобы не перегребать соседа и не уводить этим шлюпку с намеченного курса. У неопытных порой получа-

ется так, что в стараниях сравнять силу гребков оба быстро выдыхаются или, наоборот, уступая друг другу, теряют ход шлюпки, не могут держать заданное направление и дело кончается тем, что оба бросают весла и со злыми глазами переходят к взаимным упрекам.

Хазов и Артюшин, моряки умелые и бывалые, даже и не думали обо всем этом. Едва они начали грести, мышцы их сами нашли некоторый общий, наиболее выгодный для обоих уровень усилий, отчего ритм гребли сам собою установился и шестерка пошла ровно, без толчков и рыскания, но, конечно, уже не так быстро, как входила она в бухту под всеми шестью веслами. Согласно уговору вел ее сейчас боцман. Это означало, что Артюшин должен был грести ровно, с одинаковой силой, а Хазов по мере надобности либо ослаблял свои гребки, либо усиливал их для того, чтобы сохранить направление хода шлюпки или, наоборот, изменить его.

Сидя по левому борту на третьей с кормы банке, он греб, повернув голову направо, вглядываясь в скалы, хорошо различимые в звездном свете. Шлюпку нужно было вести вплотную к ним, чтобы сперва найти выход из бухты, а потом то приметное место берега, где обрывистые их стены сменялись отлогим галечным пляжем. Тут, уже не опасаясь камней подводной гряды, можно было поворачивать в море, и здесь лоцманские обязанности Хазова заканчивались: шлюпка ложилась на курс чистый зюйд, и вести ее по компасу до встречи с лучом ратьера должен был «штурман» Артюшин.

Они гребли молча. Скалы неясными громадами медленно проходили по левому борту. Приподнимаясь на зыби, шестерка то чуть ускоряла, то чуть замедляла ход. Потом Хазов перестал грести, и шлюпка под ударами одного весла начала забирать влево, выходя из бухты. Вдруг, коротко ругнувшись, Артюшин рывком поднял весло на сгибе локтя, задрал его лопасть.

Хазов обернулся:

— Чего ты?

— Чего... Мина... И здоровущая, тварь!

Мимо шлюпки, у самого борта, проплывала черная круглая масса. Артюшин увидел ее, вернее, почувствовал, когда, повернув голову к левому плечу, заносил весло. Движение, которым он вырвал его из уключины, получилось у него помимо воли. От легкого удара веслом мина вряд ли сработала бы, вот если бы шестерка с ходу наткнулась на мину форштевнем...

При этой мысли Артюшин покрутил головой и, сделав гребок, не очень естественно засмеялся.

— Повезло нам с тобой, боцман, прямо скажем... И откуда ее черт принес! Тут и заграждений-то нет...

Хазов промолчал. Артюшин хотел добавить, что завтра, вы-

ходит, снова придется дважды проходить мимо этой окаянной мины, раз она болтается в бухте и деваться ей некуда. Но, подумав, он оставил это открытие при себе: неписанные правила поведения людей на войне воспрещают делиться с товарищами такого рода соображениями, — догадался, ну и помалкивай, нечего других расстраивать. Да и сам он постарался не думать об этом. Все равно ничего тут сделать было нельзя: ни расстрелять ее, ни разоружить. Чтобы отвлечься от этих бесполезных мыслей, он начал считать гребки. Досчитав до двухсот, когда, по его соображениям, шестерка должна была уже миновать подводную гряду, он окликнул Хазова:

— Не пора ворочать, боцман?

— Скалы еще.

— Долго нынче идем.

— Зыбь.

— Тогда давай навалимся.

Боцман даже не ответил.

Считать гребки надоело, но, пожалуй, их набралась еще добрая сотня, когда Хазов наконец сказал:

— Галька. Давай на курс.

Артюшин оставил весло и наклонился к компасу, чтобы включить свое хитрое освещение. Боцман двумя гребками развернул шлюпку кормой к берегу.

— Ну, скоро ты там? — спросил он.

— Техника на грани фантастики, — смущенно ответил Артюшин. — Наверное, проводок отскочил. Говорил Юрке — подлиньше припаивай...

— Зажги лучше маслянку, вернее будет.

— Да тут делов на момент, зато потом спокойней пойдем. Сейчас прикручу.

Фонарик Артюшина, подаренный ему кем-то из разведчиков, заряжал обычно Сизов, загоняя туда элементы из «Бас-80» — «батареи анодной сухой восьмидесятивольтовой», которых у него, как у всякого радиста, было предовольно. Но потому ли, что Юра был расстроен предстоящей высадкой, или потому, что Артюшин торопил его, фонарик нынче отказал. Артюшину пришлось открывать дверцу и на ощупь прикручивать проволочку к контактной пластинке.

Хазов не торопил его: минута-две ничего не меняли, а удобства артюшинского освещения стоили этой задержки. Он сидел, отдыхая, спокойно положив руки на валец весла, и смотрел на Большую Медведицу, свесившую хвост как раз над кормой. Шлюпка лениво шевелилась на зыби. Глубочайшая тишина стояла вокруг; даже того легкого плеска воды о камни, который слышался в бухте, здесь не было.

Вдруг ему показалось, что часть звезд ниже Медведицы

скрылась. Он присмотрелся. Звезды на краю неба исчезали одна за другой, словно на них надвигалась непроницаемо плотная туча. Прошло еще с минуту, когда стало ясно, что закрывает их скала — та самая скала, которую они уже проходили, приближаясь к отлогому берегу.

— Артюшин, садись за весло! — тревожно сказал он.

— Сейчас. Уже наладил, включаю...

— На воду, говорю! Шлюпку сносит!

Артюшин схватился за весло. Они развернули шестерку снова вдоль берега, продвинули ее вперед, потом Хазов приказал сушить весла, всматриваясь в скалы. Едва они перестали грести, шестерка сразу же пошла назад. Чтобы удерживать ее на месте, приходилось делать довольно частые гребки.

— На воду! — сказал Хазов. — К гальке приткнемся...

Они снова начали грести. Шлюпка пошла к тому же месту, где недавно разворачивалась. Но все то, что тогда не привлекало их внимания, сейчас доказывало скорость этого неожиданного течения: и медленность, с какой уходили назад скалы, и количество лишних гребков. Артюшину даже померещилось, что вода за бортом журчит, как будто шлюпка идет не по морю, а по реке, и довольно быстрой. На самом деле так оно и было: шестерку сносила назад невидимая река.

Накануне того дня, когда «СК 0944» вышел к бухте Непонятной, только что утих зюйд-вестовый шторм, доходивший до семи-восьми баллов. Трое суток подряд все то огромное количество воды, которое образует собой Черное море, находилось в непрестанном сильнейшем движении. Вряд ли на всем его пространстве от Босфора до Керчи оставалась в покое хоть одна капля. Тяжелые массы соленой воды колыхались, вздымались, опадали, сшибались, превращались в зыбкие крутые горы, в пологие ложбины, в холмы и обрывистые овраги. Ветер, пролетая над созданным им клокочущим кипением, гнал громадные валы в одном направлении. Украшенные белопенными султанами, они как бы догоняли друг друга, мчась в стремительном беге вслед за низкими рваными облаками, пронесившимися над ними к северо-востоку.

На самом деле неслись туда только эти облака. Волны же, вопреки сложившемуся поэтическому представлению о них, никуда не стремились, не катились и не бежали чередой: вода, составляющая их, стояла на месте, лишь перемещая свои текущие частицы вверх и вниз по замкнутым круговым орбитам, безостановочно меняя этим свою форму и создавая впечатление быстрого бега волн. Однако некоторый тонкий слой ее и в самом деле передвигался вслед за ветром к берегам Крыма и Таманского полуострова. И так велико было Черное море, что этого тонкого слоя, сдвинутого ветром в северо-восточный его угол, оказалось доста-

точно, чтобы порядком поднять там уровень воды и образовать обратное течение.

Оно началось сразу же, едва напор ветра ослаб. Море еще продолжало вздыхать невысокими волнами зыби, постепенно успокаиваясь, а те значительные массы воды, которые шторм нагонял сюда целых три дня, уже стремились обратно, на юго-запад. Медленными невидимыми реками они текли по Черному морю в разнообразных и капризных направлениях, зависящих от местных береговых ветерков, температуры встречных слоев воды и рельефа дна.

Одно из таких обратных течений, зародившееся в Феодосийском заливе, куда шторм нагнал особенно много воды, направилось вдоль берега Крыма. Сильные его струи шевельнули встреченную на пути тупоголовую черную мину, плавающую на поверхности. Та сперва только лениво повернулась, но потом, словно надумав, сдвинулась и поплыла вместе с течением. Короткий обрывок троса болтался у нее под брюхом: два дня назад шторм сорвал ее с якоря, на котором, охраняя от советских кораблей советские же берега, она простояла более года, так и не дождавшись толчка, который разбудил бы дремлющую в ее утробе черно-желтую тротилковую смерть. Плавно покачиваясь на затихающей зыби, мина весь следующий день плыла вдоль берега на запад. В сумерках ее поднесло к бухте, у входа в которую выдвигались в море скалы. Отброшенное ими течение образовало здесь довольно крутой изгиб. На повороте мину вынесло из движущихся струй в неподвижную воду бухты. Вернуться в протекающий мимо поток она уже не смогла и, подталкиваемая случайными струями, заглядывающими сюда, начала описывать между скалами неправильные кривые, петли и спирали, мягко вздымаясь и опускаясь на зыби.

Именно с ней, едва не столкнувшись, и встретилась выходящая из бухты шлюпка. И точно так же, как появление здесь мины было полной неожиданностью для сидящих в шлюпке двоих людей, не меньшей неожиданностью для них оказалось и то, что вдоль берега шло сильное течение на запад. Они пытались все же с помощью двух тяжелых весел продвигать навстречу ему неуклюжую шлюпку, не понимая, что, по существу, вступают в поединок с Черным морем, которое, восстанавливая свой нарушенный штормом уровень, перемещает из одного своего угла в другой безмерно громадные массы воды.

Не вдаваясь в истинные причины сноса шлюпки, Хазов, едва обнаружив его, тотчас стал действовать так, как в этих условиях было единственно правильно и необходимо. Нужно было немедленно же зацепиться за берег, чтобы удержать шестерку там, куда им удалось ее довести, и тогда уже пытаться понять, что же происходит и что им следует делать. Гладкие скалы берега и

камни возле него не давали этой возможности. Но, как только шлюпка, с трудом выгребая против катящегося навстречу ей неудержимого потока, миновала наконец последнюю скалу, Хазов повернул и приткнул ее носом к гальке отлогого берега, начавшегося отсюда.

— Ну, старшина, давай соображать. Время для начала заметить, — сказал он обычным своим спокойным тоном.

Артюшин посветил фонариком на часы.

Оказалось, на переход сюда из бухты они потратили почти вдвое больше времени, чем при прошлой высадке, — около получаса. Это был уже достаточный показатель силы течения, вполне определивший серьезность положения. То обстоятельство, что течение шло как раз вдоль берега, то есть на запад, вносило уже окончательную ясность. Это означало, что, когда шлюпка начнет грести к катеру, снос будет наибольшим из возможных, так как течение придется под прямым углом к курсу.

— Выходит, пронесет нас мимо катера, — сказал Хазов, произведя в уме несложные расчеты. — Не выгрести.

— Сюда же выгребли, — возразил Артюшин. — Это у берега так тянет. Если б в море так сносило, мы бы на камнях сидели.

— А мы через них и проскочили.

— Скажешь тоже! — обиделся Артюшин.

— Я срамить тебя не хотел. Ты куда шестерку вывел? Я думал, компас у тебя врет, а получается — снесло.

Артюшин вспомнил, что шлюпка и точно вышла не сюда, к отлогому берегу, куда в обход подводной гряды был проложен курс, а на какую-то высокую скалу. Тогда он подумал, что это была первая скала рядом с пляжем, и не придавал значения небольшой неточности курса. Теперь он оценил это иначе.

— Получается так, — согласился он. — Градусов на пятнадцать снесло, не меньше. И как это нас на камни не посадило?

— Бывает. С миной же вот разошлись.

— Ну, возьмем на снос тридцать градусов, вот и выйдем на катер, — уверенно сказал Артюшин. — Конечно, грести уж на совесть придется.

Хазов покачал головой:

— Сил не хватит. Почти час грести. Не выйти на двух веслах: на шести — и то куда снесло.

Минуту они сидели молча. Потом Артюшин сказал:

— Наверное, с Азовского тянет, штормом туда нагнало. Вполне понятное дело.

— А нам с того легче?

— Все-таки научное открытие. И ту шестерку, видно, так же унесло. Помнишь, накануне тоже шторм был?

— Вот и унесло, раз к катеру пошли. Ну, так что делать будем? Время идет.

Глубокая, полная тишина стояла над ровным каменистым пляжем, уходящим на восток. Чуть пошевеливалось за бортом оставленное в уключине весло, лопасть которого лежала на воде, катившей мимо шлюпки быстрые струи невидимой реки. И берег и море, как бы отдыхая после недавнего потрясения штормом, сохраняли удивительный покой, следя за бесшумным ходом звездного неба, которое поворачивало над ними свою мерцающую, светящуюся, играющую огнями дальних миров сферу. И двое людей, сидевших в шлюпке, тоже как будто отдыхали в неторопливом ожидании кого-то, кто должен подойти сюда, в условленное место,— так спокойны были те короткие фразы, которыми они время от времени перекидывались, и так обыденны были их позы. Один полулежал на банке, как бы рассматривая звезды, другой сидел, удобно облокотившись и медленно поглаживая ладонью подбородок и щеку.

Между тем в звездной спокойной ночи по скалам берега пробирались в горы моряки, успех трудного военного дела которых зависел от этой шлюпки, а в море, в миле от берега, стоял катер, дальнейшие действия которого были связаны с ее возвращением, а далеко отсюда, в Москве, люди, управлявшие ходом войны, ожидали результатов того, что должны были выполнить разведчики морской пехоты и моряки катера и что было нужно для улучшения военной службы огромной страны и ее многомиллионного населения. Рассчитанный и проверенный ход этой незначительной маленькой операции, имеющей столь значительный и большой смысл, вдруг нарушился стихийным обстоятельством, которое невозможно было предвидеть: капризным поворотом отливного послештормового течения в северо-восточной части Черного моря.

Исправить этот нарушившийся ход операции не могли ни командир катера, ни высадившийся с разведчиками боевой офицер майор Луников, ни те обладающие громадной властью, опытом и знаниями военные и государственные люди, которые управляли ходом всей войны. Сделать это могли только эти два человека, сидевшие в шлюпке,— два советских человека, носящих военноморскую форму, два матроса, два коммуниста.

И они пытались решить, что же можно сделать в данном сложнейшем положении. И, хотя в тех коротких фразах, которыми они перебрасывались, не было и намека на то, что оба понимают и чувствуют ответственность за успех операции, важный смысл которой был им даже не известен,— все, что они говорили, было направлено к одной цели: исправить ход этой операции, нарушенной последствиями шторма.

Они обсудили и отвергли уже несколько решений. Круг все сужался. Сперва стало ясно, что возвращение на шлюпке к катеру сейчас невозможно. Ожидать же, когда течение прекратится или

хотя бы ослабнет, было тоже невозможно: это могло произойти одинаково вероятно и через час и через сутки. Тогда в обсуждение вошла другая тема: остаться со шлюпкой здесь, спрятав ее в камнях, а завтра, с темнотой, привести в бухту, куда должны вернуться разведчики. Предложил это Артюшин, и Хазов сперва ухватился за эту мысль. Конечно, в этом был серьезнейший риск: если бы шлюпку заметили, то разведчикам неминуемо устроили бы засаду. Но потом Хазов припомнил, что сегодня, выводя шестерку из бухты, он случайно обнаружил под нависшей скалой нечто вроде грота, где вполне возможно спрятать шестерку, залив ее водой, чтобы понизить борта.

— Ну и притопим, — весело сказал Артюшин, — а завтра, как стемнеет, начнем отливать. Согреемся, по крайней мере... Значит, пошли?

Он взялся уже за весло, как боцман остановил его вопросом:

— А на катере?

— Что — на катере?

— Откуда на катере будут знать, что завтра надо за нами вернуться?

Артюшин молча отпустил весло. Повиснув в уключине, оно легло лопастью на струившуюся мимо борта воду и снова начало пошевеливаться на ней.

В самом деле, прождав шлюпку до рассвета, лейтенант Решетников будет вынужден уйти, как неделю назад ушел старший лейтенант Сомов, также не дождавшись своей шлюпки. Артюшин знал, что утром майор должен будет связаться по радио с катером, тогда Решетников сообщит ему о пропаже шлюпки, и тот не приведет разведчиков в бухту! Таким образом, получалось, что прятать шлюпку вдвойне бессмысленно.

— А фонарик? — сказал вдруг Артюшин.

— Что — фонарик?

— Поморзим на катер, вот и узнают.

— Нельзя.

— Знаю, что нельзя. Да бывает, что и нельзя — можно.

— А тут нельзя. Сказано — ничем себя не обнаруживать.

— Так ведь момент: мигну — Птахов враз примет.

— А что ты мигнешь?

Артюшин задумался. Но как ни вертел он слова, составляя донесение, все-таки выходило, что морзить придется далеко не «момент», а больше минуты. Кроме того, и катер должен был ответить на вызов. Этого за глаза хватало, чтобы провалить всю операцию. Он с сожалением повертел в руках фонарик и положил его на банку.

— Значит, фокус не удался. Давай дальше думать.

И он снова вернулся к мысли, как бы все-таки довести шестерку до катера. Теперь он предложил подняться против течения

вдоль берега на милю. Это займет, правда, около часа, зато даст полную гарантию, что шлюпку не пронесет мимо катера. Однако, когда Хазов спросил его, способен ли он будет грести два с лишним часа подряд, не отдыхая да еще наваливаясь, так как каждая минута отдыха и каждый слабый гребок означали дополнительный снос, он тут же отказался от своего предложения и выдвинул новое, прямо противоположное:

— Тогда затопим шлюпку и уйдем в горы. Авось найдем к утру партизан, майор передаст, чтобы катер пришел завтра с другой шлюпкой,— всего и делов.

Хазов помолчал.

— Не знаем мы, где их искать,— не годится. А вот насчет другой шлюпки — ты это верно.

— Что — верно? — не понял Артюшин.

— Сходить катеру за ней в базу, вот что. Вполне до завтрашней ночи может обернуться.

— Так и я про то говорю.

— Про то, да не так. Плыть надо на катер, вот как.

Теперь помолчал, соображая, Артюшин.

— Так ведь тоже снесет,— возразил он наконец.— Хуже, чем шлюпку.

— А если против течения подняться, как ты говорил? Только не по воде, а по берегу. Быстро, и не устанем.

Артюшин опять помолчал, взвешивая его слова.

— Километра полтора пройти — тогда не пронесет. Вода вот холодна.

— Быстрей поплывем — согреемся.

— Это верно. Так решили, что ли?

— Видно, надо решать,— сказал Хазов.

— Обожди. Плыть недалеко — милю, да вода холодна. На шлюпке все же вернее. Давай еще подумаем.

Они посидели молча с минуту, перебирая в уме уже отвергнутые варианты и ища новые. Вдруг Артюшин засмеялся и хлопнул себя по коленке.

— Ну и головы!.. Чего тут думать: садись на руль, а я фалинь на плечо — и рысью по берегу!

Он сказал это с такой веселой уверенностью, что Хазов невольно привстал на банке, собираясь пересест на корму. Конечно, вернее всего было протащить шестерку вдоль берега на фалине подобно тому, как ведут на бечеве лодку против течения. Это сохранило бы и время, и силы, и самую шлюпку.

Но для этого требовалось, чтобы отлогий берег тянулся по крайней мере полтора километра. Между тем боцман, которого Решетников, по примеру Луникова, тотчас после ужина заставил хорошенько рассмотреть карту, помнил, что галечный пляж метров через пятьсот снова переходит в скалистый берег. Пройти

там пешком было можно, но тащить за собой шлюпку на коротком фалине никак не удалось бы, и грести все равно пришлось бы минут сорок.

Все это боцман немногословно объяснил Артюшину. Тот молча выскочил из шлюпки.

— Куда ты? — спросил Хазов.

— Камней наберу, а ты пока оружие вытаскивай.

Оба взялись за дело, стараясь наверстать время, ушедшее на поиски выхода. В шлюпку для верности наложили камней, потом спрятали в скалах оба автомата, гранаты и компас, чтобы завтра, если все обойдется благополучно, захватить с собой на обратном пути. Масляную лампу Артюшин вынул из нактоуза и положил на гальку в бескозырке вместе с фонариком.

Хазов вывинтил чоп — пробку в днище, — и вода журчащим фонтаном забила в шлюпку. Выскочив из шестерки, боцман сильным ударом столкнул ее на глубину под скалы.

— Как там время? — спросил он.

Артюшин зажег свой фонарик. На их военный совет, на переноску оружия и камней ушло двадцать четыре минуты.

— Долго провозились, — недовольно сказал Хазов и тут же двинулся широким шагом по берегу. — Пошли? Быстрее пойдем! И прогреемся, и время наверстаем.

Артюшин подобрал бескозырку и компасную лампу и, почти бегом догнав боцмана, подладился ему в ногу и зашагал рядом. Галька, стуча, откатывалась из-под их подошв. Боцман действительно дал хороший ход, и обоим стало тепло, потом жарко. Так они шли молча минут пять. Хазов увидел, что Артюшин несет что-то в руке.

— Ты что тащишь?

— Лампу взял из нактоуза.

— Фонаря тебе мало?

— Маслом намажемся. Я об одном проплыве читал, обязательно мазаться надо. От холода спасает. Плынешь, что в фуфайке.

Больше за все время этого стремительного хода по пустынно-му ночному берегу они ни о чем не говорили. Только хрустела и стучала галька, отмечая каждый их шаг. Порой она сменялась песком, плотно укатанным волнами, и тогда идти становилось легче, ноги упруго отталкивались от него, но затем опять вязли в сыпучей массе мелкой круглой гальки. Потом все чаще стали попадаться большие камни, которые приходилось обходить, чтобы не лезть по грудь в воду, потом берег стал обрывистым и раза три-четыре пришлось карабкаться на скалы. Они снова сменились отлогим галечным пляжем, и тут боцман остановился так же решительно, как начал этот ночной переход вдоль берега.

— Сколько прошли?

— Восемнадцать минут.

— Хватит?

— Километра полтора с гаком отхватили.

Хазов повернулся к Большой Медведице:

— Давай курс, штурман.

Они легко нашли Полярную звезду. Боцман стал лицом к ней, Артюшин — спиной к его спине. Выбрав среди звезд перед собой одну поярче, которая была градусов на двадцать левее, он показал ее Хазову.

— На нее и будем держать, запомни, лоцман. Ну, на старт, что ли? До чего же неохота, братцы... Холодна же, окаянная.

Они быстро разделись. Свежий ночной воздух охватил разгоряченные тела. Артюшин, разделив пополам масло, налил его на ладонь боцману и себе. От масла стало еще холодней. Но надо было связать одежду в узел, набить брюки галькой. В последний раз взглянув на часы, Артюшин отчаянным жестом далеко закинул в море фонарик, но часы оставил на руке, надеясь сам не зная на что.

Взяв узлы с одеждой, они вошли в воду, и вначале показалось, что в ней теплее, чем на воздухе. Дно быстро понижалось. Зайдя в море по грудь, они забросили вперед свои тяжелые узлы, и те сразу затонули.

Мягкая волна зыби оторвала их от песчаного дна, и они поплыли.

Артюшин легко нашел избранную им яркую звезду и повернул прямо на нее. Боцман, держась с левой его руки, поплыл рядом. И так же, как на шестерке, они, не уговариваясь, нашли общий, наивыгоднейший для обоих ритм, так и сейчас, проплыв минуточку-две в некотором разное, то отставая, то перегоняя друг друга, оба вскоре широкими и свободными движениями поплыли голова в голову.

Помогало ли артюшинское масло или в телах их был еще достаточный запас тепла, но первое время холод окружающей их воды почти не ощущался. Они плыли брассом, самым экономным и выгодным для далекого проплыва стилем, плыли не торопясь, сберегая силы. Несколько мешала зыбь. Она приподымала их — и тогда движения затруднялись, потом мягко опускала — и тут рукам было легче разгребать воду. Наконец оба приладились и к этому.

Монотонность плавательных движений убаюкивала. Ра-аз, два-три — пауза. Ра-аз, два-три — пауза... Сто, двести, тысячу раз... Казалось, думать о чем-нибудь было невозможно, кроме этого подчиняющего себе ритма. Однако Хазов думал.

Он думал все о том же, о чем думал почти всегда и отчего на лице его было то постоянное выражение сосредоточенности или, наоборот, рассеянности, которое обращало на себя внимание вся-

кого, кто смотрел на него. Эта постоянная, неотвязная мысль никому не была известна. Он хранил ее в себе, не делаясь ни с кем, потому что никто в целом мире не мог бы помочь ему ни дружеским, ни любовным словом утешения. Она была привычна ему, как дыхание, как биение сердца. И так же как без них он не мог бы жить, так и без этого воспоминания он не мог бы продолжать жизни. Он отлично понимал всю бесполезность этой мысли, всю беспомощность воспоминаний, которое никогда не может восстановить прошлого. Но вместе с тем он боялся, что настанет время, когда постоянная эта неотвязная мысль покинет его, когда воспоминание, потускнев, исчезнет, и тогда Петр действительно умрет, действительно уйдет из его жизни.

Есть люди, для которых горе — как ураган. Оно разрушает все вокруг, оно способно убить самого человека, переживающего это горе, оно делает из молодого — старика. Но, как ураган, оно проносится, и солнце вновь проглядывает на небе, и только далекий отзвук горя, с такою страстной мукой перенесенного, грохочет где-то вдали мягким рокотом ушедшей грозы. А воздух полон уже свежести, и трава, прижатая ураганом к земле, поднимается в необыкновенно яркой своей зелени, и жизнь возвращается — может быть, даже с большей силой.

Но есть люди, для которых горе — как осень, долгая, тяжелая, холодная осень беспросветных дней и длинных пустых ночей, лишенных сна и покоя. Горе, которое поселяется в душе по-хозяйски, надолго, с которым человек свыкается, как с непроходящей болезнью, горе, так давно потерявшее свою остроту, что его, быть может, уже и не надо называть горем. Чаще всего такое горе приживается в материнском сердце, которое не умеет забывать. Воспоминания живут в нем, подсказывая исчезнувший голос, зажигая угасший взгляд, восстанавливая тысячи мелочей, связанных с детством ушедшего ребенка, который умер совсем не ребенком. Ни с кем не говорит об этом мать, все хранит в себе, и только задумчивость или рассеянность укажут порой другим, что милое видение все живет в ее печальном сердце.

Такое непроходящее, постоянное горе и поселилось в душе Никиты Хазова. Может быть, потому, что отцовское чувство его было более материнским.

Разглядывая фотографию Петра Хазова, лейтенант Решетников подсчитал, что он никак не может быть сыном Никиты Петровича: получилось, что тот стал отцом в восемнадцать-девятнадцать лет. Между тем так оно и было. Никита Петрович (тогда еще Никитка) женился именно восемнадцати лет, женился по какой-то ошалелой, внезапной, не желающей ни с чем считаться любви. И Наташе было столько же. Никита только что кончил школу, собирался держать экзамены в училище имени Фрунзе, а она — в медицинский институт. Что и как случилось, теперь

уже невозможно было ни понять, ни вспомнить. Была севастопольская весна с сиренью, цветущим миндалем, с воздухом, живительным и томящим, была юность, честная, не знающая сделок с совестью. И была любовь, цельная, уносящая, всенаполняющая. Когда выяснилось, что у них — самих почти детей — будет ребенок, Никита сказал, что надо пожениться. Она пусть идет в институт, а он будет работать — его звали на Морской завод. Ждали почему-то девочку, а родился сын. Наташа уехала в Москву, потеряв год, Петр остался на руках бабушки и самого Никиты. В тот год, когда его призывали во флот, Наташа умерла, порезав на вскрытии палец.

По-настоящему Никита Петрович узнал сына, когда тому минуло пять лет: тогда, оставшись на сверхсрочную, он стал бывать дома почти каждый день. Он таскал мальчика на катер, ходил с ним в порт, и скоро на дивизионе привыкли, что Петр целые дни проводит тут. И так же как в свое время Никита Петрович знал, что жизнь его пройдет на флоте, так теперь знал он, что сын его непременно будет флотским командиром. Все мысли и действия обоих были направлены к тому самому училищу имени Фрунзе, поступить в которое отцу сын помешал своим появлением на свет.

Петр погиб в марте сорок второго года. Он оставался в Севастополе, прибавшись к морякам Седьмой бригады морской пехоты, не считая возможным для себя эвакуироваться с мальчишками. Война щадила его, хотя он был в довольно горячем месте — у Чоргуна, напрашивался в разведку, ходил в атаку с полуавтоматом. Потом начальство распорядилось отправить его на Большую землю. Дважды он убегал с кораблей, увозивших семьи и раненых. На третий раз его все-таки удалось отправить на госпитальном судне. У мыса Меганом судно это потопили торпедоносцы.

Петр тонул в такой же холодной воде, в какой плыл сейчас он. И привычная внутренняя тоска, почти не выражавшаяся вовне, теперь усиливалась ощущением этой холодной воды.

Может быть, вот так же плыл и Петр, разводя в ней тонкими, еще не окрепшими руками подростка: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Но впереди у него была безнадежность. Не только невозможность доплыть до берега, но и бессмысленность этого: на берегу был враг. Что он думал, что переживал? Как он пошел на дно? Изнемогши от усталости или сознательно, бросив ненужную борьбу?

Станным образом Решетников с некоторых пор напоминал Хазову сына. Все было не похоже — возраст, характер, биография, — но было между ними что-то общее. Как будто Петр вырос и стал лейтенантом и командиром катера. Хазов долго не мог понять: что же именно? И только когда Решетников рассказал ему

о «вельботе», об озере, о разговоре в степи и о туче над ней, Хазов понял, что общим у них с Петром была та еще не осознанная, необъяснимая, почти инстинктивная любовь к морю и флоту, которая двигала их поступками. Он вспомнил, как в один из приходов катера в Севастополь отпросился на берег и нашел сына в окопике у Чоргуна. Тогда в ответ на уговоры отца эвакуироваться на Кавказ, где он сможет продолжать учиться, Петр ответил: «А флот кто защищать будет? Дядя? На корабли не пускают, так я здесь с моряками бок о бок дерусь, и сам моряк!..»

Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза... Конечно, через десять лет он стал бы таким, как Решетников. Такой же ершистый, самолюбивый, прямой, смелый.

— Боцман! — сказал вдруг рядом Артюшин.

Хазов повернул голову:

— Ну что?

— Знаешь, как в обозе кричат? На заднем возу хреновинка вышла, батька помер...

— Не пойму, о чем ты.

— Судорога меня прихватила, вот что. Руками плыву. Отстану.

— Хватайся за меня.

— Не. Плыви вперед. Справляюсь, доберусь.

— Хватайся, говорю

— Слушай, боцман... Ты со мной тут прочикаешься, а катер уйдет. Ждать не будет.

— Никуда он не уйдет до самого рассвета.

— Ну да. Пождет да и даст ходу.

— Ты глупостей не говори, — сурово сказал Хазов. — Не такой у нас командир. Хватайся за шею.

— Снесет нас. Вперед плыть надо.

Хазов подплыл к нему и силком положил его руку к себе на плечо.

— Тогда погоди, — смирился Артюшин. — Дай я попробую ногу растереть. Вот тебе и масло, черт его...

Он забарахтался в воде, энергично растирая ногу. Хазов держался на месте, медленно разводя руками. Зыбь покачивала их, течение поворачивало в воде. И тогда перед глазами Хазова над водой вспыхнул большой и широкий желто-розовый свет, на миг озаривший половину неба над берегом. Потом по воде докатился плотный гремучий звук взрыва.

— Что это? — спросил Артюшин.

— Твоя хлопнулась. Завтра чисто в бухту входить будем, — спокойно ответил Хазов. — Ну, подправился?

— Погоди, сейчас.

Все еще держась за его шею, Артюшин сделал несколько движений ногой, потом отпустил Хазова.

— Порядок! Полный вперед! Ложусь на курс!

Он повернул снова на избранную им звезду и опять оба вошли в одинаковый, выгодный для обоих ритм: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Зыбь подымала и опускала их так же, как еще недавно подымала она и опускала в бухте большую тупоголовую мину, пока на каком-то стотысячном подъеме не поднесла ее к мелкому месту и не опустила на подводный камень. Собственным своим весом мина произвела необходимый толчок ударного приспособления и взорвалась, никому не причинив вреда.

Сколько времени они плыли, ни тот, ни другой сказать бы не мог. Не признаваясь друг другу, они уже начинали отчаиваться. Видимо, расчеты их оказались неверны и их уже пронесло мимо катера. Но они упорно двигали руками и ногами в этом монотонном, почти безнадежном ритме: ра-аз, два-три — пауза, ра-аз, два-три — пауза. Безмерная усталость сказывалась на сердце, на дыхании, на мышцах.

И тогда боцман сказал, словно невзначай:

— На катере, пожалуй, больше нас переживают. Мина-то в самой бухте хлопнула, га нас подумали. Надо доплыть, Степан, а то никто ничего не поймет. И бухту загубят. А она правильная.

Эту длинную для пловца речь он произнес по крайней мере в десять приемов. Артюшин ответил короче:

— Факт, надо. Мы и плывем.

Они проплыли еще минуты три, и вдруг Артюшин засрал так громко, как только можно засрать в воде:

— Боцман, вижу! Зеленый ратьер вижу! Провались я на этом месте, вижу! Братцы, что же это делается? Бiju! Гляди правее, вон туда!

Хазов рывком выбросил плечи из воды и тут же увидел зеленую точку. Она светила на самом краю воды, до нее, казалось, было безмерно далеко, но она светила!

Они повернули на нее. И тут оказалось, что она совсем не так далеко. Зыбь приподымала их, и всякий раз зеленая точка сияла им верным светом надежды и спасения. С каждым движением рук они приближались к ней, к катеру, к теплу, к продолжению жизни.

Теперь, когда великий их воинский долг был выполнен, когда самым появлением своим они вносили ясность в запутанную обстановку бухты Непонятной, когда важнейшее задание, имеющее государственное военное значение, было обеспечено, они думали о том, о чем до сих пор ни у одного из них не мелькнуло и мысли: что они спасены, что они не утонут, что в этом громадном ночном море они не проскочат мимо крохотного катерка, стоящего в нем на якоре. Время пошло в тысячу раз быстрее. Они не успели опомниться, как зеленый огонь достиг нестерпимой яркости и ру-

ки их коснулись благословенной, желанной твердости борта. И тут Артюшин не удержался.

— На катере! — закричал он слабым голосом. — Прошу разрешения подойти к борту!

На палубе зашумели, раздался топот многих ног, потом слышался тревожный голос Решетникова:

— Оба здесь? Боцман где?

— Здесь, товарищ лейтенант!

Сильные руки вытянули их на борт.

Через минуту блаженное тепло охватило их иззябшие тела. Остро пахло спиртом: видимо, их растирали. Хазов поймал чью-то руку, больно царапавшую кожу на груди.

— Командира позови...

— Здесь я, Никита Петрович, слушаю.

— Товарищ лейтенант, в бухте все в порядке... Течение, не выгрести... Надо идти в базу, взять другую шлюпку... Завтра проведем туда... Мина была... Взорвалась... Чисто...

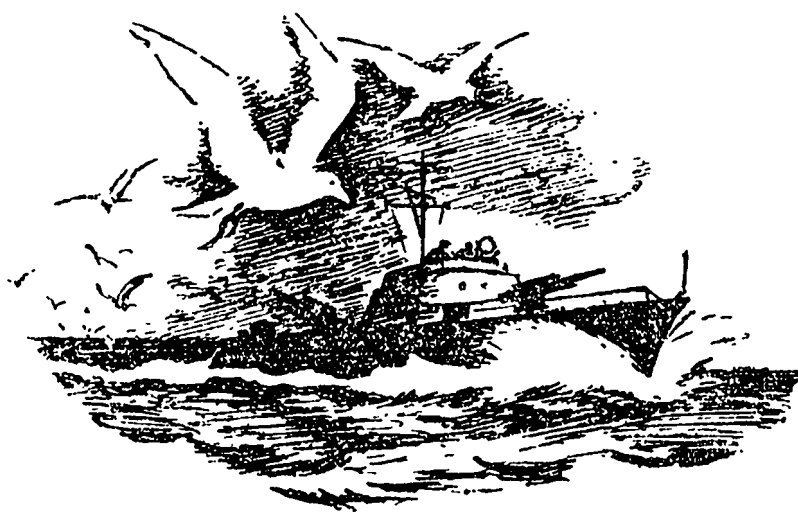
— Понятно, Никита Петрович, сделаю.

Но Хазов уже ничего не слышал. Сознание его провалилось в мягкую, но сухую и теплую бездну. «Ра-аз, два-три — пауза... Ра-аз, два-три — пауза...»

Решетников вышел на палубу из отсека среднего мотора, куда внесли боцмана и Артюшина. Полной грудью вдохнув свежий воздух, он громко скомандовал:

— Радиста ко мне! На мостике! Выключить зеленый луч!

1943—1953



IV КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИИ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

«Железный поток» — последнее крупное произведение А. С. Серафимовича (1863—1949).

В основу повести легла история похода Таманской армии — один из драматичнейших эпизодов гражданской войны на юге России. В марте 1918 года в борьбе против контрреволюционного казачества на Кубани начали формироваться революционные отряды. В июне — июле и начале августа в связи с массовым характером белогвардейских восстаний революционные отряды объединяют свои силы, создав единый Таманский фронт. В августе 1918 года контрреволюционным восстанием была охвачена почти вся Кубань, Екатеринодар взят белыми, армия под командованием Сорокина — основные большевистские силы Северного Кавказа — отступила из Кубани в Терскую область. Войска, находившиеся на Таманском полуострове, оказались отрезанными от основных советских частей. Чтобы сохранить Таманскую армию, командование вынуждено было выводить ее в обход, по берегу Черного моря, через Новороссийск, Туапсе, Кавказские горы на Кубань. Армия прокладывала себе дорогу с боями. Ее преследовали белоказачьи отряды с тыла и с левого фланга, она натывалась на боевые заслоны грузинских меньшевиков, державших в своих руках Туапсе, при переходе через Кавказский хребет на Кубань вела бои с отборными белоказачьими войсками генерала Покровского. Вместе с армией двигалась многотысячная толпа беженцев, которые под страхом белого террора покинули родные станицы. Отступление шло по голодным местам, а армия была плохо вооружена и не обеспечена продовольствием. Тем не менее поставленная цель была достигнута: Таманская армия пробилась к своим. В станице Курганной произошла встреча с отдельными отрядами Северо-Кавказских войск, а после взятия Армавира 23 сентября 1918 года таманцы соединились с главными силами.

О пятисотверстном походе Таманской армии Серафимович знал уже в 1920 году. Упоминание о нем есть в очерке «Несите им художественное творчество» (сентябрь 1920 г.) и в записной книжке среди записей 1920 года (см. «А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов». М., 1958, с. 492). Но возможность использования этих событий как основы для художественного произведения по-настоящему раскрылась для писателя, когда он в 1921 году познакомился с командиром Таманской армии Елифаном Иовичем Ковтюхом.

Рассказы Е. Ковтюха и других участников похода захватили писателя, и в 1921 году он начал работу над «Железным потоком». «Из каких элементов сложился материал? — вспоминал он в статье «Из истории «Железного потока». — Рассказы таманцев были положены мною в основу. Это был первый материал — материал со слов. Затем я использовал еще материал записей,

дневники и письма участников похода. Третий источник материала — печать, — правда, здесь я нашел немного» (А. С. Серафимович. Собр. соч. в семи томах, т. 7, М., 1960, с. 313).

В сюжете «Железного потока» сохранена основная канва исторических событий, их реальная последовательность, с большой точностью передана идейная эволюция, которую пережила Таманская армия за время своего похода. Серафимович очень близок фактам в передаче батальных эпизодов. Многие герои повести имеют реальных прототипов. На вопрос одного французского рабочего: «Неужели действительно жил такой Кожух?» — Е. И. Ковтюх отвечал: «Да, дорогой товарищ, я жил, живу и командую красным стрелковым корпусом... В «Железном потоке»... совершенно правильно передан славный поход Красной Таманской армии, в котором я принимал участие, будучи командующим 1-й Таманской колонной, а затем и армией. Моя постоянная фамилия — Ковтюх» (газ. «Рабочая Москва», 1928, № 47, 24 февраля).

Работа над повестью продолжалась два с половиной года. Серафимович добивался наиболее полного и четкого раскрытия главной идеи — закономерности превращения в процессе борьбы за Советскую власть крестьянской массы в революционную организованную силу. «Я ставил себе задачей, — писал он, — дать реальную правду, но правду, конечно, не фотографическую, а правду синтетическую, обобщенную» (А. С. Серафимович. Собр. соч. в семи томах, т. 7, М., 1960, с. 315).

Впервые «Железный поток» был опубликован в альманахе «Недра» (М., 1924, кн. 4), с подзаголовком «Из цикла «Борьба». В то время писатель рассматривал повесть как одну из частей большого цикла произведений, посвященных революции. Позже он от этого замысла отказался.

Появление «Железного потока» было встречено критикой как крупное достижение молодой советской литературы. А. В. Луначарский назвал его «исключительной силы поэмой» (журн. «Красная молодежь», М., 1925, № 2). П. И. Лебедев-Полянский увидел в «Железном потоке» «первый и значительный успех пролетарской литературы» и признал его «прекрасным вкладом в пролетарскую литературу нашего времени» (журн. «Красная новь», М., 1925, № 3). Наиболее развернутую характеристику повести в те годы дал Д. Фурманов в статье «О «Железном потоке» А. Серафимовича», напечатанной в журнале «Октябрь», М., 1926, № 2. Д. Фурманов писал: «Серафимовичу, обстоятельно и добросовестно изучившему весь материал о походе, удалось в своей повести сочетать мастерство художника с богатой эрудицией этнографа, добросовестную и широкую компетентность историка — с мудрым, серьезным и трезвым подходом социолога-ученого. Тем и ценно, тем и прекрасно это произведение — «Железный поток», — что оно дает богатейшую пищу уму и сердцу читателя, вводит в события со всех сторон, обнажает их во всей полноте, во всей многогранности, неотразимой, естественной простоте и убедительности». Сам Серафимович считал статью Фурманова лучшим из всего, что было написано о его повести.

Незадолго до смерти А. С. Серафимович писал: «Почти четверть века, год за годом, издается и переиздается «Железный поток» в столичных и областных издательствах. За это время я мало работал над текстом этого произведения. Однако каждый раз, при каждом переиздании не удержусь: кое-что да изменю, внесу поправку. За долгие годы этих поправок накопилось изрядно, и они несколько изменили первоначальный текст альманаха «Недра» (Собр. соч. в семи томах, т. 7, М., 1960, с. 337).

Неоднократно повесть «Железный поток» издавалась и в издательстве «Детская литература». В настоящем томе текст «Железного потока» печатается по изданию: А. С. Серафимович, Собр. соч. в семи томах, т. 6. Гослитиздат, М., 1959.

Л. Г л а д к о в с к а я

МОРСКАЯ ДУША

«Морская душа», сборник рассказов, увидел свет во время Великой Отечественной войны (Гослитиздат, М., 1942).

«Морская душа» сложилась из рассказов и очерков о Красном флоте, написанных с 1926 по 1942 год. Первоначальный замысел подсобного сборника возник у Соболева в первой половине 1940 года, после завершения военных действий против белофиннов (1939—1940). Писатель в течение четырех месяцев участвовал в этой кампании в качестве военного корреспондента «Правды» и «Красной звезды», «увидел в боях и в походах славное племя балтийцев, снова вдохнул в себя боевой дух родного флота», и его «несудержимо потянуло вновь к флотской теме».

«...Глядя на балтийцев, я видел в дорогой сердцу дали истории Красного флота первые его два поколения — матросов революции и комсомольцев первого призыва,— писал далее Соболев.— Это они, «деды и отцы» молодых наших героев, спасли для них корабли в ледовом походе из Гельсингфорса в 1918 году, это они стояли флот в боях гражданской войны. И это они начали восстановление и строительство Красного флота, положив в далеких двадцатых годах начало современному мощному Военно-Морскому Флоту Советского Союза.

Эта преемственность боевых традиций на Балтике стала для меня настолько очевидной и неоспоримой, что именно эту мысль я положил в основу сборника о Краснознаменной Балтике, в котором хочется рассказать о том, что я видел и в прошлом и в настоящем Балтийского флота» (Л. Соболев. На главном курсе. «Советский писатель», М., 1969, с. 96—97).

Начало Великой Отечественной войны вынудило писателя временно отложить этот замысел. Первостепенное значение приобрела для него в ту пору тема «третьего поколения». Посвященные подвигам этого поколения фронтовые очерки и рассказы составили содержание одного из непосредственных «предшественников» «Морской души» — сборника «Балтийцы в боях» (Гослитиздат, М., 1942). Помимо произведений, созданных на материале финской кампании 1939—1940 годов, Соболев включил сюда фронтовые очерки и рассказ «Ночь летнего солнцестояния», написанные в июне — августе 1941 года, когда писатель выполнял обязанности военного корреспондента «Правды» в Таллине и Ленинграде. Рассказ вошел затем в сборник «Морская душа». Очерки были включены в книгу «Свет победы» («Советская Россия», М., 1968).

В том же 1942 году выходит сборник рассказов «Батальон четверых» (Военмориздат, М., 1942, «Фронтовая библиотека краснофлотца»). Сюда входят произведения, посвященные героической обороне Одессы и Севастополя: рассказы «Держись, старшина...», «Воспитание чувств», «Батальон четверых», «2-У-2» и цикл фронтовых севастопольских очерков-новелл, объединенных общим заголовком «Морская душа».

Работа над книгой завершилась в августе — сентябре 1942 года. Сигнальный экземпляр «Морской души» был вручен Соболеву рабочими Первой Образцовой типографии (Москва) в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Весной 1943 года сборнику «Морская душа» присуждается Государственная премия. По просьбе писателя она была передана на постройку катера «Морская душа», вошедшего в том же году в состав действующего Черноморского флота.

В издательстве «Детская литература» избранные рассказы из цикла «Морская душа» неоднократно выпускались в книгах «Батальон четверых», «Морская душа» и других изданиях.

В настоящем издании «Морская душа» печатается по тексту Собрания сочинений (Леонид Соболев. Собр. соч., т. 3. «Художественная лит.», М., 1973) и включает все произведения, входящие в этот цикл, кроме «Рассказов капитана 2-го ранга В. Л. Кирдяги, слышанные от него во время «Великого сидения».

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ

Повесть «Зеленый луч» в ее окончательной редакции впервые опубликована в 1954 году в журнале «Октябрь» (№ 11—12). Отдельным изданием повесть вышла в 1955 году в издательстве «Молодая гвардия». В настоящем издании повесть печатается по тексту последнего прижизненного издания, специально подготовленного автором для детского читателя (Л. Соболев. Зеленый луч. Морская душа. «Детская лит.», серия «Золотая библиотека», М., 1970).

«...Книга зародилась весной 1943 года, когда я был в Геленджике на флоте, на катерах, в четвертом дивизионе капитан-лейтенанта Н. И. Сипягина,— вспоминал писатель 8 декабря 1955 года, выступая на читательской конференции студентов Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина.— Когда я увидел работу этих катеров, познакомился с этими людьми, мне показалось, что необходимо рассказать о них в литературе...

Очень многое я сам видел, слышал о действиях этих моряков,— конечно, материала хватило бы на большую повесть. И когда я думал, как это делать, мне показалось, что «Морская душа» — для меня этап уже пройденный. В войне растешь значительно быстрее, чем в мирное время, события очень обострены, собственная психология тоже обострена, и целеустремленность появляется совсем иная... Я почувствовал, что дальше мне не так чтобы неинтересно, а что это внутренне меня как художника уже не очень волнует, а надо делать что-то другое...» (Л. Соболев. На главном курсе. «Советский писатель», М., 1969, с. 100—101. Дальнейшие ссылки на эту книгу приводятся по тому же изданию.)

В Геленджик Л. Соболев пришел морем из Туапсе на тральщике «Гарпун» 17 февраля 1943 года. Первые встречи и беседы писатель проводил с моряками-артиллеристами и морскими пехотинцами из десантного отряда майора Цезаря Куникова, многие черты которого были использованы потом в работе над характером майора Луникова в «Зеленом луче». Десантники Ц. Куникова 4 февраля 1943 года захватили плацдарм на побережье близ Новороссийска в районе Станички и вели на нем героические бои. 23 февраля Л. Соболев знакомится с капитаном-лейтенантом Николаем Сипягиным, который командовал отрядом высадки в ночь проведения этой операции и продолжал поддерживать десантников, подбрасывая на плацдарм подкрепления и боеприпасы катерами своего дивизиона.

Во фронтовые записные книжки № 7 и 8, начиная со 2 марта 1943 года,

Л. Соболев заносит один за другим эпизоды, использованные впоследствии в повести «Зеленый луч». Такова запись о боевых делах экипажа катера СК-034, которым командовали последовательно лейтенанты Леднев и Парамонов, запись о находчивых действиях старшины первой статьи Бугрова и краснофлотца Грушанкина с катера СК-084, ряд мелких, но выразительных, в том числе комических «случаечков», и особенно записи о подвиге боцмана Харева и рулевого Марохина с катера СК-074, послуживших прототипами Хазова и Артюшина в «Зеленом луче», а также о стойкости и отваге моряков катера СК-065. Все перечисленные материалы, наряду с прочими дневниковыми записями, сделанными под Новороссийском весной 1943 года, были включены затем в книгу «Свет победы».

Впервые Л. Соболев обращается к собранному материалу в записи от 15 марта 1943 года, пересматривая сделанные заметки, он выделяет среди прочих «эпизод с Харевым» (фронтовая записная книжка № 7, архив писателя). Боцман Дмитрий Данилович Харев и краснофлотец Сергей Иванович Марохин в ночь на 22 ноября 1942 года участвовали в высадке пяти партизан на захваченное фашистами побережье Крыма. При высадке сильный береговой накат разбил шлюпку. Моряки решили возвращаться на катер вплавь и добирались до него около часа в холодной ноябрьской воде.

В дневнике этот эпизод записан дважды: кратко — 3 марта 1943 года, в ряду других впечатляющих историй о боевых действиях моряков-катерников, и 9 марта, в день отъезда из Геленджика, — здесь это уже довольно подробный рассказ, восстанавливающий многие детали и обстоятельства, использованные затем в работе над «Зеленым лучом».

В течение 15—28 марта Соболев работает над рассказом на основе этого сюжета.

Двадцатого марта, слушая радиопередачу из Москвы, Соболев узнал о присуждении ему за сборник «Морская душа» Государственной премии. В тот же день он направил Верховному Главнокомандующему телеграмму следующего содержания:

«В течение всей войны маленькие сторожевые катера Черноморского флота героически несут повседневную боевую службу. Каждый лишний катер — лишний удар по врагу. Поэтому всю присужденную мне премию за книгу рассказов «Морская душа» вношу на постройку еще одного такого катера. Прошу Вашего разрешения назвать его «Морская душа» и зачислить в 4-й дивизион сторожевых катеров Черноморского флота».

Двадцать восьмого марта писатель получил ответную телеграмму с выражением благодарности и согласия. Так он окончательно «породнился» с дивизионом Н. И. Сипягина, взяв над ним своеобразное «шефство».

В одной из фронтовых записных книжек излагается развернутый замысел нового произведения:

«Начал записывать план повести о катерах и начало — закат...

План интересный и форма для меня новая — а главное, придумал после словие, которое введет реальных людей. Это спасет фамилии, а мне даст свободу полную.

Пока намечается так:

I. Вступление — закат. Командир. Замполит. Боцман. Партизан (неожиданно — профессор). Девушка-санитарка (впервые в партизанах). Моторист. Воспитанник — тут Зеленый луч. Наступает ночь.

II. Высадка партизан, плавание Харева.

III. Куниковский десант. История 0134.

IV. Послесловие.

Надо точно наметить, кому что идет из материала о катерах — что в новеллы с закатом, что — в главы.

Основная задача — заставить полюбить катер, море, людей.

О форме — хочется наконец «попеть», не стесняя себя рамками рассказа. Побольше мечты, мыслей, воздуха, «пения». Не думать о размерах и вообще — писать свободно. Может выйти интересная и — главное — свободная вещь.

На этом кончаю записи в этой книжке. Понадобилось много утр в раздумье, поисках и отказах, чтобы решиться делать то, что надумалось теперь.

Мысль о новой вещи меня занимает — и главное, что самому интересно.

Пора, мой друг, пора!..

Большой этап жизни кончается с этой книжкой» (фронтальная записная книжка № 7, архив писателя).

Однако ясность замысла не избавила Л. Соболева от дальнейших «раздумий, поисков и отказов» в его работе над «Зеленым лучом».

В дневниковых записях, сделанных между 1—10 апреля, отражены эти поиски и сомнения. Здесь же появляются новые боевые эпизоды отважных действий сипягинского дивизиона. Писатель продолжает обстоятельно знакомиться с историей каждого катера и экипажа, начиная с первого дня войны, следит за событиями, которые развертываются непосредственно в дни его работы над повестью. Сама работа при всех трудностях поначалу подвигается вперед:

«...Я довольно быстро начал писать «Зеленый луч», пять с половиной глав написал. Я не думал публиковать незаконченную работу, но по приказу тогдашнего... начальника Главного политического управления ВМФ эти главы, несмотря на мои протесты, все-таки пустили в газету. Так, вопреки моему желанию, повесть в незавершенном виде появилась в свет, печаталась в газете, во флотском журнале» («На главном курсе», с. 103).

Первые главы «Зеленого луча» печатались в газете «Красный флот» 25, 28, 29 июля, 1, 4, 11, 15, 18, 25, 27 августа и 18, 22, 24, 26 сентября 1943 года, а также в журнале «Краснофлотец» (1943, № 13—14, 16—20) и фрагменты в газете «Труд» от 29 октября 1943 года под названием «Командир корабля», в журнале «Красноармеец» (1943, № 21—22) под названием «Урок командира». 23 февраля 1944 года отрывок из повести напечатала газета «Литература и искусство». Он назывался «Лейтенант Решетников». Другой отрывок «Детство Решетникова» поместил «Красноармеец» (1945, № 7—8).

Примечательно, что первые главы, увидевшие свет в 1943 году, вошли в окончательную редакцию «Зеленого луча» почти без изменений. Единственной серьезной поправкой, сделанной потом писателем, было устранение из первой главы эпизода, в котором героям повести сразу же удавалось увидеть столь нетерпеливо ожидаемый Решетниковым зеленый луч.

Остальная правка менее значительна и относится главным образом к стилю повествования. Соболев стремится в окончательной редакции к большему лаконизму и выразительности, убирая лишние детали и определения, снимая чрезмерную подчас патетику собственных лирических отступлений.

Завершение повести отодвинулось на долгий срок.

«Когда окончилась война, я вернулся к «Зеленому лучу». И тогда началась та утомительная, тягостная работа, которая называется литературой. Я возвращался к этой вещи неоднократно... десять лет не даром прошли. Я много крутил, вертел, прикидывая, как это сделать, порою приходил в отчаяние. В моем дневнике есть одна такая запись: «Месяц мучительных раздумий о романе». Действительно, месяц я сидел и не знал, что делать. А между тем у меня уже много было написано — должен был развернуться большой роман, намечались довольно острые ситуации, когда командир попадает в штрафной батальон в качестве матроса; была и любовь — тоже довольно остро поставленная. Но я все работал, возвращался к написанному, и все было у меня непонятное самому себе чувство какой-то неудовлетворенности. Я видел, что я что-то не то делаю, зря над этим сижу. Сказать по совести, я и до сих пор не понимаю до конца, почему это было зря, но думаю, что все-таки правильно сделал, повернув после всех поисков к нынешнему, окончательному варианту книги.

А соображения у меня возникли такие. Это как раз были годы 1947—1949-е, когда довольно большими «косяками» пошла военная литература, книги о войне. И я подумал, что «Зеленый луч» в том виде, как я над ним рабо-

таю, будет еще одной книгой о наших храбрых моряках, о людях, которые прекрасно воевали, о военных действиях, как мы умеем побеждать врага. Но об этом написано уже не раз, и не два, и не три,— зачем же мне писать еще одну повесть о войне?

Я подумал, что не в этом суть вопроса. Война для нас — этап пройденный, надо думать о чем-то другом.

И в таких мучительных раздумьях и придирках к самому себе я дошел до той мысли, которая меня очень обрадовала... основная тема выпятилась и стала видна издали — рождение профессии, становление командира. По-писательски влезть в душу молодого офицера, раскрыть, что в ней происходит,— вот главная задача. Когда я ее понял, она подчинила себе все остальное: размер книги, сюжет, я выбросил все, что в ней было лишнего. Раз было выбрано направление главного удара, остальное все уже стало ненужным» («На главном курсе», с. 103—104).

В том же выступлении, помещенном в сборнике «На главном курсе» под названием «Как зажегся «Зеленый луч», писатель подробно говорит о работе над композицией повести, над созданием образа Решетникова, объясняет и обосновывает использованные им творческие приемы.

В. С у р г а н о в

СОДЕРЖАНИЕ

Аркадий Первенцев. ВЕЛИЧИЕ ПРАВДЫ. Слово
о Серафимовиче и Соболеве 3

Александр Серафимович
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК. Роман. Рисунки А. Парамонова 25

Леонид Соболев
МОРСКАЯ ДУША. Рассказы. Рисунки В. Щеглова 161

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ. Повесть. Рисунки В. Щеглова 477

Комментарии 629

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 26)

*Александр Серафимович
Серафимович*

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

*

Леонид Сергеевич Соболев

МОРСКАЯ ДУША
ЗЕЛЕНый ЛУЧ

*

ИБ № 2880

Ответственный редактор

Г. В. Б ы с т р о в а

Художественный редактор

Г. Ф. О р д ы н с к и й

Технические редакторы

Н. Ю. К р а п о т к и н а

и Е. В. П а л ь м о в а

Корректоры

Э. Л. Л о ф е н ф е л ь д

и А. П. С а р к и с я н

Сдано в набор 09.09.78. Подписано к печати 19.03.79. А06677. Формат 60×90^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 41,13. Уч.-изд. л. 42,03+9 вкл.=42,67. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ № 3601. Цена 1 р. 90 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм

Серафимович А. С.

- С32** Железный поток: Роман. Соболев Л. С. Морская душа: Рассказы; Зеленый луч: Повесть/Вступит. ст. А. Первенцева; Комм. Л. Гладковской и В. Сурганова; Рис. А. Парамонова и В. Щеглова.— М.: Дет. лит., 1979.— 638 с., ил., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 26).

В пер.: 1 р. 90 к.

Широкоизвестные произведения советских писателей А. Серафимовича и Л. Соболева о гражданской войне и моряках Военно-Морского Флота нашей Родины.

С $\frac{70803-234}{M101(03)79}$ Подп. изд.

Р2





1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»